Василий Андреев

Николай Баршев

Леонид Добычин

НАСЛЕДИЕ

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Василий Андреев
—
Николай Баршев
—
Леонид Добычин



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1990

ББК 84.Р7
Р 24

Составитель Ф. Г. Кацас

Вступительная статья А. Ю. Арьева

Комментарий А. Ю. Арьева, Е. Д. Прицкера

Редактор М. В. Гоппе

Художник М. Е. Новиков

Р $\frac{4702010201-033}{083(02)-90}$ 110—89

ISBN 5-265-00617-6

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ

По разным признакам, порой вовсе незначительным, собирают писателей под одной обложкой журнала, альманаха, сборника. Василия Михайловича Андреева (1889—1941), Николая Валериановича Баршева (1888—1938) и Леонида Ивановича Добычина (1894—1936), троих непохожих друг на друга довоенных ленинградских прозаиков, объединяет в этом издании в первую очередь признак для памяти горький: мы до сих пор не знаем точно дат их смерти, не видели мы и их могил.

Собрал их вместе, можно сказать, век нынешний, а не век минувший,— эпоха освобождения от исторического беспамятства. Хотя, конечно же, принадлежат они и своему времени, каждый по-своему выражает его воззрения, его правду и его иллюзии.

Основной период литературной работы всех троих — промежуток с середины двадцатых годов до середины тридцатых. Все книги ими изданы в это время. Начиная с 1924 года по 1937 год Андреев выпустил 11 сборников прозы (помимо заграничных изданий), Баршев — 5, Добычин — 3. Печатались они также в журналах и альманахах, преимущественно ленинградских. Баршев, кроме прозы, публиковал стихи. Андреев — автор известной в конце двадцатых годов пьесы «Фокстрот». Биографии и черты характеров у них существенно разнятся, но они принадлежат к одному литературному поколению, их художественные пути имеют точки пересечения. Правда, говорить об их личных контактах все-таки не приходится. Хотя и они не исключены: общих знакомых среди известных деятелей культуры, живших в двадцатые годы в Ленинграде, у них достаточно. Но слишком мало мы еще знаем об этом сравнительно близком времени. Меньше, чем о Пушкине и его эпохе. Удивительно, но это так. О том, что происходило в русской культуре без малого два столе-

тия назад, у нас теперь более четкое представление, чем о событиях всего лишь полувековой давности.

Почему многие имена — в том числе и имена Андреева, Баршева, Добычина — исчезли из контекста советской художественной жизни в конце тридцатых годов и почему они вновь в нее возвращаются, об этом сегодня и приходится думать.

«Могилы не разверзаются случайно. Произведения искусства встают из могил в те моменты истории, когда они необходимы»,— писал Максимилиан Волошин.

Если и впрямь, говоря словами Шекспира, век может «вывихнуть сустав», то у нас в тридцатые годы вывих культуры привел к тому, что догадаться, кто, когда и откуда еще встанет, нелегко до сих пор. Несчетное — во всяком случае до сих пор не сосчитанное — количество оригинальных, ярких художников совсем недавнего прошлого лежат в безымянных могилах. И не где-нибудь на чужбине. Они затерялись — их намеренно затеряли — в родимых просторах.

У всех погибших еще живы друзья и почитатели, родные и близкие, но и из них — кто может с уверенностью сказать, куда ушел из дома исчезнувший весенним днем 1936 года Леонид Добычин, под какой магаданской сопкой положили два года спустя Николая Баршева, что произошло на ленинградской улице в декабре 1941 года с Василием Андреевым?

Мы знаем только, что людей этих не стало.

Не стало и их книг. Потому что издавать их сразу же прекратили, прекратили упоминать и сами имена авторов.

Зловещий смысл приобретало древнее выражение: «О мертвых или хорошо, или ничего». «Ничего» говорило об остракизме, нависало гильотиной.

Не нужно доказывать, что исторические катаклизмы, революции немыслимы без пролития крови противоборствующих сторон. Но когда вся возможная кровь у нас, казалось бы, уже была пролита — в гражданскую войну,— кровавые жертвоприношения вдруг стали почитаться мерой и нормой «исторического прогресса». Как будто на сцену выползли какие-то достоевские фантомы решать карамазовский спор: стоит ли вся чаемая грядущая гармония одной слезинки замученного ребенка или нет? Вопреки нравственным заветам классической русской литературы, выходило, что — стоит. Логично, что на доказательство ушла не слезинка — океан слез.

В том-то и заключалась бесовская суть сталинской политики, что разжигание ненависти против несуществующих уже практически в нашей стране эксплуататоров и малочисленной партийной оппозиции требовало все больше и больше жертв. Страх

перед возможным отпором и возмездием увеличивал и меру жестокости: в конце концов уже любой независимый, а потом уже и просто любой незнакомый человек бессознательно страшил вождя и его присных. Что может быть красноречивее свидетельства маршала Р. Я. Малиновского о мимолетном признании Сталина,— оказывается, всякий раз, проходя караулы оберегавших его солдат (в самой сердцевине Кремля!), «Отец народов» ожидал лишь одного: выстрела в живот или в спину!

Перед этими безымянными для него людьми, перед «винтиками» Сталин и его режим виноваты в первую очередь.

Кто же еще рядами снопов ради в страхе выкованных теорий ложился на поля истории — из года в год? Годы оказывались то более урожайными, то менее, но серпы не ржавели, снопы вязались и обмолот шел. Гноившие этот страшный урожай в ямах, превращавшие его в «лагерную пыль» уверяли тех, кто в лагерях, ссылках и на поселениях еще не находился, что идет обостряющаяся год от года борьба с классовыми врагами. Даром, что «враги» эти походили больше на инопланетян: слышал о них каждый, но никто толком не видел. А если видел, то, опять же, в инсценировках, не наяву.

Конечно, те, кого клеймили в газетах как шпионов, диверсантов и убийц, тоже были живыми людьми, известными порой всей стране. Это обстоятельство позволяло с рядовым человеком расправляться уже без всяких затей. Если «агентами» оказывались такие личности, как Николай Вавилов, Всеволод Мейерхольд или Николай Бухарин, то что взять с простого смертного?

В этот легион попали и Андреев, и Баршев, и Добычин. По их поводу и объясняться не пришлось. Даже и проинформировать об их исчезновении никого не удосужились.

Участь всех троих не отличается от участи их героев, людей, в президиумах не заседавших и на трибунах не появлявшихся. Художественный мир этих писателей населен персонажами, официального признания лишенными, стихийными и после гражданской войны склонными более решать проблемы частные, чем мировые. Даже у Василия Андреева, человека с романтической биографией, в молодости отбывавшего ссылку в Туруханском крае с самим Сосо Джугашвили (и способствовавшего, по преданию, его побегу), «сокровенным человеком» эпохи становится то мечтательный парикмахер, то ресторанный гармонист... Не хуже самых популярных беллетристов первых лет революции Андреев знал и героя с яростным, нетерпеливым жестом, стоическим поведением и железной волей. Такой характер в его прозе не забыт. И все-таки главное в ней, как и в прозе Бар-

шева и Добычина, не проповедь революционного аскетизма, а интуиция о суверенности и неповторимости каждой отдельной личности, в том числе личности неустроенной, не нашедшей себя в жизни. Художественные акценты смещаются резко — от изображения героя к изображению обывателя. Это очень важная проблема, и литературой двадцатых годов в целом она решена не была.

В это время произошло окончательное и уничижительное переосмысление самого понятия «обывательская жизнь», а слово «мещанин» получило безусловно отрицательную смысловую нагрузку. В литературе во многом способствовало этому почти бессознательное переосмысление русской художественной традиции, отмеченной известной нелюбовью к третьему сословию и к буржуазности в целом. Горьковская подчеркнутая антимещанская позиция закрепляла это положение. В искусстве антибуржуазность была как бы помножена на эту антимещанскую проповедь. После ликвидации сословного общества и буржуазии как класса печать отверженности полностью легла на мещанство.

Если в XIX веке основное значение слова «мещанин» было все-таки нейтральным и, скажем, Пушкин с удовольствием мог сказать: «...заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна», то в двадцатые годы нашего века «мещанин» глядел «нэпманом», «буржуа», недобитым классовым врагом. Главное же, он всем почему-то казался «потребителем» а не «производителем» — любой мастеровой, служащий, актер, «не член профсоюза»...

Нужно было быть совсем независимым поэтом, да и жить далеко от родины, в Париже, чтобы взгрустнуть, как Георгий Иванов:

...Как я завидовал вам, обыватели,
Обыкновенные люди простые:
Богоискатели, бомбометатели,
В этом дворце, в Чухломе ль, в каземате ли
Снились вам, в сущности, сны золотые...

Вот эти «сны золотые», какими бы они ни казались несуразными, как бы ни выдавали низкий культурный уровень мечтателей, и являются в большинстве случаев сюжетами и Андреева, и Баршева, и Добычина.

У Николая Баршева этот простодушный «существователь» был едва ли не лирическим героем. Во всяком случае, стихи, которые он публиковал до выхода первого прозаического сборника, написаны как бы от его имени:

Я бреду никчемный солнечной дорогой,
Радуясь в молитвах благостному дню.

Счастлив скудной долей немощно убогой,
Я слагаю песни Вечному Огню.

Трудно поверить, что эта «Песня солнцу», напечатанная в третьей книге альманаха «Стожары» за 1923 год, есть только плод авторских переживаний. Скорее всего, поэт ассоциирует себя с каким-то отставленным к тому времени от литературы милым лирическим недотепой...

В другом, неопубликованном, стихотворении Баршев уже совершенно определенно, от собственного лирического «я» отдает будущее безымянному человеку «в коротком пиджаке», новому Евгению из «Медного всадника»:

...И новый Фальконет нас позовет к реке,
Где воплощен навеки дух железный.
И будет человек в коротком пиджаке
Приветствовать Петра, парящего над бездной.

Если это и Ленин, то понятый как равный любому прохожему согражданин. Таким он будет во времена, когда «...в книги отойдут дни крови и набата».

В прозе тема «золотых снов» и частного существования, естественно, обострилась. В рассказе Баршева «Прогулка к людям», открывающем одноименный сборник 1926 года, показана характерная попытка притерпевшегося к жизни инженера Воробьева выйти из анонимного состояния, разрушить гладкую конструкцию служебных «приводных ремней», скользивших «без остановки, плавно и торопливо». Сюжет произведения — прорыв к жизни по мечте, персонифицированной в экзотическом образе кубинского доктора Деспиладо, приехавшего в Россию учиться революции и спасать женщин от проказы. Положение героической личности и скромного служащего в рассказе уравнено. Диалог и взаимопонимание между ними возможны именно потому, что моменты озарения свойственны, по мысли автора, любому человеку, герой он или обыватель. Вот как пересекаются в «Прогулке к людям» эти параллельные прямые: «И было это третье, и самое важное в часах суток, а может, и в днях жизни инженера Воробьева. В затхлый кабинет вошла дерзкая жизнь и провела упруго скрипучим крылом по затхлым мыслям... И тотчас же подмигнул из бумаг и махнул чем-то ярким и пестрым врач Деспиладо».

Есть у вполне обычных героев Баршева и «третье», и «четвертое» измерение. Вот, например, какой-то неопределенной профессии Кронид Семенович из рассказа «Четвертое». Не может он не брюзжать: «Революцию сделали, а поросят перевозят все так же некультурно и на солнце сушат». Но и он

знает: есть это четвертое измерение, и связано оно с революцией. «Если бы не революция, никогда бы четвертого не было»,— записывает он.

Так возникает центральная для прозы Баршева коллизия: смеяться ли над потерявшим культурную ориентацию индивидом или плакать над ним? Между сочувствием и сарказмом колеблется авторская мысль и авторское переживание едва ли не в любой его вещи.

Очень существенно, что и у Баршева, и у Андреева, и у Добычина незаурядность, оригинальность взгляда на мир пробивается в людях как бы «снизу», а не даруется им «сверху».

Конечно, всякий талант нуждается в культурной огранке. Но речь у этих авторов идет не о развитии талантов как таковых. «Сны золотые», которыми обольщаются их персонажи, чаще всего «снами» и остаются. Однако через них раскрывается человеческая сущность героев, через них облагораживается их душа. Как бы эти видения лучшей жизни ни осмеивались, к каким бы трагедиям ни приводили, они для них — благо.

Как только не издевалась критика после выхода в 1935 году повести Добычина «Город Эн» над ее маленьким героем, а заодно и над самим автором, за его нежные чувства к гоголевскому Манилову! И не поняла очевидного: если этот подросток даже в отношениях между Чичиковым и Маниловым выделил трогательный мотив человеческой взаимной привязанности и дружбы, то это свидетельствует в его пользу, а не против него. Пусть он наивен, но он — чист! На иных моралистов и Софокл с Шекспиром не действуют столь благотворно. А в низком прозреть высокое — в этом радости никак не меньше, чем в наслаждении общепризнанными шедеврами.

«Сон золотой», что померещился добычинскому мальчику и обывателям Георгия Иванова,— скрытая цитата из популярнейшего в России перевода стихотворения Беранже «Безумцы», сделанного Василием Курочкиным:

...Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,—
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

В советское время с началом нэпа стало ясно, что к «правде святой» и на этот раз «мир дороги найти не умеет». Во всяком случае, прямой дороги не оказалось.

«Безумцы» же у нас никогда не переводились. О них писали в XIX веке, появились они и у представленных в этой книге

авторов. Всяк человек у них — кузнец своего «безумия». Один из нагляднейших примеров — повесть Андреева «Серый костюм», в которой парикмахер Роман Романыч сначала невинно представлял себя горным инженером, а затем идентифицировался с Сергеем Есениным. Славы этот «сон», как и любой сон, ему не принес, но открыть глаза на его собственное бытие заставил.

Герои Андреева — каждый на свой лад — хотят разомкнуть кольцо частного существования. Повесть «Расколдованный круг», давшая название этому сборнику, с наибольшей остротой ставит вопрос и о путях, ведущих к общей «правде святой», и о навеянных «снах».

У безумной, в прямом значении этого слова, героини повести Русецкой душевная болезнь обостряется и проявляется в те минуты, когда она слышит хлопки в ладоши. Видимо, они напоминают ей об аплодисментах, о «золотом сне» ее жизни. Зная об этой слабости бывшей актрисы, мальчишки преследуют ее «овациями».

Мечта может погубить человека или, наоборот, заставить его прозреть. Но в любом случае нельзя играть на сокровенных душевных струнах личности, профанировать ее идеал, каким бы ничтожным и смешным он ни казался окружающим. И весь вопрос в том, понимают ли это люди, находятся ли среди них те, кто, подобно герою повести Андрюше Тропину, откликается на призыв: «О, уведи! Выведи меня из этого страшного круга!» Ясный гуманный мотив этой сюжетной линии повести несомненен.

Из этого первого круга действие повести переходит в следующие, важнейшие. Решается все тот же «достоевский» вопрос: можно ли к «правде святой» вести человека насильно, можно ли ради нее переступить через саму человеческую жизнь?

С симпатией изображенный в повести Тихон, студент из Самары, говорит ребятам: «А в убийство играть не нужно... Вот скоро война с немцами, верно, будет. И тогда не играйте».

Антагонист Андрюши Тропина (но и его приятель тоже) Женя Голубовский решил «играть». И не с немцами, а со своими. В гражданскую войну, бежав от белых вместе с двумя товарищами, он привязал к дереву в тайге и оставил умирать одного из них, изувеченного и обессиленного. Нужно было добраться до расположения красных частей и сообщить о дислокации белых, а слабый духом, изголодавшийся товарищ мог вернуться в поисках еды и предать бежавших. Не пощадил Голубовский и себя,

умер от истощения в тайге, сохранив запас хлеба для последнего, более крепкого товарища.

Голубовский изначально показан как человек жесткий, безжалостный. Его путь предопределен не столько даже идеалом, сколько тяжелыми обстоятельствами жизни и душевным складом личности. И то, что этот круг расколдован смертью, вполне понятно.

Но есть в повести и последнее, охватывающее ее кольцо. Подчиняющая себе частную жизнь, надличностная идея «Расколдованного круга» состоит в том, что по дороге Голубовского — и еще дальше него — должен пройти Тропин. Не по тяжелому чувству ненависти, но для «правды святой», он посылает на смерть брата любимой девушки. Та, возненавидев его и саму любовь, кончает с собой. И Тропин, хотя необходимости в этом никакой не было, сам вызывается расстрелять ее брата. За все случившееся в мире он берет ответственность на себя, доказывая тем самым свою неустрашимую готовность держать ответ и перед историей.

И все же какой-то умозрительной скоротечностью веет от этого высокотрагического финала. Он в большей степени работает на усиленно выковывавшуюся в двадцатые годы идеологическую конструкцию, чем на непосредственные раздумья писателя о положении человека в мире, так ярко выраженные в остальном тексте. Похоже, что в финале «проговорен» хорошо известный ранней советской прозе мотив, глубже всего воплощенный в другом вскоре написанном произведении.

В 1927 году, следующем после опубликования «Расколдованного круга», появляется фадеевский «Разгром». Как заключает М. О. Чудакова в статье «Без гнева и пристрастия», в этом романе «...объявился с несравненно большей, чем у кого-либо из современников, полнотой новый список ценностей. «Новый» гуманизм противополагался «старому», борьба — мирной жизни, расположенной внизу этой ценностной шкалы. Классовая ненависть предстала как естественное и ценное чувство, борьба с оружием в руках во имя будущего — как наивысшее трагическое самоосуществление человека» [1].

В творчестве Андреева, пожалуй, явственнее, чем у Баршева и Добычина, отражена антиномичная позиция художника слова в двадцатые—тридцатые годы.

Русская гуманистическая традиция (а даже по манере письма Андреев наиболее традиционен из всех троих) видела до-

---

[1] «Новый мир», 1988, № 9, с. 247.

блесть творца в том, что он «милость к падшим призывал». Писатель являл собой прежде всего неистребимый пример заступничества перед обществом, перед властью человеческой и божеской за жертвы любого насилия и произвола, за всех «униженных и оскорбленных». В этом открывался заветный смысл творчества.

Теоретически мы сейчас с готовностью признаем, что художник и политик смотрят на жизнь и на мораль под достаточно разными углами. Художника интересует по преимуществу скрытая от постороннего взгляда душевная жизнь человека,— его «поле битвы», перефразируя того же Достоевского, «сердца людей».

Но ничего не было более трудного в послереволюционные годы, чем наглядно продемонстрировать эту разницу. Выразительный пример — письма против репрессий во время революции и гражданской войны благороднейшего В. Г. Короленко, дожидавшиеся публикации семьдесят лет.

Однако далеко не всем — даже самым выдающимся — творцам позиции «старого» гуманизма казались абсолютными и незыблемыми. Не только «осознанная необходимость» или «социальный заказ», но и влечение сердец революционно настроенных художников, будь то Блок, Мейерхольд, Маяковский или Андреев, влекли их к практическому переустройству мира и, следовательно, к поглощению искусства политикой...

И в то же время сама природа искусства, смысл творчества направляла художника не к «общему плану» истории и жизни, а к индивидуальному и неповторимому в них.

Да, работа художника — одинокая работа, да, его больше волнует неблагополучие жизни, чем реальная забота о всеобщем достатке... И если, подобно Некрасову, есть все основания посмеяться над политиком, предстоящим перед отчизной в позе «воплощенной укоризны», то сам поэт как раз и является воплощением укоризны и боли. «Весь — боль и ушиб»,— как сказал Маяковский. То, что автор этого признания все же считал необходимым стать «на горло собственной песне», лишь подчеркивает неразрешимость ситуации. В искусстве и вообще «решенные вопросы» мало чего стоят.

Можно было и сойти с ума, и спиться, как андреевский студент Тихон, в заколдованном круге этих проблем. Разум и художественная интуиция порой давали противоположные ответы.

В реальном творчестве это противоречие часто «снималось» тем, что «старые» гуманистические ценности и у Андреева, и у Баршева, и у Добычина начинали отстаивать (не могли же

они все-таки вовсе исчезнуть!) «не доросшие до политики» дети. Поэтому так часто (а у Добычина — преимущественно) появляются они в прозе этих писателей, и поэтому же нередко само повествование ведется от их имени, и сам художник «по-детски» смотрит на мир.

О прозе Добычина вообще, в целом, можно сказать, что это взрослая проза, написанная не в меру впечатлительным ребенком. Это не ирония, а похвала.

Возникала и совсем парадоксальная ситуация, когда, как, например, в пьесе Андреева «Фокстрот», почти что «толстовскую» проповедь читает «новым людям» старый рецидивист, домушник Гусаров: «Нельзя резать людей ни за какие червонцы. Нельзя давить веревками, рубить младенцев, как телят». И читает он эту мораль не из ханжества и лицемерия, а «по совести».

Характерно: при всей революционно-максималистской нравственной установке «комиссарских» сюжетов «Расколдованного круга» или последней изданной им повести «Комроты шестнадцать» (1937), Андреев дальше других идет и в снисхождении к людям из стана противников, в полном смысле слова отщепенцам, уголовникам, проституткам... В 1935 году в повести «Глушь» он даже решается на вполне человеческое изображение краевого пристава Адриана Антоновича, не могущего не быть противником ссыльных революционеров.

Впрочем, в этой поздней вещи писателя сказалась, видимо, набиравшая силу рапповская (неважно, что РАПП был к этому времени ликвидирован: его концепции отличнейшим образом пошли в ход) установка на «психологизм» и «показ живого человека». То же обстоятельство, что эти вполне благовидные формулы, равно как и общий призыв «учиться у реалистов XIX века», были средством борьбы с новаторскими тенденциями в молодой советской литературе — в том числе в литературе Баршева, Добычина (Андрееву доставалось меньше) [1],— это из памяти быстро выветривалось. Тем более что и официальный поворот на «классическое наследие» назревал.

Но так или иначе, склонность предъявлять личности двойной счет у Андреева очевидна. В знаменитых, издававшихся и за границей, «Преступлениях Аквилонова», написанных в 1926 году, главный герой этим двойным взглядом и оживлен, и просвечен. Фабула повести на том и держится, что Аквилонов, садист и убийца, действует как бы вопреки себе. В глубине

---

[1] См.: Штейнман З. О Василии Андрееве.— «Звезда», 1932, № 12, с. 191. (В этой статье Андреев противопоставляется Баршеву.)

души этого маленького Ставрогина отнюдь не ненависть, а любовь — не дающая себе выхода и обреченная срываться в бездну.

Мучительная проблема взаимовлияния и взаимоотталкивания «нового» и «старого» гуманизма стояла остро и для Андреева, и для Баршева, и для Добычина, и для всей литературы двадцатых годов. Попытаемся обозначить ее далеко не очевидную суть. Представим саму атмосферу нравственных поисков, в которой существовали и которой дышали три прозаика.

О каком гуманизме, о какой нравственности, казалось бы, вообще может идти речь, если взглянуть, например, на одну из лучших вещей второй половины двадцатых годов — время, наиболее благоприятствовавшее работе Андреева, Добычина и Баршева,— на повесть Андрея Платонова «Сокровенный человек» (1928)? Рассказ о «сокровенном человеке» революции, рассказ о свободно и самостоятельно мыслящем русском мастеровом Фоме Пухове автор начинает с фразы: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки».

И не Пухов ли у Платонова говорит: «...человек — сволочь, ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит!»

Что же это, гуманизм или нигилизм? Ясно, что ни в приведенной характеристике героя, ни в его словах особенной любви к людям, хотя бы абстрактной, не замечается.

Это вот и нужно понять. Гуманизм, тем более «новый» революционный гуманизм, из христианской формулы любви к ближнему не выводится, ею не покрывается. Любовь он, конечно, не отрицает. Но на первый план выводит иное: взятие человеком ответственности за происходящее в мире на себя. Ответственность эта подразумевает отказ от веры в действие высших, над ним стоящих сил. Гуманизм отрицает религиозную точку зрения, по которой жизнь существенна лишь постольку, поскольку она подчинена идее служения целям, недостижимым на реальных земных исторических путях. Гуманизм хочет спасти человека на земле, а не на небе.

Революция в том смысле и была гуманистической, что прочитывала историю человечества как историю борьбы людей за свое раскрепощение и освобождение здесь, на земле.

В этом мировоззренческом кредо — философский и гуманистический подтекст чувств, мыслей и платоновского Пухова, и комиссаров Андреева. Человек для них часто «сволочь», потому что склонен к соблазнам веры, склонен опираться на авторитет и догму, а не на знание и действие. «Вождей и так много,—размышляет Пухов,— а паровозов нету!»

Герой Платонова думает о том, что́ необходимо для общения человека с человеком же, для единения свободных людей. «Землю надо переделать руками человека, как нужно человеку»,— говорит он. Этот порыв и обуславливает скрытые мотивы поведения людей революции, не обязательно совпадавшего с поведением ее вождей, он утверждает ее нравственные критерии.

Вопрос этот тоже совсем не простой. Горячая устремленность в будущее, в неведомое, приводила к иллюзорному ощущению «знания о неведомом», то есть опять же к своего рода религиозности. Поэтому и возможно было увидеть в революции самые крайние психологические коллизии, и «святость» в ней прямо сочеталась с «жестокостью»[1]. Так развивается революционная тема у Андреева, так описаны человеческие отношения и у других ярких прозаиков, например в рассказах Бабеля.

Об этих полюсах революции так или иначе думала бо́льшая часть авторов тех лет. Лучшие их герои — люди мечты, как, например, Марютка из известного рассказа Бориса Лавренева «Сорок первый» (1924). Эти «мечты», конечно, не надо путать со «снами золотыми», что видит «обыкновенный человек». Мечты эти — выражение упрямой надежды на будущую обновленную жизнь, а не приведение к гармоническому балансу сегодняшних чувств бедствующей личности. Поэтому если по прямой авторской характеристике «главное в жизни Марюткиной — мечтание», то она же и ей подобные герои — люди самого решительного, часто беспощадного действия. Что и доказала Марютка своим выстрелом, а Андрюша Тропин — своим.

В эпоху, когда, по выражению Платонова, «время шло без тормозов», «не жалеть нельзя и жалеть нельзя».

Последняя формула из повести Александра Неверова «Андрон Непутевый» (1923) говорит о диалектически противоречивом сочетании традиционных общечеловеческих и новых революционных нравственных ценностей в период исторических катаклизмов.

Безусловно можно утверждать, что деяния, служащие укреплению выработанных человечеством нравственных представлений,— прогрессивны. Но в революции чаще всего этот тезис актуален в перевернутом виде: все прогрессивное — нравственно. Этим постулатом руководствовались в творческой практике многие, в том числе Алексей Толстой, писавший о «ненависти, очищающей, как любовь».

---

[1] См. об этом в статье Ю. А. Петровского «Октябрь и гражданская война в молодой советской прозе».— «Октябрьская революция в советской прозе». Л., 1987.

Однако ненависть человека, живущего по мечте, живущего любовью к будущему, просветляет его не всегда, а часто и просто ослепляет. Так, герой Неверова Андрон, беспощадно срывающий в деревенских избах иконы Николы-угодника и водружающий на их место портреты Маркса, вызывает лишь смуту, огонь, кровь.

Также и персонажи еще одного замечательного революционного художника той поры, Артема Веселого, знают, что «в огне броду нет». Героиня рассказа «Дикое сердце» (1925) свою непреклонную самоотверженность не может и не хочет отделить от беспощадности.

На этом впечатляющем фоне — а во второй половине двадцатых годов появились еще и более крупные вещи, такие как «Дни Турбиных» Булгакова (1926), «Восемнадцатый год» Толстого (1927), первая часть «Жизни Клима Самгина» Горького (1927), первая книга «Тихого Дона» Шолохова (1928),— чем же интересна проза этого сборника, в чем своеобразие ее авторов?

Видимо, в первую очередь тем, что вместе с ними в прозу возвращался тот самый хорошо известный русской литературе «маленький человек», потребность в изображении которого в искусстве революционных лет не ощущалась. А если его лицо и мелькало на страницах, то появление сопровождала авторская усмешка. О сострадании к нему и речи не было. Высмеивался он беспощадно, как, например, в превосходной с этой точки зрения сатирической повести Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924).

Собственно говоря, и оценка прозы Андреева, особенно же Баршева и Добычина, ставилась в прямую зависимость от ее «антимещанской направленности» и сатирической остроты.

И до сих пор ставится — даже самыми интеллигентными нашими писателями. «Страстным, язвительным, острым обличителем мещанства» называет Добычина безусловно ценящий его талант В. А. Каверин.

Литературный погром мещанства вызывает чувство сопротивления уже потому, что позиция благородных обличителей непробиваема, ничто и никто им на этом поприще не грозило и не грозит. Ибо давным-давно рот всем этим обывателям искусство заткнуло кляпом.

Кандидатами в присяжные насмешники все три писателя назывались уже давно. Заметный в двадцатые годы поэт и критик Иннокентий Оксенов писал, например, о Баршеве: «После того, как Зощенко ушел в область репортажа, оставив литературе в наследство разве только своего Синебрюхова,— надежды

можно возложить на Н. Баршева, умеющего доводить комизм положений до трагикомической остроты».

Но не стоит ли вопрос совсем, совсем иначе: можно ли называть грустно улыбающегося человека — сатириком? Мещанство ли обличают эти писатели или, может быть, печалятся о человеке как таковом? О том, что он выбит из наезженной всем миром колеи, о том, что утратил привычный духовный уклад жизни, о том, что растерян и наг стоит он перед лицом истории... Есть, кстати, большой смысл в том, что и прозу обличителя из обличителей Зощенко современные исследователи (М. Чудакова, Б. Сарнов) все настойчивее рассматривают не как ироническую, а как написанную в духе толстовских «народных рассказов».

В двадцатые годы только в редких случаях, еще реже доходивших до печати, подобная литература трактовалась не в сатирическом ключе. Например, в письме Горького Баршеву 1927 года: «Есть у Вас много хорошей, человеческой печали о людях...» [1]

Тем более примечательное заявление, что сам Горький, можно сказать,— «столп и утверждение» антимещанской идеологии.

Еще поразительнее в этом письме итоговое суждение Алексея Максимовича, признавшего в Баршеве «народного литератора».

Извечный парадокс: «поветрия времени» учитывают всё, но только не то, что внятно и самым великим людям и самым маленьким. Ничтожный лакей из рассказа Баршева «Кирилюк» интуитивно чувствует то же, о чем сказано в письме Горького: «...жалость перевелась. И отчего — ума не приложу, только перевелась вся как-то сразу, и все тут».

Со стороны текущей критики признание того, что делали в литературе Андреев, Баршев и Добычин, оказалось явлением редким. Положительные рецензии на их работы можно пересчитать по пальцам. Их было меньше изданных прозаиками книг.

О Добычине, например, пресса доброжелательно написала... полтора раза (хотя в писательских кругах авторитет его был высок: его сравнивали с известнейшими мастерами — Джойсом, Прустом и др.). Первый отклик напечатал литературовед Николай Степанов, и еще половину (вторая подпорчена конъюнктурными соображениями) — он же [2]. В общей сложности — три странички.

---

[1] Опубл. В. С. Бахтиным в сб. «Ленинградская панорама» (Л., 1988, с. 476).

[2] См. «Звезда», 1927, № 11, с. 170 и «Лит. современник», 1936, № 2, с. 215—216.

Другие рецензенты себя не стесняли ни в объеме, ни в выражениях. «Позорная книга», «Об эпигонстве», «Пустословие» — так назывались отклики на книги Добычина в «Литературной газете», журналах «Октябрь» и «Литературное обозрение» [1].

Сейчас, когда изруганных авторов уже нет в живых, из всех этих инвектив можно извлечь и положительный смысл. Недоброжелатели частенько лучше, чем поклонники, видят существенные стороны явления, хотя и стараются оценить их со знаком минус.

Вот, например, отклик на первый сборник Андреева «Канун», появившийся в той же книжке «Русского современника», где Корней Чуковский открыл и представил читателю нового автора — Леонида Добычина. Начинается он с сомнительного комплимента: «Автор не слеп и умеет, если хочет, увидеть нужное и значительное». Сдержанности у рецензента, впрочем, не хватило и на абзац: «Откуда же тогда это стремление к банальности, к ходкому товару, к сомнительной дешевке?» [2]

А ведь даже в этих развязных претензиях можно найти точное указание на положительную суть занимаемой рецензируемым автором позиции (конечно, при условии знакомства с его книгой).

Андреев, рассказывающий о жизни петроградских окраинных дворов, о злой бесприютности рабочего люда, о детях, занятых решением своих проблем в перманентных потасовках и стычках, о геройстве, неотличимом порой от преступления,— и *на самом деле* изображает «банальные», любому жителю города знакомые сцены, *на самом деле* интересуется необычными историями («ходкий товар»), *на самом деле* пишет доступную возможно большему количеству граждан прозу («сомнительная дешевка»)... И Андреев действительно «умеет, если хочет» — но не слишком к этому стремится! — рассказать и о героическом революционном подполье, и о железных комиссарах («нужное и значительное»), которыми и без него была наводнена литература.

Это еще не все, что можно извлечь из небольшой, аннотационного плана рецензийки. В двадцатые годы считалось «хорошим тоном» помимо анализа произведения искусства с его содержательной стороны непременно затронуть и его «формальные» особенности.

---

[1] О. Резник. Позорная книга.— «Лит. газета», 1931, № 10; С. Герзон. Об эпигонстве.— «Октябрь», 1936, № 5; Е. Поволоцкая. Пустословие.— «Лит. обозрение», 1936, № 5.

[2] Голубь Л. «Русский современник», 1924, № 4, с. 245.

Рецензент, мигом зачислив Андреева в «орнаменталисты»[1], тут же его и наставляет: «...языковой орнамент — линия наименьшего сопротивления».

Как будто писателю только и дела, что скакать поверх чужих барьеров. То есть упражняться непременно в том, к чему он склонности не имеет. Абсурдно было бы Андрееву отказываться от лучшего в себе как «орнаменталисте» — безупречного владения разговорной речью, без которой проза заметно мертвеет, от умения в диалоге, без нудных описаний раскрыть человеческие характеры, от свободного владения не только литературным, но и простонародным языком, от приоритета наблюдения и цепкого жизненного опыта перед умозрением и сюжетной априорностью замысла...

Подтверждение этим соображениям находится и в одном личном признании Андреева, сделанном в феврале 1927 года: «...принужден прекратить общение с людьми, а это для литератора равносильно высшей мере наказания. Ведь волка ноги кормят, а тут жди и жди, когда окончится карантинный срок»[2].

Письмо это говорит и о стиле жизни автора и о стиле его творчества. Для доброй половины зрелых художников «прекращение общения с людьми» — регулярная и желанная необходимость. Литература — ремесло потаенное и сильное этой потаенностью. Но когда писатель на нее обрекается «силою вещей», одиночество становится источником бед, задевающих суть его работы.

Казавшийся одним из самых нелюдимых среди довоенных ленинградских писателей Добычин, человек, едва ли не стеснявшийся общения с людьми, тем более внутренне его желал. «А мне очень наскучило ни с кем не разговаривать»,[3]— признается он в одном из писем.

В последние, ленинградские, годы жизни он связан был тесными дружескими узами с молодым рабочим Александром Дроздовым. Ему посвящен «Город Эн», его фамилию рядом со своей Добычин поставил перед рассказом «Дикие»... Руки молодого соавтора в нем не чувствуется. Произведение написано в сугубо добычинской манере. Возможно, рассказ навеян услышанными от «Шурки» (так Добычин именует свое-

---

[1] Противопоставление «орнаменталистов» и «сюжетников» — общее место тогдашних дискуссий о литературе, особенно в Ленинграде.

[2] Письмо теософу К. К. Владимирову. ГПБ, ф. 150, ед. хр. 27. Благодарю В. Н. Сажина за указание на этот материал.

[3] Ссылки на письма Добычина даны по публикации В. С. Бахтина «Судьба писателя Л. Добычина».— «Звезда», 1989, № 9.

го друга в письмах) эпизодами из его детства. К сожалению, и судьба А. П. Дроздова, соседа писателя по квартире на Мойке, 62, тоже не выяснена. Известно лишь, что одно время он подрабатывал на Смоленском кладбище. Занимался окраской крестов. Возникает ощущение, что эта дружба лишь подчеркивает безрадужное добычинское одиночество.

И на Добычина «башня из слоновой кости» глядела в лучшем случае «опальным домиком». К тому же — без доброй няни. А из литературной округи доносилась одна ругань. Ее эхо отдается в прозе автора «Города Эн», затрагивая ее основной нерв.

Никто печатно не обмолвился о магистральной положительной теме повести, написанной о вкорененном человеческом желании дружбы и душевного общения, о врожденной потребности в них. Что все это невозможно, что полная открытость иллюзорна и ведет к драме — об этом еще только начинает смутно догадываться маленький ее герой. Осязаемо воссозданный разваливающийся, абсурдно дискретный мир, его немотство — в повести есть проекция этой впервые нащупываемой становящимся детским сознанием трагедии.

Мальчик из «Города Эн» показан в мгновение, когда он судорожно изыскивает последние возможности осуществить бесценное желание прорваться внутренне от одной личности к другой, цепляется то за единственного — наполовину воображенного — друга, то за Манилова с Чичиковым: «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и... Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

Вот ведь в чем согревающий, теплящийся мотив этой отдельной, частной, маленькой человеческой жизни: нет в ней никаких героев, никаких Больших людей, так не отбирайте хоть и последних, «черненьких», говоря словами того же Гоголя («Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»).

В сущности, душа этого мальчика из «Города Эн», может быть, щепетильнее, чем у любого из моралистов: «Мне приятно было с ним, и так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это».

Вот этот «маниловский» мотив нежной преданной дружбы и угадывает весьма проницательно, но с дурными целями, критика: «Самый способ мальчика выражать свои немногие мысли и чувства,— пишет упомянутая Е. Поволоцкая,— описывать незначительные события, которыми полна его жизнь, выдержан под «маниловский стиль»... «Я был тронут», «я был счастлив», «я тоже был растроган»...»

Что же было делать этому писателю, когда даже известные люди, понимавшие в глубине души оригинальность и существен-

ность не ко двору пришедшихся художественных замыслов Добычина, такие, например, как Константин Федин, говорили: «Добычину надо бежать от своей страшной удачи»?

Не один Федин должен был испугаться, когда Добычин в разгар декларируемых побед «большого искусства» показал, что «уродливое», «одномерное» существование «маленького человека» — по-прежнему «вечная тема» русской прозы. Его «город Эн» оказался заселенным не «мертвыми душами», а живыми людьми, несчастья и мечты которых история, тем более — литература, списывать со счетов не имеет права. Особенно же, если она именует себя «гуманистической».

Считалось, что литература должна отобразить неслыханный прежде душевный порыв обновленной личности. «Вот общая цель литературы: *чувственное* познание *Большого Человека*»,— писал Алексей Толстой в статье, открывавшей в 1924 году известный сборник «Писатели об искусстве и о себе». И, развивая свою мысль, обобщал: «Человек, не Сидор, или Иван, а тот, общий миллионам Сидоров и Иванов, человек, прошедший огненные туманы Октября,— *живой тип* революции...»

Соответственным образом переосмыслялась и литературная традиция: «Мопассан умер, Виктор Гюго — жив. Чехов выцвел, как акварель,— Гоголь бьет неиссякаемым, горячим ключом жизни».

Мерещилось, что толстовский «не Сидор, не Иван» превратится в сказочного богатыря, в «расчудесного этакого *малого*», как мечтательно написал в том же сборнике Иван Касаткин. «Вот этот самый *Малый*,— продолжал он, величая его уже с большой буквы,— в положенный час придет в нашу литературу — и всех нас как шапкой накроет!»

С какой-то отчаянной веселостью Касаткин слагал бремя писательских надежд со своих плеч и взваливал их на плечи этого «Малого». Он превращал его уже и в героя и в творца: «Каким способом и в какие сети уловить современному художнику революционный облик жизни,— эту стихийную Жар-птицу? Не знаю... Но думаю, тот подрастающий Малый, когда пробьет его час, отмахнется от всей нашей наследственной искривленности и... распахнувши грудь, ринется на эту замысловатую птицу попросту — с голыми руками...»

Лихой, но все-таки порочный утопизм этой концепции в том и состоит, что без исследования «наследственной искривленности» любая художественная проза выхолащивается, а «Малый» в такой ситуации превращается в ражего детину, который не усомнится «голыми руками» взять, кого ему прикажут, да и поставить к стенке. Что, к несчастью, и случилось с тем же Иваном Касаткиным в 1938 году...

Вычисленный, «умышленный» «Малый» нечувствительным образом проходил все чистки, аплодировал на собраниях, упражнялся в закидывании врага шапками, а для искривленного реальной жизнью Ивана (или Сидора) гибель становилась лишь «делом случая».

Он смахивался с лица земли, действительно, как слезинка. Его исчезновение было «чем случайней, тем вернее» — по изумительной формулировке Бориса Пастернака.

Потому что против «случайностей» никто и ничто не застраховано. А на борьбу с ними не хватит ни вдохновения, ни упорства, ни силы. Смерть, похожая на «исчезновение» (это слово позже нашел Юрий Трифонов), обыденная при всей своей внезапности и алогизме, лейтмотивом проходит через прозу Андреева, Баршева и Добычина.

Жало смерти всюду показывает себя. Едва ли найдется один-два рассказа в этом сборнике, где кто-то не ушел — чаще всего неведомо почему — судьба! — из жизни. «...А люди мерли своим чередом,— повествуется в рассказе Баршева «Гражданин вода»,— старые от старости и неустройства, а молодые оттого, что свинца накопилось много».

Этот свинец, неведомо кем посланный, может влететь в окно и поразить ни в чем не повинную девочку, как в одном из рассказов Баршева; может быть направлен твердой рукой убийц, как во многих произведениях Андреева; может быть употреблен и во имя высшей революционной справедливости...

Разобраться умиравшим, откуда послана смерть, было все труднее и труднее. И люди начали сами сдаваться ей, сами оправдывать ее невыносимое соседство.

Об этой жесткой и жестокой правде тоже надо было писать. И писалось. Писалось о людях, потерявших «...в бесчисленных боях веру и безверие, царя и ненависть к нему, отечество и любовь к нему...», как говорится в «Антошиных мелочах» Баршева об одном «общем защитнике».

Трагедия заключалась не в том, что «обыватели» были плохи, а в том, что интеллигенции грозило превращение в обывателей.

Вот безработный учитель из рассказа Баршева «Водоросли». Он думает, что, сбрив бороду и усы, «обновится» для грядущей жизни. Но она, эта новая жизнь, уже просвистела мимо, пока он и подобные ему готовились к ней на скамейках парков и сквериков.

Люди с пристальным взглядом на мир при смятенной душевной жизни кочуют по многим произведениям Баршева и Добычина, «иллюстрирующим» тему «интеллигенция и революция. Это знак скорее беды, чем драмы. Не человек идет в этих

вещах по земле, а как будто земля плывет перед ним, как кинолента. В кадр попадают случайные прохожие, вот мелькнет чей-то профиль, распахнется пола тужурки, вот чья-то тонкая фигура удаляется в осеннюю слякотную городскую перспективу. Вот объектив залепляют листья, заливает дождь, и все это тут же уносится ветром. Сознание персонажей лихорадит, но их самосознание — тускнет.

Стиль непринужденный и расхристанный — это же отражение целой философии важнейшего для нас из периодов истории!

Вот оно, российское безалаберное, благодушное интеллигентское самопожертвование, которым совсем не безалаберно воспользовались в сталинские годы:

«В конце концов я больше, чем партийный, я — добровольный и необходимый материал для дальнейших социалистических опытов, я сам готов просить: пожалуйста, дальше, пожалуйста, еще!» («Водоросли»).

Два раза просить не пришлось. Услышано было с первого.

Именно таким образом разрушалось историческое самосознание личности, разрушалась ее укорененность в исторической жизни. Человек существовал для навязанной ему концепции грядущего блага. Ради него он должен был быть готов в любую минуту пожертвовать собой.

Реально получалось, что жертвовать собой он должен даже не во имя идеи, а во имя персонифицированного носителя этой идеи — «Лучшего друга всех детей».

От воспевания Большого Человека, к которому призывал Алексей Толстой в двадцатые годы, до воспевания Большого Начальника в тридцатые путь оказался в один шаг.

В литературе он был сделан под лозунгом обращения к традициям классического реализма и привел к его канонизации, если не коронации. Началась она со столетнего юбилея Льва Толстого в 1928 году и завершилась с абсурдной грандиозностью «отпразднованным» столетием гибели Пушкина в 1937-м (на самом деле — с точки зрения Сталина — все было сделано весьма и весьма логично: кто будет особенно переживать на фоне бессмертного бытия первого национального гения России уничтожение даже таких известных современных авторов, как Мейерхольд или Бабель? Заметят ли вообще их исчезновение?)

«Новый классицизм» подразумевал и наличие «нового героя» — личности, поставленной с ног на голову — по отношению к тому положению, в каком она пребывала в реалистической литературе XIX века. В любом старом русском романе чем выше место на иерархической служебной лестнице занимал персонаж, тем ниже оказывался его нравственный потенциал. Продвиже-

ние вверх трактовалось как расплата за ущербность позиций, оно демонстрировало какие-то изъяны на жизненном пути героя.

Ни о чем подобном значительная часть по форме реалистической (вот уж действительно «по форме») литературы начиная с тридцатых годов и не мечтала. И эта искривленная, если не извращенная, нацеленность на вершину пирамиды просуществовала в советской прозе дольше всего, до совсем недавних лет. Или не считались у нас «крупномасштабными» лишь те сочинения, где действует как минимум директор завода, генерал, член обкома?

Этой вот «монументальной пропаганде» в литературе и не поддались ни Андреев, ни Баршев, ни Добычин.

Не одни они, конечно.

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому что только там
Шла жизнь без помпы и парада,—

писал Пастернак.

Эту магистральную тему все три писателя не спутали с другими «магистралями».

В пору, когда реальность начала подменяться мнимостями, надежды — самообольщениями, они подчеркнуто писали о каких-то «никому не нужных» Лиз Курицыных, Ерыгиных, Конопатчиковых, Задрыкиных, Завитковых, Аквилоновых, Одышевых и прочая, и прочая...

Эти люди, «на всякую власть отходчивые», как Ананий Федорович из баршевского «Летающего фламмандриона» (за что их дóлжно было презирать как «мещан» и «обывателей»), все же человечность сохраняли. Их суждения часто смешны и всегда — неординарны. В отличие от прописных истин, «запальчиво» изрекаемых «положительными героями».

Вот тот же чудак Ананий Федорович мыслит об истории:

«Читал я... будто, чтобы убедить в своей правоте и общей пользе,— нужно море крови пролить. А где я его достану и как его пролью?»

Вопрос, в парадоксальной форме, но убедительно говорящий о достоинстве «маленького человека», о выраженном им нежелании подниматься на те «высоты», с которых можно обозреть моря крови и черпать из них, как из собственного колодца.

Никто не говорит, что в этой позиции — сила. Хотя и сильные никогда не понимают, что слабые в конце концов победят, потому что нравственной правды у них больше.

Друживший с Добычиным, знавший и Андреева и Баршева Вениамин Каверин, до войны ленинградец, рассказал в высшей степени характерный эпизод из жизни тех лет. Однажды он пришел к своему другу и литературному учителю Юрию Тынянову в его квартиру на улице Плеханова. Шел 1937 год, было лето, тепло, печи топить необходимость отпала. Друзья засиделись до самого утра, и вот в рассветном голубоватом воздухе за окном они увидели еле заметные струящиеся из труб дымки. И они поняли, что происходит: жители города жгли у себя дома письма, документы, воспоминания, рукописи...

«Не только люди, память гибнет»,— сказал Тынянов.

Отказ от памяти никого не привел к спасению. И в этом отношении надо понимать, что набравшая полные обороты сталинско-ждановская идеологическая машина в большой степени питалась и нашими иллюзиями, нашим самообманом. Утратив память, человек приобретает единственное — безотчетный страх. Он становится той опознанной еще Пушкиным и Достоевским «дрожащей тварью», что подвержена любым внушениям «свыше». Она подчиняет свою жизнь вместо выстраданных убеждений навязанным извне предрассудкам.

Отказ от памяти, от исторического самосознания по существу всегда означает отказ от свободы, отказ от демократических форм жизни. Все неприглядные, злонамеренные действия творятся втайне, в расчете на человеческое неведение. Большая часть ошибок нашего недавнего прошлого связана как раз с отсутствием надежного исторического опыта, а во многом и с сознательным отрицанием его ценности.

Часть вины неизбежно разделяют здесь и художники. Историю, преломленную в собственном гражданском опыте, они стали отодвигать на дальний план или вовсе уходить в историческую романистику, которая и процветала, как никогда прежде, в тридцатые годы: «Петр Первый», «Емельян Пугачев», «Смерть Вазир-Мухтара»,— первоклассные вещи...

В том, что ни Баршев, ни Добычин, ни Андреев к историческим сочинениям тяги не имели,— в этом тоже не их слабость, а, быть может, сила. Занятия историей в последние годы жизни Баршева и Андреева во многом вынуждены: историческая проза имела больший шанс быть опубликованной.

При этом еще одним парадоксом их литературной судьбы является то, что критика тех лет не хотела, или не желала, видеть современный смысл и актуальную сущность их прозы. Числились они преимущественно по ведомству «старого мира», а Добычина так и вовсе признали лицом несуществующим.

Как же иначе, если о его творчестве было сказано «с по-

следней прямотой»: «...профиль добычинской прозы — это, конечно, профиль смерти». [1]

Когда такие вещи слышишь от умнейшего человека, каким был (а не только в послевоенное время, так сказать, прозрев, стал) Н. Я. Берковский, то остается, видимо, на самом деле исчезнуть. Что Добычин вскоре и сделал.

То, что происходило с ленинградскими писателями в марте 1936 года, очень походит на явление массового психоза. Под его влиянием — а не цитированного Берковским Ромена Роллана — критику и пришлось «говорить за всех» (все это Добычин еще и в лицо услышал — с трибуны писательского собрания). То есть упражняться в том, что художнику противопоказано его природой — об этом уже речь шла. Писатель должен *говорить* за себя. А *думать* он может и за всех. Иначе он обречен стать ханжой.

Потом это все вылилось в общеизвестную присказку: «От имени и по поручению...»

Но такие люди, как Берковский, «думать за себя» все же умели всегда. И, видимо, им на самом деле казалось, что Добычин «...это такой писатель, который либо прозевал все, что произошло за последние девятнадцать лет в истории нашей страны, либо делает вид, что прозевал...»

Подозрения, подозрения... Кругом «враги»... А Добычин если и не прямой шпион, то какой-то лазутчик из недоброго прошлого: «Город Эн», заявил Е. С. Добин, есть «...любование прошлым, причем каким прошлым? Это — прошлое выходца самых реакционных кругов русской буржуазии — верноподданных, черносотенных, религиозных». [2]

О каком тут «любовании прошлым» могла идти речь? И каким изуверским воображением нужно обладать, чтобы сына врача (и в «Городе Эн» герой тоже сын врача) причислить к «самым реакционным кругам русской буржуазии»? [3]

Добычин, в отличие от Андреева и Баршева, репрессиям не подвергался. Но судьба этого писателя, может быть, еще ужас-

---

[1] Берковский Н. Я. Думать за себя, говорить за всех.— «Лит. Ленинград», 1936, № 15.

[2] Е. Добин. Формализм и натурализм — враги советской литературы.— «Лит. Ленинград», 1936, № 15.

[3] Видимо, это и на самом деле был случай массового психоза, что подтверждается позднейшими признаниями и Берковского и Добина, с крайним смущением и горечью говоривших о своих выступлениях тех дней.

ней: его уничтожали у всех на виду собратья по перу. И уничтожили.

Еще поразительнее то, что он предчувствовал свою безнадежную судьбу с первых литературных шагов. И все-таки шагал вперед. «Если начальники не пропустят Ерыгина (рассказ «Ерыгин».— *А. А.*), мне, увы, по-видимому больше ничего не придется печатать: то, что я буду писать впредь, будет тоже недостойно одобрения»,— размышлял он в 1925 году. А о своей книге говорил: «При мысли, что она не успеет выйти, у меня ЛЕДЕНЕЕТ КРОВЬ И ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ ДЫБОМ».

Вопрос «За что вы его убили?», по ощущению Каверина, безмолвно витал в Доме писателя весной 1936 года.

Слышал ли кто-нибудь: «За что *мы* его убили?»

В «Городе Эн» Добычин изображал дореволюционную провинциальную жизнь как бы лишившейся дара связной речи.

Сходно писал о схожих обстоятельствах всемирно известный ирландец Джеймс Джойс. Аналогию с ним почитатели Добычина устанавливают часто. И она верна. Ведущий символ джойсовских «Дублинцев» — паралич. Да и название перекликается с добычинским, хотя у нашего автора «город Эн» — «побратим» города из «Мертвых душ».

Отдельную статью о Добычине можно было бы назвать «Портрет художника в юности». И поставить к ней тот же, что у ирландца, эпиграф: «И к ремеслу незнакомому дух устремил». И о герое «Города Эн» можно было бы сказать теми же словами, что о Стивене Дедалусе: «Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих, и глаза у него были слабые и слезились».

Добычин как художник, как стилист несомненно принадлежит XX веку, ценящему предметность и лапидарность в выражении «невыразимых» состояний души, в передаче «несказа́нного». Неторопливый разбег и величавая поступь прозы классиков ушедшего века ему явно не по душе. Он ценит смятение и горечь «Путешествия на край ночи» Селина, но от автора многотомной «Человеческой комедии» его воротит. «Пробовал даже Бальзака,— пишет он в 1935 году Л. Н. Рахманову,— но — нет, дальше трех с половиной страниц не возмог, больно тошно».

Герои Добычина живут в раздробленном, дискретном мире. В нем не ведают о гармонически завершенных сюжетах, насыщавших прежнюю литературную традицию. Для персонажей его книг даже сама по себе правильная литературная речь — диковинное, режущее слух образование. Норма для них — тривиальность суждений и косноязычная недоговоренность мыслей. К культурной речи они прислушиваются с бо́льшим удивлением,

чем к жаргону. Этим обстоятельством, кстати, обоснован заметный стилистический прием Добычина: как ни у какого другого автора, проза его отличается обилием расставленных над словами ударений. В том числе и в тех случаях, когда произношение у грамотного читателя сомнений не вызовет. Культурная речь в добычинском мире — экзотична. И правильное и неправильное произношение здесь — одинаково весомый, углубляющий перспективу изображения штрих.

Многомерный лаконизм прозы Добычина напоминает и о лучших достижениях живописи нашего столетия (например, о Шагале), и о современных философских, экзистенциальных проблемах. Любой добычинский абзац словно бы окантован, возможен как художественное единство благодаря «эффекту рамки». Из этих картинок составляется композиция, которую можно рассматривать долгие годы. При взгляде на них всякий раз думаешь о человеческой тревожной и неразгаданной «заброшенности» в мир:

«На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ» (рассказ «Козлова»).

Выразительно написал о смысле живописной прозаической манеры Добычина Виктор Ерофеев в эссе «О Кукине и мировой гармонии»: «...сошлись два мира, со своими укладами: церквами, кадилами и — революционными маршами, но не для героического противостояния — так кажется рьяным утопистам,— а для оппортунистического сожительства. Обыватель, чувствуя силу власти, рад нарядиться в новые одежды, с удовольствием разучивает новый лексикон, подражает манерам времени, но в душе мечтает о том, что Лиз, „пожалуй, уже разделась"». [1]

Здесь мы возвращаемся к основной теме — «обывателя», «мещанина», «маленького человека»...

Кто они, эти герои — и у Добычина, и у Баршева, и у Андреева? Просто ли они — «обыватели»? А если «обыватели», то по причине мелкости натуры? Или бескультурности? И почему все естественные эмоции у «обывателя» («пожалуй, уже разделась») кажутся пошлостью и профанацией чувств, а у помянутого «Малого» — удалью и широтой натуры? И не решиться ли даже в самом последнем, настоящем, матером обывателе разглядеть сначала человеческое, а потом уж — «обывательское»?

И последний вопрос — не качнули ли эти писатели беднягу «обывателя» в лучшую сторону, когда сама эпоха об этом нимало не заботилась?

---

[1] «Лит. обозрение», 1988, № 3, с. 111.

Здесь, мне кажется, вся философская соль этой прозы: поставить в центр художественных интересов именно такого человека, который в данную эпоху глядит особенно малым и ничтожным существом. Здесь сказывается «прямая честь» художника — оставить в стороне персонажей, на которых время смотрит снизу вверх.

Эта позиция усилена еще и конкретным «петербургским настроением»: нигде простой человек не казался таким маленьким, забитым — и на самом деле не был таким ничтожным,— как в блестящей северной столице.

«Петербургское настроение» совсем не омрачает общей национальной духовной традиции, как иногда пытаются доказать, но, напротив, усиливает ее. Чем дальше писатель идет в изображении малости, ничтожности, забитости человека, тем больше он получает шансов выявить и положительные нравственные ценности. Облагораживающее бытие человеческое качество — в самой сердцевине личности.

И последнее.

Обозначенные потенциальные достоинства этой прозы лежат все-таки не совсем на ее поверхности. В ней несомненно бросается в глаза и иронический, порой сатирический, авторский тон.

Разгадка этого обстоятельства — не в отношении названных писателей к человеку как таковому, а в области социальной.

Все они состоялись как прозаики уже в эпоху нэпа. А это для художника того времени — преграда в буквальном и переносном смысле слова непреодолимая. Что-то едва ли не ускользавшее от сознания объединяло в неприятии нэпа абсолютно всех наших сколько-нибудь талантливых художников. У каждого он задевал лишь гротескно-скорбные струны души. Надрывная эта гоголевская струна звенела и звенела в его угарном тумане. А Чехов «выцвел, как акварель».

Все это много говорит об общем романтическом потенциале нашего художника, чуждого грубой существенности жизни, избегающего забот о прагматической стороне существования.

Ведь при нэпе же лучше жить стало! Но все равно даже военный коммунизм, пора, когда было «голодно и свободно», казался предпочтительнее «обуржуаживания» и «погружения в мещанское болото».

Андрееву, Баршеву, Добычину и другим писателям, родившимся в XIX веке, нэп, очевидно, еще и потому виделся в отталкивающем свете — особенно в бывшей столице,— что по сравнению с размахом хозяйственной дореволюционной жизни он глядел пародией на нее. Да к тому же — вытесняющей «идеальный», пусть и совершенно аскетический, строй военного коммунизма.

Положительных характеристик в художественной литературе нэп, кажется, не знал вовсе. Прозорливцев тут не нашлось как раз среди самой талантливой части населения. Это, впрочем, объяснимо достаточно обыденно: до результатов, кардинально оздоравливавших экономику страны, нэп не допустили.

Наступил сталинский «великий перелом», быстро перешедший в «великий перемол» — крестьянства, всех тех, кто кормил страну и физически и духовно.

Под эти жернова один за другим попали и Николай Баршев, и Леонид Добычин, и Василий Андреев.

Андрей Арьев

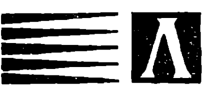


Василий Андреев

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ПРАЗДНИК

I



енька Драковников с матерью в конце Моловской живут.

За домом — поле; ветка железнодорожная, вдали — лес. Весною лес — лиловый, летом — темно-синий, осенью — черный, и еще чернее, углем — зимою.

Ленька — с матерью, родных — никого. Он на заводе, она поденно стирает, полы моет.

Отца убили, когда с петицией ходили к царю.

Прохор, котельщик, и посейчас ходит — приплясывает — коленную жилу перебила пуля. А Крутикова, кузнеца, Олимпиада, дочь, с кавалером Ганей Метельниковым убиты оба. Как шли, под руку, так и убиты.

И в мертвецкой, в Ушаковской больнице, так и лежали рядом, застыли, долго не разъединить было.

Так, рядом: кавалер с барышней, жених с невестою. Сам кузнец об этом рассказывает, когда пьяный.

Страшен рассказ пьяного кузнеца.

Не дыша слушают. Молчат. Вопросов никаких. Да и какие же вопросы?

Когда операцию тяжелую делают, говорят ли с оперируемым?

Швы на сердце класть и вдруг: «Как, да что?» — Разве можно это?

Страшен рассказ Крутикова о дочери с женихом. Просто. Точно. Одинаково всегда. Без ропота, ругани, плача. Только глаза — пламень.

И тяжко сжатый, молотом на коленке, кулак.

У Леньки Драковникова рана вроде кузнецовой.

Отца убитого помнит. И убийц знает — царь и опричники.

Когда кто незнакомый спросит — отвечает:

— Царь убил.

А лицо не дрогнет. А глаза темно-коричневые — черным огнем.

II

Ленька, мальчуганом еще, с Мишей Трояновым познакомился.

Миша из «чистых», банковского служащего сын.

Ленька босиком, как и полагается в апреле, а Миша в ботиночках со светлыми галошами, в форменной шинели — в реальном учился.

Познакомились в драке.

На ветке железнодорожной Ленька посадских воробьев из рогатки, а Миша (в тот день он реальное прогуливал) — чашечки на телефонных столбах расстреливал.

Леньке это помеха.

Воробьев спугивал, да и чашечки разбивать — зря.

Ленька пригрозил. Миша носом не повел. Ну, стычка.

Ленька хотя «накепал» Мише, но и тот прилично хлестался.

Ничего, что реалист!

И не плакал, а ведь нос ему Ленька расквасил и фонарь подставил — мог бы заплакать вполне.

А он — кровь высморкал на шпалы, ругнулся, правда бледновато: «мать» не там, где надо, вставил, а потом ремень снял и медную пряжку к синяку.

Бывало, значит!

Все это Ленька учел и одобрил, и в виде похвалы:

— Ты шикарно хлещешься.

А Миша спокойно:

— Дашь рогаточки в воробьев пострелять, а?

Так и познакомились. Потом подружились.

Миша оказался хорошим товарищем. На реалиста только фуражкой похож, да и то стал значок снимать, гуляя с Ленькой. Канты только желтые — ну да канты что: нищие и те очень даже часто в генеральских с красными околышами фуражках щеголяют. Ботинки у Леньки на квартире оставлял, босиком бегал из солидарности.

Артельный. В любую игру — не последний, в драке не спасует.

Бывало, «шкетовье» налетит вороньем — не отступит. Бьется, пока руки не опустятся, либо с ног собьют.

Но пощады не запросит — парень что надо.

Только по фуражке — реалист, а так — нормальный парень. И видом — хорош. Волосы — на козырек, походка — вразвалку и по матушке крошит (Ленька его обтесал).

Многому Ленька его научил: курить махру, сплевывать, «цыкать» сквозь зубы, свистать тремя способами, через пальцы, засунутые в рот: «вилкою», «лопаточкой» и «колечком».

Особенно «колечко» Мише удавалось — ни дать ни взять фараонов свист, трелью.

А в юных годах за девочками приударяли.

У Леньки Паша была из трактира «Стоп-Сигнал» — услужающая барышня, лет семнадцати, что бочонок — кругленькая, подстановочки — тумбочками.

Крепенькая девочка.

У Миши — Тоня, голубоглазая, нежненькая, портниха.

На католическом кладбище, в Тентелевке, гуляли в летние белые ночи.

Ленька тогда на подручного слесаря уже пробу сдал, а Миша из пятого в шестой перешел.

III

Долго не приходил Миша к Леньке.

Вдруг, часу в двенадцатом ночи, пришел.

Весною было.

Ленька удивился.

— Ты чего этакую рань приперся?

Шутит.

А тот — серьезно:

— Пойдем. Дело есть.

Покосился на спящую Ленькину мать.

— Куда пойдем? Я уже разулся. Спать хочу.

— Ну, черт с тобой! Дрыхни.

Фуражку надел, руку сунул:

— Прощай!

— Да ты чего пузыришься? Говори, в чем дело, матка спит, говори,— задержал Мишину руку Ленька.

— Нельзя здесь,— твердо ответил Миша.

— Ну, погоди, оденусь.

Вышли во двор.

— Пойдем на ветку,— предложил Миша.

Пролезли через выломанный забор заднего двора. Перепрыгнули через канаву.

Была тихая мартовская ночь. Звездная. Без морозца. Снег, уцелевший местами, не хрустел, а мягко поддавался ногам. Насыпь сухая была.

Сели на шпалах, под откос ноги свесили.

Миша опять закурил. И Ленька.

Помолчали.

— Хочешь в революционеры записаться? — вдруг спросил Миша тихо, словно боясь, что кто-нибудь услышит.

Ленька вздрогнул.

Миша стал рассказывать.

Вышло так: в Петербурге существует боевая революционная организация для свержения царского строя путем террористических актов, вооруженного восстания, агитации среди рабочих и солдат. Миша — член этой организации, вступил недавно.

Говорил Миша быстро, без запинки, как по книге или прокламацию читая.

Говорил, не спрашивал Леньку. И тот молчал.

Радостно и жутко было Леньке.

И позналось, определилось это чувство почему-то словом: «Праздник».

IV

Кто-то выдал Троянова и Драковникова и еще двух, но выдал неумело. Никаких улик. Видных членов организации предательство не коснулось.

«Мелко плавал, спина наружу!» — подумал Ленька о провокаторе, когда его допрашивал в охранке жандармский ротмистр.

Показания арестованных сводились к одному:

«Ни к какой революционной организации и партии не принадлежал и не принадлежу».

А Ленька, чтобы ротмистра позлить, приписал еще: «и принадлежать не буду»...

Эти слова жандарм, ругаясь, похерил.

Охранка бесилась от наглого упорства допрашиваемых. Знала отлично, что есть что-нибудь, иначе не стал бы провокатор доносить, но все четверо, как один:

«Знать не знаю и ведать не ведаю».

Молодо, глуповато, действительно, но дело на точке замерзания.

Даже специальные способы дознания не помогли.

Да и где помочь? Крайних мер принимать нельзя: битье, измор — от всего этого огласка может получиться.

Наконец, особое совещание охранки предложило полковнику Ермолику «изыскать средство для раскрытия истины».

Средство изыскано: человеку не дают спать!

Сутки, двое, трое, четверо!

Сколько выдержит.

Пока не свалится. Пока не разбудят: удары, встряхивания, холодная вода, уколы раскаленными иголками в позвоночник, выстрелы над ухом,— когда все эти возбуждающие средства бессильными станут — тогда, конечно, пусть спит, ничего не поделаешь.

Но вернее — раньше сдастся. «Раскроет истину».

Сразу обоих, тех, что помоложе,— Троянова и Драковникова — начали пытать.

В разных комнатах.

Два шпика — к одному, два — к другому.

Дело несложное. И приспособлений почти никаких. Иголки только, ну, да они на седьмые-восьмые сутки потребуются, не раньше.

V

Сначала Мише интересно было.

Закроет нарочно глаза, а охранники оба сразу:

— Нельзя спать!

Или:

— Не приказано спать!

Засмеется и смотрит на них: «Экие, думает, дураки, серьезно и глупость делают».

Сменялись через шесть часов. А он без смены.

Сутки проборолся со сном. Голова отяжелела, но бодрость в теле не упала.

Кормили хорошо: котлетки, молоко, белый хлеб.

На вторые или третьи (хорошо не помнил) сутки беспокойно стало.

Так-таки вот беспокойно. Будто ждет чего-то с нетерпением, каждая минута дорога — а вот, жди.

Скучно ждать, невыносимо.

«Чего ждать, чего я жду?» — спрашивал себя.

И вдруг — понял.

Ждет, когда можно спать лечь, заснуть когда можно, ждет.

Проверил. Верно. А проверил так: глаза закрыл, и само почувствовалось: «Дождался».

Именно — почувствовалось.

Как очнувшийся от обморока чувствует: «Жив».

Задрожал даже весь. От радости! Нет!

От счастья! Первый раз почувствовал: счастлив.

В застенке, в пытках — счастье, от самых пыток — счастье.

Но миг только.

Вдруг увидел: в воду упал. С барки какой-то.

Вскрикнул. Глаза открыл.

Неприятная в теле дрожь. Мокрый весь.

А рядом — не сидят уже, а стоят, и он — стоит, рядом стоят шпики.

На полу — ведро.

Догадывается: «Водой облили».

Холодная, неприятная дрожь. Обиды — нет. Усталость — только.

А они, шпики — не смеются.

Не смешно им и не стыдно, что водой человека окатили. И не злятся. Спокойны.

Один даже говорит:

— Переодеться вам придется. А то мокрые совсем.

Так и сказал: «Мокрые совсем».

В другой смене пожилой охранник, в форме околоточного, пожалел даже:

— Напрасно, молодой человек. Сказали бы, что знаете. Себе только вред и мучение.

— Я ничего не знаю.

— Наверное, знаете,— вздохнул околоточный: — зря полковник не будет...

Молчал Миша. И шпики молчали.

И опять стало казаться, что «ждут» чего-то и они, эти, что не дают ему «дождаться», тоже — ждут. И все — ждало.

Они, трое: Миша и два охранника, и комната с забеленными мелом окнами, за которыми, за мелом, тени решеток, а вечером — окна как окна — белые только, стол некрашеный, длинный, вроде гладильного, диван кожаный, табуретов пара — вся эта странная комната, со странной сборной мебелью, неподвижным унылым светом угольной лампочки освещенная — все ждет.

И люди странные, и комната странная — все.

И ждать — мучительно. Ждать — терпения нет.

Чувствовал и Миша, что миг еще, минута — нет! Секунда — нет! Терция — нет! Миг — не укладывающийся в мерах времени — сейчас, вот-вот — лопнет!

— Скоро ли? — не говорит, а стонет, не жалобно, а воя.

И глазами — то на одного, то на другого.

И, должно быть, глаза не такие, как надо: оба вскакивают и в упор на него.

А он тянет воем:

— Скоре-е-е... Не могу-у-у... больше-е-е...

И внезапно, отчаянно, обрывая:

— У-у-бейте!

И опять:

— У-у-у...

Словно занося тяжелый топор и опуская сильно: —бейте!

И так много раз подряд.

Шпики суетятся. Один бежит в дверь. Другой подает воду.

А через несколько времени гремит замок — висячий на дверях замок, и входит ротмистр.

В пушистые, в бакенбарды переходящие усы говорит:

— Пожалуйте на допрос!

Сам Миша не идет, ведут,— спит.

Без снов, глубоко спит, как в обмороке.

Острая, жгучая боль в спине. Кричит. Глаза открывает. Мягкий, бело-голубой свет.

Стол большой перед глазами и нестерпимо блещет белый лист бумаги на нем.

И кто это напротив? Пушистые русые усы! Кто это?

«А,— вспоминает: — ротмистр!»

— Хотите спать? — мягко, точно гладит, ротмистр.

Или это слово «спать» — гладкое такое, как бархат, ласковое?

Улыбается Миша.

Счастлив от слова одного, от обыкновенного слова: «спать».

Говорит нежно, радостно, неизъяснимо:

— Спать... спать... спать...

Сладко делается даже от этого слова, рот слюной наполняется.

Жандарм опять, поглаживая:

— На один вопрос ответите — и спать. Ведь ответите? Да?

— Да... да... да...

— Льва Черного, Степана Рысса, Кувшинникова, Анну Берсеневу знаете?

— Льва Черного, Степана, Кувшинникова, Анну,— повторяет, как во сне, как загипнотизированный, Миша.

Четко, ходко мелькает перо, зажатое в толстых ротмистровых пальцах.

— Анну Берсеневу?

— Анну Берсеневу,— полусонно отвечает Миша.

— Где виделись?

Миша не понимает. Потом — вдруг понимает: «Выдал»,— остро в голове, как колючая недавно в спине боль — остро в голове кольнула мысль.

— Не знаю,— с трудом, но твердо отвечает.

— Уведите его! — кричит ротмистр, и голос его жесткий, и щетками — жесткие усы.

«Опять — не спать, опять — не спать, опять — не спать!..»

Песней, стихами в голове, и особенно страшно созвучие слов: «опять» и «не спать».

Исступленно, топая ногами, кричит:

— Не могу, не могу, не могу!.. Спать... спать... спа-ать!

— А будешь говорить? Скажешь — все, что знаешь?

Пушистые перед лицом Миши шевелятся усы, и кажется, что они, усы эти, говорят.

А глаза зеленовато-желтые колючими гвоздями.

— Буду... Скажу... Что знаю...

Говорит. Ротмистр пишет. Знает Миша немногое. Про Драковникова упомянул — тот больше знает.

Воли уже нет, есть одно: спать, спать...

Быстро, весело мелькает перо, зажатое толстыми пальцами жандарма.

Протягивает Мише бумагу.

— Здесь. Вот здесь. Крепче ручку, миленький. Имя и фамилию, да, да!.. Ага! Прекрасно, голубчик. Спите теперь спокойненько.

Мишу выносят на руках, несут через двор, в карету. Спит.

— В больницу прямо сдадите, в «Крестах». Доктору Шельду! — громко говорит кто-то из темноты подъезда.

VI

Леньке значительно хуже было.

Связанного, пытали шпики. А Ленька — бунтует.

Из матери в мать — шпиков и ротмистра. Тот и заходить перестал.

А как же Леньке себя вести? Миндальничать? С ними, что его отца убили?

Да и отец ли один? А Олимпиада Крутикова, а Метельников, а калека, Прохор котельщик,— не ихние разве жертвы?

Да только ли эти жертвы?

Пытают? Черт с ними! Пусть пытают! Спать не дают? Они жить не дают, не ему одному, а целой стране, целому миру. А спать — эка невидаль!

И он упорно борется со сном; с наслаждением борется. И кажется ему — победит.

Вера или воля? — десять суток без сна — осунулся только, ослаб, но тверд дух и голос чист и звонок, как всегда. Лишь глаза — ямами, провалами расширенные зрачки — без блеска. Жуткие глаза!

Встречаясь с ними, колющие глаза агентов отбегают, как от пропасти.

Но когда побеждала усталость...

Точно мягче становилось все: тело, голос, мысли даже. Мысли мягкие, припадающие, как хлопьями ложащийся снег, как свет лунный, бледный — бледные мысли — поля лунные, снежные, зимние.

Поле, поле, ровное, искристое, луной залитое, ночное поле... В тройке, бубенцы веселые под дугой — в тройке едет Ленька, пьян-пьянехонек, песню поет.

И звенит голос, как колокольчики троечные.

Вдруг — острая, жгучая боль в спине.

Крик.

Поле, тройка — пропадают.

Комната. Агенты. Зло усмехаются.

— Спать нельзя, голубец!

Говорит круглолицый, волосы — черной щеткою.

— А тройка? — спрашивает полусонный Ленька.

— Не угодно ли пятерку? — смеется черный.

Другой, узкоглазый, как китаец, вторит:

— Шестерку. Лакея ему надо. Хи-хи!

Ленька, искушенный сном, решает, что невозможно больше не спать, а так как спать не дадут, то придется обманом как-нибудь.

«Воровать сон для себя. Покой, необходимый для каждого, красть».

«Черт с ними, буду спать».

Закрывает глаза, откидывается на спинку дивана.

Укол в спину. Как ток электрический.

— А-а! Черт!.. Сволочи! Опричники! — вскрикивает Ленька.

Исступленно ругается страшной руганью, которая статьями уложения о наказаниях предусматривается: бога, царя, веру, закон — как черноморский матрос.

Но... замолкает.

Не хочется — ничего. Ни ругаться, ни говорить, ни двигаться, ни смотреть.

Главное — смотреть. Все предметы: стены, мебель, даже шашки паркетного пола — невыносимы для глаз: кажется, в глаза лезут, рвут веки, распирают до боли — невозможно смотреть.

А закроет глаза — огненные иголки по спине пляшут.

А потом делается смешно. Задорная мысль приходит.

— Доложите ротмистру, чтобы на допрос вызвал,— говорит черноволосому агенту.

Ротмистру Ленька деловито:

— Позвольте бумаги, сам буду писать показания.

— Лучше по вопросам,— предупреждает тот.

— Потом вопросы, а сейчас сам буду писать. Все до словечка — все!..

И ребром ладони наотмашь: все.

Жандарм потирает руки, белые, пухлые, с обручальным кольцом и перстнем-печаткой на безымянном пальце.

А Ленька вздрагивающей слабой рукой неровно выводит:

«Никаких показаний давать не буду, так как не намерен содействовать следствию».

Ротмистр багровеет, ругается тяжело и злобно, как извозчик на упрямую лошадь, и, когда Леньку связывают, кричит надорванно, с пеною на пушистых усах:

— Хорошенько, стервеца, морите! Он спит у вас, наверно? Я вас, мерзавцы!

Грубо ведут по темным коридорам, злобным шепотом ругаются шпики, а Ленька молодым, звонким, тьму затлых коридоров разрывающим голосом — кроет все на свете: бога, царя, веру, закон и жизнь и смерть — все.

VII

Новый способ придумал Ленька: спать с открытыми глазами и ногой качать.

Придумал или само так вышло. Вернее, само.

Чтобы не видеть открытыми глазами режущих веки предметов — туманил глаза сильным напряжением глазных мышц и невероятным усилием воли удерживал веки, чтобы не опускались.

Сначала долго не мог добиться этого «обманного» сна, но потом как-то удалось.

И еще: стал качать ногой.

Сперва тоже не клеилось: заснет — нога с колена соскакивает, или остановится — не качается.

Но потом пошло: и когда спал и сны видел, чувствовал, что открыты — точно на подпорках — веки и качается нога.

И если падали веки, прекращалось качание ноги — просыпался.

Но шпики все-таки обнаружили обман.

По храпению, дыханию ровному, глубокому, немиганию век и помутившимся глазам.

И снова — иголки и удары...

На шестнадцатые сутки, уже давно выданный Трояновым, принесенный агентами на допрос Драковников слабо, но гордо и насмешливо сказал:

— Никаких показаний... Уже писал и расписался. Чего же еще?

Ротмистр и Ермолик, изыскавший радикальный способ для «раскрытия истины», молча и пытливо всмотрелись в жуткие провалы глаз на бледном лице и прочли в них:

— И смерть не страшна.

Увезли. Тоже в тюремную больницу.

VIII

Выдавший товарищей Троянов потерял душевный покой навсегда.

Жизнь стала сплошной бессонницей.

Мучился долго и тайно.

Но человек привыкает ко всему. Привык и Троянов к новому себе — к предателю себе,— привык и даже малодушному поступку своему оправдание нашел: каждый делает то, что предпишет ему какой-то закон — неузаконенный, может, а закон. И если предательство — беззаконие, то закон этот — закон беззакония.

Выдумал так, уверил себя.

Но Драковникова — стыдился, хотя тот ничего не знал о его поступке — охранка умолчала.

Стыдился, а потом возненавидел. И был рад, что сослали обоих в разные места: его в Туруханский край, Драковникова — в Якутку.

И, в ссылке живя, ненависть свою ко всем политически-чистым разжигал, уверяя себя, что он, предатель, по закону беззакония, грязен, беззаконен — должен и линию свою вести как надо.

Если беззаконие, грязь — так во всем.

И, живя в ссылке, вел себя буйно.

Пьянствовал, картежничал, дрался, девушек бесчестил.

Но в глубине души чувствовал, что покой потерян.

А Драковников, в Якутке, сблизясь с ссыльными, многому научился, книг перечитал больше, чем съел за всю жизнь хлеба.

Радовался новой жизни, знаниям добытым.

И в революцию русскую, освобожденный, как и все, из ссылки, приехал в Питер, в новый, праздничный Питер, приехал праздничным.

В Питере товарищи встретились, и хотя Миша не тот стал: «разочаровался, в ссылке пробыв», как объяснил Ленька перемену в товарище,— но обрадовался далекому первому другу.

И жили, как и раньше, дружно: по крайней мере, Леньке так казалось.

Наружно Миша поддерживал прежние отношения. Но политических убеждений он, по его словам, не имел уже никаких.

Спорили часто, и однажды, горячо поспорив, поняли оба, что касаться политики не стоит, и, чтобы не испортить прежних отношений, дали слово спора никогда не затевать.

Но прежних отношений — не было.

Сознавали: Троянов — что для него, бывшего бойца, а потом предателя, нет праздника.

Драковников, боец с первого шага на пути борьбы — до шага победы, сознавал: пир для него, праздник для него, и место на Празднике — Борьбе — Жизни — такое, как и всем бойцам.

Весь мир тогда разделился на праздничных и непраздничных, живых и мертвых.

Так жили вместе чужие, под одной кровлей.

Потом вместе и на фронт попали.

И в один полк: Драковников — комиссаром, Троянов — адъютантом.

На фронте, в тяжелых, лихорадочных, невыносимых условиях чувствовал Драковников, что все в нем и кругом — празднично, и рассказывал об этом даже Троянову.

IX

Комиссар Драковников и адъютант Троянов, раненые оба, захвачены белыми.

Оба приняты за красноармейцев — с винтовками в первых рядах шли в наступление.

Пулеметом их взяло.

Маленькая деревенька настойчиво обстреливалась выбитыми из нее красными. До тридцати пленных, в том числе комиссара и адъютанта, представили пред грозные очи всероссийского бандита-генерала.

Толстый, красный, в светлой шинели с блещущими погонами, перегнувшись на седле, хрипло кричал:

— Кто коммунисты? Выходи! Не то третьего расстреляю.

Багровело и без того красное лицо, и большая, жиром заплывавшая рука расстегивала кобур.

Огражденная штыками, как частоколом, молча стояла шеренга пленных.

— С правого фланга каждый третий два шага вперед, арш! — до синевы побагровел генерал.

Первый третий, телефонист штаба полка, латыш, вышел, задрожав мелкой дрожью, но справился — только хмурое лицо посерело. Второй третий, Троянов — белый как снег, приподнявший раненое плечо, тихо проговорил:

— Я укажу... коммунистов.

— Укажешь? Прекрасно.

Генерал зашевелился в седле.

X

День оссбенно радостный.

Оттого ли, что первый теплый, солнечный?

Оттого ли, что праздничный?

Колоннами, с красными знаменами, плакатами шли и шли, с утра.

В этот день Троянов чувствовал себя особенно плохо.

Тоска невыносимая.

Бродил по улицам праздничным, среди праздничных людей — один.

Угрюмо, уныло шагает, точно за гробом любимого человека.

Думы разные: об одиночестве, о празднике, о расстрелянном Драковникове.

Унылыми обрывками, как в непогодь дождливые облака, плывут мысли.

Троянову не уйти с улицы. Уходил, впрочем, домой. Но дома — нестерпимо: давят стены, потолок, как в гробу.

И опять на улицу.

А кругом веселье, радость.

Весна. Праздник.

В улицу свернул, где не было шествия, в боковую гладкую, солнцем залитую.

Остановился.

Вдалеке плывут — проплывают черные толпы, как черные волны, и красно колеблются ткани, как красные птицы.

Чудилось, что стоит на последней пяди, а сзади — стена.

Хлынет море и затопит. А сзади — стена.

И вот — хлынуло.

Хлынула, накатывалась волнами новая толпа манифестантов, и с нею вместе накатывается в блеске и зное солнца кующаяся песня, неумолимая, как море,— песня:

«Лишь мы, работники всемирной...»

Сейчас накатится.

Толпа черным, многоногим телом заливает, как волнами, мостовую.

Толпа — о д н о, как волны — неотделимы от моря.

Волны и море — одно.

И красными чайками — знамена.

Не помня себя, отделился от стены, сошел с последней пяди и крик издал звериный, задавленный какой-то, похожий на крик эпилептика, и грянулся под ноги идущих. Кричал громко, раздельно, как заклинания:

— Волна! Топи! Скорее! Захлестни!

— Ваше имя, отчество и фамилия? — спрашивает человек в ремнях.

Вынимает из портфеля лист бумаги, кладет на стол.

Троянов называет себя.

Несколько пар глаз напротив и с боков неподвижно уставились в одну.

— Чем вы объясните, гражданин, ваше поведение на улице при появлении манифестации?

— Постойте, товарищ! — прерывает Троянов.

Человек в ремнях удивленно и пристально смотрит на него.

А он тихо, но внятно:

— Я, Троянов, Михаил Петрович, уроженец Петербурга, провокатор, выдавший в 19** году организацию «С. С. Т.», кроме того, на N-ском фронте предал комиссара N-ского полка, товарища Драковникова, расстрелянного белыми в деревне С.

Потом он ясно и обстоятельно отвечает на вопросы, рассказывает, как выдал еще в царское время членов боевой организации «С. С. Т.», потом так же подробно — о предании им и расстреле белыми Драковникова.

Человек в ремнях задает вопрос:

— Что вынудило вас на ваш поступок на улице сегодня? И вот на это... признание?

Тихо, но внятно отвечает:

— Праздник.

— Объясните яснее,— снова говорит человек в ремнях.

Но ответ тот же:

— Праздник.

ПАЛЬТО



С Калязина, Адриана Петровича, грабители пальто сняли. Вечером, на улице. Пригрозили револьверами.

Заявил в милицию. Время шло, а злодеи не обнаруживались.

Да и как найти? Руки-ноги не оставили. Найди попробуй. Петербург не деревня.

Сначала случай этот Калязина ошеломил, но, спустя день-два, когда горячка прошла, новое чувство им овладело: сознание невозможности положения.

Нельзя так!

Невозможно без пальто.

Осень, холода на носу, а тут — в рубахе.

Да и неловко, неприлично: дождь, ноябрь, у людей воротники подняты, а он — в рубахе, в светлой, в кремовой. «Майский барин» — так сказал про него мальчишка папиросник на Невском.

Не сказал даже, а бесцеремонно вслед крикнул.

«Майский барин» — гвоздем в голове, сколько дней.

Положение безвыходное. Как достать пальто — не придумаешь. Денег не было. И ничего такого, чтобы на деньги перевести, тоже.

И без работы. Жил так, кое-чем, случайным заработком, перепискою.

Но на этот скудный и редкий заработок не только из одежды что купить, а питаться и то впроголодь. А подмоги — неоткуда. Родных или знакомых таких, чтобы выручили,— никого.

Время же осеннее, скоро и белые мухи. А затем и морозы.

Но не только холод пугал.

К нему, к морозу-то, может быть, можно и привыкнуть. Ведь ходили же юродивые, блаженные, круглый год босиком. Хотя, говорят, с обманом они: салом ноги смазывали, спиртом.

Но все-таки привыкнуть, может быть, и можно.

Главное же: один в целом городе, в столице северной (именно северной),— один, в рубашке одной!

Центр внимания! Все смотрят.

Невозможно!

Лучше голому. Голый так уж голый и есть — что с него возьмешь?

Спортсмэн или проповедник культуры тела,— бывают такие оригиналы, маньяки разные!

В прошлом году мальчишка один, юноша, часто Калязину на улицах попадался. В трусиках одних. Мальчишка, двадцати нет, а здоровый, мускулистый, бронзовый, что африканец какой, индеец.

Такого даже приятно видеть. Герой, природу побеждает, с холодом борется, с непогодою. Глядя на него завидно даже.

А вот в рубашке если, дрожит если, семенит, а коленки этак подогнулись от холода, нос синий, а рубаха прилипла к спине, примерзла — это уж другое.

Это всем — бельмо.

И недоверчивые, нехорошие при виде такого «франта» у людей возникают мысли: «Пьяница, жулик. Такой ограбит за милую душу, убьет. Встреться-ка с ним глаз на глаз в переулке глухом — что липку обдерет. Что ему, отпетому такому, бродяге-оборванцу, забубенной головушке, что ему? Ограбить, обобрать — профессия его, поди. Промышляет этим...»

Казалось, так думали эти, встречные, вслед недружелюбно, с опаскою поглядывающие...

Сначала чувства отчаяния, угнетения, потом — недовольство, злоба против людей.

Против всех, что на улицах в теплой, в настоящей по сезону одежде.

Злоба на бесчувственность людскую, на то, что человек человеку (как у писателя одного сказано) — бревно.

Да как и не быть злобе?

Разве можно, чтобы в республике свободной, в братской, так сказать, стране, где все за одного и один за всех, коллектив где,— чтобы в столице, в городе первом первой по свободе страны, не в углу каком медвежьем, где люди с волками глаз на глаз, а в самом Петербурге, и вдруг — нате! — человек без одежды,— рубаха какая же одежда? — человек в рубахе, поздней осенью и не по своей вине, а ограбленный, раздетый бесчеловечно. И рубаха-то пускай бы черная, с воротом глухим, а то с шеей открытой, кремовая, в брюки забранная, с галстучком пестреньким, и пояс резиновый с кармашком для часов.

Ведь так на даче только гуляют, купаться так ходят, а не в городе, когда снег того и гляди...

Так думал Калязин, по улицам в поисках заработка бегая, под взорами встречных, недоверчивыми и нехорошими, пробегая, злобно кляня бесчувственность, деревянность бревенчатую людскую, и часто становилось невыносимо, казалось, миг еще — и не совладает со злобою — кинется на первого встречного, за пальто уцепится, за воротник; как кладь какую из мешка, человека из пальто вытряхнет, как его тогда грабители грубо раздевали, вытряхивали из новенького демисезонного его пальто...

Свежее, пасмурнее становились дни. По утрам в комнате Калязина, если дохнуть,— парок изо рта.

Скоро утренники, а потом и снежок первый и морозец первый. Быстро в Питере наступает зима.

Сжимается сердце калязинское от отчаяния — хоть в петлю.

Утром одним Софья Семеновна, квартирная хозяйка, вдова, спекулянтша, спросила:

— Что ж вы в рубашке так и ходите?

В жар бросило от слов этих, и ответить что — не знал.

Унылое что-то, нескладное, вроде:

— Уж и не знаю как и быть, вообще...

А хозяйка — наставительно так и строго:

— Работы ищите. Мужчина, а работы не можете найти. Без работы не оденетесь.

А сама в глаза прямо смотрит. Сверху. Высоченная. Калязин ей ниже плеча, толстая бабища, спекулянтша Софья Семеновна!

И в десятый раз бесцеремонно начинает расспрашивать, как раздели, ограбили.

И, почему-то смущаясь, путаясь, рассказывает Калязин, и рассказ получается неискренний — не верит ему Софья Семеновна. И странно, он тоже не верит — по рассказу путаному, робкому самому даже поверить нельзя.

После, один, лежит на узкой своей кровати, вспоминает недавний разговор с хозяйкою и злится тяжело и затаенно.

Стыдно, досадно, что не мог рассказать так, чтобы Софья Семеновна, бревно это толстое, поверила. Представляет, как стоял перед нею, растерявшийся, как школьник, глаза опустив, и пуговку рубахи зачем-то теребил. Чего смущался, стыдился? Будто не о том рассказывал, как его ограбили, а наоборот — он ограбил кого-то, раздел.

«Дрянь, паршивец: человек тоже! — мысленно ругает себя Калязин.— Щенок, которого каждый, кому не лень, ударит, ногой пнет...»

И ограбили потому, что такой уж подходящий человек. Беззащитный, что пес, щенок. Наверное, так. Ведь грабители не первого встречного грабят, а выбирают, кого полегче.

Вспоминается, как тогда, ограбленный, не бежал, не кричал — стыдно было в рубашке ночью по улице бежать и кричать,— только шаг ускорил, постового милиционера ища, а найдя, подошел не сразу, прошелся мимо раза два и заявлял-то словно между прочим, с извинениями:

— Извиняюсь, товарищ... Сейчас, это... пальто с меня...

Путался, сбивался и тихо так говорил, точно не о грабеже, налете вооруженном, а о самой обыденной случайности и даже просто будто улицу спросить к милиционеру подошел.

Милиционер переспрашивал часто и косился все.

«Тьфу!» — плюет Калязин и гонит неприятные воспоминания, в подушку утыкается, глаза жмурит...

Туго заработки случайные отыскивались.

Или это отказывать стали в работе «такому», в рубашке, но так как и такому, а неловко же напрямик: «ничего тебе не будет!» — вот и говорили, что срочной, необходимой переписки пока не предвидится.

Без дела же сидеть нельзя. Нанялся как-то на поденную, мост перемащивать, доски перестилать.

Работать было тяжело, не привык к такой работе — раньше ничего тяжелее карандаша в руках не бывало.

Работать пришлось с мальчишкою деревенским, из беженцев, с голодающих, наверное, мест.

Мальчишка к работе привычный, здоровый, ломил, как медвежонок. Загнал Калязина в короткий срок. В ушах звенело, ноги дрожали, подкашивались, боялся, что разорвется сердце,— плыли круги в глазах.

А мальчишка подгонял, грубо покрикивал. И ворочал без устали. Только лицо загорелое, блином — точно маслом покрывалось, и грудь рубаху топорщила.

Делалось тяжело — безысходно.

Сердце жгло. Мутило всего.

День холодный.

Первый был утренник.

На лужах тонким стеклышком ледяная корочка.

Розовые, бодрые люди попадались навстречу Калязину. Шел вдоль стен. Привык стенкою пробираться, как животное бездомовое, пес. Не так заметно, не всем — на глаза.

Холодно ушам, кончикам пальцев. И спине.

Железом притиснулся холод между лопаток.

Последний день сегодня ходит — так решил. Последний день без пальто.

Украдет, ограбит, как его ограбили, а достанет.

Чего в самом деле? Если люди — не люди, то и церемониться нечего. Снимай пальто и баста!

Разве люди это? О чем они думают, к чему стремятся?

Вот на углах червонцами, валютой торгуют.

Или щенков чуть не лижут, сеттеров каких-то чистокровных покупают — миллиарды на щенков сопливых.

Они и собак держат при себе и кошек не потому, что любят животных, а для того, чтобы существо подвластное иметь, командовать. Чтобы пресмыкалось перед ними оно.

Потому после революции, как власть от них отняли, особенное стремление они к животным чувствуют. И торговцы-собачники потому на каждом углу. Учли психологию, шельмы собачники! Люди!

Злоба кипит в сердце Калязина. Жарко даже. В рубахе — жарко. Быстро, рысью вдоль стен. Как в котле паровоза, в теле, в сердце, в жилах кипятком кипит кровь, оттого холод не чувствуется и бежит оттого, стремительности своей не замечая.

Не чувствовал усталости, мыслей не было никаких, только сознание: вечером, лишь стемнеет, в переулке, уже облюбованном, ждать будет жертвы.

Без выбора. Первого. В пальто который.

Временами нащупывал в кармане складник. Целый вечер на бруске точил. Софья Семеновна в кино уходила, а он целый вечер — на бруске, на свободе один весь вечер.

Улицу за улицей обходит, колесит, то расширяя, то суживая роковые круги-обходы; кружит, колесит все в районе одном, в том, где переулок облюбованный, место расплаты идола-человека.

Серые, быстро надвигаются ноябрьские сумерки, роют в углах ямы-темноту, блекнут человеческие лица, не видно пытливых, знакомых Калязину людских глаз.

Замедляет шаг быстрый, не раскидывает обход свой, а у́же и у́же смыкает круг, ближе, все ближе к переулку облюбованному, к месту примеченному, месту расплаты за бесчувственность идола-человека.

Долго стоит в переулке, у забора, нож уж за пояс заткнув, зорко вглядываясь в узкий, вечерне-потемневший переулок.

Вздрогнул.

Вдалеке, среди мостовой, на отсветах окон — человеческая фигура.

«Сюда идет!» — соображает Калязин.

И ждет. Но не деятельно, не так, как готовящийся к чему-то жуткому, необычайному, не как разбойник жертвы в ночном лесу ожидает, зверино к нападению готовый, хищный наскок в недвижности каменной ярче, чем в самом прыжке, вылив, в недвижности, что сама уже — дело, акт почти завершенный, не так ждал Калязин, а просто чересчур, как бы улицу нужную спросить у прохожего или спичку, огня для папироски.

«Э, черт! — с досадою ругается про себя.— Как тогда милиционеру заявить стеснялся... Тьфу!..»

Близко уже черная высокая фигура. Мерно, гулко на подмерзшей дороге звучат шаги.

Вот сейчас подойдет.

Делает шаг вперед Калязин, крепко рукоять ножа сжав. Еще шаг.

«Стой» — хочет крикнуть этому черному, бесстрашно идущему навстречу, но, почти столкнувшись, различив белеющее пятно лица, отступил почему-то вбок, неловко, в лужу, подмерзшую льдом, затрещавшую, ступив, пробормотал:

— Извиняюсь.

И, обойдя черную длиннополую фигуру, остановившуюся нерешительно и опасливо, торопливо зашагал.

А в ушах нестерпимо звучали, с каждым мигом затихая, шаги прошедшего мимо, того, в пальто который...

КАНУННЫЙ ПЛЯС

Посв. Отто О.-С.

I



Ваня — неугомонный шалун. Шалости его необычайные: то на крышу дома через чердак выберется и спокойно разгуливает, точно это ему обыкновенный тротуар, а то надумает на санях покататься летом — втащит санки на пятый этаж крутой винтовой лестницы и скатывается, как с гор на масленой.

И как не убился, рук-ног не поломал — совершенно непонятно.

Но удаль Ванина не была обыкновенной удалью здорового мальчугана, и не являлась она естественным разряжением скопившихся молодых сил.

Да и удаль ли это была?

Озорничать Ваня стал не раньше не позже с двенадцати лет, после поездки к тетке в деревню, где он впервые видел пляшущих деревенских парней.

Было так: в канун Иванова дня, в истомную летнюю ночь,— на белом мосту, простертом над речушкою, изломами прочерченной в берегах,— перед глазами Вани проносились горячо и проникновенно пляшущие, точно творящие непонятную литургию, тела и души.

И вот, после короткого перерыва, вышел на середину моста высокий, в белой рубахе, парень, Иван по имени.

И вдруг мальчик почувствовал что-то новое, незнакомое и вместе — близкое.

И хотя парень плясал того же трепака, что и выступавшие до него: так же «вил веревочку», рассыпал дробь «чечетки» и сменял ее мягкою и дерзкой присядкой, и, как некий жрец, вздевая руки, вскрикивал экстазно: «Ах-ха!» — но чувствовалось: скрыто в танце и самом танцующем что-то новое и незнаемое доселе, словно мысль небывалую вложил человек в танец, веру какую-то новую раскрывал.

И вот — точно отхлынул, откатился звенящей колесницею медный гармонный хохот, отступили люди, отодвинулись мост и речушка,— и вовсе уже не танцует высокий белый Иван, а ведет Ваню в ночной лес искать клада. С замирающим сердцем ждет мальчик, когда в ночи затеплится колдовской лампадою колдовской купальский цветок.

А лес дыхание затаил, а травы замерли, склонились и ждут нестерпимо, когда дерзкие пришельцы сорвут огненный цвет Иванов, дивный ключ к затаенным сокровищам.

С того дня и стал Ваня искать.

И то, принимаемое всеми за шалости, озорство, было именно исканием непонятного, необходимого.

Но искание не удовлетворяло, ибо не может ищущий удовлетвориться, не найдя. И удовлетворится ли, когда найдет?

И потому всегда напряженно, с годами все с более каменеющей тоской, смотрели Ванины глаза и ясно выступало из них искание упорное и не терпящее великое ожидание.

И чтобы чем-нибудь заполнить душевную пустоту, ощущаемую всякий раз после тщетных исканий неведомых, смутно сознаваемых красот, решил Ваня искание это оформить. А для этого надо что-нибудь находить. А чтобы находить, надо сначала терять. И придумал игру в «находки».

Уходя гулять, брал из дома какой-нибудь предмет: перочинный ножик, коробку, карандаш — и, зайдя в безлюдное место, чаще всего в Екатерингофский парк (Телешовы, родители Ванины, жили недалеко), и выбрав полянку, где трава погуще, зажмуривал глаза и через голову, далеко назад, швырял ножик, коробку или карандаш и после искал, иногда долго, и, внезапно найдя, радовался.

Особенно обаятельно было найти предмет, несоответствующий окружающей обстановке, например пресс-папье в лесу или чашку с блюдечком где-нибудь на берегу реки.

И делал это: тайно уносил из дома фарфоровую китайскую чашечку с ложечкою и блюдечком, ставил ее на илистый берег речки Екатерингофки, отбегал, кружась колесил, чтобы забыть место, а потом шел искать и, внезапно найдя,— радовался.

Дома играл, пряча пуговицы, оловянных солдатиков в трубу печки или в цветочные вазы. Любил находить в книгах засушенные цветы, ленточки-закладки.

Но и тут хотелось, чтобы находки эти были необычайными, а для этого вынимал из библии ленту с вышитой на ней славянской надписью: «Радуйся, Афонская горо!» — и перекладывал

в куперовского «Следопыта» или в военный сборник: «Чтение для солдат», а георгиевскую ленточку, невесть откуда взявшуюся, предмет, напоминающий о войне, крови, геройстве, клал на тихие страницы евангелия, где повествовалось о Христе, молящемся о чаше, об обреченности своей.

II

Иван Николаевич Телешов живет у вдовы-акушерки Ольги Прокофьевны на Казанской, близ Невского.

Комната у него небольшая, окном во двор; напротив — желтая слепая стена с грязными подтеками, протянувшимися донизу.

По двору бродят куры, ища чего-то среди гладких камней. Ребятишек во дворе мало: двое-трое мальчиков и ни одной девочки.

Мальчики ежедневно играют в «выбивку» молча, деловито, с размаха бьют монетами по камням. Так играли давно, когда монеты в ходу были. И потому, что дети играют так же, как играл Телешов двадцать лет назад, ничего нового не могли придумать, найти; и потому, что нет шума, оживления и радости во дворе,— Ивану Николаевичу всегда дома скучно.

Странный человек Иван Николаевич Телешов, и странность его жутка и необычайна: людей любит и ненавидит одновременно.

Любит за то, что в них заложено что-то хорошее, светлое — познаваемое иногда, когда смотришь на спящего или задумавшегося человека; ненавидит же за то, что люди постоянно смотрят на себя, видят себя во всем: в словах, в действиях, а так как смотрят только на себя, то не замечают путей, по которым жизнь им идти заповедала, не идут по путям этим, а только собираются идти, как собирающийся выйти из дома — чистится, одевается, прихорашивается перед зеркалом.

Еще не любит Телешов уродов и животных.

На животных не обращает ни малейшего внимания и отрицает в них всякую красоту. Зверей же диких ненавидит и чувствует к ним органическое отвращение.

Удивляется, что люди держат в квартирах, где сами живут, кошек, собак.

Однажды сказал одной знакомой женщине, надоевшей ему восторженными рассказами об уме и красоте ее песика, какого-то «Джека» или «Джемса»:

— Советую вам выйти замуж за фокстерьера.

И сказал не грубо, а спокойно — точно в самом деле давал

искренний совет. И смотрел при этом в глаза ошеломленной женщине напряженно, с каменеющей тоской.

Странный человек Телешов, и странность его жутка и необычайна, и — несчастен, ибо не может быть счастливым тот, кто, любя людей, одинок с ними, любимыми, а он любил всех, и ненависть его к уродам была местью за оскорбленную красоту, за попрание человечества.

Животных же и зверей не любил за то (как сам это объяснял), что не будь их — не было бы в людях животных и звериных наклонностей, от которых происходит все на земле зло.

III

У вдовы-акушерки Ольги Прокофьевны двое детей: семнадцатилетняя Таня и пятнадцатилетний Вовочка.

Таня — хорошего роста, черноволосая, черноглазая (за глаза черные и влажные брат называет ее «черная смородинка»). Смугла, как цыганка. А маленькая коричневая родинка на щеке делает лицо девушки необыкновенно милым.

Но очень резка, даже на смуглом лице, слишком яркая алость губ. Точно кровью увлажнены до жути алые, коралловые губы.

Когда она целует и обнимает маленького, беленького, нежного брата (а они всегда как влюбленные), кажется, что зацелует, заласкает мальчика до потери сознания, до смерти.

И жутко, что мальчик, влюбленный в сестру, тянется к ней неодолимо, как нежный цветок к сильному солнцу, сжигающему губительными поцелуями.

И еще более жутко становится, когда Таня вдруг, закипая непонятным кипением, раскрасневшаяся сквозь смуглоту, начинает особенно порывисто, бесконечно целовать Вовочку, а мальчик, истомленный ласками, слишком женскими, опьяненный близостью тела, влекущего и отталкивающего, *сестриного* тела, впадающий в исступление от огненных поцелуев, доведенный до ужаса при сознании возможности свершить невозможное, с непонятною для него силою — вырывается из объятий девушки и кричит голосом звонким, как серебряная, немилосердно натянутая струна:

— Танька, не смей! Противная! Довольно с тебя!

И ненависть, и любовь, и отчаяние, и радость спасения переплетены в жутком крике, и голубым огнем загораются глаза.

Гневные глаза и святые.

Так, вероятно, смотрел на жену Пентефрия библейский Иосиф.

А Таня смотрит загадочными, черными влажными глазами, и застывает в непонятной улыбке ало-влекущий рот, и чудится — вот-вот прорвется на губах нежная кожица и скатится каплями кровь, как небывалой прелести напиток.

Наблюдая случайно подобную сцену, Телешов полюбил обоих.

Полюбил за искание, за то, что теряют себя и находят.

И боялся одного: когда-нибудь потеряют и уже больше не найдут.

IV

Однажды Телешов возвращался со службы из нарсуда.

Вечер был погожий, настоящий весенний. По голубому небу пролились молочными полосами облака. Воздух отражал шум улиц особенно четко и гулко. Похоже было, будто с города сняли невидимый футляр, заглушавший звуки и скрывавший от глаз движение улиц.

И вот, весело и звонко зазвучали, разбегаясь во все стороны вместе с лошадьми, людьми и трамваями, разнотонные и разносильные звуки.

Когда проходил Телешов по Аничкову мосту и глядел сверху на людей, кишащих по всему пропадающему вдали проспекту, вдруг представилось ему, что он всегда шел по Невскому мимо людей, обгоняя одних и обгоняемый другими, встречаясь каждую минуту, секунду, изо дня в день и так всю жизнь все с одними и теми же людьми, и сам встречается каждую секунду изо дня в день всю жизнь людям.

Вспомнился опять танец, виденный в детстве, в канун Иванова дня, заставивший его всю жизнь искать чего-то, что вряд ли найдет, ибо что можно найти в одном и том же магическом круге, из которого выхода нет?

Тоскливо стало и не по себе. Остановился даже у какого-то книжного магазина, чтобы собраться с мыслями...

Взгляд случайно бросив на панель, увидел бумажку в 500 р. дензнаками — 500 миллионов. «Клад нашел!» — уныло и насмешливо подумалось.

Поднял бумажку и отошел от окна.

На подоконнике пустого магазина старуха глухим скрипучим голосом просила милостыню.

Вынул из кармана найденную бумажку, но, взглянув на

жадные, слезящиеся глаза и безобразный мокрый беззубый рот, подумал брезгливо: «Какая мерзкая старуха!»

И отошел с неприятным, похожим на тошноту чувством, и бумажку, точно она загрязнилась от жадного взгляда старухи, держал двумя пальцами на отвес.

Взгляд его случайно остановился на толстощеком, как купидон с итальянских картин, мальчишке, звонко и сочно выкрикивающем:

— Кому «Зефир»! «Три А»! «Гражданские» кому?

— Поди сюда! — позвал Телешов.

— Каких, гражданин, прикажете? — ласково и нагло глядя в глаза, спросил мальчишка, но, увидев бумажку, протянул разочарованно:

— Сдачи, гражданин, не найдется.

А Телешов, сунув ему в руку деньги, сказал, отвечая на его вопрос и ответ:

— Никаких, гражданин, не прикажу. И сдачи не надо.

И пошел дальше, оставив озадаченного мальчугана рассматривающим дензнак на свет.

V

Уволенный со службы по сокращению штата, Телешов целыми днями наблюдал из окна за мальчишками, неизменно играющими в устаревшую скучную «выбивку», больше же лежал на кровати, курил в трубке табак «кошмарного качества» (как сам называл) и думал.

Иногда думалось о том, что одинок.

Делалось скучно.

Иногда думал о Тане.

Таня приходила к нему за книгами.

Однажды пришла после часовой возни с братишкою, разрумянившаяся, с жутко-прелестными губами, готовыми пролить капли алой крови.

— А вы, Таня, все братца мучаете? — обратился к ней Телешов.

Девушка тихо засмеялась.

— Вовочка все хотел меня побороть, только где же ему. Он такой малюсенький, а я большая, тяжелая. Я с ним слегка справляюсь. Я — озорная. Тискать люблю его, щекотать.

— А что вы еще любите?

— Люблю играть, бегать, лазать по деревьям. Плавать люблю. А вы что любите? — спросила, в свою очередь, девушка.

— Я люблю делать людям зло,— ответил Телешов и рассказал недавнюю историю со старухой на Невском. Думал, что девушка удивится, что ей не понравится его поступок, но она, к его удивлению, весело засмеялась.

— Эта старуха противная. Я ее знаю,— сказала она,— она богатая была раньше.

Таня подробно рассказала, что старуху зовут Марья Платоновна, что она имела магазин на Симеоновской, но пьяница-муж прожил ее состояние.

— Она до безумия скупа,— рассказывала девушка,— я думаю, у нее и теперь деньги есть, но она от жадности нищенствует.

После разговора с Таней старуха не выходила из головы Телешова.

С удовольствием вспоминал, как он старуху, урода этого жадного, так ловко на Невском обскакал.

Страстно захотелось еще получить наслаждение, но только посильнее: уж не пятьсот каких-нибудь «лимонов», а миллиардов бы этак двадцать-тридцать дать ей, а потом отнять и на ее же глазах отдать мальчишке, здоровяку толстомордому с «Зефиром Гражданским».

— Умрет карга, уродина, от жадности,— потирает от восторга руки Телешов,— как пить дать — ноги протянет, а то с ума сойдет. Так, не сходя с места, и сойдет.

Смеется долго, до слез, до изнеможения, и не сидится дома.

Бежит на Невский, к Казанскому (теперь она всегда у собора), старуху разглядывает, уродливостью ее до тошноты возмущается и план мести за красоту потерянную и поруганную и за попрание человечества алчностью — план вырабатывает.

Потом приходит с «практических занятий» от собора и ходит, ходит, думает, думает, озорник с детства, для озорства временами живущий.

И сознает, что, выполнив план свой, алчность-уродство в лице старухи Марьи Платоновны, нищего урода, распяв, только выполнив план задуманный — найдет то, что заповедано жизнью самой найти, в извечном плясе новое колено найдет, новое «па», открывающее «па», от которого, кажется, слепые прозреть должны.

И будет пляс его, Телешова, и всего, что есть истинно, к а н у н н ы м.

VI

Странный человек Иван Николаевич Телешов, и странность его жутка и необычайна.

Собрал деньги, сущие пустяки, мебель скудную продал, вещички кой-какие, оставил кровать, стол, два стула да то, что на себе, и отправился в клуб в карты выиграть деньги, необходимые для осуществления задуманного плана.

И твердо верил, что выиграет. И оттого ли, что верил твердо, или посчастливилось так, в «полосу» угадал такую, бывает это в игре, как опытные игроки говорят, бывает такая «полоса». Случай, конечно.

Все случайно. Но выигрывать стал с первого же вечера игры.

Играл пять вечеров и ночей, как говорится, «из-за стола не вылезая», до сорока миллиардов, до старухиной суммы гнал.

На шестой вечер сказал: «Довольно!» — и, дома считая куш, выигрыш свой чудесный подытожил, сумму, даже бо́льшую, чем надо: семьдесят три миллиарда.

Бегал из угла в угол по опустелой комнате, с кроватью одной, столом и парою стульев, курил кошмарного качества табак (забыл с выигрыша хорошего купить).

Ночь не мог скоротать, дня не мог дождаться, дня долгожданного, дня посрамления уродства-алчности, дня мщения за красоту потерянную и поруганную.

Но утром, когда ожил двор и зазвенела мальчишеская «выбивка» и Ольга Прокофьевна, вдова-акушерка с саквояжиком в руках, по двору просеменила, на службу, в родильный пошла, и утренний Вовочкин серебряный смех за стеною пролился, и Танин голосок замурлыкал песенку (всегда по утрам пела, молитва это ее была девичья, солнцу молилась, весне — молодости) — когда все эти звуки, с солнцем, желтый слепой флигель облившим, наступление дня телешовского возвестили ему, Телешову, вдруг в этот момент, когда нужно было действовать, план задуманный в жизнь проводить, новое что-то стало томить Телешова, новая мысль какая-то, еще не осознанная, но пробивающаяся в мозгу, как травинка после дождя из весенней земли чуть заметной зелененькой точкою сначала выбивается.

Не давала действовать эта новая мысль, даже не мысль, а желание какое-то, еще не осознанное.

Напряженно думал и не мог уяснить, и казалось, что это голос Тани за стеною мешает ему сосредоточиться, и, не замечая сам, стал прислушиваться к ее голосу.

А Таня уже не мурлыкала, а пела вполголоса, и, хотя не видно было поющей девушки, но чувствовалась вся она, с бле-

щущими загадочною чернотою глазами, с губами, до жути алыми, с тоскующим по любви и боящимся в то же время любви — телом.

И понял Телешов, что голос этот или, вернее, Таня, посредством пения в мозгу его возникшая, не думать ему мешает, а не дает уйти туда, к Казанскому, за старухой Марьей Платоновной.

Но почему же она мешала? И понял — почему, и, поняв, затаил дыхание и, на цыпочках ступив к стене, постучал согнутым пальцем.

Пение прекратилось, сменившись смеющимся возгласом:

— Алло! Откуда говорят?

— Зайдите ко мне на минутку! — крикнул Телешов.

Таня пришла, тихо напевая, вопросительно глядя на Телешова.

А он смотрел не на девушку, а в угол куда-то и заговорил сразу же, неторопливо и тихо:

— Поздравьте меня, Таня! Я разбогател. Выиграл семьдесят три миллиарда.

Таня не поверила, засмеялась:

— Уж вы выиграете, пожалуй.

Телешов подошел к кровати и приподнял подушку.

Там лежали сложенные пачками деньги.

Девушка, удостоверившись, что он не шутит, сказала просто:

— Молодец, Иван Николаевич. Поздравляю.

И прибавила быстро.

— Только не играйте больше! Слышите?

— Я их хочу отдать! — сказал Телешов.

— Кому? —— удивилась Таня.

— Вам, но с условием, чтобы вы дали себя поцеловать.

— Вы с ума сошли? — крикнула Таня, и глаза ее сверкнули.

Но Телешов, твердым каменеющим взглядом выдержав гневный ее взгляд, заговорил тяжело и ровно, точно шагая:

— Семьдесят три миллиарда за один поцелуй — колоссальная плата. И вовсе я не сумасшедший. Скорее, безумным можно назвать того, кто отказывается получить такую выгодную премию.

И, отойдя к столу, забарабанил пальцами, бросив безразлично:

— Как хотите, впрочем. Даю пять минут на размышление.

Таня молчала, но не уходила, а Телешов глядел на желтую слепую стену с грязными подтеками, полосами, протянувшимися донизу, и думал мучительно: «Если согласится, если алчность победит девичий стыд — нет красоты на земле! Отдам тогда

старухе, алчностью изуродованной, все отдам. Не сорок ассигнованных, а семьдесят три! Все!»

Боялся, что Таня заговорит, и боялся молчания, и тоскливо, до боли в ушах, звенели со двора монеты ребятишек, в «выбивку», в алчность играющих.

Вздрогнул, когда раздался за спиною голос Тани, тихо позвавшей:

— Иван Николаевич!

Обернулся и вздрогнул опять при виде побледневшего под смуглотою лица девушки и огнем горящих глаз.

— Я согласна,— выдавились как-то слова.

Опустилась на стул.

«Гибнет красота! Торжествует алчность!» — заупокойно поплыло в голове, и, сделав шаг к девушке, замер от страха.

Таня, побледневшая еще сильнее, с немигающими, погасшими глазами и застывшим, как неживой цветок, ртом, жутко окаменевшая, сидела на стуле.

— Таня! — вскрикнул не своим голосом Телешов и схватил девушку за руку. Но она не вздрогнула и сидела все так же окаменело, как мертвец.

«Столбняк, что ли? Каталепсия?» — думал тоскливо и тревожно Телешов и, слегка поддерживая рукою девушку, позвал негромко:

— Вовочка, поди сюда!

Но мальчик не откликался. Или не слыхал, или его вовсе не было дома.

«Гулять убежал,— подумал Телешов.— Надо бы воды...»

Но Таня стала приходить в себя. Сначала легкая дрожь пробежала по телу и передалась судорогой в лице, потом зашевелились губы и прояснели глаза.

— Дайте воды,— прошептала.

Телешов, все еще боясь за девушку, торопливо вышел в соседнюю комнату и, наливая из графина воду, думал: «Экая история! И дернуло же меня. Что она — больная, что ли? Эпилептик какой-то!..»

Оправившись, выпив воды, Таня ушла к себе, а Телешов, оставшись один, почувствовал неловкость и досаду на себя, но в то же время и хорошо было: «Красота еще не посрамлена. Стыд девичий не дал восторжествовать уродству — алчности...»

— Иван Николаевич! — раздался вдруг голос Тани.

Телешов удивился. Он не ожидал, что она заговорит с ним так быстро после происшедшего.

— Что прикажете? — откликнулся.

— Придите, пожалуйста, сюда!

Когда вошел к ней, она сидела с книгою в руках, и лицо у нее было свежее и веселое, как всегда.

— Зачем вы меня звали? — спросил.

— Я хотела попросить вас купить цветов,— ответила Таня, продолжая глядеть в книгу.— Вы можете это исполнить?

— Конечно. Только лучше, чтобы вы сами выбрали.

— Купите незабудок. Знаете незабудки?

— Еще бы не знать...

— Да, их все знают. Только, пожалуйста, в горшочках, чтобы они дольше пожили.

Таня вздохнула отчего-то.

VII

Три корзинки цветов купил.

Розы, яркие и пламенные, как Танины губы, лилии, белые, как чистота ее девичья, и скромные, голубенькие незабудки, как стыд ее, спасший ее сегодня от алчности.

Таня грустно смотрела на цветы.

— Розы я люблю, но сейчас не хочу их. Лилий от вас не приму. А вот... незабудки...

Она не договорила и, взяв в руки корзиночку, такую же скромную, как цветы, поцеловала цветы и заплакала.

— Что с вами, Таня? — удивился Телешов, и стало опять неловко и досадно на себя.

А девушка, обратив к нему плачущее лицо, заговорила громко и торопливо, словно боясь, что ее не услышат или не дадут договорить.

— Да... незабудки я сохраню надолго. Если сумею — на всю жизнь. И пусть они напоминают мне вечно о сегодняшнем дне, когда вы, Иван Николаевич, купить меня хотели за деньги, в карты выигранные, за чужие деньги.

Она поставила корзиночку и быстро пошла в комнату Телешова, натыкаясь на мебель, как слепая.

Телешов последовал за ней, думая: «Опять еще припадок будет... Или это алчность бунтует — подвига требует от красоты...»

А Таня, сбросив с кровати Телешова денежные пачки на пол, кричала надрывисто и жутко, как человек, которого жестоко бьют:

— Вот они! Семьдесят три миллиарда! Колоссальная плата за поцелуй. Не правда ли? Слишком большая плата за стыд, за унижения.

Слезы текли по горячим щекам и высыхали на них — так

буйно горела под кожею молодая кровь, а губы, алые до жути и до жути искаженные гневом и страданием, дрожали быстро и непрерывно, и уже не крик, а тихие слова стекали с губ, как сама под кожицей алеющая кровь.

И страшными, вещими и нежданными для Телешова были эти кровавые слова.

— В сегодняшний день люди в старину о кладах мечтали, разрыв-траву искали, Иванов цвет. Счастья искали, слышишь? Сегодня я мечтала о счастье, о любви, о те-е-бе мечтала, слышишь? О те-бе! Пела с утра. Пела и думала о тебе. Люблю тебя, слышишь?

Это «слышишь» стекало с ее губ, как из раны льющаяся кровь.

Не смея глядеть на девушку, непомерно-красивую и страшную от гнева и страдания, не смея говорить что-либо в оправдание от охватившего всего его вдруг стыда, отвернулся Телешов, на стол опершись, и в слепую, желтую стену флигеля смотрел, на грязные подтеки. А сзади обливали его горячие и жуткие потоки слов.

— Люблю тебя... Не стыжусь сознаться... Девушки не признаются в любви первыми, а я признаюсь. Что мне стыдиться, когда ты меня покупал... За семьдесят три миллиарда, за колоссальную сумму. Так вот... незабудки мне напоминать будут, как любимый человек поцелуй на деньги перевел, цифрою изобразил частичку девичьей любви. Семьдесят три и девять нулей равняются поцелую... Ха, ха, ха! — вдруг засмеялась Таня странно и нехорошо.

Телешов обернулся, тоскливо думая: «Опять припадок...»

Но Таня, вдруг повернувшись круто, вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Долго стоял Телешов без всякой мысли, уставившись в разбросанные на полу пачки, а когда за стеною раздался голос Вовочки, пришедшего с прогулки, вздрогнул, прошелся взад и вперед по комнате и, подойдя опять к пачкам, стал бросать их в открытую дверцу печки, потом открыл трубу и позвал Вовочку, постучав в стену.

Когда мальчик вошел, спросил его:

— Ты знаешь старуху Марью Платоновну, нищую?

— Знаю,— улыбнулся почему-то Вовочка.

— Будь добренький, Вовочка, приведи ее сюда. Я ей кое-что дам... Денег дам.

Добрый Вовочка радостно улыбнулся.

— Правда это, Иван Николаевич?

— Что же я, смеюсь, что ли? Позови, милый, старушку бедную.

— Сейчас. Я — мигом! — крикнул мальчик, выбегая из комнаты.

В ожидании Вовочки, Телешов, подумав, вынул из печки деньги, распечатал, чтобы виднее было, в кучку собрал кредитки и бутылку с керосином рядом поставил.

Потом подошел к окну и смотрел, как по двору бродят куры, тщетно ища чего-то среди гладких камней.

VIII

— Иван Николаевич, мы с бабушкой пришли! — звенел за дверью радостный голос Вовочки.— Пришли-и мы-ы!

Рука Телешова застыла на ключе, вложенном в замок двери.

Страшно было растворить дверь, страшно старуху впустить. А почему — объяснить невозможно.

«Что это? Раскаяние? Неуверенность?» — спрашивал с тоскою Телешов.

Но ответить ничего себе не мог.

А Вовочка опять зазвенел серебряной струной-голосом:

— Иван Николаевич! Пришли мы! Вы спите? Мы пришли-и!

Повернул ключ в замке и, широко растворив дверь, подумал: «Занавес взвился...»

Почувствовал себя артистом.

— Здравствуй-те, батюшка,— зашамкала мокрым ртом старуха и поклонилась низко — мешок ее вонючий пола коснулся (мешок, для кусков предназначенный,— всегда с ней). А глаза из рамок воспаленных век гвоздями кололи.

Стало до злобы противно, но совладал с собою и, вежливо ответив на приветствие старухино и усадив ее, повел роль.

— Простите, бабушка, что обеспокоил вас, но есть чем помочь вам, кажется.

— Помилуй, батюшка, что за беспокойство. Этим и кормлюсь.

— Как? Как? — перебил ее Телешов.— Чем — этим?

— Известно, сын, именем Христовым...

— Ах, так,— протянул Телешов.— Ну, да теперь-то просить не придется. Не придется, бабушка милая, да...

Стал набивать трубку. Выдерживал паузу.

Чувствовал, как радость злобная, непомерная, задрожала в груди.

Встал решительно и, подойдя размеренным шагом к печке, указал на денежную кучу, на которую с изумлением все время

смотрел Вовочка (старуха же ее, наверное, не видела), и сказал громко:

— Вот! Чувствуй, старая! Забирай все мое казначейство! Копеечка в копеечку — семьдесят три миллиарда! Что? Забирай, говорю. Денег у меня — много. Куры не клюют. Все равно сжечь хотел, да вовремя о тебе, убогой, вспомнил!..

Не понимавшая было сначала, старуха вдруг затряслась, глаза вспыхнули свечками, и вой, настоящий собачий, радостный вой вырвался из хрипящей груди:

— Милый! Спаситель! Ба-а-тюшка!

И кинулась к деньгам. Куча денежная, магическая, влекла неудержимо. Кинулась, не видя ни Телешова, ни Вовочки, наткнулась на обоих, от алчности ослепла — только кучу денежную, магическую, видела.

Прыгающей рукою совала шелестящие бумажки в мешок, для кусков предназначенный, в вонючий мешок, и вой собачий смешался со смехом и радостным рыданием, и змеиным шипом вылетали слова:

— Денежки... денежки... Бумажечки... бумажечки... Старушку бедную господь-батюшка наградил.— А-а-а!..

Точно укачивала дитя любимое.

— А-а-а!..

Это томление от счастья нежданного, от восторга необычайного, бросало старуху от безумия к сознанию, от сознания к безумию.

Бросало, укачивало колыбелью. И глаза закрыла, мешок к груди прижав. На пороге безумия и смерти застыла.

И на всю эту, страшную своей необыденностью картину три пары глаз уставились, не мигая: огненные, экстазные, как у пляшущего,— глаза Телешова, радостно-испуганные — глаза Вовочки и загадочные — Тани, стоящей на пороге.

«Пора!» — прозвучало в голове Телешова.

Именно — прозвучало, а не подумалось.

И, подойдя размеренным шагом к старухе, стоящей еще в столбняке очарования,— лихо, точно в плясе колено невиданное выкидывая,— вырвал из рук мешок и вывалил все деньги разом — крикнул в непонятной веселости и удали:

— Погуляла, старушка божия! Хоть во сне богатой была. На чужой каравай рта не разевай!

И залился безудержным мальчишеским, Вовочкиным смехом.

Быстро, не давая опомниться ни себе, ни старухе, обеими руками захватил чуть не все бумажки сразу, точно не руки это были, а вихрь,— бешено метнул их в отверстие печки и, подобрав остальные бумажки с пола, так же метнул и их, выплеснул из бутылки керосин и чиркнул спичку.

Действовал быстро, как артиллерист у орудия, в бою.

Услышал за спиной вой старухи, вдруг как-то повисший в воздухе, и подумал: «Алчность висит в воздухе...»

Оглянулся и увидел раскаленные гвозди — глаза старухи, и страшно и мерзко стало. Чувствовал, что миг еще — и влепит чем-нибудь между этих глаз, как между глаз зверя, со страхом и омерзением, пускает охотник ружейный заряд.

И в то же мгновение и Вовочкины глаза голубые, не понимающие, незабудки, увидел, и Танины, напряженно и загадочно следящие за старухою, без блеска, черные, как ямы.

И руку, протянутую к печке, с указующим перстом не опускал, и чудилось ему, что срывает он огненный Иванов цвет в Иванову чародейную ночь, и ведьма огнеглазая силится помешать ему — кинуться хочет между ним и цветком.

Март — май, 1923

СЛАВНОВ ДВОР

Посв. Отто О.-С.

I

В ДОМЕ СЛАВНОВА



одители Вени Ключарева двадцать с лишним лет в доме Славнова прожили. И всё в одной квартире, номер — тридцать.

Бывает такая оседлость, привычка у людей.

Квартира — тридцать, окнами во двор, но светленькая, веселая: четвертый этаж и сторона солнечная.

Коридор только темный, страшный.

По коридору этому Веня стал без опаски с девяти лет ходить. А раньше — днем и то бегом, с бьющимся сердцем.

Вечером же, бывало, ни пирожным, ни шоколадом каким и мармеладом не соблазнить. Не пойдет!

Славнов двор казался Вене огромным, рябым, серым полем, с двумя дорожками.

Дорожки эти — панели, от двух лестниц до ворот.

Остальные же три лестницы без дорожек, так.

В конце двора, далеко-далеко у кирпичной нештукатуренной стены бревна-дрова сложены до второго почти этажа.

По утрам и вечерам их колол большущим, больше Вени и других славновских ребятишек, топором богатырь в белой рубахе, с засученными рукавами.

Колол не так, как колют,— ну, взять да колоть, а забивал железный клин, долго звонко стучал топором по клину, и с треском разваливалось потом толстое бревно.

Веня, осенними дождливыми днями, когда не пускали гулять, подолгу смотрел на работу богатыря. Даже приучился по звуку топора узнавать, когда бревно не поддается и когда скоро развалится.

Потом прибегал мальчуган, брал в охапку наколотые дрова и уносил куда-то.

Веня решил, что мальчуган — сын богатыря, будущий богатырь, и дрова им нужны для варки пищи в больших богатырских котлах.

Варят же они, конечно, целых быков.

Но когда Веня подрос — богатырь богатырство свое потерял. Оказался худощавым и невысоким вовсе, обыкновенным мужичонкою, клинобородым, вроде пахаря из хрестоматии, там, где «Ну, тащися, Сивка».

И — как узнал из разговоров с ним Веня — никаких он богатырских подвигов не совершал: со Змеем-Горынычем не дрался, о Соловье-Разбойнике слыхом не слыхал и не крал прекрасных царь-девиц.

И имя у него было не Илья, не Добрыня и не Еруслан, а совсем не богатырское — Харитон.

И мальчуган, прибегавший за дровами, вовсе не был ему сыном.

А оба они из овощной и хлебопекарни Малышева из Славнова же дома: Харитон — пекарь, а мальчуган Ванька — лавочный мальчик.

Узнав все это, Веня почувствовал недовольство и как бы досаду и против Харитона и Ваньки, точно они были в чем-то виноваты: надсмеялись или обманули его.

Многое, что в детстве кажется необычайным, таинственным или страшным, но всегда одинаково красивым и интересным,—с годами теряет красоту, тускнеет, точно выцветает от времени.

Как обои. Оклеют комнаты: стены — яркие, цветочки розовые или какие синие. И пахнет от стен весело. А потом запах теряется. Цветы, как будто настоящие,— увядают, бледнеют, а потом еле-еле их различаешь.

Чем больше проходило времени, чем больше рос Веня — все менялось.

На что уже — двор славновский.

Когда еще только первый год стал Веня ходить в начальную — «в память св. св. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских» — школу, двор славновский стал значительно меньше: раньше от лестницы до ворот было пятьдесят четыре и даже пятьдесят пять шагов, а тут — тридцать семь неполных.

От этого грусть какая-то, недоверие к прошлому и обида: точно надсмеялся кто, обманул.

Одно лишь волновало в прошлом и не забывалось с годами — радостные, светлые какие-то дни.

Может, и не дни, а мгновения, минуты.

И не событиями какими особенными были они памятны — нет!

События запоминаются как события, а все, что их сопровождает,— неважно, бледно, не памятно.

Помнилась радость особенная, беспричинная.

Помнил Веня, как однажды, еще маленький, три-четыре, не больше, забрался на окно в кухне,— с ящиком такое окно было, кухонное. А напротив на таком же ящике лежали пучок редиски и огурцы,— два огурчика.

И от солнца ли, или мокрые они были — так блестели радостно, будто смеялись.

Так и подумал тогда: «Огурчики смеются».

И в восторге запрыгал на подоконнике. И не выдержал. Не мог один упиться этой радостью, весельем, восторгом — слишком много радости этой, восторга, было.

Побежал в комнату, к матери.

Ухватил ее, удивленную, за юбку:

— Мамочка! Мама! Огурчики, ах!.. Пойдем!

Не мог объяснить на бедном детском своем языке, задыхался.

И все тащил:

— Пойдем!.. Кухню... Огурчики... Пойдем!

Целовала потом, смеясь, мать.

Купила ему два таких же огурчика зелененьких, свеженьких.

Но радость прошла.

Помнилось: капризничал весь день.

И грустно было.

Первый раз — грустно.

Помнил долго первую эту грусть, помнил много лет спустя.

Как и радость ту, первую, помнил.

Но радость бывала все-таки чаще.

И такая радость, особенная.

И просто радость — веселье, от событий интересных, веселых.

Событий, особенно весною и летом, когда весь двор на виду, много.

Одних торговцев переходит — не счесть.

Чего только не кричали:

— Швабры половые, швабры!

— Клюква подснежная, клюква!

— Селедки голландские!

Это — бабы. И голоса у них разные.

У торговок швабрами — недовольные, сиповатые, напоминающие иногда квакание лягушек. У тех, что с клюквою,— ласковые, сладенькие. И слово: «подснежная» — особенно располагало.

У селедочниц — унылые, гнусавые. И руки, стянутые лямками корзинок, уныло висят.

Мужчины продавали разное.

Рано утром, просыпаясь, Веня, маленький еще, удивлялся, почему торговец во дворе знал, что он спит.

— Что спишь? Что спишь?

Но после оказалось,— тот продавал штокфиш — рыбу.

Мужчины-торговцы интереснее женщин: разный у них товар.

— А вот ерши, сиги, невска лососина!

— Костей, тряп! Бутыл, бан!·

— Сиги копчены!

С невской лососиной особенно нравились и с копчеными сигами. Такие веселые голоса — прелесть!

Это утренние торговцы.

А с полдня: «цветы-цветочки», «мороженое» по десяти раз и «садова земляника».

С земляникою мужики бородатые, в красных рубахах с горошинами — вроде разбойников или палачей. Широко вздувались рукава. А на голове, на длинном локте — корзинки с яркими ягодами. И, как рукава,— красная, с горошинами, вздувалась ситцевая покрышка над лотком.

Всё — от рубахи до ягод на лотке — яркое, красное.

Красивые — мужики-земляничники.

Много татар-халатников. Их дразнили «свиным ухом» или спрашивали:

— Князь, а князь, не видал ли ты пса-татарина?

Бывали не повседневные, а редкие события.

Пьяный наборщик Селезнев окна бил у себя в квартире.

У чиновника Румянцева сынок утонул, Володя.

Страшный был день, осенний.

С Петропавловской из пушек палили. Наводнение было.

Володя, как оказалось после, воду бегал смотреть на Фонтанку (от Славнова дома близко).

И как-то, вот, утонул.

Страшный был день.

Ветер зловеще выл, и потерянно стонали флюгарки на трубах.

Серые тучи катились быстро и низко.

Косой, колкий дождь хлестал.

И вдруг голос во дворе, дворника Емельяна голос:

— Барин, а барин!

Тревожный голос. Тревожный и потерянный, как стон флюгарок.

Емельян кричал во второй этаж чиновнику Румянцеву:

— Барин, а барин! Ваш мальчик... Уто-о-п!

Это неправильное и продолженное, как стон, «уто-о-п» страшнее было правильного: «утонул».

Несмотря на непогоду, захлопали отворяющиеся рамы.

Застучали торопливые шаги по панели, к воротам. В шапке, но без пальто, с поднятым воротником пиджака, пробежал по панели, к воротам, чиновник Румянцев. Слышались голоса.

Много славновских любопытных жильцов, несмотря на непогоду, побежало на Фонтанку.

Веню не пустили родители.

Сидел на окне.

На тучи смотрел серые, как дым, быстро катящиеся.

Ждал, когда принесут Володю Румянцева.

Тревожно, неспокойно было на душе.

И пришли во двор певцы бродячие, несмотря на непогоду. Четверо. Трое мужчин и женщина.

И, несмотря на непогоду, запели.

Ветер зловеще выл. Стонали флюгарки.

Серые, низко катились тучи. Как дым.

И певцы запели:

На речке, на речке-е-е,
На том береже-е-ечке.

Вене стало не по себе.

И хотя пели о том, что какая-то Марусенька мыла «белые ноги» и что на нее напали гуси, которым она кричала: «Шижма! Летите, воды не мутите!» — мальчику казалось, что певцы посланы кем-то спеть о Володе, утонувшем «на речке, на том бережечке».

А когда раздались слова:

Шла стара баба,
На скрипке играла,
На скрипке играла,
Сама подпевала,—

стало совсем нехорошо. Представилось почему-то, что старуха, играющая на скрипке,— или ведьма, утопившая Володю, или Володина смерть.

И вставал мучительный вопрос:

«Зачем старуха — со скрипкою? Разве старухи играют на скрипках?..»

Редкие песни — не мучили. Редкие были — ясны. Когда в праздники отец пел: «Нелюдимо наше море» или «Среди долины ровныя» — тоже было томительно и неясно.

И удивляло Веню, что во всех песнях не было радости...

Отцовский дом спокинул мальчик я...
Травою зарастет.
Собачка верная моя
Залает у ворот,—

пели маляры и штукатуры.

И представлялся уходящий куда-то человек, тоскливо воющая собака и дом, заросший травою, как могила.

Даже о саде зеленом те же штукатуры и маляры пели невесело: грусть-тоска о саде, рано осыпающемся, и о разлуке с каким-то другом, отправляющимся далече.

Но особенной неудовлетворенностью веяло от излюбленной всеми мастеровыми песни. Каждый день слыхал ее Веня.

Умерла моя Мальвина,
Во гробу лежит она:
Руки к сердцу приложили,
Грудь прикрыли полотном.
Громко певчие запели,
На кладбище понесли...
Приносили на кладбище,—
Застонала вся земля.
Вся вселенная сказала:
— Вот,— погибшая душа!
Тело в гробе говорило:
— Подойди, милый, сюда!
Подойди, милый, поближе,
Встань ко гробу моему...

Вся от начала до конца — похоронная, но не трогающая, а назойливая, неотвязная, как зубная боль. И мелодия неотвязная, незабываемая, как ошибка.

II

ТОЛЬКА И ТОНЬКА

Двенадцатилетним Веня увлекался игрою в карточки. В моде тогда была эта игра. Азарт какой-то поголовный, поветрие.

Целые коллекции ребятишками составлялись. Покупались за деньги, выменивались на сласти и игрушки. В мусорных ямах, в садах, во всех закоулках искали папиросных коробок.

И играли в эти карточки, то есть в оторванные от коробки крышки и донышки, до самозабвения, до драк и слез включительно.

И в эту-то карточную эпоху переехал в Славнов дом новый жилец, капитан 2-го ранга Одышев.

Сам он еще находился в плавании, а приехали сначала его сестра, Софья Алексеевна, и дети: сын Анатолий и дочь Антонина. И еще — капитанский пес, Гектор.

Когда во двор въезжали три воза с мебелью, из окон, как полагается в таких случаях, торчали женские головы.

Но внимание славновцев, как взрослых, так и малолетних, главным образом было обращено не на разгрузку возов и не на мебель капитана, а на его детей.

И не только потому, что дети были очень уж не похожи на славновских ребят: рослые, чуть не с извозчиков, раскормленные здоровяки, толстоногие, с круглыми румяными лицами и с двойными подбородками.

И не потому еще возбуждали они всеобщее внимание, что были в костюмах, смешных для их видных фигур: в широкополых соломенных шляпах с лентами, свисающими сзади; в матросских рубашках; мальчик в коротких штанишках, а девочка в короткой юбочке.

Но не вид их и не костюмы привлекли внимание славновцев, а поведение: очень смело, даже оскорбительно вели себя капитанские дети.

Первым делом они принялись науськивать огромного сенбернара на кошку, пробегавшую через двор.

— Гектор! Гектор! Усь! Усь! — кричали во все горло.— Черт! Гектор! Бери-и!

Огромный пес, басисто тявкая, прыгал перед ощетинившейся кошкою.

Из окон уже кое-кто кричал:

— Мальчик! Дети! Зачем? Не надо!

И тетка бросила смотреть за мебелью и побежала за озорниками.

— Анатолий! Антонина! Что вы делаете? Как вам не стыдно?

Была она маленькая, значительно ниже своих племянника и племянницы, худенькая, тонкоголосая.

Суетилась, натыкаясь на широкие спины, на голове тряслись кружева и ягоды какой-то странной шляпки.

— Дети! Как вам не стыдно?

— Дурак, сам упустил! — говорил мальчик девочке.— И никогда он кошек не берет, дурак!

— Собака-то умнее вас! — не вытерпел кто-то из наблюдавших из окон.

Дети задрали широкие поля шляп, посмотрели вверх.

Потом, как бы сговорясь, мальчуган показал кукиш, а девочка язык.

Где-то засмеялись.

— Я вот выйду и уши надеру! — крикнул оскорбленный.

И опять, как бы сговорясь, капитанские дети состроили «носы».

После этого случая капитанских детей называли Толькою и Тонькою, оболтусами и дылдами.

Дальнейшее знакомство славновских ребят с новыми ребятишками ознаменовалось скандалом.

Толька примкнул к играющим в карточки и неожиданно кинулся на одного, у которого была в руках солидная пачка карточек,— выхватил их и убежал.

Ребятишки, не догнавши длинноногого грабителя, стали стучать в двери капитанской квартиры, но вместо тети Сони выскочил страшный Гектор с грозным лаем.

Мальчишки в страхе бежали.

В этот же день Тонька, встретив во дворе наборщикова Петьку, сорвала с него шапку, а когда тот бросился на нее с кулаками, схватила за руки и поставила слабосильного мальчугана на колени, крича при этом весело:

— Кланяйся королю в ноги!

Петька, обиженный до слез, не рискнул драться с большой и толстой девчонкой, силу которой уже испытал, и, отойдя на почтительное расстояние, начал дразнить ее «девчонкой тухлой печонкой» и «толсторожей копоркою», а в ответ получил не менее обидное: «заморыш» и «мальчик с пальчик».

Потом, играя в «школы-мячики» с девочками, Тонька вырвала у одной ленточку из косички и убежала.

Девочка со слезами и с матерью пошла к тете Соне.

Но опять Гектор — и фиаско.

А когда пожаловались дворнику Емельяну и тот решительно двинулся было по направлению к лестнице, где находилась квартира капитана,— Толька из окна предупреждал:

— Эй, дворник! И на тебя спущу пса, вот, святая икона!

И крестился так истово, что дворник помотал головою:

— Ну и разбойник!

И успокоил обиженных:

— Отдадуть ленточку вашу. Куды им!

Через несколько дней славновские мальчишки скопом напали на проходившего по двору Тольку.

Мальчик защищался отчаянно.

Встал к стене, чтобы не окружили, и бился долго.

— Отдай стошки! — кричали нападающие.

— Не отдам. Вот вам стошки!

Толька делал непристойный жест — хлопал рукою ниже живота.

И опять жестоко отбивался. Но, видя неустойку, закричал на весь двор:

— Тонька, выпусти Гектора!

Но сестра, побитая полчаса назад братом, спокойно отвечала из окна;

— Как бы не так! Мальчики, отдуйте его хорошенько! Ага! Ловко! Вы его по носу! У него нос слабый! Ага!..

— Тонька, сволочь! — свирепел уже теряющий силы и терпение мальчуган.— Тонька! Все равно же не убьют! Говорят: выпусти!.. Гек...

Но его сшибли с ног.

Образовалась куча тел на камнях.

Задыхающиеся крики:

— Отдай стошки!

И перехваченный голос:

— Вот вам... Х!..

Из всех почти окон смотрели, но никто не заступался.

Тети Сони не было дома.

А Тонька хохотала, пела:

— Попало, попало!.. Ловко попало! Мальчики, вы его по носу!

Но уже из носа Тольки и так текла кровь.

Кому-то из жильцов надоело наблюдать дикую сцену.

— Перестаньте, ребята! Я за дворником пошлю!

И дворник уже шел.

Побоище прекратилось.

Толька, окровавленный и прихрамывающий, сел на ступеньку подъезда. Сестра не пустит — до прихода тетки.

Сестра дразнилась из окна:

— Попало? Здорово?

Толька грозился:

— Ладно! Получишь!

Вечером из окон капитанской квартиры раздавались вопли Тоньки, лай Гектора и голос тети Сони:

— Разбойник, ты убьешь ее!.. Разбойник! О, боже мой!

Но через несколько минут брат с сестрой, оба красные и потные, лежали на окнах.

Он на одном, она на другом.

И передразнивались.

— Здорово я тебя, Тонька, а? Волоса-то целы? Много осталось?

— А у тебя ухо держится?

— Ухо-то на месте, а вот волос у тебя только на две драки осталось.

— А здорово я тебя укусила? Забыл?

— Ишь, хвастает! Кусаться-то всякий умеет! А вот на кулак ты не годишься!

— Дурак! Ведь я не мальчишка.

— А не мальчишка, так и помалкивай в тряпочку. Все равно же я тебе всегда накепаю.

— Накепаю! Посадский! Посадский! Вот-с!

Тонька высовывала язык. Соскакивала с окна.

Соскакивал и Толька.

Опять вопли, визг, лай басистый Гектора. И пронзительный голос тети Сони:

— О, боже мой! Дети!.. Разбойники!

Звон посуды.

На другой день Толька появился во дворе с завязанной головой.

На вопросы мальчишек отвечал спокойно:

— Сестренка тарелкою.

— Вот те и раз! — смеялись мальчишки.

— Ну за то и я выспался на ней здорово!

Толька, действительно, дрался с сестрою дико, бессердечно, как с мальчишкою, равным себе: бил кулаком и метил всегда или в ухо, или в нос, в глаз, а если надоедало канителиться — хватал за волосы, валил, прижимая коленом грудь. И торжествующе кричал:

— Смерти или живота!

И в фигуре его, не по летам крупной и крепкой, в торжестве дикого крика, и в диких глазах, и в самом гладиаторском попирании жертвы чувствовалось нечто нерусское, древнее, варварское.

Недаром кличка Варвар укрепилась за ним быстро. Правда, называли его так только взрослые.

Но случалось,— брат и сестра Одышевы вели себя мирно.

И все их тогда хвалили.

Мальчики играли с Толькою, заискивали перед ним, хвалили его за силу. Девочки наперебой болтали с Тонькою, обнимались с нею и чмокались и от ее сильных объятий не плакали, а визжали радостно-испуганно.

Толька не дразнил татар и торговцев, ребятишек не бил, а играл с ними милостиво и даже угощал сахаром, запасы которого всегда были в его карманах. Рассказывал интересные истории, слышанные им от отца-капитана, везде побывавшего, объездившего весь свет раз десять. И не бил гимназиста Леньку Шикалова, когда тот прерывал его рассказы эпизодами из жюль-верновского «Вокруг света в 80 дней».

Лишь когда Ленька особенно надоедал, Толька обрывал его спокойно:

— Твой Жюль Верн в восемьдесят дней свет объехал, а мой отец в сорок дней. А один раз даже в тридцать пять!

Рассказывал Толька не плохо. Загорался. В такие благодатные дни тетя Соня накупала любимцам своим сладости, одевала в новые костюмы.

Толька появлялся во дворе в новом матросском костюме, в панталонах подлиннее и просторнее вечных своих смешных коротких, тесных штанишек. Огромная шляпа заменялась фуражкою «Жерве».

Из-под козырька прихотливо выбивался белобрысый хохолок.

И дикие, когда озорничал, глаза в те тихие дни делались обыкновенными светлыми, ребячьими.

Смелые, но не глупые.

Тонька, или Тоня, как ее в такие дни называли, в коричневом гимназическом платьице, веселая, но не озорная, играла с девочками в «школы-мячики», в «котлы».

Но потом вдруг, утром как-нибудь, раздавался лай Гектора, визг тети Сони:

— Толя! Ты с ума сошел! Толя!

А Толька сидел на окне, болтая не обутыми еще длинными ногами.

Смотрел с трехэтажной высоты вниз.

А сзади надорванный голос тетки:

— Сумасшедший! Ты убьешься!

— Давай полтинник, а то спрыгну! — оборачивался мальчуган.

— Толька! О, боже мой! Что я буду делать? Мучитель!

— Полтинничек пожалуйте! А? Нет? Ну, тогда прощайте!

Тетя Соня взвизгивала на весь двор:

— Помоги-и-и-те!

Из окон глядели любопытные. Некоторые срамили мальчика.

Но это не смущало озорника.

— Тетя, и не стыдно вам из-за несчастного полтинника такую историю поднимать? — нахально, но резонно спрашивал мальчуган.

В конце концов деньги он, конечно, получал.

Тонька шла за ним и просила себе долю.

Но Толька с изуверской невозмутимостью уписывал за обе щеки накупленные сладости, даже угощал мальчишек, но сестре не давал.

— Тянушечки хорошие! Ах! Объедение!

Глаза у него уже были дикие, озорные: верхние веки широко приподняты, нижние — подщурены.

— А вот — мармелад! Приятно!

Тонька, красная от обиды, косилась на брата:

— Ладно! Папа скоро приедет, я ему все, все расскажу!

— Я сам ему расскажу, дура! Всегда же рассказываю, сама знаешь! А вот ты послужи лучше. Поймай конфетку, мармеладинку! Я брошу, а ты лови, только ротом, а не руками. Ну, раз, два!

— Иди к черту! Что я, собака, что ли?

— Ну, как хочешь. А я сейчас мороженого куплю.

— Негодяй! Вор! Тетю обокрал!

— Она сама дала.

— Вот так сама, когда ты окном пугал!

— А вот ты попробуй так. Иди да напугай!

Тонька шла. Но не пугала, а выпрашивала со слезами и визгом.

Тетя Соня кричала:

— Вы меня в гроб вгоните!

Это была ее любимая фраза.

Но все-таки давала — не полтинник хотя, а четвертак.

Тоня бежала вниз радостная, но на лестнице ее ловил брат.

Раздавались дикие крики и потерянный плач.

Толька выбегал с лестницы с мармеладом во рту и с четвертаком в кулаке.

Сзади — плачущая сестра с криком:

— Держите вора!

Хлопали рамы. Испуганные головы высовывались. Кричала тетя Соня:

— Дети! Изверги! О, боже!.. Толя, я за дворником пойду!

Но мальчишка валил девочку с ног, пинал ногой:

— Сволочь! Лезет тоже!

И вихрем — в ворота.

Приходил поздно, к чаю.

Губы синие — от черники.

— Два фунта слопал! — хвастал перед мальчишками: — Прямо горстями жрал, святая икона! Во!..

Показывал синие как в чернилах руки.

— Люблю чернику! — добавлял задумчиво.— Я в деревне одно лето из лесу не выходил. Всю чернику обобрал! У девок отнимал! У мальчишек!

Иногда Толька и Тонька озорничали совместно, избирая предметом для диких своих забав тетю Соню.

Наигравшись, уставши бегать и возиться, Толька, распаренный, опахивающийся фуражкою, обращался к сестре:

— Тонька, знаешь, что́ я придумал?

— Что?

— Угадай!

— А я откуда знаю? Наверное, глупость какую-нибудь!

— Дура! Отличную штучку придумал!

Щелкал языком и глядел на сестру дико-веселыми, снизу-сощуренными глазами.

— Ну чего, говори, а то я играть пойду! — нетерпеливо кусала губы Тонька.

— Пойдем тетю Соню в гроб загонять.

Тонька смеялась, так же дико щуря глаза.

— Ка-ак? По-настоящему?

— Зачем? Понарочну!

— А как?

— Я буду по стеклу ножом царапать.

— Ну так что ж! А она что?

— Дура! Она же боится! Для нее это все равно что черный таракан. Сама же знаешь!

— А она возьмет и убежит!

— Зачем? Один — царапает, другой — держит и уши не дает затыкать. Что ты, порядка не знаешь, что ли?

— Тогда ты держи, а я буду царапать,— предлагала Тонька.

— Я лучше царапаю,— не соглашался Толька.— Я такую песенку заведу, что и ты не вытерпишь. Знаешь, так, с дрожанием: в-жж-и-и... Будто ножом по сердцу!

Тонька в восторге прыгала, хлопая в ладоши.

— А я ее как захвачу вместе с руками и со всем, а ты над ухом над самым, верно? Толька?

— Ну да, как следует!.. Пойдем!

Бежали, перегоняя друг друга, домой.

Дома действовали хитро и коварно.

Толька закладывал осколок стекла в книгу и входил в комнату тетки с видом ягненка:

— Тетя Соня, можно у вас почитать в комнатке?

Та, не привыкшая к подобным нежностям со стороны озорника, «варвара», радостно разрешала:

— Миленький, конечно! Сколько угодно!

Озорник скромно садился в угол и осторожно, боясь выронить стекло, раскрывал книгу.

Тетка тоже бралась за Поль-де-Кока или Золя.

Входила Тонька, едва сдерживая душащий ее смех.

— И ты бы почитала что-нибудь, Тонечка,— ласково предлагала тетя Соня,— видишь, какой Толя умник.

Тонька хмурилась, чтобы не рассмеяться, и говорила уныло:

— У меня голова болит, я лягу.

Ложилась на диван.

Тетка пугалась, шла к ней. Садилась рядом. Щупала горячую от недавней возни голову племянницы:

— Как огонь! Господи! Надо хины!

Она делала попытку встать.

Толька кашлял — сигнал.

«Больная» вскакивала с дивана.

Испуганная тетка успевала только крикнуть:

— Что такое?

Книга падала из рук Тольки. Ягненок превращался в волка:

— Крепче держи, Тонька!

Громко вскрикивал.

Крик тетки терялся в этом крике и звонком хохоте Тоньки.

Маленькая, худенькая тетя Соня через секунду тщетно рвалась из крепкого кольца рук озорницы.

— Сумасшедшие, что вы делаете?

А над ухом взвизгивало под ножом стекло. Неприятный звук заставлял нервную тетю Соню дрожать, взвизгивать, жмуриться. Напрягала всю слабую силенку, стараясь освободиться из рук мучительницы, но сильная девчонка совсем втискивала ее в угол дивана, хохоча прямо в лицо.

А Толька, вспотевший от старания, с высунутым из уголка рта языком, дикоглазый, виртуозно, по-особенному, с дрожанием, чиркал лезвием ножа по стеклу.

И невыносимый, как ножом по сердцу, звук лез и лез в незащищенные уши тети Сони.

Из соседней комнаты раздавался лай Гектора, предусмотрительно запертого Толькою.

— Ты не ори, не хохочи! — кричал на сестру Толька: — Музыки не слышно! После посмеешься!

А тетка молила:

— Дети! Перестаньте! О-о!.. Ай! Толя, я с ума сойду! Ой!.. Над... самым ухом! Тоня! Гадкая девчонка! Ты мне ребра сломаешь! Ой!.. Боже мой! Мучители! Что они со мной делают?

Трясла головой, как от пчелы:

— И-и-и-и!..

Тонко взвизгивала. Топотала тонкими ножками в узконосых башмачках. Стуком каблучков старалась заглушить пугающий, раздражающий визг.

Но напрасно.

Слабые ножки зажимались сильными ногами озорницы.

— Тонька! Медведь! Ты мне ноги отдавила! Ой, мозоль!..

— Любимая! — гоготал Толька.

И опять все настойчивее, беспощаднее взвизгивало стекло.

Несчастная тетка, вся в слезах, кричала:

— Мучители! Изверги! Сумасшедшие! Вы меня в гроб вгоните!

Последняя фраза тонула в диком восторженном хохоте озорников.

Толька, обессиленный от смеха, садился на пол, но не прерывал «работы».

И язык высовывался от напряженного старания. Наливалось кровью лицо и даже руки.

А Тонька совсем смяла в объятиях уже переставшую сопротивляться и кричать жертву.

С тетей Соней начиналась истерика.

Толька выскакивал из комнаты.

Тонька осторожно опускала тетку на диван и, закрыв ладонью рот, чтобы не прыснуть, выбегала следом за братом.

Лежали в креслах в соседней комнате.

— Уф, черт возьми! Упарился! — отирался платком Толька.— Здорово я наигрывал, слышала? «Дунайские волны», слышала, а?

— Какие там «Дунайские»! — смеялась красная Тонька.

— Вот святая икона, первый куплет выходил...

— Жарко,— утомленно закрывала глаза сестра.

За стеной — тихий плач вперемежку с рыданиями.

— Долго мы мучили, Толька, надо было поменьше.

— А что?

— Что? Не слышишь — что?

— Чепуха! — спокойно закрывал глаза Толька.— Тоже «Дунайские волны»! Первый раз, что ли, вгоняем в гроб?

Он вдруг громко загоготал.

— Тьфу! Чего ты? — вздрагивала сестра.

— Все-таки сказала: «Вы меня в гроб вгоните!..»

— Дурак! Еще смеется!

— Заплачь, умница!

Молчание.

Воет Гектор. Опять — рыдания за стеной.

— Я боюсь! — говорит тихо Тонька.

— Кого? Медведя? — не открывает глаз брат.

— Дурак! Сам ты медведь!

— Это ты ей ноги отдавила — ты медведь! Большая медведица,— острит Толька.

Тонька смеется. Потом говорит тихо:

— Какая она слабенькая! Худышка!

— Не всем же быть таким толстым, как ты. Колбасница!

— Уж ты молчал бы! Тоненький, тоже! Помнишь, вчера рубашка не лезла?

— Давнишняя. Потому и не лезла.

— Вот так давнишняя! К Пасхе сшили, а теперь Троица.

— Дура! У меня — сила, мускула растут. А у тебя бабское мясо: дурное!

— Мускула! Подумаешь, какой борец Пытлязинский. Харя — красное солнышко!

— А у тебя полночная луна! Оба мы с тобой чахоточные,— смеялся Толька.

Тонька тоже смеялась.

Потом говорила серьезно:

— А ведь толстые здоровее худых? Верно?

— Понятно! — соглашался Толька.— На одних костях не разгуляешься. В мясе — сила!

— Это верно! Я вот толстая, так я Петьку наборщицкого всегда валю. А видел, как я тетю Соню держала? Я еще ее тихонько.

— Ишь, хвастает! Нашла кого — тоже! Петька известный заморыш, а тетя Соня старая дева засушенная. Сила у тебя — тоже! Была у тебя сила, когда тебя мать знаешь куда носила?

— Дурак! Всегда гадости говорит.

— А чего ты хвастаешься? Выходи на левую! Что? Слабо вашей фамилии?

— Вашей фамилии? — передразнивала сестра.— А у тебя другая фамилия, что ли?

— Конечно, другая! Ведь мы не родные.

— Сказал! А какие же? Двоюродные?

У Тольки рождалась тема для нового озорства. Он делал угрюмое и таинственное лицо и говорил, точно нехотя:

— Ладно! После...

— Чего после? Ты на что намекаешь? — пытливо смотрела Тонька в насупленное лицо брата.— Ты говори!

Толька молчал угрюмо и загадочно. Напряженно посапывал. Вздыхал.

Тонька садилась рядом:

— Ну, Толечка, Анатолий, скажи! Я вижу, что-то есть такое. Ты стал такой скучный, некрасивый...

— Отстань! — устало отмахивался брат.— Не могу я говорить... Отец узнает — убьет!

— Как убьет? За что?

Всякое терпение оставляло девочку.

Молила, встав на колени:

— Ну, милый! Ну, я прошу! Видишь, я на коленях! Вот, ручку поцелую! Ну, скажи! Еще, вот, поцелую ручку!

— Проболтаешься,— отвечал, не отдергивая руки, Толька.— Хоть ноги целуй — не скажу! Этого никто-никто не должен знать!

— Ей-богу, не проболтаюсь! Истинный бог! Хочешь, икону поцелую?

Толька думал угрюмо и мучительно.

— Поклянись гробом моей матери! — говорил торжественно, коварно подчеркивая слово моей.

Сестра что-то соображала:

— Постой! Ты сказал... моей. Значит: твоей? А... моя?..

У нее делалось испуганное лицо.

— Толька, что ты сказал?

Толька же отходил решительно к окну.

— Толька! — мучительно звенело сзади.— Толя!

— Тоня, милая! — оборачивался мальчуган.— Ты же сама знаешь! И себя и меня мучаешь...

— Что я знаю? Я не знаю, я боюсь,— задыхалась девочка,— скажи яснее.

— Не могу я... Ты... ты... Нет, не могу!

Толька вспоминал, как открывают роковые тайны в театрах. Входил в роль.

— Милая, сест... милая, дорогая девочка! — (подчеркивал: девочка) — Я... Нет, я не должен... этого... говорить!

— А, я знаю,— соображала вдруг Тонька.— Это — ужасно! Я... я... не сестра?.. Да?..

Толька вздрагивал как бы от страха, протягивал руку (вспомнил — в балаганах так видел) и усиленно задыхался:

— О... дорогая!.. О... Не бойся!.. Так богу угодно... Что я?.. О, ужас!..

Отбегал, как настоящий балаганный трагик, на цыпочках, картинно протягивал руку, как будто защищаясь от страшного видения, и зловещим шепотом произносил:

— Ты — подкинутый младенец!.. Крещена... имя — Параскева!

Последнее приводил из вчерашней газеты.

Сестра дико взвизгивала, тяжело плюхалась в кресло.

Толька, увлеченный ролью, схватывался в неподдельном отчаянии за виски и, закидывая голову, шатался, как раненый:

— О, что я наделал! Безумец!

Тонька визжала ушибленным поросенком.

В дверь барабанила тетя Соня.

— Мучители!.. Опять? Вам мало?.. Что вы делаете там?.. Что ты с ней сделал, несчастный ребенок?

А несчастный ребенок, продолжая интересную роль, шипел на ухо сестре:

— Ты слышишь? Ни слова о страшной тайне!.. Иначе — погибнем! О, ты знаешь меня?

Скрежетал зубами:

— О, я тогда убью и тебя и себя!..

В двери — беспрерывный стук.

Заливался Гектор.

Взвизгивала кликушей тетя Соня:

— Отворите же, изверги! Я — умру! Вы меня в гроб вгоните!..

За несколько дней до приезда отца Толька подводил итог всем своим озорствам.

Выписывал на бумаге. Некоторые с пометкою числа и месяца.

— Что я скажу вашему отцу, когда он приедет? — заламывала руки тетя Соня.

— Я все скажу сам. Вот!

Толька показывал листок.

Тетя Соня читала и пугалась.

— Боже! Ведь он убьет тебя!.. Несчастный!

— Не беспокойтесь, шкура у меня крепкая! Вот эта барышня завертит хвостом: «Я — ничего, это все Толька». Знаю я ваше дело!

Когда приехал капитан, все в доме радовались.

Толька два дня не выходил. На третий появился во дворе.

Ходил он странно расставляя ноги. И плечи свои широкие держал приподнято. И как-то неестественно выпячивал грудь, точно за воротник, на спину ему наливали воду.

На лестнице по секрету рассказывал Вене и еще некоторым, которые побольше:

— Выдрал знатно! По-капитански! Я ему списочек всех дел представил. Святая икона! И сестренку не показал. Вот, истинный господь! А скажи я хоть слово, он бы ее устосал! Больно бьет, дьявол!

— Это отец-то дьявол? — укоризненно качал головою швейцаров Антошка.

— Ну так что? К нему не пристанет, хоть антихристом назови... Да-с! Представил ему списочек. А он сигару закурил. Долго читал. Потом: «Все, говорит, здесь?» — «Еще, говорю, тарелку разбил».— «Как разбил?» А ведь тарелку-то Тонька об мою башку разбила. «Так, говорю: разбил. Из рогатки расстрелял». Ну, он говорит: «Принеси Гекторову плетку». Собачью, значит. Принес я. Ну, он и начал. Эх, мать честная!

Толька ухарски сдвигал фуражку. Выбивался белобрысый хохолок. Глаза — дикие, озорные.

— Ка-ак даст! Как хлестанет! Вжж! Вжж!.. Здорово!

В доказательство расстегивал штаны. Задирал рубашку.

Ребятишки щупали сине-багровые рубцы.

— Больно? — спрашивали.

— Нет!

— А вот здесь — больно?

— А здесь, поди, больно, да?

Толька вздрагивал.

— Не... нет!

И добавлял спокойно:

— Не больно! Только вот сидеть нельзя.

— Здорово нажарил,— хихикал наборщицкий Петька.

— Ты бы не выдержал, конечно,— застегивался Толька,— вот Веник выдержит. Он — крепкий. А тебе где же!

— А ты, небось, злишься на отца? — серьезно спрашивал Антошка.

— Нет! — искренно отвечал Толька.— Он — хороший. Я его люблю. А что выдрал — это не вредно. Я даже люблю, когда дерут. Святая икона! Зубы стиснешь! А как хлестанет — дух захватывает. Будто ныряешь. Хо-ро-шо!

— Хорошо, только сидеть невозможно! — хихикал опять Петька.

— Дурак! Это тоже хорошо! Зато когда заживут — приятно. А теперь, конечно, не только сидеть, а даже спине от рубашки больно.

— Здорово! — не унимался Петька.— Хорошо?

— Не вредно! — ухарски сплевывал Толька.

III

ЗЛАЯ СКАЗКА

Толька Одышев в короткий срок сделался сказкою Славнова дома.

Даже приезд капитана и его жестокая морская порка, после которой Толька неделю не мог сидеть (даже обедал полулежа на боку), не оправдали надежд славновских отцов и матерей на умиротворение озорника и его сообщницы, сестры.

Тетя Соня по-прежнему претерпевала мучения от озорства «несчастных детей» и систематически «вгонялась в гроб».

Озорничали они в отсутствие отца, а так как он являлся поздно вечером, то весь день бывал в их распоряжении. Тетя же Соня никогда не жаловалась брату на детей из боязни, что он «убьет» их. И Толька спокойно владычествовал дома и вне дома, во дворе.

Мальчишки подпали под авторитет силы.

Толька делал что хотел. Игры происходили под его руководством.

Если же он потехи ради бил кого-нибудь из ребят, остальные держали сторону не обижаемого, а обидчика.

Да иначе и нельзя было.

Осилить Тольку можно не иначе, как скопом, но Веня, наиболее сильный из остальных, кроме Тольки, ребятишек, редко появлялся во дворе, а без него у славновцев ничего не вышло бы.

Один раз даже пробовали побить Тольку трое: Антошка, Петька и Ленька Шикалов. Но кончилось предприятие так: Антошку за ухо увел с поля битвы отец его, швейцар Лукьян, а оставшиеся двое его соратников, потеряв сильное подкрепление в лице выведенного из строя товарища, начали отступать, правда, с боем.

Наблюдавшая из окна эту сцену Тонька соблазнилась возможностью помучить вечную свою жертву — наборщикова Петьку — поспешила во двор.

В момент ее появления во дворе брат ее уже прижимал коленом грудь Леньки-гимназиста и ловил рукою наскакивавшего петухом Петьку.

Тонька схватила Петьку в охапку и, несмотря на отчаянное его сопротивление, как всегда, скрутила «заморыша».

Торжество победителей было полное. Чтобы избежать вмешательства взрослых (маленьких они не боялись), жестокие озорники утащили несчастных на лестницу и там дали полную волю своей жестокости, и если бы не случайно проходивший жилец из сорокового, немец Цилингер, с большим трудом разогнавший палкою дерущихся,— неизвестно, чем кончились бы издевательства Тольки и Тоньки над побежденными.

В результате у Петьки — все лицо в царапинах, ссадины на ногах, синяки на боках от щипков и недочет пуговиц на рубашке, у Леньки — синяк под глазом, разодранная в кровь губа и порванная под мышками курточка.

У победителей никаких повреждений. После этого случая славновские ребятишки всецело покорились Толькиной власти.

Толька же, для большей устойчивости положения, подружился с дворниковым сыном Никиткою, здоровенным деревенским мальцом, подминающим в борьбе всех, не исключая и Тольки.

Хитрый Толька знал, что ребятишки, если на их стороне будет здоровяк Никитка, всегда одержат над ним верх.

А также Никитка, при большой своей силе, научившись драться, подчинит себе и его, Тольку.

И потому решил, что выгоднее привязать к себе опасного соперника.

С первого же знакомства, то есть после первой борьбы, Толька, смятый дважды подряд Никиткою, вызвал того на драку, и, воспользовавшись необычайной неуклюжестью деревен-

ского паренька, пустил в ход все свое уменье, и, побив соперника, не задрал перед ним носа, а, наоборот, расхвалил его и стал рассказывать о своих каких-то и где-то драках, причем как бы невзначай упомянул, что он, Толька, убил кулаком нечаянно одного «здоровущего деревенского мальчишку».

Никитка усомнился. Но Толька перекрестился и сказал:

— Вот святая икона! Истинный господь! Убей меня гром!

Никитка поверил, тем более что в момент страшной Толькиной клятвы собирался дождь и гремел в отдалении гром.

А Толька поспешил взять с Никитки слово, что тот никому не расскажет о его признании.

Наивный паренек побожился. И с того дня проникся к Тольке уважением, смешанным со страхом.

Толька же во время грозы в комнате тети Сони зажег лампадку и молился, прося бога, чтобы тот не убивал его громом, так как он божился непозаправду.

Далее, Толька часто угощал Никитку гостинцами, при недоразумениях ребятишек в играх всегда принимал сторону Никитки и в короткий срок сделал из простого мягкого увальня надежного помощника, куда надежнее Гектора.

По одному его слову Никитка бил и ломал любого мальчишку.

— Дай Петьке хорошеньче!

И бедный Петька, с которым справлялась Тонька, летел кувырком от здоровенной Никиткиной оплеухи.

Поднимался, в слезах и ссадинах, и опять летел.

— Ловко! — хвалил Толька.— Только ты потише, а то убьешь!

— Я и то боюся,— расплывался широкой улыбкою Никитка.— У меня ручищи страсть чижолые. Во кулачище-то!

А Петька просил:

— Не бей, Никитка! Я же к тебе не лезу!

— Чего он ругается? — науськивал Толька.— Намни ему бока, чтобы век помнил!

Никитка, сопя, как тяжелый сильный зверь, хватал плачущего Петьку и, повалив, садился верхом и бил «чижолыми кулачищами» по тощим Петькиным бокам.

— Будет с него! — говорил Толька и предупреждал Петьку: — Пожалуешься матери — не выходи из дома — убьем!

— Я не буду жаловаться,— вздрагивал от плача Петька.— Только вы... ни за что бьете... Что я вам... сделал?

— Ну не реви, рева! Людей не так еще бьют. Верно, Никитка?

— Верно,— соглашался тот,— у нас в деревне как праздник, то кольями беспременно дерутся.

— Вот видишь, а ты от кулаков ревешь,— серьезно говорил Толька.— А еще мальчишка!

Никитка внимательно оглядывал маленькую, вздрагивающую от сдерживаемого плача фигурку Петьки и говорил не то с сожалением, не то с насмешкою:

— Человек, тоже! Кочан капусты ежель на его положить — не встанет!

— Поборись с Ленькою,— говорил Толька Никитке.— Сколько раз повалишь?

— Сколько хошь!

— Ну, а все-таки?

— Разов десять можно.

— А пятнадцать не можешь?

— Могу!

Никитка оглядывал Леньку, щупал его за грудь и плечи и добавлял уверенно:

— Сколь хошь могу!

— Валяй пятнадцать!

Ленька, терпеть не могущий борьбы, рвался из могучих лап Никитки:

— Иди к черту! Не хочу! Брось!

— Мало что не хошь!

Никитка добросовестно укладывал его раз за разом.

— Черт, отстань! Борись с Толькой! — задыхался Ленька.

— Ладно! Помалкивай! — сопел Никитка.

А Толька, засунув руки в карманы и расставив длинные мясистые ноги в смешных коротких штанишках, считал:

— Одиннадцать... двенадцать... Еще три осталось.

После пятнадцатого, дико прищуривая глаза, выкрикивал:

— Слабо еще пять раз!

— Можно хучь десять! — поворачивал к нему широкое красное лицо Никитка, держа зажатым между колен Леньку.— Сколь разов еще? Десять, чего ли?

— Будет с него пяти.

Никитка укладывал Леньку еще пять раз.

Отирал широкой рукой пот со лба.

Ленька, мокрый как мышь, сидел на камнях, тяжело дыша.

— Задышался,— указывал на него Никитка.— А мне хучь што!

Усмехался:

— Воздушный народ в городе. Супротив деревенского горазд легкий.

Даже на взрослых, на пьяных науськивал Толька своего верного Цербера.

Идет пьянчужка башмачник хромой, с пением:

На Калинкином мосту
Три копейки — вакса.
Полюбил старик старуху,
А старуха — плакса.

А Толька Никитке:

— Ну-ка, покажи ему ваксу! Толкни его, будто нечаянно. Пьяный он, да и нога хромая.

— Да! А он — палкой!

— Где ему! Да и не успеет. Ты так, будто не видишь. А то забеги на лестницу и беги оттуда.

— Вали ты, Толя, а?

— Мне нельзя. Знаешь, скажут: «Нарочно». А ты беги, да скорее, а то пройдет.

Никитка хихикал и шел, озираясь, видимо еще труся.

Толька грозил кулаком:

— У, черт, канителься! Смотри, играть с тобой не буду!

Этого достаточно.

Никитка бежал на лестницу, ложился на окне, поджидая жертвы.

Потом сбегал, насвистывая, с фуражкою надвинутой на глаза, прыгал через несколько ступенек, чтобы разогнаться. Широкой грудью налетал на слабо держащегося от опьянения и хромоты человека и сбивал его с ног, вылетая во двор радостный и испуганный.

С лестницы выходил ковыляющий, держащийся за ушибленный затылок башмачник:

— Это... это что за бешенство? На людей кидаются? А? Дворник! Дво-о-о-рник!

Старшему, Дмитрию Степанычу, кричал, стуча палкою:

— Ты это расследуй! Я все равно так не оставлю! Я не вор какой, чтобы меня пихать! Что? Мальчишки? Играют? Это, брат, не игра, на людей кидаться!

— Вы, Федор Федорыч, сами вот песни распеваете, думаете, я не слышу? — степенно разглаживал бороду старший.— Вы человек семейный и пьянствуете. И пение во дворах не разрешается. От этого беспокойствие жильцам.

— Ты мне, Степаныч, Лазаря не пой! — горячился Федор Федорыч.— И пьянством не упрекай. Не ты меня поил... А от пения — никакого беспокойствия. Подумаешь, какие тут короли нидерландские живут, что человеку петь нельзя!

Он сердито ковылял, стуча палкою:

— Право, короли нидерландские! Ребят и собак бешеных завели. У-у, сволочи!

Грозил палкою в пространство.

А Никитка докладывал Тольке:

— Я ему, надо быть, последнюю ногу поломал. Здорово он шмякнулся, ей-ей!

— Молодец! — хлопал Толька Никитку по круглому плечу.— Здоровый ты, черт!

Лицо Никитки расплывалось блином.

— Не больной, это верно.

Жалобы жильцов на проделки невозможных детей встречали холодное равнодушие капитана.

— Взяли да отодрали за уши! — говорил Одышев, дымя крепчайшей сигарой.

— Легко сказать! Да чтобы надрать уши вашему сынку, нужно двух дворников.

— Ерунда! Мальчишка есть мальчишка, какие для него дворники. Я его, конечно, отлуплю, но он озорничать не перестанет.

— Тогда не пускайте его гулять.

— Я не вижу в этом надобности,— дымил капитан.

Жаловались домовладельцу, но успеха также не было.

Славнов, приятель Одышева, принял жалобщиков еще холоднее, чем капитан.

— Простите, пожалуйста! Если ваши дети дерутся между собою, то я тут ни при чем. Отказывать жильцу, потому что физиономия его сына вам не нравится, я не имею права.

— Здесь дело не в симпатиях, а в том, что такие дети, как сынок Одышева, сидят в колониях для малолетних преступников.

— Так вы посадите его туда, о чем же может быть разговор? — язвительно улыбался желчный Славнов.

И жалобы, большей частью, были малоосновательные: кто-то из мальчишек разбил стекло, сшибли с ног, правда, пьяного, но убогого башмачника, напугали в темноте жиличку из девятнадцатого, Тонька чуть не до смерти защекотала наборщикова Петьку — водой насилу отлили — зашелся.

Но главным образом боязнь родителей заключалась в том, что озорства капитанских детей вредно влияют на нравственность играющих с ними ребят.

И влияние озорников сказывалось.

Дворников Никитка, поощряемый Толькою, играл со славновской мелкотою, как богатырь Васька Буслаев в детстве: швырял, выворачивал руки, отдавливал ноги.

Дети явно портились.

Самые тихони становились грубыми, озорничали. Случалось — похабничали, неприлично ругались.

— Я и ругаться-то не умею, вот, святая икона! — крестился опрошенный по этому поводу Толька.— А стекол и совсем не бью, истинный господь!

О стеклах его и не спрашивали, так добавил. Вероятно, разбил.

Вене не позволяли играть с Толькою, да и сам он с ним не сближался.

Странное что-то произошло с Венею.

С первого знакомства капитанский сынок заинтересовал его.

Не нравился, а просто был чем-то интересен.

Но дальше, когда Толька стал оказывать Вене явное благоволение, Веня стал отдаляться от него.

— Вот ты настоящий мальчишка. Один из всех — настоящий,— говорил Толька, а Веня чувствовал нестерпимое желание уйти, не слышать, не видеть Тольки. И не боязнь была, что Толька, как озорник, сделает что-нибудь нехорошее, а просто: не принимало что-то там, внутри, в самом существе Вени не принимало Толькиных благожелательных отношений.

Бывало, Толька рассказывает ребятишкам занимательные истории, обращаясь исключительно к Вене.

Веня слушает сначала с интересом.

Рассказывает Толька о морском пароходе, потонувшем во время бури в Индийском океане.

Ребятишки ни звука не проронят, слушают, как завороженные.

Толька рассказывает хорошо. Слова у него не грубые, как всегда, а хорошие, не его слова. И голос не звонкий, с небольшой сипотцой, а мягкий, не его голос.

И по мере того, как рассказ становится все интереснее: волны перекатываются через палубу тонущего судна, моряки молятся и прощаются друг с другом — не может больше слушать Веня и уходит.

И, выходя с лестницы, где обыкновенно рассказывал Толька, во двор — не верит Веня, что двор этот — славновский двор. Незнакомый какой-то.

И все же как и всегда.

Вот и панель — дорожки, две панели от лестниц до ворот. И флигеля, недавно отштукатуренные, желтые стены.

И вот ихняя ключаревская квартира тридцать — окна ихние: семь окон. И цветы: герань, кактусы, чайная роза — все давно известное, закрыв глаза сказать, перечислить все можно,— но как бы и незнакомое вместе с тем.

И смутно понимает — виноват в этом Толька.

Рассказ его о гибнущем судне и сам Толька — виноват. Хотя бы не рассказывал ничего, все равно был бы виноват. «А что он сделал? В чем виноват?» — спрашивает себя Веня, поднимаясь по лестнице домой.

Но ответить себе не может.

И от этого — и странно, и пусто как-то.

Потом смотрит из окна, как ребятишки играют в «штандар».

И опять — нехорошо и пусто.

Не было Тольки — интересно было смотреть.

Прибежал Толька, и игра показалась не игрою, а безобразным чем-то.

И не просто неинтересной, а безобразной — невозможною показалась простая знакомая игра.

Антошка бросает в стену черный арабский мячик. Кричит:

— Толька!

Толька бежит за упавшим мячиком, хватает его, кричит:

— Штандар!

Разбежавшиеся во все стороны ребятишки при слове «штандар» — останавливаются. Толька бросает мячом в близстоящего. Игра — известная. Сам Веня сколько раз в нее играл.

Но что-то новое теперь в ней. «Толька виноват»,— думает Веня.

Толька бежит.

Длинные, в коротких штанишках, длинные, но полные ноги. Треплется ветром матросский воротник, прилипли вспотевшие на лбу волосы. Толька — как Толька, всегда ведь такой!

И оттого, что всегда такой,— особенно безобразно, неприятно.

И все сплетается в голове: Толька — «штандар». Какое нехорошее слово: «штандар»! Толька — буря в море.

Нехорошая буря! Толька...

«А еще в море бывают миражи, марево!..» — вдруг почему-то является мысль.

Толька — мираж! Толька — мираж!

И радостно, и страшно: «Толька — мираж!»

Сам не понимая, что делает, застучал кулаком по железной крышке окна и крикнул:

— Толька — мираж!

И вспомнилось вдруг, как огурчики лежали давно, в детстве раннем, зелененькие, на окне, «смеющиеся огурчики».

— Веня! Ты упадешь! — тревожный знакомый голос.

Веня вздрагивает.

Он — на окне. Во дворе не играют дети. Трубы напротив на флигеле освещены солнцем. Значит, вечер.

Мать гладит его по голове:

— Ложись спать! Разве на окне спят, милый?

— Я не спал,— отвечает Веня.

— Только храпел, а не спал, да? — улыбается мама.

— Нет! Толька — не храпел, а Толька — мираж! — отвечает тихо мальчик.

— Ты глупости болтаешь какие-то! Спать хочешь? — хмурится мама.

Веню вдруг охватывает чувство непонятной тревоги.

Сам не понимает, что́ говорит, ухватившись за руку матери обеими руками:

— Мамочка! Я Тольки — не хочу!

— Что? Как не хочешь? — не понимает мать.

— Я Тольки капитановского не хочу! — говорит Веня и чувствует дрожь и в голосе и в теле.

— И не надо, милый! Не играй с ним! Он нехороший...

Но Веня говорит, еще сильнее дрожа:

— Мамочка, ты не понимаешь! Я не хочу его, Тольку, не хочу! Понимаешь, мамочка, милая?

Отчаяние, страх охватывают оттого, что мать его не понимает.

— Ма-а-ма!..

— Милый...— пугается мать.— Ты — что? Он побил тебя, скверный этот мальчишка? Да?

— Нет, мама, нет! Ты не понимаешь! Ты пойми! Зачем — Толька? Не надо Тольки! Не надо! И теперь не поняла?

Отец, вошедший в комнату на истерические крики сына, сказал взволнованно:

— Этот Толька всех с ума сведет! Я в участок заявлю! Черт знает, что с детьми из-за него делается!

IV

ПОСРАМЛЕННЫЙ ИДОЛ

Отец строго-настрого запретил Вене гулять во дворе.

— Гуляй в саду! Гораздо лучше, чем на вонючем дворе шляться. Или читал бы больше!

Веня принялся за чтение. Купил три книжки, дешевые, но красивые, с пестрыми, пахнущими краскою обложками: «Черный капитан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», и арабская повесть: «Босфорская змея».

Но несмотря на то, что книжки были интересные, Веня никак не мог отделаться от непонятного, гнетущего чувства.

Точно книжки напоминали о чем-то нехорошем.

И вдруг понял: «Черный капитан» — виноват.

Он напоминает Тольку.

Капитан. Толька — сын капитана.

Отложил книгу — не хотелось уже читать.

А со двора неслись голоса играющих в солдатики детей.

— Нале-е-во! Кру-у-гом! Шагом, марш! — слышалась команда. «Толька — командир!»

Вспомнил Веня,— вчера Толька предлагал:

— Ты, Веник, офицером будешь. Я — командир, а ты — мой помощник. Я тебя обучать не буду и на часах тебе не надо стоять. А будешь только ходить и смотреть, чтобы часовые не спали.

Но Веня отказался играть.

— Ты на меня чего-то злишься,— сказал ему Толька.— Я тебя считаю лучше всех, а ты меня не любишь.

Вспоминая теперь, за чтением, вчерашний разговор, Веня ощутил неприятную неудовлетворенность.

А со двора опять послышалось:

— Напра-аво! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Бе-е-гом!

И почему-то непреодолимо захотелось идти на двор, к играющим. И пошел.

Не играть с Толькою в солдатики. А зачем-то увидеть Тольку. В лицо его, ненавистное, вглядеться.

И спускался когда по лестнице, странно опять было, как во сне, томительном и тяжелом, когда проснуться хочется и не можешь.

Выйдя во двор, пошел навстречу маршировавшим ребятишкам, но не дойдя до них — остановился.

Из квартиры в первом этаже (в нее вчера переехали новые жильцы, столяры) из окна вылезал мальчуган в пестрой ситцевой рубахе, босой и без шапки.

— Чего смотришь? Не узнал? — крикнул мальчишка.

Спрыгнул. Прошел мимо Вени. Шел мелкими шагами, плечами вертя, точно плясать собирался. Юркий, видно, и озорник. Волосы тоже озорные: рыжие, во все стороны торчат, будто сейчас только драли за вихры.

Лицо пестрое от веснушек.

Веня подумал: «Новый. От столяров».

Пошел следом за мальчишкою. А тот, поравнявшись с играющими, закричал, как заправский унтер:

— Рота-а! Кру-у-гом!

И, обратясь к Тольке:

— Эй, ты, генерал-маёр Слепцов! Вот как командовать нужно!

Порядок был нарушен.

Мальчишки остановились, с недоумением глядя на чудного незнакомца.

— Рыжий! — тихо прыснул кто-то.

— Рыжий! Рыжий! — повторили уже громче.

А мальчишка, оскалив широкий и прямой, как щель, желтозубый рот, передразнил:

— Рыжий, рыжий! Эх, вы, еще дразнить-то не умеете! Нешто рыжих так дразнят?

— А как? Ну, как?

Рыжий запел серьезно и старательно, будто настоящую песню, даже в такт помахивал рукою и притоптывал ногой:

Рыжий красного спросил:
«Чем ты бороду красйл?»
Красный рыжему сказал:
«Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал».

Почесал затылок и опять, семеня ногами, будто пританцовывая, подошел к Тольке:

— Дяденька, а, дяденька! Достань воробышка!

— Ты кто такой? — строго спросил Толька, покраснев до ушей.

— А я, ваше благородие,— скороговоркой отвечал рыжий,— есть самый выдающий человек. А родина моя город Пске, Американской губернии, а звать Тимоха, рубаха писана горохом, штаны рисованы змеей. Вона кто я такой! — заключил рыжий, щелкнув языком, как пробкою.

И, не обращая внимания на загоготавших от восторга ребятишек, продолжал, глядя прямо в лицо Тольке:

— А родился я в тысяча восемьсот не нашего году, а месяца и числа не помню, матка пьяным родила. А ты, поди, из легавой породы? — спросил он вдруг Тольку.

— Из какой такой из легавой? — покраснел тот еще сильнее прежнего.

— Из благородных, значит! Чулочки бабские, харя белая да гладкая, во всю щеку румянец, а под носом сопля!

— Евонный отец капитан,— сказал кто-то из ребятишек.

— С разбитого корабля, знаю! — буркнул, не оборачиваясь, рыжий и продолжал: — Так-то, брат! А звать тебя, поди, Жоржик али Женечка, а?

— Ты чего дразнишься? — не выдержал Толька, надвигаясь на рыжего.— Какой я тебе Жоржик?

— Драться хошь? Погодь, успеем! — отмахнулся спокойно рыжий.— Без драки нам не обойтись, это верно! А только сперва дай с парнишками обзнакомиться. Эй, ты, чудный месяц! — крикнул он Никитке.— Ишь, харя! С похмелья двоим не облевать. Приятная физиономия!

Он подошел к оторопевшему пареньку и, внимательно оглядывая его, как какую-нибудь вещь, продолжал серьезно:

— Да-а! Знатная физия! И сам-то что комод красного дерева. Он, поди, вас, братцы на борьбу всех зараз гребет, оптом? А? И где таких толстомясых делают? Ты, брат, большую сумму денег огрести можешь. Хошь заработать, а?

— Как — денег? Где? — не понял Никитка, сбитый с толку серьезным тоном рыжего.

— Вот чудак, не знаешь! — удивился тот.— Где? А? А в Зоологическом. Ей-богу, тебя можно за деньги показывать! Специально из-за тебя публика пойдет. Э-эх! Браток! Верное дело упущаешь. Играет тут в солдаты, зря ноги ломает. Раз-два! Раз! Два! Ну и чудак, брат, ты! Или денег у тебя своих много?

— Никитка! Дай ему в морду, чего он надсмехается, рыжий черт! — крикнул Толька.

— У морды, брат, хозяин есть! — ответил рыжий.

Но Никитка подошел к нему и, засопев, подтолкнул плечом:

— Ну, рыжий бес, валяй! Чего вяжешься? Ну, зачинай, что ли!

— Погодь! — отпихнул его рыжий слегка.— Знаешь, что такое карточка, закусочная и сопатка?

— Чего дурачишься? — полез Никитка уже прямо грудью.— Кака тебе карточка да закусочна?

— Тпр!.. Не при, битюг дурдинский! Задавишь! — отпихнулся опять рыжий.— А карточка, брат,— это харя, а закусочная — рот, а сопатка — нос. А ежели ты этой науки не знаешь, то драться и не берись, не умеешь! А вот бороться давай, тебе это самому приятнее.

Никитка, действительно более уверенный на успех в борьбе, согласился:

— Давай! Думашь, слабо́? Давай, ну?

Рыжий указал на середину двора:

— Сюда выходи, во!

Ребятишки заволновались:

— Ишь, дурак, бороться!

— Зря взялся!

— Никитка его сейчас сломает!

А борцы схватились крест-накрест.

Рыжий, почти на голову ниже Никитки и значительно тоньше его, широко расставив ноги, тонкие и немного кривые, уперся ими крепко, как железными прутьями.

Никитка отчаянно заламывал противника, напирал крутой грудью в лицо.

— Сейчас задавит,— шептались ребята.

А рыжий кричал:

— Ого, грудища-то! Что подушка! Ну и черт! Отъелся здорово!

Хлопал по толстой Никиткиной спине:

— Во, запасец-то!

Никитка, красный как кровь, сопел на весь двор.

Расцепились.

— Здоров! — мотал головой рыжий.— Мужика, ежели который плохенький, задавит с ручательством: одно мясо да жир. Ишь, черт, что свекла стал! Даже ноги красные. Кровищи в нем, надо быть, целая бочка!

Ребятишки стояли молча, еще не могли решить, на чьей стороне будет верх, и потому держались осторожно.

А пыхтящий Никитка говорил уже горячась:

— Ладно, брат! Чичас я те покажу, почем сотня гребешки!

— Что купец из бани, в чистый понедельник, уф, уф! — поддразнивал рыжий.— Ну, давай! Паровоз! Отдохнули! Хватит!

Схватились снова. Затоптались.

— Держись за воздух! — вдруг крикнул рыжий пронзительно.

Ребята ахнули.

Рыжий, приподняв тяжелого противника, мотнул повисшими его ногами в сторону и шмякнул наземь.

— Го-го-го!..

Бесенятами закружились ребятишки:

— Ай да рыжий!

— Молодец!

— Никитка! Не стыдно? Не стыдно??

— У-у-у-у!..

Никитка медленно поднимался.

— Не ушиб, брат, а? — участливо спрашивал рыжий: — Здесь у вас плохо — камень. Вот у нас, за Нарвской...

Он не договорил.

Толька сделал два длинных шага и, взмахнув рукой, ударил рыжего сзади по уху.

Тот кувыркнулся через поднимавшегося с земли Никитку, но мгновенно вскочил сразу на обе ноги.

— Здорово стегнул! Только сзади, не дело!

Сообразил — кто.

— А, капитан! Ну, брат, это не по-капитански!

А Толька молча ждал, слегка сощурив глаза.

Рыжий кинулся на него. Отскочил.

Толька бил крепко, но удары рыжего были необычайны.

Казалось, в удар кулака входила сила и стремительность всего его юркого тела. Точно выстрел — каждый удар.

Толька стал отступать.

Но рыжий не отставал. Удары его делались все стремительнее и жесточе. Даже не заметно было взмахов.

Восторг ребятишек был безграничен.

— Рыжий, рыжий! А-а-а!

— Так! Так!

— Что черт вертится!

— А-а-а!

Толька упал. Вскочил, но снова упал. Из носа и разодранной губы — кровь.

— Толька, сдавайсь!

— Толька, попало!

Кричали мальчишки.

Рыжий стоял, выжидая.

— Ну? Еще? — спросил, прерывисто дыша.

— До-вольно! — ответил Толька, сплевывая кровь.

И, отойдя на несколько шагов, вдруг громко-громко заплакал и побежал.

Веня почувствовал: волною прилило что-то к груди.

Ноги не стояли на месте.

Вприпрыжку, через двор, быстро вбежал на лестницу:

— Ма-ма! Папа! Ма-а-ма! — захлебываясь, кричал.

Кинулся к испуганной матери:

— Мамочка! Мама! Сейчас! Сейчас! Тольку побили! Мама! Слышишь? Толька сейчас плакал! Толька плакал!

V

НОВАЯ СТРАНИЦА

Победа Рыжего над Толькою не была окончательной.

После еще несколько раз, уже «любя», сходились, и всё — вничью.

Рыжий беззлобно говорил ребятишкам о Тольке:

— Стегает прилично, несмотря, что из господчиков. Сила у него большая.

— А все-таки ты ему завсегда насдаешь, верно? — заискивала мелкота.

— Нет! Поровну у нас идет. Я — его, он — меня. Конечно, ежели всерьез — другое дело. Когда я дерусь позаправду — сила у меня вдвое вырастет. И не отстану, хоть убей!

Действительно, при серьезных стычках Рыжий побивал Тольку, правда с большим трудом.

Но после таких столкновений утомлялся.

Выросшая вдвойне сила — падала. Сидел потный и бледный, с вздрагивающими пестрыми от веснушек пальцами, в то время как у побитого им Тольки круглые щеки румянились и широкая грудь дышала глубоко и свободно.

В такие минуты Веня жалел Рыжего и ненавидел Тольку.

В борьбе с Никиткою Рыжий не всегда выстаивал. Нередко, когда ему удавалось, благодаря неуклюжести противника, одержать над ним победу, поваленный Никитка легко сбрасывал с себя победителя и подминал тяжело и плотно.

А однажды на песке, на канале, против славновских ворот — с полчаса, пожалуй, мучил Никитка Рыжего.

Насел, что тому не дрыгнуть, а сам в носу ковыряет да посмеивается:

— Я быдто ведмедь — всех давлю!

Думали ребятишки — драка выйдет. Но Рыжий не обиделся:

— Черт,— говорит,— здорово припечатал!

— Уж ежели я мясами завалю — будь спокоен, как в санях! — соглашался Никитка.

Но как-никак, а с приездом в Славнов Рыжего ребятишки вздохнули куда свободнее.

Толька с Никиткою не так уж издевались.

Как-то побитый Никиткою до синяков на боках Петька наборщиков пожаловался Рыжему:

— Завсегда бьет и ломает, вот хоть у ребят у всех спроси,— хныкал Петька.

Рыжий разыскал Никитку и предупреждение сделал:

— Смотри, черт мордастый! Коли еще маленьких обидишь — кровью у меня умоешься!

— Какой же он маленький! Петька-то? — оправдывался Никитка.— Он даже меня старше.

— Дурак! Старше! А сравни себя с ним, получится слон и моська!

Петьке же Рыжий посоветовал:

— А ты, нюня, бей чем попадя. Камень — камнем, полено — поленом! И убьешь — не ответишь!

И остальным мальчишкам:

— А вы, братцы, чудаки-покойники! Иванятся у вас эти двое, Толька с Никиткою, и будто так и надо! Ежели б у нас за

Нарвской такие Иваны объявились — беспременно им санки порасшибали бы!

— Да, а что мы сделаем с ними? — наперебой тараторила мелкота: — Они вона какие битюги дурдинские, сам видишь!

— Битюги! А вы извозчиками будьте! Вы ведь боитесь, а бояться-то нечего. Всех не убьют. Меня хозяин и то второй год как бить бросил. Потому, ежели он за ремень, я обязательно — за фуганок, али за стамеску. И вы бы так. Сила не берет — бей чем попало! Главное, компанией надо. А то у вас так: одного бьют, а другие смотрят, да еще подначивают. А кучей вы могли бы и Тольку этого с Никиткою да и меня в придачу честь честью расхлестать.

Ребятишки после между собой:

— Молодец, братцы, он, да?

— Правильный! Не гляди, что рыжий.

— Рыжие тоже разные бывают.

— Они его боятся, страсть!

— Вдвоем не побоятся,— не соглашался швейцаров Антошка.— Толька и один-то его не боится, а вдвоем с Никиткою им с ним и делать нечего.

— А нам нужно за Рыжего стоять. Верно?

— Понятно! Без него нам ничего не сделать.

Ожили ребятишки.

Петька повеселел и порозовел даже.

Никитка оставил его в покое. Изредка лишь легонько «игрался». Силы, крови у Никитки — уйма.

Веселит, радует Никитку здоровье, тело могучее.

Трудно удержаться, не попробовать силы, не прижать, не вертануть какого-нибудь заморыша.

Трудно удержаться от озорства, жестокости каждому здоровому ребенку.

Где удержаться, когда кровь как само счастье?

Сила в каждой частице тела стучится, исхода требует, работы.

Лежит, бывало, Никитка в праздник на песке, семечки лузгает.

Жара — не продохнуть. А от праздничной сытости еще жарче.

Что после бани — распарен Никитка.

Томится от безделья большое сытое тело.

Сжимает и разжимает круглые загорелые кулаки.

Ноги вытягивает, выгибая пальцы, отчего выпячиваются выпуклости под пальцами, на подошвах, а сверху, под крутым скатом ступней, у пальцев, складки — трещинки на грубой загорелой коже — слоновьи ступни.

«Эвона, ножищи у меня богатырские,— думает радостно Никитка: — огромадные и гольное мясо!»

А тут Петька стошки считает. Всегда со стошками — везет ему в игре.

Укладывает пачечки бережно.

Протягивает Никитка ногу, лапищу, ступню слоновью — весь капитал Петькин накрывает.

— Чего лезешь, брось! — толкает Петька Никиткину ногу: — Помнешь стошки. Пусти!

— А ну-кась, сдвинь ножку-то! Слабо́!

Посмеивается. Грызет семечки.

Петька хватается обеими руками за толстую ногу, упирается, как в столб, теребит круглые пальцы, с плоскими, как миндаль в заварном тесте, ногтями.

— Черт толстомясый, чего лезешь? К тебе жа не лезут?

Злится: на силу Никиткину негодует и на бессилие свое.

Непоколебима упористая лапа. Над пальцами, на загорелой грубой коже складки — трещины.

Слоновья ступня.

Хнычет Петька.

— И все лезет, все лезет!.. Пусти, говорят! Помнешь стошки! Ники-и-тка!.. Пусти-и жа!

Петька бьет бессильным сухоньким кулачком по круглой твердой ноге Никитки.

— Пальчик-то отогни, один хоша! Двум рукам!.. Гы-ы-ы!..

Посмеивается. Лузгает семечки. Толстые, блестящие, точно маслом смазанные щеки выпирают так, что глаз не видать.

— Пусти, толсторожий!.. Никитка! Пусти жа!

— Гы-ы! Моська! Понатужься, авось согнешь пальчик-то! Ну-кася! «Ой, дубинушка!» Гы-ы-ы!..

Отирает губы увесистым, коричневым кулаком.

Натешился.

Петька выпрямляет, разглаживает карточки.

— Измял, вот!.. Ладно же!.. Пристает всегда! Его не трогают!

Никитка зевает, потягиваясь.

— С чего ты, Петька, такой прыштик, понять не могу! С ногой с моей не совладать, с пальчиком, Петь, а?

— Ладно! Смейся! Тебе харя дозволяет! Морда что у слона у настоящего! — огрызается Петька, засовывая за пазуху карточки.

— Ну дак что, как у слона! Зато я здоровенный, а ты прыштик. Я с тобой, что захочу, то и сделаю, а ты со мной — ничего.

Никитка схватывает Петьку за шиворот и пригибает к земле:

— Вона! Вся твоя жизня тут!

Но все эти грубые издевательства против прежних Никиткиных жестокостей для Петьки — что хлеб с маслом.

Ожил Петька. Повеселел даже и порозовел.

Против прежнего не житье ему, а масленица.

Веня с Рыжим подружился. И не потому лишь, что Рыжий Тольку побил и за Петьку, затравленного Никиткою, заступался.

Другое что-то влекло его к новому товарищу.

И ухарству Рыжего, перед чем благоговела славновская мелкота, краснобайству его прибауточному особенной цены Веня не придавал.

Наоборот, больше нравился Рыжий, когда молчаливо слушал Толькины рассказы, или когда стружки подметал в мастерской хозяина своего, столяра Ивана Кузьмича Гладышева.

Но особенно теплотою какой-то веяло, когда вспоминал Рыжий по весне как-нибудь о Нарвской заставе.

— Травка теперь. Парнишки, поди, купаться скоро начнут. Весело, хорошо у нас, за Нарвской. Будто родные все промежду себя.

И, в тон скоморoший впадая, сплевывал сквозь зубы:

— Черт, Кузьмич корявый! Угораздило сюда ехать жить. Сменял кукушку на ястреба.

И запевал горестно-шутливо:

Прощай, ты, Нарвская застава,
Прощай, ты, Веников трактир!

Этот Веников трактир нравился Вене, трогал даже. Точно в честь его, Вени — Веника, трактир назывался.

Роднил его с Нарвской заставой, которую, не зная, любил почему-то Веня.

— А в праздники! Эх, мать честная! Скобари наши партиями так и шалаются, с тальянками. «Ломака» впереди всех разоряется.

Рыжий передавал в уморительных картинах пение загулявших «скобарей», кривляние «ломаки» — запевалы:

Шел я лесом,
Видел беса,
Бес в чугунных сапогах! —

дребезжал горос Рыжего.

— А тальянка что змея — во, извивается!..

Кувыркается, «ломаке» подражая, по земле ожесточенно ладонями прихлопывает, топчет брошенную наземь шапку, взвизгивает:

— И-и-и, жаба, гад ену! Змей ползучий!

В восторге — ребятишки.

Особенно толстый Никитка.

— Гы-ы-ы!..

Ржет жеребенком. Щеки от смеха трясутся, выпирают, глаз — не видать.

Потом — драки скобарей:

— По черепам — песоцыной! Тростями железными — в котлеты искромсают, ей-ей!

И не может Веня понять, что хорошего в диких этих Рыжего рассказах, но слушает, затаив дыхание.

А иногда Рыжий запевал с искренней грустью:

Недалеко от Нарвской заставы,
От почтамта версте на седьмой,
Там, обрытый глубоким каналом,
Для рабочих приют дорогой!

И представлялась Вене шоссейная дорога, убегающая вдаль, от Триумфальных заставских ворот, между домами, где люди все как родные!

И казалось, что здесь, в Славновом доме, нет у него, у Вени, родных, а там они, за Нарвской.

И просил тогда Рыжего:

— Пойдем к вам, за Нарвскую, погулять.

Рыжий ласково, как никогда, хлопал Веню по плечу:

— Пойдем, брат, Веник, обязательно пойдем!

И добавлял еще ласковее:

— Ты, Веник, изо всех ребят отменный. Только тихой больно. Надо позубастее быть. Без зубов, брат, никак невозможно. Съедят безо всякого гарниру.

За Нарвскую Веня попал совершенно неожиданно для себя.

Как-то зимою, вскоре после рождественских каникул, в воскресенье, Рыжий сказал Вене:

— Пойдем сейчас за Нарвскую. Обязательно сейчас нужно! — серьезно говорил и взволнованно.

— Надо спроситься дома,— начал было Веня, но Рыжий перебил:

— Не просись, не пустят.

— А может быть, пустят.

— Брось! Знаю! Я тоже не спрашивался своего корявого.

Веня еще мялся, но товарищ внушительно повторил:

— Обязательно сейчас!

По дороге Рыжий с таинственным видом сообщил, что сегодня Путиловский завод и вся вообще Нарвская застава идет к царю с прошением.

— Значит, брат, надо идти и нам. Что же мы, своих оставим, что ли? Верно, Веник? Ведь вся Нарвская пойдет! Наши столяры которые, чуть светок ушли.

— Да ведь я же не нарвский,— покраснел почему-то Веня.

— Ты вроде как бы нарвский тоже.

Далее Рыжий стал рассказывать, что рабочие решили говорить царю о своей жизни.

— Наш брат, рабочий, вроде как при крепостном праве живет,— говорил Рыжий, очевидно, не свои слова.— Знаешь, как при помещиках, давно еще крепостная жизнь была? Людей, как скот, продавали, драли розгами.

— А теперь же не так. Теперь все свободные. Царь-освободитель освободил,— перебил Веня, но Рыжий хмуро сказал:

— Освободитель! Много ты знаешь! Мы вот как-нибудь сходим к братеннику, к моему, путиловский он. Он те расскажет про твоего освободителя-то.

— Какой он мой? — обиделся Веня.— Он меня не освобождал.

— Он никого не освобождал,— хмуро оборвал Рыжий.

Потом долго молчали. Шли торопливо по незнакомым Вене улицам.

Утро было холодное, ветреное. Холод пощипывал уши и носы.

— Сядем на конку,— предложил Веня, которому было очень холодно,— у меня есть деньги.

— Догонит, так сядем,— согласился Рыжий.— Только где ей догнать!

Действительно, шли долго, но конка не догоняла и ни один вагон не попадался навстречу.

— Не ходят конки чего-то,— задумчиво сказал Рыжий.— Пойдем, брат, скорее. Сейчас, вот, Нарвский проспект, а там и площадь и ворота.

— Эге, брат! — сказал Рыжий, когда вышли на площадь.— Вот те и раз! И фараонов-то!..

На широкой площади гарцевали всадники и грелись у костров солдаты.

Вене стало беспокойно при виде расположившихся, как на войне, солдат.

— Пойдем назад,— тихо сказал Веня.

— Куда назад?! — сердито спросил Рыжий и пошел, несколько замедлив шаг, по направлению к Нарвским воротам.

Но конный городовой издалека махнул рукою в белой перчатке.

— Не пропущают! — глухо сказал Рыжий.

— Пойдем назад,— повторил Веня.

— Э, погоди, брат,— вдруг встрепенулся Рыжий,— я знаю, как пройти. Через Екатерингоф, в Волынку. Айда, братишка!

Бегом, через скрипучий деревянный мост, потом по широкой, в гору, дороге.

— Это — Волынка,— торопливо сообщал Рыжий,—а сейчас — по Болдыреву переулку и за Нарвскую. Я, брат, здесь все ходы и выходы знаю. Завяжи глаза — и найду, честное слово!

Через минуту были на шоссе, за Нарвской.

Было страшно.

Черная, огромная толпа, несколько секунд назад бодро идущая шаг за шагом, с пением молитв, с хоругвями — стала черной стеной.

Лишь колыхались хоругви и несколько человек тянули еще слова молитвы.

И вдруг в морозном, точно притихшем воздухе резко и тревожно запела труба.

И едва смолкла — загрохотало что-то, словно гигантский молот запрыгал по камню.

Толпа задвигалась, прокатился по рядам ропот.

— Стреляют! Стреляют! — болезненный где-то крик.

Потом опять — молот по камню.

— Веник, сюда! — кричал Рыжий.

За каменным столбом, похожим на могильный памятник без креста, залегли Рыжий и Веня.

А грохот — чаще и чаще.

И бледными вздрагивающими губами выкрикивал Рыжий тяжелые ругательства.

— Надо опять в Болдырев! — шепнул он, наконец, Вене.— Скорее! Голову не поднимай, а то подстрелят, сволочи!

Уже к Волынкиной деревне когда подходили, Рыжий, догнав торопливо идущего Веню, остановил его, дернув за рукав:

— Погодь!

— Чего ты? — спросил Веня, остановившись.

— Погодь,— тихо, точно слюну глотая, промолвил Рыжий.

Веня смотрел на него и ждал.

И тот, казалось, ждал.

Потом, махнул рукою и отвердевшими, словно застывающими губами проговорил чуть слышно:

— Веник, видал? Ведь убивали. А? Веник? Ведь позаправду стреляли.

Рот раскрыл, как рыба на берегу. С трудом вдохнул в себя воздух.

Веня испугался. Ему показалось — Рыжий ранен.

Но тот оправился.

Сплюнул, выругался тяжело и злобно, как мужик.

Нахлобучил ушастую шапку и сурово бросил:

— Пошли!

VI

ОТТЕПЕЛЬ

Расстрел рабочих, ходивших с петицией к царю,— небывалое еще в Питере событие нашло отголосок и среди детворы Славнова дома.

Мнения и симпатии разделились.

Толька, а с ним и Никитка стояли за солдат, полицию — за царя.

Очевидцы кровавого события — Рыжий и Веня,— находящиеся еще под свежим впечатлением виденного, отстаивали правоту рабочих и негодовали на зверство правительства.

— Сколь, небось, ребятишек без отцов остались, сиротами,— говорил Рыжий.— Хорошо бы тебе было, если бы твоего батьку убили?

— А зачем они шли? — отвечал вопросом же Толька.— Ишь, чего захотели: с царем разговаривать! Разве это можно?

— А почему нельзя? Царь такой же человек.

— Такой, да не такой. А если бы его убили? Он вышел бы разговаривать, а тут: бац! — из револьвера,— горячился Толька.— Мало там было разных студентов да жидов переодетых.

— Конечно,— поддерживал своего «господина» Никитка.— Они для этого небось и шли: «Боже, царя храни», а сами — с левольвертами.

— Никаких левольверов и не было. Ведь мы с Веником видели. Их стреляют, а они на колени стали и молитвы поют. Нешто за это можно стрелять?

Никитка сопел, видимо колебался, но Толька насмешливо замечал:

— Значит, можно, когда стреляли.

— Дурак ты опосля этого и сволочь! — сердился Рыжий.— Когда люди безоружные, конечно, стрелять не страшно, а только это неправильно.

Он окончательно выходил из себя и угрожающе говорил:

— Ладно! Все равно это так не пройдет. Соберутся потом все рабочие да как начнут трепать этих твоих фараонов да генералов!

— Ничего! — поддразнивал Толька.— Хватит на них пуль-то. Из пушки как выпалят, тут твои путиловцы, что тараканы, запрячутся. Ха-ха!

— Гы-ы! — вторил Никитка.— Это верно, много ли им надо, ежели из пушки.

— Ладно! И на них пушки найдутся,— не сдавался Рыжий. И обращался к Вене: — Верно, Веник?

— Верно,— соглашался тот, хотя не верил, что у рабочих найдутся пушки.

Была оттепель.

Капало с крыш, как весною. На дворе дымила снеготаялка.

Мальчики играли в снежки: Толька с Никиткою против Вени, Леньки и Петьки.

Сначала игра шла почти ровно, но потом слабый Петька и неумелый Ленька стали сдавать.

Вене почти одному пришлось защищаться против двух сильных противников.

Осыпанный снегом, с ноющей скулою от крепкого Никиткиного снежка, Веня стал отступать.

Слабо поддерживавший Ленька все промахивался.

Петька выбыл, ушибленный снежком в глаз.

Победители с радостными криками загнали противников в угол двора.

Ленька закрыл лицо руками и не оборонялся.

— Вали! Бей путиловцев! — вдруг закричал Толька.— Пли!

Снежок больно ударил Веню по носу. Из глаз пошли слезы.

— В кучу их! — радостно заржал Никитка.

Веня не успел опомниться, как Толька схватил его и бросил на кучу снега.

— Сдаешься? — торжествующе крикнул, насев на Веню.

Веня силился подняться, но глубже проваливался в снег.

Тяжелый Толька навалился всем телом.

Никитка в свою очередь подмял под себя слабосильных Леньку с Петькою.

Веня слышал плаксивый голос Петьки:

— Никитка жа!

И озлобленный — Леньки:

— Пусти, черт!

— Сдавайсь! — ржал Никитка.

— Не сдавайся, братцы! — закричал Веня и снова сделал отчаянную попытку освободиться от Тольки.

Но Толька придавил его так, что тяжело стало дышать.

Поймал Венины руки, сжал в своих широких сильных руках, разбросил в стороны.

Задышал прямо в лицо:

— Ну что? Много ли тебе надо? Сдаешься?

— Не... нет! — с трудом выговорил Веня.

Увидел, как нахмурился Толька. Розовые, с ямками, щеки вздрогнули. И вздрогнула нижняя пухлая и выпяченная вперед губа.

— Сдавайся! — запенившимися губами произнес Толька и до боли сжал Венины руки.

Подщуренные глаза зазеленели. «Злится»,— подумал Веня и внезапно озлился сам.

— Пусти! — крикнул предостерегающе и злобно.

— Не пу...

Толька не договорил.

Веня, приподняв голову, быстро, крепко впился зубами в круглую плотную Толькину щеку.

Почувствовал соленое на губах.

Толька вскрикнул, отпустил Веню. Отскочил, держась рукою за щеку.

— Ты — кусаться? Девчонка!

Веня поднялся. Стоял, точно чего-то ожидая.

Толька тоже ждал.

— Драться хочешь? — спросил тихо.

Веня не ответил. Случайно взгляд его упал на копошащуюся на снегу кучу тел. Никитка навалился на Леньку и Петьку, натирая им лица снегом.

Веня сделал шаг, но Толька схватил его за руку:

— Не лезь! Не твое дело! Какой заступник!

Веня вырвал руку, но в тот же момент ощутил тупую боль в скуле.

Голова закружилась. Едва удержался на ногах.

А Толька опять взмахнул рукою. Веня увернулся. Удар пришелся в плечо. Бросился на Тольку.

Опять боль в скуле.

И вдруг услышал:

— Веник, бей!

Звонко отдался этот крик в ушах. Радость от этого крика. «Рыжий»,— подумал Веня.

А Толька отступил на шаг. Смотрел на Веню в упор зелеными дикими глазами и вдруг громко крикнул:

— Никитка! Брось тех! Рыжий!

Рыжий уже подходил.

В одной рубашке, в опорках на босу ногу, в шапке с ушами.

Примял шапку.

— Братцы, крой! — крикнул пронзительно.

И точно ожидали этого крика все трое: и Веня, и Ленька, еще не успевший отдышаться после могучих Никиткиных объятий, и плачущий заморыш Петька — все бросились на Тольку и Никитку, уже стоящих рядом.

Но силы были неравные: два силача уже сбили с ног Леньку и Петьку.

Те вскочили, но снова были сбиты.

— Эх, братцы, плохо! Разве так надо? — крикнул Рыжий.

Двенадцать рук замелькали. Двенадцать ног заскользили на гладком оттаивающем снегу.

С каждым ударом Рыжий вдохновлялся.

Кулаки его невидимо взлетали. Опорок соскочил с одной ноги. Так и не надел его.

— Бей, братцы! Веник! Молодец!

Веня разбил Никитке нос.

Никитка бестолково размахивал руками, пытаясь поймать Веню за руки.

Но Веня увертывался от его страшных лап.

И бил и бил по окровавленному противному толстому лицу.

Толька держался долго, но после двух подряд резких ударов Рыжего, оставивших на сытых розовых Толькиных щеках темно-красный знак,— Толька, отскочив в сторону, засунул руку в карман и, поспешно вытащив перочинный ножик, крикнул:

— Не подходи!

— А, с ножом! — остановился Рыжий.

Драка прекратилась.

А Толька и Рыжий стояли друг против друга.

Рыжий надел опорок.

— Резать будешь? — спросил, тяжело дыша.

— Зарежу! — ответил Толька.

— Слышали, братцы? — обратился Рыжий к мальчишкам.

— Слышали!

— Все слышали!

Рыжий сказал тихо:

— Толька, брось нож! Спрячь!

Толька молчал.

Рыжий сделал осторожный шаг вперед. Толька взмахнул ножом.

Рыжий сдернул с головы шапку и внезапным движением наотмашь ударил шапкою по ножу, а другой рукою схватил Тольку за горло.

Петька подхватил упавший нож.

Рыжий ударил Тольку по носу. Потекла кровь. Толька закрыл лицо руками.

— Довольно? Наелся? — спросил Рыжий и добавил: — Надо бы тебе за нож все зубы повышибить, сволочь!

Толька тихо отошел, вынул из кармана платок и медленно, вдоль стены, отправился со двора на улицу.

— Гулять пошел! — хихикнул Петька.

— Моцион ему нужно обязательно,— сказал Рыжий серьезно.

Потом обратился к Никитке, продолжавшему утираться:

— А ты чего, чудак, завсегда за него пристаешь? Морду накрасили? Хорошо? Вы, ребята, теперь чуть что — мне говорите. Мы их расчешем, как полагается. А ты, Петька, ножик евонный возьми и, ежели он али вот этот черт — полезут,— режь прямо!

— Ей-богу, резать буду! — вдруг заговорил Петька, захлебываясь.— Это что же такое? Этот Никитка чуть что — в морду! Вот сегодня все брюхо раздавил, дьявол толстозадый! Посичас больно. Что я ему, подданный, что ли?

— Слышь, Никитка? Не стыдно тебе, все маленьких забиждаешь. Погоди! — погрозил Рыжий пальцем.— С тобою я еще по-серьезному поговорю.

— Я больше не буду Петьку трогать...— глухо сказал Никитка.

Засопел. Заморгал глазами.

— Это Толька меня все поджучивает.

— Толька? А у тебя своей головы нет? Теперь чтобы Тольку баста слушаться, понимаешь?

— Понимаю,— прогудел Никитка.— Я с им больше водиться не буду.

Он вдруг подошел к Петьке, вздрогнувшему от неожиданности, и протянул огромную красную лапищу:

— Ты, Петь, не сердися. Я больше тебя не трону,— конфузливо проговорил.

Петька опасливо поглядел на своего вечного мучителя и протянул сухонькую грязную ручонку:

— Ладно, помиримся.

— Вот, теперь у нас одна компания,— засмеялся Рыжий.— Давно бы так! Будто у нас, за Нарвской, ей-ей! Веник, слышь, у нас, за Нарвской все дружные! Эх, братцы!

Он снял шапку, почесал затылок.

Веня чувствовал радость. Смеяться хотелось и вместе плакать, Рыжего поцеловать.

Подошел уже к нему, но устыдился.

— Ты — чего? — пытливо взглянул на него Рыжий.

— Ничего!

Веня подумал. Вздрогнувшими губами промолвил:

— Ты — хороший...

— Пока сплю — хороший, ничего,— засмеялся Рыжий.

Спохватился:

— Бежать надо! Хозяин заругается, я ведь выскочил на скору руку. В окно увидал, как ты с Толькою хлестался. Думаю: «Изувечит парня». Вот и прибежал.

Схватил снежок, запалил в стену, побежал, скользя опорками.

Была оттепель.

Капли веселее, звончее дробились по обледеневшему снегу.

Не верилось, что на дворе — январь.

И небо чистое, голубое, омытое, словно — не январское.

ВОЛКИ

I



Ваньки-Глазастого отцу, Костьке-Щенку, не нужно было с женой своей, с Олимпиадою, венчаться.

Жили же двенадцать лет не венчанные, а тут вдруг фасон показал. Граф какой выискался!

Впрочем, это все Лешка-Прохвост, нищий тоже с Таракановки, поднатчик первый, виноват.

— Слабо,— говорит,— тебе, Костька, свадьбу сыграть!

Выпить Прохвосту хотелось,— ясно! Ну, а Щенок «за слабо́» в Сибирь пойдет, а тут еще на взводе был.

— Чего — слабо? Возьму да и обвенчаюсь. Вот машинку женкину продам, и готово!

А Прохвост:

— Надо честь честью. В церкви, с шаферами. И угощение чтобы.

Олимпиады дома не было. Забрал Щенок ее машинку швейную ручную, вместе с Прохвостом и загнали на Александровском.

Пришла Олимпиада, а машинку «Митькой» звали. Затеяла было бузу, да Костька ей харю расхлестал по всем статьям и объявил о своем твердом намерении венчаться, как и все прочие люди.

— А нет, так катись, сука, колбасой!

Смех и горе! Дома ни стола, ни стула, на себе — барахло, спали на нарах, в изголовье поленья — шестерка, как в песне:

> На осиновых дровах,
> Два полена в головах.

И вдруг — венчаться!

Но делать нечего. У мужа сила — у него, стало быть, и право. Да и самой Олимпиаде выпить смерть захотелось. И машинка все равно уж улыбнулась.

Купили водки две четверти, пирога лавочного с грибами и луком, колбасы собачьей, огурцов. Невеста жениху перед венцом брюки на заду белыми нитками зашила (черных не оказалось), и отправились к Михаилу-архангелу.

А за ними таракановская шпана потопала.

Во время венчания шафер, Сенька-Черт, одной рукою венец держал, а другой брюки поддерживал — пуговица одна была и та оторвалась.

Гости на паперти стреляли — милостыню просили.

А домой как пришли — волынка.

Из-за Прохвоста, понятно.

Пока молодые в церкви крутились, Прохвост, оставшийся с Олимпиадиной маткою, Глашкой-Жабою, накачались в доску: почти четверть водки вылакали и все свадебное угощение подшибли.

Горбушка пирога осталась, да огурцов пара.

Молодые с гостями — в дверь, а Прохвост навстречу — с пением:

> Где ж тебя черти носили?
> Что же тебя дома не женили?

А старуха Жаба на полу кувыркается — и плачет и блюет.

Невеста — в слезы. Жених Прохвосту — в сопатку. Тот его.

Шпана — за жениха, потому он угощает.

Избили Прохвоста и послали настрелять на пирог.

Два дня пропивали машинку. На третий — Олимпиада опилась.

В Обуховской и умерла. Только-только доставить успели.

Щенок дом бросил и ушел к Царь-бабе, в тринадцатую чайную.

А с ним и Ванька.

Тринадцатая чайная всем вертепам вертеп, шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.

Хозяин чайной — Федосеич такой, но управляла всем женка его, Царь-баба, Анисья Петровна, из копорок, здоровенная, что заводская кобыла.

Весь шалман держала в повиновении, а Федосеич перед нею, что перед богородицей,— на задних лапках.

С утра до вечера, бедняга, крутится, а женка из-за стойки командует да чай с вареньем дует без передышки,— только харя толстая светит, что медная сковородка.

И не над одним только мужем Царь-баба властвовала.

Если у кого из шпаны или из фартовых деньги завелись — лучше пропей на стороне или затырь так, чтобы не нашла, а то отберет. Самых деловых собственноручно обыщет и отнимет деньги.

— Пропьешь,— говорит,— все равно. А у меня они целее будут. Захочешь чего, у меня и заказывай. Хочешь — пей!

Водку она продавала тайно, копейкою дороже, чем в казенках.

Ванька-Селезень, ширмач, один раз с большого фарту не захотел сдать деньги Царь-бабе, в драку даже полез, когда та начала отбирать.

Но ничего у Ваньки не вышло.

Да и где же выйти-то?

Сила у него пропита, здоровье тюрьмою убито, а бабища в кожу не вмещается.

Принялась она Селезня хлобыстать со щеки на щеку — сам денежки выложил.

Так Царь-баба и царствовала.

Одинокие буйства прекращала силою своих тяжелых кулаков или пускала в ход кнут, всегда хранящийся под буфетом.

Если же эти меры не помогали, на сцену являлся повар Харитон, сильный, жилистый мужик, трезвый и жестокий, как старовер.

Вдвоем они как примутся чесать шпану — куда куски, куда милостыня.

Завсегдатаи тринадцатой почти сплошь — рвань немыслимая, беспаспортная, беспорточная; на гопе у Макокина и то таких франтов вряд ли встретишь.

У иного только стыд прикрыт кое-как.

Ванька-Глазастый, родившийся и росший со шпаною, не предполагал, что еще рванее таракановских нищих бывают люди.

В тринадцатой — рвань форменная.

Например — Ванька-Туруру.

Вместо фуражки — тулейка одна; на ногах зимою — портянки, летом — ничего; ни одной заплатки, все — в клочьях, будто собаки рвали.

А ведь первый альфонс! Трех баб имел одновременно: Груньку-Ошпырка, Дуньку-Молочную и Шурку-Хабалку.

Перед зеркалом причесывается — не иначе.

Или, вот, «святое семейство»: Федор Султанов с сыновьями: Трошкою, Федькою и Мишкою-Цыганенком.

Эти так: двое стреляют, а двое в чайной сидят. Выйти не в чем. Те придут, эти уходят.

Так, посменно, и стреляли.

А один раз — обход.

«Святое семейство» разодралось — кому одеваться?

Вся шпана задним ходом ухряла, а они дерутся из-за барахла. Рвут друг у дружки.

Всю четверку и замели: двое в одежде, двое чуть не нагишом.

Или еще король стрелков, Шурка-Белорожий. В одних подштанниках и босой стрелял в любое время года. В Рождество и Крещенье даже.

Накаливал шикарно! Другой вор позавидует его заработку.

Да и как не заработать?

Красивый, молодой и в таком ужасном виде.

Гибнет же человек! В белье одном. Дальше нижнего белья уж ехать некуда.

Не помочь такому — преступление.

А стрелял как!

Плачет в голос, дрожит, молит спасти от явной гибели.

— Царевна! Красавица! Именем Христа-спасителя умоляю: не дайте погибнуть! Фея моя добрая! Только на вас вся надежда!

Каменное сердце не выдержит, не только женское, да еще если перед праздником.

А ночью к Белорожему идет на поклон шпана. Поит он всех, как какой-нибудь Ванька-Селезень, первый ширмач, с фарту.

Костька-Щенок Ваньку своего отдал Белорожему на обучение.

Пришлось мальчугану босиком стрелять, или, как выражался красноречивый его учитель, «симулировать последнюю марку нищенства».

— Ты плачь! По-настоящему плачь! — учил Белорожий.— И проси — не отставай! Ругать будут — все равно проси! Как я! Я у мертвого выпрошу.

Действительно, Белорожий у мертвого не у мертвого, а у переодетого городового (специально переодевались городовые для ловли нищих) три копейки на пирог выпросил!

Переодетый его заметает, а он:

— Купи, дорогой, пирога и бери. Голодный! Не могу идти!

Тот было заругался, а Белорожий на колени встал и панель поцеловал:

— Небом и землей клянусь и гробом родимой матери — два дня не ел.

Переодетый три копейки ему дал и отпустил. Старый был фараон, у самого, поди, дети нищие или воры, греха побоялся — отпустил.

Ванька-Глазастый следовал примерам учителя: плакал от холода и стыда. Подавали хорошо. Отца содержал и себе на гостинцы отначивал.

Обитатели тринадцатой почти все и жили в чайной.

Ночевали в темной, без окон, комнате.

На нарах — взрослые, под нарами — плашкетня и те, кто позже прибыл.

Комната — битком, все вповалку. Грязь невыразимая. Вошь — темная; клопы, тараканы.

В сенях кадка с квасом и та с тараканами. В нее же, пьяные, ночью, по ошибке мочились.

Только фартовые — воры — в кухне помещались, с поваром.

Им, известно, привилегия.

«Четырнадцатый класс» — так их и звали.

Выдающимися из них были: Ванька-Селезень, Петька-Кобыла и Маркизов Андрюшка.

Ванька-Селезень — ширмач, совершавший в иной день по двадцати краж. Человек, не могущий равнодушно пройти мимо чужого кармана.

Случалось, закатывался в ширму, забыв предварительно потрёкать, то есть ощупать карман,— так велико было желание украсть.

Селезень — вор естественный.

Брал где угодно, не соображаясь со стремой и шухером.

На глазах у фигарей и фараонов залезал в карман одинокого прохожего.

Идет по пятам, слипшись с человеком. Ребенок и тот застрёмит.

А где людка — толпа,— будет втыкать и втыкать, пока публика не разойдется или пока самого за руки не схватят.

Однажды он сгорел с делом, запустив одну руку в карман мужчины, а другую — в карман женщины.

Так, с двумя кошельками — со «шмелем» (мужской кошелек) и с «портиком» (дамский) в руках — повели в участок.

У Знаменья это было, на литургии преждеосвященных даров.

Петька-Кобыла — ширмач тоже, но другого покроя. Осторожен. Зря не ворует. Загуливать не любит. С фарта и то норовит на чужое пить.

Из себя — кобёл коблом.

Волосы под горшок, но костюм немецкий. И с зонтиком всегда и в галошах. Фуражка фаевая, купеческая.

Трусоват, смирен. Богомол усердный. С фарта свечки ставил Николаю-угоднику. В именины не воровал.

Маркизов Андрюшка — домушник.

Хорошие делаши, вроде Ломтева Кости и Миньки-Зуба, с Маркизовым охотно на дела идут.

Сами приглашают, не он их.

Маркизов — человек жуткий.

Не пьет, а компанию пьяную любит, не курит, а папиросы и спички всегда при себе.

Первое дело его, в юности еще: мать родную обокрал, по миру пустил. Шмар, случалось, брал на малинку.

Вор безжалостный, бесстыдный.

На дело всегда с пером, с финкою, как Колька-Журавль из-за Нарвской.

Засыпается Маркизов с боем.

Связанного в участок и в сыскное водят.

В тринадцатую перебрались новые лица: Ганька-Калуга и Яшка-Младенец.

Не то нищие, не то воры или разбойники — не понять.

Слава о них шла, что хамы первой марки и волыночники.

Перекочевали они из живопырки «Манджурия».

Калуга «Манджурию» эту почти единолично (при некотором участии Младенца) в пух и прах разнес.

Остались от «Манджурии» стены, дверь, окна без рам и стул, что под бочонком для кипяченой воды стоял у дверей.

Остальное — каша.

Матвей Гурьевич, хозяин трактира, избитый, больше месяца в больнице провалялся, а жена его — на сносях она была — от страха до времени скинула.

И волынка-то из-за пустяков вышла.

Выпивала манджурская шпана. Взяли на закуску салаки, а хозяин одну рыбку недодал.

Калуга ему:

— Эй ты, сволочь! Гони еще рыбинку! Чего отначиваешь?

Тот — в амбицию:

— А ты чего лаешься! Спроси, как человек. Сожрал, поди, а требуешь. Знаем вашего брата!

Калуга, вообще неразговорчивый, схватил тарелку с рыбою и Гурьевичу в физию.

Тот заблажил. Калуга его — стулом. И пошел крошить. Весь закусон смешал, что карты: огурцы с вареньем, салаку с сахаром и т. д.

Чайниками — в стены, чай с лимоном — в граммофон.

Товарищи его — на что ко всему привычные — хрять.

Один Младенец остался.

Вдвоем они и перекрошили все на свете.

Народ как стал сбегаться — выскочили они на улицу. Калуга бочонок с кипяченой водою сгреб и дворнику на голову — раз!

Хорошо — крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.

Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо — точно опаленное. Говорит сипло, что ни слово — мать.

Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку ограбил и зарезал, но по недостаточности улик оправдался по суду.

И еще: с родной сестренкою жил, как с женою. Сбежала сестра от него.

Калуга силен, жесток и бесстрашен.

Младенец ему под стать.

Ростом выше еще Калуги. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое. Младенец настоящий!

И по уму дитя.

Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя. Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку. Есть может сколько угодно, пить — тоже.

Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии — мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.

Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер — неизвестно.

С первого дня у Калуги столкновение произошло с Царь-бабою.

Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять матерей — Анисья Петровна заревела:

— Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!

Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, да как рявкнет:

— Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!

Калуга ей рта не давал раскрыть.

Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.

Пожаловалась после своему повару.

Вышел тот. Постоял, поглядел и ушел.

С каждым днем авторитет Царь-бабы падал.

На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:

— Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере!

Или грубо балясничал:

— Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно с тобой спать не буду!

— Тьфу, черт! Сатана, прости меня господи! — визжала за стойкою Анисья Петровна.— Чего ты мне гадости разные говоришь? Что я, потаскуха какая, а?

— Отвяжись, пока не поздно! — рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые зубы.— Говорю: за гривенник не подпущу. На черта ты мне сдалась, свиная туша! Иди вот к Яшке, к мяснику. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а! —

кричал он Младенцу.— Бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На паях будем с тобою держать!

Младенец глуповато ржал и подходил к стойке.

— Позвольте вам представиться с заплаткой на...

Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:

— Мадама! Же-ву-при пятиалтынный. Це зиле, але, журавле. Не хотится ль вам пройтиться там, где мельница вертится?..

— Тьфу! — плевалась Царь-баба.— Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю!

— Пожалуйста, Анисья Петровна! — продолжал паясничать Младенец.— Только зачем околоточному? Уж лучше градоначальнику. Да-с! Только мы усю эту полицию благородно помахиваем, да-с! И вас, драгоценнейшая, таким же образом. Чего-с? — приставлял он ладонь к уху.— Щей? Спасибо, не желаю! А? Ах, вы про околоточного? Хорошо... Заявите на поверке. Или в обчую канцелярию.

— Я те дам — помахиваю! Какой махальщик нашелся! Вот сейчас же пойду, заявлю! — горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки Анисья Петровна.

А Калуга рявкал, таращa кровяные белки:

— Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом шпаной да вором только и дышишь, курва!

— Заведение закрою! Дышишь? — огрызалась хозяйка.— Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости, господи! Замучилась!..

Калуга свирепел:

— Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.

Младенец весело вторил:

— Эй! Дайте стакан мусору! Хозяйке дурно.

Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды — не перестала вмешиваться в дела посетителей.

В тринадцатой стало весело. Шпана распоясалась. Хозяйку не замечали.

Повар никого уже не усмирял.

2

В жизни Глазастого произошло крупное событие: умер отец его, Костька-Щенок.

Объелся.

Случилось это во время знаменитого загула некоего Антошки Мельникова, сына лабазника.

Антошка — запойщик, неоднократно гулял со шпаною.

На этот раз загул был дикий. Все ночлежки: Макокина, Тру-ля-ля (Дом трудолюбия), на Дровяной улице «Гоп» — перепоил Мельников так, что в казенках не хватило вина — в соседний квартал бегали за водкою.

Мельников наследство после смерти отца получил. Ну и закрутил.

В тринадцатую он пришел днем, в будни, и заказал все.

Шпана заликовала:

— Антоша, друг! Опять к нам?

— Чего — к вам? — мычал, уже пьяный, Антошка.— Жрите и молчите! Хозяин! Все, что есть,— сюда!

Царь-баба, Федосеич, повара и шпана — все зашевелились.

Антошка уплатил вперед за все, сам съел кусок трески и выпил стакан чая.

Сидел, посапывая, уныло опустив голову.

— Антоша! Выпить бы? А? — подъезжала шпана.

— Выпить?.. Да... И музыкантов! — мычал Антошка: — Баянистов самых специяльных.

Разыскали баянистов. Скоро тринадцатая заходила ходуном. От гула и говора музыки не слышно.

Вся шпана — в доску.

Там поют, пляшут, здесь дерутся. Там пьяный, веселый Младенец-Яшка задирает подолы старухам, щекочет, катышком катя по полу пьяного семидесятилетнего старика, кусочника Нила.

Бесится, пеною брызжет старик, а Яшка ему подняться не дает. Как сытый большой кот сидит над мышонком.

— Яшка! Уморишь старика. Черт! — кричат, хохоча, пьяные.

Привлеченный необычайным шумом околоточный только на секунду смутил шпану.

Получив от Мельникова, секретно, пятерку, полицейский, козыряя, ушел.

На следующий день Мельников чудил.

За рубль нанял одного из членов «святого семейства», Трошку, обладателя шикарных, как у кота, усов. Сбрил ему один ус.

До вечера водил Трошку по людным улицам, из трактира в трактир, и даже в цирк повел.

С одним усом. За рубль.

Потом поймал где-то интеллигентного алкоголика, Коку Львова, сына полковника.

Кока, выгнанный из дома за беспутство, окончательно опустившийся, был предметом насмешек и издевательств всех гулеванов.

Воры с фарта всегда нанимали его делать разные разности: ходить в белье по улицам, есть всякую дрянь.

Даже богомол Кобыла и тот однажды нанял Коку ползать под нарами и петь «Христос воскресе» и «Ангел вопияше».

А домушник Костя Ломтев, человек самостоятельный, деловой, при часах постоянно, сигары курил и красавчика-плашкета, жирного, как поросенок, Славушку такого, будто шмару содержал,— барин настоящий Костя Ломтев, а вот специально за Кокою приходил — нанимал для своего плашкета.

Славушка — капризный, озорник. Издевался над Кокою — лучше не придумать: облеплял липкой бумагою от мух, заставлял есть мыло и сырую картошку, кофе с уксусом пить и лимонад с прованским маслом, пятки чесать по полтиннику в ночь.

Здорово чудил плашкет над Кокой!

Теперь Мельников, встретив Коку, приказал ему следовать за собою, купил по дороге на рубль мороженого, ввалил все десять порций в Кокину шляпу и велел выкрикивать: «Мороженое!»

За странным «продавцом» бродили кучи народа.

Мельников натравлял мальчишек на чудака.

Полицейские, останавливающие Коку, получали, незаметно для публики, от Мельникова на водку, и шествие продолжалось.

В тринадцатой, куда пришел Мельников с Кокою, уже был Ломтев со Славушкою.

По-видимому, кто-нибудь из плашкетов сообщил им, что Кока нанят Мельниковым.

В ожидании Коки Ломтев со Славушкою сидели за столом.

Ломтев, высокий густоусый мужчина, с зубочисткою во рту, солидно читал газету, а Славушка, мальчуган лет шестнадцати, крупный и очень полный, с лицом розовым и пухлым, как у маленьких детей после сна, сидел развалясь, с фуражкою, надвинутою на глаза, и сосал шоколад, изредка отламывая от плитки кусочки и бросая на пол.

Мальчишки, сидящие в отдалении, кидались за подачкою, дрались, как собаки из-за кости.

Славушка тихо посмеивался, нехотя соси надоевший шоколад.

Когда вошли Мельников с Кокою, Славушка крикнул:

— Кока! Лети сюда!

Тот развязно подошел. Сказал, не здороваясь и с некоторой важностью:

— Сегодня он меня нанял.

И кивнул на Мельникова.

— И я нанимаю! Какая разница? — слегка нахмурился мальчуган.

Протянул розовую, со складками в кисти, руку с перстнем на безымянном пальце:

— Целуй за гривенник!

Кока насмешливо присвистнул:

— Полтинник еще — туда-сюда.

Мельников кричал:

— Чего ты с мальчишкою треплешься! Иди!

Кока двинулся. Славушка сказал сердито:

— Черт нищий! Пятки мне чешешь за полтинник целую ночь, а с голодухи лизать будешь и спасибо скажешь. А тут ручку поцеловать и загнулся: «Па-алтинник!» Какой кум королю объявился!.. Ну, ладно, иди, получай деньги!

Кока вернулся, чмокнул Славушкину руку. Тот долго рылся в кошельке.

Мельников уже сердился:

— Кока! Иди, черт! А то расчет дам!

А Славушка копался.

— Славенька, скорее! Слышишь, зовет? — торопил Кока.

— Ус-пе-ешь,— тянул мальчишка.— С петуха сдачи есть?

— С пяти рублей? Откуда же? — замигал Кока.

— Тогда получай двугривенный.

Но Ломтев уплатил за Славушку. Не хотел марать репутации.

Кока поспешил к Мельникову. Славушка крикнул вслед:

— Чтоб я тебя, стервеца, не видал больше! Дорого берешь, сволочь!

Нахмурясь, засвистал. Вытянул плотные ноги в мягких лакированных сапожках.

Ломтев достал сигару, не торопясь вынул из замшевого чехольчика ножницы, обрезал кончик сигары.

Шпана зашушукалась в углах. Ломтева не любили за причуды. Еще бы! В живопырке и вдруг — барин с сигарою, в костюме шикарном, в котелке, усы расчесаны, плашкет толстомордый в перстнях, будто в «Буффе» каком!

Ломтев, щурясь от дыма, наклонился к мальчугану, спросил ласково:

— Чего дуешься, Славушка?

— Найми Коку! — угрюмо покосился из-под козырька мальчишка.

— Чудак! Он нанят. Сейчас он к нам не пойдет! Ты же видишь — тот фрайер на деньги рассердился.

— А я хочу! — капризно выпятил пухлую губу толстяк.— А если тебе денег жалко, значит, ты меня не любишь.

Ломтев забарабанил пальцами по столу. Помолчав, спросил:

— Что ты хочешь?

Славушка, продолжая коситься, раздраженно ответил:

— А тебе чего? Денег жалко, так и спрашивать нечего!

— Жалко у пчелки. А ты толком говори: чего хочешь? — нетерпеливо хлопнул ладонью по столу Ломтев.

— Хочу, чтобы мне, значит, плевать Коке в морду, а он пущай не утирается. Вот чего хочу!

Мальчишка закинул ногу на ногу. Прищелкнул языком. Смотрел на Ломтева вызывающе, слегка раскачивая стул раскормленным телом.

Ломтев направился к столу, где сидел Мельников с Кокою, окруженные шпаною.

Повел переговоры.

Говорил деловито, осторожно отставив руку с сигарою, чтобы не уронить на костюм пепла. Важничал.

— Мм... Вы понимаете! Мальчик всегда с ним играет.

— А мне что? — таращил пьяные глаза Мельников.— Я нанял и баста!

— Я вас понимаю. Но мальчугашка огорчен. Сделайте удовольствие ребенку. Мм... Он только поплюет и успокоится. И Коке лишняя рублевка не мешает. Верно, Кока?

— Я ничего не знаю,— мямлил пьяный Кока.— Антон Иваныч мой господин сегодня. Пусть он распоряжается. Только имейте в виду, я за рубль не согласен. Три рубля, слышите?

— Ладно! Сговоримся там! — отмахнулся Ломтев.— Так уступите на пару минуток?

Мельников подумал. Махнул рукою:

— Ладно! Пускай человек заработает. Этим кормится, правильно! Вали, Кока! Видишь, как я тебе сочувствую?

Ломтев любезно поблагодарил. Пошел к Славушке. Кока, пошатываясь, за ним. А сзади шпана, смеясь:

— Кока! Пофартило тебе! Два заказчика сразу.

— Деньгу зашибешь!

— Только смотри, Славка тебя замучает!

А мальчишка ждал, нетерпеливо постукивая каблуком.

Кока подошел. Спросил:

— Стоя будешь?

— Нет! Ты голову сюды!

Славушка хлопнул себя по колену.

— Садись на пол, а башку так вот. Погоди!

Взял со стола газету, расстелил на коленях:

— А то вшам наградишь, ежели без газеты.

Кока уселся на полу, закинул голову на Славушкины колена, зажмурился:

— Глаза-то открой! Ишь ты какой деловой! — сердито прикрикнул мальчишка.— Задарма хошь деньги получать?

Взял из стакана кусочек лимона, пожевал, набрал слюны.

Капнула слюна. Кока дернул головою.

— Мордой не верти! — сказал Славушка, щелкнув Коку по носу.

Опять пожевал лимон.

— Глаза как следует чтобы. Вот так!

Низко наклонил голову. Плюнул прямо в глаза.

Кругом захохотали. Смеялся и Славушка.

— Кока! Здорово? — спрашивала шпана.

— Черт толсторожий! Специально!

— Ладно! — тихо проворчал Кока.

Ломтев, щурясь от дыма, равнодушно смотрел на эту сцену.

— Плашкет! Ты хорошенько! — рявкнул откуда-то Калуга.— Заплюй ему глаза, чтоб он, сволочь, другой раз не нанимался.

— Эх, мать честная! Денег нет! — потирал руки Яшка-Младенец.— Я ба харкнул по-настоящему.

Славушка поднял на него румяное смеющееся лицо:

— Плюй за мой счет! Позволяю!

Младенец почесал затылок.

— Разрешаешь? Вот спасибо-то!

Кока хотел запротестовать, замямлил что-то, но Славушка прикрикнул:

— Замест меня ведь! Тебе что за дело? Кому хочу, тому и дозволю. Твое дело маленькое — харю подставлять!

Младенец шмаргнул носом, откашлялся, с хрипом харкнул.

— Убьешь, черт! — загоготала шпана.

— Ну и глотка!

Младенец протянул Славушке руку:

— Спасибо, голубок!

Кока поднялся. Мигал заплеванными глазами. Пошел к Мельникову.

— Смотри, не утирайсь! Денег не получишь! — предупредил Славушка.

— Я за им погляжу, чтобы не обтирался,— предложил свои услуги Младенец.

Славушка заказал чаю.

Ломтев дал Царь-бабе рублевку, важно сказав:

— Это, хозяюшка, вам за беспокойство.

Царь-баба ласково закивала головою:

— Помилуйте, господин Ломтев, от вас никакого беспокойства. Тверезый вы завсегда и не шумите.

Ломтев обрезал кончик сигары.

— Я это касаемо мальчика. Все-таки, знаете, неудобно. Он шалун такой.

— Ничего. Пущай поиграет. Красавчик он какой у вас. Что боровок прямо.

Царь-баба заколыхалась, поплыла за стойку.

— Ну ты, боровок, доволен? — улыбнулся Ломтев.

Мальчуган подошел к нему и поцеловал в лоб.

Ломтев погладил его по круглой щеке.

— Пей чай и пойдем.

А Мельников в это время уже придумал номер: предложил Коке схлестнуться раз-на-раз с Младенцем.

— Кто устоит на ногах, тому полтора целковых, а кто свалится — рюмка водки.

— А если оба устоят — пополам? — осведомился Кока.

— Ежели ты устоишь — трешку даже дам! — сказал Мельников.

Младенец чуть не убил Коку. Ладошкою хлестанул, да так — у того кровь из ушей. Минут десять лежал без движения Думали — покойник.

Очухался потом. Дрожа, выпил рюмку водки и ушел, окровавленный.

Славушка ликовал:

— Отработался, Кока? Здорово!

А по уходе Коки составили пари: кто съест сотню картошек с маслом.

Взялись Младенец и Щенок.

Оба обжоры, только от разных причин: Младенец от здоровья, а Щенок от вечного недоедания.

Премия была заманчивая: пять рублей.

Перед каждым поставили по чугуну с картошкою.

Младенец уписывает да краснеет, а Щенок еле дышит.

Силы неравные.

Яшка — настоящий бегемот из Зоологического, а Костька-Щенок — щенок и есть.

Яшка все посмеивался:

— Гони, Антон Иваныч, пятитку. Скоро съем все. А ему не выдержать. Кишка тонка.

И все макает в масло. В рот — картошку за картошкою.

Руки красные, толстые — в масле.

И лицо потное, блестящее — масленое тоже. Течет, стекает масло по рукам. Отирает руки о белобрысую толстую голову.

Весь как масло: жирный, здоровый.

Противен он Ваньке, невыносим. И жалко отца.

Отец торопится, ест. А уж видно,— тяжело. Глаза растерянные, усталые.

А тот, жирный, масленый, поддразнивает:

— Смотри, сдохнешь. Отвечать придется.

Хохочут зрители. Подтрунивают над Щенком:

— Брось, Костька! Сойди!

А Мельников резко, пьяно, точно с цепи срываясь:

— Щенок! Не подгадь! Десятку плачу! С роздыхом жри, не торопись. Оба сожрете — обем по десятке. Во!..

Выбрасывает кредитки на стол.

Костька начинает «с роздыхом».

Встает, прохаживается, едва волоча ноги и выставив отяжелевший живот.

— Ладно! Успеем. Над нами не каплет! — Кривится в жалкую улыбку лицо.

Бледное, с синевой под глазами.

А Младенец ворот расстегнул. Отерся рукавом. И всё ест.

— Садись, Костька! Мне скушно одному,— смеется.

А сам всё в рот картошку за картошкою. Балагурит:

— Эта пища что воздух. Сколь ни жри — не сыт.

Хлопает рукою по круглому большому животу:

— Га-а! Пустяки барабан!

Противен Ваньке Младенец. Жирный, большой, как животное.

И тут же, вроде его, веселый румяный толстяк,— Славушка восторженно хохочет, на месте не стоит, переминается от нетерпения на круглых плотных ногах, опершись розовыми кулаками в широкие бока.

И он тоже противен.

И жалко отца.

Бледный. Вздрагивающей рукою шарит в чугуне, с отвращением смотрит на картошку. Вяло жует, едва двигая челюстями.

— Дрейфишь, а? — спрашивает Младенец, насмешливо.— Эх, ты, герой с дырой! А еще «я», говорит, «я». Где ж тебе со мной браться? Я и тебя проглочу и не подавлюсь. Ам! И готово!

Глупо смеется. Блестят масленые щеки, вздрагивает от смеха жирный загривок.

— Сичас, братцы, Щенок сдохнет. Мы из его колбасу сделаем.

Кругом тихо.

Только Славушка, упершись в широкие бока, задрав румяное толстощекое лицо, звонко смеется, блестя светлыми зубами.

— Яшка-а! Меня колбасой угостишь, а? Ха-ха! Слышь, Яшка? Я колбасу очень уважаю.

Захлебывается от смеха.

И больно и страшно Ваньке от Славушкиного веселья.

И еще страшнее, что отец так медленно, точно во сне, жует.

Вспоминается умирающая лошадь.

Тычут ей в рот траву.

Слабыми губами берет траву. Так на губах и мнется она. Так и остается около губ трава.

Вспоминает умирающую лошадь Ванька — дрожа подходит к отцу, дергает за рукав:

— Папка! Не надо больше!

Поднимается Щенок. Оперся о стол руками.

Наклонился вперед, будто думает: что сказать?

— Ух! — устало и жалобно промолвил и тяжело опустился на стул.

Поднялся. Опять постоял.

— От... правь... те... в боль... ни... цу! — непослушными резиновыми какими-то губами пошевелил.

Тихо стало в чайной.

Только Младенец чавкает. С полным ртом говорит:

— Чаво?.. Жри, знай!

А Щенок не слышит и не видит, может, ничего.

Мучительный, ожидающий чего-то взгляд.

И вдруг — схватился за бока. Открыл широко рот.

— А-а-а! — стоном поплыло.— А-а...

Мельников вскочил, схватил Костьку за руку:

— Ты чего, чего?

Растерялся.

— Братцы! Извозчика найдите!

Ванька бросился к отцу:

— Папка! Зачем жрал? Папка-а! — в тоске и страхе бил кулачком по плечу отца.— Зачем жрал? Па-ап-ка жа!

Отец не слышит и не видит.

Болью искаженное, темнеющее лицо.

Раздвигается резиновый, непослушный рот:

— А-а-а! — плавно катится умоляющий стон.— А-а-а!

И поднимается суматоха.

Мельников — взлохмаченный, растерянный, отрезвевший сразу:

— Извозчика, братцы! Скорее, ради бога!

Пьяные, рваные бессмысленно толкутся вкруг упавшего лицом вниз Щенка.

Гневно взвизгивает Царь-баба:

— Черти! Обжираются на чужое! Сволочи! Тащите его вон отсюда! Не дам здеся подыхать!

И вдруг в суматошно-гудящую смятенную толпу грозно ударил рявкающий голос:

— Па-гулял, богатый гость, купец Иголкин! Теперь наш брат — нищий погуляет!

Калуга, пьяный, дикий от злобы, расталкивая столпившихся, приблизился к Мельникову, взмахнул костистым, в рыжей шерсти, кулаком.

Загремел столом, посудою опрокинутый жестоким ударом Мельников.

Загудела, всполошилась шпана.

— Яшка! — кричал Калуга.— Яшка! Сюды! Гуляем!

Схватил первый подвернувшийся под руку стул и ударил им ползущего на четвереньках окровавленного Мельникова.

— Яшка! Гуляем!

А Яшка опрокидывал столы:

— Ганька! Бей по граммофону!

Шпана бросилась к выходу.

Заковыляли, озираясь, трясущиеся старухи, с визгом утекали плашкеты. Не торопясь ушел со Славушкою под руку солидный Ломтев.

Царь-баба визжала где-то под стойкою:

— Батюшки! Караул! Батюшки, убили-и-и!..

И покрывавший и крики, и грохот — рявкающий голос:

— Я-а-шка! Гу-ляй!

И в ответ ему — дико-веселый:

— Бей, Ганька! Я отвечаю!

Трещат стулья, столы.

Грузно, как камни, влепляются в стены с силою пущенные пузатые чайники, с веселым звоном разбиваются стаканы.

И бросается из угла в угол, как разгулявшееся пламя, рыжий, кривоглазый, с красным, словно опаленным лицом, Калуга, с бешеною силою круша и ломая все.

А за ним медведем ломит толстый, веселый от дикой забавы Яшка-Младенец, добивая, доламывая то, что миновал ослепленный яростью соратник.

И растут на полу груды обломков.

И тут же, на полу, вниз лицом — умирающий или уже умерший Костька-Щенок и потерявший сознание, в синяках и кровоподтеках Мельников.

А над ним суетится, хороня в рукаве (на всякий случай) финку, трезвый жуткий Маркизов.

Толстый мельниковский бумажник с тремя тысячами будет у него.

3

Осиротевшего Глазастого взял к себе Костя Ломтев.

Из-за Славушки.

Добрый стих на того напал, предложил он Косте:

— Возьмем. Пущай у нас живет.

Ломтев пареньку ни в чем не отказывал, да и глаза Ванькины ему приглянулись — согласился:

— Возьмем. Глазята у него превосходные.

Приодел Ломтев Ваньку в новенькую одежду. Объявил:

— Ты у меня будешь все равно как курьер. Ежели слетать куда или что. Только, смотри, ничего у меня не воруй. И стрелять завяжи. Сорёнка потребуется — спроси. Хотя незачем тебе деньги.

Зажил Ванька хорошо: сыто, праздно.

Только вот Славушки побаивался. Все казалось, что тот примется над ним фигурять.

Особенно тревожился, когда Ломтев закатывался играть в карты на целые сутки.

Но Славушка над Ванькою не куражился. Так, подать что прикажет, за шоколадом слетать, разуть на ночь.

Раз только, когда у него зубы разболелись от конфект, велел он, чтобы Ванька ему чесал пятки.

— Первое это мое лекарство,— сказал он, укладываясь в постель.— И опять же, ежели не спится — тоже помогает.

Отказаться у Ваньки не хватило духа. Больше часа «работал».

А Славушка, уложив на Ванькины колени свои мясистые ступни, говорил, зевая:

— Так, Ваня, хорошо! Молодчик! Только ты веселее работай! Во-во! Вверх лезь. Так! А теперь пройдись по всему следу. Ага! Пяты, Ваня, уважь как следует быть. Во! Благодать!

Ваньке хотелось обругаться, плюнуть, убежать. Но сидел, почесывая широкие лоснящиеся подошвы ног толстяка.

А тот лениво бормотал:

— Толстенный я здорово, верно? Жиряк настоящий. Меня Андрияшка Кулясов все жиряком звал. Знаешь Кулясова Андрияшку? Нет?.. Это, брат, первеющий делаш. Прошлый год он на поселение ушел, в Сибирь.

Помолчал. Продолжал мечтательно.

— У Кулясова хорошо было... Да. Эх, человек же был Андрияшка Кулясов! Золото! Костя куда хуже. Костя — барин.

Тот много душевнее. И пил здорово. А Костя не пьет. Немец будто. С сигарою завсегда. А как я над Кулясовым кураж держал! На извозчиках беспременно. Пешком ни за что. Кофеем он меня в постели поил, Андрияшка. А перстенек вот этот — думаешь, Костя подарил? Кулясов тоже. Евонный суперик. Как уезжал в Сибирь — на вокзале мне отдал. Плакал. Любил он меня. Он меня, Ваня, и к пяткам-то приучил. Он мне чесал, а не я ему, ей-богу! Утром это встанет, начнет мои ножки целовать, щекотить. А я щекотки не понимаю. Приятность одна, а больше ничего. Так он меня и приучал. Стал я ему приказывать. «Чеши, говорю, пяты за то, что они толстые». Он и чешет. Хороший человек! Первый человек, можно сказать. Любил он меня за то, что я здоровый, жиряк. Я, бывало, окороками пошевелю. «Гляди,— говорю,— Андрияша. Вот что тебя сушит». Он прямо что пьяный сделается.

Славушка тихо посмеивается. Лениво продолжает:

— А с пьяным с ним что́ я вытворял. Господи! Он, знаешь... что барышня, нежненький. В чем душа. А я — жиряк. Отниму, например, вино. Сердится, отнимать лезет бутылку. Я от него бегать. Он за мною. Вырвет кое-как бутылку. Я сызнова отбираю. Так у нас и идет. А он от тюрьмы нервенный и грудью слабый. Повозится маленько и задышится. Тут я на его и напру, что бык. Сомну это, сам поверх усядусь и рассуждаю: «Успокойте, мол, ваш карахтер, не волнуйтеся, а то печонка лопнет...» А он бесится, матерится на чем свет, плачет даже, ей-ей! А я на ем, жиряк такой, сижу преспокойно. Разыгрываю: «Не стыдно,— говорю.— Старый ты ротный, первый делаш, а я, плашкет, тебя задницей придавил?» Натешусь — отпущу. И вино отдаю обратно. Очень я его не мучил. Жалел.

Славушка замолкает. Зевает, потягиваясь.

— Еще немножечко, Ваня. Зубы никак прошли. Да и надоело мне валяться... Ты, брат, знаешь, что я тебе скажу? Ты жри больше, ей-богу! Видел, как я жру? И ты так же. Толстый будешь, красивый. У тощего какая же красота? Мясом, как я, обрастешь — фрайера подцепишь. Будет он тебя кормить, поить, одевать и обувать. У Кости товарищи которые, на меня, что волки, зарятся. Завидуют ему, что он такого паренька заимел. Письма мне слали,— ей-ей! Я тебе покажу когда-нибудь письма. Только ты ему не треплись, слышишь? Да... Всех я их с ума посводил харей своей да окороками, вот! И то сказать: такие жирные плашкеты разве из барчуков которые. А нешто генерал или какой граф отдадут ребят своих вору на содержание? Хаха!.. А из шпаны если, так таких, как я, во всем свете не сыскать. Мелочь одна: косолапые, чахлые, шкилеты. Ты вот, Ванюшка, еще ничего, не совсем тощий. Много паршивее тебя бывают.

Ты — ничего. А жрать будешь больше — совсем выправишься. Слушай меня! Верно тебе говорю: жри и все!

Костя Ломтев жил богато. Зарабатывал хорошо. Дела брал верные. С барахольной какой хазовкою и пачкаться не станет. Господские все хазы катил. Или магазины. Кроме того, картами зарабатывал. Шулер первосортный.

Деньги клал на книжки: на себя и на Славушку.

Костя Ломтев — деловой! Такие люди воруют зря. Служить ему бы надо, комиссионером каким заделаться, торговцем.

Не по тому пути пошел человек. Другие люди — живут, а такие, как Костя,— играют.

Странно, но так.

Всё — игра для Кости. И квартира роскошная, с мягкою мебелью, с цветами, с письменным столом — не игрушка разве?

Для чего вору, спрашивается, письменный стол?

И сигары ни к чему. Горько Косте от них — папиросы лучше и дешевле.

А надо фасон держать! Барин, так уж барином и быть надо.

В деревне когда-то, в Псковской губернии, Костя пахал, косил, любил девку Палашку или Феклушку.

А тут — бездельничал. Не работа же — замки взламывать? И вместо женщины, Пелагеи или Феклы, с мальчишкою жил.

Вычитал в книжке о сербском князе, имевшем любовником подростка-лакея,— и завел себе Славушку.

Играл Костя!

В богатую жизнь играл, в барина, в сербского князя.

С юности он к книжкам пристрастился.

И читал все книжки завлекательные: с любовью, с изменами и убийствами. Графы там разные, рыцари, королевы, богачи, аристократы.

И потянуло на такую же жизнь. И стал воровать.

Другой позавидовал бы книжным и настоящим богачам, ночи, может, не поспал бы, а наутро все равно на работу бы пошел.

А Костя деловой был.

Бросил работу малярную свою. И обворовал квартиру.

Первое дело — на семьсот рублей. Марка хорошая! С тех пор и пошел.

Играл Костя!

И сигары, и шикарные костюмы, и манеры барские, солидные — все со страниц роковых для него романов.

Богачи по журналам одеваются, а Костя, вот, по книгам жил.

И говорил из книг, и думал по-книжному.

И товарищи Костины так же.

Кто как умел — играли в богатство.

У одних хорошо выходило, другие — из тюрем не выходили.

Но все почти играли.

Были, правда, другого коленкора воры, вроде того же Селезня из бывшей тринадцатой.

У таких правило: кража для кражи.

Но таких — мало. Таких презирали, дураками считали.

Солидные, мечтавшие о мягких креслах, о сигарах с ножницами, Ломтевы Селезней таких ни в грош не ставили.

У Ломтева мечта — ресторан или кабарэ открыть.

Маркизов, ограбивший Мельникова во время разгрома тринадцатой, у себя на родине, в Ярославле где-то, открыл трактир.

А Ломтев мечтал о ресторане. Трактир — грязно.

Ресторан, или еще лучше — кабарэ с румынами разными, с певичками — вот это да!

И еще хотелось изучить немецкий и французский языки.

У Ломтева книжка куплена на улице, за двугривенный: «Полный новейший самоучитель немецкого и французского языка».

Костя Ломтев водил компанию с делашами первой марки. Мелких воришек, пакостников, презирал.

Говорил:

— Воровать, так воровать, чтобы не стыдно было судимость схватить. Чем судиться за подкоп сортира или за испуг воробья — лучше на завод идти вала вертеть или стрелять по лавочкам.

На делах брал исключительно деньги и драгоценности. Одежды, белья — гнушался.

— Что я, тряпичник, что ли? — обижался искренно, когда компаньоны предлагали захватить одежду.

Однажды, по ошибке, он взломал квартиру небогатого человека.

Оставил на столе рубль и записку: «Синьор! Весьма огорчен, что напрасно потрудился. Оставляю деньги на починку замка».

И подписался, не полностью, конечно, а буквами: «К. Л.».

Труд ненавидел.

— Пускай медведь работает. У него голова большая.

Товарищи ему подражали. Он был авторитетом.

— Костя Ломтев сказал.

— Костя Ломтев этого не признает.

— Спроси у Ломтева, у Кости.

Так в части, в тюрьме говорили. И на воле то же.

Его и тюремное начальство, и полиция, и в сыскном — на «вы».

«Тыкать» не позволит. В карцер сядет, а невежливости по отношению к себе не допустит.

Такой уж он важный, солидный.

Чистоплотен до отвращения: моется в день по нескольку раз, ногти маникюрит, лицо на ночь березовым кремом мажет, бинтует усы.

Славушку донимает чистотою:

— Мылся?

— Зубы чистил?

— Причешись!

Огорчается Славушкиными руками. Пальцы некрасивые: круглые, тупые, ногти плоские, вдавленные в мясо.

— Руки у тебя, Славка, не соответствуют,— морщится Костя.

— А зато кулачище какой, гляди! — смеется толстый Славушка, показывая увесистый кулак.— Все равно у купца у какого. Тютю дам — сразу три покойника.

Славушка любит русский костюм: рубаху с поясом, шаровары, мягкие лакировки. Московку надвигает на нос.

Косте нравится Славушка в матросском костюме, в коротких штанишках.

Иногда, по просьбе Кости, наряжается так, в праздники, дуется тогда, ворчит:

— Нешто с моей задницей возможно в таких портках? Сядешь, и здрасте. И без штанов. Или ногу задрать, и страшно.

— А ты не задирай. Подумаешь, какой певец из балета, ноги ему задирать надо! — говорит Костя, с довольным видом разглядывая своего жирного красавца, как помещик откормленного поросенка.

Ванькою не интересовался.

— Глазята приличные, а телом — не вышел,— говорил Ломтев о Ваньке.— Ты, Славушка, в его годы здоровее, поди, был. Тебе, Ваня, сколько?

— Одиннадцать! — краснел Ванька, радуясь, что Ломтев им не интересуется.

— Я в евонные года много был здоровше,— хвастал Славушка.— Я таких, как он, пятерых под себя возьму и песенки петь буду: «В дремучих лесах Забайкала».

Запевал.

— Крученый! — усмехался в густые усы Костя.

Потом добавлял серьезно:

— Надо тебя, Ванюшка, к другому делу приспособить. Живи пока. А потом я тебе дам работу.

«Воровать!» — понял Ванька, но не испугался.

К Ломтеву нередко приходили товарищи. Чаще двое: Минька-Зуб и Игнатка-Балаба. А один раз с ними вместе пришел Солодовников Ларька, только что вышедший из Литовского замка из арестантских рот.

Солодовников — поэт, автор многих, распространенных среди ворья песен: «Кресты», «Нам трудно жить на свете стало», «Где волны невские свинцовые целуют сумрачный гранит». Эти песни известны в Москве и, может, дальше.

Ваньке Солодовников понравился. Не было в нем ни ухарской грубости, ни презрительной важности. Прямой взгляд, прямые разговоры. Без подначек, без жиганства.

И Зуб и Балаба о Солодовникове отзывались хорошо:

— Душевный человек! Не наш брат — хам. Голова!

— Ты, Ларион, все пишешь? — полуласково, полунасмешливо спрашивал Ломтев.

— Пишу. Куда же мне деваться?

— Куда? В роты — конечно. Куда же больше? — острил Костя.

— Все мы будем там,— махал рукою Солодовников.

День его выхода из роты праздновали весело. Пили, пели песни. Даже Костя выпил рюмки три коньяку и опьянел.

От пьяной веселости он потерял солидность. Смеялся мелким смешком, подмигивал, беспрерывно разглаживал усы.

Временами входил в норму. Делался сразу серьезным, значительно подкашливал, важно мямлил:

— Мм... Господа, кушайте. Будьте как дома. Ларион Васильич, вам бутербродик? Мм... Славушка, ухаживай за гостями. Какой ты, право!..

Славушка толкал Ваньку локтем, подмигивал:

— Окосел с рюмки.

Шаловливо добавлял:

— Надо ему коньяку в чай вкатить.

А Ломтев опять терял равновесие. «Господ» заменял «братцами», «Ларион Васильевича» «Ларькою».

— Братцы, пойте! Чего вы там делите? Минька, черт! Не с фарту пришел.

А Минька с Балабою грызлись.

— Ты, сука, отколол вчерась. Я же знаю. Э, брось крученому вкручивать. Мне же Дуняшка все начистоту выложила! — говорил Минька.

Балаба клялся:

— Истинный господь, не отколол! Чтоб мне пять пасок из рот не выходить! Много Дунька знает. Я ее, стерву, ей-богу, измочалю! Что она, от хозяина треплется, что ли?

А Солодовников, давно не пивший, уже опьянел и, склонив пьяную голову на руку, пел восторженным захлебывающимся голосом песню собственного сочинения:

Скажи, кикимора лесная,
Скажи, куда на гоп пойдешь?
Возьми меня с собой, дрянная,
А то одна ты пропадешь.
О, мое нежное созданье,
Маруха милая моя!
Скажи, сегодня где гуляла
И что достала для меня?

Притихшие Минька с Балабою подхватили:

Гуляла я сегодня в «Вязьме»,
Была я также в «Кобызях»,
Была в «Пассаже» с пасачами,
Там пела песни: ...«во лузях».
К нам прилетел швейцар с панели,
Хотел в участок нас забрать,—
Зачем мы песню там запели,
Зачем в «Пассаж» пришли гулять.

Ломтев раскинул руки в стороны, затряс ими, манжеты выскочили. Зажмурился и, скривя рот, гудел басом:

Гуляла Пашка-Сороковка
И с нею Манька-Бутерброд,
Мироновские Катька с Юлькой
И весь фартовый наш народ!

Потом все четверо и Славушка пятый:

Пойдем на гоп, трепло, скорее,
А то с тобой нас заметут!
А на Литейном беспременно
Нас фигаря давно уж ждут.

А Солодовников поднял голову, закричал сипло:

— Стой, братцы! Еще придумал. Сейчас, вот. Ах, как! Да!

Запел на прежний мотив:

В Сибирь пошли на поселенье
Василька, Ванька, Лешка-Кот,
Червинский, Латкин и Кулясов —
Все наш, все деловой народ.

Солодовников манерно раскланялся, но сейчас же сел и снова, склонив голову на руку, закачался над столом. Дремал.

А Ломтев глупо хохотал, разглаживая усы. Поднялся, пошатываясь (Славушкин чай с коньяком подействовал), подошел к Солодовникову:

— Ларя! Дай я тебя поцелую! Чудесный ты человек, Ларя! Вроде ты как Лермонтов. Знаешь Лермонтова, писателя? Так

и ты. Вот как я о тебе понимаю, Ларя! Слышь, Ла-аря? Лермонтова знаешь? Спишь, че-ерт!

Солодовников поднял на Ломтева бессмысленное лицо, заикаясь, промычал:

— По-вер-ка? Есть!

Вскочил. Вытянул руки по швам:

— Так точно! Солодовников!

— Тюрьмой бредит! — шепотом смеялся Славушка, подталкивая Ваньку.— Поверка, слышишь? В тюрьме же это — поверка-то.

Солодовников очухался. Прыгали челюсти.

— Пей, Ларя! — совал ему рюмку Ломтев.

— Не мо...гу...у,— застучал зубами.— Спа-ать...

Его уложили на одной кровати с Ломтевым. Минька с Балабою пили, пока не свалились.

Заснули на полу, рядом, неистово храпя.

— Слабые ребята. Еще время детское, а все свалились! — сказал Славушка.

Подумал, засмеялся чему-то. Уселся в головах у спящих.

— Ты чего, Славушка? — с беспокойством спросил Ванька.

— Шш! — пригрозил тот.

Наклонился над Минькою. Прислушался. Стал тихонько шарить рукою около Миньки.

— Погаси свет! — шепнул Ваньке.

— Славушка, ты чего?

— Погаси, говорят! — зашептал Славушка.

Ванька привернул огонь в лампе.

На полу кто-то забормотал, зашевелился.

Славушка бесшумно отполз.

Опять на корточках подсел. Потом вышел на цыпочках из комнаты.

Ванька все сидел с полупогашенной лампой. Ждал, что кто-нибудь проснется.

Ошманал,— догадался.

Славушка тихо пришел.

— Спать давай! Разуй.

Улеглись оба на кушетке.

— Ты, смотри, не треплись ничего, а то во!

Славушка поднес к Ванькиному носу кулак.

— А чего я буду трепаться!

— То-то, смотри!

Славушка сердито повернулся спиною. Угрюмо приказал:

— Чеши спину! Покуда не засну, будешь чесать.

Ваньку охватила тоска.

Хотелось спать. Голова кружилась от пьяного воздуха. Душно от широкой, горячей Славушкиной спины.

Утром, проснувшись, бузили. У Миньки-Зуба пропали деньги.

Ломтев, сердитый с похмелья, кричал:

— У меня в доме? Ты с ума сошел! Пропил, подлец! Проиграл!

Минька что-то тихо говорил.

Ванька боялся, что станут бить. Почему-то так казалось.

Но все обошлось благополучно.

— Плашкеты не возьмут! — сказал Ломтев уверенно.— Моему — не надо, а этот еще не кумекает.

С лишним год прожил Ванька у Ломтева.

Костя приучил уже его к работе. Брал с собою и оставлял на стреме.

Сначала Ванька боялся, а потом привык.

Просто: Костя в квартире работает, а ему только сидеть на лестнице, на окне. А если стрема — идет кто-нибудь — позвонить три раза.

Из «заработка» Костя добросовестно откладывал часть на Ванькино имя.

— Сядешь если — пригодится,— говорил Костя.— Хотя в колонию только угадаешь, не дальше, но и в колонии деньги нужны. Без сучки сидеть — могила.

Славушка за год еще больше разросся и растолстел, здоровее Яшки-Младенца стал. Но подурнел, огрубел очень. Пробиваются усы. На вид вполне можно дать лет двадцать. Кости не боится, не уважает. Ведет себя с ним нагло.

И со всеми так же. Силою хвастает.

— Мелочь! — иначе никого не называет.

Озорничает больше, несмотря на то, что старше. Костины гости как напьются, Славушка принимается их разыгрывать, в бутылку вгонять. Того за шею хватит, ломает шею, другому руки выкручивает. Силу показывает.

И все боятся. На руку дерзкий. Силач.

Ванька ему пятки чешет каждый день беспрекословно.

Над всеми издевается Славушка. Больше же всего над Балабою-Игнаткою. Больной тот, припадочный. Как расскипидарится — сейчас его припадок начинает бить.

Славушка его всегда до припадка доводит.

Игнатка воды холодной боится — Славушка на него водой и прыскает. Орет, визжит Игнатка, будто его бьют. Рассердится — драться лезет, кусается.

А Славушка его все — водою. Загонит в угол, скрутит беднягу в три погибели и воду — за воротник; тут Игнатка и забьется.

А Славушке потеха. Удивляется:

— Вона, что выделывает, а? Чисто таракан на плите, на горячей.

Мучитель Славушка.

Коку Львова на тот свет отправил. Озорством тоже.

Кока был с похмелья, с лютого. Встретился на беду со Славушкою в Екатерингофе и на похмелку попросил.

А Славушка и придумал:

— Вези меня домой на себе.

Кока стал отнекиваться:

— Лучше другое что-нибудь. Не могу я!.. Тяжелый ты очень.

— Пять пудов, на той неделе вешался. Не так, чтобы чижолый, а все же. Ну, не хочешь, не вези!

И пошел.

Догнал его Кока.

— Валяй, садись! Один черт!

Повез. Шагов двадцать сделал, что мышь стал мокрый.

— С похмелья тяжело... Боюсь — умру.

— Как хочешь, тогда — прощай!

Кока и повез. И верно — умер. Половины парка Екатерингофского не протащил.

Славушка пришел домой и рассказывает:

— Коку Митькою звали. Калева задал — подох.

Не верили сначала. Потом оказалось — верно.

— Экий ты, Славка, зверь! Не мог чего другого придумать! — укорял Ломтев.

— Идти не хотелось, а извозчиков нету,— спокойно говорил Славушка.— Да и не знал я, что он подохнет. Такой уж чахлый.

— Так ты его и бросил?

— А что же мне, его солить, что ли!

А спустя несколько времени разошелся Славушка с Костею.

Прежний его содержатель — Кулясов — с поселения бежал, на куклима жил. К нему и ушел Славушка.

Пришел как-то домой, объявил:

— Счастливо оставаться, Константин Мироныч!

— Куда? — встрепенулся Ломтев.

— На новую фатеру! — улыбнулся Славушка.

Фуражка — на нос, ногу на ногу. Посвистывает.

Ломтев сигару закурил. Спичка прыгала. Волновался.

— К Андрияшке? — тихо, сквозь зубы.

— К нему,— кивнул Славушка.

— Тэк.

Ломтев прищурился от дыма.

— К первому мужу, значит?

Улыбнулся нехорошо.

Славушка ответил спокойно:

— К человеку к хорошему.

— А я, стало быть, плохой? Тэк-с. Кормил, поил, одевал и обувал.

— И спал — добавь,— перебил Славушка.

Ломтев повысил голос:

— Спал не задарма. Чем ты обижен был когда? Чего хотел — имел. Деньги в сберегательной есть. Андрияшка, думаешь, озолотит? Не очень-то. Мяса столько не нагуляешь — не закормит. Вона отъелся-то у меня, сам знаешь.

— Откормил, это верно,— сказал Славушка.— Чтобы спать самому мягче, откормил за это.

Подал руку Ломтеву:

— Всех благ!

Ломтев вынул из бумажника сберегательную книжку — выбросил на стол.

Сказал с раздражением:

— Триста пятьдесят заработал за год. Получай книжку!

Славушка повертел книжку в руках. Положил на стол.

Нахмурился:

— Не надо мне твоих денег.

Ломтев опять швырнул книжку.

— Чего — не надо? По правилу — твои. Имеешь получить.

Славушка взял книжку, запрятал в карман.

Толстые щеки покраснели.

— Прощай! — сказал тихо и пошел к двери, слегка нагнув голову.

— Так и пошел? — крикнул вслед Костя грустно и насмешливо.

Славушка не оглянулся.

4

Люди бывают разные.

Один что нехорошее сделать подумает, и то мучается, а другой отца родного пустит нагишом гулять, мать зарежет и глазом не моргнет. Человечину́ есть станет да подхваливать, будто это антрекот какой с гарниром.

Люди, с которыми встречался Ванька, были такими.

Человечины, правда, не ели — не нужно этого было, ну а жестокость самым первым делом считалась.

Все хорошее — позорно, все дикое, бесстыдное, грязное — шик.

Самый умный человек, Ломтев Костя, и тот поучал так:

— Жизнь что картежка. Кто кого обманет, тот и живет. А церемониться будешь — пропадешь. Стыда никакого не существует, все это — плешь. Надо во всем быть шулером — играть в верную. А на счастье только собаки друг на дружку скачут. А главное, обеспечь себя, чтобы никому не кланяться. Ежели карман у тебя пустой — всякий тебе в морду плюнет. И утрешься и словечка не скажешь, потому талия тебе не дозволяет.

Ванька усвоивал Костину науку: до совершеннолетия сидел в колонии для малолетних преступников четыре раза, девятнадцати лет схватил первую судимость. Одного его задержали — Костя успел ухрять. Все дело Ванька принял на себя — соучастника не показал, несмотря на то, что в сыскном били.

В части, в Спасской, сиделось до суда хорошо. Знакомых много.

Ваньку уже знали, торгашом считали не последним — свое место на нарах имел.

Воспитанный Ломтевым, Ванька был гордым, не трепло. Перед знаменитыми делашами и то не заискивал.

И видом брал.

Выхоленный, глаза что надо, с игрою. Одет с иголочки, белья целый саквояж, щеточки разные, зеркало, мыло пахучее — все честь честью.

Сапоги сам не чистил — старикашка такой, нищий Спирька, нанимался за объедки: и сапоги, и за кипятком слетает, чай заварит и даже в стакан нальет.

Каждый делаш холуя имел,— без этого нельзя.

Мода такая! А не следовать моде — потерять вес в глазах товарищей.

Модничали до смешного. Положим, заведет, неизвестно кто, моду курить папиросы «Бижу» или «Кадо» — во всей части их курить начинают.

Волынка, если не тех купят.

— Ты чего мне барахла принес, жри сам! — кричит, бывало, деловой надзирателю.

— Да цена ведь одна! Чего ты орешь? Что, тебя обманули, что ли!

— Ничего не понимаю! Гони «Бижу»!..

Или, вот, пюре...

Ломтев эту моду ввел.

Сидел как-то до суда в Спасской, стал заказывать картофельное пюре,— повар ему готовил за плату. Костя никогда казенной пищи не ел.

Пошло и у всех пюре.

Без всего: без мяса, без сосисок.

Просто — пюре.

Долго эта мода держалась.

В трактирах, во время обходов, из-за этого блюда засыпались.

Опытный фигарь придет с обходом — первым долгом в тарелки посетителей:

— Ага! Пюре!

И заметает. И без ошибки — вор!

Так жили люди!

Играли в жизнь, в богатство, в хорошую одежду.

Дорого платили за эту игру, а играли.

Годами другие не выходили из-под замка, а играли. Собирались жить.

И надежда не покидала.

Выйдет другой на волю. День-два погуляет и снова на год, на два.

Опять — сыскное, часть, тюрьма. Сон — по свистку, кипяток, обед, «Бижу», пюре.

А надежда не гаснет.

— Год разменяю — пустяки останется,— мечтает вслух какой-нибудь делаш.

А пустяки — год с лишним.

А жизнь проходила. Разменивались года.

— Год разменяю! — страшные слова.

А жизнь проходила.

И чужая чья-то жизнь. Многих, кого ненавидели, боялись и кому втайне завидовали эти мечтающие о жизни... многих жизнь проходила.

Война... Всех под винтовку. Кто-то воевал, миллионы воевали.

А тут — свисток, поверка, молитва, «Бижу», пюре — модные папиросы, модное блюдо.

Конец войны досиживал Ванька-Глазастый в «Крестах». Третья судимость. Второй год разменял.

И вдруг — освободили.

Не по бумагам, не через канцелярию, не с выдачею вещей из цейхгауза.

А внезапно, как во сне, в сказке.

Ночью. Гудом загудела тюрьма, словно невиданный ураган налетел.

Забегали по коридору «менты», гася по камерам огни.

И незнакомый, пугающий шум — пение.

В тюрьме — пение!

Помнит Ванька эту ночь. Плакал от радости первый раз в жизни.

И того, кричащего, на пороге распахнутой одиночки, запомнил Ванька навсегда.

Тот, солдат с винтовкою, с болтающимися на плечах лентами с патронами, в косматой папахе — не тюремный страж, не «мент», а солдат с воли, кричал:

— Именем восставшего народа, выходи-и!

И толпилось в коридоре много: и серые, и черные, с оружием и так.

Хватали Ваньку за руки, жали руки. И гул стоял такой — стены, казалось, упадут.

И заплакал Ванька от радости. А потом — от стыда. Первый раз — и от радости, и от стыда.

Отшатнулся к стене, отдернул руку от пожатий и сказал, потеряв гордость арестантскую:

— Братцы! Домушник — я... Скóкер!

Но не слушали. Потащили под руки. Кричали:

— Сюда! Сюда! Товарищ! Ура-а...

И музыка в глухих коридорах медно застучала.

Спервоначалу жилось весело. Ни фараонов, ни фигарей.

И на улицах как в праздник в Екатерингофе бывало: толпами так и шалаются, подсолнухи грызут.

В чайнушках — битком.

А потом — пост наступил. Жрать нечего. За «сватейкою», за хлебом то есть,— в очередь.

Смешно даже!

А главное — воровать нельзя. На месте убивали.

А чем же Ваньке жить, если не воровать?

Советовался с Ломтевым.

У того тоже дела были плохи. Жил на скудные заработки Верки-Векши, шмары.

Плашкетов уже не содержал — сам на содержании.

Ломтев советовал:

— Завязывать, конечно, нашему брату не приходится. Надо работать по старой лавочке, только с рассудком.

А как с рассудком? Попадешься, все равно убьют. Вот тебе и рассудок!

Умный Ломтев не мог ничего верного посоветовать.

Время такое! По-ломтевски жить не годится.

Бродил целыми днями Ванька полуголодный. В чайнушках просиживал до ночи за стаканом цикория, ел подозрительные лепешки.

А тут еще, ни к чему совсем, девчонка припомнилась, Люська такая.

Давно еще спутался с нею Ванька, до второй судимости было дело. А после сел, полтора года отбрякал и девчонку потерял.

Справлялся, искал — как в воду.

И оттого ли, что скучно складывалась жизнь, оттого ли, что загнан был Ванька, лишенный возможности без риска за жизнь воровать, почву ли потерял под ногами — от всего ли этого вдруг почувствовал ясно, что нужно ему во что бы то ни стало Люську разыскать.

С бабою, известно, легче жить. Костя Ломтев — и тот на бабьем доходе.

Но главное не это. Главное, сама Люська понадобилась.

Стали вспоминаться прежние встречи, на Митрофаньевском кладбище прогулки.

Пасхальную заутреню крутились как-то всю ночь. И весело же было! Дурачился Ванька, точно не торгаш, не деловой, а плашкет. И Люська веселая, на щеках ямки, ладная девочка!

Мучился Ванька, терзался.

И сама по себе уверенность явилась: не найдет Люськи — все пропадет.

Раз в жизни любви захотелось, как воздуха!

С утра, ежедневно, путался по улицам, чаще всего заходил к Митрофанию.

Думалось почему-то, что там, где гулял с Люською когда-то, встретит ее опять.

Но Люська не встречалась.

Вместо нее встретил около кладбища Славушку.

Славушка его сразу узнал.

— Глазастый! Черт! Чего тут путаешься? По покойникам приударять стал, чего ли?

Громадный, черноусый, широченный. Московка — на нос. Старинные, заказные лакировки — нет, таких людей теперь не встречается.

Под мухою. Веселый. Силач.

Здороваясь, так сжал Ванькину руку — онемела.

— Работаешь? Паршиво стало, бьют, стервецы. Кулясова знаешь? Убили. И Кобылу-Петьку. Того уж давно. Теперь, брат, иначе надо. Прямо — за горло: «Ваших нет!» Честное слово! Я дело иду смотреть,— понизил тон Славушка.— Верное. Хочешь в компанию?

— В центре? — спросил Ванька.

— Не совсем. На Фонтанке. Баба с дочкою. Вдова. Верное дело.

Ванька слушал. Повеселел. Дело есть! Что же еще и надо? Осведомился деловито, в прежнюю роль делаша входил:

— Марка большая?

— Чтобы не соврать — косых на сорок! Честное слово! Я, знаешь, трепаться не люблю... Шпалер есть у тебя?

— Нет.

— Чего же ты? Нонче у любого каждого плашкета — шпалер. Ну, да я достану. Значит, завтра? Счастливо, брат, встретились. С чужим хуже идти. Со своими ребятами куды лучше.

На другой день опять — на кладбище...

Славушка, действительно, достал наган и для Ваньки.

Похвастался по старой привычке:

— Я, брат, что хошь достану. Людей таких имею.

Торопливо шел впереди, плотно ступая толстыми ногами в светлых сапогах, высоко приподняв широкие плечи.

Ванька глядел сзади на товарища, и казалось ему, что ничего не изменилось, что идут они на дело, как и раньше ходили, без опаски быть убитыми.

И дело, конечно, пройдет удачно: будет он, Ванька, пить вечером водку, с девчонкою какой-нибудь закрутит, а может, и Люська встретится.

«Приодеться сначала,— оглядывал протирающийся на локтях пиджак.— Приодеться, да. Пальто стального цвета и лакировки бы заказать».

Хорошо в новых сапогах. Уверенно, легко ходится. И костюм когда новый, приятно.

Стало весело. Засвистал.

Свернули уже на Фонтанку.

В это время из-за угла выбежал человек, оборванный, в валенках, несмотря на весеннюю слякоть.

В руках он держал шапку и кричал тонким жалобным голосом:

— Хле-е-ба-а! Граж... да... не... хле-е-ба-а-а!..

Ванька засмеялся.

Очень уж потешный был лохматый, рваный старик, в валенках, с загнутыми носками.

Славушка посмотрел вслед нищему:

— Шел бы на дело, чудик!

Недалеко от дома, куда нужно было идти, Славушка вынул из кармана письмо:

— Ты грамотный? Прочитай фамилию. Имя я помню: Аксинья Сергеевна. А фамилию все забываю.

Но Ванька тоже был неграмотный.

Когда-то немного читал по печатному, да забыл.

— Черт с ней! Без фамилии! Аксинья Сергеевна, и хватит! — сказал Ванька.— Хазу же ейную знаешь?

— Верно. На кой фамилия? Похряли! — решил Славушка, поднял воротник пиджака и глубже, на самые глаза надвинул фуражку.

У дома, где жила будущая жертва,— рынок-толкучка.

Ванька, догоняя Славушку в воротах дома, сказал:

— Людки тут много. Черт знает!

А Славушка спокойно ответил:

— Чего нам людка? Пустяки. Тихо сделаем. Не первый раз.

Долго стучали в черную, обитую клеенкою, дверь.

Наконец за дверью женский голос:

— Кто там?

— Аксинья Сергевна здеся живут? — спросил Славушка веселым голосом.

— А что надо?

— Письмецо, от Тюрина.

Дверь отворилась.

Высокая худощавая женщина близоруко прищурилась.

— От Александра Алексеича? — спросила, взяв в руки конверт.— Пройдите! — добавила она, пропуская Славушку и Ваньку.

Ванька слышал, как женщина захлопнула дверь.

И в этот момент Славушка, толкнув его локтем, двинулся за женщиной.

— Постой! — сказал странным, низким голосом.

Она обернулась. Ахнула тихо и уронила письмо. Славушка держал в руке револьвер.

— Крикнешь, курва, убью! — опять зашептал незнакомым голосом.

Ванька сделал несколько неслышных шагов в комнату, оставив Славушку с женщиной в прихожей.

Револьвер запутался в кармане брюк. С трудом вытащил.

И когда вошел в комнату, услышал тихое пение:

Ах, моя Ривочка,
Моя ты милочка.

«Дочка. «Ривочку» поет»,— подумал Ванька и направился на голос.

Пение прервалось. Звонкий девичий голос крикнул:

— Кто там?

Девушка в зеленом платье показалась на пороге.

— Кто?..

И, увидев Ваньку с револьвером, бросилась назад в комнату, пронзительно закричав:

— А-а-й! Ка-ра-ул...

Ванька вскрикнул, кинулся за нею.

Испугался крика ее и того, что узнал в девушке Люську.

— Люська! Не ори! — придавленным голосом прокричал, схватив ее за руку.

Но она не понимала, не слышала ничего.

Дернув зазвеневшую форточку, звонко закричала:

— Спасите! Убивают! Налетчики!

Ванька, не соображая, что делает, поднял руку с револьвером. Мелькнуло в голове: «Никогда не стрелял».

Гулко и коротко ударил выстрел. Оглушило.

Девушка, покачнувшись, падала на него.

Не поддержал ее, отскочил в сторону, не опуская револьвера.

Голова ее глухо стукнулась о пол.

Вглядевшись пристальнее в лицо убитой, увидел, что это не Люська, а незнакомая девушка, и замер в удивлении и непонятной тревоге.

А в той комнате, которую только что пробежал Ванька, раздался женский заглушенный крик и два выстрела, один за другим.

Ванька стоял с револьвером в протянутой руке.

Тревога не проходила.

А из комнаты рядом послышался испуганный Славушкин голос:

— Ванька! Черт! Хрять надо! Шухер!

Ванька выбежал из комнаты, столкнулся со Славушкою.

У Славушки дрожали руки и даже усы.

— Шухер! Хрять!

Побежал на цыпочках к двери. Задел нечаянно ногою лежащую на полу, свернувшуюся жалким клубком женщину.

Ванька побежал за ним.

Слышал, хлопнула выходная дверь.

В темном коридоре не сразу нашел выход. Забыл расположение квартиры.

Слышал откуда-то глухой шум.

«Шухер!» — вспомнил Славушкин испуганный шепот.

Тоскливо заныло под ложечкою, и зачесалась голова.

Тихо открыл дверь на лестницу, и сразу гулко ударил в уши шум снизу.

Даже слышались отдельные слова:

— Идем! Черт! Веди! Где был? В какой квартире? — кричал незнакомый злой голос.

И в ответ ясно разобрал Славушкино бормотание.

«Сгорел»,— подумалось о Славушке.

Отступил назад, в квартиру, и захлопнул дверь.

Прошел мимо одного трупа к другому.

Не смотрел на девушку.

Шапку снял и бросил зачем-то на подоконник.

Со двора раздавался шум. Кто-то громко сказал:

«В семнадцатом номере. Ну да!..»

Ванька поспешно отошел от окна.

В дверь с лестницы стучали.

В несколько рук, беспорядочно, беспрерывно.

Ванька вздрогнул.

Тонко и словно издалека зазвонили каминные часы.

Стал напряженно вслушиваться в неторопливый тонкий звон, и казалось — с последним часовым ударом прекратятся там, за дверью, стук и крики. «Три»,— сосчитал.

Звон медленно затих.

Стук не прекращался. И крики, удаленные комнатами и закрытыми дверями, казались особенно грозными.

— Отворяй, дьявол!..

— Эй, отвори, говорят!.. Эй!

Пошел. Ноги еле двигались.

Стучали все так же громко, в несколько рук.

И вдруг откуда-то, со двора или с лестницы, прерывистый, умоляющий крик:

— Православ...ные! У-у!.. А-а-а!.. Правосл...

Оборвался.

И когда затих — Ванька понял: кричал Славушка.

Вспомнились вчерашние Славушкины слова: «Убивают на месте».

Вынул револьвер из кармана.

Положил его на пол, за дверью.

Робкая надежда была:

«Без оружия, может, не убьют...».

5

А в дверь все стучали.

Уже не кулаками — тяжелым чем-то.

Трещала дверь.

«Ворвутся — хуже»,— тоскливо подумал Ванька.

Вспомнил, что, засыпаясь, надо быть спокойным.

Не грубым, но и не бояться.

По крайней мере не доказывать видом, что боишься.

Ломтев еще так учил.

«Взял и веди». «Не прошло, и не надо...»

Подумав так, успокоился на мгновение.

Подошел к двери, повернул круглую ручку французского замка.

В распахнувшуюся дверь ворвались, оттеснив Ваньку, люди.

Кричали. Схватили.

— Даюсь! Берите! — крикнул Ванька.— Не бей, братцы, только!..

— Не бей? А-а-а! Не бей? А вы людей убивать?

— Не бей!

— Ага! Не бей!

— Ага!

Глушили голоса.

Теребили крепко впившиеся в плечи, в грудь руки.

А потом — тяжелый удар сзади, повыше уха.

Зашумело в ушах.

Крики точно отдалились.

Вели после по лестнице, со скрученными за спину руками.

Толкали. Шли толпою, обступив тесным кольцом.

Каждую секунду натыкался то на чью-нибудь спину, то на плечо.

Ругались.

Ругань успокаивала. Хотелось даже, чтобы ругали. Скорее остынут.

Когда вывели во двор, запруженный народом, увидел Ванька лежащего головою в луже, с одеждою задранной на лицо, Славушку.

Узнал его по могучей фигуре и толстым ногам в лакированных сапогах.

Страшно, среди черной весенней грязи, белел большой оголенный живот.

И еще страшнее стало от вдруг поднявшегося рева:

— А-а-а! Тащи-и!.. А-а-а!..

Шлепали рядом ноги, брызгала грязь. Раз даже брызнувшей грязью залепило глаз.

В воротах теснее было,— там столпилось много.

Опять ругань. Опять ударил кто-то в висок.

— Не бей...— сказал Ванька негромко и беззлобно.

Из ворот повели прямо на набережную.

И сразу тихо стало.

Только мальчишеский голос, звонкий, в толпе прокричал:

— Пе-етька! Скорей сюды! Вора топить будут!

От этого крика похолодело в груди.

Уперся Ванька. Брызнули слезы.

— Братцы! Товарищи!..

Умоляюще крикнул.

От слез не видал ничего.

И вспомнилось, как освобождали его в революцию из тюрьмы. Оттого ли вспомнилось, что вели так же под руки, оттого ли, что крик такой же был несмолкаемый. Или оттого, что всего второй раз в жизни людям, многим, толпе, тысячам понадобился он, Ванька-Глазастый.

Схватили за ноги, отдирали ноги от земли.

— Православные! — крикнул Ванька, и почудилось ему: не он кричит, а Славушка.

А потом перестали сжимать руки — разжались. Воздух захватил грудь, засвистел в ушах.

Падая, больно ушибся о скользкое, затрещавшее и не понял сразу, что упал в реку.

Только когда, проломив слабый весенний лед, погрузился в холодную воду, сжавшую, как тисками, бока и грудь, тогда взвыл самому себе непонятным воем.

Хватался за острые, обламывающиеся со стеклянным звоном края льдин, бил ноющими от холода ногами по воде.

А по обеим каменным стенам-берегам толпились, облепив перила, люди.

И лиц — не разобрать. И не понять — где мужчины, где женщины.

Черная лента — петля, а не люди.

Черная лента — змея, охватившая Ваньку в холодное беспощадное кольцо.

Рев с берега возрастал, гудело дикое, радостное:

— Го-го-го!.. О-о-о!..

— А-а-а! Го-го-го-о-о!

И нависало что-то на ноги, тянуло вниз, в режущий холод.

С трудом, едва двигая цепенеющими ногами, барахтался в полынье Ванька.

И в короткое это мгновение вспомнилось, как, шутя, топили его в Таракановке мальчишки.

В детстве, давно. Не умел еще плавать. Визжал, барахтался, захлебывался. А на берегу выли от восторга ребятишки.

А когда вытащили, сидел когда на берегу, в пыльных лопухах — радостно было, что спасли, что под ногами твердая, не страшная земля.

И сейчас мучительно захотелось земли, твердости.

Собрав последние силы, вынырнул, схватился за льдину, поплыл вместе с нею.

А вверху, с берега опять детский веселый голос:

— Эй! Вора топют!

Впереди, близко, деревянные сваи высокого пешеходного моста.

Отпихнулся от налезавшей с легким шорохом на грудь льдины, поплыл к сваям.

А с моста на сваю спускался человек.

— Товарищ, спаси-и-и! — крикнул Ванька.

И непомерная радость захватила грудь.

— Милый, спаси-и!

Заплакал от радости.

А человек, казалось, ждал, когда Ванька подплывет ближе.

Вот — протянул руку.

Крик замер на губах Ваньки. Только слезы еще текли.

В руке у человека — наган.

Треснуло что-то. Прожужжало у самого уха. Шлепнулось сзади, как камушек, булькнула вода.

Снова треснуло. Зажужжало. Шлепнуло. Булькнуло.

И еще: треск, жужжание.

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

ГЛАВА ПЕРВАЯ



доме Алтухова у многих были дети, но только Тропина переплетчика сынишка Андрюша один на языке у всех.

И мальчик-то как мальчик, кажется, и говорить о нем нечего.

Ну, там, у доктора Габбеля сынок Оскар, красавец на редкость — все так и звали «Краса-Королевич».

Это понятно. Кто красоты не любит?!

Или владельца овощной и хлебной Кузьмы Назарова Галяшкина Савося. Четырнадцати от роду, а весу четыре двадцать, в одном нижнем и без сапог.

Это понятно тоже. И неудивительно. Есть о чем поговорить.

«Чудо-Юдо» — так прозвал толстяка студент из двадцать третьего, Тихон.

А вот Андрюша-то что? В нем-то что особенного?

Габбелевской красоты в нем не было, хотя и не дурен: круглолицый, румяный, сероглазый.

Так ведь и у любого паренька, даже у самого простого вот из лавки, что того же Галяшкина, у Пашки такого лицо гораздо круглее и румянее, чем у Андрюши. И сероглазый тоже.

Далее: толстым таким, как Савося,— не был, а если для своих лет широк, а руки и ноги даже на диво крепкие, то опять ничего в этом нет замечательного.

У того же лавочного Пашки жиру хоть отбавляй. Идет — щеки дрожат, грудь — ходуном, а зад, что у барана откормленного, вперевалку.

И силы у Пашки больше, чем у Чуда-Юда.

Алтуховские ребята издали только Пашку и дразнят.

Ко всему этому и талантом каким Андрюша не выделялся.

Не музыкант какой, вундеркинд, не краснобай — философ малолетний — бывают такие! — вовсе не это.

Наоборот, шалун большой. И уличник.

Хлебом не корми, а побегать дай.

Обыкновенный малец, босоножка. С Пасхи до снега не обувается.

Тихон, студент из двадцать третьего, земляк Андрюшин, самарский тоже, шутит всегда:

— Землячок. Подошвы-то на сапогах не сносил еще?

И Андрюша — шуткою:

— Подошвы первый сорт. Еще надолго хватит.

Так что на проверку выходит: заурядный мальчуган, каких тысячи.

А между тем все как сговорились:

— Интересный мальчишка! Замечательный! Любопытно, что́ из него выработается!

Но было ли что действительно замечательного в переплетчиковом сынке?

Было, действительно. Но имени тому — нет. Есть, впрочем, имя — слово. На все ведь есть слово. Даже на то, чего нет, и на то есть слово.

И вот это, что влекло к мальчику людей, что говорить о нем заставляло, таинственность эта в действительности никакой таинственностью и не была, а наоборот — явью. Самой явной явью, слепящей своей явностью.

Слишком светлое всегда слепит. Слишком явное — призраком, миражом кажется.

Мудрость ли в этом, трагедия ли жизни — кто скажет, докажет?

Не в этом ли и безысходность, круг заколдованный, что несокрытого — ищут, не желая или не умея увидеть?

И вот эта тайна, влекущая к Андрюше людей и в тупики лабиринта приводящая, самим им бессознательно определялась одним коротким словом: «Да». Кратчайшее, отрывное, сухое, механическое слово определяло огромное, чего не охватить, не вместить, не взвесить.

Всё: мир, миры, люди — «Да».

Хорошее, необходимое, желаемое — «Да».

И обратно: чего не существует, что умерло, исчезло, а также — что дурно, ненужно, нежелаемо — «Нет».

В двух этих коротких словах, оба в пять букв,— всё: жизнь, жизни, закон, беззаконие, счастье и горе, и мудрость, Сократы, Христы, Заратустры — *всё*.

И это — первая Андрюшина явность.

И еще: сердце у него — открытое.

Все в него, в сердце, входит и растворяется. Все воспринимаемое растворяется, как пища.

Так ощущал. Ночью особенно. И утром. Лежит на спине, руки за голову — всегда так спал,— и кажется: все, что сейчас

слышит: гудок ли далекий не то паровоза, не то парохода, или, вот, лай Тузика во дворе, и видит что: комод ли с зеркалом туалетным или мерцающую лампадку, и, днем гуляя, играя, слышал что и видел — все словно плывет в него, с воздухом вдыхаемым входит.

И приятно и радостно — даже рассмеяться хочется.

Будто он — всё: и земля, и звезды, воздух и все люди, кого знает и не знает, всё — он.

И тянет-тянет в себя воздух, и все еще не втянуть, все еще много. Выдыхает. И снова пьет, как пустыней истомленный, из источника.

И радость, радость — хоть смейся!

Так принимало жизнь открытое сердце. И потому был счастлив и хорош Андрюша.

Простой, как все, и оттого необыкновенный.

Все — просты и хороши, все необыкновенны, но боятся ли, стыдятся, как наготы,— простоты своей, и одеждою — обыкновенностью укрывшись — необыкновенность скрывают.

Ибо истинная она — в обыкновенности.

И потому, не могущие воспринять ее, явную ее — тайною делают.

И потому, что прост был Андрюша, хорош,— хорошо и всем от него было.

И, объясняя счастье свое сердцем открытым, не объясняя, а ощущая, верил ли, ощущал ли опять, что богатырь он сказочный, с землею слитый: земля и богатырь — одно.

Слышал ли, читал ли такую сказку, или детский простой ум, как всегда сказками плодовитый (из всего сказку делает), был причиною, но вышло так: он — богатырь, какого не осилит никакая сила, так как слитый с землею — непобедим. И потому, что сердце у него открытое, а значит — большое, как думалось Андрюше, то и грудь у него такая широкая и крутая, богатырская.

По сердцу и грудь и сила.

А от всего этого всегда хорошо было. Не скучно и не страшно.

Если иной раз и возьмет робость в темноте — стоит сказать в темноту:

— Страшно.

И выйдет, облаченный в слово, страх и растворится в темноте. Так же и со скукою:

— Скучно.

И — нет скуки. И легко.

Все равно что груз какой, тяжесть. Если разложить на всех — незаметно, будь в грузе этом хоть миллион миллионов пудов, а на всех и золотника не останется.

Андрюша любил воду. Капля, волна и озеро, море — одно — всё.

Как и он в постели — всё. Так и море.

Потому море и любил. Вода, море — дружное. Если бушует море — все бушует; спокойно — все оно спокойно. И люди, если вместе, такие же. Любил многолюдие.

Улицу предпочитал двору, улице — сад городской.

Там всегда люди. И долго. И сегодняшнего человека можно и завтра встретить. А на улице — пройдет, и нет его. Будто не было или умер.

Сад тоже море напоминал: люди — волны, ограда — берега.

Летом он целые дни — в саду.

Со всеми сверстниками и со многими взрослыми знаком. Сам знакомился. Самых нелюдимых, одиночек и даже женщин не дичился: сядет, заговорит. Все его знали.

Взрослые любили с ним болтать, ребята играли охотно.

Согласный. И не жила. Чтобы поддержать игру, всегда уступит, а это в любой игре важно.

И играть мастер. В лапту такие свечки запускал — прямо в небо.

А еще — в «казаки-разбойники». Когда Андрюша «разбойник» — любую прорвет облаву, а если «казак» — встанет у «города» — не вбежит никто. Больших, куда старше себя, гимназистов разных, и тех — ухватит — крышка!

В «голики» тоже метко пятнал. Раз-два промажет, не больше, а то и с первого раза.

А другой гоняет-гоняет, водит-водит — замучается. А тут еще шлепают по спине, когда промажет, да если еще Чудо-Юдо шлепнет?

Беда! Плохонький и не играй лучше.

Весело в саду проходило время. И дождь, бывало, не выгонял.

Как зашлепают над головами, по листьям, первые капли — Андрюша:

— Ребята! В беседку! Кто первый?

В беседке в дождь особенно хорошо.

Полным-полна. А он знай в толпе шныряет, каждого коснуться может, заговорить с любым.

Хоть пустяк какой спросить, вроде:

— Дяденька, скажите пожалуйста, который час?

Разве не наслаждение?!

Хорошо в дождь в беседке. И жалко, когда кончался дождь и редела толпа.

Так же жалко, когда закрывался вечером сад. Отходной звучал звонок сторожа.

Грустно делалось, но на миг только.

Ведь завтра же опять — целый день! С утра, когда Федор, сторож, подметает.

У дома говорил Жене Голубовскому, вечному своему спутнику:

— Завтра пораньше, смотри. Как откроется. Подметать будем. Федор даст. Я ему папироску нашел. Слышишь, пораньше, Женя?

— Не знаю, как пораньше-то. Я здорово сплю,— отвечал, зевая, Женя.

— Сплю! Соня! А ты не спи. Утром как свистну под вашим под окном, чтобы ты был вставши.

И угрожал:

— А не то играть с тобой не буду. Так и знай!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Было Андрюше четырнадцать, когда он совершил первый подвиг. На Чудо-Юдо «вышел» единолично.

И не из похвальбы, и не науськанный никем. Не простая это была стычка, а значение имеющий ход, акт.

Так было.

В жаркий полдень алтуховские ребятишки отправлялись купаться на Гутуевский, на Бабью Речку.

Речка эта паршивая, но главное — кокос прельщал.

Со всего Питера ребята на Гутуевском кокос воровали. Всегда это было.

А кокос — шикарная штука! Сладкий и маслом деревянным пахнет. Объедение!

Иной раз — назад, молоком прямо, а все не бросить.

И вот ребята алтуховские, когда уже выкупались по разу,— за кокосом.

Все удачно набрали из мешков, конечно прорванных. А Савосе не удалось. Одну только корку успел взять, а тут таможенный идет.

Понятно, тягу. Опять на речку.

Чудо-Юдо корку свою слопал и облизывается. А ребятишки смеются:

— Эх ты, а еще Чудо-Юдо, а засыпался.

Савося до кокоса большой охотник. Не утерпел. Стал просить у товарищей. По кусочку дали, а больше — на-ка, выкуси!

— Теперь не достанешь!

Но Савося, не долго думая, отобрал кокос у Федьки сапожникова,— самый тот слабенький, уродец сухорукенький.

Отобрал и жрет.

Федька на что трусливый (Савоси же он боялся больше всех, тот его частенько бивал не по злобе, а по здоровью и по силе), а тут полез:

— Отдай,— хнычет,— черт, Чудо-Юдо!

А тот знай чавкает, да поддразнивает:

— Скуснай.

У сухорукенького одна рука действует, да и в той силы меньше, чем у Савоси в одном пальце. А полез, несправедливостью возмущенный. Вцепился в Савосю.

Ребятишки окружили, забесновались от восхищения, предвкушая интересное зрелище.

Только глазенки большие стали, вспламененные. И не понять по глазам этим, чего ждали от силы: правды или насилия.

Детские глаза непонятны и жутки. Оттого ли, что ясны чересчур и прямы,— непонятны?

От прямоты ли и ясности — беспощадность?

И вот, стояли и смотрели, восхищенные, на уродца сухорукенького, уцепившегося единственной действующей слабосильной ручонкою в толстое плечо здоровяка.

А тот посмеивался, жуя кокос, и масло текло по толстым губам.

А потом ухватил под мышку голову уродца, повалил. Улегся, всего закрыл пятипудовой почти своею тушей. Даже писка уродца не слышно.

И жрет кокос. Масло так и течет.

А толстяк посмеивается:

— Скусно.

Ребятишки бесятся, на месте не стоят:

— Ишь, черт, совсем задавил!

— И рукам не держит. Брюхом смял.

— Савося! Долго так держать можешь, а?

— Хошь весь день! — сопит Савося. Кокос чавкает.

Кажется, задавит человека и не заметит сам — все будет чавкать.

Но вдруг — Андрюша:

— Брось, Чудо-Юдо! Отстань! Зачем трогаешь? И кокос отдай! Не твой.

Отпустил тот уродца и к Андрюше, грозно:

— А ты чего вяжешься? К тебе лезут, да? Ты — чего?

Андрюша, выросший вместе с алтуховскими, никогда не пускавший в ход кулаков, всегда веселый, смеющийся — бледный теперь, побелевшими губами выкрикнул звонко, как никогда в самых крикливых играх не кричал:

— А вот чего!

И ударил Савосю.

Алтуховцы, выросшие вместе с Андрюшею и знавшие хотя его силу, не предполагали все-таки такого ее действия.

Савося точно не стоял. Точно землю из-под ног выдернули. Пополз на четвереньках, поднялся, шатаясь.

И кровь из зубов и носа.

Женя Голубовский, задушевный приятель Андрюши, не разделял восторга алтуховских ребят по поводу происшествия на Бабьей Речке.

— Напрасно ты Савосе в морду дал,— сказал Женя Андрюше наедине,— за такого урода и бить. Ну, остановил, и баста. А то у него и теперь еще зуб шатается.

Андрюша горячо отстаивал свой поступок, но Женя не соглашался.

— Я не люблю уродов и слабеньких, сухорукеньких разных. Я, если бы царь был, послал бы на войну карликов, там, да горбунов, кривоножек. Пускай перебьются. А которые останутся — на них бы борцов-чемпионов напустить. Борцы-то, видел, какие? Нурла, турок такой есть, двенадцать пудов весит. Такой, как тараканов, их подавит. Пяткой наступит, и готово! Ха-ха! — зло смеялся Женя.

— Злой ты, Женька! — говорил Андрюша.

А тот нес свое:

— А пускай злой. А я их не люблю. Они вот злые-то и есть, а не я. Они только боятся, а то бы они делов понаделали. Уж я знаю! Злюки они самые настоящие. Ты знаешь, что я раз сделал с одним таким уродцем? С Пашкой мы вместе. Знаешь Пашку от Галяшкина из лавки? Видал, какой Пашка-то? Здоровее еще Савоси. Люблю здоровых. Да. Вот иду я по Фонтанке за Яковлевым домом. Заборы там все. За угол зашел. А там идут Пашка и какой-то противный. Ноги вот так, как буква Х. Колченогий. Из школы шел. Ковыляет, это. А Пашка озорной, сам знаешь. Здоровяк. Не боится никого, потому и озорной. Вот он обгоняет колченожку. Сгреб с того шапку да в корзинку — пустая у него корзинка. Корзинку на голову и идет. Посвистывает. Здоровяк. Чего ему? А колченожка лезет: «Отдай шапку, чего лезешь?» Ну, Пашка его пихнет — он с ног. Какие же ноги у колченожки? А я сзади иду, и хорошо мне смотреть. Интересно. А Пашка встал у перил и смотрит на буксир «Бурлачок», как тот барку тянет. А колченожка встал, близко боится, сколько раз ведь летал от Пашки. Издалека говорит: «Отдай шапку. Зачем взял?» А сам злится. Плакать уж начинает. Пашка меня спрашивает: «Отдать, что ли?» Смеется. «Пускай,— говорю,— попросит, как следует, а то он злится все». Засмеялся Пашка: «Верно,— говорит,— злой он, страсть, я его знаю...» И вдруг, смотрю, заплакал колченожка, затрясся. И ножик из кармана

достал — и на Пашку. А тот и не видит, зазевался на «Бурлачка». Я как заору: «Пашка, гляди, с ножом!» Тот обернулся. Хлоп! Корзиной. Раз! Раз! Еще! Сшиб колченожку. На руку наступил. «Отпущай,— кричит,— ножик!» А нога у Пашки, что утюг, толстенная. Хорошо еще, босой был, жарко. А то раздавил бы колченожкину руку. А тот все ножом вертит. Пашка надавил ногой — выпустил колченожка ножик. Тут Пашка ногами его, под бока пятками нашпорил. Тот только ах да ах. Потом за шиворот — забрал, что котенка. Как тряхнет, как тряхнет! У того даже пена! Плачет. Брыкается. Злой. А Пашка по щекам, все по щекам. Накрасил, как следует быть. А я Пашке и говорю: «В участок надо. С ножом дрался. Верно?» Пашка: «Верно»,— говорит. Потащил. Да все коленом сзади, все коленом. Прохожие останавливают: «Что такое?» А я: «Ножом дрался, вот что. Вот мальчика этого зарезать хотел». Ну, прохожие: «Тащите его, хулигана, к отцу, к матери». А злюка-колченожка адреса не дает. Тогда Пашка его под бока. А кулаки у Пашки, сам знаешь, во! Указал дом. А под воротами захныкал: «Мальчик! Пусти! Я больше не буду!»

Женя вытирает влажные губы. В восторге весь непонятном. И томит Андрюшу Женин рассказ.

А Женя продолжает, упивается:

— Пашка — фефела. Как дотащили до лестницы, да как тот завыл: «Мальчики милые! Пустите, дорогие (ей-богу, так и говорил!). Я больше не буду. Меня отец убьет за нож. И матка убьет...» Пашка и растаял: «Пустим,— спрашивает,— чево ли? Я ему и так хорошую мятку дал». А я ему: «Дурак,— говорю,— а если бы он тебя зарезал?..» Ну, Пашка говорит: «Верно. Нечего рассосуливать». Схватил в охапку, на плечо закинул — и по лестнице, в четвертый этаж. Силища у толстого черта страшная! Притащил. И не устал ни капельки. Только морда, что блин на сковородке, так и пышет. Стучали, стучали, звонили, звонили. А Пашка — фефела. «Ушодцы»,— говорит. А я сразу догадался, что, наверное, в пустую квартиру привел заместо своей. «Пустая,— говорю,— квартира. Чего ему верить, подлецу». Колченожка: «Нет,— говорит,— милые, я здесь живу. А пустая,— говорит,— вот та, так она и открыта». И показывает рядом.

Женя волнуется. За руку хватает Андрюшу. Глаза — огонь. Матовое всегда лицо вздрагивающим вспыхивает румянцем. А голос — сказочного злого волшебника.

И еще тяжелее, страшнее дальнейший его рассказ.

И странно. Нетерпение какое-то охватывает Андрюшу. И не может понять: оттого ли, что злое открылось Женино сердце, оттого ли, что правда какая-то небывалая в этом была рассказе, но с нетерпением, как неслыханного чего-то, ждал.

И томился, как в неволе. Торопил:

— Ну? Ну?

— Ну, тогда я говорю: «Давай, Пашка, в пустую его. И дай ему там, чтобы век помнил, как с ножом на людей кидаться». Поволок его Пашка за шиворот. А он плачет и ноги Пашкины целует: «Не бейте,— говорит.— Простите». Притащили в самую последнюю комнату. Я все двери прикрыл. Завыл колченожка: «Милые мальчики! У меня все косточки ломит. Довольно с меня. Ведь я, говорит, слабый, миленькие». Я тогда: «Ну, так в участок пойдем. Там тебе не такие косточки покажут. За нож...» А он что с ума сошел. Плачет, дрожит весь, ползает и Пашкины ноги целует. Пашка хохочет, тычет ему в нос своими ножищами: «Целуй,— говорит,— хорошеньче. Кажный пальчик, да под пальцами, где,— говорит,— мяса много. А теперь,— говорит,—пятки!» Издевается, толсторожий, любо ему. Здоровяк! А молодец Пашка, так и надо! Я ему пятиалтынный дал. Последний. Шоколаду хотел купить, а отдал, не пожалел. Честное слово! Даю пятнадцать копеек и говорю: «Смотри, мол, хорошеньче дай ему». Взял Пашка, сказал «спасибо». А я: «И ножичок тебе будет. Вот». Колченожкин ножик показываю. Ну, Пашка, конечно, рад стараться. «Сейчас,— говорит,— я с ним штукенцию сострою. Разукрашу». Повалил, сел тому на живот, а ноги вот так, чтобы головой не вертел. А ноги у Пашки сам знаешь какие. Что у слона. Деревенские все толстопятые, а такой, как Пашка, в особенности. Толстяк. Сжал он колченожкину харю, тот и пошевелиться не может, пищит только, один нос меж Пашкиных ног. Потом послюнил палец указательный. Натянул. Отпустил. Щелк колченожку по носу. Будто пружиной. На втором пальце у того кровь носом. Захныкал пуще. А Пашке смешно: «Двух пальчиков не выдерживает, а их еще восемь». Колченожка скулит, а Пашка щелкает. Преспокойно. Кровь брызжет. А он сидит да щелкает. Кончил с носом, за губы принялся. Нажал щеки пятками — губы так и выпятились, а Пашка и по ним, как по носу. Как пружиной: щелк. Опять со второго щелчка — кровь. Пашка смеется: «Ей-богу, больше двух не выдерживает». А сам щелкает. Как кровь увидал — лучше защелкал. Прямо — резина, а не пальцы. Здоровый, деревня!.. По глазам, по одному щелчку, по легонькому, мизинчиком. И то завыл колченожка. Бросил Пашка, надоело. И мне надоело. Пашка говорит: «Ежели б захотел, до смерти мог бы защелкать. Много ли ему, заморышу, надо. Что вшу можно раздавить ноготком». На прощанье заставил Пашка его золы съесть. Из печки. Горсть целую. Съел. Всю съел. Горсть. Плачет, а ест... Пошли мы. Пашка рад. Еще бы! Пятиалтынный заработал. И ножик. И ножик хоро-

шенький. Перочинный. Два ножичка: маленький один и большой один. Ручка костяная. Хорошенький ножик.

Только когда кончил Женя, увидел Андрюша, что подходят они к саду, и удивился.

Ведь во дворе же Алтуховом разговаривали. Откуда же — сад?

— Женька? Сад? — недоумевал.

— Сад? А что же? Ведь мы же в сад и шли.

— Нет, я не то.

Андрюша почувствовал, что то, что томило его во время Жениного рассказа,— оставило его, лишь произнес он слово: «Нет».

И повторил громко:

— Нет!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Хотя Женя открыл свое злое сердце, хотя «нет» была Женина к красоте и силе любовь,— Андрюша был с ним по-прежнему дружен.

Так же в саду до звонка вместе — летом, зимою же — на коньках, на Фонтанке, по льду.

А после второго Андрюшиного подвига тесно спаялись их отношения. Будто, что один, то и другой. Непохожие друг на друга близнецы.

А второй Андрюшин подвиг такой: в Алтухов дом переехала вдова, полька Русецкая, душевнобольная.

Почему она не в больнице была, а свободно в частных домах проживала — неизвестно.

Была она одинокая. Квартиры меняла часто. И по таким причинам: всегда спокойная и на вид нормальная, Русецкая впадала в настоящее сумасшедшее буйство, если слышит продолжительное хлопанье в ладоши.

В каждом доме, где она жила, подвергали ее этой, созданной больным ее мозгом пытке. И из каждого ей за беспокойство отказывали. И в каждом доме откуда-то узнавали об ее мании и доводили несчастную до бешенства сначала ребятишки, а потом и взрослые — любители.

Особенно кухарки и горничные.

Русецкая ежедневно с утра уезжала к каким-то родственникам и возвращалась поздно вечером. И вот, когда она появлялась во дворе в пышном шелковом платье, в тальме, с неизменным зонтиком, отороченным черными кружевами, странная, не по моде одетая, смешная для многих,— раздавались одновременно из разных концов двора хлопки.

И безумная полька всегда кричала одно и то же:

— А-а! Швабы проклятые! О, варвары! А-а-а! Все равно я найду вас!

И металась, широко распустив старомодные шелки платья, злобно радуясь, когда затихали на минуту ненавистные звуки.

Кричала в исступленном восторге:

— Ага! Боитесь? Ага! Перестали-и!..

Но дикий взрыв хлопков гасил радость.

И отчаяние и ужас охватывали несчастную.

Визгливым, пронзительным голосом, точно заклинания творя, выкрикивала:

— О-о-о! Дьяволы, дьяволы, дьяволы!

Бросала в невидимого, а может быть, видимого ею врага зонтиком, кидалась со стремительностью, возможной только у безумных, в разные концы двора, забегала на лестницы, откуда ее выгоняли тем же способом.

И вот, когда алтуховские ребятишки на второй, кажется, вечер травли довели несчастную женщину до того, что бешенство даже улеглось в ней и только надежда на молитву осталась, встала когда на колени среди двора и по-польски с левого на правое плечо кладя кресты, рыдала, призывая «Матку боску», «Езуса коханего» и «Юзефа швянтого», чем особенно развеселила детей, стоящих кругом ее и бесстрашно, открыто уже хлопающих,— в этот тяжелый, неизвестно, чем окончившийся бы миг, Андрюша, возвращавшийся домой из сада, растолкал беснующихся ребят и, встав лицом к лицу с сумасшедшей, сказал просто:

— Пойдемте, тетенька! Я вас проведу до вашей квартиры.

И оттого ли, что прекратилось хлопание, или голос мальчика подействовал почему-то на женщину, поднялась она сразу с колен и, протянув руки, как артистка, проговорила протяжно и жалобно:

— О, уведи! Выведи меня из этого страшного круга!

И когда вел под руку по темной — летом не зажигались лампы — лестнице, не чувствовал ни страха, ни беспокойства, словно не безумную вел.

А она все хватала его рукою за руку и целовала в плечо. И все спрашивала:

— Ты — витязь? Ты — прекрасный витязь? О, я тебя знаю! Ты заколдованный круг расколдовал. Я знаю! Я знаю!

А когда на другой вечер начались опять чьи-то неуверенные хлопки, Русецкая, подняв руки, словно к небу обращаясь, закричала голосом, полным глубокой веры:

— О, мой прекрасный витязь, спаси!

Андрюша не замедлил явиться на зов. Он нарочно ждал на лестнице.

Несколько вечеров так спасал несчастную. И травля прекратилась.

Это и был второй Андрюшин подвиг.

И как ни странно: озорной, любивший мучить людей, бабушку, единственную свою родную, доводящий до слез, Женя Голубовский сказал Андрюше:

— Ты хороший.

И прибавил, нахмурясь почему-то:

— Если бы не ты, мы бы ее до смерти замучили.

И от этого радостно Андрюше стало.

За Женю радостно, не за себя:

— Погоди, и ты будешь хорошим. И уродцев будешь любить.

— Уродов — нет, не буду. Но трогать не буду тоже,—ответил Женя.— Замечать их не буду, так же как кошек и собак. Я кошек и собак не замечаю, а они меня боятся. Не трогаю, а боятся.

Тихону, студенту из двадцать третьего, рассказал Андрюша о своей истории с Русецкой.

С Женей заходил к Тихону нередко. Так заходил, поболтать, рассказов послушать веселых и разных интересных.

Любил Тихон детвору. Особенно землячка Андрюшу.

И теперь, как всегда, поил Тихон мальчуганов чаем с филипповскими баранками, сам же (что с ним случалось очень редко) пил водку и закусывал огурцом и зеленым луком.

Выслушав Андрюшин рассказ, нахмурился отчего-то:

— Круг заколдованный... Да?.. Так... Для всех заколдованный... Что — сумасшедшая? Ей-то, пожалуй, лучше. Просто у них, у сумасшедших, мировые вопросы разрешаются. Взял вот ты ее под руку и вывел из заколдованного круга. Эх, кабы всем так-то просто! Под руку и — пожалуйте. А на деле-то не так. Не так, Андрей, братец мой, землячок.

— А что это за круг? — с любопытством спросил Андрюша.

Много думал об этом таинственном круге, для этого и Тихону рассказал историю с Русецкой, чтобы о круге том что-нибудь узнать.

Женя нетерпеливо перебил:

— Да разве же не знаешь? В сказках круг такой заколдованный. Не выйти будто из него.

— Не в сказках, а в жизни, везде,— загорячился отчего-то Тихон,— вот, смотрите. Что этот стол, круг или нет?

— Вот так круг! — оба мальчика, в один голос.— Разве круг это?

— А я говорю — круг,— настойчиво и хмуро ответил студент,— не смотрите, что углы у него. Все — круг. И глазенки ваши, ребятишки глупые,— кругляши тоже. И мои зенки пьяные — кружки. Э, да что — глазенки, зенки! Жизнь наша в отдельности и всего человечества — разве не круг? Не заколдованный разве круг?!

Поднялся большой, кудластый, уже значительно опьяневший. Такой непохожий на себя. Всегдашняя насмешливая улыбка скорбной какой-то, новой, молящей стала.

Грабли-руки на плечи Андрюшины положил и заговорил тихо:

— А ты расколдовывай, Андрей! Сними печать. Выводить старайся из круга. Не сумасшедших одних только... Зачем? Всех! И себя и всех. И не спрашивай, как выводить и что за круг такой. Сердце подскажет. Сердце учует. И путь нащупаешь, сердцем опять же.

Отошел. Сел. Задрожавшей от волнения или от опьянения рукою зазвенел горлышком сороковки о рюмку.

Но не выпил. Пьяно, думно запророчествовал. Гудел басистым своим голосом:

— Сердце, братцы, главный в человеке пункт. Мозг тоже, но мозг — подлец. А сердце как мать родная. Ты, Женька, эй! Злой Женька, не усмехайся! Чего — ничего? Вижу я... Сердце твое кремневое из глаз твоих смотрит. Ну, ну! Не сердись! Хороший ты, Женька! Без камня тоже не жизнь... Верьте! Не жизнь и без сердца. Знаете — не маленькие. Его слушайтесь. В него, в сердце, вслушивайтесь:

О, люди, я вслушался в сердце свое
И вижу, что ваше — несчастно...

Сердце, братцы мои, все... А ты, землячок ты мой любезный, Андрюшка, Андрей Первозванный, сердцу своему сугубо верь. Твое — не обманет. Им, сердцем-то своим, и иди, а не только ногами. Ноги что? Машина. Сердцем иди. Не по всякому пути ногами пройдешь, Андрюша!..

Задрожал густой, колокола словно последний удар, голос Тихона:

— Андрюша! Подвиг большой тебе предстоит. Можешь свершить, по глазам вижу. И этот, Женька, может. Железный Женька. Слышишь, Женька Голубовский? Зло в тебе есть. Его — обуздай. Обузданное зло иной раз добра полезнее. Но! — помни, железный! Совсем ожелезниться человеку нельзя. Не паровоз он.

Тяжело, как бы опуская наземь непосильную тяжесть, думно пророчествовал Тихон:

— Раскол-до-вы-вайте! Но помните! Тяжкий путь. Вера нужна — во! — больше самого себя. А главное — сила. Слабый и не берись. Да не ломовую, не мускульную силу, ее-то у каждой лошади хватит, а сердце надо большое. Чтобы все вместить. И если потребуется — все отдать. Понимаете, что значит все?

Опустил на руку, на ладонь огромную кудластую свою голову, закачал ею над столом, над недопитой рюмкою, пьяным мужиком вдруг стал, самарским каким-то, и загудел дрожью последнею замирающего колокольного удара:

— Ох, пареньки, мальчишечки! Мальчишества своего не гнушайтесь. Всю бы жизнь в мальчишестве пробыть. Вот тогда бы — без ошибки.

И опять вскочил, загрозил пальцем:

— Эй! Мальчишества не бойтесь! Не губите мальчишества-то своего! До конца вот такими будьте. Что в бабки играть, что в черепа,— все равно кость-то... Только без ошибки чтобы. Сердцем, повторяю, идти надо. А куда? Оно, сердце же, и укажет. И по-мальчишески: не причесываясь идите, без денег, без платков носовых. И посоха не берите: пусть они останутся, посохи-то, слепым. И препоясываться не нужно. Пусть это Христос «препоясывать чресла» наказывал... А вы так. Штаны поддергивая, по-твоему, Андрюшка, штаны поддергивая! Всё так идите. На лобное место или в землю обетованную — все равно! по-Андрюшенски! Но без ошибки чтобы...

Загрозил опять.

— Предостерегаю!.. Или выиграть или проиграть. Проигрыш тоже — не ошибка. Ошибка у того, кто никогда не ошибался. Вот моя, мужичья мудрость, самарский парадокс! А еще: не вразброд, а артелью. Силой расколдовывается колдовство, а не хитростью. Помните это! А не то вместо креста — балалайка получится, вместо Голгофы — балаган, а о земле обетованной и думать забудь... А теперь играть идите. Как играете-то? В войну, небось? В солдатики?.. Не играйте! В рюхи лучше или в мячики, в лапту. А в убийство играть не нужно... Вот скоро война с немцами, верно, будет. И тогда не играйте. Немцы тоже самарских мужиков не хуже и не счастливее. И Андрюшки у них такие же и Женьки есть, только Фрицами их зовут... Марш, ребятки! Поддерни портки, землячок! А ты в подтяжках, поди, Женька? Напрасно. Учись без опояски ходить — пригодится сия наука.

Затуманенные, завороженные вышли приятели от студента из двадцать третьего...

— Пьяный,— сказал Женя лениво.

— Умный,— Андрюша сказал задумчиво.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бывает, возмужает душа в юности и в отрочестве даже.

Тогда действовать должен человек, путь какой-то нащупать и звезду возжечь, а от нее — к другой идти звезде, к более яркой, более возжженной.

Но — действовать! Не стоять, не ждать.

Ждущий никогда не дождется. Действовать!

Иначе возмужалая одряхлеет душа.

Великие события — войны, революции — младенцев отроками делают, юношами — отроков; юноши мужают, и одряхлевают старики.

Родина двух юношей, Тропина и Голубовского, сотни лет сжатая кандальным кольцом, безысходностью заколдованного круга, выходила из этого круга, расколдовывала его не колдовством,— более могучим, не хитростью наихитрейшею, не магизмом более магическим, а силою.

И — пошли несметные рати новых, по новому пути.

Сердцем пошли.

Твердо, мужественно, ибо многие возмужали.

И Тропин и Голубовский пошли.

Тропин, «да» свое воочию увидевший, сердцем и умом пошел.

Не подлец был ум для Тропина.

Голубовский, силу почитающий и красоту, спутником был товарища.

Но жутка душа Голубовского.

Железно — сердце.

И им, железным, с трудом обуздываемым и управляемым, как в латы закованным средневековым конем, тяжко шел по новому пути Евгений Голубовский.

В февральскую революцию Голубовский в одном из первых восставших полков командовал полуротою.

Присоединил к восставшим частям полки, расположенные в окрестностях Питера.

В Октябрьскую — участвовал. Дрался против Керенского.

Но жутка душа Голубовского. Железно — сердце.

Потому не мог признать правду, признал только силу.

Потому говорил искренно:

— Силу в большевиках люблю. Сила — красота. Слабость — уродливость.

— Обуздывай злобу! — говорил Тропин, счастливый, «да» воочию увидевший.

— Обуздываю и так, но трудно.

Жгучие на матовом, возмужалом не по летам лице, мрачным огнем горят глаза Евгения Голубовского.

— Мне бы перевестись на самый жуткий фронт, где в плен не берут, убивают на месте.

Голубовский давно не улыбается, давно не шутит.

Страшно, когда говорит:

— На Плесецкой мою невесту убили, коммунистка была. В поезде, к полу штыком пригвоздили.

Шепотом жутким, как фитиль бомбы:

— Тризну бы по ней... Мне бы на фронт, на самый беспощадный.

Придумывает пытки. Говорит:

— Надо записать их.. И рисунки — хорошо. Целую систему.

— Злой ты, Женька! — как в детстве когда-то, говорит, вздыхая, Тропин.

Голубовский откомандировался в Сибирь, в действующую армию, на должность командира одного из красных полков.

Писал товарищу редко, но слышал о нем Тропин не раз. От людей, приезжающих с фронта, из газет узнал о ратных подвигах друга, о двух орденах Красного Знамени, полученных за безумные по храбрости ратные Голубовского дела.

Командир полка Голубовский, переписчик штаба полка Факеев и вестовой Иверсов бежали из неприятельского плена.

Дерзкий побег. Ночью. Во время следования поезда в тыл.

Из вагона. К станции уже подходил поезд.

Так было.

В лохмотьях, разутые неприятелем, под конвоем часового, сидели в темном товарном вагоне.

Полуголые, жались друг к другу.

А слабый, болезненный Факеев зубами даже дробь выстукивал, и все жался к Иверсову, здоровенному двадцатилетнему сибиряку, теплом молодого могучего тела старался согреться.

И вот, командир Голубовский тихо на ухо Иверсову:

— Бежим.

И, ответа не дожидаясь:

— Бери за горло!

Таким шепотом тихим, точно не слова, а мысль.

И, сам не помня, что делает, поднялся Иверсов.

И через миг...

Загремел винтовкою, сапогами — часовой, ноги зачертили вагонный пол. Хрипел. Горло — в кольце могучих пальцев Иверсова.

Голубовский часового два раза штыком — так и оставил винтовку воткнутою в грудь штыком — пригвоздил к полу.

Насмерть ли, нет — неизвестно.

Ночь. Темь. Поезд свисток давал.

Станция. Повыскакивали на ходу.

Факеев ногу чуть не сломал. Неумело прыгал. Боялся.

Потом: в тени, за вагонами.

Полуголые. Босиком по щебню.

Лес близко.

Всю ночь. Лесом всё, тайгою. Молча. Опасливо жмурясь — ветки по лицу.

Изредка только Факеев жаловался на болевшую ногу.

Дрожал. Ушибал босые ноги.

— Все равно пропадем!

Иногда, озлобленно:

— Чего бежали? Все равно в их расположение выйдем. Наши-то теперь черт знает где! Отступают. Так, может, и не расстреляли бы. А уж теперь — непременно...

Богатырь Иверсов хлопал его по плечу лапищей, которой несколько часов назад душил белогвардейца.

— Подтянись, друг! Живы будем — не помрем.

— Брось! — ежил плечи Факеев.

Опять молча. Жмуря глаза. Отводя ветки. Спотыкаясь.

Утром — привал.

— Провианту недостаточно. Плохо,— покрутил головой Иверсов.

— Тебе эти места известны? — спросил его Голубовский.

— Эти плохо знаю. А дальше — наши места на проход. Дойдем, товарищ командир.

Улыбнулся толстощеким добродушным лицом.

Голубовский сказал тихо:

— Не дойдем. Один может дойти, а троим — невозможно.

Поднялся во весь свой высокий рост.

Голос зазвучал, как недавно в полку:

— Иверсов! Необходимо хоть одному из нас дойти до наших частей, для того чтобы этим путем в тыл зайти неприятелю. На первом его фланге силы невелики. Зашедший в тыл даже небольшой отряд, лучше всего кавалерийский, может решить дело всего фронта. Иверсов! Путь этот ты приблизительно запомнишь. Тайгу ты знаешь лучше, чем я питерские улицы. Поэтому — раздели по своему расчету весь этот провиант, чтобы хоть понемногу хватило на каждый день. А если сразу сожрешь, то не доползешь и раком даже половины пути. Понял?

— Что же, я один разве? А вы? — не понимал Иверсов.

— Тебе одному дойти впору только. Ты здоровее нас. Этот...

Сунул пальцем на побледневшего Факеева:

— Этот, определенно, не выдержит. Я — контужен и ранен был недавно, сам знаешь. Тебе места знакомы.

— Товарищ командир!..

— Стой! Идем вместе до тех пор, пока могу. А провиант тебе. Этот...— опять ткнул пальцем: — ...уже не может. Ноги — колодками, сам на черта похож. Привяжем его к дереву, Иверсов. А то вернется. В расположение белых выйдет... Знаю!.. И себя погубит и нас, а главное — дело погубит, побоится в лесу умирать и хоть к черту в зубы, а полезет. Знаю! Трус.

— Товарищ командир!.. Нельзя. Помирать, так всем. Идти — всем... Как же человека к дереву...— скороговоркою заговорил Иверсов.

— Товарищ Голубовский!

Бледное, судорогою сведенное лицо. Шатается на вспухших ногах Факеев.

— Товарищ Иверсов! Мы не в плену. Запомните это. В порядке боевого приказа — привязать Факеева! — грянул голос, от которого недавно еще трехтысячный полк застывал, как один человек, или в атаку стремительную кидались тысячи, как один.

И дальше тихо, но твердо, чеканно:

— Иверсов! Я спас тебя под Беляжью. Спаси теперь не меня, а дело. И себя. Себя сбереги для дела. Проводником наших будешь сюда... Наше дело ясное: трое — погибнем. Один — дойдет!.. Молчи! Иверсов! У тебя невеста, помнишь, говорил?..

Тихим голосом, не слова точно, а мысль:

— Помнишь? Катя... Иверсов! Из-за нее тебе спастись надо... О чем разговаривать? Десять суток разве пройдем трое на однодневном пайке и босиком?! А один, если понемногу будешь есть, дойдешь... Козыри, правда, маленькие, но все-таки не бескозырье.

Стоял, голову потупив, красноармеец, вестовой штаба разбитого уже номерного полка, Иверсов.

И — окончательный удар его сомнению и нерешительности:

— Я еще начальник! Повторяю, мы не в плену. Последний раз говорю: в порядке боевого приказа!..

Ругань, бешенство, мольбы, проклятия безобразным свивались клубком.

И безобразным клубком — тело. Бессильное, узкогру-

дое, с отекшими ногами, под ширококостным, крепконогим телом.

Голубовский говорил:

— Крепче вяжи!

— Товарищи!.. Милые!.. А-а-а!.. Что же это, ай!.. Тов... ком...

Голубовский совал в рот Факеева оторванный, скомканный рукав рубахи.

— У-у-у!..

Стиснулись зубы.

— Открой рот, не дури! — сказал Голубовский.

Отчаянно мотал головою, стукаясь об ствол дерева, Факеев.

Снизу глядели глаза в слезах — ноги завязывал лентами оборванной одежды Иверсов.

— Разожми ему рот!

Карие, испуганные, в слезах, глаза. А в них, точно плевок,— холодные слова:

— Дурак! Ведь кричать будет!

Опустил глаза. Засопел могучим сопением богатырь Иверсов. Слезы заполосовали загорелые, круглые молодые щеки.

Большим широким телом заслонил маленькое, к дереву притянутое. Руки красно-грязные, жилистые, каждая больше зажатого в них узкого маленького лица.

— То-а-а... у-у-у...

Зубами ловил — Факеев.

— У-ва-а... у-ва...

Тряпкою задыхался.

Толстые, крепкие пальцы разжали обессилевшие челюсти.

Голубовскому вспомнилось: давно, мальчишка-колченожка так же вертел головой. Отплевывался от золы. Плакал. Отплевывался, но ел... Всю съел...

Опять шли. Теперь уже двое.

Только изнемогали когда — делали привал.

Голубовский делал привал.

Но ненадолго.

Снова — в путь.

Босыми, по жестким кочкам, по сучьям колющим, ногами. Поджимая пальцы, чтобы не так кололо.

Искровавлены, вздуты Иверсова даже, привычные, твердокожие крестьянские ноги.

Слабело его молодое, мощное, сибирское тело.

Падал вольный таежный дух. Но всегда первый Голубовский говорил:

— Идем! Расселись, что на именинах.

Бледный под смуглостью. Голодающий несколько дней. Исхудалый.

Но глаза — огонь черный. Камень.

И голос тверд.

Со страхом, с уважением, граничащим с раболепством, смотрел на высокую, колеблющуюся от слабости фигуру Голубовского Иверсов.

И вслух думал, шепотом:

— И все идет. И все — не евши. Ах ты, дело-то какое!..

На привалах выдавал Иверсову кусочек хлеба непонятный, сам себя морящий голодом, командир Голубовский.

И в отдыхах этих недолгих один разговор — приказание.

— Места запоминай. Поведешь сюда. Слышишь? Даешь слово, поведешь? Любую, первую, которую найдешь, часть. Слышишь?..

— Слушаю, товарищ командир!

И потом жалобно, как нищий:

— Товарищ командир, вы кушайте-то и сами. Что же это? Да я не могу так. Как же я один-то?

Или, сам голодный, решительно отказывался от пищи:

— Не буду есть! Хошь убейте! Не желаю! Голодовка, так всем.

Но неизменный ответ:

— Не дури, баба! Заплачь еще! Воюет тоже! Дыра, а не солдат.

— Да как же? Я зверь, что ли, скотина? Человек голодует, а я...

— А ты — дурак! — отрывисто, плевком.

Потом, секунду спустя:

— Не будешь, значит?

— Один — нет!

Ребром ладони, как лопатою:

— Нет!

Спокойное:

— Ну, тогда идем!

Хлеб оставлен на кочке. Весь запас.

— Товарищ командир...

Жалобно, сзади.

— Ну?

Мнется. Топчется на огромных ножищах. Густо краснеет сквозь грязь и загар.

В больших, животно-коричневых глазах слезы, как у страдающей лошади!

Голубовский поворачивается спиной.

— Разговоры!.. В хоровод, что ли, плясать идешь?.. Забирай хлеб без канители!

И когда идут — отрывисто, через плечо:

— Чтобы это в последний раз, слышишь? Я не девка, чтобы меня уговаривать.

Но был день.

Голубовский прошел с утра с версту, не больше.

Сел на кочку.

Молча, с затаенным страхом, смотрел на него Иверсов, на бледно-желтое отекшее лицо, на ходуном ходящую от трудного дыхания костлявую грудь.

Стал подниматься... Сел...

— Отдохни, паря, отдохни...— тихо сказал Иверсов.

И вздохнул.

Жалостливо, по-бабьи как-то прозвучали и слова эти и вздох.

— Прокопий! — вдруг тихо позвал Голубовский.

Давно когда-то, в штабе еще называл так, по имени, любимца своего, Иверсова.

И теперь беспокойно Иверсову стало.

Голос задрожал:

— Что? А?

Даже обычного: «товарищ командир» — не прибавил.

— Иди... Я не могу. Теперь дойдешь.

Лег. Головой на мшистую кочку, как на подушку.

Ветерок прилетел откуда-то.

Затрепались черные над смугло-восковым лбом волосы.

И кустики брусничника задрожали, зашелестели над запрокинутым лицом.

Вздрогнул Иверсов.

Припал к кочке, с кустиками брусничника, с лицом этим знакомым, но неузнаваемым. Глаза только прежние: не глаза — черный камень.

— Товарищ командир! Как хотите, а не оставлю. На себе понесу. У меня силы хватит еще...

Торопился, захлебывался:

— Два ведь дня только, ей-богу! А вы поешьте!.. Вот, кусочек остался... А то насильно накормлю и понесу на себе. Спина у меня здоровая. И ноги — вот!

Вытягивал толстые сильные ноги.

— Во, ножищи! Выдержат! Товарищ...

Еле слышно, но твердо:

— Не дури! Времени не трать.

Но Иверсов томился. Хватался за голову. Зубы застучали. И слезы, вдруг, слезы.

Запричитал, как баба по покойнику:

— Ба-атюшки! Родимые! А-а-а-яй! Ого-о-о! Тошнехонько моему сердцу! Мила-ай, голубчик! Да кой раз уже ты меня спасаешь? Под Беляжью под этой за меня принял пу-у-лю. А-а-а! Да таперича, вот, мила-ай! Голодной смертью! Ай, да что же это? Ба-атюшки! За меня-а-а! За дурака-чалдона! Человек ведь нужнай, командир учена-а-й!

Но грозностью своею знакомый голос, голос, от которого трехтысячный полк, как один человек, замирал:

— Сволочь! Дело предаешь! Нежности тут разводит! Арш!

Черно блеснули, прокатились на жуткой бледности лица глаза.

Всхлипнул, губы закусил Иверсов.

Поклонился в землю.

И не выдержал — зарыдал в землю. Богатырь-воин, как баба на кладбище.

И опять:

— Товарищ командир!.. Не могу я один-то!.. Жалко мне!..

Жутко улыбнулось. Первый раз за несколько лет улыбнулось неузнаваемое лицо:

— Жалость, дурь эту, доброту — обуздай.

Тихо, будто не лежащий говорил, а брусничник шелестел.

Поклонился земно Иверсов.

— Прости, товарищ командир... Прощай! Ах, дело-то какое!

— Иди, иди же! Ну?

Зашлепали неуверенные шаги. Зачавкали мхи.

И — опять назад. Как заблудившийся. Как птица у гнезда.

Забыл словно, оставил что-то, чего никогда-никогда не найдешь.

Голову сжал. Чудилось — потеряется, не удержится на плечах голова.

— Ах ты, дело-то какое? Ну как же? Как же теперича? Как же?

Отчаяние томило.

Но тихо, как шелест брусничника, что на кочке, над запрокинутым лицом, с черными играя волосами, ветром треплется, тихо прозвучало:

— Опять — ты?.. Обуздай, говорю.

Зарыдал в голос. Побежал, как малолеток, богатырь-сибиряк.

Через несколько дней кавалерийский разъезд, имея проводником бежавшего из плена красноармейца Иверсова, после долгих поисков наткнулся на труп комполка Голубовского.

Глаза были выклеваны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Человек, много живущий, не годами много, а жизнью, знает какую-то правду жизненную, какой-то неявленный закон ее.

Многоживущий сердце имеет открытое, ибо иначе много не вместить.

Многоживущий в безысходности выход находит, коридор такой в головокружительных закоулках лабиринта.

В непроницаемой слепоте стен — вдруг! — дверь, а то и врата широкие.

Если бы все, или хотя многие, жили много — безысходность, круг заколдованный был бы бессилен.

Мрачное волшебство его не пугало, а забавляло, как балаганный наивный фокус.

Многоживущий Андрей Тропин с детства правду жизненную узнал, поверил в нее.

И была та правда — как всякая истинная правда.

И если бы спросил кто Тропина Андрея, что же это за правда такая, от которой ему хорошо, безбоязненно и немучительно? — ответил бы, и отвечал, случалось:

— Правда не особенная какая, а просто правда, настоящая. П р а в д а — с и л а.

И д о к а з а т е л ь с т в о — сказка, в детстве им найденная, о богатыре, слитом с землею.

— Встанет богатырь, упрется. И подумает только: «Мать-земля! Выручай!» И притянет его земля, сольется будто с ним. Силу и многотяжелую тяжесть свою передаст. Точно, что он, то и земля — одно. Неотделимы. И где же осилить такую м и р о в у ю мощь! Где опрокинуть в с ю землю?

— Это — сказка,— разочаровываются люди.

— Это — правда,— Андрей Тропин говорит.

— Да какая же сила — правда? Зло, несправедливость чаще еще бывают силою.

— Только правда — сильна. А зло, несправедливость — насилие, а не сила.

И не свернуть с пути, не отвести в сторону в правдивые или неправдивые уверившего законы жизни Тропина.

Как богатыря, слившегося с землею,— кто сдвинет, поколеблет?

И счастлив был Тропин. И хорошо ему было, светло.

И пошел Тропин по пути новому, проложенному многими новыми, пошел сердцем более еще светлым, чем всегда.

Не сердце, а солнце.

И возмужавший, как и все по новым идущие путям, в возмужании своем и юность, мальчишество свое сохранил.

Не причесываясь, себя не видя, не замечал, не препоясанный шел.

И путь, временами тяжкий, из крестного крестный, казался свадебным в звонах троечных, в песнях заливистых, в блеске слепящем, в дух захватывающем ветре — жениховым праздничным путем.

Слава тому, чье сердце открыто!

Слава тому, чья сила — правда!

Слава юность сохраняющим в пути!

Слава юным!

Она сказала...

Она всегда говорила не так, как говорят.

Не кокетство это было, не оригинальничанье, а как-то складывались слова не как у всех.

Она сказала:

— Когда вас видишь, оттепель вспоминается. Иногда, знаете, в конце зимы — тепло. Снег, а тепло. Хочется сбросить надоевшую за зиму тяжелую одежду. Кажется — выкупайся в проруби и не простудишься, даже не озябнешь... Знаете, вы весенний какой-то. Солнечный. Вам, вероятно, всегда хорошо, радостно? Вы — счастливец? Необыкновенный счастливец! Не правда ли?

Он два дня как приехал с фронта, чтобы по предписанию Реввоенсовета снова ехать на другой уже фронт, на опасный, беспокойный, где царствовали паника, измена, дезертирство, где каждая деревня — гнездо бандитов.

У него ныла контуженная нога.

И еще: перед глазами его мелькали строки недавно полученного письма, извещавшего о гибели бежавшего из плена друга детства. Гибели от истощения, в лесу.

Он улыбнулся.

— Никакого необыкновенного счастья я не испытываю.

— Нет! Нет! Не говорите! Вот вы улыбнулись и... Разве несчастливые могут так улыбаться?

Она много еще говорила.

Он открытым своим сердцем чувствовал, что она его любит.

Если бы она спросила:

— А ты меня любишь?

Сказал бы:

— Да.

И не солгал бы. Любил.

Через два-три дня, отправляясь на фронт, в вагоне, почувствовал, что оставил что-то хорошее, радостное.

Грустно стало.

Прошептал:

— Грустно.

Но не сделалось легко, как в детстве. Не вышла облаченная в слово грусть, не растворилась, как бывало.

Тяжелая, непроницаемая стояла толпа.

Эта толпа укрывала бандитов, дезертиров. Прятала в землю, гноя, продовольствие. Случалось, убивала митингующих агитаторов.

Она и теперь молчала затаенно.

Тяжелая, непроницаемая, как стена, скала, как лес непроходимый.

Но не было ропота, выкриков и свиста. Раньше всегда так во время митинга, а теперь не было.

Комиссар Тропин знал, что не будет. И не в себя верил, не на силу своей убедительности надеялся, а верил толпе этой, не боялся ее.

Как выступил, открыл митинг, как сказал первое, призывное: «Товарищи!» — сразу поверил в толпу, почувствовал, что он, что она — одно.

Потому и верил и не боялся. Потому просто говорил, как о самом простом, что объявляется мобилизация, что дезертирство и саботаж будут караться по всей строгости закона.

И толпа, убивавшая, случалось, агитаторов, как конокрадов, так же зверски, до неузнаваемости, до смешения с землею,— молчала.

И когда сходил с возвышения, с телеги какой-то ломаной спрыгивал комиссар — не было ропота, насмешек и свиста.

И проходил когда через толпу — расступались.

И глаза, в которые мельком вглядывался, много глаз — не хитро сощуренные, звериные, выжидающие (много таких было, когда открыл митинг), а детски-печальные, немигающие.

Такие печальные, немигающие и внимательные глаза бывают у сознающих свою виновность детей.

Странное, небывалое стало твориться с Тропиным.

От условий ли жизни беспокойных, опасных на беспощадном фронте, где каждый день бои, каждый миг — опасность, где отдых мимолетен и долог упорный путь борьбы, где спокойствие — мгновение, а ужас, страдание и кровь — цепь мгновений одно другого страшнее,— от жизни ли такой странное и небывалое стало твориться с Тропиным.

Началось после одного из упорных боев под деревней Кедровкою.

По словам комбрига Жихарева, Кедровка — «могила».

И действительно, деревнюшка в болотистой низине: обстреливай со всех сторон, пока не выбьешь.

Но Кедровка — важный пункт. В версте не больше — железная дорога, в двух верстах — река.

Потому и бились из-за нее.

Вырывали друг у друга. По три раза в неделю переходила из рук в руки. И казалось, будто из-за нее и застыли грозными фронтами неприятели, враг против врага. Казалось, изза Кедровки этой и война затеялась и вечно будет продолжаться.

И вот в Кедровке у Тропина и началось то странное и небывалое, что заставляло задумываться.

Заняли красные тогда Кедровку второй раз.

Ехали в нее комбриг Жихарев и военкомбриг Тропин.

И вот, на пути недолгом, лесом, опушкою, стало казаться Тропину, что всегда, всю жизнь ехал он именно здесь, вот в этом низкорослом унылом леску с деревцами, пулями обшарканными.

И так ясно почувствовалось, что, кажется, и сомнения не могло быть никакого.

Стало неловко. Не по себе.

Даже теснить стала одежда, френч. Крючок отстегнул на воротнике, хотя свежо, ветрено было. «Что за белиберда? Беллетристика, мистика, ерундистика»,— нарочно подбирал созвучные слова.

А комбриг говорил, оборачиваясь в седле:

— Дня два побудем. И опять выбьют. Так взад и вперед и будем шляться. Третья бригада месяца два крутилась здесь.

Замурлыкал что-то. Опять оборотился:

— Будто танцуем. Пройдемся. И назад. Опять — сюда, опять — назад. Вальс сумасшедшего.

Тропин засмеялся насильно. И сказал насильно:

— Заколдованный круг.

«Расколдуем»,— подбодрил себя мысленно.

В деревню въезжали.

Неприятель делал пристрелку.

С этой Кедровки и началось.

И каждый раз, когда в нее вступали после отступления белых, ощущал Тропин то же, что и раньше.

И еще: неотступно преследовала мысль, что всегда так будет.

Всегда и везде.

И в другой деревне и в городе. И не на фронтах, а и в детстве, в Питере, в Алтуховом даже доме так было.

«Как? И в детстве — Кедровка?» — спрашивал себя насмешливо.

И смеялся принужденно:

«Дурак! Комиссар еще. Беллетристику развел. Тьфу!..»

Но неспокойно было.

И не Кедровка уже смущала. А всё. Будто везде проникло что-то такое кедровочное, уныло-безысходное.

«Нервы, что ли»,— думал с досадою Тропин и говорил себе твердо: «Обуздать себя надо!»

«Зло обуздай» — вспомнились давнишние слова Тихона-студента. И Голубовский вспомнился. Смерть трагическая его.

И вдруг...

В штабе было. Бумагу, рапорт подписывал.

И перо отложил — так мысль внезапная поразила.

А мысль была: «Голубовского — не было вообще. Не умер, а вовсе не было, не жил...»

Боролся с мыслью этой. А она упорно, водой капала: «Не было, не было, не было!..»

До того стало странно и неприятно — быстро, не читая, подписал бумагу и, отдавая ее секретарю, сказал:

— А у меня, товарищ Борисов, был друг такой, Голубовский...

Сделал ударение на слове: «был».

— Я знал одного Голубовского на колчаковском фронте,— сказал Борисов,— вероятно, тот и есть.

—Ага, знали! — вскрикнул, неожиданно для себя, Тропин.— Был? Значит, был?

Бумага выскользнула из рук секретаря. Прошелестела, упала на пол.

— Фу, как вы меня напугали! — вздрогнул Борисов, нагибаясь за бумагой.

Тропин молчал. Не рассказывал про Голубовского. К окну отвернулся.

Синее, за окном, точно вымытое сентябрьское небо. Чуть заметно проплывающие облака.

Что это?

Затуманилось в глазах.

— Черт возьми!

Поспешно вытащил платок. Покосился на Борисова.

А в груди тесно.

В детстве, вспомнил, раз так было, плакал когда.

Ясно понял: жалко Голубовского.

Не за то, что погиб Голубовский, а за то, что мрачен и темен, как в ночи беззвездной, путь был Голубовского.

Ясно понял: прежнее, о т к р ы т о е его, тропинское, недавнее еще радостное — тучами ли, облаками, вот такими незаметно проплывающими, заволакивается.

А если — погаснет солнце?

А если — беззвездная ночь?

И новое в жизнь Тропина вошло.

Ночь обнимала светлое, солнечное небо его.

Тоска, не знал которой никогда, тихо, незаметно вкрадывалась, вором хищным вошла в душу Тропина, в открытое сердце его.

А от тоски и страх.

В бою одном особенно сильно почувствовал.

И бой не особенный какой, не такие видал Тропин, не в таких участвовал. Перестрелка небольшая.

И вдруг — страх. И не от мысли, что убьют, не смерть пугала, а назойливый неотступный вопрос: «Зачем — смерть?»

И после уже боя все стоял этот вопрос: «З а ч е м?»

И главное: слишком в е л и к о значение слова «З а ч е м ?».

Каждое слово, если оно представляется (самое простое слово) во всей в е л и ч и н е своей,— з н а ч и т е л ь н о, к о л о с с а л ь н о.

И теперь, у Тропина: выросло в необъемлющую величину, в неизмыслимые размеры слово: «Зачем». Все видимое, познаваемое, чувствуемое в один облеклось вопрос.

И по вопросу этому понятно стало, почему угнетала Кедровка, почему Голубовский казался не существовавшим никогда, почему беззвездной ночью объят был его, тропинский, мир — жизнь. И все — необъясняемо-понятно стало.

И необъясняемо-понятен: «з а к о л д о в а н н ы й к р у г» — «з а ч е м».

После радости огромной, такой, как и раньше — ж е н и х о в о й,— вдруг — печаль.

Чудилось: ноги его, ноги богатыря, отрывались от земли.

Изменила ли земля?

Враг ли неведомый какой осиливал?

Бессильны ли стали слова: «Мать-земля! Выручай!»

Или — богатырь перестал верить в землю?

Дрогнула, может, богатырская сила?

Кто знает? Кто скажет?

Но только вместо радости, которая — возможность всех возможностей, наступила печаль — невозможность.

Было это в городке, маленьком, затерянном,— села бывают больше и горделивее, чем приникший тот покорный городок.

И печаль эта наступила вслед за радостью. После того, как приехала в городок она, Люся.

Она говорила:

— Я не могла больше! Я так исстрадалась. Думала, сойду с ума. Я не могу без тебя.

Говорила не так, как раньше.

Просто. Без оттепелей, без солнца.

Просто:

— Не могла. Не могу без тебя.

Искренно.

Знал Тропин, что искренно.

И залились тройки свадебной лихие бубенцы, грудь захватил воздух — ветер буйный, встречу летящий свадебному поезду.

И опять восторженно шептала, глаза вперив молящие и жадные, влюбленные глаза:

— Счастливец! Счастливец! Дай на счастье посмотреть! От солнца твоего погреться.

Но печаль и тревога охватили Тропина.

Обходя однажды караулы — остро почувствовал печаль и тревогу.

На красноармейца-татарина, одиноко стоящего, взглянул — и стало печально и тревожно.

И неловко перед ним, перед татарином-красноармейцем, перед часовым.

Одинокий часовой!

Один, как часовой!

Так неловко стало, что, пройдя мимо, вернуться хотел и сказать часовому:

— Прости, что изменил тебе, часовой. Ты один, а я — не один. Я ведь тоже часовой, но я — не один.

И повернул уже назад.

И фраза эта, внезапно, без воли его в мозгу его возникшая, уже шевелилась на губах.

Но не подошел, а, глаза опустив, ускорив шаг, прошел мимо часового, равнодушно смотрящего вслед.

В тот же день говорил Люсе:

— Видеться нам часто нельзя. Да и лучше бы тебе ехать домой, в Питер.

Городок был почти в тылу. Жители не эвакуировались, но он говорил:

— Здесь — фронт. Тебе жить здесь неудобно.

Люся дулась:

— Ты меня гонишь, я отлично вижу. Все живут, а мне нельзя?..

Она не уехала. Но виделись реже.

Тропин всегда был с нею. В с е г д а. Минуты не забывал о ней.

Но — печаль не проходила.

И тревога и неловкость.

Точно изменил ч е м у - т о.

Как-то раз почувствовал: богатырь изменяет земле.

Теперь земля не выручит.

Было страшно.

Первый раз в жизни испытал такой страх.

Сковывающий, железный, как кандальное кольцо.

Но так просто.

Это всегда п р о с т о.

Она сказала:

— У вас здесь, при бригаде, арестованный, пленный. Мой родной брат.

Тропин вспомнил:

— Да, да! Я думал — однофамилец.

— Ничего подобного. Родной брат.

Она заволновалась:

— Боже, что с ним сделают?

Тропин молчал. Он знал, что сделают. Контрразведчик, на фронте, попавший в плен.

— Я завтра отправляю его в тыл.

Тропин сказал неправду.

Он пошлет сегодня следственный материал.

Знал, что расстреляют здесь, что ему придется отдавать распоряжение о приведении приговора в исполнение.

И знал еще, что дело Люсиного брата никому не известно, что он может отослать его в тыл, как обыкновенного пленника.

Она спрашивала тихо, но настойчиво:

— Но что же с ним сделают? Расстреляют?

Тропин ответил:

— Да.

Не мог лгать.

Она кричала:

— Нет! Это невозможно! Я... О, боже мой! Звери! Изверги! Сумасшедшие дикари!..

Ругалась бешено. С ненавистью в голосе и глазах. Плакала долго, до истерики.

Тропин подавал воду. Успокаивал. Происходило это в ее маленькой квартирке, в доме вдовы-почтальонши, на окраине города.

У порога лежала. Растерзанная. В ленты рвала не платье — уже — лохмотья.

Тела не стыдясь обнаженного, кричала до сипоты:

— Не уйдешь, пока не скажешь: «Да!» Или по мне пойдешь? Через меня, через невесту — переступишь?

Он молчал. Он знал: будет надо — переступит.

Она, не ослабевая, кричала.

Требовала, молила, чтобы он прекратил братнино дело.

— Ведь никто-никто не знает, сам говорил. Отправь в тыл... Ведь он же безвреден будет там для твоей партии. О, ты сделаешь это, да? Ведь, да? Ну скажи: «Да!»

Он молчал.

Первый раз понял, что и «да» бывает как «нет».

И потому с трудом, но твердо ответил:

— Нет!

Ползала у ног, ловила его ноги, в отчаянии и тоске безмерной молила:

— Нет, ты не сделаешь этого! Ты же любишь меня! Ведь не сделаешь, да?

— Нет! Не могу! Ты пойми...

Говорил много о том, что ясно, на что и слов тратить нечего.

Ясно: Нельзя! Ясно: Нет!

И двух слов, оба в пять букв, так ужасна была борьба.

И понял сразу, не мыслями, а как-то всем собою, всеми чувствами, жизнью своей всей: настоящей, прошедшей и даже будущей, понял, что́ такое заколдованный круг. Не «зачем», как думалось раньше, а: круг тот — из двух слов: «да», «нет».

И еще понял: расколдовать или, наоборот, закол-

довать его, этот круг, еще сильнее можно опять-таки этими же словами: «да» или «нет».

И страх, и тоска, и неловкость — пропали мгновенно, и силу почувствовал в мыслях и ясность, каких никогда не бывало.

И радость, радость — хоть смейся. Твердо на земле (которая — он сам) незыблемо стоял богатырь.

Выручила правда — земля.

Сделал шаг к двери.

Люся вскочила. И глаза ее (навсегда запомнил Тропин) были знающими.

Тихо прошептала.

— Ты... не любишь... меня?..

Он так же тихо:

— Люблю, но не так, как люблю...

— Как — что?

Спросила не как — кого, а что.

Молча сделал еще шаг.

Она открыла дверь:

— Иди! Уйди!..

Голос ее задрожал.

Звонко крикнула вслед:

— Проклятый! Убил меня! Убийца!

На минуту, обезумевшая, выбежала:

— Убийца!

На другой день Тропин получил два пакета: один — из тыла, в ответ на «следственное производство» о контрразведчике Любимове.

В конце стояло: «По исполнении немедленно донести».

Второе письмо — записка. Два слова: «Убийца! Проклинаю!»

Через час, не больше, прибежал мальчуган, приносивший записку.

Задыхался. Бежал, вероятно, с самой окраины.

— Товарищ... комиссар... Барышня...

Тропин смотрел на раскрасневшееся, потное лицо мальчика, на испуганные глаза.

Все понял.

Закружилась голова. Но совладал с собою.

— Ишь, запыхался. Ну что — барышня?

— Барышня... отравилась.

Вздрогнувшей рукой погладил мальчика по мокрым волосам и недвижимыми губами произнес:

— Иди... милый.

Взял портфель. «Портфель,— думал напряженно.— Зачем — портфель?»

Стоял минуту, держа в обеих руках сложенный вдвое портфель.

Вспомнил: в портфеле — бумага, утром полученная из тыла.

Вспомнил, в конце той бумаги значилось: «По исполнении немедленно донести...»

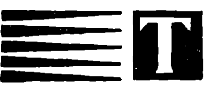
Вечером того же дня комбриг спрашивал Тропина:

— Неужели вы сами расстреляли того... Любимова, что ли?.. Собственноручно?

— Да,— ответил военкомбриг Тропин.

ОШИБКА

I



Только накануне страшного того дня горячо поссорился Николай Акимович с женою.

Никогда за шесть лет совместной жизни не было такой дикой ссоры.

С кулаками — к испуганной женщине. Зубы стучали, дрожало что-то за ушами.

А жена — в слезах:

— Сумасшедший, я боюсь тебя! Жить с тобой не буду!

Хватала, отбрасывала и снова схватывала одежду, с треском зашнуровывала ботинки.

Потом, заплаканная, наскоро напудренная, хлопая дверьми, задевая за мебель,— ушла.

К сестре. Жаловаться. Поплакать. Успокоиться.

И вот на другой день Николай Акимович, придя домой, нашел жену в спальне, на полу, зарезанной.

Когда давал показания в милиции о случившемся — понял по вопросам дежурного помощника начальника раймилиции, что близко-близко что-то опасное, точно пропасть, обрыв.

Потом шли: он, помощник, милиционеры.

Молча. Поспешно. Всю занимая панель.

В квартире толкались, совались в углы. Шкапы открывали, комоды.

Цедил, про себя точно, помощник:

— Браслет, говорите? И кольцо?.. И только?.. Немного... Не успели, вероятно... Или...

Быстрый, щупающий взгляд.

И от этого взгляда — опять: пропасть — вот!

После второго допроса следователь хмуро, не глядя:

— Я должен заключить вас под стражу.

— Почему? — тихо, затвердевшими губами.

— Показания сестры вашей жены не в вашу пользу. Накануне убийства вы ведь грозились убить жену. Поссорились когда, помните?

— Поссорился — да... Но убить?.. Что вы!

— Во всяком случае, впредь до выяснения.

Вошедшему охраннику коротко:

— Конвоира.

В шумной камере угрозыска почувствовал себя спокойнее,—будто ничего не произошло.

Длинноносый какой-то, с живыми карими глазами, подошел:

— Вы, гражданин, по какому делу?

— Видите ли... У меня... жену убили... Налетчики, конечно...

— А вас за что же?

Веселые блеснули глаза.

— Черт их знает!

Возмутиться хотел, но не вышло — в пустоту как-то слова.

А длинноносый вздохнул разочарованно.

Слышал Николай Акимович:

— Мокрое дело. Бабу пришил.

— Здóрово!

Смех. Выругался кто-то сочно. Голос из угла:

— Вы, гражданин, из ревности?

— Ничего подобного... Понимаете...— направился к говорившему.

— Не из ревности, а из нагана,— кто-то в другом углу.

Камера задрожала от смеха.

Стало неловко и досадно. Но все-таки, когда затих смех, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Это ошибка.

Приподнялся на нарах черноволосый, цыгански-смуглый. Прищурился:

— Что же вы нам заявляете? Заявите следователю.

— Да я не вам...

Умолк. Противно говорить. Лег на нары.

В ушах — ульем — шум.

II

Освоился. Пригляделся к новым товарищам. Знал уже некоторых по фамилиям, кличкам. Не нравились все. Наглые, грубые, вечно ругающиеся, даже дерущиеся.

Особенно неприятное впечатление производили двое: Шохирев, по кличке Сепаратор, слывущий в камере за дурачка, маленький, со сморщенным птичьим лицом, по которому не угадать возраста, и Евдошка-Битюг, самый молодой в камере, но самый рослый и сильный, по профессии — ломовой извозчик.

Евдошка почти все время занят травлей Шохирева, в чем ему деятельно помогает камера.

Обыкновенно утром, после чая, кто-нибудь начинает:

— Битюг, какой сегодня порядок дня?

Парень чешет за ухом и отвечает деланно-серьезно:

— Сегодня, товарищи, первый вопрос — банки поставить Сепаратору; потом — перевозка мебели,— это уж по моей специальности; потом — определенно, пение.

Шохирев быстро садится на нарах и взволнованно обращается ко всем:

— Товарищи, бросьте, ей-богу! Я совсем больной!

— Вот больному-то и нужны банки! — хохочут в ответ.

А сосед Николая Акимовича, рыжеватый веснушчатый парень, со странной не то фамилией, не то кличкою — Микизель,—радостно возбуждается:

— Сейчас его Битюг упарит! Здоровенный гужбан, черт!

Все с жестоким интересом разглядывают испуганную фигурку Сепаратора, забившегося в угол, хнычущего, как ребенок.

В диком восхищении хохочут, когда Евдошка, не поднимаясь с нар, ловит Сепаратора за ноги, дергает, зажимает голову коленами, не торопясь задирает на животе рубашку, захватывает, оттягивает кожу и ударяет ребром ладони, большой и широкой, как лопата.

И, покрывая визгливый вой жертвы, кричит:

— Кто следующий? Подходи!

Торопясь, со смехом, подходят. Оттягивают. Бьют.

Дальше Битюг берет Сепаратора за ноги, держа их на манер оглобель, и вразвалку ходит по камере, грузно переступая босыми ступнями, а Сепаратор, держась только на руках, после двух-трех концов ослабевает, опускается на пол, и Битюг волочит его по полу.

Это и есть перевозка мебели.

Камера в восторге, особенно рыжий Микизель. Он валяется от хохота.

— Битюг! Рысью вали! Битюг!

Захлебываясь, кричит.

А Битюг поворачивает широкое темное лицо и говорит спокойно:

— Рысью нельзя! Не выдержит!

— Зачем он его так мучает? — спросил Николай Акимович Микизеля.

— А так! Здоровый. Да и скучно. Молодой,— играть хочется.

— Однако, игра. Ведь убить так можно.

— Это верно,— согласился Микизель,— такой черт давнет — мокро будет от Сепаратора.

А задыхающийся, замученный Сепаратор, сидя на полу, пел визгливым голосом.

Евдошка, широко расставив ноги, стоял над ним и от времени до времени заказывал:

— Теперь «Яблочко»,— говорил серьезно, не торопясь, не обращая ни малейшего внимания на гогочущих во всех углах товарищей.

И в фигуре его, большой и громоздкой, в наклоне толстой шеи, переходящей крутым скатом в могучие лопатки, в широком заде и в твердом упоре крутоступных ног чувствовалось что-то тяжело-сильное, неумолимо-животное, битюжье.

И когда смотрел Николай Акимович на обоих: на Сепаратора, мужчину, похожего на заморенного мальчугана, и юношу Евдошку, напоминающего циркового силача, казалось ему, что ошибка какая-то произошла.

Как-то вышло по ошибке непонятной, что один, вот, человек, до зрелых доживя лет, обделен в силе тела и ума, а другой — юноша еще — ростом вытянулся и еще расти будет, костью широко раздался, и силы нагулял, и еще нагуляет.

И было тяжело почему-то Николаю Акимовичу, и казалось, что его участь чем-то походила на участь слабосильного, слабоумного Шохирева.

III

С каждым днем издевательства Битюга над Сепаратором становились возмутительнее.

Дошло до того, что Сепаратор при одном приближении мучителя забивался в угол, а Евдошка останавливался против него и протягивал руку, шевеля пальцами.

Сепаратор испуганно вскрикивал:

— Битюг, не тронь! Оставь!

Кругом хохотали. Микизель радостно удивлялся:

— Черт Битюг, вот страху нагнал! Совсем дураком сделал!

Иногда Битюг забирался на нары и ложился рядом с Сепаратором. Приказывал:

— Рассказывай сказки.

— Я не знаю,— лепетал Сепаратор.

— Как не знаешь? — деланно сердился Битюг.— Чего ж ты зря на свете живешь? Рассказывай, а то...

Он приподнимался на локте, глядел в упор на Сепаратора.

— Ну? Слышишь?

Отовсюду кричали:

— Вали, Битюг, пускай рассказывает!

— Правильно! Чего он вала вертит?

— Товарищи! Я не умею! — жалобно молил Сепаратор.— Ей-ей, ни одной не знаю!

Битюг подвигался к нему.

— Ну, не надо, не бей, я... сейчас!..— пугался Шохирев.

Начинал. Несвязное, дикое, созданное идиотской фантазией, не сказка, не быль,— бред затравленного, от которого требуют невозможного.

Все хохочут. Евдошка говорит сердито:

— Ты чего лепишь? Разве это сказка? Смотри, худо будет.

— Братцы! — кричит Сепаратор.— Я же не умею!

— А вот сейчас заумеешь!

Битюг хватал его за грудь, встряхивал.

— Стой! Да! В некотором царстве, в государстве!..— поспешно выкрикивает Сепаратор.

И опять — нелепый бред.

— Записки сумасшедшего! — называет так Сепараторовы сказки налетчик Рулевой, самый образованный в камере.

В конце концов Евдошка мнет или ломает Сепаратора — травит до синяков, до потери сил.

Мокрый, как из бани, порывисто дыша, сидит измученный идиот в уголку.

На время забыт. Отдыхает.

Только Николай Акимович не может забыть Сепаратора. Все время тот ему попадается на глаза.

И еще — Битюг.

Эти две фигуры заполнили все мысли его. Странно, дело свое даже отошло на задний план.

Непреодолимое желание не дает покоя. Желание это — заступиться за Сепаратора, даже больше — самого Евдошку избить, подвергнуть таким же мучениям: банки поставить, «Яблочко» заставить петь.

Даже сердце начинает усиленно биться.

Лежит, закинув руки за голову, и смотрит на Битюга, развалисто бродящего взад и вперед по камере.

Вот садится Битюг к Микизелю и о чем-то говорит.

Николаю Акимовичу кажется, что он говорит о нем. «А вдруг он со мной начнет играть от «делать нечего» — как говорит Микизель?» — приходит в голову Николаю Акимовичу.

Пугается этой мысли.

И тотчас же со злобою думает: «Тогда я его убью».

Эти мысли окончательно захватывают Николая Акимовича.

«Убить придется, так не справиться».

Через минуту мысленно смеется над собою: «Чего я в самом деле? Мне какое дело и до него и до того идиота?»

Но опять лезут непрошеные мысли.

«Боишься этого Битюга».

Битюг начинает насвистывать что-то.

Свист беспокоит Николая Акимовича. Кажется отчего-то, что Битюг что-то задумал против него.

Ночь Николай Акимович плохо спал.

На утро Микизеля вызвали в суд.

Не вернулся. Рядом с Николаем Акимовичем, на опустевшем месте Микизеля, поместился Битюг.

IV

Теперь целыми днями Битюг на глазах Николая Акимовича.

По ночам чувствует его горячее сильное дыхание. Спит Евдошка беспокойно, то руку, то ногу забрасывает на Николая Акимовича.

Николай Акимович плохо спит ночи.

Однажды Битюг, гоняясь за Сепаратором, поймал и приволок того на свое место.

Сепаратор закричал Николаю Акимовичу:

— Чего он лезет? Товарищ! Заступись!

Николай Акимович сказал Евдошке:

— Перестаньте его мучить. Как вам не стыдно?

Евдошка отпустил Сепаратора, повернулся:

— А тебе чего надо?

Николай Акимович смотрел на него молча.

— Тебе чего?

Большое темное лицо, приплюснутый нос, животно-коричневые глаза.

Николай Акимович чувствовал — ни слова не в силах сказать.

И руки дрожали. И билось сердце.

— Брось, Битюг! — крикнул кто-то.— Он тебя пришьет, как бабу свою.

Николай Акимович что-то хотел сказать, но Битюг размахнулся.

Тупая, горячая боль в скуле. Завертелось в глазах.

А в ушах — хохот, крики.

Николай Акимович поднялся с пола. Увидел опять близко знакомое, широкое лицо.

Сердце тоскливо сжалось.

Почувствовал — крепко сдавило что-то шею.

Крик опять:

— Битюг, не убей, смотри!

Николай Акимович рванулся, но шея была как в тисках.

Давило на шею. Ноги подогнулись, стукнулся коленами об пол.

Видел у самого лица широкие ступни.

Рванулся, но шея — как в железе.

— Брось, Битюг! — слышал, крикнул кто-то.

Давление на шею прекратилось.

Ни на кого не глядя, дошел Николай Акимович до нар, лег.

Долго лежал, не открывая глаз.

В тот же день, вызванный следователем, Николай Акимович вспомнил о случившемся. Почувствовал, не может вернуться назад в угрозыск.

«Если не свобода, так пусть тюрьма или расстрел — только не туда»,— назойливо в голове.

А следователь спрашивал:

— Так ничего нового и не скажете?

Николай Акимович вздрогнул.

И вдруг, сильно заволновавшись, сказал:

— Я убил жену.

Острые на бледном лице следователя глаза минуту — не мигая.

Потом тихо:

— Как?

— Как? — насмешливо переспросил Николай Акимович.— В протоколе же видно — как. Ножом финским. У красноармейца на рынке купил нож.

И стал рассказывать подробно, как давно хотел убить жену. И когда накануне трагедии ругался с нею, то и тогда хотел убить.

Говорил и удивлялся, как складно выходит, но боялся — вдруг следователь не поверит.

Но тот писал. Спрашивал и писал.

V

Это было неожиданно и страшно. Вечером того же дня, как признался Николай Акимович в преступлении, которого не совершал, в камеру угрозыска, где еще пока находился Николай Акимович, пришел новый человек, какой-то Цыбулин, налетчик или вор — неизвестно.

Николай Акимович не обратил на него внимания.

Но ночью, когда новый арестант играл в карты, Николай Акимович, плохо спавший, отправился смотреть игру.

Новичок, по-видимому, проигрался. Играли уже долго.

Он горячился. Ругался матерно.

Игра была непонятная. И называлась непонятно: «Бура».

Николаю Акимовичу стало скучно смотреть. Повернулся, чтобы идти спать, но Цыбулин окликнул его тихо:

— Товарищ! Посмотрите вещичку одну.

— Что такое? — обернулся к нему Николай Акимович.

Цыбулин протягивал ему что-то.

— Вот этот чума не верит, что настоящий бриллиант! — кивнул он на своего партнера.— Вы, наверное, товарищ, понимаете! Скажите ему.

Николай Акимович смотрел на кольцо в руке Цыбулина и чувствовал, как холодно делается спине и дрожат ноги.

Цыбулинское кольцо было кольцом убитой жены Николая Акимовича.

— Это настоящие бриллианты! — сказал слегка вздрогнувшим голосом Николай Акимович.

— Да вы возьмите в руки! — сказал Цыбулин.— Может, он не верит! Возьмите, посмотрите, как следует.

— Настоящие. Я знаю! — глухо сказал Николай Акимович.

Он отошел. Долго ходил по камере. В голове все мешалось: признание следователю, кольцо жены, Цыбулин.

Но как он может его уличить?

Кто может подтвердить? Женина сестра? Она кольца не видала,— он только за неделю до смерти жены подарил ей кольцо.

«Теперь все поздно»,— думал Николай Акимович.

И вдруг вспомнил о Битюге.

«Что-то надо,— так и подумалось,— что-то надо».

Битюг громко храпел на нарах.

Николай Акимович нагнулся под нары — давно, еще с вечера видел там большой медный чайник.

Взял его.

— Куда понес? — крикнул кто-то сзади.

Николай Акимович не обернулся. Влез на нары с чайником в руках.

Видел, несмотря на тусклый свет угольной лампочки, лицо Евдошки.

Темное, широкое, с раздувающимися от дыхания ноздрями.

Поднялся на нарах, не спуская глаз с этого лица.

Сзади опять негромко крикнули:

— Куда чайник упер? Даешь сюда!

Николай Акимович поднял над головой тяжелый, почти полный воды огромный чайник и с силою опустил его на голову Евдошки.

— А-а-а! — глухо, страшно, сзади ли крикнули или Евдошка — не мог понять Николай Акимович.

Только видел, как черным чем-то залилось Евдошкино лицо. И еще остро помнил: «Надо углом — ребром дна».

Сзади крик:

— Братцы, убьет!

Быстро взмахнул руками.

Опять мелькнуло: «Ребром».

Кто-то схватил сзади, за плечи, но руки были свободны.

Быстро и сильно взмахивал чайником.

Лилось теплое за рукава.

Потом больно ударило сзади, по затылку. Дернули за руки.

Загремело, покатилось что-то.

Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.

Слышал кругом шум и крики.

Не мог ничего разобрать.

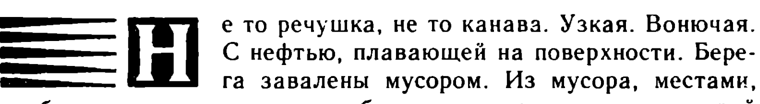
Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:

— Чайником, значит... Вот смотрите — череп своротил... Какой тут доктор...

ГАРМОНИСТ СУВОРОВ

Моей дочери Валентине

I



Не то речушка, не то канава. Узкая. Вонючая. С нефтью, плавающей на поверхности. Берега завалены мусором. Из мусора, местами, пробивается ромашка, не с белыми лепестками, на которой гадают в «любит — не любит», а зелено-желтая, шариками, крепко пахнущая.

Речка имеет название и обозначена на карте города, но окрестные жители зовут ее по-своему.

При двух царях, последнем и предпоследнем, и при республике одно ей имя — «Негодяевка».

На берегу ее, в деревянном, о шести квартирах, домике жила вдова, прачка Прасковья Кудряшова, или как ее звали: тетя Паша. Снимала она квартиру из двух маленьких комнат и кухни. В одной комнате — сама, а в другой — жилец.

Весь зазаставский квартал знал тетю Пашу, но еще больше ее жильца. Старики и молодежь, приятели и, наоборот, враги жильца тети Паши — все сходились в одном мнении о нем. Именно, что он ценил себя чересчур высоко.

Действительно, если, например, верить истории — полководец Суворов, в досужее от ратных дел время, где-то у себя в селе Кончанском играл с ребятишками в бабки, а вот жилец тети Паши, тоже Суворов, только Женя, и конечно уж не генералиссимус, а гармонист, был о себе мнения более высокого, чем его знаменитый однофамилец.

Не говоря уже о том, что не играл с парнишками ни в «выбивку», ни в «орлянку», но даже пиво пил не с каждым из знакомых. Бывало, ему:

— Товарищ Суворов, притыкайся!

А он внимательно оглядит компанию и откажется.

Кто-нибудь из друзей:

— Ты чего, Женя? Со мной не желаешь? В чем дело?

А он:

— Аудитория не соответствует.

Некоторые, недолюбливающие Суворова, подсмеивались над ним, за глаза:

— Гордится Женька, что на свет народился.

И, возможно, в этом была своя правда.

С одной стороны, Суворову было чем гордиться: известный когда-то гармонист, награжденный жетонами за игру; две польки его сочинения были наиграны на граммофонные пластинки. Для гармониста это не фунт изюма. Этим и гордись! Но зачем гордиться пустяками: серебряными часами с тремя крышками, русским костюмом?

Такие часы давно вышли из моды, а в поддевке, шароварах и лакированных сапогах к месту выступать на подмостках и не иначе, как с гармонией. А Женя в таком костюме не только на подмостках, но и на улицах Ленинграда.

Все свое он ценил очень высоко. Любил свою фамилию. И сочетание громкой этой фамилии с детским — «Женя» не казалось ему смешным. Свою комнату, выходившую окном на Негодяевку, он меблировал долго и с любовью, а после приглашал знакомых и хвастался наивно, как дикарь, нацепивший на себя зараз двое часов.

— Какова обстановочка, а? Изящно?

Гость оглядывал комнату и недоумевал.

Кровать с чехлами на спинках, высоко взбитая постель охвачена нежно-розовым одеялом плотно, без единой складочки; подушки — пирамидкою, на верхней — кружевная покрышка; над кроватью вышитый бисером бархатный башмачок для часов; на комоде туалетное зеркало, вазы с бумажными розанами, одеколон, пудра, гребенки — все в строгом порядке; на окне, полузадернутом канареечного цвета занавескою,— герань, бальзамин, бархатцы; в углу — икона, зеленая лампадка, пучок вербы, фарфоровое пасхальное яйцо.

— Ну, как, а? — потирал руки хозяин.

Гость неопределенно отвечал:

— Да-а...

Суворов важно говорил:

— Непохоже, поди, что живем «на окраине где-то города», а? Можем, друже, устроиться с комфортом, можем, елочки зеленые!

И снисходительно похлопывал гостя по плечу.

Иногда кто-нибудь, более прямой, замечал:

— Не поймешь, Женя, что у тебя. То ли монастырь, то ли черт знает что! Образа, вот, яичко!

Суворов раздражался:

— Яичко! Это не для веры, а для своего удовольствия. Иной раз, в часы досуга, смотришь на икону с яичком и невольно вспоминаешь золотые дни минувшего детства. И станет на душе приятно, трогательно. Позабудешь, это, окружающую обстановку и витаешь в надзвездном мире, так сказать: «без руля и без ветрил». А ты — «монастырь»! Чудак, елочки зеленые!

Волнуясь, рылся в карманах шаровар, доставал деревянный портсигар и спичечный коробок в жестяной спичечнице. Гость смущенно оправдывался:

— Я, Женя, вот о чем. Ты, значит, считаешься первеющий гармонист. А комната у тебя как у барышни у молоденькой. Ты не сердись, ведь я не в насмешку.

Суворов внимательно разглядывал потертый рисунок скачущей тройки на крышке портсигара, затем поднимал глаза на собеседника:

— Извиняюсь, вы, кажется, кончили? Прекрасно!.. Со своей стороны должен сказать следующее: согласен с тем, что я гармонист единственный в своем роде. Прямо, можно так выразиться, профессор-самородок. Но наряду с этим обладаю душевным благородством, невзирая на то, что происхожу из пролетариата. Короче говоря: отец имел не что иное, как басонную мастерскую. Благородство же мое заключается в стремлении ко всему нежному и изящному.

Уже смягчаясь, дотрагивался до руки гостя тонкими пальцами, искривленными от долголетней игры на гармонике:

— Друже! Я знаю, многие теряются в мучительных догадках: почему, дескать, Женя Суворов, старый, заслуженный гармонист, человек умный и всесторонне начитанный, вращается среди этой минорной обстановки. Думаете, небось,— гордость, фасон? Ничего подобного! Людям не понять, что только среди этих невинных цветочков и яичек я всецело отдыхаю душою. Не надо кидать мне упреков в аристократизме. Весь окружающий комфорт необходим мне для вдохновения таланта. Меня не вдохновляют бурные потоки уличного движения. Только в этой изящной комнате с видом на одинокую речку я создам что-либо более грандиозное, чем созданные в свое время вещи, то есть общеизвестные польки «Чародейка» и «Лесные ландыши», исполняемые даже граммофонами.

Провожая гостя, говорил:

— Гордость во мне есть, люди говорят безошибочно. А только человек я на редкость корректный. Прямо, можно сказать, дамский человек.

Суворов любил много и красиво говорить.

Как-то тетя Паша, при первом с ним знакомстве, заметила о его костюме:

— В прежнее время тут, в Катерингофе, песельники завсегда ходили в такой же вот одёжине.

Суворов грустно улыбнулся, покачал головою и заговорил длинно и гладко, словно читая:

— Вы, Прасковья Петровна, несколько искажаете факты действительности. Песенники отнюдь не носили поддевок. Поддевка как таковая являлась необходимым туалетом запевалы хора песенников, а равным образом — сольного гармониста. А песенники выступали в общем и целом в плисовых безрукавках и таких же шароварах, а головным убором им служили ямщицкие шапки, короче говоря: шапка круглой формы, с плоским дном, украшенная вокруг тулейки перьями павлиньего хвоста.

Этой умной и обстоятельной речью Суворов раз навсегда покорил сердце, ум и волю наивной мягкосердечной тети Паши.

— Говорит он у меня,— рассказывала она знакомым женщинам,— ну, прямо как из кранта льет. И все к слову, и все к месту, и все по-ученому.

Суворов не любил говорить просто.

Даже свою гармонию называл не просто гармонью или баяном, а непременно:

— Хроматическая гармония «баян».

II

Ежедневно, к шести вечера Суворов отправлялся играть в ресторан «Саратов».

Шел он обычным шагом, мелким и неторопливым, слегка шаркая подошвами мягких лакированных сапог. Словно танцевал.

В левой руке — гармония, в шагреневом футляре.

Нес ее Суворов осторожно, как ведро с водою.

И выражение лица у него было томное: глаза прищурены; губы, выпяченные как бы для поцелуя, приподнимали рыжеватые колечки усов к большому, с крупными рябинами, носу.

В ответ на приветствия знакомых Суворов не раскланивался и не подавал руки, а вскидывал голову и каким-то особенным благословляющим жестом подносил руку к козырьку фуражки.

Если кто-нибудь окликал: «В «Саратов», Женя?» — отвечал, пожимая плечами: «Я думаю».

У входа в «Саратов» на мгновение останавливался, разглядывая пеструю афишу, где он изображался румяным черноусым красавцем, играющим на череповке.

В ресторане томное выражение лица Суворова сменялось недоступным и строгим. И только на поклоны отвечал так же благословляюще.

На эстраде Суворов держался еще недоступнее: не отвечал на приветствия даже лучших друзей; играя, не ерзал на стуле, не наклонял уха над баяном, не держал такта притоптыванием, а сидел как изваянный, недвижно глядя поверх голов сидящих за столиками людей.

Похоже было, что он не трактирный музыкант, а жрец, свершающий неведомый ритуал.

Это впечатление усиливалось при виде разостланной на его коленах не простой подстилки, суконной или сатиновой, как у всех гармонистов, а малинового бархата, с бахромою и с каким-то зеленым и золотым шитьем.

Напоминала эта подстилка антиминс.

Но если бы кто пристальнее вгляделся в устремленные мимо людей глаза Суворова — не поверил бы ни его торжественной осанке, ни бархатному, с золотом и бахромою, плату и удивился бы, что человек с такими глазами сочинял когда-то веселые польки и только что играл бодрый марш прославленной республиканской конницы.

Глаза Суворова, большую часть жизни видевшие одно и то же: чадные трактирные комнаты, столики, пьяных,— глаза были безотрадные, опустошенные, как осенние овраги. Такие глаза встречаются у людей, годами сидящих в тюрьме.

Такие же, вероятно, были у алхимиков.

Иногда посетители «Саратова» видели Суворова не таким, каким он бывал всегда.

Входил он в зал не томно-танцующей походкою, а порывистою, немного бесшабашною. Здороваясь, не благословлял, а попросту кивал головою или даже подавал руку. У некоторых столов останавливался, разговаривал, весело смеясь. Вертелся на беспокойных ногах, то и дело откидывал то одну, то другую полу поддевки.

И игру начинал не сразу, «с подсчета», как постоянно, а усаживался на стуле плотно и решительно, наклонял голову над баяном и долго, задумчиво смотрел в пол.

Потом начинал тихо наигрывать что-то.

Звуки всплывали задумчивые. Вздыхали басы, тоже словно думая, вспоминая давнее, забытое.

Звуки — неполные, отрывистые, смутные,— казалось, искали что-то потерянное и не могли найти.

Наконец Суворов встряхивал желтыми, подстриженными в кружок, волосами, укреплял на коленях баян.

Начиналась настоящая игра.

Оживлялись сидящие за столами, топали в такт, поднимали вверх стаканы. Кто-то пел сиплым, немолодым голосом:

На берегу сидит девица,
Она шелками шьет платок;
Работа чудная такая,
А шелку все недостает

— Женя! «Уж ты, сад...»! Сыграй «Уж ты, сад...»!

— Соколовскую тройку!

И Женя играл. И пели во всех концах зала.

В перерывах Суворов опять толкался у столов, размахивая полами поддевки, беспрерывно смеялся.

Пьяные старики лезли к нему со стаканами, говорили растроганно, по-пьяному кривя рты:

— Женя! Ми-лай! Хорошие песни знаешь, старинные!

Суворов откидывал полу:

— Еще жива старая гвардия, а? Елочки зеленые!

В такие дни Суворова любили. Он становился доступным, душевным. Пил с кем попало, принимал угощения за заказанную игру, тогда как в другое время брал «сухим», то есть деньгами, или же нераскупоренными бутылками пива, которое сдавал, со скидкою, обратно в буфет.

В такие дни и хозяин «Саратова», Иван Захарыч Лодочников, седой человек с черными молодыми глазами, ходил легко, возбужденно, самодовольно потирая руки и ласково глядя на Суворова в тот момент, когда тот смотрел на него.

Иван Захарыч знал, что посетителей в дни суворовского запоя ходит больше, чем обыкновенно, что Суворов играет почти без передышки и заработанные деньги обязательно оставит в его, лодочниковском, буфете.

Ночью, после закрытия «Саратова» Суворова увозили куда-нибудь играть.

В такие дни только один человек страдал и боялся за Суворова. Это — тетя Паша.

Работа валилась у нее из рук. Целыми днями она теплила лампадки в своей и суворовской комнатах.

А по ночам видела страшные сны: Суворова убивают грабители, раздевают, забирают гармонию.

III

Как-то на пасхальной неделе, Суворов, скуки ради, перечитывал тетрадь, озаглавленную: «Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга».

Дойдя до любимого стихотворения: «Течение моей жизни», он закрыл дверь на задвижку и, стоя перед зеркалом, начал читать вслух:

Моя фамилия Суворов,
Евгений Никанорыч — по отцу,
Сейчас я без особых сборов
О своей жизни сообщу.
Как бесподобный музыкант,
Я и жетоны получал,
И повсеместно каждый граммофон
Мои польки исполнял.
И вот хочу определенно
Жизнь стихами описать,
Как жил роскошно, а иной раз скромно,
Но не хочу себя я выдвигать.
Я не какой-нибудь святой, конечно,
Живу, кучу, бываю даже пьян,
Но мой успех, друзья, пред вами обеспечен,
Пока со мной мой друг — «баян».

Артистически раскланялся перед зеркалом, приложив тетрадь к груди. Отыскал еще стихотворение: «Миноры любви» и, томно закрыв глаза, с чувством прочел первую строчку:

Я люблю миноры нежной ласки...

Стук в дверь заставил его прервать чтение. Поспешно спрятал тетрадь в ящик комода.

Застучали громче, нетерпеливее.

— Секунду терпения!

Суворов оправил на комоде кружевную салфетку, потом уже отворил дверь.

Гостями оказались: старый знакомый, Чайкин, бывший плясун хора песенников Травкина, и какой-то мальчик.

— Павлуша, друг! Сколько лет, сколько зим! — воскликнул Суворов, целуясь с приятелем.

Чайкин снял фуражку, вытер платком лысину, обвел глазами комнату.

— Я думал, ты с барышней заперся.

Обернулся к пареньку:

— Садись, Евся! В ногах правды нету!

Тот сел на краешек стула, содрал с головы кепку, пригладил светлые волосы.

— Родственник? — кивнул на него Суворов.

— В роде Володи, на манер серой лошади! — ответил Чайкин, морщась и старательно вытирая потную рубцеватую шею.

— Ты все такой же балагур, Павел Степаныч! — засмеялся Суворов.

— Слушай, Женька! — сказал вдруг Чайкин серьезно.— Не будем зря лясы точить. Есть, так сказать, конкретное предложение. Этот вот парнишка — мой двоюродный племяш. Мальчик не балованный. Не пьет, не курит, к девочкам не приучен. Хочу пустить его по своей старой специальности. Занимался с ним полгода. Еще несколько уроков, и будет плясать как бог. Да чего? Ты, Женя, исполни «Барыню», или что там такое, а он спляшет. Можно в кухне, там места много.

Мальчуган быстро поднялся, расстегнул пиджак, выставил правую ногу, подпер левой рукой бок.

Суворов слегка дотронулся до руки Чайкина и заговорил мягко, но убедительно:

— Извиняюсь! Разрешите внести фактическую поправку в только что внесенное вами предложение. Дело в следующем: оценивать талант юного артиста нет надобности, так как из твоей речи, Павлуша, видно, что он является твоим непосредственным учеником, следовательно, ты, как спец в данной области несешь ответственность за свои слова. Рассматривать же работу молодого человека через призму праздного любопытства предоставим массе, не посвященной в тайны артистического мира.

Он медленно поднялся, оперся о стол руками, прищурился.

Подумал о себе, что похож на оратора. Продолжал, силясь придать голосу оттенок величественной грусти:

— Дорогой товарищ! Вам более, чем кому-нибудь, известно, что под мою «Барыню» и «Во саду ли» выступали как вы сами, так и другие индивидуумы, яснее говоря: ваши товарищи по профессии. Не будем останавливаться на многих именах, огласим наиболее громкие: Сеня Приветов — классический исполнитель «Трепака», «Казачка» и тому подобных танцев, гастролировал со мною по городам, расположенным на живописных берегах Волги. Вкратце, назовем хотя бы Нижний Новгород. Затем, под мою игру покойный Бархатов, Сережа, пожинал лавры здесь, в северной столице, в частности, на сцене Петровского парка. Наконец, опять же благодаря мне, на ирбитской ярмарке взошла звезда несравненного, тоже покойничка, Игнаши Плюхина. Впрочем, комментарии излишни. Я думаю, имя Суворова само говорит за себя.

Он отошел от стола, засунув руки в карманы шаровар.

— Постой, Женька! — сказал, воспользовавшись паузой, Чайкин, но Суворов, приятно улыбаясь, сделал предупредительный жест рукою:

— Извиняюсь, дорогой товарищ! Я еще не кончил. Итак, перед нами молодой талант! Прекрасно! Но покажите мне его при свете рампы, оденьте его в костюм, соответствующий мо-

менту. Нельзя же так: «Сыграй, мол, Женька, а он спляшет!» Что за кустарное производство? Что за обывательский подход?

Продолжал с неподдельной горечью:

— Эх, Чайкин, Чайкин! Все эти дефекты происходят оттого, что ты отошел от общего дела. Сам неоднократно заявлял, что занимаешься уже давно сапожным ремеслом и, мало того, даже считаешь его своей основной профессией. Стыдно, милый, так опускаться! С гордостью могу сказать о себе, что лишь один я из всей стаи славных по-прежнему незыблемо стою на страже изящного искусства.

Ласково погладил лежащую на стуле гармонию, сказал с дрожью в голосе:

— Никогда тебе не изменю, подруга дней моих суровых, голубка дивная моя!

Подмигнул и добавил уже весело и не без бахвальства:

— Можем, друже, блеснуть красноречием, а? Видишь, и литературкою, где надо, щегольнули, стишатами, елочки зеленые! Не сердись, Павел, обыватель мой разлюбезный! За прошлое я тебя ценю и уважаю.

Погладил Чайкина по плечу так же ласково, как только что гладил гармонию. Тот стряхнул его руку, сказал раздраженно:

— Черт тебя знает, Женька! Что ты за человек! Я еще рта не успел раскрыть, а он уже залился курским соловьем. Да пойми ты, чудак-рыбак, что я привел Евку вовсе не плясать. Я же тебе определенно сказал, что имею конкретное предложение. А ты мне поешь арию французского напева. Голова с мозгами!

Суворов пожал плечами, произнес сухо, официально:

— Потрудитесь внести ваше конкретное предложение, уважаемый товарищ!

Обратился к пареньку, стоящему все в той же выжидающей позе, с рукою, упертой в бок.

— Сядьте, милейший! Демонстрирование танцев пока не предполагается.

Мальчик сел. Лицо его из розового стало пунцовым. Суворов сказал ласково:

— Вы, дорогой, не смущайтесь! У нас с Павлом Степанычем специальная беседа. Так сказать, прения сторон на почве профессиональных разногласий.

Мальчуган покраснел гуще, затеребил кепку.

Чайкин нервно заговорил.

Суворов слушал внимательно. Понял из слов Чайкина, что тот предлагает выступить с его племянником. Последний в качестве плясуна.

— Дело, брат, верное! Вдвоем вы можете не только в трактирах, но и в театрах работать, да и опять же по городам на

гастроли. На одну гармозу и то идет публика, а ежели с пляскою — пачками повалит. Особливо в провинции.

Суворов взволнованно заходил своим мелким, танцующим шагом.

— Это, дорогой друг, абсурд! Я исключительно одной своей игрою влияю на окружающую среду. Кто в театрах танцевал мою «Чародейку» или «Лесные ландыши»? Никто! А найди хоть один граммофон, который бы их не исполнял. Мне приятель рассказывал — слышал мои «Лесные ландыши» в трактире, чуть не на самом Северном полюсе, ну, да,— в Архангельске. Завели, говорит, граммофон. Тьфу, говорит, мать честная, Женькины «Ландыши».

Продолжал задумчиво и как бы с грустью:

— Такая судьба всех знаменитостей. Вот, Пушкин, писатель, когда-когда помер, а книжки его и посейчас существуют. Сам недавно читал. Так и мы сейчас, вот, беседуем, а где-нибудь, за границею, граммофоны исполняют мои польки. Буржуазия, поди, массу граммофонов за границу-то повывезла.

Вдруг оживился:

— Слушай, Павлушка! Скажем, в Париже: шумит, это, ночной Марсель, то есть река такая, вроде как у нас Нева. Автомобили, это, экипажи, огни фонарей. А в ресторане, по-ихнему ресторан — отель-де-Пари, сидит, скажем, парочка: он и она. Определенно, французы. А граммофон исполняет мою «Чародейку». Она — кавалеру: «Ах, какой шикарный фокстрот!» А шестерка, по-ихнему, понятно, гарсон: «Ничего подобного, мадам-с! Это не фокстрот, а полька «Чародейка» знаменитого русского гармониста Евгения Суворова».

Суворов хлопнул руками по коленам, шумно засмеялся:

— Га-а! Га! Елочки зеленые! Ловко? Га-а!

И мальчуган широко улыбнулся, блестя светлыми зубами и румянцем.

Только Чайкин досадливо сплюнул:

— Тьфу, бóтало! Прости господи! С тобой, Женька, честное слово, нельзя вести деловые разговоры. Брось ты свои граммофоны. Граммофоны и публика — две большие разницы. Публике давай не только для уха, а и для глаз. Как ты превосходно ни играй, но если еще разнообразить репертуар пляскою — это уже плюс.

Суворову нравилось предложение Чайкина.

Он сам недавно искал хорошего плясуна, но сейчас «выдерживал марку». И потому сказал серьезным деловым тоном:

— Твоя идея, Павел, мне совершенно ясна. Но мне нужно время обмозговать ее. Взвесить все «за» и «против», понял?

А молодой человек тем временем закончит полный курс. Если соглашусь — извещу письменно. Адрес тот же? Прекрасно.

Провожая гостей, добавил:

— Принципиально я согласен, но необходимо выполнить некоторые формальности.

IV

Есть люди, придающие огромное значение самым пустячным своим поступкам и действиям.

Кажется, чихнут — так и то словно сделали всемирное открытие.

К таким людям принадлежал и Суворов.

Бывало, во время попойки кто-нибудь заметит:

— Я думал, ты, Женя, и пить-то разучился. А ты хлещешь, куда с добром.

Суворов наполнял стопку пивом, выпивал, не отрываясь, чмокал донышко, затем победоносно оглядывал присутствующих:

— Учитесь пить у Суворова! Молодые еще, елочки зеленые!

Выпить стопку пива без отдыха мог не только каждый из его собутыльников, но и любой непьющий, женщина, мальчик, но Суворов искренно не замечал того, как люди делают то или другое.

Что мог он, того никто, как ни ершись, не сделает!

А если уж в пустяках проявлялось это его самохвальство, то в серьезных делах оно переходило всякие границы.

Так, он вполне искренно был уверен, что все те знаменитые плясуны — «классический» Приветов и прочие — своею знаменитостью обязаны исключительно ему.

Конечно, музыка и пляска между собою тесно связаны, но если человек не только плясать, а ходить не умеет — спотыкается на ровном месте,— тут хоть засыпь его деньгами и дай музыкантов всего мира — все равно ни «Барыни», ни «Во саду ли» не получится.

Этого-то Суворов и не понимал.

Не раз распространялся в кругу друзей:

— Под мою «Барыню» корова на льду «сдробит», а ежели исполнить что-нибудь сердечное, например на сибирский манер «Голубо́чка» или в сплошном миноре и при аккордном равновесии вальс «Муки любви»,— тут не только человек, а, можно сказать, дредноут и то заплачет. Мой закадычный друг, писатель Коленкин Евгений Орестович, от пустяков рыдал, бывало, в «Лиссабоне», зазовет в кабинет: «Тёзка, сотвори «Сама садик я садила»!» Ну, я, определенно, разведу, а он — расстраивается.

Схватит стакан или иной соответствующий предмет и об пол. Девиц прогонит, а сам рыдает.

Из всех гармонистов Суворов считал равным себе лишь своего учителя, Костю Черемушкина, да и то, возможно, потому, что того уже не было в живых — кончил самоубийством, или, как образно выражался Суворов, «погиб на коварном фронте любви».

Память покойного Суворов чтил: наблюдал могилу; ежегодно в день трагической смерти Черемушкина, если был при деньгах и не в загуле, обязательно служил панихиды; особенно близким друзьям показывал большой фотографический снимок красивого черноглазого парня с прическою-«бабочкою» и с двумя рядами жетонов на груди.

— Мой коллега, Черемушкин Костя,— говорил Суворов с важностью,— человек был всех мер и бесподобный игрун в свое время, вроде как теперь я.

Портрет у него хранился в ящике комода.

— Ты бы — в рамочку да на стенку,— замечал кто-нибудь из гостей.

— Не к чему,— сухо говорил Суворов,— всякий станет глаза пялить.

— Ну так что же? А как же памятники? Все их видят.

— Это тоже неправильно,— почти сердито отвечал Суворов.— Изображения знаменитых людей надо уважать и показывать тому, кто достоин.

Вероятно исходя из этого соображения, он и свою фотографию хранил вместе с портретом Черемушкина в ящике комода и почти никому не показывал, хотя злые языки утверждали, что Суворов не показывает своего портрета потому, что у него там всего четыре жетона, к тому же один даже и не за игру, а солдатский, «за отличную стрельбу», тогда как у Черемушкина жетонов — плюнуть некуда — вся грудь увешана.

Чайкин не дождался суворовского письма — сам прислал к нему племянника с запискою, в которой предлагал Суворову выступать с Ёвсей в ресторане, находящемся в центре города.

«Я на всякий пожарный случай согласился от твоего имени,— писал Чайкин.— Если откажешься — придется искать кого попало. Только, Женя, прошу тебя как старинного друга и товарища — соглашайся. И сам не будешь в обиде и меня выручишь. А то мальчишка зря болтается без дела».

Прочтя записку, Суворов обратился к мальчику:

— А вы, молодой человек, полный курс прошли?

Мальчик приподнял тонкие, точно нарисованные, брови, глаза округлились — стал похожим на куклу.

— Чего это?

— Ну... дядя ваш закончил преподавание танцев? — пояснил Суворов.

— Не знаю. Он говорит, ежели вам желательно — я могу сплясать, чтобы вы, значит, видели,— проговорил мальчуган звонкой скороговоркою.

Суворов усмехнулся:

— Чудак ваш дядя! Такие дела с молотка не делаются. Пусть придет, ну, хоть завтра, совместно с вами. Сговоримся, обсудим, как и что, приведем, так сказать, все к одному знаменателю, а тогда уже и репетиции. Так и передайте ему.

— Уж вы лучше ему напишите,— попросил мальчик.— А то я позабуду. Как его? Знаменатель, что ли?

Он конфузливо улыбнулся.

Суворов, вздохнув, подошел к комоду, достал лист бумаги и розовый конверт.

Подумал, что деловые письма должны быть кратки и официальны. И написал:

«Многоуважаемый Павел Степаныч! Всесторонне взвесив ваше предложение, всецело присоединяюсь, ввиду чего предлагаю вам завтра, в воскресенье, от 1 ч. до 2-х дня явиться ко мне совместно с племянником для обсуждения наболевших вопросов, касающих вышеизложенного предложения. Присутствие вашего племянника необходимо с точки зрения демонстрирования танцевальных номеров и тому подобное. Остаюсь известный вам Евгений Суворов».

На конверте вывел крупно и неровно: «Павлу Степанычу гражданину Чайкину». Подумал и надписал полный адрес, причем особенно старался над словом «Ленинград» и буквами: «В. н.».

Вручая письмо мальчику, сказал:

— Это вот «ве» и «нэ» обозначает: «весьма нужно». Поняли? Так и передайте дяде, что весьма, мол, нужно.

V

На другой день Суворов и Чайкин быстро пришли к соглашению. После переговоров Чайкин сказал:

— Ты в своем «Саратове» целый вечер басы жмешь, а там за те же деньги сделаешь четыре номера: два сам по себе, да два с Ёвсей и — кум королю. Да и место все-таки публичное. В центре. Вот что главное!

На эти слова Суворов равнодушно отвечал:

— Работы там, определенно, меньше. А что касаемо центра, то это мне все равно. Меня, милый, рестораны не удовлетворяют. Мне театр нужно, рампу. Турнэ во всероссийском масштабе.

Слово «турнэ» он услыхал на днях в «Саратове» от какого-то пьяного, не то куплетиста, не то музыканта.

Довольный тем, что удалось применить это новое красивое слово, а главное — состоявшейся сделкою, Суворов весело сказал Чайкину:

— Погоди, Павел Степаныч! Расправим старые орлиные крылья и опять раздуем кадило, Суворов еще прогремит в светлом будущем, елочки зеленые!

Обратился к племяннику Чайкина, который, готовясь к репетиции, переодевался в принесенный им костюм плясуна.

— И вас, молодой человек, вытащим из обывательского болота и поставим на благородную почву.

Обернулся к Чайкину:

— Хорошо, Павлуша, что догадались костюмчик захватить, поднимает, знаешь, настроение.

Чайкин оживился:

— У меня, браток, все делается начистоту. Товар — лицом.

Он быстро подошел к племяннику, взял из его рук шапку с павлиньими перьями, сам надел тому на голову, подвел мальчика к Суворову:

— Ты, Женя, обрати внимание, каков экземпляр-то, а? Ты посмотри: форменный русский красавец. Кровь с молоком. И ростом приличный. Ведь всего шестнадцать пареньку-то. И телом, гляди, аккуратный: не толстый и не заморыш. Мяса и всего прочего в нормальном количестве.

Он словно продавал племянника:

— Смотри грудь. Двое суток плясать будет и не задышится. А ноги, икры-то. Резина!

— Все это — второстепенно,— возразил Суворов,— главная суть, Павлуша,— талант. Плюхин, Игнаша, сам знаешь, был мелкого калибра и плюс — беззубый, а плясун какой, а?

— Не любил я Игнашкину пляску,— нахмурился Чайкин.— В цыганщину впадал, а это для русского танца не модель. И наружного вида не имел Игнашка. А это тоже плохо. Ничего, помоему, у него не получалось!

— Не получалось,— усмехнулся Суворов.— Триста пятьдесят мы с ним в один вечер на ярмарке на ирбитской у купцов заработали!

— Можно и за стакан семечек тыщу заплатить. У денег глаз нету! — сказал Чайкин и быстро добавил, боясь, очевидно, что разговор затянется.— Ну ладно, Женя! Игнашка сгнил давно, шут с ним! Начнем, что ли? Время-то уж много.

— Пожалуй, начнем,— согласился Суворов.

— Ну-с, Евсей Григорьич Коноплев,— шутливо сказал Чайкин, обращаясь к племяннику.— Приготовьтесь к экзамену.

В кухне, куда перешли все трое, был уже накрыт стол. Это Суворов по случаю коммерческого дела позаботился о выпивке и закуске.

Тетя Паша сидела у стола, подперев рукою щеку.

По-видимому, ждала, когда Суворов и гости усядутся закусывать.

Евся вышел на середину кухни, встал, немного отставив правую ногу.

Белый и румяный, тонкобровый, большеглазый, в плисовой безрукавке, голубой рубахе, в нестерпимо сверкающих сапогах был он похож на большую дорогую куклу.

Тетя Паша не удержалась, вскрикнула, всплеснув руками:

— Вот красавчик-то! Господи, царь небесный!

На что Суворов заметил с неудовольствием:

— Повремените, уважаемая, выражать интимные чувства. Сейчас у нас предстоит дело серьезной важности.

Обратился к Чайкину:

— С «Во саду ли» начнем?

— Определенно,— кивнул тот.

Суворов в быстром переборе проиграл второе колено песни и тотчас же заиграл первое — в медленном отчетливом темпе.

Евся легко вскинул правую руку к шапке, левую — на бедро.

— У — лыбка! — четко сказал Чайкин.

Румяные Евсины губы раздвинулись. Блеснули белые зубы.

Евся пошел кругом как бы нехотя, слегка шаркая.

— Выходка приветовская, ленивая, замечаешь? — зашептал Чайкин на ухо Суворову.

Тот неопределенно пожал одним плечом. Заиграл чаще, отчетливее.

Евся пошел быстрее, легче. Как по воздуху. Шарканья не стало слышно.

Потом, сразу, мелко задробили каблуки.

И снова бесшумно выбрасывались в стороны ноги в светлых сапогах. Плели невидимую веревочку в такт плетеным серебряным голосам гармонии.

Голоса гремели громче, торопливее. Порывисто и густо вздыхали басы.

И юный плясун словно мужал с каждым новым звуком: сильно и смело отрывались от пола ноги, не хотели опускаться

на него, хотели пройти над землею, оторваться от нее совсем и носиться свободно и смело, как носятся звуки.

Музыкант шевелился на стуле. Резче, нетерпеливее дергал гармонию.

Расплетались, заматывались и снова расплетались невидимые серебряные нити. И вдруг оборвалась тонкая нить — прокатился последний звук и умолк.

И одновременно с ним замер, с застывшею на лице улыбкою, плясун, держа в откинутой руке шапку.

Но Суворов тотчас же прокричал:

— Играю «Барыню»!

Сначала вкрадчивые, лукаво-веселые звуки, как затаенный девичий смешок, затем пьянящий, беззастенчивый смех властной женщины.

Евся лихо́ дробил, четко и отрывисто семенил ногами. Легко несся в разгульном плясе.

Чайкин, стоя рядом с Суворовым, тоже выстукивал каблуками дробь. Хрипло выкрикивал:

— Евка! Чечетку — чище!

— Пистолетика — короче!

Хлопал в ладоши, ожесточенно потирал ими:

— Эх, мать Вазуза, не потопи города Саратова, э-эх!

Музыка и пляска сплелись в один пестрый клубок удали и веселья.

И не понять было, что над чем царит.

Казалось, не пройди плясун в легкой и мощной, мягкой и дерзкой присядке, остановись он — замрет музыка. Умолкнет музыка — недвижным станет плясун.

И замерли одновременно музыка и пляс.

И опять застыл, с прежней румяной улыбкою, с откинутой в сторону рукою, плясун. Торжествующий и приветливый.

Суворов поставил баян на пол, рядом со стулом. Слегка забарабанил пальцами по столу.

Чайкин сел к столу, искоса пытливо поглядывал на него.

Тетя Паша улыбалась, утирая умильные слезы, и, не спуская глаз, смотрела на Евсю, старательно затягивавшего развязавшийся крученый, с кистями, пояс.

Вдруг Суворов быстро поднялся с места.

— Ну? — не вытерпел Чайкин.

Суворов подошел к Евсе, все еще занятому поясом, обнял его и поцеловал три раза, точно христосуясь.

Затем, подойдя к взволнованному, удивленному Чайкину, так же трижды облобызал и его.

— Женя, ну чего ты? — смущенно и растроганно спросил Чайкин.

Суворов промолвил дрогнувшим голосом:

— Бархатов, Сережа, имея восьмилетний стаж, хуже плясал... Больше ничего не имею сказать!

VI

Ресторан, куда Суворов, по рекомендации Чайкина, нанялся играть, более, чем какой-нибудь окраинный «Саратов», напоминал плохой трактир царского времени.

Чадный, неуютный зал кишел пьяными посетителями: сезонниками, накрашенными девицами, молодыми людьми с ухарскими зачесами и разухабистыми манерами.

Владельцем ресторана оказался старый знакомый Суворова, Петр Петрович, по прозвищу Баран.

Когда-то, в дни суворовской юности, он был скотским барышником, а также содержал артель шулеров, играющих в «три карточки» и в «ремешок» в местах народных гуляний. Суворов вспомнил, что тогда не раз видел в Екатерингофском парке Барана в тарантасе, запряженном белогривою шведкою, объезжающим стоянки своих игроков.

Теперь на Суворова неприятно подействовало, что Баран притворяется ничего не помнящим.

— С братом вы меня смешали, не иначе. Никаких я коров отродясь не продавал,— говорил Баран, звеня деньгами в кармане брюк.— И в Екатерингофе, кажись, никогда не бывал.

Зевнул и добавил:

— Впрочем, раза два был. Представления ходил смотреть.

— Так вот я на сцене-то и выступал тогда. Неужели не помните? — спрашивал Суворов.— И в «России», на Обводном, вы сколько раз меня играть нанимали.

Но Баран стоял на своем:

— Ничего этого не помню. Ошибаетесь вы. Обознались, я так думаю. Тем паче, что гармонию я не обожаю.

Но особенно смущало и раздражало Суворова отношение к нему публики.

Всех исполнителей она принимала хорошо, даже старательно хлопала концертному трио, играющему весь вечер, а он, Суворов, получал неоткровенные жидкие аплодисменты.

Не поднимали настроения публики даже «Чародейка» и «Лесные ландыши».

Евся же, так же, как и автор-юморист Лесовой-Зарницын, выступал всегда на бис.

Евся с первых дней стал пользоваться всеобщим успехом, перезнакомился со всеми постоянными посетителями.

То один, то другой из гостей приглашали его к столу, заказывали для него что-нибудь в буфете.

К концу вечера он так наедался пирожков и бутербродов, что отказывался от новых угощений, разве только выпьет стакан лимонада.

— Ты смотри, с девочками осторожнее. Ведь это не кто иные, как падшие феи, проституция,— как-то сказал Суворов Евсе,—и парни тоже шпана, хулиганье.

— А мне чего,— улыбнулся Евся,— Лидка мне пирожного взяла, а тот, вот, Колька, все уговаривает водку пить, а я заместо водки лимонад требую.

Во время этого разговора подошел тот самый Колька, о котором только что говорил Евся.

— Товарищ-гармонист,— задышал он на Суворова пивом,— ты, вот, Коноплева почаще выпускай. Мало он у тебя пляшет. Ты бы сам поменьше играл. А то разведешь из оперы: «Богородица, дева, радуйся» или «Как черт шел из неволи», так прямо блевать тянет, честная портянка!

Суворов опешил. Смог только произнести задрожавшими губами:

— Гражданин! Прошу без замечаний, елочки зеленые!

Парень махнул рукою, сказал с досадою:

— Тьфу, в бога мать!..

И отошел, задевая за стулья.

Евся стоял красный до слез. Избегал смотреть на Суворова.

Взволнованный Суворов ушел в «артистическую» — маленькую, грязную и холодную, как сарай, комнату, заходил там на танцующих ногах:

— Елочки зеленые! Еще центральный ресторан называется. Убежище воров и проституток!

— Вы, коллега, прямо в точку попали. Здесь самый цвет Лиговки и Обводки! — пробасил автор-юморист Лесовой-Зарницын, пудрясь перед разбитым зеркалом.

Узнав, чем возмущен Суворов, он сказал, как бы с разочарованием:

— А, вот в чем дело! А я думал, что у вас карман вырезали или баян уперли. Это, коллега, чепуха! Я первое время тоже кипел негодованием, а теперь, за три года, привык.

— Я, уважаемый товарищ, не три года играю,— еще больше кипятился Суворов,— я еще в эпоху царизма неоднократно награждался жетонами. Мои произведения до сих пор исполняются граммофонами в Париже, елочки зеленые! Под мою игру не мальчишки плясали, а такие имена, как Приветов и Плюхин. А это, уважаемый товарищ, не сопляки были, не Коноплевы, а классические исполнители русской пляски.

Напудренное лицо автора-юмориста стало грустным. Он взял руку Суворова в обе свои тонкие, костлявые руки, заговорил умоляюще:

— Милый, голубчик! Напрасно обижаете мальчугу. Он очаровательно пляшет. Огромный талант! Самородок! Его бы в балетную школу. Эх, милый мой! Да вы же сами знаете! Он затмевает вас, простите меня за откровенность!..

Эти слова поразили Суворова сильнее, чем недавняя выходка хулигана Кольки.

— Затмевает? — прошептал Суворов почти с ужасом.

Но в этот момент заглянул в дверь Евся:

— Евгений Никанорыч! Сейчас — нам! Певица кончила!

Выходя в зал, Суворов столкнулся в дверях с певицею и не извинился.

«Затмевает,— думал он,— затмевает».

Действовал, как во сне.

Не видя Евси, стоящего на ступеньке эстрады, поднялся на эстраду, взял в руки баян.

«Затмевает»,— снова подумалось.

Вместо... «Во саду ли» заиграл «Ах, вы, сени...».

Очнулся, когда услышал Евсин шепот:

— Евгений Никанорыч! Не то! «Во саду ли».

И еще чей-то насмешливый пьяный голос:

— Затерло Суворова с пирогами!

VII

— Сыграйте что-нибудь трогательное.

Суворов с некоторым удивлением посмотрел на ресторанную продавщицу пирожков и приятно улыбнулся:

— Что же именно? Вальс «Муки любви» или «Разбитое сердце»? Очень нежные вещи.

— Сыграйте и то, и другое.

— С восторгом, уважаемая Зоичка.

Суворов поднялся на эстраду.

Быстро и ловко расстелил на коленях свою бархатную с золотым шитьем подстилку, перекинул через плечо ремень баяна.

Играл с чувством и старательно: с вариациями и аккордами.

Волновался. Но сидел, как всегда, неподвижно. И выражение лица было пренебрежительное.

После игры подошел к девушке, сидящей за официантским столиком, спросил небрежно:

— Ну-с, как? Понравилось?

— Мерси. Очаровательно!

Суворов пристально посмотрел на девушку. Серые глаза ее с пушистыми ресницами были серьезны грустны.

Сказала тихо:

— Мне ужасно нравится баян. Особенно, когда хорошо играют.

Суворов достал из кармана шаровар портсигар, предложил девушке папиросу. Она отказалась.

Сказал тем же небрежным тоном:

— Музыку редко кто чувствует. Надо иметь абсолютный слух, чтобы правильно реагировать.

— Вы очень хорошо играете.

— Мерси за похвалу.

Суворов сделал длинную затяжку, прищурился:

— Как будто умею играть.

— Мне ваш приятель, Коноплев, говорил, что вы были известный гар... музыкант.

Суворов затеребил в зубах папиросу:

— Был! Что за странный вопрос? И в настоящее время моя слава гремит по всей России. Поезжайте, например, в Ирбит или в Нижний...

Далее пошел рассказ о «классических» плясунах, о его, суворовских, жетонах и польках.

Зоичка спокойно и грустно смотрела на Суворова, потом взяла со стола поднос:

— Извиняюсь. Мне нужно за пирожками.

С этого дня Суворов каждый вечер, в свободные часы, беседовал с Зоичкою. Вернее, говорил он, а она слушала.

Рассказывал о себе, как он с малолетства имел влечение к музыке и как его драл за это отец, о Черемушкине.

— Игрун был покойничек — бесподобный. От рождения — левша. Так он, верите или нет, в гармонии планки переставил — приспособил, одним словом, для левой руки. У него я и обучался, а потом уже сам усовершенствовался.

— Я ужасно завидую талантам,— спокойно говорила Зоичка.— А у меня никакого таланта нет. Ни на чем не играю и не пою.

— Играть на баяне для женщины — необязательно,— поучительно говорил Суворов.— В женщине, как в таковой, преобладают красота и нежность. Поэтому она должна вдохновлять знаменитостей. Короче говоря, содействовать искусству.

— Красоты у меня тоже — никакой,— грустно улыбалась Зоичка.— А знаменитости разные на меня и смотреть-то не захотят.

— Как сказать,— загадочно улыбался Суворов.

Зоичка брала поднос с пирожками и тихо шла через зал, останавливаясь у столиков.

Суворов мечтательно смотрел ей вслед и думал:

«Славная девица! Кокетка только, тихонькой прикидывается, елочки зеленые!»

Уходили домой вместе: он, Евся и Зоичка.

Недалеко от ресторана, у трамвайной остановки, прощались с Зоичкой.

Суворов задерживал ее руку в своей, говорил нежно:

— До завтра.

Она опускала глаза:

— Пока.

Евся шалил: сжимал ее руку так, что она вскрикивала, или, когда уже подходил трамвайный вагон, не пускал ее садиться:

— Обожди, Зоя. Завтра уедешь.

Вообще, отношение его к Зоичке не нравилось Суворову: обращался, как мальчишка с мальчишкою.

— Фамильярности у тебя много,— замечал ему Суворов,— с барышнями так нельзя, как ты с ней.

— Кислая она какая-то,— смеялся Евся,— боится всего. Будто стеклянная. Того и гляди — разобьется.

— Нежная, а не кислая,— хмурился Суворов и прибавлял наставительно: — О женщинах тебе, брат, еще рано рассуждать. Надо сначала приобрести опыт, специальность.

— Я ничего не говорю,— недовольным тоном отвечал Евся.— Я только насчет Зойки, что не нравится она мне.

Суворов молчал. Ему почему-то было по душе это Евсино признание.

VIII

Слава Евси Коноплева росла с каждым днем.

Он стал любимцем не только пьяных завсегдатаев ресторана, но и сам бесчувственный Баран, вечно занятый загадочными делами с какими-то трезвыми немолодыми людьми, и тот усердно аплодировал плясуну, тогда как остальных исполнителей, не исключая и автора-юмориста, совершенно не замечал.

Только Суворов равнодушно относился как к успехам своего партнера, так и ко всему, что вокруг происходило.

Выступая соло, он с необыкновенным чувством исполнял или мечтательные вальсы «Муки любви» и «Разбитое сердце», или «Аргентинское танго» и «Шимми» — словом, все, что просила Зоичка.

И покидал эстраду, не заботясь о том, какое впечатление произвела его музыка на публику.

А самого Евсю собственный успех не радовал, а огорчал: на бис он выступал неохотно, а однажды вызванный в четвертый раз категорически отказался плясать.

— Ну, Коноплев, вали голубок, э-эх! — подмигивал Баран.— Покажи им свою храбрость! Слышь, как требуют?

— Ну их к черту! — рассердился Евся.— Они всю ночь будут требовать, а я пляши? Какие симпатичные! Им все равно пиво-то лакать, а у меня ноги не казенные.

С первых дней близко сойдясь со многими посетителями, он так же быстро стал избегать общения с ними.

— Ты, кажется, своей судьбой недоволен. Смотри, сколько заимел поклонников и поклонниц, чего тебе еще надо? — иронизировал Суворов.

Евся угрюмо отвечал:

— Ну их! Нешто это люди? Барышни все как есть шлюхи подпанельные, глупости разные болтают, а парни: «Пей да пей!» Я в деревню уеду,— неожиданно говорил он.— Надоело. Здесь пляши! Дома дядя в футбол не дает играть: «Ноги, мол, мучаешь». И босиком ходить не велит: «Порежешься,— говорит,— тогда как плясать-то будешь?»

— Это он правильно,— замечал Суворов.

Евся смотрел на него обиженными глазами:

— Правильно! Сам он, небось, плясал-плясал, а теперь сапожником заделался.

— Твой дядя — чудак,— хмурился Суворов,— он изменил святому искусству.

— Так что же, всю жизнь плясать, что ль? — насмешливо и сердито перебивал Евся.— Этим всегда кормиться не будешь. Ремесло не подходящее.

— А как же в балете,— тоже сердился Суворов,— до седых волос пляшут и ничего!

Но Евся упорно стоял на своем:

— Это не работа. Надо работу настоящую сыскать.

— Сделайся сапожником,— усмехался Суворов,— с дядей на пару и стучите.

— Я бы с удовольствием, да он не желает.

Евся оглядывал свой костюм плясуна и говорил с искренней досадою:

— Нарядил, вот, будто дурака какого, клоуна! Эх, мать честная! В деревне бы кто посмотрел, засмеяли бы досмерти, ей-богу!

В другое бы время Суворов прочел ему целую лекцию о изящном искусстве, рассказал бы о классических плясунах, а также о себе и своем учителе, Косте Черемушкине, но теперь всем этим он делился с человеком, чутко воспринимавшим все

нежное и изящное, с человеком, о котором только и думал и о ком писал недавно в белую ночь, душную и безмолвную ночь, какая бывает только на окраине, на берегу Негодяевки.

Правда, написано было всего несколько строк, но сколько было вложено чувства!

Полюбил я девушку чудную,
Она тоже влюбилась в меня;
У нее глаза нежные, грустные,
Будто небо майского дня.

Дальше не клеилось. Но и эти четыре строки наполнили сердце Суворова нежной радостью, и он старательно вписал их в заветную тетрадь, озаглавленную: «Различные мысли и сочинения Евгения Никаноровича Суворова, составленные в минуту жизни трудную, а также в часы досуга».

В любви Суворова к Зоичке была только одна большая горделивая радость и совершенно отсутствовал элемент страдания.

Вероятно, оттого, что сам он был сильно уверен в ее любви. Да и какие могли быть сомнения?

Она завела с ним знакомство, ежедневно проводила с ним свободное время за официантским столиком.

А вечные просьбы сыграть «Муки любви» или «Разбитое сердце»?

Это уже не намек, а почти полное признание в любви!

А грустные, страдающие глаза? Жалобы на ужасную тоску?

«Слишком много фактических данных,— радостно думал Суворов,— влюбилась девочка, определенно».

Но он не разобьет ее сердца!

Он уже решил сказать и свое слово, то слово, какого она ждала, страдая и надеясь, боясь и радуясь.

Но нужен подходящий момент и соответствующая обстановка.

Не в ресторане же, за официантским столиком, разбросать цветы любви?

По утрам Суворов особенно тщательно умывался, причесывался, жирно фиксатуарил усы.

По часу не отходил от зеркала.

Из зеркала на него глядело сорокалетнее помятое лицо, мутные пустые глаза с водянистыми мешочками, рябоватый нос.

«Солидное лицо,— думал Суворов,— вроде как у бывшего полковника».

Прищуривался. Откидывал голову. Слегка выпячивал губы и уже находил, что похож на артиста, на музыканта.

«Благородная внешность»,— решал окончательно и шел в кухню, где тетя Паша гремела чайной посудою.

А однажды, за чаем, сказал тете Паше:

— Скоро, Парасковья Петровна, меня собственная хозяюшка станет поить чаем.

— Неужто женишься! — удивилась тетя Паша и даже бросила пить чай.

— Женюсь,— спокойно отвечал Суворов.

Тетя Паша, сгорая от любопытства, стала расспрашивать: как и что.

— Красавица, можно сказать, редкая,— важно говорил Суворов,— Зоичкой зовут, Зоя Васильевна. Нежная девица. Девятнадцатый год пошел. Чуткая душа. Влюбилась в меня до потери сознанья. Прямо, можно сказать, находится на пути к самоубийству. «На меня, говорит, такие знаменитости, как вы, и смотреть-то не пожелают».

Потер руки:

— Эх, елочки зеленые! Вот-то обрадуется, бедняжка, когда я произнесу свое решающее слово!

И залился счастливым смехом.

IX

Дни стояли веселые, солнечные.

Солнечными были и мысли Суворова о женитьбе на Зоичке.

И уже близился момент, когда он должен сказать свое решающее слово.

В самом деле, Зоичка уж очень страдала. Это видно было по ее безнадежным глазам, обведенным тенями. Безнадежность слышалась и в голосе.

«Почему она не признается! — думал с досадою Суворов и решил: — Девичий стыд не позволяет, определенно».

Вспомнились слова девушки о том, что знаменитости и разговаривать-то с нею не захотят.

Становилось жаль ее, и вместе было радостно.

«Не чует, елочки зеленые, что ей небесная манна изготовляется».

И ласково, и таинственно говорил:

— Погодите, Зоя Васильевна, не волнуйтесь. Близится момент исполнения вашего желания.

Она вспыхивала, глаза загорались.

— А разве вы знаете мое главное желание? — взволнованно произносила она.

Суворов отвечал многозначительно:

— Комментарии излишни. Помолчим до наступления долгожданного момента.

И момент наступил.

Приблизили его обстоятельства.

Так было:

Однажды Евся в присутствии Суворова объявил Барану, что завтра уезжает в деревню.

И Баран, и Суворов удивились.

— С чего ты так, вдруг?

Евся спокойно рассказал, что получил письмо от товарища, который предлагал работать в совхозе.

— А какая работа-то? — спросил Баран.

— Известно, по крестьянству,— ответил Евся.

Суворов увел его в «артистическую» и долго разубеждал:

— Чудак. Имеешь талант и все данное для артиста. Потерпи. Скоро ринемся на Волгу, на Кавказ. Только вот справлю дела серьезного значения.

Под делами серьезного значения он подразумевал женитьбу.

Но Евся был непоколебим.

— А чего мне делать на Кавказе да на Волге? Плясать? Спасибо. И здесь наплясался.

— А в деревне, в совхозе-то в своем, в навозе копаться будешь? — раздражался Суворов.

— Ну и в навозе! По крайности — работа. А пляшут только на гулянках,— насмешливо ответил Евся.

— Ну и копайся в навозе, елочки зеленые. Дураку талант достался!

— Сам ты дурак,— спокойно сказал парень и пошел производить денежные расчеты с Бараном.

В этот вечер Евся не плясал. Ушел, сухо простясь только с Бараном и Суворовым.

Суворову, игравшему по просьбе Зоички «Танго смерти», пьяные голоса из публики кричали:

— Вали «русскую»!

— Плясуна даешь! Шкета!

А потом Баран, звеня в кармане деньгами и не глядя на Суворова, объявил ему, что так как плясун взял расчет, то гармонисту в ресторане делать нечего.

— А в сольном исполнении не нуждаетесь? — спросил Суворов, еле сдерживая гнев.

— Музыки у нас достаточно, сами видите. Скрипка и все прочее. К чему же еще гармошка?

— Не гармошка, а хроматическая гармония «баян», уважаемый Петр Петрович,— внушительно произнес Суворов.

Баран сильнее зазвенел деньгами:

— Можно и пианиной назвать, а все равно та же гармошка останется. Неинтересный инструмент.

— Если вы хотите знать, то в гармонии сосредоточена музыка всех категорий,— закипел Суворов и добавил задрожавшими губами: — К тому же играет на ней, в данном случае, профессор-самородок Евгений Суворов, елочки зеленые!

Но бесчувственного Барана не тронули даже такие веские данные.

Он откровенно зевнул и сказал с убийственным равнодушием:

— Суворов или Кутузов — нам все равно. А только гармошка без пляски — одна меланхолия. Пиликает-пиликает, а в чем дело — неизвестно.

После разговора с Бараном Суворов почувствовал непреодолимое желание сказать Зоичке «решающее слово».

Провожая ее, как всегда, до трамвая, он мучительно думал: «А как сказать ей? Прямо: «люблю»? Или назначить свидание, а к тому времени обдумать?»

Остановился на последнем.

— Хотелось бы увидеться с вами, Зоя Васильевна,— начал он, но она вдруг перебила:

— Я только что об этом думала. Знаете, Евгений Никанорович, приезжайте ко мне завтра вечером. Я в ресторан не пойду. Хочу отдохнуть. Только захватите и баян. Хорошо? Поиграете,— она грустно улыбнулась.

— «Муки любви»? — пошутил Суворов.

Лицо Зоички стало серьезным.

— Да, «Муки любви».

X

— Вы раскаетесь, что пришли,— сказала Зоичка, когда Суворов вошел в ее маленькую чистую комнату с одинокой кроватью, с таким же, как у него, розоватым одеялом.

— Почему раскаюсь? — спросил Суворов, ставя гармонию на пол у дивана.

— Разговоры будут у меня невеселые.

— Развеселим! — сказал Суворов.

— Полькою «Чародейкою», что ли?

И не понять, насмешка в голосе или грусть.

— Может быть, чем-нибудь другим.

— Вы всегда говорите непонятное.

— А вот разгадайте, чем я вас развеселю.

Суворов хитро улыбнулся. Зоичка посмотрела на него с удивлением. Затем опустила глаза, вздохнула, сказала задумчиво:

— Ничем.

Суворов прошелся по комнате, остановился у дверей, посмотрел на Зоичку.

Она сидела на диване, подобрав ноги. В гладком коротком платье, туго обтягивающем ее маленькую тонкую фигурку, с волосами, подстриженными челкою, она походила на мальчика.

«Изящная девица, миниатюрная»,— подумал Суворов.

Не торопясь начал:

— Дело, Зоя Васильевна, в следующем. Когда-то я говорил, что настанет время исполнения вашего желания.

— Помню, но...

— Извиняюсь! Момент этот близок...

Увидел ее изумленные, как бы испуганные глаза и тревожно подумал: «Нельзя так, сразу... Может губительно на нее подействовать».

Улыбнулся, быстро сказал:

— Я шучу. Давайте говорить о чем-нибудь потустороннем. Или сыграть?

— Сыграйте.

Зоичка опустила глаза.

— Что же именно? «Муки любви»?

— Можете «Разбитое сердце»,— горько усмехнулась.

«Потеряла всякую надежду»,— подумал Суворов, перебирая басы.

Ему хотелось подойти к ней, обнять, рассказать всю правду: как он, не понятый толпою великий артист, горячо ее любит, как с первой же встречи с нею понял, что им суждено вместе совершать великий жизненный путь.

Под его нервными пальцами дрожали голоса баяна.

«Шикарно играю. Плачет баян, прямо плачет!»

Суворов закрыл глаза. Вздрогнул.

Плакала уже не гармония, а кто-то живой.

Открыл глаза.

Зоичка сидела, уткнув лицо в ладони рук. Плечики вздрагивали.

— Зоя Васильевна! Зоичка! — воскликнул Суворов, подымаясь с места.

— Иг... райте! — задыхаясь прошептала она, не отнимая рук от лица.

«Пусть поплачет — легче будет. Сердце отмякнет»,— подумал Суворов и снова закрыл глаза.

«Надо на непрерывных аккордах, в высоком тоне».

Нажал несколько клапанов. Вздохнули басы.

И вдруг услышал голос Зоички:

— Евгений Никанорыч!

Стояла близко, в двух шагах. Смотрела странными немигающими глазами.

Ему стало не по себе.

Быстро поднялся, не сводя с девушки глаз. Положил на стул баян.

— Где же ваш момент?

Голос ее прозвучал ровно и четко.

— Какой момент? — не понял Суворов.

— Момент, который... Ну, момент исполнения моих желаний! — голос уже был недовольный, нетерпеливый.

«Теперь пора! Больше ждать нечего!»

— Дорогая Зоя Васильевна! Когда я это говорил, я не смеялся. И теперь...

— Вы смеялись! Неправда! — вскрикнула она с отчаянием.— Так смеяться — жестоко!

— Слушайте, Зоя Васильевна, Зоичка! — быстро заговорил Суворов.— Уверяю вас, я видел, как вы страдаете, я боялся признанием нанести вам гибельный удар. Резкий переход от горя к радости может...

— Радости?

Глаза Зоички округлились.

— Радости? Какой радости? Да говорите же! Он... не уехал, да? — вдруг прокричала она так сильно, что Суворов вздрогнул.

— Кто не уехал? — с удивлением спросил Суворов.

И вдруг все понял.

— Ко...ноплев? — губы едва выговорили.

— А то кто же? — удивилась Зоичка.

Суворов, не отвечая, опустился на стул. Ноги дрожали. Похолодело в груди.

Зоичка что-то быстро спрашивала. Он, не понимая, глядел на нее. Слабость легкая и приятная охватила все тело.

Потом поднялся. Долго укладывал гармонию в футляр, Зоичка сидела в уголке дивана, бледная.

Испуганно смотрела на него.

Только на улице очнулся.

Остановился. Хотел вернуться, но потом быстро пошел вперед.

И шаги были не танцующие, как всегда, а дрожащие, порывистые.

Точно вот-вот сейчас побежит, мелко и дробно, по-стариковски.

А навстречу шли люди. Обгоняли люди.

И молодые из них: юноши, девушки и дети — все непонятно напоминали Евсю.

И еще почему-то казалось, что ему некуда идти. Помнил отлично свой адрес. И знал, что идет верным путем, но между тем ясно сознавал, что идти некуда.

А «они» шли.

Было жарко, солнечно.

Многие из них почти полуголые, многие — босиком. Загорелые тела золотились от лучей солнца.

Вот посреди дороги — колоннами, с пением. «Почему они поют?» — не понимал Суворов.

И все — смутно и непонятно напоминали Евсю Коноплева, плясуна, разбившего его жизнь.

Разбитое сердце.

Тихо поскрипывают подошвы мягких лакированных сапог, путаются полы темно-синей поддевки.

«Опять забрал запой»,— подумала тетя Паша, когда Суворов, слегка пошатываясь, пришел домой.

Прошел к себе. Щелкнула задвижка.

А спустя несколько минут раздались звуки гармонии. Играл беспрерывно. Тихо и печально. И неуверенно, словно разучивал трудную песню.

Тетя Паша собрала чай. Постучалась к жильцу.

— Чай пить, Евгений Никанорыч!

— Не... надо! — не сразу пришел ответ.

И снова — печальная неуверенная музыка.

А потом — стихла.

Тетя Паша несколько раз подходила к дверям, прикладывала ухо.

«Спит»,— решила. Ушла к себе.

Ночью ей виделись страшные сны: Суворова убивают грабители. У самого мостика на Негодяевке. Он кричит истошным голосом. Кричит и она. Но никто не прибегает на помощь. И грабители режут его спокойно, не торопясь нанося удар за ударом.

Тетя Паша в страхе просыпалась. Прислушивалась. Но было тихо. Только жужжали мухи в душных углах. И тикал будильник.

Утром, отправляясь стирать, долго стучала к жильцу.

— Евгений Никанорыч!.. Я ухожу!.. Слышь ты? Ухожу!

Стучала кулаком, потом поленом, но за дверью было странно тихо.

Вышла на улицу. Подошла к окну.

Половинка рамы открыта. Занавески спущены.

— Евгений Никанорыч! — крикнула тетя Паша,— Евгений Никанорыч! Ухожу. Дверь за мной заприте!

И вдруг перестала кричать.

Ветер колыхнул занавеску, и так и осталась она отдернутой, зацепилась за носок лакированного сапога, повисшего над горшочком герани.

Тетя Паша смотрела на блестевшую на солнце лакированную кожу и ничего не могла понять.

Только сердце отчего-то замирало.

Ветер сильнее качнул занавеску.

На мгновение стало видно два лакированных носка, широко раздвинутые в стороны.

Где-то близко загремели колеса, и прокричал гнусавый голос:

— Мороженое!

Этот крик вывел тетю Пашу из оцепенения.

«Висит»,— вдруг прозвучало в ее голове.

— Ай! — тихо вскрикнула и отступила от окна.

Заметалась, побежала, не понимая, что надо делать.

И опять, уже дальше, уныло прогнусавил голос:

— Мо-ро-женое!..

Ленинград
Январь — март, 1927 г.

СЕРЫЙ КОСТЮМ

Моей дочери Валентине

I

РОМАН РОМАНЫЧ



Роман Романыч Пластунов так говорил о себе:

— Я по наружному виду вроде как барышня или, можно сказать, цветок, а в результате обладаю энергией. Работа у меня в руках, понимаете ли, нет, кипит на все сто процентов.

И работал он, правда, быстро, стремительно, с какой-то даже свирепостью, искусно замаскированной ловкостью умелых рук и вежливостью обхождения.

— Будьте ласковы, голову чуточку повыше.

— Чем прикажете освежить?

Пока подмастерье Алексей копается с одним клиентом, Роман Романыч успевает отпустить двоих.

Если посетитель обращал внимание на быстроту работы Романа Романыча, то Роман Романыч считал долгом обязательно упомянуть, что учился в свое время у знаменитого мастера, Андрея Ермолаича Терникова.

— А у Терникова, понимаете ли, нет, постоянными клиентами числились графы и князья и, вообще, наивысший свет,— говорил Роман Романыч.

А если клиент замечал, что при быстрой работе легко можно порезать, Роман Романыч снисходительно усмехался, блестя золотым зубом, встряхивал задорными кудрями, а затем быстро, не прерывая работы, рассказывал, как знаменитый Терников брил графа Семиреченского:

— Уселся Семиреченский, граф, лейб-гвардии уланского полка, в кресло, кладет револьвер на подзеркальник и делает предупреждение: «Ежели порежешь — застрелю». А у самого, понимаете ли, нет, лицо все как есть в прыщах, живого места не сыскать. Ну-с, Андрей Ермолаич говорит: «Будьте ласковы, не извольте беспокоиться». Направил бритву. И — раз, раз — выбрил, понимаете ли, нет, в одну секунду. Граф ему: «Удивитель-

но,— говорит,— храбро вы работаете. Даже оружия не побоялись. Ну, а если бы порезали — тогда что?» А Андрей Ермолаич Терников вежливо заявляет: «Резать,— говорит,— мы не приучены, а если бы, по причине трудности вашего лица, и произошел какой независящий инцидент, то опять же оружия бояться нам нету никакого резона, ибо, пока вы за револьвер хватаетесь, я,— говорит,— извините за фамильярность, три раза успею вам горло перерезать». С тех пор Семиреченский, граф, понимаете ли, нет, ша револьвером стращать. Очень был уверен в своей руке Андрей Ермолаич Терников,— заключал свой рассказ Роман Романыч.

Однажды какой-то посетитель, выслушав рассказ Романа Романыча, насмешливо улыбнулся и сказал:

— Это, милый друг, есть такая статейка в книжке. В романе, понял? Только там никакого графа Семиреченского нету. И Терникова — тоже. А описан там факт из жизни крепостного права. Про буржуя-помещика и евонного дворового цырюльника. А ты, друг, слышал звон, да не знаешь, где он!

Роман Романыч не смутился.

— Как же не Семиреченский? Помилуйте! Слава тебе, господи, очень даже отлично его знали. Много этой аристократии у нас перебывало. И граф Семиреченский, лейб-гвардии поручик, как же-с. Высокий такой. Лицо строгое, в угрях. А в книжке, конечно, и граф и Терников иначе представлены. Писатели, вообще, всегда псевдонимы придумывают и себе и про кого пишут. Чтобы скандала не получилось.

И обстоятельно пояснил:

— Псевдоним — это вроде как фальшивый паспорт, имя придуманное, понимаете ли, нет. Скажем, существует такой писатель — Пушкин. Какая же это фамилия? Пуш-кин. Пушка. Ясное дело — псевдоним. И в нашем деле частенько так же. На вывеске, например: «Жан», а в результате — Иван Иваныч. На Вознесенском проспекте два зала держал Иван Иваныч Кутепов, а на вывеске стояло «Жан». Понимаете ли, нет. И Терников, Андрей Ермолаич, никогда себя подробно не обозначал, а было на вывеске золотыми буквами: «Андрей» — только и всего.

После, когда Роману Романычу случалось рассказывать о Семиреченском и Терникове, он постоянно добавлял:

— Об этом факте было и в книжках напечатано. Один гражданин здесь подтверждали. Только в книжках другие фамилии проставлены. Во избежание недоразумений, понимаете ли, нет.

Роман Романыч лукавил, называя знаменитого мастера Терникова своим учителем.

У Терникова он работал мальчиком: отворял двери посетителям, подметал пол, сменял воду во время бритья. А парикмахерскому ремеслу обучался у малоизвестных мастеров.

Но, во всяком случае, ни Терников и никакой другой мастер не могли обучать быстро работать.

Наоборот, пользуя клиента, ухаживая за его усами или за прической, каждый парикмахер действует плавно, ритмично, баюкающе: никаких резких, торопливых движений не допустит.

На что подмастерье Романа Романыча, Алексей, большую часть жизни проработавший в банях и на рынках, под открытым небом, и тот о своем ремесле рассуждал так:

— Наш цех — то же самое художество. Даже больше — скульптура. Клиент дает в наше распоряжение свою голову — стало быть, рвать и метать не приходится, а надо действовать хладнокровно и обдуманно.

На это Роман Романыч возражал с легкой поучительностью:

— Все зависит, товарищ дорогой, от прирожденного характера личности и пройденной школы. Я, понимаете ли, нет, с малолетства обладаю внутренней энергией, а тут еще — плюс — школа Терникова, основанная на принципе быстроты.

Но Алексей твердил свое:

— Парикмахер — не пожарный. Поскольку клиент вручает нам часть своего организма, короче говоря: голову,— постольку надо подходить хладнокровно, а не пороть горячку.

— Горячку,— кипятился Роман Романыч.— Ты, вот, работаешь хладнокровно, а бывает — режешь. А я столько лет обладаю бритвою, а не запомню ни одного неприятного эксцесса. За всю эпоху своей практики, понимаете ли, нет, ни разу не обращался за содействием к квасцам. Вот вам, понимаете ли, нет, и горячка.

Но как-никак, а Роман Романыч опять-таки лукавил, объясняя торопливость в работе пылкостью своего темперамента и школою Терникова.

Ни характер его, ни Терников были совершенно ни при чем, а просто Роман Романыч не любил своего ремесла, стыдился и презирал его, а потому и работал так поспешно и ожесточенно.

«Раз и квас», думал он, а иногда и шептал, энергично брея или молниеносно намыливая щеки и подбородок клиента.

И особенно нервничал и втайне негодовал Роман Романыч, когда попадался взыскательный, капризный клиент.

Бывают такие.

Постригут его, побреют — лучше не надо: хоть на свадьбу ступай или в фотографию, а он вертит головою перед зеркалом и брюзжит:

— Некрасиво постригли. Вот тут еще надо подровнять, на висках.

— Невозможно, гражданин,— отвечал Роман Романыч, маскируя досаду полупоклонами и ласковостью голоса: — Везде, понимаете ли, нет, взято, как полагается. И на висках — никакого недоразумения. А если тут вот еще снять, тогда безобразный вид получится.

Встанет такой клиент, и деньги уже заплатит, и оденется, а потом снова вплотную к зеркалу, рот разинет и пальцем в уголках губ щупает — чисто ли выбрито, не осталось ли какого волоска.

Да еще вздохнет:

— Эх-хе-хе...

Дома, поди, «картошкой» бреется — безопасной бритвой, а тут обрили даже и не «Рыбкою», которой обычно хвалятся мастера, а самим «Бисмером», а он вздыхает.

Всею душою ненавидел Роман Романыч подобных клиентов, а также и свою работу, но так тщательно это скрывал, что даже очень наблюдательный человек, войдя в его парикмахерскую, никак не подумал бы, что владелец ее не любит своей профессии, ни в грош ее не ставит и стыдится, как чего-то неприличного, позорного.

Наоборот, все в парикмахерской Пластунова носило следы заботливости, аккуратности и, казалось бы, любви.

Небольшой двухзеркальный зал всегда чисто подметен; стены оклеены обоями хорошего сорта: веселенькими, но не яркими, а мягких тонов; на стенах — литографские копии картин Маковского: «Гусляр» и «Гадание», а под ними, на темно-зеленом картоне — надписи тиснеными серебряными буквами: «Если вы довольны — скажите другим, если недовольны — скажите мне». И подпись: «Владелец».

При стрижке подтыкают за воротник кусочки гигроскопической ваты, при бритье предлагают дезинфицированные кисточки.

Хозяин и подмастерье — опрятны: в чистых, без пятен, балахонах; перед работою ополаскивают под умывальником руки.

А девушка, которой Роман Романыч и Алексей то и дело кричат: «Таиса, смените воду» или односложно: «Прибор»,— такая рослая и толстая, с наливными, вздрагивающими при ходьбе щеками и икрами, что посетители невольно окидывают ее взглядом с головы до ног, а Алексей обязательно шепнет, подмигивая знакомому клиенту:

— Кусок, а?

На что Роман Романыч неопределенно встряхивал пышными волосами и усмехался, блестя зубом:

— Деревенское происхождение.

И не понять: в похвалу это девушке или в насмешку.

— Вот и становись лицом к деревне,— опять подмигивал Алексей, веселя посетителей.

2

МОЛОТ И КИРКА

Иногда Роман Романыч покидал мастерскую часа за полтора до окончания работы.

Сперва говорил Алексею:

— Ты здесь, Алексей Степаныч, понимаете ли, нет, орудуй, а мне надо справить кой-какие делишки.

Затем обращался к девушке:

— Смотрите, Таисия, закройте, как следует быть. Ужинать не ждите. Приду не скоро.

Девушка жила у него домашней работницей.

Дома Роман Романыч быстро переодевался, чистил и без того чистый выходной костюм, доставал из шкапа круглую картонку, вынимал из нее фуражку с голубыми кантами и значком, изображающим скрещенные молот и кирку.

Расчесав густые, непокорные волосы, надевал фуражку, неторопливо, благоговейно, как епископ — митру.

Выйдя на улицу, шел сперва поспешно, прятал глаза и остро чувствовал на себе взгляды людей, но чем дальше отходил от дома, тем тверже и ровнее становилась походка.

И смотрел на встречных уже спокойно, несколько надменно.

В центре города, на расстоянии по крайней мере двух кварталов от своего дома, заходил в парикмахерскую.

— Побрить? — угодливо спрашивал парикмахер.

— Очевидно, придется,— солидно отвечал Роман Романыч.

Когда на щеках появлялась белая, тихо шипящая пена, Роман Романыч начинал:

— Ужасно трудно здесь, у вас, в квартирном смысле. Две недели как приехал, и приходится, понимаете ли, нет, ютиться в Европейской гостинице.

— С квартирами—беда,—соглашается парикмахер.—Въездные надо платить, а нет, так с ремонтом большим.

И вежливо осведомлялся:

— А вы, извиняюсь, издалека изволили прибыть?

Роман Романыч небрежно отвечал:

— Нет, с Урала. И в Донбассе был, проездом. По службе. Я, понимаете ли, нет, горный инженер... Ну, так вот и приходится... разъезжать то туда, то сюда.

Устало вздыхал:

— Утомительная наша работа. Беспокойная.

— Ответственная,— кивал головою парикмахер.— Интеллигентный труд.

— М-да,— говорил Роман Романыч.— Без высшего образования в нашем деле никак невозможно. Во всем у нас, понимаете ли, нет, математика. Что твои шахматы — одно и то же.

Выбритый, напудренный, довольный, Роман Романыч давал «на чай» и выходил из парикмахерской, но, отойдя несколько шагов, записывал адрес парикмахерской на тот случай, чтобы не зайти в нее еще раз.

Спустя полчаса Роман Романыч, сидя в ресторане, беседовал с официантом.

Начинал с квартирного вопроса — кончал Донецким бассейном или жалобой на утомительность своей ответственной работы.

В зале стоял нестройный шум, говор, звон посуды; тонко, истерично плакала скрипка, и ее в чем-то убеждала печальная виолончель, как успокаивает больного капризного ребенка ласковая мать.

Голова Романа Романыча слегка кружилась, а лицо становилось радостным и кротким.

Если кто-нибудь просил разрешения присесть за столик — Роман Романыч указывал на стул точно таким же изысканно-вежливым жестом, каким предлагал садиться клиенту у себя в парикмахерской.

Потом, вглядываясь в лицо соседа внимательно-ласковыми глазами, откашлявшись, нерешительно начинал:

— Извиняюсь, вы не были случайно на Урале, или... в Донбассе? Очень, понимаете ли, нет, личность ваша знакомая.

Независимо от того, был ли ответ утвердительным или отрицательным, Роман Романыч поспешно доставал из кармана маленькую, с золотым обрезом, карточку и протягивал ее соседу:

— Извиняюсь. Честь имею представиться. Это, понимаете ли, нет, моя визитная карточка.

На карточке стояло: «Горный инженер Роман Романович Пластунов».

Карточки эти Роман Романыч заказал после того, как девушка, за которой он ухаживал, усомнилась в том, что он инженер.

Тогда, показывая девушке только что приобретенные карточки, Роман Романыч сказал с восторгом и гордостью:

— Видите — черным по белому: «Горный инженер Роман Романыч Пластунов». Никуда, понимаете ли, нет, не денешься. Назвался груздем — полезай в кузов.

После девушка сошлась с рабфаковцем, и хотя Роман Романыч никогда не мог иметь ее своей женой, так как признаться в том, что он парикмахер, было свыше его сил,— но все-таки считал себя жертвой измены.

Музыка, говор, шум — накатываются волнами.

«Я — пьян»,— думает Роман Романыч, чувствуя, как тяжелеют веки.

Лицо соседа расплывается, мутнеет. И не понять: мужчина это или женщина.

Роман Романыч громко говорит через стол:

— В нашем деле, в инженерном то есть, главный вопрос, понимаете ли, нет,— математика. Без нее как без рук.

«А может, и не математика»,— опасливо шевелится мысль.

Снова наклоняется над столом и говорит уже тихо и вкрадчиво:

— Извиняюсь... А как ваше убеждение: что — самое важное в инженерном...

Подыскивает слово:

— ...в инженерном... искусстве.

Но напротив, за столом — никого.

Роман Романыч поднимается, идет, задевая за стулья, и поминутно прикладывает пальцы к козырьку:

— Извиняюсь.

Уступая дорогу женщинам, улыбаясь, шепчет:

— Будьте ласковы.

Холодный воздух и уличный шум освежают его.

Он снимает фуражку.

Освобожденные кудри весело рассыпаются вокруг лба.

Ветер ласкает их.

Летом, в дни отдыха, Роман Романыч обыкновенно гулял в скверах или увеселительных садах.

Рестораны же, как дорогое удовольствие, предназначались им для пользования в холодное и ненастное время года.

Не торчать же в сквере, в октябре, под проливным дождем, или зимою, в мороз, в метель — на скамеечке, в фуражке.

В летние жаркие дни тянуло за город, на травку, в прохладный лес.

Но вместо того шел в пыльный городской сквер, потому что перед кем же в лесу щеголять инженерской фуражкой и портфелем?

Перед малиновками какими, что ли, или перед кукушками?

И отправлялся в сад, где нестерпимо пекло солнце и пылили бегающие дети, но где зато было людно.

Выбрав место на скамейке, рядом с какой-нибудь хорошо одетой интеллигентной женщиной, Роман Романыч доставал из портфеля книгу на неизвестном ему языке.

Книгу он купил на улице у букиниста.

Была она пожелтевшая, затхло пахнущая, и, видимо, для людей «с высшим образованием», и, «конечно, на английском языке», как решил Роман Романыч.

О том, что книга для образованного читателя, Роман Романыч судил по переплету: тяжелому, с золотым тиснением, а что она английская — ясно было видно по буквам. Буквы строгие, словно крученые, похожие одна на другую. У англичан во всем строгость и дисциплина. И в книгах — также.

Солнце жарило.

Роман Романыч поминутно отирал лоб и шею платком, но фуражки не снимал.

Как человек, занятый серьезным чтением, он хмурил брови, кусал губы, часто подчеркивал карандашом строчки, делал пометки на полях страниц книги и в то же время украдкою бросал быстрые взгляды на соседку.

Однажды, заметив, что соседка, хорошенькая женщина, несколько раз внимательно на него посмотрела, Роман Романыч улыбнулся и заговорил:

— Извиняюсь, мадам... Вот я, можно сказать, истинно русский человек, а не люблю, понимаете ли, нет, русские книжки. Пустяковину всякую пишут. А как вы, мадам, смотрите на данный вопрос?

Незнакомка вспыхнула и растерянно улыбнулась, а Роман Романыч, поймав ее улыбку, окончательно осмелел и, галантно приподняв фуражку, протянул женщине визитную карточку, игриво говоря:

— Разрешите представиться на всякий пожарный случай.

В последнем слове сделал ударение на «а».

Женщина покраснела до слез, дернула плечами и, быстро поднявшись с места, пошла через сад к выходу.

А Роман Романыч думал, глядя вслед незнакомке: «Стеснительная дамочка. Ожидает мужа, не иначе. Вот и опасается флиртовать. Муж-то, поди, старикан, ревнивец».

Затем снова уставился в книгу.

Одно время Роман Романыч часами просиживал в саду с иностранной газетой в руках.

Иностранная газета придает более солидности, нежели книга.

Названия газеты, а также и то, на каком она языке, Роман Романыч не знал и, покупая газету, просто указывал на нее пальцем и говорил продавцу:

— Дай-ка, понимаете ли, нет, вот эту самую.

Но от газеты пришлось отказаться после такого случая.

Как-то, когда Роман Романыч сидел в сквере с газетой в руках, сидящий рядом белоглазый, с трубкою в зубах, человек вдруг обратился к Роману Романычу с вопросом на нерусском языке. А когда смущенный Роман Романыч промолчал, незнакомец пососал всхлипывающую трубку и, выколачивая ее о край скамейки, сказал:

— Я думала, ви тоша фин...

И, глубоко вздохнув, добавил:

— Как же ви читайт, когда не понимайт?

3

ВЫБОР РОЛИ

Инженерным делом Роман Романыч ничуть не интересовался, к инженерам ни симпатии, ни зависти не чувствовал.

Он более был бы удовлетворен, если бы его принимали за хирурга или, еще лучше,— за юрисконсульта.

Само слово: юрисконсульт — звучит так красиво и величественно.

И Роман Романыч, прежде чем начать изображать инженера, выбрал именно роль юрисконсульта.

Но каковы из себя юрисконсульты?

Царских Роман Романыч представлял себе, как ему казалось, ясно: это — представительные пожилые люди с осанкою если не министров, то во всяком случае крупных чиновников.

А вот — советские?

Чем они отличаются от прочих граждан? А главное, какую они носят форму?

Эти вопросы поставили Романа Романыча в тупик.

За необходимыми по этому поводу сведениями Роман Романыч обратился к своему постоянному клиенту, двоюродному дяде Таисии, портному Сыроежкину, хотя не особенно доверял этому пьянице, лгуну и хвастуну.

И Сыроежкин, действительно, с первых же слов понес чепуху. Именно: что юрисконсульты носили мундиры с золотым шитьем на груди, белые штаны с золотыми же лампасами.

Роман Романыч нетерпеливо перебил болтуна:

— Ты скажи мне про нынешних, что ты меня, понимаете ли, нет, николаевскими-то пичкаешь. Тех-то получше тебя знаем. У Терникова, Андрея Ермолаича, слава тебе, господи, каких только зверей не насмотрелись. Все исключительно из высшего

света общества. А нынешние — вот главный вопрос. Какая у них форма, понимаете ли, нет, и все прочее?

— Нынешние,— хитро прищурился Сыроежкин,— знаем и нынешних... Советский ирисконсул, известно... гм... определенно: френчик, это... Ну, и кубики безусловно... Три кубика — вот и вся песня.

— Ты, дядя Николай, видно, на покойников халаты шил, а теперь, поди, мешки под картошку изготовляешь — кооперацию обслуживаешь,— вмешался в разговор Алексей,— липоватый ты портной, по всему видать.

Сыроежкин загорячился, принялся хвастать, что он не только первоклассный портной, а вообще «мастер на все на восемь ремеслов», и уже совсем не по существу добавил, что он «непосредственный герой русско-японской кампании».

Малорослый и тщедушный, выпячивая петушиную грудь и грозно хмуря косматые брови, неуместные и смешные на крошечном, с кулачок, лице, Сыроежкин кричал пискливым голосом:

— Меня за геройство из Манжурии на руках принесли!

Что означала эта величественная, но неясная фраза, никто никогда не интересовался узнать, так как обыкновенно спешили ответить герою:

— Лучше бы и не приносили.

А Алексей теперь, чтобы подтрунить над хвастуном, сказал, махнув рукою:

— Брось. Знаем. Я, мол, такой да сякой, японский герой, а сам у женки под пятой. Молчал бы уж, богатырь Бова — пришивная голова, не то баба твоя услышит — вихры надерет.

А тут еще Таисия подлила масла в огонь.

Она заерзала на стуле, затрещавшем под тяжестью ее могучего тела, и, хихикая в красный кулак, спросила:

— Дядя Коля, а почто тетя Даша тебя сморчком зовет, коли ты сыроежка?

Сыроежкин, трясясь от гнева, закричал на нее:

— Дурища! Лопнешь скоро. В аккурат такая же коровища, как и тетка твоя.

И, обратясь к Алексею, указал на него пальцем и произнес торжественно, как проклятие:

— Сибирский цырюльник!

И вышел, выразительно плюнув на пороге под смех Алексея и восторженное визжание толстой Таисии.

Таким образом, Роман Романыч не узнал от Сыроежкина того, чего хотел.

Несколько времени спустя Роман Романыч, брея солидного, прилично одетого клиента, после краткого замечания о погоде, нерешительно заговорил:

— Извиняюсь, гражданин. Разрешите задать вам вопросик. У меня, понимаете ли, нет, с одним человеком разгорелся спор на почве: какую форму имеют юрисконсульты. До революции-то я знаю, какая была, а вот...

Но солидный гражданин перебил недовольным голосом:

— Юрисконсульты никакой формы не носили и сейчас не носят.

— То есть как же это так-с? — недоверчиво и обиженно возразил Роман Романыч, положил бритву на подзеркальник и уставился на клиента недоумевающим взглядом.

— Очень просто,— буркнул тот и нетерпеливо пошевелился на стуле:— Да вы брейте, товарищ.

«Ни черта ты не знаешь,— подумал Роман Романыч, берясь за бритву и с ненавистью глядя на угрюмого клиента: — Формы не имеют. Сам не имеешь, так и люди не должны иметь. Спекулянт, поди, какой, растратчик. Сразу видно — гусь...»

И, намыливая клиенту усы, залепил мылом ноздрю и мазнул по губам кисточкой.

Этот черный юркий человек пришел в дождливый день.

Отряхивая у порога пальто и вымокшую, с поникшими полями, шляпу, он бросил на стул мокрый портфель и сказал, весело улыбаясь:

— Какая погода, а? Это же, я вам скажу,— кошмар, а не погода.

Роману Романычу было ясно, что перед ним — интеллигентный человек, чему доказательством являлись туго набитый портфель и бойкость клиента, а главное, что клиент, судя по виду, был еврей. По мнению же Романа Романыча, еврей не мог быть человеком необразованным.

А потому, учтя все эти обстоятельства, а кроме того и то, что в помещении не было подмастерья, Роман Романыч, накидывая на плечи клиента пеньюар, заговорил:

— Извиняюсь. Вы, гражданин, наверно, знаете... Скажите, пожалуйста, существуют сейчас, понимаете ли, нет, юрисконсульты?

Клиент приподнял черную круглую бровь и пожал плечом:

— Ну, а как же нет? Они всегда были и будут.

Посмотрел на Романа Романыча и быстро засыпал вопросами:

— А вам нужна помощь юрисконсульта? Что? А какое дело? Тяжба? Ну, а с кем, а? Что?

— То есть,— замялся Роман Романыч,— у нас, понимаете ли, нет, спор...

— Э, так это же и называется: тяжба,— опять быстро прервал клиент.— С вас ищут или вы ищете? С учреждением у вас спор или с частным лицом?

Роман Романыч смутился.

— Да ничего подобного. Понимаете ли, нет, я говорю, спор на почве... Ну, одним словом, относительно формы. То есть, какую, значит, форму имеют юрисконсульты. Значок, например, какой на фуражке, понимаете ли, нет,— закончил Роман Романыч, еще более смущаясь.

Клиент плотно сжал губы и опять поднял бровь и плечо:

— Форма? Шляпу — видите? Пальто — видите? Что? Ну, так вот это моя форма.

Роман Романыч почти с испугом взглянул на клиента, затем перевел глаза на мокрую, с уныло поникшими полями, шляпу и на потертое демисезонное пальто и, окончательно теряясь, прошептал:

— Значит... так.

Клиент пристально посмотрел на растерянное лицо Романа Романыча и, вздохнув, сказал:

— Значит.

А на следующий день после разговора с клиентом Роман Романыч уже стоял в шапочном магазине перед большим зеркалом.

На голове его была фуражка с голубыми кантами и значком в виде скрещенных молота и кирки.

Сердце Романа Романыча сладко ныло.

4

ИУДА КУЗЬМИЧ МОТОРИН

Случалось, правда довольно редко, что Роман Романыч загуливал с приятелями.

И если при этом выпивал больше, чем ему надо, то принимался чересчур беззастенчиво говорить о своих природных качествах: о красоте и безукоризненном голосе.

— Ни для кого из вас, друзья, не секрет,— говорил Роман Романыч, обводя собеседников снисходительно-ласковым взглядом,— что я, так сказать, форменный красавец. Прямо, понимаете ли, нет, приторно-красив. А из этого само собой вытекает, что я могу иметь колоссальный успех у особ женского рода, будьте ласковы.

Возражений Роман Романыч не встречал, так как обычно беседовал на подобные темы с людьми, пьющими за его

счет, а к тому же в его словах имелась некоторая доля правды.

Именно: наружность Романа Романыча была не лишена привлекательности.

Роскошные волосы, нежно-розовое, светлоглазое, почти юношеское для его тридцати трех лет лицо, стройная и крепкая, хотя и не крупная фигура, приобретенная в работе эластичность движений,— все это могло нравиться женщинам с невзыскательным вкусом.

Говоря о другом своем качестве — безукоризненном голосе,— Роман Романыч неизменно жаловался на судьбу, клял свое ремесло.

— Окончи я, понимаете ли, нет, гимназию или, по крайней мере, среднее заведение, я давным-давно гремел бы где-нибудь в итальянской опере, а тут, понимаете ли, нет, знай вози бритвою по «адамке», да прыщавые физиономии освежай о-де-колоном.

На это также не имелось возражений, ибо Роман Романыч слыл среди приятелей за отменного певца.

И действительно, голос имел хотя и не какой-нибудь особенный, но довольно-таки приятный: тоже — юношеский, нежно-серебряный, волнующий.

Для домашнего пения во всяком случае неплохой.

Петь Роман Романыч любил. И поэтому частенько приглашал к себе Алексея с гитарой и старого знакомого, тоже владельца парикмахерской, Иуду Кузьмича Моторина.

Роман Романыч и Иуда Моторин пели, а Алексей подыгрывал на гитаре.

Иуда Кузьмич Моторин был пожилой, высокого роста, мужчина, с английским пробором и небольшими, пушистыми бакенами. Одевался он по моде и со вкусом и вид имел в высшей степени солидный и величественный.

Но стоило Иуде Кузьмичу раскрыть рот — впечатление у всех моментально менялось.

Дело в том, что Иуда Кузьмич всегда говорил или что-нибудь совершенно бессмысленное, или, в лучшем случае,— до тошноты пошлое.

Серьезных разговоров не только с самим Иудою Кузьмичом, но и ни с кем в его присутствии вести было невозможно, так как Иуда Кузьмич, прицепляясь к самым обыкновенным словам, прерывал говорившего совершенно нелепыми фразами.

Достаточно было кому-нибудь произнести самое обыденное и общепринятое: «В чем дело?» — как Иуда Моторин выпаливал:

— Дело было не летом, а в деревне.

И, зажмурив глаза и оскалив крепко сжатые зубы, долго трясся от мучительного, похожего на плач, смеха; потом, утирая слезы, облегченно вздыхал:

— Фу-у... Спасу нет.

На приветствие: «Здравствуйте» — Иуда Кузьмич отвечал:

— Барствуйте.

На «До свидания»:

— Не забудь мои страдания.

И гоготал долго и мучительно, точно плакал, и, наконец, заключал свой тяжелый смех обязательным: «Спасу нет» — до нового выпада.

Иуда Моторин любил детей и обыкновенно рассказывал им сказки в таком роде:

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря, стало быть, на Фонтанке, на Васильевском славном острове. У них не было детей, а третий сын был дурак, и звали его, понятно, Матреной. Был он писаный красавец: ростом — великан, без вершка — аршин с шапкою; круглолицый, что петух; белый, как голенище; кудрявый, что солома; правым глазом не видел, а левого вовсе не было...»

И так далее, вся сказка — нелепость на нелепости.

И смеялся при этом Иуда Моторин больше, чем самые смешливые дети.

Впрочем, смеялся он по всякому поводу, а также и без повода.

Мог смеяться, глядя на газетчика, мороженщика, на горбатого урода и на красавицу, на мчащийся трамвай и на недвижный монумент.

На всякое явление и событие Иуда Кузьмич первым долгом реагировал смехом.

Когда опускали в могилу его горячо любимую жену, могильщик, случайно оступясь, чуть не свалился в могилу.

Убитый горем, Иуда Кузьмич, за секунду до этого плакавший навзрыд, не утерпел и бросил по адресу неловкого могильщика:

— Вали валом — после разберем.

И, сморщась и сотрясаясь от смеха, прошептал свое неизменное: «Спасу нет». И даже когда увидел возмущенные и испуганные лица родственников жены — не смог сдержать непристойного смеха и был вынужден симулировать истерический припадок, дабы сгладить неловкость создавшегося положения.

5

«ЗВЕНИ, БУБЕНЧИК МОЙ...»

Вечера, на которых Роман Романыч и Иуда Кузьмич Моторин услаждались своим собственным пением, обыкновенно сопровождались выпивкою, так как Роман Романыч трезвый конфузился петь, да и гостям было бы скучновато без водки.

Выпивали не спеша, с церемониями: с приветливыми улыбками и полупоклонами протягивали друг другу рюмки, чокались.

— Будьте ласковы, Иуда Кузьмич, Алексей Степаныч,— говорил Роман Романыч с учтивой важностью.

— За всех пленных и за нас, не военных,— усмехался Алексей.

— За плавающих и путешествующих,— подхохатывал, подмигивая, Иуда Моторин.

Но сперва выпивали немного.

После третьей-четвертой рюмки, когда водка слегка ударяла в голову, Роман Романыч, потирая руки и ясно улыбаясь, обращался к гостям:

— Что ж, друзья, откроем наш очередной музыкально-вокальный вечер, а?

— Вечер с участием,— вставлял Иуда Кузьмич и, оскаливая зубы, приготовлялся к смеху.

Алексей настраивал гитару, брал несколько негромких аккордов, а Иуда Кузьмич, едва сдерживая смех, начинал подпевать что-нибудь нелепое:

Водочки хвативши,
Важнецки закусивши —
Сизый селезень плывет.

Или:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога...

И, не кончив песни, давился смехом.

Роман Романыч, снисходительно улыбаясь, выжидал, когда Иуда Кузьмич перестанет дурачиться, и лишь только тот успевал произнести: «Спасу нет» — он, слегка хлопнув в ладони, говорил:

— Итак, граждане, приступаем. Начнем с легонького. Романсик, что ли?

Песен и романсов, как старых, так и новых, Роман Романыч знал уйму; немало их знал и Иуда Кузьмич.

Роман Романыч любил щегольнуть «оперным репертуаром», как он называл слышанные им в кинематографах и на эстрадах увеселительных садов романсы и песенки, а Иуда Кузьмич отдавал предпочтение таким старинным вещам, как: «Забыты нежные лобзанья» или «Глядя на луч пурпурного заката», а также исполнял с удовольствием старые русские народные песни.

Гвоздем вечера Роман Романыч считал свои сольные исполнения и приберегал их к концу, а потому сперва охотно пел дуэтом с Иудою Кузьмичом все, что тому нравилось.

Пели много.

В антрактах не торопясь промачивали горло водкою или пивом, причем Иуда Кузьмич, многозначительно подмигивая, напевал вполголоса:

Помолимся, помолимся, помолимся творцу,
Приложимся мы к рюмочке, потом и к огурцу.

Затем, закусывая, Иуда Кузьмич рассказывал удивительно бессмысленные анекдоты и сам искренно хохотал, да, глядя на него, смеялась Таисия, а Роман Романыч улыбался только так, из любезности, Алексей же угрюмо косился на рассказчика.

Иуда Кузьмич пил неумеренно и оттого быстро пьянел, становился ленивым от выпитого вина.

Петь ему уже не хотелось, и тогда он обращался к Роману Романычу:

— Ну-ка, сам Романов Николай, загни оперу, а? Из Собинова, знаешь: «Она в костюме Аргентины и с веером в руках», или что-нибудь вроде Володи, на манер немецкой лошади.

— «Турка»,— говорил Алексей, тихонько перебирая струны гитары.

— Правильно. «Турку». Просим,— выкрикивал, хлопая в ладоши, Иуда Моторин.

— Спойте «Турку», Роман Романыч,— просила и Таисия, страшно краснея.

Роман Романыч выходил на середину комнаты и, улыбаясь так, как улыбаются взрослые, исполняя прихоть детей, говорил:

— «Турок» так «Турок». Только вещица-то, понимаете ли, нет, легкомысленная, пустячок.

Но, боясь, что гости перестанут упрашивать, шутливо обращался к Алексею:

— Маэстро, прошу.

Прищурясь и склонив голову набок, Роман Романыч внимательно прислушивался к звону струн, слегка покачивая головою в такт музыке, затем, тряхнув золотистыми кудрями и лукаво улыбаясь, начинал:

Зашла я в склад игрушек
И разных безделушек
Вечернею порою как-то раз.
Из тысячи фигурок
Понравился мне турок,
Глаза его горели, как алмаз.

Чистое женственное лицо Романа Романыча казалось совсем юным, нежно и молодо звучал голос:

Я не могла налюбоваться
На бравый вид.
И вдруг мне турок с улыбкой говорит:
«Разрешите, мадам,
Заменю я мужа вам,
Если муж ваш уехал по делам.
Без мужа жить ведь скучно вам,
А с мужем жить — один обман.
Со мной беспечней, веселей...»

Роман Романыч, широко раскинув руки, делал порывистый шаг вперед, словно бросаясь в чьи-то объятия.

И трепетал в стеклах окон его серебряный голос:

«Эй, турок! Целуй меня скоре-ей».

Этот припев повторялся после каждого куплета, и когда Роман Романыч заканчивал песню — слушатели не выдерживали и подхватывали припев: Иуда Кузьмич несколько сиплым, но приятным баритоном, Алексей неопределенным голосом и фальшивя, а Таисия, приложив ладонь к щеке и покачивая головою, перевирая слова и мотив, визгливо и скорбно тянула во всю силу своей мощной груди:

«Э-эх, да ты, мой ту-у-урок, ца-алуй да миня да па-ска-аре-ей...»

Роман Романыч исполнял еще несколько вещей, а под конец, опьяненный вином и успехом, с торжественностью, плохо замаскированной шутливостью тона, объявлял:

— Граждане, внимание. Следующим номером нашей программы: знаменитый артист, первый тенор Пластунов исполнит, понимаете ли, нет, коронную роль: «Звени, бубенчик мой, звени»... Из оперы... Гм...

Уверенно добавлял:

— «Гугеноты».

— Правильно,— пьяно вопил Иуда Моторин.— Просим!

— Просим! — кричала и Таисия, уже не конфузясь, так как Иуда Кузьмич успевал ее, под шумок, слегка подпоить.— Просим, Роман Романыч!

И шептала Иуде Кузьмичу:

— Ах, «Звени, бубенчик» — моя любимая...

Но тот перебивал ее, тихо давясь смехом:

— Любимая... мозоль.

Песню «Звени, бубенчик мой, звени» Роман Романыч неоднократно слышал в исполнении известного эстрадного артиста и перенял у него манеру петь, мимику и позы.

Песня была о шуте и королеве: шут-певец любит королеву; однажды королева, слушая песню тайно влюбленного в нее шута, дарит его мимолетной любовью; паж, также влюбленный в королеву, в припадке ревности доносит королю об измене его жены; шут погибает на эшафоте.

Роман Романыч пел эту песню всегда с большим чувством: любовные томления и тоска влюбленного шута, злая его судьба — все это почему-то трогало и волновало Романа Романыча.

Неподдельной тоской звучал его голос:

Вот снова ночь. И шут — один.
По королеве он тоскует...

И, как рыдания, припев:

Звени, бубенчик мой, звени-и...

Потом — в позе и голосе Романа Романыча мрачная торжественность, когда король, прямо с места казни шута, идет, в сопровождении палача, в покои королевы:

«Я тоже песни полюбил,
Я также внял его напеву».

Роман Романыч делает эффектный жест рукою, также перенятый у эстрадной знаменитости: словно бросает на пол что-то страшное и омерзительное:

«...смотри: тут — голова
Шута, что любит королеву».

Нежно стихают рыдания — серебряный голос певца:

Звени, бубенчик мой, звени-и-и...

Роман Романыч бессильно роняет голову на грудь и стоит так несколько мгновений.

— Браво! Би-ис! — бешено аплодировал Иуда Кузьмич.

Таисия улыбалась и всхлипывала. Сдержанно хлопал в ладоши Алексей.

Роман Романыч вскидывал голову, словно очнувшись от сна.

Лицо его слегка бледно, красивые глаза в слезах, а на губах — счастливая улыбка.

— Ты, Романыч, настоящий Шаляпин, честное слово. Куда!

Тот — хуже,— говорил растроганный Иуда Кузьмич.— Ей-богу, хуже.

Роман Романыч как бы с сожалением покачивал головою:

— Петь трудно. Опера требует соответствующих условий. А тут, понимаете ли, нет,—«Гугеноты» и вдруг — под гитару, хаха. Нужно рояль, а главное — партитуру. Без партитуры, понимаете ли, нет, как без рук.

— Нету партитуры — пей политуру,— силился засмеяться Иуда Кузьмич, но вместо смеха у него получилась икота.

А Роман Романыч, пьяный, а потому беззастенчивый, брал гитару и, любуясь на себя в зеркало, говорил с довольным видом:

— Мне бы где-нибудь в Италии походить с гитарой под полою, понимаете ли, нет, накинув плащ. Ей-богу, весь бы тамошний женский персонал посводил бы с ума. Что, не верно?

И неумело щипал струны.

— Трактир «Италия» сейчас не существует — осталась «Бавария»,— говорил Иуда Кузьмич, но так как смеха у него опять не получалось, то он поднимался из-за стола:

— Надо ползти... Я пьян, как...

Громко икал:

— Как... гугенот.

И, жмурясь и оскаливаясь, добавлял:

— Который лает у ворот...

6

СНЕГУРОЧКА И ЛЕЛЬ

Вполне искренне считая себя замечательным красавцем и превосходным певцом и твердо веря, что эти два природных дара являются абсолютной гарантией успеха у женщин,— Роман Романыч тем не менее не только не мог похвастаться хотя бы одной победою над женским сердцем, но даже легким флиртом с интересной женщиной.

А в то же время какой-то Иуда Кузьмич Моторин слыл за настоящего Дон-Жуана.

Сам он неоднократно, полушутя, бахвалился перед приятелями:

— У меня от баб — отбоя нет. Кручу и наворачиваю с ними, можно сказать, с младенческого возраста. Я и на белый-то свет заявился не как-нибудь, а с сестренкою, на пару. Вместе с бабой и в могилу лягу — это уж как пить дать.

И похвалялся Иуда Кузьмич Моторин не без основания: одну жену он схоронил, с двумя развелся; одна молоденькая девушка, дочь частного торговца-бакалейщика, из-за несчаст-

ной любви к Иуде Кузьмичу, который, кстати сказать, был старше девушки по крайней мере вдвое,— хватила уксусной эссенции, хотя, впрочем, выжила и благополучно бракосочеталась с милиционером.

И на улицах, и в кинематографах, и в увеселительных садах, где только не видели люди Иуду Кузьмича Моторина то с одной, то с другой женщиной.

А дома у него масса любовных писем и свыше десятка женских портретов с соответствующими надписями на обороте: «Славненькому Иудушке — с нежным сердцем — Катя Свечкина», «Дарю тому — кого люблю», «Не забудь и помни обо мне», и т. д.

Читать письма своих возлюбленных и рассматривать их фотографические снимки Иуда Кузьмич давал с большой готовностью всякому любителю чужих сердечных тайн.

Многим, знавшим Иуду Кузьмича, было совершенно непонятно, почему он пользовался симпатией и даже любовью женщин.

Больше всех недоумевал по этому поводу Роман Романыч, считавший своего приятеля не могущим возбуждать в женщинах нежных к себе чувств, так как, по мнению Романа Романыча, Иуда Кузьмич имел одни только отрицательные качества: именно — красотою Иуда Кузьмич, несмотря на видную фигуру, не отличался, годами был не молод — уже перевалило за сорок; красноречием не блистал: кроме каких глупостей да «спасу нет» — ничего от него не услышишь.

Даже имя у него и то несуразное.

Таким именем ведь только ругаются:

— Эх ты, мол, Иуда проклятый!

А тут — законное имя: Иуда, да еще Кузьмич, и что всего нелепее — Моторин.

Всем и каждому известно, что во времена Иуды люди ходили голыми и босыми, ездили исключительно на ослах, или, как пишут в евангелии, «на осляти».

А тут — здравствуйте, пожалуйста — Иуда и вдруг — Моторин. Мотор.

Это уж прямо глупо и смешно.

Рассуждая так, Роман Романыч, может быть, и был во всем прав, но, с другой стороны, сам же он не мог отрицать и следующего факта: Иуда Кузьмич Моторин все-таки, несмотря на отсутствие привлекательности, был кумиром женщин, несуразный Иуда, не взирая ни на что, царил над женским полом и преспокойно поплевывал в потолок, а вот он, Роман Романыч, признанный красавец и отличный певец, да еще в инженерной фуражке, а женщины к нему без всякого внимания.

Иуде и письма, и фотографии с любовными надписями, и девицы из-за него эссенцию пьют, а Роман Романыч в кои веки чуть не силком сведет в кино какую-нибудь знакомую девушку, самую простенькую и неинтересную, и то для него это достижение.

А от такой немудрящей девицы большей частью, как говорится, ни шерсти, ни мяса — ни слова путного и ничего приятного.

Только уписывает пирожные да шоколад и лимонадом надувается за счет, конечно, кавалера, а что касается пикантности — поцелуи или что-нибудь в этом роде — так извини — подвинься.

Была одна, Нюра, продавщица из кондитерской, которая позволяла себя чмокать. И девочка хорошенькая: беленькая, пышечка, но зато такая невозможная соня, что неловко с нею было ходить в кино.

На всех видовых и производственных картинах она засыпала безмятежным сном.

Храпит, качается на стуле. Люди, глядя на нее, шушукаются, смеются.

А тут сиди, точно дурак, и карауль, как бы не свалилась со стула.

Нечего сказать, веселое времяпрепровождение!

Сердцеедство Иуды Кузьмича только удивляло Романа Романыча, но зависти к удачливому приятелю он ни капли не чувствовал, а также не волновало его и то, что самому ему никак не удавалось завести интрижки, ибо он, считая себя неотразимым мужчиною, непоколебимо верил, что со временем найдет достойную спутницу на жизненном пути — женщину необыкновенной красоты.

И потому был чрезвычайно разборчивым в женщинах. Искал красавицу.

И светлый образ прекрасной дамы носил в своем сердце с отроческих лет, с тех лет, когда он был еще просто Ромашкою — мальчиком при шикарном зале знаменитого мастера Андрея Ермолаича Терникова.

Тогда он впервые попал под обаяние женской красоты.

Четырнадцатилетний Ромашка влюбился.

Произошло так: на масленой неделе мальчик отправился на балаганное гулянье.

Прокатившись раз-другой с ледяных гор, послушав прибаутки веселого «деда», Ромашка увидел толпу, тискавшуюся в двери деревянного, похожего на большой сарай, театра, и устремился туда же, благо в кармане еще звенела серебряная мелочь «чаевых» и хозяйских «праздничных».

В нетопленом театре было холодно, как на улице; люди стучали коченеющими ногами, заглушая слова актеров.

Только Ромашка не чувствовал холода.

Он весь горел, пот струился по его лицу. Разинув рот от изумления и восторга, не дыша и не мигая, смотрел Ромашка на сцену, где двигалась и говорила или томно распевала песенки девушка невиданной красоты.

Белое платье девушки сверкало, как снег, а на русокудрой головке ее, словно льдинки в лучах солнца, горели серебряные звезды; щеки и губы были алы, как кровь, а под тонкими, бархатными дугами бровей нежными цветочками голубели глаза.

Таких красавиц Ромашка не видал ни во сне, ни даже на раскрашенных картинках сказок.

Правда, щеки красавицы были так же старательно раскрашены, как и щеки красавиц на картинках, а когда она говорила или пела, то из ее рта, как папиросный дым, клубился пар; правда, девушка поминутно ежилась от холода, и голос ее, простуженный и дрожащий, вероятно от холода,— был совсем уже не сказочный, но всего этого не замечал очарованный мальчик из парикмахерской, впервые попавший в театр.

Публика кашляла, топала мерзнущими ногами, звонко грызла орехи; пьяные вставляли свои замечания, вызывавшие то одобрительные смешки, то сердитые окрики и ругань; маленькие дети в голос ревели на руках матерей,— но все это не отвлекало внимания Ромашки, не отводившего восторженных глаз от красавицы, которую он мысленно назвал «прекрасной царевной».

Человек в богатой одежде, тоже, вероятно, царевич или князь, прямо сходил с ума по красавице, но когда старый бородатый царь призвал к себе красавицу и спросил ее: «Кого ты любишь?» — она ответила: «Никого».

И это было приятно Ромашке, которому почему-то не хотелось, чтобы царевна полюбила князя или вообще кого-нибудь.

Но потом все-таки царевна согласилась стать женою князя, и вот, когда уже все готово, чтобы идти венчаться,— произошло что-то непонятное.

Послышались звуки пастушеской свирели. Празднично разодетая толпа весело запела:

Здравствуй, солнышко,
Здравствуй, красное.

Яркие лучи света озарили прекрасную царевну. Она засверкала, заискрилась своей снежной одеждою, и звезды вокруг ее русой головки превратились в радугу, и красавица заметалась, испуганно крича.

И вот, одна за другой, быстро-быстро, стали спускаться на царевну тонкие нити, словно струи воды.

Померкли сияющие радугой звезды в волосах красавицы, сверкающая одежда ее потускнела, потемнела, как тающий снег.

А нити все спускались, и казалось, что это льются весенние бурные потоки.

И уже не разглядеть прекрасного лица царевны, и вот уже чуть-чуть видны очертания ее фигуры.

Толпа оцепенела от удивления и страха.

А жених красавицы схватился за голову и, взбежав на высокий берег реки, с отчаянным криком кинулся в воду.

Занавес опустился.

— Баста... растаяла,— промычал позади Ромашки чей-то пьяный голос.

Публика шумно поднималась с мест, задвигалась к выходу.

Тискаясь в толпе, Ромашка прислушивался к разговорам.

— Мама, а она растаяла, да? — спрашивала женщину маленькая девочка.

— Растаяла,— отвечала женщина.

— Она Снегурочка потому что, вот и растаяла, да, мама?

Ромашка не пошел ни на карусели, ни на перекидные качели, не остановился и у «деда», кричавшего охрипшим голосом в гогочущую толпу:

— Эй, рыжай! Ты опе-еть к карману бли-ижа?

Ласковый пушистый снег кружился, тихо шелестя, приятно холодил горячие щеки Ромашки, быстро шагавшего по улицам.

Сзади неслись, все отставая, отрывистые, замирающие звуки карусельных шарманок.

Вот совсем затихли. Только шуршал кружащийся снег.

Издалека послышался тихий-тихий, дремотный звон бубенчиков, и казалось, что это звенят густо сыплющиеся снежинки.

Ночь для Ромашки прошла в сладостных мечтах и небывалых сновидениях.

Он представлял себя женихом царевны-Снегурочки, но не князем, а тем юношею, почти мальчиком, пастушком, игравшим на свирели. Пастушок был розовощекий, золотоволосый, в белой вышитой рубашке — таким же розовым и кудрявым был и Ромашка. И рубаха у него была коломянковая, вышитая.

Ромашка говорит Снегурочке: «Я люблю тебя, Снегурочка, прекрасная моя царевна». А она отвечает: «И я тебя люблю». И они целуются так крепко, что дух захватывает и того и гляди выскочит из груди сердце. «Я без тебя не могу жить»,— говорит Ромашка. «И я без тебя»,— отвечает Снегурочка. И они снова целуются, целуются без конца.

Мечты сменялись реальными планами: завтра он опять пойдет в театр, а после окончания представления дождется, когда она выйдет из театра, и тогда признается ей в любви.

Смелости у него, конечно, хватит. Тем более что без нее он все равно не может жить. Завтра — прощеное воскресенье. Завтра последний день открыты балаганы. Значит, если пропустить завтрашний день, то все пропало.

Можно, конечно, и не просто, с бухты-барахты, объясниться. Он сначала подойдет к ней и скажет: «Как вы отлично представляли Снегурочку». А потом: дальше — больше. Мало ли о чем можно говорить? Впрочем, можно и прямо сказать: «Я вас люблю, жить без вас не могу». И встать перед нею на колени.

Как в горячке, метался на одинокой своей постели Ромашка, сбрасывал с жаркого тела одеяло, переворачивал подушку прохладной стороной и, припадая к ней пылающим лицом, думал: «Снегурочка, холодненькая, милая».

Так и заснул, обнимая подушку.

Во сне видел красавиц. В разноцветных одеждах, с распущенными волосами, они ходили, обнявшись, и шептались между собою. И солнце ярко светило, и пели птицы. Он шел навстречу красавицам и спрашивал, еще не доходя до них: «Где же Снегурочка?» А они убегали, смеясь. Он бежал за ними. Забегал в какие-то избушки, в сараи. В избушках плакали грязные, босоногие ребятишки, в сараях мычали коровы. Ромашка выбегал на улицу и там снова видел красавиц. При его приближении они кричали: «Вот он! Вот он!» И разбегались в разные стороны.

Но наконец он нашел Снегурочку.

Она сидела на скамейке, у избы.

На голове сверкали звезды, а одежда ее была из чистого снега.

— Снегурочка,— тихо сказал Ромашка.

Она опустила глаза. Лицо ее — без румянца, белое-белое, как снег. И вся она — как неживая.

— Снегурочка,— еще тише, с тоскливым страхом позвал ее Ромашка.

И проснулся...

Отправляясь на «балаганы», Ромашка надел коломянковую с вышитым воротом и подолом рубашку.

Глядя на себя в зеркало, Ромашка нашел, что он гораздо красивее пастушка.

И его ночное решение признаться в любви артистке, игравшей Снегурочку, окончательно окрепло.

День был ветреный, но Ромашка не застегнул пальто.

Шел, засунув руки в карманы брюк, и глядел на расшитую грудь и подол рубахи.

В театре, по-вчерашнему, топала ногами публика, мальчишки нетерпеливо хлопали в ладоши и кричали:

— Время!

Наконец занавес поднялся.

По сцене расхаживал человек, какого не было вчера.

У него — смешная черная угловатая шляпа, зеленый мундир и сапоги, похожие на охотничьи. Белые волосы человека завиты и заплетены в косу.

Ромашка тихо и тревожно спросил соседа:

— Дяденька, разве это Снегурочка?

Сосед, рыжеусый, красноносый, отрицательно помотал головою и, не удостоив Ромашку взглядом, произнес важно и строго:

— «Царская трость, или Деревянный ходатай».

От этой фразы, особенно же от непонятного слова «ходатай», произнесенного с внушительным ударением на последнем слоге, мальчику стало грустно и обидно.

7

ВЕЛИКОЕ И СМЕШНОЕ

Один европейский монарх, как повествует история, увидя Наполеона Бонапарта и удивившись, что стяжавший всемирную славу завоеватель ростом двух аршин с небольшим, воскликнул с разочарованием, а возможно, и с насмешкой:

— Такой великий человек и такой маленький!

А если уж по мнению европейского монарха великий человек должен отличаться и высоким ростом, то нет ничего удивительного, что жители заставской Бутугиной улицы решительно не признавали героем русско-японской кампании маленького тщедушного портного Сыроежкина.

И как бы он горячо ни рассказывал о том, как «брал Путиловскую сопку» и «загонял япошек в реку Шахэ», которую он, кстати сказать, иногда переименовывал в озеро Ялу, и как бы Сыроежкин при этом ни двигал косматыми бровями,— одни из слушателей недоверчиво и презрительно усмехались, другие же, оскорбительно хохоча прямо в глаза Сыроежкину, подтрунивали:

— А как ты, герой, с бабой со своей воюешь, а?

— Повоюй с Елисейкой. Сейчас его позовем.

Насмешки попадали в цель: жена Сыроежкина, значительно превосходящая мужа в росте, весе и силе, держала его в страхе

и трепете и била по всякому поводу, а также и без повода; Елисейка же, шестнадцатилетний татарчонок из конской мясной Сулейманова, здоровый жирный мальчишка, большой любитель бороться, особенно с теми, кто послабее, неоднократно схватывался с пьяным Сыроежкиным и неизменно подминал худосочного героя под свой плотно упитанный кониной живот.

Напоминания о жене и Елисейке вызывали со стороны Сыроежкина целый поток изощренных ругательств.

Ругаться Сыроежкин вообще любил и ругался со смаком и даже с какой-то торжественностью.

— Ловко,— восторгался кто-нибудь из любителей сквернословия.— А ну-ка еще, дядя Николай, по-геройски, а? Как ты этак можешь, специально.

Сыроежкин презрительно сплевывал в сторону и, глядя на спрашивающего, глубоко вздыхал:

— Эх, товарищ дорогой. Тебе эта музыка в новинку, а я уже ее забывать стал. Ты бы послушал, как я раньше крыл... Я, милуша, на весь наш восемьдесят девятый Беломорский полк единственный был спец, ей-богу. Бывало, ротный, поручик Агапеев, красавец мужчина, призовет меня в канцелярию: «Демонстрируй»,— говорит. То есть, значит, крой. Я и загну от всего сердца. А он вынет золотые часы: «А ну-ка,— говорит,— по часам. На три минуты». Я дую, дую... «Стой,— говорит.— Правильно — три. Молодец Сыроежкин».— «Рад стараться».— «А теперь,— говорит,— заведи на пять минут. Промочи сперва глотку». Водчонки нальет. Тяпну. И понесу. А он командует: «Вали в рифму». Это значит — стихами. Я и стихами режу, для меня все равно... А один раз пьяный был ротный здорово — я изобразил что-то этакое особенное, единственное в своем роде, он — ну меня целовать, а сам плачет. «Прямо,— говорит,— ты меня воскресил, жизни мне надбавил; ты,— говорит,— Сыроежкин, феномен». То есть, значит, спец. И рубль дал, честное слово.

— Тебе, поди, и Георгия-то за матюги дали,— смеялся какой-нибудь балагур, а Сыроежкин на это отвечал витиеватым матом.

Если кто постепеннее укоризненно замечал: «Не стыдно тебе, Николай? Пожилой ведь ты человек. Тут дети вертятся, а ты — мать да мать»,— Сыроежкин, насмешливо присвистнув, вскидывал задорно головою:

— Фью-ю. Сказал: дети. А дети-то, по-твоему, не от матери родятся, что ли? Вот чудак.

— Не от такой матери родятся,— возражал степенный человек.

— В аккурат от этой, брат, от самой,— сплевывал Сыроежкин и лихо сдвигал кепку набекрень.

— Правильно,— ржали «любители».— Молодец, Сыроежкин. Крой.

А Сыроежкин продолжал, обращаясь к степенному собеседнику:

— Ты, чудак-человек, матушки не бойся. С ней мы всю жизнь существуем. Горе ли, веселье — все мать. С матерщинкою и помирать веселее. Я как смерть зачую, так обязательно буду крыть до самого последнего издыхания. Ей-ей. Приходите слушать, вход свободный. А матерщинка, браток, с сотворения мира в полном ходу, все равно как и солнце. И все святые крыли почем зря. Не читал? То-то и оно. А как мой тезка, Никола-угодник, одному какому-то в церкви по маске съездил? Так что же, по-твоему, молча? Как бы не так. Спервоначалу обложил по существу, а уж опосля — в рыло. Ясное дело.

Был у Сыроежкина когда-нибудь Георгиевский крест или его вовсе не было,— все равно, крест этот, действительный или воображаемый, оказался для него очень тяжелым.

Где бы ни появлялся Сыроежкин, все, и взрослые, и дети, называли его «героем», но это величественное слово, сказанное по отношению к Сыроежкину, принимало такой же обидный смысл, как по отношению к карлику слово «великан».

— Герою — почтение!

— Как, герой, живешь? — приветствовали Сыроежкина знакомые.

— Герой идет. Герой!

— Герой, поборись с Елисейкой! — кричали ребятишки, гурьбою двигаясь за пьяным Сыроежкиным.

— Пшли, черти. Хулиганье,— оборачивался Сыроежкин.

Мальчишки, смеясь, отбегали, а кто-нибудь из них, побольше и посмелее, отступал всего на шаг и вызывающе кричал:

— Чего надо? Скажу вот Елисейке, он тебя сомнет в два счета.

Если поблизости оказывался Елисейка, мальчишки звали его, и он появлялся перед Сыроежкиным и, накрест раскинув грязные, в конской крови руки, говорил горячо и торопливо:

— Ну, герой, боремся. Ну?

— Вали, Елисейка, вали!

— Загни салазки! — бесновались ребятишки.

Сыроежкин вспыливал, но отступал:

— Уйди, татарва. Толстая морда.

А Елисейка, тараща черные раскосые глаза и раздувая широкие ноздри, свирепо торопил:

— Боремся живо. Ну? Цычас давлю. Пузом давлю.

И напирал на Сыроежкина широкой грудью и тугим животом, топоча от нетерпения дюжими ногами.

Если Сыроежкин бывал не слишком пьян, то старался избежать схватки с крепкотелым татарчонком и спешил ретироваться, а иногда откупался папиросами или деньгами; в сильном же опьянении, когда притуплены чувства стыда и боязни, вступал с Елисейкою в борьбу и неизбежно следуемое за сим свое поражение объяснял тем, что «пьяного любой каждый сомнет очень свободно», на что победитель важно и строго возражал:

— Пианый нэ пианый, все равно мну. У мине мяса много, сила много, у тебе — кожа и кость. Ты — слабый-сильный. Нэ вэрно, ну?

Сыроежкин, несколько отрезвевший от борьбы и опасавшийся, что Елисейка, подуськиваемый мальчишками, станет снова проявлять на нем свою силу, говорил покорно и заискивающе:

— Сила у тебя есть; ничего, брат, не скажу. Вона ты какой здоровяк.

И получал в ответ оскорбительное:

— А ты — клоп.

Если бы Сыроежкин не величал себя героем и не претендовал бы так упорно на это звание, то вряд ли какой-то Елисейка решился бы попробовать на нем свою силу, а также и жена Сыроежкина, Дарья Егоровна, не так широко пользовалась бы своим физическим превосходством над мужем.

Дарья Егоровна верила или, во всяком случае, хотела верить, что муж ее действительно отличался на войне и был награжден крестом, и ей доставляло особенное удовольствие властвовать над героем, над георгиевским кавалером.

— Будь хоть герой-разгерой, а меня слушайся,— неоднократно говаривала Дарья Егоровна, сидя у ворот с соседками и лузгая семечки.— Чтобы я такому сморчку покорялася — упаси меня господи. Он у меня пикнуть не смеет.

— Боится? — спрашивали соседки.

— Ужасно как боится,— самодовольно отвечала Дарья Егоровна, стряхивая с высокой груди шелуху подсолнухов.— Так боится, что дальше некуда. Прикрикну — так весь и затрепещется, а ножкой топну — прямо, милые, обмирает, ей-богу. И смешно и жалко, на него, на козявку, глядючи.

— Больно ты с ним строгая, Егоровна.

— А иначе, милые, и нельзя. Строгостью только и беру. Такого человека надо завсегда в страхе держать. Одним словом, под пятой. А дай ему волю, так он и себя и меня пропьет. Да

и очень уж большое понятие о себе имеет. Даже противно. «Я, мол, мастер на все на восемь ремеслов, я, мол, герой». А я иной раз и посмеюся: «Сморчок ты, говорю, а не герой. Карлик». Озлится, милые, даже с лица сменится, а я потешаюся: «Не злись, не то до основания иссохнешь, а я и так, мол толстущая, а еще боле растолстею от твоей от злости». Так, милые, и закипит весь, а ничего не смеет. Только одно твердит: «Ладно, толстей. Обрастай мясами».

— Чистое у вас кино,— смеялись соседки.— И бедовая же ты, Егоровна. Нынче и нам-то, женщинам, полные права дадены, а ты мужика правов решила.

— Правов от его никто не отымал. Пользовайся, чем полагается. А только из-под начала моего не выходи. А не нравится, ступай на все четыре стороны. Только ему не уйти. И машинка, и вся принадлежность, и мебель — все мое. Евонной и иголки-то и той нету.

Так, лишенный физической силы и имущественных прав, смирялся перед суровой женой Сыроежкин и боялся открыто роптать.

Только один раз, доведенный насмешками приятелей до белого каления, Сыроежкин решил объясниться с женой серьезно, несмотря ни на какие последствия, но, пока шел от пивной до дома, решимость его угасла, уступив место обычной робости перед женою.

И объяснения были похожи на мольбу.

— Дарья Егоровна, видишь ли... Ты только не сердись, ради бога... А все-таки, того... обидно, знаешь. Люди в глаза тычут: «Женка,— говорят,— забрала тебя под подошву и не дает тебе никакого дыхания».

Сыроежкин сам испугался своей смелости и с замирающим сердцем приготовился ко всему, но Дарья Егоровна не закричала и не затопала ногами, а, поставив на стол чашку, из которой только что пила с наслаждением чай, отерла рукавом лицо, напоминающее арбуз в разрезе, и широко улыбнулась:

— Чего же ты, клоп, расстраиваешься? У меня под подошвой — благодать. Места много, тепло и не дует.

И довольная своим остроумием толстуха принялась так хохотать, что на кофте ее от волнения могучей груди оторвались пуговицы.

Сыроежкин заплакал от обиды, но Дарья Егоровна не смутилась, так как была уверена, что «это вино плачет», и строго приказала мужу ложиться спать, что тот и исполнил немедленно.

Свою горькую долю непризнанного героя и раба жены Сыроежкин старался утопить в вине.

Выбрав в пивной незнакомого, одиноко сидящего человека, Сыроежкин присаживался к нему и, обменявшись несколькими незначительными фразами, переводил разговор на любимую тему.

— Нынче, товарищ, люди разве что понимают? Тьфу,— презрительно сплевывал Сыроежкин.— Я вот, можно сказать, старый рубака, непосредственный герой японской кампании. Награжден Георгием четвертой степени. Вот... За смелую и бесстрашную разведку... А теперь разве понимают... Я, товарищ, и под Шахэ был, и Путиловскую сопку брал. То-то и оно... Я восемьдесят девятого пехотного Беломорского полка. А наш Беломорский полк покрыл себя несмертной славой. Вот, товарищ. А они что видели? Тьфу!

Сыроежкин постепенно входил в роль — грозно двигая нависающими бровями, восторженно взвизгивал:

— Ночь. Темь. Метель — с того света. А «они» прут на нас. Чертова гибель. В три раза больше, чем нас. Понятно: «Банзай». А мы держим ответный тост: «Ура...» А тут пулеметы, орудия, земля дрожит. Лед на реке, на Шахэ, весь разбит снарядами. А мы — без внимания. «Ура» — и никаких данных. А «их» в пять раз больше. А наш полковой командир, красавец мужчина, полковник Мансветов, Родион Антоныч... Ух, герой был. Единственный, можно сказать, в своем роде. «Братцы,—говорит.— Орлы-беломорцы. Ежели на то пошло, заройте меня в могилу». Ну, мы тут и двинули... Мать честная. Сам Мансветов на белой лошади командует: «В штыки. Вперед, орлы-беломорцы». Мы — раз. Всех этих самых япошек — в реку, в Шахэ. Всех начисто. Штыковой атакой. Понял, товарищ?

Грозные брови Сыроежкина шевелились над слезящимися, жалостными, как у щенка, глазками, а руки свирепо кололи воображаемым штыком:

— Всех начисто. Раз-з!

Затем боевые эпизоды шли один за другим, повторялись, варьировались: река Шахэ превращалась в озеро Ялу, лошадь Мансветова меняла масть, становилась вороной или «в яблоках», а сам герой-полковник то поздравлял «орлов-беломорцев» с лихой победой, то, раненный шрапнелью, падал на руки рассказчика, который и выносил его под убийственным огнем неприятеля; а в конце концов уже сам рассказчик вел в атаку славный Беломорский полк, так как полковник Мансветов оказывался убитым наповал пятью разрывными пулями.

Закончив цикл боевых воспоминаний, Сыроежкин упоминал о том, что его «на руках принесли из Манжурии», и выходил из пивной, пошатываясь на кривых портновских ногах, а выйдя на Бутугину улицу, начинал петь тонким детским голосом:

Куропаткин-генерал —
Предводитель всем войскам.
Он свободно службу знает,
Сидит браво на коне,
Сидит браво, смотрит прямо,
Сашку держит хорошо.
Он вскричал: «Здорово, братцы,
Беломорские орлы!»

— Герой идет, герой,— кричали мальчишки, маршируя за Сыроежкиным.

— Эй, клоп, иди бороться,— звал татарчонок Елисейка, высунув из дверей сулеймановской лавки широкоскулое лицо.

— Смотри, орел, женка из тебя цыпленка сделает,— хохотал подмастерье из парикмахерской Пластунова.

А Сыроежкин, тряся головой, словно отгоняя эти крики или тяжелые мысли, запевал пьяным дискантом, вздрагивающим от затаенного страха:

Наши... жены —
Пушки заряжены,
Вот где наши... жены.

8

ВЕРА

Любовь чаще всего является внезапно, как счастье и беда.

Внезапно полюбил и Роман Романыч.

И знакомство с девушкою, для которой открылось его сердце, а также и обстоятельства, при каких это знакомство произошло, были необычными.

Так было: как-то на Пасхе Роман Романыч возвращался домой от Иуды Кузьмича.

Временем, проведенным в гостях, он был чрезвычайно доволен: гости Иуды Кузьмича восторженно принимали пение Романа Романыча, а песню о шуте, «Звени, бубенчик мой, звени», он даже был принужден спеть несколько раз, «на бис»; и все наперебой советовали ему не зарывать таланта и серьезно заняться пением.

А Иуда Кузьмич так прямо говорил:

— Ты, Ромка, простокваша, а не человек. Я бы на твоем месте давно заимел оперную квалификацию. Прямо бы заявил, куда следует: «Даешь, мол, бенефис, а нет, так — гастроль». И баста.

И растроганно добавлял:

— Ты себе цену снижаешь. Ты думаешь — ты парикмахер и все. Брось. Ты — талант. Ты — светоч. Понял: све-точ.

Роман Романыч жал руку пьяному приятелю и с удовольствием думал: «Когда и ерунду говорит, а иной раз очень даже дельно рассуждает».

И вот, опьяненный успехом и похвалами, Роман Романыч покинул гостеприимный кров Иуды Кузьмича.

Роман Романыч был не прочь посидеть и еще, но начались танцы, а он не умел танцевать и стыдился в этом признаваться, а кроме того, ему, мечтательно настроенному, изрядно таки надоел сильно подвыпивший Иуда Кузьмич, певший одно и то же:

Не пиши, милый, записки,
Не пиши печальных слов,
Не трать денег на бумагу —
У нас покончена любовь.

Улица, на которой Роман Романыч очутился, выйдя от Иуды Кузьмича, была глухая, скудно освещенная; с одной стороны — неогороженная узкая и прямая канавка, с другой — пустырь.

Обыкновенно Роман Романыч побаивался ходить в поздние часы по пустынным улицам, но теперь, возбужденный вином, успехом и похвалами, шел весело и бодро, мысленно напевая: «Звени, бубенчик». Иногда любимую песню сменял вдруг возникавший в памяти мотив надоевшей за вечер песни Иуды Кузьмича. Тогда Роман Романыч встряхивал головою и ускорял шаг.

Впрочем, шаги его ускорялись еще и по другой причине: впереди шла женщина — торопливый стук каблучков, отдававшийся в ушах Романа Романыча, и заставлял его идти быстрее.

«Вероятно, хорошенькая»,— думал об идущей впереди женщине Роман Романыч.

На тот случай, если бы женщина оказалась молодой и хорошенькой, Роман Романыч уже составил план знакомства: первым долгом он извинится за фамильярность и спросит женщину, не страшно ли ей ходить в одиночестве по кошмарным районам; затем отрекомендуется горным инженером и скажет несколько слов о Донбассе; далее заговорит о погоде, например: несмотря, мол, что Пасха ранняя, а атмосфера абсолютно майская.

Вообще, только бы клюнуло, а уж он за словом в карман не полезет.

Но вот тут-то и произошло то, что в дальнейшем повело к целому ряду событий, направивших жизнь Романа Романыча на новые пути.

Когда Роман Романыч был уже шагах в двадцати от женщины, с нею поравнялась шедшая навстречу темная мужская фигура.

Мужчина преградил женщине дорогу и вдруг запел так громко и дико, что женщина, вскрикнув, шарахнулась с панели, а Роман Романыч вздрогнул и остановился как вкопанный, но в следующее же мгновение, видя, что человек снова двинулся к женщине, продолжавшей испуганно кричать, Роман Романыч поспешно достал из кармана свисток, который он постоянно носил, на всякий случай, и стал свистать.

Человек, спотыкаясь и шатаясь, побежал через пустырь, а Роман Романыч, еще держа в руке свисток, подошел к женщине и, приподняв шапку, произнес давно заготовленную фразу:

— Извиняюсь, мадам. Как это вы рискуете ходить в полном одиночестве по таким мрачным и кошмарным районам?

Сказано это было с исключительной нежностью, на какую вообще был способен Роман Романыч, когда приходилось разговаривать с женщинами.

Женщина подняла на Романа Романыча совсем юное лицо и вздрагивающим от недавнего испуга голосом пробормотала что-то о хулиганах, а Роман Романыч, довольный удачным началом, продолжал:

— Очень, очень рискованно молоденьким барышням прогуливаться в этих палестинах. Разная тут публика шляется: хулиганы, налетчики, а то, понимаете ли, нет, и гнусные насильники. Я уже на что человек бывалый, одно слово — горный инженер, приходилось обретаться и на Урале и в Донбассе, всякого народу перевидал на своем веку и в каких только переделках не бывал, а все-таки, понимаете ли, нет, принимаю меры предосторожности: свисток, как видите, постоянно имею при себе, а иной раз и револьвер, и форму не надеваю, а так по-простецки, в кепочке.

И хотя было очевидно, что пристававший к девушке прохожий — просто-напросто пьяный безобразник, Роман Романыч между тем развивал мысль, что спас девушку от рук грабителя.

— Хорошо, понимаете ли, нет,— говорил Роман Романыч, идя рядом с девушкою,— что я тут на счастье подвернулся, а то вы, определенно, оказались бы жертвою бандитизма. Они, налетчики-то, постоянно так, прикинется, понимаете ли, нет, чудачком, пьянчужкою, горланит: «Не пиши, мол, записок, на бумагу не тра́ться», да вдруг: «Здрасте, пожалуйста. Руки вверх, кошелек или жизнь». А то и без предупреждения — бах — из нагана, и вся недолга. Слава те, господи, мне, благодаря своей инженерской профессии, со всяким народом случалось сталкиваться и попадать, понимаете ли, нет, в самые непромокаемые переплеты. Даже самому дивно, как цел остался, ей-богу.

Девушку Роман Романыч проводил до дома, настойчиво вручил ей визитную карточку и узнал имя девушки. Звали ее Верой.

Домой Роман Романыч вернулся в радостно-возбужденном состоянии.

Курильщик, лишенный табака, или чистоплотный человек, почему-либо с утра не умывшийся, чувствуют, что чего-то недостает, что-то важное не сделано.

И это ощущение портит настроение, мешает работать, сосредоточиться.

Подобное же ощущение досадливой неловкости, неудовлетворенности стал испытывать Роман Романыч со следующего же дня после случайного знакомства с девушкой.

А от этого ощущения и работа не клеилась: Роман Романыч то забывал предложить «освежить», «положить пудры», то вовсе не правил бритву или, наоборот, принимался править два раза подряд, а один раз даже порезал клиента, и когда тот слегка упрекнул его в неосторожной работе — Роман Романыч не извинился, а, ткнув пальцем в темный, с серебряной надписью плакат, сказал довольно резко:

— Тут, понимаете ли, нет, черным по белому объявлено, как надо реагировать. Вот и реагируйте.

— Я понимаю и реагирую, а вы нервничаете,— резонно возразил клиент, но Роман Романыч, не слушая его, раздраженно продолжал:

— Удивительная публика. Черным по белому сказано коротко и ясно, как и что, а они не понимают.

Чувства досады и неудовлетворенности не покидали Романа Романыча все время и нередко переходили в сильное, как голод и жажда, желание увидеть девушку, встреченную вечером на Пасхе.

Мысли о ней не давали Роман Романычу покоя. И он ежедневно по вечерам отправлялся гулять около дома, где жила девушка, в надежде встретить ее.

Чуть не каждую женщину он издалека принимал за Веру и тогда, замирая от радостного испуга, чувствуя, как кровь заливает лицо, торопливо шел навстречу идущей, и когда уверялся, что это не та, кого он искал, то сразу начинал чувствовать усталость и даже озлобленность.

А однажды так обознался, что подошел к какой-то девушке, ожидавшей трамвая, и, приподняв инженерскую фуражку, произнес радостно и развязно:

— Наконец-то повстречались. Сколько лет, сколько зим.

— Что такое? — испугалась девушка и попятилась от него.

— Извиняюсь, я, понимаете ли, нет, ошибся,— смутился Роман Романыч.— Очень ваша личность схожая с одной знакомой девицей.

После неудачных поисков Веры Роман Романыч приходил домой совершенно разбитый и упавший духом, но на следующий день снова радостно и бодро шел искать и возвращался опять разочарованный.

Роман Романыч не мог ясно представить лицо и фигуру Веры. Тогда при скудном свете фонарей он различил только, что девушка роста среднего, стройная; лицо у нее очень молодое, белое, с темными тонкими бровями.

И, думая теперь о ней, он находил, что она похожа на ту, виденную им в детстве красавицу Снегурочку, а временами ему даже казалось, что Вера и есть та самая Снегурочка.

И хотя сознавал, что этого никак не может быть,— радовался, что как бы нашел ту, которую искал.

Веру ему напоминало все: улицы, люди, блеск солнца в стеклах витрин, свет фонарей, разноголосые шумы и гулы города и случайные звуки откуда-то прилетевшей музыки.

И еще: первая встреча с Верой напоминала то, когда он впервые услыхал «Звени, бубенчик» в исполнении известного эстрадного певца.

Тогда, силясь припомнить мотив песни и то находя его, то снова теряя, он испытывал то радость и наслаждение, то страдание и тоску.

Может быть, было так оттого, что музыка, мелодии имеют нечто общее с чувством любви, с влюбленностью.

Когда долго ищешь что-нибудь и никак не можешь найти, то лучше всего на время прекратить поиски, а потом снова начать искать, не думая, что найдешь, а так, не волнуясь, не спеша, как бы нехотя. И найдешь.

И большей частью там, где раньше особенно тщательно искал.

Так вышло и у Романа Романыча: он уже потерял всякую надежду встретить девушку, не дежурил у дома, где она жила, а случайно, проходя мимо дома, встретил ее, направляющуюся в сопровождении молодого человека к воротам дома.

Роман Романыч страшно смутился и хотел отвернуться, но, заметив, что девушка пристально на него смотрит, раскланялся с нею.

Она улыбнулась и остановилась, остановился и ее спутник. Оба глядели на Романа Романыча.

Роман Романыч не знал, что дальше делать. Уже хотел пройти мимо, но вернулся и, подойдя к девушке, вторично приподнял фуражку:

— Извиняюсь. Вы меня признаете?

— Как же,— улыбнулась девушка. И обратилась к молодому человеку: — Это, Володя, и есть инженер Пластунов. Знакомьтесь. Это мой брат, Владимир. Лучше зовите: Вовка,— улыбнулась она.

Роман Романыч вежливо и солидно раскланялся с молодым человеком.

Ему особенно понравилось, что девушка многозначительно подчеркнула слово: «инженер».

— Зайдите к нам,— предложил брат Веры.

— Что вы. Зачем же? — опять смутился Роман Романыч.

Девушка весело рассмеялась:

— Боитесь? Разве мы такие страшные?

— Что вы. Наоборот,— пробормотал Роман Романыч.

Он зашел к ним. Просидел весь вечер.

Вера и ее брат разговаривали с Романом Романычем как со старым знакомым, так что под конец вечера он перестал смущаться и чувствовал себя как дома.

Говорили о театре, о кино, о последнем боевом фильме, о певцах.

— Я, понимаете ли, нет,— говорил Роман Романыч, слегка кокетничая,— ужасно обожаю театр. Особенно оперу. Меня, что называется, хлебом не корми, а дай послушать какую-нибудь вещицу. Вот, например: «Звени, бубенчик мой, звени», очень, понимаете ли, нет, превосходная оперная ария. Я ее сам прекрасно исполняю.

Упомянул вскользь и о Донбассе и об инженерстве. По обыкновению, пожаловался на труд инженера.

— Заработок, слов нет, великолепный, а вот работа беспокойная. Разъезжай то туда, то сюда. Нервы издергивает здорово. И ответственность большая. Чуть что не сообразил, не взвесил, как следует быть,— ну, понимаете ли, нет,— и пропало дело.

Уже поздно вечером Роман Романыч собрался домой.

Брат Веры просил его заходить по четвергам с восьми часов.

Мать, пожилая женщина с приветливым лицом, тоже сказала:

— Заходите, Роман Романыч.

Прощаясь, Роман Романыч с чувством поцеловал руку Веры.

Подойдя к ее матери, подумал: «Старым целовать не принято».

И крепко пожал старушкину руку.

9

ТРИГОНОМЕТРИЯ

Каждый четверг, ровно в восемь часов вечера Роман Романыч дергал медную ручку звонка у двери, на которой белела приколотая кнопками самодельная визитная карточка: «Владимир Валентинович Смирин».

Дверь отворяла мать Смириных, Любовь Васильевна.

Кутаясь в пуховую косынку, она говорила, приветливо улыбаясь:

— Здравствуйте, Роман Романович.

Роман Романыч почтительно пожимал ей руку.

— Проходите, Володя дома,— приглашала Любовь Васильевна.

Роман Романыч вежливо отвечал: «Очень приятно» — и проходил по темноватым комнатам в самую заднюю, большую и тоже полутемную комнату, где кроме брата и сестры Смириных всегда находился кто-нибудь из молодых людей — приятели Владимира или подруги Веры.

Знакомя Романа Романыча с гостями, Владимир и Вера постоянно к его имени, отчеству и фамилии прибавляли — «инженер», что отчасти смущало Романа Романыча, но в то же время и весьма льстило его самолюбию.

Комната, где собирались гости, была обставлена хорошо: кожаные кресла и стулья, большой, с высокой спинкою, кожаный диван, массивный письменный стол, на стенах несколько картин непонятного содержания, оленьи головы, портреты Владимира, Веры и их покойного отца, гвардейского полковника с пушистыми усами. А над письменным столом — портрет длинноволосого худого человека, устремившего куда-то вдаль безумные глаза.

За несколько четвергов Роман Романыч поближе познакомился с гостями Смириных.

Почти все очень молодые люди.

Роман Романыч считал их учащимися. Большинство из них приносили с собою солидные портфели. После и Роман Романыч стал приходить с портфелем. В портфеле лежала вечерняя газета и иностранная книга, с которой Роман Романыч раньше сиживал в скверах.

Гости Смириных разговаривали большей частью о книгах, о стихах, спорили; иногда говорили о кино.

Тогда и Роман Романыч поддерживал разговор: хвалил или ругал, как и все, какой-нибудь последний фильм.

Впрочем, гости Смириных Романа Романыча не интересовали.

Интересовала его только Вера.

Вера действительно была очень недурна.

Прелестные светло-серые с каким-то особенным, словно внутренним блеском глаза; стрельчатые шелковистые ресницы; тонкие правильные дуги темных бровей красиво выделялись на лице изумительной белизны и свежести, и, что редко бывает у женщин,— красивые ноги: полные, но очень стройные, точеные, с небольшими, плотными ступнями. Обтянутые белыми чулками ноги Веры напоминали ноги мраморных статуй.

Не портила девушку и достаточная упитанность.

Но особенно в ней привлекало сочетание чего-то нежно-детского с величественно-женственным.

Из подруг Веры были еще две недурненьких: Тамара — черненькая, бойкая, прозванная Чертенком, и Любочка Волкова.

Но у Тамары был некрасивый подбородок: острый и великоватый, и узкая втянутая спина, а Любочка Волкова, хорошенькая лицом, имела такие короткие ноги, что, когда она стояла, было похоже, что сидит.

Любочку всегда сопровождал, не отходя от нее ни на шаг, единственный пожилой гость Смириных, очень болтливый и всегда нетрезвый человек, до смешного гордящийся тем, что носит фамилию последнего министра последнего царя.

Любочка в болтовне не уступала старику с фамилией министра, но его болтовня была язвительна и желчна, а Любочкина — вздорна и всегда неуместна.

Любочка все время смеялась, даже тогда, когда ела и пила.

Она была прожорлива, здорова как рыба и как рыба — глупа.

Самые глупые шутки она принимала всерьез и задавала такие нелепые вопросы, до каких не додумывался даже Иуда Кузьмич Моторин.

Так, Любочка Волкова вполне серьезно могла спросить:

— Почему летом жарко, а зимою холодно?

Или:

— Что было бы, если бы люди не умирали?

Роман Романыч мысленно называл Любочку дурочкой. На Веру же смотрел со скрытым восторгом, ловил каждое ее движение, жесты. И был убежден, что вся молодежь ходит к Владимиру исключительно из-за Веры и что все безумно в нее влюблены. И поэтому всех их Роман Романыч считал своими соперниками, не сближался с ними и втайне гордился своей красивой наружностью, обеспечивающей, по его мнению, победу над сердцем красавицы Веры.

Верой Роман Романыч также гордился. Особенно после такого случая: к Смириным ходил известный, выпустивший в свет несколько книг, писатель. Однажды он пришел пьяный,

стал перед Верою на колени и просил, чтобы она позволила поцеловать ее ногу. Получив отказ, он стал просить разрешения поцеловать ее туфельку, а когда ему и в этом было отказано, пытался выброситься за окно.

Тогда Вера, уйдя за ширму, выбросила оттуда туфельку, которую сумасбродный писатель принялся страстно целовать.

Вспоминая об этом случае, Роман Романыч думал:

«Писатель — не писатель, а ничего, брат, не попишешь: туфель поцелуй и считай за счастье неземное. Ловко».

А спустя несколько времени, встретив писателя уже значительно пьяного, пригласил его в ресторан и там осторожно заговорил о Вере Смириной.

Писатель уставился на него мутными, пьяными, измученными глазами и заговорил, морщась, как от боли:

— Я — горд, самолюбив. Я — невозможен: дик, необуздан в страстях. Я — пьяница, развратник, дебошир. О моих скандалах в газетах писали. Но сердце у меня детское: дикое и чистое, как у Дмитрия Карамазова. И о ней, о Вере, скажу словами Мити Карамазова: «Царица души моей».

И, криво усмехнувшись, добавил:

— Все под Достоевским ходим, верно?

Роман Романыч не понял, о каком Карамазове говорил пьяный собеседник, и еще более было неясно, почему все должны ходить под каким-то Достоевским, но утвердительно кивнул головою.

А писатель продолжал тихо и раздумчиво:

— Первый раз я увидел ее, когда ей было лет двенадцать, не больше. Да, лет двенадцать. Она и тогда была красива и стройна. Я сразу ополоумел. Понимаете... Я ночи не спал, стал писать стихи. Чуть не ежедневно ездил к ним. Просиживал часами с Владимиром и его матушкой. А Верочка играла в соседней комнате с подругою. Вот с этой же, с Чертенком. А я сидел, как дурак. Чтобы только слышать ее детский смех, почувствовать в своей руке ее ручку при встрече и при прощании. Дома я негодовал на себя, презирал. Но я ее чисто любил. Мне только хотелось смотреть и смотреть на нее. Я стихи тогда писал. Дурацкие, как гимназист. А был женат, уже имел ребенка.

Писатель засмеялся горько и зло:

— Слушай, какие я писал стихи. Постой... Как это? Да.

Хочу я смотреть без конца
На то, что так дорого мне:
На юную нежность лица
Хотел бы смотреть без конца.

Какая глупость, пошлость. Вроде тех стихов, что читает этот дурак, министр Любочки Волковой... Но она, Вера — прекрасна и чиста. Душа у нее белоснежная. Она — Снегурочка. Помнишь? Как это?..

Роман Романыч почти испугался, когда писатель упомянул о Снегурочке.

Затаив дыхание, ждал, что тот еще скажет, но писатель из полной кружки отпил глоток пива, поморщился, зажмурясь, потряс головой, а затем швырнул кружку под стол и тяжело выругался.

— Роман Романыч, у меня к вам большая-большая просьба. Вы, конечно, ее исполните, хорошо? Для вас это пустяк, а для меня кошмар.

Глаза у Веры были просящие и, вместе, обиженные, как у избалованного ребенка; полные щеки слегка зарозовели.

«Богиня красоты»,— умильно подумал Роман Романыч и нежно спросил:

— В чем дело?

Вера дотронулась до его руки:

— Видите ли. У меня зачет. А я совсем не знаю тригонометрии. Как пробка, ей-богу. Вы мне поможете, хорошо?

У Романа Романыча упало сердце. С трудом вымолвил задрожавшими губами:

— С удовольствием.

А Вера продолжала:

— Вы меня второй раз спасете. Я вам так буду благодарна. Ведь вы по воскресеньям, конечно, не заняты. Так вот приходите в это воскресенье, с утра. Обязательно. Часов в одиннадцать или даже в десять, хорошо?

Роман Романыч ушел от Смириных раньше обыкновенного.

Шел, как лунатик.

Чуть не попал под трамвай.

10

НОЧЬ НА ПОЛУСТАНКЕ

В условленный день, в воскресенье, Роман Романыч пришел к Смириным и объявил Вере, что заняться с нею по подготовке к зачетам он, при всем своем желании, не может, так как уезжает в командировку в Москву, а оттуда, вероятно, в Донбасс, а может быть, даже и на Урал.

Вера сделала обиженное лицо, а Роман Романыч пожал плечами и глубоко вздохнул:

— Ничего не попишешь. Известна наша инженерская доля: нынче — здесь, а завтра — там, как в песне поется, понимаете ли, нет.

На вопрос Веры — когда он уезжает — Роман Романыч отвечал:

— Сегодня с вечерним поездом.

Смирины вызвались проводить его на вокзал.

Кроме портфеля Роман Романыч захватил маленький саквояж, в котором лежали: пеньюар, два полотенца, початая полбутылка водки, в портфеле же — старые газеты и неизменная иностранная книга.

— Это весь ваш багаж? — удивился брат Веры.— А где же подушка, одеяло? Неужели — так?

— Э, чепуха,— небрежно махнул рукою Роман Романыч,— инженер, известное дело: лег — свернулся, встал — встряхнулся.

Роман Романыч не доехал даже до первой станции, куда взял билет, а сошел на полустанке.

Роман Романыч после разговора с Верою о тригонометрии спросил у одного клиента: «Что за штука — тригонометрия?», и клиент ответил, что это — научный предмет.

Больше Роман Романыч ничего не расспрашивал, так как решил, что этот научный предмет — та труба на трех высоких ножках, вроде тех, что бывают у фотографических аппаратов, в которую смотрят инженеры, когда вымеривают мостовые.

Конечно, он, Роман Романыч, ничего в такой трубе не смыслит, так как не имел практики, но зато тот же инженер, который трубою, то есть тригонометрией управляет, как хочет, не сумеет ни брить, ни стричь,— мало того,— может и с безопасной бритвою не управиться.

Сколько угодно есть таких, что режутся безопасными бритвами.

Так что — кто чему обучен: один бритвою орудовать, другой — тригонометрией.

А от кого больше пользы — это еще бабушка надвое сказала.

Вот он, Роман Романыч, каждый день людей пользует, а перед праздниками так всю Бутугину улицу перестригает и перебривает, а инженер за всю жизнь проложит какую-нибудь железную дорогу, да и то на бумаге, а не на деле, так как строят-то, фактически, рабочие; большинство же из инженеров и того не делают, а так, мелочи разные чертят, да через тригонометрию улицы рассматривают.

А сколько инженеров судится!

Парикмахеров что-то вот не слыхать чтобы судили.

Потому что работа парикмахерская без всякой фальши и для всех приятная и полезная.

Так думал Роман Романыч, взволнованно расхаживая по ночной пустынной платформе полустанка.

И впервые за всю жизнь, в эту весеннюю темную и теплую ночь, на полустанке, заброшенном в печальной болотистой низине, ясно осознал Роман Романыч, что труд его нужен, необходим и ничуть не позорен, как и всякий другой полезный и честный труд.

И мучительно захотелось к людям, к Вере Смириной. Сказать ей все, без утайки: что он вовсе не инженер, а рабочий человек, парикмахер; что ни в какую Москву он не думал и уезжать; показать ей и содержимое саквояжа. «Для отвода, мол, глаз этот багаж». А книгу английскую бросить — пусть читает, кто умеет.

Главное же — сказать ей о своей любви.

Разве он не может любить и быть любимым?

Пусть он парикмахер. Зато очаровательно красив. И поет так превосходно, что люди его светочем называют.

— Светоч,— четко произнес Роман Романыч и горделиво огляделся.

Но кругом — непроницаемая тьма, звезд совсем не видно, и небо, казалось, нависло над самой головой.

Лишь вдали — бесчисленные огни города, неподвижные, как светящиеся пуговицы, а от них самое небо над городом горит голубовато-белым огнем.

Послышался шум идущего поезда.

В стороне, противоположной городу, засветились во тьме три ярких глаза. И громче и громче шум и грохот.

Роман Романыч вспомнил, что надо взять билет. Поспешно задергал ручку двери домика-будки, но дверь крепко заперта.

А грохот уже обрушивается на него.

Засвистел ветер.

— Откройте! Билет мне надо! — закричал Роман Романыч.

Но дверь — глуха и темны окна домика.

А поезд идет мимо, без свистка, не замедляя хода. Тяжко пропыхтел паровоз, гремя поплыли безглазые вагоны, площадки с досками, какие-то головастые громадины, похожие не то на исполинские уродливые самовары, не то на слепых безногих великанов.

И когда постепенно затих шум уходящего поезда — тишина стала еще глуше и ночь еще темнее.

А вместе с тишиною и тьмой вошла в сердце Романа Романыча тоска.

Как-то без мыслей осозналось, что он одинок и никогда не увидит Веры.

Вспомнил о водке, торопливо достал из саквояжа бутылку и принялся пить прямо из горлышка, морщась и передергиваясь от захватывающей дух горечи.

Быстро охмелел. Но тоска одолевала сильнее. И все яснее стал сознавать Роман Романыч, что он одинок не только здесь, на ночном полустанке, но и везде, среди людей.

И Вера Смирина была и будет далека от него, сердце ее никогда не будет ему принадлежать.

И, глядя на далекие огни города, единственно среди мертвой тьмы напоминающие о кипящей где-то жизни, Роман Романыч вскрикнул в тоске и отчаянии:

— Вера! Снегурочка моя! Любви хочу, любви!

Слезы брызнули крупными каплями.

И, испугавшись этого, против воли вырвавшегося, резкого пьяного крика, оглянулся кругом и добавил смущенным шепотом:

— Понимаете ли, нет?

11

КЛИЕНТ В СЕРОМ КОСТЮМЕ

На нем был серый, стального цвета костюм, на левой руке синий плащ-пальто, в правой — черная, с костяной ручкою и с костяным наконечником, гнущаяся, как рессора, трость; фетровая шляпа кофейного цвета.

Когда он вошел в парикмахерскую, Роман Романыч с удивлением спросил:

— Что угодно?

И когда тот ответил, что обыкновенно говорят клиенты: «Побриться», Роман Романыч не поверил своим ушам, так как ему почему-то казалось, что клиент должен говорить о чем-то другом, а не о бритье или стрижке, и переспросил:

— Побрить?

А когда клиент сел в кресло,— Роман Романыч не знал, что делать, и накинул на плечи клиента пеньюар, хотя этого при бритье не требовалось.

Бывает: в трамвае, поезде, театре или просто на улице какой-нибудь человек обращает на себя всеобщее внимание.

Все смотрят на него с каким-то особенным интересом, не похожим на то любопытство, какое возбуждает красивый или, наоборот, уродливый человек.

В таких людях главное не внешность, а что-то другое, что не поддается определению.

И говорят о таких людях ничего не говорящее:

— Интересный человек.

Руки Романа Романыча дрожали, и брил он не лихорадочно и порывисто, как всегда, а медленно и неуверенно, словно работал в первый раз. Он сам удивлялся своему непонятному волнению.

С клиентом в сером костюме был еще человек. Он не брился и не стригся, а сидел и разговаривал с приятелем.

— Ты говоришь — «Заря Востока»? — спросил он, очевидно продолжая прерванный разговор.

Роман Романыч подумал: «„Заря Востока" — пьеса так называется. Наверно, опера».

И обратился к клиенту, стараясь говорить как можно изысканнее:

— Извиняюсь за нескромный вопрос: в каком театре, понимаете ли, нет, идет сейчас «Заря Востока»?

Клиент удивленно приподнял тонкие, слегка срастающиеся брови, и белое лицо его порозовело.

Он хотел что-то ответить, но его приятель сказал громко и отчетливо:

— Конечно, в Большом оперном.

Брея, Роман Романыч терялся в догадках — кто его клиент, и ему хотелось узнать это.

Молодое, бритое лицо, светлые, кудрявые волосы, элегантный костюм — по всему этому Роман Романыч заключил, что клиент — артист.

И приятель клиента напоминал актера: толстый, бритый, с помятым лицом; голос громкий и звучный, хотя несколько сиповатый.

«Заграничный артист,— подумал Роман Романыч о клиенте,— немец, по всему видать».

Когда посетители уходили, Роман Романыч не утерпел и спросил:

— Извиняюсь, понимаете ли, нет, вы — русские?

— Кто — я? — спросил клиент, а приятель его сказал:

— У него костюм парижский, шляпа из Лондона, а трость американская, но сам он чистокровный русак, но такой русак, что ай-я-яй. Отдай все, да и мало.

А когда оба они ушли, Роман Романыч вышел и, стоя у дверей, на ступеньке, стал смотреть им вслед.

Слегка вздернув голову, легко и пружинисто, словно танцуя, шел человек в сером костюме, отталкиваясь от земли вздрагивающей тростью

Не только Роман Романыч, но и Алексей и Таисия были в некотором волнении.

— Откуда такие взялись? — говорил Алексей.— Это не из нашего квартала.

— У нас такой интеллигенции нет,— сказал Роман Романыч,— случайно сюда попали. Фланировали. Артисты. Свободный народ.

— А как он на вас похож, Роман Романыч.

Таисия зарделась и добавила:

— Будто ваш брат родной.

После слов Таисии Роман Романыч с радостным волнением вспомнил, что клиент действительно очень на него похож.

Такие же золотистые кудрявые волосы, светлые глаза, красивое, почти юношеское лицо.

Вспомнил, что когда брил его, наклонялся над ним, то лицо клиента напоминало что-то далекое и трогательно-дорогое...

Не детство ли?

Пухлые детские губы, лучистые глаза, веселые золотистые кудри — все это было так дорого, близко, что Роман Романыч несколько раз прерывал работу и задумчиво вглядывался в лицо клиента.

И теперь Роман Романыч подошел к зеркалу и, всматриваясь в свое отражение, подумал: «Такой бы вот костюмчик приобрести».

И ему стало трепетно-весело и легко.

12

СЕРЫЙ КОСТЮМ

Было воскресное утро.

Портной Сыроежкин проснулся с сильной головной болью. А во рту было так мерзко, будто там ночевал целый цыганский обоз.

Накануне Сыроежкин наделал дел: пропил два рубля, предназначенные для покупки саржи; набуянил в пивной и был оттуда выброшен официантом Спирькою, грубым детиною, носящим нежное прозвище: «Отец родной»; дома, когда Дарья Егоровна, увидя, что муж — без саржи и пьян, как стелька, принялась его ругать, он пытался совершить то, о чем раньше боялся и думать, а именно: побить жену.

Этот безумный, поистине геройский шаг оказался на деле покушением с негодными средствами и, погибнув в самом зародыше, повлек за собою все вытекающие отсюда последствия.

Так Сыроежкин только сжал кулаки и заскрипел зубами, и на этом его роль кончилась.

Все же остальные действия, обыкновенно следуемые за таким воинственным началом, производила уже исключительно Дарья Егоровна, а Сыроежкин, загнанный в угол, прятал голову от жениной туфли и слезно молил о пощаде:

— Егоровна! Золотце! Довольно! По существу и бить-то некого, сама видишь.

Теперь, проснувшись и прислушиваясь, как шуршит по полу веник и грузно шлепают босые ноги жены, Сыроежкин припоминал подробности происшествий вчерашнего дня.

«Черт меня дернул сцепиться с этой лошадью,— думал Сыроежкин, укрываясь с головою и ощупывая запухший левый глаз.— Ишь, топочется, что кобыла заводская».

Вспомнил, что жена вчера посулила с трезвым с ним поговорить по-настоящему.

«Неужели опять поднимет баталию? Это уж неправильно. За одно дело двух наказаний не полагается».

Эту мысль Сыроежкин скрепил одним из своих часто им демонстрируемых перед любителями выражений и подбодренный им, как верующий молитвою, сбросил с лица одеяло, намеренно громко зевнул и сел, спустив с высокой кровати сухие, кривые, не достающие до пола ноги, и, беззаботно болтая ими, сказал:

— Э-эх! Толково поспал!

Дарья Егоровна бросила подметать и, тяжело ступая по скрипящим половицам, не торопясь приблизилась к кровати и, упершись в широкие бедра толстыми красными руками, в одной из которых был веник, устремила на мужа полный сурового презрения взгляд.

Глядя на веник, Сыроежкин подумал: «Веником еще туда-сюда, кулаком — хуже. Кулаки у ней — что булыжники».

И, глубоко вздохнув, ежась под взглядом супруги, потянул к себе брюки, висевшие на спинке кровати.

Дальше пошел такой разговор:

— Ну что, хулиган несчастный? Очень хорошо поступаешь, да?

— Что такое? — удивленный вопрос.

— Что-о? Накуликался, денежки профукал, а потом женке в морду лезешь.

— Оставь, Егоровна. Мало ли что по пьянке бывает. Известно, у пьяного разум ребячий.

— Нет, извини, милый мой. Небось об стенку башкой не треснешься, а в харю норовишь заехать. Ты эту моду забудь. Я твое геройство живо из тебя выкурю.

— Ну вот. Теперь — геройство. Ну что я тебе мог сделать? Мне и до хари-то до твоей не достать. Вона ты какая. Прямо, можно сказать, памятник. Великанша, одно слово.

Самолюбию Дарьи Егоровны льстило признание мужем ее могущества; особенно понравилось сравнение ее с памятником, но она решила для блага будущего нагнать на мужа побольше страха, а потому подступила к мужу вплотную и сильно повысила голос:

— Так чего ж ты кидаешься на больших людей, моська ты паршивая, заморыш? Это я тебе воли много даю! У другой бабы ты бы на цыпочках ходил! А тут — извольте радоваться! Пошел за прикладом, а заместо того нализался, да еще драться лезет, козявка такая! Я не посмотрю, что сегодня праздник! У, дохлятина несчастная! Я тебя, мыша этакого, пяткой раздавлю!

Она угрожающе потрясла веником и так топнула своей могучей ногой, что в шкафу зазвенела посуда, а у Сыроежкина замерло сердце, из глаз закапали слезы, а в голове пронеслось: «Убьет, кобыла, раздавит».

Но в этот момент послышался стук в двери.

— Сейчас,— крикнула Дарья Егоровна и, поспешно всунув широкие ступни в туфли, зашлепала к дверям, тряся крутыми тяжеловесными бедрами.

Дрожащий герой перевел дух и стал одеваться.

В комнату вошел Роман Романыч, празднично одетый, пахнущий одеколоном.

С Дарьей Егоровной он поздоровался галантно: шаркнул ногою и низко склонил голову, с Сыроежкиным — снисходительно:

— Мое почтение, уважаемый. Здрасте, мой дорогой.

Сел на предложенный Дарьей Егоровной стул и сразу приступил к делу.

— Хочу заказать, понимаете ли, нет, костюмчик. Серый. Но чтобы фасон настоящий парижский. У меня один знакомый приехал из Парижа. И серый костюмчик у него — шикарный. Прямо, понимаете ли, нет, крик моды.

— Парижского материала тут не достать,— угрюмо сказал Сыроежкин.

— Н-да,— вздохнул Роман Романыч.— Коверкот надо бы.

— Коверкот на костюм не годится. Толстоват. Шьют, правда, из коверкота. Но порядочный заказчик не закажет. Надо так называемый серый материал. А коверкот идет на дамские польта. А материал серый очень даже прилично будет, ежели к тому же взять подороже.

— Мне главное, понимаете ли, нет, чтобы фасон был настоящий парижский.

— А какой такой особенный фасон? У нас все фасоны парижские. Тебе пиджачную пару или тройку?

— Тройку?..

Подумал секунду. Закивал головою:

— Да, да, тройку.

— Что ж, сошьем специально. Не хуже Парижа сошьем. Ругаться не будешь. Слава тебе, господи, пошили на своем веку всевозможные костюмы. И никто не жаловался. Покупай материал. Хочешь — вместе же и сходим.

Сговорились идти на следующий день за материалом и прикладом.

Столковались и о цене за работу.

Роман Романыч не торговался:

— Бери, сколько полагается. Только,— понимаете ли, нет, угоди. А главное: в какой срок сошьешь? Мне обязательно требуется к Троице. А Троица у нас в будущее воскресенье. Успеешь ли к Троице, Николай Игнатьич?

Сыроежкин принял очень важный и глубокомысленный вид. Закрыл глаза и долго потирал лоб.

Наконец облегченно вздохнул:

— К Троице, говоришь... Гм... К Троице... Тэк-с... Что ж, ежели завтра купишь материал, то тогда к субботе можно поспеть. Правда, работать придется, не покладая рук. А раньше субботы никак нельзя. Потому считай: первая примерка — через два дня, вторая — тоже через два. Ну, да, к субботе можно. В аккурат к Троице — будет готово.

— Уж не жениться ли задумал? — спросила Дарья Егоровна, когда Роман Романыч стал прощаться.

— Может, впоследствии и женюсь,— кокетливо улыбнулся Роман Романыч.

— Бери в женки Таисию. Жалеть не будешь. Девка здоровая и старательная.

Роман Романыч неопределенно усмехнулся, а Сыроежкин, почувствовавший, по случаю получения заказа, что его положение в доме стало устойчивее, чем было несколько минут назад, угрюмо буркнул, покосясь на жену:

— Куда ему корову-то! Доить, что ли!

Желание иметь серый костюм возникло у Романа Романыча после того, как приходил к нему бриться так поразивший его человек в сером костюме.

Сначала Роману Романычу просто казалось, что в таком же, как у похожего на него «артиста», костюме он и сам будет похож на артиста, станет очаровательнее и интереснее, чем есть. И все.

Но потом мысль о приобретении серого костюма положи-

тельно лишила его покоя: выходя на прогулку в своем выходном, хорошем синем костюме, Роман Романыч чувствовал себя неловко, словно был полуодет или одет в лохмотья.

Он даже не пошел на вечеринку к Иуде Кузьмичу.

Собирался долго и старательно, два дня упражнялся в пении, но перед тем как выйти из дома — посмотрел в зеркало. И остался.

А синий костюм к его белому лицу и золотистым волосам шел как нельзя лучше.

И сам Роман Романыч отлично знал это.

По утрам он просыпался с ощущением какой-то потери.

Но потом понимал, что это оттого, что недостает серого костюма.

Наконец, заказав костюм, он, приходя к Сыроежкину на примерки, подолгу просиживал у него.

Одно сознание, что костюм шьется, один вид хотя еще недошитого костюма действовал на Романа Романыча успокаивающе.

Но так как неловко было сидеть над душою, то Роман Романыч делал вид, что интересуется портняжной работой, и расспрашивал то о том, то о другом, касающемся этого цеха.

А хвастливый и словоохотливый Сыроежкин старался поразить Романа Романыча разными тонкостями своего ремесла.

— Наша работка — с загогулинкой,— хитро подмигивал Сыроежкин.— Штучка, можно сказать, с ручкой. Кто незнающий, так в два счета заблудится, что в дремучем лесу.

Указывал на наметку на боках костюма.

— Вот, примерно, нитки белые. Нитки и нитки. А как эта музыка, думаешь, называется? Не знаешь? То-то и оно. А называется: «силочки». Во.

Он прищелкивал языком и, подняв лохматые брови, смотрел на Романа Романыча так, точно хотел сказать: «Что, брат, выкусил?»

Откладывал в сторону ножницы, втыкал иголку в бортик жилетки, долго, прищуриваясь, смотрел на Романа Романыча, а затем начинал вкрадчиво, с затаенным коварством:

— А вот на плече шов-с. Шов и шов, все так зовут. Верно?

Он поднимал кверху кривой от ножниц палец.

— А между прочим, есть этому шву такое наименование, что думай три года и каких угодно знаменитых ученых собери, и никто ни черта не надумает. А ну-ка?

И, выдержав приличную паузу, страшно хмуря брови, выпаливал:

— Гривенка.

Затем, играя накинутым на плечи сантиметром, спрашивал уже тоном добродушного экзаменатора:

— А вот штучка. Это уж просто. Так, легонькая шарада: когда рукава шились длиннее: при царе или сейчас? Что? Не знаете? Так и быть, скажу: при царе — короче, а сейчас — длиннее. А почему так, позвольте спросить?

— Не знаю,— пожимал плечами Роман Романыч.

Сыроежкин грубо кричал:

— А потому, что тогда манжеты носили. Так вот и короче, чтоб их видно было. Голова с мозгам.

По мере того как работа подходила к концу, Роман Романыч чувствовал вместе с нетерпением прилив радости.

И еще за два дня до того, как костюм был сшит, он купил фетровую шляпу кофейного цвета.

А вечером накануне Троицы, у себя в комнате, Роман Романыч в сером костюме и с коричневой шляпой на золотистых кудрях подошел к зеркалу и вздрогнул — так поразительно был он похож на того клиента в сером костюме.

Долго не отходил от зеркала.

Принимал разные позы.

Слегка сдвинул шляпу назад, так, что выбилась на лоб кудрявая прядь волос. Откинул голову.

И стал совсем — как тот.

И, глядя на свое отражение, ощутил, как и тогда, когда, брея, всматривался в лицо необыкновенного клиента — что вот-вот вспомнится что-то забытое, страшно знакомое, милое.

Вот — почти вспомнилось.

Даже задрожал Роман Романыч, напрягая память,— боялся упустить. И упустил.

Стало до тоски досадно. И, мучительно силясь вспомнить, пристальнее смотрел в зеркало.

Так иной раз мучает забытый сон.

Забыт, не вспоминается совсем. Но осталось какое-то ощущение сна, и оно мучает. Все напоминает о сне: люди, свое собственное лицо и голос, свет, воздух, звуки — все напоминает и в то же время как бы и мешает вспомнить.

Но в конце концов какое-нибудь слово, звук, лицо — представят сновидение во всей ясности.

Вот и теперь.

В раскрытую форточку ворвались звонкие детские голоса.

И когда откатились, звеня где-то вдалеке,— Роман Романыч вспомнил, как он стоял так же перед зеркалом, но не в костюме парижского фасона, а в белой рубахе, расшитой по воротнику и подолу зелеными елочками и красными цветками.

13

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЬЧЖУРСКОГО ГЕРОЯ

В ту же субботу перед Троицей, когда Роман Романыч, облачась в новый костюм, чувствовал себя на высоте блаженства,— с Сыроежкиным стряслась беда.

И виновником беды косвенным образом являлся тот же серый костюм.

Было так:

Роман Романыч весь тот день находился в ожидании костюма, в непрерывном волнении и не дождался, когда Сыроежкин принесет костюм, а сам пришел за ним в тот момент, когда Сыроежкин увязывал костюм в платок.

Дома была и Дарья Егоровна, только что вернувшаяся из бани.

Так что Сыроежкин, получив деньги за работу, передал их из рук в руки жене.

Но, провожая заказчика до выходных дверей, Сыроежкин успел шепнуть ему, что не мешало бы, дескать, спрыснуть обновочку.

Роман Романыч расщедрился и тайком от Дарьи Егоровны сунул Сыроежкину рубль.

— Выпей, миляга, один. А мне, понимаете ли, нет, некогда. Делишки есть кой-какие.

Рублевка подмывала Сыроежкина идти в пивную.

Но вырваться из дому было не так-то легко.

Вечером, да еще под Троицу, Дарья Егоровна ни за что не пустит.

Разве так, как есть, без шапки да в сандалиях на босу ногу, будто к воротам воздухом подышать.

Сыроежкин сделал пробу.

Потянулся, зевая:

— Уф! Замучился с этим костюмом несчастным. Хуже нет на спешку работать. Башка прямо не своя стала. Пойти на воздух, что ли? У ворот посидеть?

Проба не удалась.

Дарья Егоровна обрезáла на ногах ногти, шумно посапывая.

Не поднимая головы, она сказала твердо, не допуская возражений:

— Знаю твой воздух. Отдохнешь дома. Вот скоро поужинаем да и спать. Нечего шляться.

Ужинал Сыроежкин без всякого аппетита.

В окна неслись шум улицы, веселые певучие голоса де-

тей, звуки гармоники печника Столярова, живущего по соседству.

От всего этого тянуло на предпраздничную улицу, в пивную, где, как дома сейчас, березки по углам.

«Что такое придумать конкретное»,— шевелилось в голове Сыроежкина.

И хотя придумать ничего не мог, но почву на всякий случай подготавливал:

— Хорошо этот заказец подвернулся. По крайности деньжата к Троице есть. А на днях Поляков, газетчик, брюки принес в переделку... Гм... Да... Недельку я не пил. И еще с месяц надо придержаться. Давеча Романыч, как я его провожал: «С меня спрыски,— говорит,— приходятся. Хочешь,— говорит,— сейчас принесу». А я ему: «Не надо. После как-нибудь. Не желаю,— говорю,— соблазняться».

— Уж ты, пожалуй, откажешься,— усомнилась Дарья Егоровна.

— Ей-богу. Спроси у самого Романыча, если не веришь. Да и пора поддержаться. Деньжат надо приработать.

Дарья Егоровна вдруг вспомнила, что собиралась вернуть долг своей сестре.

— Ах ты, шут возьми! Совсем из головы вон. Варваре-то нужно бы восемь рублей отдать. Ведь скоро год, как брали. Бабе-то к празднику деньги во как пригодились бы!

— После праздника еще нужнее будут,— дипломатично заметил Сыроежкин.

Он знал, что жена с ним не согласится. Но и сама к сестре денег не понесет, так как еще не было случая, чтобы она куда-нибудь ходила после бани.

Ленилась даже выходить к воротам.

А сестра Дарьи Егоровны жила далеко, в другом районе города.

Расчеты Сыроежкина оправдались.

Дарья Егоровна принялась кричать, что не после праздника, а именно сегодня нужно отдать Варваре деньги, что еще времени немного, только девять часов, и кооперативы торгуют долго, так что сестра успеет купить, что ей надо.

— Только ведь тебе, чучелу такому, денег-то доверить нельзя,— горячилась Дарья Егоровна.

На это Сыроежкин с невозмутимым спокойствием отвечал:

— Что я их, съем, твои восемь рублей?

— Не съешь, а пропьешь, пьяница несчастная!

— Пропьешь,— пожимал плечами Сыроежкин.— Сегодня человек, вот Романыч-то этот, можно сказать, прямо в глотку

лил, и то я отказался. А тут возьму да и пропью. Что у меня, две головы, что ли?

— Ни одной у тебя нету, у дурака такого.

В конце концов Сыроежкин, напутствуемый добрыми словами, вроде: «Если подлость сделаешь, так лучше, пьяница, глаз домой не кажи», «чтоб я тебя, мерзавца, тогда и не видела больше», вышел из дома, тайно ликующий.

Никакого злого умысла в голове Сыроежкина не было.

Восемь рублей он хотел честно доставить по назначению, а пропить собирался только свой рубль, да и то на обратном пути.

Но дело обернулось совершенно иначе.

Бывает, что когда человек с нетерпением ждет трамвая, то идут, как нарочно, не те номера, какие нужны; а потом пройдет почтовый вагон или повезут какой-то там песок или иной строительный материал; а не то пролетят иллюминованные вагоны с кричащими «ура» ребятишками.

А нужного трамвая все нет и нет.

И кто знает, может быть, не дождавшийся трамвая нетерпеливый человек, отправляясь пешком, заходит по дороге в ресторан или клуб, пропивает, проигрывает казенные деньги или, оказавшись на глухой улице, становится жертвой грабителей.

Сыроежкин простоял на остановке минут десять, показавшихся ему целым часом, а когда наконец подошел нужный трамвай, стоящая на площадке вагона кондукторша закричала, махая рукою:

— Граждане! В парк идет! В парк!

«В парк, так в парк», подумал Сыроежкин.

И пошел.

А по пути завернул в пивную.

И не потому, что уж очень тянуло, а просто захотелось пить.

В воздухе парило, как перед грозою.

Сидя в пивной, Сыроежкин долго отирал платком лоб и шею и отдувался.

Потряхивая головою, несколько раз обращался к человеку, сидящему за соседним столиком:

— Ну и жарища. Прямо, можно сказать, сварился. Пивка холодненького хорошо выпить. Освежает.

Сосед кивал головою в знак согласия.

— А зимою, напротив, теплое лучше пить. Согревает,— говорил Сыроежкин, любовно глядя на тающую в стакане пену.

Выпил он всего одну бутылку.

«Надо сперва дело сделать».

Выйдя на улицу, быстро зашагал.

Прошел три пивных.

Но недалеко от дома, где жила сестра жены, Сыроежкин опять зашел в пивную.

Теперь уже не потому, что мучила жажда, а манил шум и гам, несшийся из растворенной двери заведения.

А затем и произошло то, что не случалось с Сыроежкиным за всю его почти пятидесятилетнюю жизнь.

Сперва Сыроежкину потребовался собеседник.

Долго искать не пришлось.

В задней комнате пивной за угловым столиком сидел молодой чистенький парень и пил лимонад.

Сыроежкин попросил у него разрешения присесть за его столик, и парень, приподнявшись на стуле, учтиво поклонился:

— Пожалуйста.

Сыроежкин ценил вежливое обхождение, а кроме того, ему понравились веселые ясные глаза и свежее лицо парня, а потому он сразу же заговорил с ним, как со старым знакомым:

— Деньжат сегодня заработал. Костюмчик сшил человеку. Я — портной, можно сказать. Специалист своего цеха. Старый специалист.

Молодой человек ласково улыбнулся и закивал головою, точно ему было очень приятно, что Сыроежкин специалист-портной.

— Шикарный костюмчик сварганил. Настоящий парижский. Крик моды, можно сказать. А потому можно и пивка бутылочку пропустить. Правильно?

Молодой человек опять улыбнулся и закивал:

— Совершенно верно. Завтра праздничек,— отчего не выпить.

Он помолчал и тихо добавил:

— Я вот думал водочки выпить, да одному полбанки много. И с финансами, знаете, у меня не густо. Не желаете ли войти в компанию на половинных началах?

Сыроежкин быстро рассчитал, что если заказать лимонад, который вдвое дешевле пива, а обратно опять идти пешком, то можно войти в долю на полбутылки, не трогая ни копейки из восьми рублей.

Парень же денег вперед не требовал, так что никакого обмана не предвиделось.

Парень сходил за водкой.

У него оказался и ножичек со штопором.

Он быстро разлил водку по стопкам.

— Лучше, чем пиво-то,— сказал он, чокаясь с Сыроежкиным.

Стал мизинцем вылавливать что-то из стопки.

Вероятно, кусочек пробки или сургуча.

— Ну, будь здоров, товарищ,— сказал Сыроежкин, не дождавшись, когда парень станет пить.

И опрокинул в рот стопку.

А парень все еще вылавливал что-то из своей стопки.

А потом поднял голову, но все еще не пил, а устремил на Сыроежкина странный выжидающий взгляд.

«Чего он? Я же свою часть уплатил»,— подумал Сыроежкин.

И вдруг почувствовал, как внутри все стало неприятно неметь.

Мгновенно прервались говор, гвалт, звон посуды, словно их кто отрезал.

В глазах заколыхались столы, сидящий напротив человек.

И страшно, до боли, отяжелели веки.

— Понимаешь, сынок. Как хватил, так и сознания решился.

Босой, без шапки, мальчишка посмотрел на Сыроежкина скучающим взглядом и продолжительно зевнул:

— Подсадил на малинку. Ясное дело.

— Это что же за малинка такая?

Мальчишка даже не взглянул на Сыроежкина и буркнул:

— Какая? А вот та самая, что ты пил.

И, завидя идущего человека, сделал строгое лицо и, выпятив губы, запел сильным, несколько сиплым альтом:

— Булочки с колбаской, с яйцом, пожалуй-те-е.

Улица скучна.

Прохожие редки.

Не гремят трамваи.

Изредка пронесутся грузовые безглазые вагоны, автомобиль с ночными гуляками.

Полусумрачная летняя ночь на исходе.

— Чего домой не идешь?

Сыроежкин обрадовался этому вопросу.

Оживился:

— Прямо, сынок, не знаю, что и делать. К женке идти — значит под верный мордобой. Она у меня ничего не сознает. А чем я виноват, что меня обобрали?

Случившееся с Сыроежкиным несчастье пробудило в нем страстное желание открыться, поговорить по душам.

И здесь, на подоконнике магазинного окна, чужому босоногому мальчишке он рассказал свою невеселую семейную повесть.

Первый раз за много лет, а может быть, и за всю жизнь он не

лгал, не хвастал, а, наоборот, не боясь насмешек, говорил, ничего не скрывая.

А мальчишка вставлял свои замечания серьезно и бесстрастно, как судья:

— Значит, держит тебя под каблуком. Это бывает. Раз у ней сила — она над тобой и издевается. Это верно. Что же ты можешь сделать, когда она большая и здоровенная. Тебе приходится ее слушаться. Правильно. Захочет — побьет, захочет — помилует. Такое дело.

— Вот в этом-то и суть,— оживлялся Сыроежкин.— Ты, сынок, с понятием. Может, и смешно, что я бабы боюсь и что она меня бьет. А ты видишь, что я за человек. Разве я могу совладать с такой бабищей. Силы у меня, дружок, что у мухи. Меня, веришь или нет, мальчишка один, Елисейка такой, татарин,—ему всего шестнадцать лет, а как сгребет, так я и под ним моментально. Сказать кому, так не поверят.

— Что же не верить. Ничего нет удивительного,— спокойно и бесстрастно сказал мальчишка.— Мне вот тоже шашнадцать, семнадцатый, а я своего старшего братишку как хочу побрасываю. А ему уж двадцать пять лет. А тоже маленький, все равно как ты. Ничего нет удивительного. Другой мальчишка — что медведь, а мужчина никудышный. Мало ли что бывает.

— Вот видишь. Ты с понятием. Люди разные бывают. Ты, можно сказать, мальчишка, а больше меня. А ноги-то у тебя какие. Что у богатыря.

Мальчишка вытянул ногу, пошевелил черными от загара и грязи толстыми пальцами, сказал равнодушно:

— Ноги, верно, подходящие. Большие очень. Босиком много хожу, вот и большие оттого. Нога свободу любит, разрастается.

Сразу потемнело.

Подул сильный ветер.

Зашелестели по панели бумажки. Закрутились в вихре.

Одна понеслась высоко над улицей.

Пошел дождь.

Сперва редкий, пестрящий панель крапинками, потом хлынул потоком.

Загрохотал гром.

Мальчишка торопливо накрыл корзину клеенкою.

Побежал, шлепая по лужам, поскальзываясь на мокрых камнях.

Сыроежкин не отставал от него.

Оба они спрятались от дождя в разрушенном доме.

Сидя на груде битых кирпичей и прислушиваясь к шуму дождя, Сыроежкин опять заговорил, вздыхая:

— Кабы выпивши, тогда шут с ней. Пошел бы домой. Драка, так драка,— наплевать. Пьяному все ладно.

Мальчишка вдруг перебил:

— Слушай, дядя. А я бы на твоем месте так сделал. Шапку у тебя украл тот-то парень? Ну вот. Я бы и толстовку загнал. Так, мол, и так. Напали грабители, с револьверами. В масках, сказал бы, чтобы скорее поверила.

— Не поверит,— уныло отмахнулся Сыроежкин.— Скажет — прогулял.

— Прогулял,— загорячился мальчишка.— Восемь рублей, да шапка, да толстовка. Разве ты мог бы столько пропить? Ты бы тогда и раком не пришел бы. Сам пойми, голова садовая.

Сыроежкин задумался.

А мальчишка шире развивал свой план.

Он загорелся. Недавнего холодного равнодушия как не бывало.

— Я бы залил так, что кто хошь поверил бы. Не беспокойся. Морду бы себе поцарапал. Очень просто, для виду. Напали, мол, налетчики, и все. А тут и толстовку загнать можно. Особенно ежели за водку.

— Где загнать-то?

— А у вокзала. Тут завсегда шинкари, будь ласков.

При упоминании о водке Сыроежкину стала нравиться мальчишкина идея.

Действительно: шапка, толстовка да плюс восемь рублей. Разве он мог столько пропить? Тем более что вещей он с себя никогда не пропивал. Да разве у него хватило бы смелости это сделать,— неужели она этого-то не может понять?

А выходной костюм есть. Да и старый пиджак еще хороший, так что без толстовки жить можно.

А мальчишка, словно читая его мысли, весело подмигивал черным плутовским глазом и смачно причмокивал:

— А у меня и закусочки сколько хошь, во! Полкорзины.

Откинул клеенку.

— С краковской есть. С чайной. С яичками.

Сыроежкин покосился на булочки, вспомнил о водке и стал нерешительно расстегивать пуговицы рубашки.

А мальчишка, захлебываясь, сыпал:

— Полтора целковых я тебе оставляю, чтобы ты не думал, что я смоюсь. И малинки никакой не бойся. Первый буду пить, сам посмотришь. И мятных лепешек достану. Чтобы женка твоя не расчухала, когда станешь с ней балакать. Со мной, дядя, не пропадешь на свете. Будь ласков...

Дождь лил по-прежнему.

Сыроежкин с мальчишкою уже по несколько раз потянули из горлышка бутылки.

Захмелевший Сыроежкин воспрянул духом.

От уныния не осталось и следа.

Он встряхивал головою, двигая косматыми бровями, часто вскакивал с груды кирпичей.

И, выставляя то одну, то другую ногу, уже сыпал рассказ за рассказом о своих маньчжурских подвигах.

А мальчишка, тоже опьяневший, раскрасневшийся сквозь грязь и загар, весело смеялся лукавыми черными глазами.

Потом Сыроежкин, старательно хрупая мятные лепешки, дышал в лицо мальчугану:

— Ну, как, сынок? Не пахнет? Все в порядке?

— Все в порядке,— отвечал пьяный мальчишка.— Можешь... топать к бабе. Опре...деленно.

Дарья Егоровна обычно спала без снов.

Но в ночь под Троицу перевидала их много.

То снился ей муж, раздавленный трамваем.

Она плакала и причитала, глядя на его кровавые обрубки вместо ног.

То била его туфлей за пропитые деньги, а он кричал, как всегда:

— Егоровна. Не бей. Бить-то ведь некого.

То дралась с накрашенной девкой, которая обнималась с мужем.

Слышала сквозь сон дребезжание звонка.

Но сон так долил, что не было мочи подняться.

Вот зашлепала по коридору квартирная хозяйка.

Заскрипела комнатная дверь.

Дарья Егоровна открыла глаза. Сон сразу слетел с нее.

Она поднялась с постели, но еще ничего не могла толком разобрать.

Муж стоял среди комнаты, переступая неверными ногами, стараясь удержать равновесие.

Он был без шапки, в нижней рубахе, грязной и мокрой.

Брюки сползали.

Он громко икнул и, таращa посоловелые глаза, заговорил, еле-еле ворочая языком:

— Ты думаешь — я пьян... Ничего... подобного... Вот... дыхну и... и... и... ничем... не пахнет... я — жертва... пппо...няла... Жертва... банди...тизма. В аккурат. Пррa...вильно. Наганы... Ну, а мне жизнь... дороже. Вот... В масках... все честь честью. Как полагается... И восемь целковых и толс...товку — начисто... Все в порядке.

Дарья Егоровна вышла из оцепенения.

Взвизгнула:

— Мерзавец. Ты — опять...

Метнулась в угол, где стояла новая, еще не бывшая ни в каком употреблении швабра.

Симуляция вооруженного грабежа сорвалась.

14

ЗЕРНА ГРАНАТА

Серый костюм, как когда-то в ранней юности рубашка с вышитым воротом, придал Роману Романычу решимость и непоколебимую веру в успех в любви.

И в Троицу, то есть на другой же день, как костюм был сшит, Роман Романыч отправился к Смириным.

Его уже не смущала история с тригонометрией.

— Да и что — тригонометрия.

Разве эта глупая труба на трех ножках могла стать помехою его счастью?

А Роман Романыч был счастлив, так как глубоко верил, что любовь его встретит взаимность.

«Моя безупречная красота победит — иначе и быть не может»,— думал Роман Романыч, собираясь к Смириным.

Перед тем как выйти из дома, он проделал небольшую репетицию предстоящей встречи с девушкою.

«Сперва я, конечно, вхожу».

Роман Романыч легко, эластично, подражая походке того клиента, прошелся по комнате и остановился перед зеркалом. Снял шляпу и, улыбаясь, прошептал:

— Добрый день, Вера Валентиновна.

«Обворожительная улыбка»,— с удовольствием подумал, любуясь на свое отражение.

«Предложила, понятно, сесть».

Роман Романыч галантно поклонился, сел, слегка поддернув на коленях брюки, прикоснулся лакированными ногтями к белому галстуку-бабочке.

— Ну-с, как течет ваша жизнь молодая? — прошептал, делая томные глаза.

Шепотом приходилось говорить потому, что за стеною, в кухне, находилась Таисия.

На вопрос о командировке, который Вера, безусловно, задаст,— опять улыбка, но уже с оттенком грустного сожаления, многозначительная игра глазами и ответ:

— К чему эти мелочи. Командировка, понимаете ли, нет,

деталь. Что она значит в сравнении с вечностью. Побеседуем лучше о более нежных вещах.

Окончив репетицию, Роман Романыч вышел из дома приятно взволнованный.

На улице ему казалось, что встречные, особенно женщины, смотрят на него с необычайным интересом, даже как бы с изумлением.

Это доставляло большое удовольствие, и, чтобы продлить его, Роман Романыч не сел на трамвай, а отправился пешком.

Шел, часто переходя с панели на панель, в зависимости от того, где было больше прохожих.

И смотрел на мужчин с милостивой внимательностью, а на женщин и девушек — с горделивой нежностью.

Веру Роман Романыч застал одну.

— Володя скоро придет. Подождите. И мама должна сейчас быть,— сказала Вера.

Роман Романыч прошел следом за нею в комнаты.

Если раньше Роман Романыч испытывал в присутствии девушки неловкость и смущался, когда она обращалась к нему с каким-либо вопросом, то теперь, наоборот, он сам повел непринужденную беседу.

Первый его вопрос: «Как течет ваша жизнь молодая» — сопровождался, как и на репетиции, томной игрою глаз, а следующая фраза: «Вы цветете, как чайная роза» — обворожительною улыбкою.

Вообще он страшно кокетничал: щурился, встряхивал веселыми кудрями, изящно опахивался цветным шелковым платочком, распространявшим запах тройного одеколона.

Говорил нежно и томно:

— Не правда ли, Вера Валентиновна, очень превосходная погода стоит на дворе. Надо будет ее использовать. На острова, например, прокатиться. На лодочке — очень великолепно. Вы, понимаете ли, нет, любительница кататься на лодке?

— Люблю,— ответила Вера.

— Я сам большой любитель. Давайте как-нибудь сорганизуемся, компанией. А еще в Петергоф хорошо съездить на пароходе. Я ужасно люблю стоять на палубе и вдыхать полной грудью аромат моря. А тут, понимаете ли, нет,— волны колыхаются. Красота, честное слово. И чайки летают.

Тема о морской прогулке иссякла.

Роман Романыч хотел перейти на разговор о кино. И уже начал:

— Видел нашумевший германский боевик...

Но пришла мать Веры.

Вера заторопилась идти к подруге.

Роман Романыч вышел вместе с нею, надеясь ее проводить, но подруга Веры жила напротив, через площадку лестницы.

В последующие посещения Смириных, по четвергам, Роман Романыч вел себя так же смело и непринужденно.

Стал общительным даже с гостями Смириных, которых раньше сторонился, считая своими соперниками.

Они ему уже были не страшны.

Он верил, что сердце любимой девушки будет принадлежать ему.

Победителем будет он.

Центральный ресторан, где раньше Роман Романыч беседовал с официантами и случайными соседями об инженерстве и Донецком бассейне, он посещал и теперь, когда заменил фуражку инженера фетровой шляпой кофейного цвета, а синий костюм — серым.

И вот как-то в августе он, идя от Смириных, зашел в ресторан.

Был уже поздний час.

В залах — людно и шумно.

Скрипки пели лихорадочно и резко, как всегда в ночное время.

Роман Романыч спустился в подвальный, наиболее уютный и тихий зал ресторана.

Спросил пива и бутерброд с сыром и в ожидании заказанного стал просматривать театральный журнал, заменяющий ему со времени приобретения серого костюма иностранную книгу.

Неподалеку от Романа Романыча сидела шумная пьяная компания.

Сначала он не обратил на нее внимания.

Но когда смолкла музыка — стало слышно, как один из компании говорил:

— Я льстить не умею, но прямо скажу: стоит тебе выйти на эстраду и публика уже твоя. Что? Неверно?

В ответ что-то заговорили пьяные собеседники.

Тогда Роман Романыч посмотрел в ту сторону, откуда доносился разговор.

Сердце его забилось радостно и испуганно, как тогда, когда он, после долгих томительных исканий, встретил Веру.

Среди пьяной компании был т о т клиент.

Он сидел, глубоко откинувшись на спинку стула.

Лицо его было бледно. Глаза смотрели неподвижно и, каза-

лось, не видели ничего. Растрепанный чуб волос свесился над страдальчески сморщенным лбом.

Вдруг он выпрямился, подался вперед, вскинутая голова вспенила над белым лбом золотистые кудри; морщины исчезли — лицо стало юным.

Он встал, протянул вперед руку и, не опуская ее, заговорил как-то странно, нараспев.

Роман Романыч не мог уловить многих слов, они текли и качались, как волны.

И казалось, их качала плавно махающая простертая рука.

Шум в зале смолк.

А голос становился громче, звончее. Слова уже не плыли, а рвались, как рыдания.

И высоко простертая рука не плавала в воздухе, а металась, вздрагивала, словно раненая белая птица.

И слова — простые, обыкновенные — их уже ясно слышно — были в то же время необычайными в своем сплетении, в судорожном своем трепете.

Они, словно вопли раненого, сжимали сердце и вместе с тем чаровали, как прекрасная музыка.

Роман Романыч, затаив дыхание, не мигая, смотрел на необыкновенного человека в таком же, как у него, костюме. И от мысли, что этот безусловно знаменитый артист похож на него так, будто был его родным братом, от этой мысли горделивая ликующая радость охватывала Романа Романыча.

Взметнулся последний крик и замер. Опустилась измученная белая птица.

Отовсюду, из всех углов, от всех столиков посыпались хлопки и долго дрожали под лепным потолком.

Пьяный голос прокричал несколько раз:

— Браво! Бис!

Но — взвизгнула скрипка, загудел контрабас, загрохотали аккорды рояля.

И над пьяными столиками, над отуманенными головами уже несся фокстрот, ломаясь, кривляясь, назойливо визжа и нагло хохоча в уши, жеманно замирая, вздыхая сладострастно.

Тот был пьян.

Вскакивал с места, натыкаясь на стулья, на столики, стремительно подходил к музыкантам, держа в одной руке бутылку, в другой — стакан.

Потом плакал. Целовался с толстым, бритоголовым (с ним вместе он был тогда в парикмахерской — Роман Романыч узнал

толстого) и с другим: невысокого роста, черным, с лицом мальчика, но с глазами пожившего человека.

Толстого он называл дядей Сашей, черного мальчика — Вольфом.

Потом они стали подниматься из-за стола. Задвигались в узких проходах между столиками к выходу.

Тот пошел тоже, но вернулся к столу и снова сел.

Его товарищи, ожидая, остановились у выхода.

А, он, наклоняясь над столом, водил по нем полусогнутой рукою, точно широко и медленно выписывал что-то по всему столу.

А когда отошел от стола — Роман Романыч, сам не зная для чего, двинулся ему навстречу и пробормотал:

— Извиняюсь, гражданин.

На Романа Романыча в упор глянули синие холодные глаза, а над ними раскинулись, как крылья ласточки, сдвинутые, срастающиеся брови.

— Я, а не ты,— протянул пьяный, ломкий голос.— Понял? Только — я.

— Что-с? — прошептал, сильно смутившись, Роман Романыч.

Брови — ласточкины крылья вздрогнули над ледяными глазами. Пышноволосая голова вскинулась гордо.

Стукнула об пол, вздрогнула и выпрямилась, как живая, трость.

— До-рогу! — стеклом прозвенел голос.

Роман Романыч посторонился. Приподнял шляпу. Простоял, ошеломленный, несколько мгновений.

Затем шагнул к столу, за которым недавно сидел тот.

На столе лежал разрезанный гранат.

И на белой, как снег, скатерти, крупно, почти во весь стол — имя и фамилия из тщательно уложенных зерен граната, красных и мокрых, словно капли густой крови.

15

АРИЯ ЛЕНСКОГО

Что человек в сером костюме — знаменитый артист, и притом артист оперный, в этом Роман Романыч ничуть не сомневался.

Вспоминая случайную с ним встречу в ресторане, Роман Романыч думал: «Не пел, а вроде как напевал, и то всех прожег до основания. А исполнил бы арию, так на руках бы понесли, даром что в ресторане петь не разрешается».

Вспомнилась и фраза толстого дяди Саши, сказанная им в парикмахерской о своем приятеле: «Он — чистокровный русак, но такой, что отдай все, да и мало».

Словом, ясно — знаменитый артист.

И тенор — понятно. По голосу слышно.

И Роман Романыч аккуратно каждую неделю прочитывал театральный журнал, надеясь встретить в нем, среди имен артистов, имя человека в сером костюме.

Но имени его не встречалось.

Искал же Роман Романыч это имя для того, чтобы узнать, где тот поет, и пойти его послушать.

Хотелось сравнить его пение со своим.

Пьяные слова артиста в ресторане, когда Роман Романыч к нему подошел, слова: «Я, а не ты» и «До-рогу!», сначала ошеломившие Романа Романыча, были им, после долгого размышления, истолкованы так: «Артист, как чуткая, нежная душа, почувствовал, что перед ним тоже артист. Стало быть, соперник, конкурент».

Ну и ясное дело, озлился.

«Я, мол, один только артист. Дай, мол, дорогу».

А на самом деле неизвестно, кто еще лучше споет.

Роман Романыч без всякого образования и без оперной практики, а так поет, что все люди поголовно в восторг приходят.

А если бы ему настоящую школу кончить, так он бы прогремел на весь мир, не иначе.

Словом, встреча со знаменитостью послужила Роману Романычу на пользу. В свой талант певца и в свою обаятельность Роман Романыч стал верить больше, чем когда-либо.

И на четвергах у Смириных Роман Романыч, считая себя центром всеобщего внимания, наслаждался своим положением исключительного человека: был развязен, снисходителен, добродушно-кокетлив.

С товарищами брата Веры сошелся на короткую ногу, хотя в душе считал себя неизмеримо выше их.

С подругами Веры был ласково-фамильярен, с самой же Верой — сдержан и нежно-учтив.

Любил ее по-прежнему, но от любви не страдал.

Чувствуя себя неотразимым, верил в свою конечную победу над сердцем девушки.

Но ни словом, ни намеком, ни взглядом не давал ей понять, что сознает силу своего обаяния.

Наоборот, когда однажды Вера попросила его написать ей что-нибудь в альбом, Роман Романыч написал так:

«Вы прекрасны, как Снегурочка, но для меня вы растаете, потому что я для вас ни больше ни меньше как нуль».

И, подписываясь: «Известный вам Пластунов» и делая прихотливый росчерк (в царской армии он был писарем), самодовольно подумал: «Побольше бы, черт возьми, таких нулей».

Такую скрытую игру он вел по совету Иуды Кузьмича Моторина, специалиста по амурной части.

Рассказав Иуде Кузьмичу, что он любит очаровательную девушку и намерен на ней впоследствии жениться, Роман Романыч, лукавя, польстил приятелю:

— Вот ты, Кузьмич, в таких делах собаку съел. Как ты, понимаете ли, нет, на женский пол действуешь? В чем тут секрет?

Иуда Кузьмич сложил ладони рупором около рта и таинственно прошептал Роману Романычу на ухо:

— Ин-кру-стация.

Подмигнул:

— Понял, где собака зарыта?

И подавился смехом. Затем продолжал:

— Шутки в сторону, как говорят французы. Слушай да на ус мотай. Говоришь — любишь девочку и она соответствует, но пока что любви своей целиком и полностью не выявляет. Так-с. Это вполне сверхъестественно. Редкая баба сразу откроется. Надо ждать. Время — деньги, говорят американцы. И они совершенно правы. Выждешь время и выгадаешь. А поспешишь — людей насмешишь, как говорят буры. Так вот, Романыч, совет мой таков: пока девочка себя не обнаруживает — будь с нею не холоден, не горяч, а так — чуть тепленький. А как начнет намеки давать: «дескать, какое вы обо мне составляете самомнение», или в альбомчик попросит написать — известны ихние бабские подходы,— тут ты немножечко и выявись: «Я, мол, вами очень заинтересован. Вы, мол, очаровательны. Только все это, дескать, ни к чему, ибо я для вас вроде как пустая атмосфера». Такую линию и веди. Станет она больше выявляться, а ты все — свое: «Оставьте, мол, достаточно», «Пропал я на белом свете, лучше б мне не родиться, а обождать». И все в таком масштабе. Не выдержит. На шею начнет кидаться. А ты все свое. На что хочешь пойдет. Пятки будет лизать, ножки мыть да эту воду пить. Верно тебе говорю.

И еще дал Иуда Кузьмич совет:

— Никогда раньше времени не оказывай перед своим предметом того, что умеешь. Талантов не выявляй. Береги для последнего боя. «Сим победиши»,— говорил Суворов. Скажу, например, о себе. Я, можно сказать, остряк в мировом масштабе,

сам знаешь. Ну так вот. Ходил я в одно общество, подсыпался к хозяйской дочке. Так-с. А там тоже объявился остряк. Анекдотики разные, штуковинки забавные отмачивает. А я себя не оказываю. Все хохочут, а я больше всех. Вот, хожу я к ним, хожу. И тот балагур ходит. Вижу, девица моя прямо глазами его жрет, а сама тает. «Ну,— думаю,— пора, Иуда Моторин, карты раскрывать». Начал я им загибать такого Петра Первого с бородой, что прямо очумели. А тот, мой соперник, тоже загибает. Пошел у нас с ним настоящий, можно сказать, шахматный турнир на первенство мира. У обоих чепухи — воз. Гнем и гнем. И вот сморозил он какую-то препотешную историю. А у меня нет ответа. Кончился временный запас. Но я не растерялся. «Ладно,— думаю,— не мытьем возьму, так катаньем». А дело было на масленой. Беру я, значит, блин, обмазал сметаной. А сам глаза скосил, вот так вот. И блином будто в рот никак не попаду. Мажу себе физию сметаной. Что тут было. Девчонкин отец пивом захлебнулся, матка — блином подавилась, а гостья одна, здоровеннейшая, что тетка Таискина, пудов на девять без костей бабища, от смеха свет потеряла: села на старушонку, что рядом с нею на диване помещалась; та под ней чуть не кончается, а бабища от смеха ничего не соображает: давит бедную старушку задницей и тут же лужу делает, с якоря сняться не может. Старушка, говорят, потом с месяц хворала — толстуха ей что-то повредила. А девица так в меня с того раза втюрилась, что после эссенцией травилась. Сам, поди, слыхал. Так вот, что значит вовремя себя оказать.

Затем Иуда Кузьмич осведомился:

— А ты уверен, что твоя девица реагирует?

Роман Романыч даже изумился.

— А как же. Вот чудак. Определенно, реагирует. Обхождение, чарующие взоры, вздохи томления, и вообще, понимаете ли, нет, чувствуется влечение сердца. Слава богу, не первый день живем на свете. Кое-что в этом деле тоже понимаем.

Под конец Иуда Кузьмич полюбопытствовал — кто избранница Романа Романыча.

И тот, закатив глаза и прижав руки к сердцу, заговорил нежно и мечтательно:

— Ах, Иудушка, милый. Такой девицы ты, ручаюсь, даже и во сне не видал, даром что ты спец в указанной области. Это, понимаете ли, нет, это... не девица, а... девиз красоты и небесной грациозности — вот что о ней можно сказать. И еще — плюс: из высшего света общества.

И Роман Романыч для большего эффекта тут же повысил в чинах покойного отца Веры, полковника Смирина:

— Отец ее был заслуженный боевой генерал... от кавалерии.

Но на Иуду Кузьмича это сообщение произвело обратное действие.

Он разочарованно вздохнул и махнул рукою:

— Знаем таких. Была у меня графская дочка. Ну и что же! Две недели с ней прожил — на два года намучился. Я ей про Фому, она про Ерему. Я — про Ерему — она, обратно, про Фому. Бился-бился, насилу отбился. Нет, брат, Романыч. Чем брать из прежних, лучше поискать из настоящих. Вот Таиска твоя, например. Что? По крайности девица с весом: в загривке пуда полтора, в мадам-сижу — четыре. Идет — что трактор по синим волнам океана.

Роман Романыч не на шутку рассердился:

— Таиска! Да ты с ума спятил. Скажет же тоже, понимаете ли, нет... Ему о божественной красоте, а он... о кобыле... Тьфу!

Роман Романыч ожесточенно плюнул.

А Иуда Кузьмич потрепал его по плечу и сказал наставительно и строго:

— Не плюй в колодец — атаманом будешь.

Кроме альбома Вера Смирина никаких «намеков» больше не делала.

Роман Романыч снова советовался с Иудою Кузьмичом: что предпринять? Не сделать ли самому осторожный подход?

Но специалист по сердечным делам замахал руками:

— Не дури. Чего спешишь? Действуй по-американски.

И Роман Романыч действовал: время шло, кончилась зима, прошла Пасха.

Впрочем, Роман Романыч был пассивным не только из-за советов Иуды Кузьмича.

Главная причина того, что он не предпринимал решительных шагов на пути к завоеванию сердца девушки,— это его профессия.

Как ни сильна была уверенность в своей обаятельности, как ни надежна броня против неудач — серый костюм, но мысль о том, что в случае согласия Веры на брак — а в согласии ее Роман Романыч был уверен — придется открыть свою профессию,— эта мысль приводила Романа Романыча в смущение и уныние.

Правда, когда сама любовь заставит девушку броситься в объятия возлюбленного, тогда никакие профессии не будут иметь ни малейшего значения.

Известно — с милым рай и в шалаше.

Но кто может сказать, когда дело дойдет до шалаша? Да и дойдет ли?

Есть такие женщины, что сто лет любить будет и не откроется. И умрет — не скажет.

Вот тут и жди шалаша.

Так, вполне логично, рассуждал Роман Романыч.

И каждый четверг, идя к Смириным, он думал о том, что если подвернется удобный момент, то можно объясниться с Верою.

А четверги у Смириных стали более оживленными, чем раньше.

Кто-то, вернее всего, писатель, безнадежно влюбленный в Веру, завел моду приносить с собою водку.

С его легкой руки и другие гости делали то же.

Происходили складчины — затем попойки.

Мешали водку со сладким вином и называли эту смесь непонятным словом: «квик».

Трезвым писатель бывал тих и нерешителен, пьяный — преображался: становился надоедливо-болтливым, без конца читал на память стихотворения, плясал «русскую», плакал, грубо ругался.

Гости фокстротировали. На пианино играл некто Николай Иваныч.

О нем говорили, что он сам сочиняет фокстроты и даже написал оперу.

Пели хором.

Роман Романыч в пении не участвовал. Следуя совету Иуды Кузьмича, он не обнаруживал пока что своего таланта.

К тому же из всех песен, что пелись у Смириных, он знал всего одну: «Вот на пути село большое». И то не всю.

Приятели брата Веры были с Романом Романычем, как и он с ними,— ласково-фамильярны.

Называли его не по имени и отчеству, а просто: «инженер». При встречах спрашивали:

— Ну, инженер, как живем?

— Живем, понимаете ли, нет, великолепно,— отвечал Роман Романыч.

— А в шахты скоро полезем?

Роман Романыч лукаво усмехался:

— Без нас, понимаете ли, нет, дело обойдется.

Однажды во время подобного разговора Роман Романыч заметил, что Вера пристально на него смотрит.

Роман Романыч был слегка пьян.

Улучив удобный момент, он подошел к Вере и заговорил:

— Все — инженер да инженер. А в действительности никто не знает, кто я такой есть. А я, понимаете ли, нет, вовсе и не инженер.

— Я в этом и не сомневаюсь,— спокойно сказала девушка.

И, насмешливо улыбаясь, спросила:

— Только для чего вы носили фуражку инженера? А визитная карточка?

Роман Романыч лукаво засмеялся.

— Это, понимаете ли, нет, просто-напросто милая шутка. Скажу только вам, Вера Валентиновна, по секрету. У меня есть приятель. Тоже большой шутник. Он — горный инженер, и тоже — Роман Романыч, и представьте, даже и фамилия Пластунов. Прямо, понимаете ли, нет, удивительно. Одним словом, игра природы... Так вот, карточка-то визитная не моя, а евонная. Я у него ее взял. И фуражку. «Сыграем,— говорю,— тезка, веселую комедию. Я буду вроде — инженер, а ты, наоборот, певец оперный».

— Почему певец? Разве вы артист оперы? — спросила Вера.

— К сожалению, да,— кокетливо улыбнулся Роман Романыч.— Я и не в Донбасс тогда ездил-то, помните? А в Москву, на гастроль. Пел в опере «Заря Востока»... Персидского царя представлял...

Вера вздохнула:

— Вас не разберешь, кто вы такой. Самозванец какой-то.

Этот разговор слышала Тамара-Чертенок.

Она поспешила в соседнюю комнату, где уже разливали «квик», и зашептала:

— Слушайте, слушайте. Роман Романыч признался, что он не инженер.

— Это и без него всем известно,— перебил ее брат Веры.

— Нет, вы слушайте. Оказывается, он — оперный артист,— продолжала, смеясь, Тамара.

Но в комнату вошел Роман Романыч. Разговор прекратился.

Роман Романыч, счастливо улыбаясь и потирая руки и как бы шутливо, но с плохо скрытым торжеством провозгласил:

— Уважаемые граждане и уважаемые гражданки. Внимание. В будущий четверг знаменитый первый тенор Пластунов, понимаете ли, нет, в своем репертуаре. Просьба не опаздывать.

Несколько секунд длилось молчание.

Затем брат Веры протянул Роману Романычу стакан:

— По этому случаю, инженер, надо квикнуть.

А в соседней комнате Вера и Чертенок затыкали рты платками. Плакали от смеха.

А на другой день Роман Романыч перебирал у Иуды Кузьмича граммофонные пластинки и укоризненно вздыхал:

— Эх, Кузьмич, Кузьмич. Любитель ты пения и поешь, можно сказать, все-таки прилично, а ничего серьезного не имеешь, все, понимаете ли, нет, «Ванька Таньку полюбил» да «Голова ль ты моя удалая». Разве это репертуар.

— А я бы на твоем месте исполнил «Бубенчик» да «Турку», ну, а если мало — еще что-нибудь,— заметил Иуда Кузьмич.

— Не понимаю, понимаете ли, нет,— закричал Роман Романыч, чуть не плача,— как можно так легкомысленно относиться к серьезным вопросам. «Звени, бубенчик мой, звени» — моя коронная роль. Значит, ясно и понятно, что я исполняю ее на бис. А что для начала? «Турка»? Благодарю покорно. Там писатели, понимаете ли, нет, музыканты, интеллигентные дамы и девицы, а я с «Туркой» выступлю. Я, понимаете ли, нет, жизнь ставлю на карту, и вдруг — какой-то «Турок». Тут арию нужно обязательно, а не ерунду.

— Ну, успокойся, вот тебе ария,— сказал Иуда Кузьмич, разыскав пластинку, лежащую отдельно от прочих,— вот ария Ленского, мужичка смоленского: «Куда, куда вы удалились» — в пивнушку, что ли, закатились.

И он так затрясся от смеха, что чуть не уронил пластинку.

Роман Романыч испуганно выхватил ее из рук Иуды Кузьмича.

Шесть вечеров Роман Романыч разучивал с граммофона арию Ленского.

Мелодии он всегда улавливал быстро, но слова запоминал с трудом.

Из-за этого теперь волновался, нервничал. Ругал Иудин граммофон:

— Черт его знает, что за проклятый инструмент. Слова выражает неясно, хрипит. Переврешь еще из-за него.

— И переврешь, так не беда,— возражал Иуда Кузьмич.—Думаешь, артисты не врут? Еще, брат, как. Ведь артист, может, в ста операх выступает. Так неужели все их и помнит. Ведь у него, слава богу, не дюжина голов.

Роман Романыч снова кипятился:

— Чудак же ты, Иуда, шут тебя знает. Театр и домашняя обстановка — две большие разницы. В театре, понимаете ли, нет, первым долгом — суфлер. Чуть забыл — он напоминает. А партитура? Да и вообще все там к твоим услугам. И рампа, и все. А тут все в голове держи. За все, понимаете ли, нет, отвечай.

Но в конце концов со своей задачей Роман Романыч справился блестяще.

Накануне выступления он устроил у Иуды Кузьмича репетицию.

На репетиции Роман Романыч перещеголял даже граммофон.

Пел с большим чувством и выражением.

Не только пел, но и играл.

Так, например, при словах: «В глубокой мгле таится он» — Роман Романыч, хмуря брови и оскаливая зубы, отчего лицо принимало злое и коварное выражение, делал несколько хищных шагов, так что похоже было, что это крадется ночной злодей.

А когда пел: «Паду ли я, стрелой пронзенный» — схватывался за грудь и шатался, как раненый. И лицо выражало смертельную муку.

Иуда Кузьмич, изрядно подвыпивший, целовал приятеля, называя его талантом, светочем.

— Ромка, выпьем за твою победу. Завтра ты себя окажешь. Ока-жешь, верь моему слову. На свадьбу, смотри, позови.

Роман Романыч, плача от счастья, говорил, захлебываясь:

— Спасибо, друг Иудушка. Теперь я себя окажу. Чувствую, что окажу. Время настало. Только до ейного сердца добраться, а потом можно и всю правду выложить. Потом — не страшно. Верно, Кузьмич, дорогой?

— Правильно. Завтра окончательно пронзишь ейное сердце. «Сим победиши»,— знаешь, по-суворовски. А уж там бери и веди хоть на Северный полюс, а не только в парикмахерскую.

— Хоть легонький аккомпанементик. Жаль, понимаете ли, нет, не захватил партитуру.

— Ладно. Сегодня как-нибудь, а завтра — блины.

Николай Иваныч тронул клавиши.

Народу было значительно больше, чем обыкновенно бывало у Смириных, но Роман Романыч не смущался.

Наоборот, чувствовал необыкновенный подъем духа.

Голос его зазвучал уверенно:

Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?

Видел серьезные внимательные лица. Заметил, как брат Веры одобрительно кивнул головою.

Роман Романыч встретился глазами с Верою.

И жарко, словно из самого сердца, полился его голос:

Что день грядущий мне готовит?

И еще жарче и проникновеннее:

Чего мой взор...

Но вдруг: Тамара-Чертенок шумно сорвалась с места и, хохоча, выбежала из комнаты. А следом за нею — Вера.

И Николай Иваныч, опустив крышку пианино и откинув голову, долго и тихо смеялся, повторяя сквозь смех одну и ту же фразу:

— Тяжелый случай.

У Романа Романыча задрожали руки и колени, а внутри стало неприятно-пусто.

Он сел на диван и непонимающими глазами окидывал присутствующих.

Но те старались не встречаться с ним глазами.

«В чем дело?» — тоскливо думал Роман Романыч.

И вот писатель, сидевший с закрытыми глазами и, казалось, дремавший, поднял голову и обратился к брату Веры:

— Ну, Володенька,— номер. Уж каких чудаков у тебя не перебывало, а этот всех хлеще. То он инженер, то тифлисскую газету «Заря Востока» на оперу перекладывает и играет в ней персидского царя. А теперь вот «чаво» загнул.

Перевел мутный пьяный взгляд на Романа Романыча и сказал зло и грубо:

— Ну,— «чаво». Пой, смеши людей, коли взялся. Ар-тист.

16

МОСТ

Роман Романыч запил.

После рокового четверга он пошел к Иуде Кузьмичу поведать свое горе.

Застал приятеля пьющим в компании двух женщин и трех мужчин. Ни с кем из них Роман Романыч не был знаком.

Иуда Кузьмич был уже в солидном заряде.

Пока Роман Романыч здоровался с ним и знакомился с его гостями, Иуда Кузьмич уже успел дважды чему-то посмеяться и дважды же произнести: «Спасу нет».

А когда Роман Романыч на его вопрос: «Ну как, лорд, делишки насчет трудкнижки?» — уныло ответил: «Все мои радужные надежды, понимаете ли, нет,— рухнули. Остался я, короче говоря, с носом»,— Иуда Кузьмич прыснул, захлопал в ладоши, словно чему-то чрезвычайно радуясь, а затем, касаясь поочередно груди каждого из сидящих за столом, захлебываясь и чуть не валясь со стула от смеха, заговорил:

— Шла японка с длинным носом, подошла ко мне с вопросом: «Как избавить этот нос, чтобы больше он не рос?» Я японке отвечаю, головой притом качаю: «Очень глупый ваш вопрос. А на что же купорос? Вы купите купоросу, приложите его к носу, а потом, потом, потом отрубите топором».

Иуда Кузьмич долго и мучительно смеялся сквозь крепко сжатые зубы.

Изнемогая, прошептал:

— Спасу нет.

А затем, обратясь к Роману Романычу, сказал:

— Ты, Ромка, не обижайся. Это просто к слову пришлось. Ребятишки у нас на дворе так считаются, когда играют. Понял? А забавно все-таки. Топором, а?

Он снова было заржал, но сдержался.

Роман Романыч, видя, что с Иудой Кузьмичом в настоящую минуту говорить о серьезных вещах более, чем когда бы то ни было, бесполезно,— решил залить горе вином и присоединился к выпивающим.

С этого раза он стал ежедневно по вечерам приходить к Иуде Кузьмичу с предложением составить компанию.

Иуда Кузьмич, способный пить во всякое время дня и ночи и при любых обстоятельствах, без лишних слов принимал предложения приятеля.

Пили когда где: в квартире Иуды Кузьмича, в пивных и ресторанах.

Напиваясь, Роман Романыч забывался. Тоска утихала.

Но по утрам, после пьянства, тоска усиливалась. И, кроме того, появлялось чувство угнетенности, тревоги и неопределенного страха.

Однажды Роман Романыч и Иуда Кузьмич зашли в тот самый ресторан, где когда-то Роман Романыч встретил клиента в сером костюме.

Было еще рано. Часа четыре дня.

Музыка не играла. Посетителей было немного.

Тишина пустоватых зал, пустые эстрады, не бьющий фонтан, в бассейне которого, в темной воде, неподвижно мокли лепестки мертвых цветов и окурки; чахлая, словно не живая, запыленная зелень вокруг бассейна — все это напоминало позднюю осень, умирание, навевало тоску и усталость.

Чтобы утихла тоска, Роман Романыч выпил подряд две рюмки. В голову ударило, но тоска не проходила.

А Иуда Кузьмич был, как всегда, весел.

Смотрел смеющимися глазами на официантов и посетителей. Выпивая, крякал и говорил:

— Первая — колом, вторая — соколом.

Подмигивал:

— А ты, Ромка, не вешай голову, не печаль хозяина. Пей, пока пьется,— все позабудь.

Связался с мальчишкою-газетчиком. Задал ему загадку: «Без окошек, без дверей — полна комната людей».

— Угадаешь — двугривенный огребаешь.

Мальчишка несколько секунд напряженно думал, краснея до волос, сопя широким носом.

Выпалил с торжеством:

— Тюрьма. Ага.

Иуда Кузьмич захохотал, ткнул вилкою в огурец.

— Чудак. Огурец, а ты — тюрьма.

— Какие же в огурце люди? Сам ты чудак,— обиделся мальчишка и отошел от стола.

— Разрешите получить, граждане. Сейчас сменяюсь,—сказал подошедший официант.

Приятели расплатились.

Затем Иуда Кузьмич подозвал нового официанта:

— Тут, друг ситный, все в порядке. А теперь дай парочку пива, чтобы жить не криво.

Он подхохотнул, подмигивая.

— Слушаю,— улыбнулся официант.

И вдруг обратился к Роману Романычу:

— Здравствуйте, гражданин. Я вас было не признал. Давненько не были-с.

Роман Романыч недоумевающе посмотрел на официанта, а тот продолжал:

— Никак с прошлого года. С осени. Ну, да-с. Вы еще тогда, за тем вот столиком расписались. Помните? Семечками от этой, как ее, от гранаты.

Роман Романыч вздрогнул, а Иуда Кузьмич хохотнул:

— Значит, знакомы. Товарищи по несчастью.

— Кто же не знает гражданина...

И официант назвал фамилию, от которой Роман Романыч опять вздрогнул, а Иуда Кузьмич сморщился и оскалил сжатые зубы.

А когда официант ушел, он затрясся от смеха:

— Спасу нет, Ромка. Как он тебя назвал-то, а? Потеха. Знакомые. Друзья с полночи.

Роман Романыч еще не успел ничего ответить, как к столу подошел человек и остановился около самого Романа Романыча.

Роман Романыч взглянул на подошедшего и узнал в нем, толстом и бритоголовом, приятеля клиента в сером костюме.

«Дядя Саша»,— подумал Роман Романыч, смущаясь и чему-то радуясь.

А тот бесцеремонно придвинул стул к столу и грузно сел.

Роман Романыч молча, выжидающе смотрел на него, а Иуда Кузьмич, оскаливаясь и осторожно подмигивая, толкал под столом своей ногой ногу Романа Романыча.

Дядя Саша глубоко вздохнул.

Улыбнулся жалко и вместе насмешливо, слегка выпячивая нижнюю губу.

И, не спуская глаз с Романа Романыча, заговорил сипловатым, но звучным голосом:

— Похож. Замечательно похож. Действительно, можно обознаться.

— Похож. Но не он. Его — нет. Слышите? Нет его больше.

Задышал тяжело, словно поднялся в гору.

Продолжал жалобно, как будто собирался заплакать:

— Умер этот великий человек. Умер страшной... трагической смертью.

— Как? Убили? — прошептал, пугаясь, Роман Романыч.

— Сам себя убил... Сам... Не в этом дело.

Дядя Саша снова схватил руку Романа Романыча и, все сильнее волнуясь, зашептал плачущим голосом:

— Нет его. Нет. Понимаете? И не явится взамен его никто. Вот в чем дело. Ник-то!

Лицо его исказилось мучительной гримасою.

Маленькие, заплывшие глазки остро впились в лицо Романа Романыча.

— Понимаешь,— продолжал он, переходя на «ты».— Не будет другого. Второго Пушкина — нет. Лермонтова — кто заменил? И его — не заменят. Отзвучала нежная скрипка. Скрипка умерла. Понимаешь? Скрипки больше нет.

«Музыкант,— подумал о приятеле дяди Саши Роман Романыч,— заслуженный скрипач Филармонии».

— Отзвучал его необыкновенный голос,— продолжал дядя Саша.— Умолк певец, и замолчала лира.

«Певец»,— подумал Роман Романыч, и сердце его сладко замерло.

Он нетерпеливо зашевелился на стуле и смущенно начал:

— Извиняюсь, гражданин...

Но дядя Саша выкрикнул, и по голосу его было слышно, что он крепко пьян:

— Он ошибся!

И, уже тише:

— Он не те песни пел. Новые люди — новые песни. А у него не было новых. А надо новое, новое и только новое. В нашу эпоху — вчерашнего не существует. В нашу эпоху каждый день — эпоха. И еще: надо уметь и любить и ненавидеть. Это — старая истина. А что-нибудь одно — нельзя. Иначе тюрьма, более страшная, чем каменные замки и крепости. Тюрьма собственного одиночества. Выход из нее только...

Дядя Саша провел ребром ладони вокруг шеи:

— Вот... Или с моста — в воду.

Он усмехнулся и указал пальцем на графин:

— Или — вот. А это — та же петля.

— Извиняюсь,— опять начал Роман Романыч, но дядя Саша слегка дотронулся рукою до его плеча.

— Одну секундочку. Я говорю все это вам, как это ни странно, потому, что вы похожи на него. И не только лицом и волосами...

Он пристально посмотрел на волосы Романа Романыча и раздумчиво продолжал:

— Даже пробор как у него. С правой стороны. Это редко бывает у мужчин.

Встряхнул головою и расширил глаза, точно борясь с дремотой.

— Да... Не только, повторяю, лицом... А костюм? А шляпа? Это же ваша шляпа?

— Моя,— опустил глаза Роман Романыч.

— Ну вот... Я и говорю... Он избрал себе сценою — мир. Но не вышел к людям, а остался за кулисами. В гриме, в костюме — но за кулисами, перед зеркалом. И от зеркала так и не отошел. И не разгримировался. Занавес опущен. Значит: грим, костюм, бутафорию — прочь. Иди к людям. Узнай их. Полюби и возненавидь. Возненавидь и полюби — иначе нельзя. А не стой перед зеркалом. Не плачь под гитару, под гармонику. И не люби только лошадей и собак. А он, голосу кого, затаив дыхание, с перебоями сердца прислушивались люди,— не любил людей. И поэтому был одинок. Он, которого знал весь мир, был одинок. От нелюбви одинок. Добровольно одинок. А разве так можно. Если не любовь, то тогда что же. Любовь — жизнь... А он — не мог. Он — одинокий был. Даже во внешности его, в заграничном его костюме, в американской палке и в такой вот шляпе — во всем этом чувствовалась эта одинокость, обособленность, не нужная никому. И даже ему...

Дядя Саша опустил голову и замолчал.

Роман Романыч воспользовался паузой.

— Извиняюсь. Ведь они... ваш товарищ покойный были... оперный?

Дядя Саша поднял голову, брезгливо поморщился.

— Какой оперный? Он же не был актером. Ты — его двойник и не знаешь, кто он был. Костюм, шляпу носишь, как у него, и не знаешь, кто — он...

Дядя Саша поднялся, шумно отодвигая стул:

— Довольно. Не желаю метать бисера. Адью...

Иуда Кузьмич подмигнул ему вслед:

— Кланяйтесь нашим, когда увидите своих.

Роман Романыч взялся за шляпу.

— А ты куда? — удивился Иуда Кузьмич.

— Домой. Дело есть.

— Брось. Я же еще пару заказал. И музыка уже пришла. Оставайся. Чего ты?

Но Роман Романыч отрицательно мотнул головою и подал приятелю руку.

Глаза у него были совсем трезвые.

Роман Романыч шел быстро.

Сердце билось учащенно. Но был спокоен. Голова ясна.

Думал только об одном: «Надо переодеться».

Оставаться в таком, как у того, костюме — нельзя.

Надо как можно меньше быть на него похожим.

Старался не смотреть на встречных.

Казалось, что все глядят на него с удивлением, чуть не со страхом.

Вспомнив, что хотел недавно продать синий костюм, подумал: «Хорошо, что не продал. Этот продам».

С моря дул сильный ветер.

Прямые твердые поля шляпы вздрагивали от ветра.

«Шляпу тоже не надо»,— подумал Роман Романыч, всходя на мост.

Мост — длинный, с четверть версты, высокий. Середина — как холм.

На мосту ветер дул сильнее. Было трудно идти.

Пешеходы, наклонив головы, крепко придерживали головные уборы.

Сильный порыв ветра чуть не сорвал шляпу с головы Романа Романыча.

Он придержал шляпу, но сейчас же отнял руку.

Остановился у перил. Нагнул голову, потряхивая ею.

Шляпа все слабее держалась на голове.

Сильнее потряс головою.

Подумал, даже вслух сказал: «Сейчас».

Ветер сдернул шляпу.

Роман Романыч пошел. Не посмотрел, как шляпа долетела до воды.

Оттого ли, что непокрытую голову освежал ветер,— мысли стали еще яснее и спокойнее.

Встретилась девушка. Чем-то напомнила Веру.

Потом вспомнился последний позорный четверг у Смириных.

Мысль о том, что Веру не придется больше видеть,— не пугала, не нагоняла тоску, как все это время.

Подумал: «Разве она — одна? Можно еще много встретить прекрасных девушек».

И вспомнились слова дяди Саши: «В нашу эпоху — вчерашнего нет».

Стало совсем легко.

Пошел еще быстрее.

Ветер трепал кудри. То взбивал их над лбом, то сбрасывал на глаза.

Роман Романыч поминутно откидывал их со лба.

И вдруг подумалось, что волосы делают его особенно похожим на того клиента в сером.

«Даже пробор на правой стороне»,— как говорил дядя Саша.

К себе Роман Романыч пришел переодетым в толстовку и синие брюки.

Алексей только что отпустил единственного клиента.

— Ну-ка, Алеша,— сказал Роман Романыч, садясь в кресло, перед зеркалом,— пока свободен, сними-ка, понимаете ли, нет, мою шевелюру. Волос страсть как лезет. Бритвою, понимаете ли, нет, лучше всего. Наголо.

Далее Роман Романыч видит в зеркало, как Алексеева машинка оставляет среди густых волос дорожку за дорожкою. Ряд за рядом, как скошенная рожь, уныло падают тяжелые пряди золотистых волос на грудь, прикрытую белым пеньюаром, с груди — на колени.

Движением колен Роман Романыч сбрасывает их на пол.

И ему становится необычайно радостно.

Такую необычайную радость он испытывал давно, еще мальчиком.

Тогда он только что перенес серьезную болезнь: скарлатину или дифтерит.

Тогда все, что видел, слышал, казалось новым, необыкновенным, радостным.

Чахлый городской сквер с десятком деревьев и пыльной

травой, в котором он и раньше сто раз бывал,— после болезни поразил его.

Он ходил в нем, как в сказочном лесу.

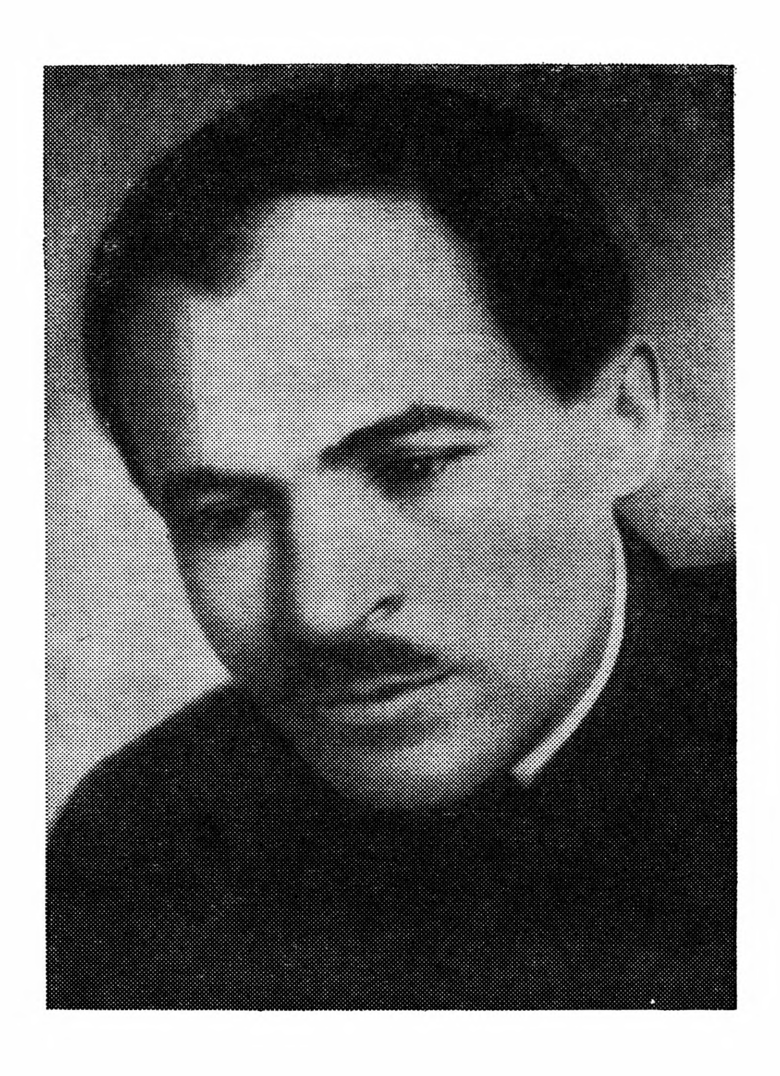
А вечером, когда сад закрылся, мальчик перелез через ограду и с бьющимся от страха и радости сердцем срывал единственные цветы захудалого сквера — кашку.

Вспомнив теперь о кашке, Роман Романыч сказал Алексею:

— Завтра — праздник. Поедем сегодня, понимаете ли, нет, за город. С ночевкой. На вольный воздух. Чего тут киснуть. Покупаемся, на солнышке пожаримся.

Добавил тихо, мечтательно:

— Цветов, понимаете ли, нет, наберем.



Николай Баршев

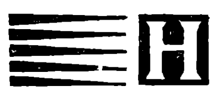
ПОВЕСТИ РАССКАЗЫ

БОЛЬШИЕ ПУЗЫРЬКИ

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая,
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

С. Есенин

ГЛАВА I



Нынче ветер охальничает нестерпимо. Весна ему в голову ударила или другое что, а только куражится, как хочет. Подремлет, подремлет на ветках, а после проснется и, вдруг, ни с того, ни с сего, а так, здорово живешь, как дунет под петуший хвост.

Не ходи зря по ветру!

Замоталась, растрепалась спесивая поступь, курам — на смех, петуху — на конфуз... Но опять уже смутная ветровая дрема до нового озорства, а надумалось такое — и махом, прочь с веревки в грязь хозяйское белье.

Держи, лови требуху стираную!

И только панталоны тетушки Саши задержались и раздулись до невероятности, а тетушка Саша — сама худоба. Зачем ей такие?

Величаво трепыхают они кружевными раструбами — вот-вот оторвутся и поплывут, но вдруг сморщились и опали. И спит уже ветер, повиснув на деревьях, а те, по-весеннему темные, ждут солнца и птиц...

— Постойте, пустите, Петр Иванович, никак белье улетело...

Небольшая оттяжка событий, пока без влияния на их конечный результат. Все свелось к тому, чтобы, высвободившись из объятий Петра Ивановича, подбежать к окну. Впрочем, из окна, так же как и от диванчика, отчетливо видно белье, упавшее в грязь, и так же нет никакого желания идти за ним во двор. Потому повторилось с безразличием:

— Так и есть, улетело.

Мысль же и руки заняты шпильками, вылезшими из прически.

У Петра Ивановича в этот момент раздосадованное лицо, вернее, усы,— они белые, волосками кверху и всегда самодовольны. Ввиду неожиданного перерыва не упущен случай взглянуть на себя в зеркало.

«Все в порядке, красив, как всегда, и даже особенно...»

После этого действие перенесено от диванчика к окну.

— И как, Дунечка, вы можете раздражать мужскую нетерпеливость, просто даже до слез, до мученья. И притом, раз белье улетело к небесному полушарию — ему возврата нет.

В ответ слабое возражение, хотя и неизвестно против чего:

— Ах, что вы, как можно.

В то же время настойчивая рука Петра Ивановича быстро снята, и добавлено уже с разочарованием:

— Только вот тетя Саша идет,— она и подымет.

Теперь уже события не могут рассчитывать на предполагавшийся конец: Дуняшины пальцы тихонько барабанят по стеклу, усы же Петра Ивановича окончательно раздосадованы и лезут в ноздри.

— Однако, и скоро же ходит ваша тетенька,— рысистая женщина. Мало в ней, знаете, этакой престарелой солидности, наверно и на базаре не торговалась, а что спросили, то и дала. Эхма, хозяйственность у вас в доме не на высоте.

И опять взгляд в зеркало.

Красив, как ихтиозавр,— это еще кассирша командированная отметила,— городская, с образованием, а вот поди ж! Запомнилось, конечно, на всю жизнь.

Встал рядом с Дуней у окна и посмотрел на нее.

«Ну и девица,— стихия! И отчего так интересно устроено, что они боятся, а мы любопытствуем?»

И зашептал, как недавно у диванчика:

— Все же, Дунечка, скажу вам напоследок и со всем откровением, что вы элемент высшего качества.

— Мерси.

Теперь забарабанили вместе. Потом Петр Иванович задержался и спросил:

— В резюме говоря, встреча моя с тетей — обязательный факт?

— Да, уж конечно.

— Гм! — и запел вполголоса: — «Никто не даст нам избавленья».

И опять вместе с Дуней пальцами по стеклу.

Тетушка Саша сама на кухне, а голос здесь:

— Ну и ветрище окаянный.

Шлепок мясом о кухонный стол.

— Теперь все белье в грязи.

В лоханку прогрохотала картошка.

— Хоть стирай сызнова.

И сейчас же, приоткрыв дверь:

— А ты тоже, Дуня, чего смотрела?

— Тетенька, так ведь он, ветер, сразу...

— Сразу, сразу. Эх, ты...

Тетушка уже в комнате.

— Вот те на, здрасте, Петр Иванович,— уж простите,— руки грязные. Вы что ж это не на дежурстве и даже как бы не ко времени?

— Тетенька, он шел, шел...

— Молчи!

Остается пожать плечами и, отвернувшись к окну, опять барабанить.

— А ты, молодой франт,— тетушка вытирает о передник руки,— ежели ты с желтым кантом, докладай мне сам, как по телеграфной ленте. Я, брат, вашу службу знаю. Было время, сама в молодости на ключе клевала...

Петр Иванович для бодрости и независимости слушает, облокотившись на спинку кресла.

— Ну, как же, как же, осведомлены в вашем жизнеописании, уважаемая Александра Петровна. Так вот, видите ли, шел я в известном вам направлении и хотел до некоторой степени братца вашего повидать, но он вот оказался рядом и пишет.

— Пишет? — взметнулись тетушкины руки.— То есть как это так пишет?

— Так точно, пишет-с.

— Еще того не легче, где ж это он водку-то раздобыл? Удивляюсь даже, упустила.

И снова, переходя в наступление:

— А ты, значит, вместо братца сестрицу подцепил: тебе все одно. Нигилист ты, как я погляжу, вроде как мой петух. Так и будем знать. А там, говоришь, пишут? Тоже дело. А ну-ка сейчас проверим.

Тетя Саша перенеслась к закрытой двери:

— Теша, Терентий, а Терентий Петрович!

Из-за двери немедленный сиплый ответ:

— Сестрица моя, Александра Петровна, я пишу,— этим все сказано.

Больше сомнений нет.

— Так и есть, устосался. Дуня, да перестань ты барабанить, чай, не в полку, не барабанщик!

И снова, наклонив голову к дверной щели:

— Что́ сказано-то, что́, болезный? Да открой дверь, идол, хоть на минутку. Брось ты писанину-то свою проклятую, писатель сивушный!

Из-за двери ответы поступают без задержки:

— Сестрица моя, Александра Петровна, повторяю: я пишу,— этим еще раз все сказано.

Необходимо использовать последний прием.

— Пишу, пишу, да читает-то кто?

При этом тетушка Саша хитро подмигивает присутствующим.

Дверь тотчас приоткрывается. За ручку двери держится, откинувшись от стола, Терентий Петрович. Он пропускает в открытую дверь свою голову, оглядывает всех поверх очков и затем произносит сипло и уверенно, затворяя при этом дверь:

— Не вы, конечно, а другие, просветленные, когда-нибудь прочтут...

На этом фронте у тетушки Саши все выяснено.

— Так и есть, бутылку вылакал и еще половинка на столе наготове. Братец мой, Терентий Петрович, вы дурак и пьяница,— этим все сказано. Ну а здесь-то, здесь-то что? Племянница с мужчиной хороводится, а про белье и не вспомнит?

Дверь снова приотворяется на минутку:

— Извиняюсь, действительно, через стенку ощущал некую люботу, но было ни к чему.

Вслед закрывающейся двери тетушка добродушно машет рукой:

— Ладно, сиди уж там, не распахивайся, дописывай. Ему, видите ли, ни к чему. Оттого нынче барышни-то с двенадцати лет и рожают почем зря, тоже вот так, ни к чему...

Петру Ивановичу кажется, что можно вмешаться и сказать что-нибудь умное.

— Больная атмосфера вокруг, Александра Петровна, оттого все.

И вдруг новая ошеломляющая вспышка:

— А ты доктор, лечить ходишь? Это в твои обязанности входит? Вот пойду и скажу надсмотрщику телеграфа — так, мол, и так, у вас телеграфист Иванов по женской практике служит, а потому и сменяется на дежурство по личному усмотрению. Думаешь, не скажу? Скажу.

И вдруг неожиданно и совсем другим, уже дружелюбным стариковским тоном, вправляя в платок на голове выбившиеся волосы:

— Ну, ладно, Петр Иванович, пожурила тебя для порядка и будет. Да и сам подумай, батюшка: мясо — кусается, картошка — что орехи, белье — в грязи, братец — с утра пораньше, и ты тут как тут, свое крутишь. С вашим-то братом, нежена-

тым,— гляди в оба. Вот оженишься — другой разговор, а пока кто ты? — женская опасность и только. Ну, ладно, не ругай меня, старую. Знаешь ведь, что скажу правду и все забуду. Добра всем хочется. Только ты все же ступай, а то и взаправду на службе хватятся, да и по мне плита скучает.

Прощаясь, сказал Дуне вообще:

— Серость, никакой интеллигентности.

Проходя мимо зеркала, подумал:

«А надо будет поинтересоваться, что такое ихтиозавр?»

На дворе проснувшийся ветер сорвал фуражку и погнал ее колесом по грязи. Пришлось бежать за ней, а когда догнал, заметил, что оторвалась пуговица у одной из штрипок. Отстегнул ее и, грязную, сунул в карман. Штанина потеряла фасон. Оглянулся на дом и заметил в окне Дуню.

«И чего она все торчит там, как безработная?»

И еще пришло в голову:

«Не снять ли и вторую штрипку для равенства?»

Дуня долго еще стояла у окна. Видела, как медленно протащился товарный поезд, как прошел кто-то с преждевременно зажженным фонарем, стало чего-то грустно, и всплакнулось весенними девичьими слезами.

А тут тетя Саша из кухни:

— Дуня, Дунюшка, хочешь сметанки с творогом? Проголодалась, поди, а сметана как масло, да и творог — тоже первый сорт...

Ответила жалобно, утирая слезы:

— Только с сахаром.

И добавила, оживляясь:

— Петр-то Иванович сейчас за шапкой по грязи гонялся, вот потеха! Даже с брюками что-то приключилось.

ГЛАВА II

Станция Большие Пузырьки — станция не первоклассная, но сильно пьющая.

Сам уважаемый начальник станции Василий Федорович, человек с морщинистыми тяжелыми веками, никогда не отстает в этом от прочих. По этому поводу рассуждает он, как всегда, не торопясь и внушительно:

— Конечно, пережили мы, слава богу, царскую, досконально изучили самопляс для народных масс, теперь, молодые товарищи, подошли мы вплотную к русской горькой. Очень, очень приятно познакомиться — светло-божественная, с тобой воспрянет род людской...

Когда хмелел, бывал придирчив по-старому.

В Пузырьках народ незлобивый, отходчивый — прощает многое.

В былое время провинившийся стрелочник или другой какой небольшой чин выходил от начальства пригорюнившись и сообщал интересующимся:

— Плохо мое дело, братцы, потому очень уж обходителен был, даже на «вы» назвал, не иначе как не жилец я больше на станции — удалит без боли.

Так и выходило — удалял.

В теплой компании любит Василий Федорович размягчаться и вспоминать давнишнее, когда, что греха таить, сам был еще щенком, и все шло не так, как теперь.

Тертому железнодорожнику отчего и не подразнить молодежь беспечальными, легкими днями труда — у кого таких не бывало?

— Помню я, пожалуй, лет этак двадцать — двадцать пять тому назад вступишь честь честью на дежурство, мобилизуешь, конечно, удочки и айда на реку. Клёв был тогда, братцы, конечно, удивительный: только закинешь, а рыба-то одна за другой, одна за другой, чуть что не за хвост друг друга от отчаянья хватает. Перенаселенность у них была тогда страшенная, а рыба все серьезная. Конечно, как засвистит под семафором, приходилось все же сматываться и на станцию спроведываться. Да что? Поезд не волк, в лес не убежит: отстоится у семафора, веселее дальше покатится. Ну, а вечером, конечно, пулечка на квартире, а там, смотришь, и дежурству конец. Что и говорить, хорошо жилось, вольготно. И куда все это ушло, черт его знает.

И обведет всех тяжелыми от век глазами.

— Я так полагаю,— нехотя отзовется Терентий Петрович,— что пружина теперь в часах другая, пружина, говорю, напористей. Подменили ее, вот часы и бегут быстрей — успевай оглядываться.

Выслушает внимательно и усмехнется Василий Федорович.

— Что ж, может, и так, может, ты и прав.

И в раздумье начнет перебирать бывшие рыжие, а теперь с зеленоватой сединой баки.

За сына своего, за товарища Андреева, за мученическую смерть его в контрразведке доживает он на том же месте свои недоуменные дни.

Припоминается:

В самый день непоправимой вести о сыне отмерли ноги у отца Василия Федоровича, отмерли, да так и остались.

И не мог договориться дед со своими слабыми мыслями о тяжелой смерти внука.

— За что замучили? Ведь хороший был, праведный, ведь играл я с ним.

А сыну говорил, как бы с укором:

— Думал я, Вася, что и ты беспременно умрешь, как же иначе? А то как-то горя совсем немного. Вот ведь и мать раньше померла, хоть она теперь бы не выжила.

Стали неповоротливыми дедовские думы, безногими, как и сам он.

Теперь изо дня в день вытаскивают деда на скамеечку к стрелочной будке, благо близко, просится все поглядеть, как поезда движутся.

Тоскует по ним стариковский дух.

Возле поездов родился, возле них и помереть хочется, ведь глядишь на все ровно как на свое собственное, а может, и любовней.

И всякий проходящий мимо деда норовит обязательно пошутить с ним.

Пуще всех старается составитель Егоров, развеселый человек, с выправкой старого солдата, с флажком за голенищем и толстой часовой цепочкой на груди.

Не отстает от него и молчаливая во всем остальном, с лицом небритого мужчины, стрелочница Щукина, которая всякое распоряжение начальства встречает укоряющим вопросом:

— А раньше?

И лишь иногда заменяет его обиженными словами:

— Не верится даже.

Наконец, обязательно не промолчат проходящие гуськом, тихою поступью товарные кондуктора, навьюченные фонарями и ящиками.

— Дедушка-то Федор сидит, будто ненормированный.

— Чего там, его дело чистое, к нему сам инспектор труда не подкопается.

— А подо что копаться-то, коли ног у него нет? Как есть человек без основания.

— Плюнь, дед, ну чего глазеешь, чего ждешь, ужли за пятьдесят лет службы не осточертело?

Сидит, молчит. Какой непорядок заметит — головой качает, а то и поворчит:

— И чего только сын смотрит?

Видно, старой выделки дедовская пружина, оттого медленно, с большим опозданием ведет его к предназначенному часу.

И не умер, как хотел дед, с отцовского горя Василий Федорович, все так же с норовом тянет лямку ДС'а, то есть начальника станции, и только по малости осталось уже рыжего в его баках.

За долгое время службы старался подбирать по своему вкусу помощников, о которых отзывается:

— Мои ДСП пьющие, конечно, но в крови идейные железнодорожники. Взять, хотя бы, Терентия Петровича. Пока дежурит — не агент, а философ, и в то же время рысак. Ну, а кончил — и, извиняюсь, уходит, конечно, в загробную жизнь до следующего дежурства.

И вдруг подхватывает с горячностью:

— А что тут новенького, сочувствующего ферта вместо Сидоренко прислали и меня не спросили, так то, конечно, хвалить — погодить. Сочувствующий-то он, может быть, и от всего сердца, а только, сдается, рылом в помощники еще не вышел. Нет, нет, где же? Видать сразу — не тот коленкор. Покойный-то Сидоренко, царство ему небесное, орел был и громовержец. Голос один такой, что телефонные трубки чуть не лопались,— самому страшно. Покойный-то Сидоренко за бутылку пива без согласия соседней станции из аппарата любой жезл на отправление поезда вытягивал. А как его вытащишь, коли так устроено, что весь электрический механизм тому противится? Хитрая штука, а вот дошел своим умом и практикой. Так с таким-то не пропадешь, с таким спи спокойно. А это что? Зажжет ни свет ни заря фонарь и мечется. Сочувствующий — одно слово.

Тихая станция Большие Пузырьки — до села верст десять, до кладбища — пять и все лесом. Летней порой грибов в нем хоть ко́сой коси, особенно подберезовиков, и ягод лесных разноцветных тоже до противности много. Все это мальчишки да девчонки выносят к вечернему на бойкий торг. Пассажирам — в охотку да в диковинку, пузырьковским ребятам — веселая прибыль. Пойдет она на ленты, на семечки, на молодую радость, на девичий смех.

Но сейчас весна, продавать еще нечего, оттого у неожиданного прохожего особенно гулко цокают каблуки по каменным плиткам пустого станционного здания.

На путях дышит на все лады и перекликается с людьми сопливый маневровый паровоз, сговаривается на своем языке, на какой путь ему ехать. Иногда коротко звякают буферными тарелками и лениво скрипят кузовами неизвестно зачем и куда передвигаемые вагоны.

Но редки все эти звуки, а больше покой, дремота, ожидание...

Когда стемнеет, рассыпаются по путям ночные знаки — цветные неровные огни. Изредка меняются они, и непонятно все это, как поступки скрытного человека. О чем предупреждают, что говорят пристальными взглядами своими?

Знают про то лишь немногие.

— Скоро будет поезд, готовьтесь, ждите...

Станция, безвестная станция, этап, для кого-то последний, кому-то не нужный, но как всегда — бессменно дежурят здесь и бродят тоска да скука, но как всегда — рождаются здесь одни и те же слова при несчетных разлуках и встречах.

Да полно, станция ли это? Может, не Пузырьки это? Может, сама жизнь наша, страна наша с бездомными голосами, непонятными взглядами вышла из леса и стала при дороге?

Пробегут мимо нее и эти, и те, и другие, и еще, и опять, а она, беспросветная, все так же, как дед безногий, будет смотреть, слушать и чего-то ждать.

— Скоро будет поезд...

В конце платформы шепчутся два потерявшихся в темноте голоса. Сперва тихи слова их, потом доносит:

— У вас такие груди маленькие, а между прочим, ты просишь тридцать копеек...

И снова темны слова их.

Да полно, станция ли это? Может, не Пузырьки это?

Кому надо, кто хочет — поймет...

ГЛАВА III

А-о-ы-и-пи-пи-пи...

Это фонопор — из угла телеграфной комнаты пытается, как глухонемой, сказать какие-то слова.

Чуткое ухо знает, кого зовет он. Оттого сейчас Петру Ивановичу пришлось встать, потянуться и не спеша пойти в угол.

Там он почесался, крякнул, снова почесался и наконец, сняв трубку, спросил, как полагается, грубо и сонливо:

— Ну, чего?

— Пузырьки! — надрывается сосед.

— И я говорю Пузырьки. Чего?

Но сосед или не верит, или не слышит и продолжает надрываться без остановки:

— Пузырьки, а, Пузырьки!

У Петра Ивановича опять зачесалось, потому ответил не сразу, когда сосед стал уже затихать.

— Ну, да, да, оглох?

— Петя, это я, Ваня, где ускоренный?

Петр Иванович все так же нехотя, но уже снисходительней бурчит:

— Вовремя — идет к нам.

— Так, так...

Помолчали.

— Петя!

— Ну, что?

— Петя, у вас жалованье платили?
— Нет еще, а что?
— Да так, Петя, ну, как там у вас вообще?
— Ничего.
— Петька, а делать тебе, я вижу, нечего.
— Приезжай помогать.
— Своей лени хватит. С кем дежуришь?
— С Терентием.
— Ну-ну...

Разговор кончен, можно опять дремать.

Трещит телеграф, мычит фонопор, пахнет керосином, телеграфной краской и раскаленным железом ручного фонаря.

В соседней комнате, за столом, под большой висячей лампой сидит в пальто и форменной фуражке дежурный по станции, Терентий Петрович, и ждет, когда настоится чай.

Позади него на лавке у стены неприметно горящий фонарь развесил от себя по стенам и давно не беленному потолку выдуманные им тени.

Перед тем как заварить чай, Терентий Петрович неоднократно ходил от стола к шкафу, доставая всякий раз какой-нибудь один предмет: то стакан, то блюдце, то постный сахар, то ложку. Когда все было принесено, Терентий Петрович тщательно мыл стакан и долго разглядывал на свет: нет ли где неясности в стекле. Если при этом присутствовал собеседник, Терентий Петрович обязательно признавался ему:

— Люблю, брат, я чай пить до отказа, так, чтобы, как говорится, с выходцем и полотенцем. Очень он, чай, сон отбивает и на рассуждения притягивает. Опять же суетливость умеряется. Например, такой случай...— и начнет вспоминать, пока не заварится.

Сегодня говорить не с кем, и Терентий Петрович, засыпав на глаз в большой жестяной чайник горсточку чая, перелистывает позабытые кем-то на столе объяснения агентов по поводу бывшего на днях несчастного случая.

«После прохода поезда № 26 мне сказали, что на путях кто-то стонет. Тогда я совместно с рабочим Андроновым отправился к месту происшествия, где действительно обнаружился неизвестный посторонний человек с тяжелыми признаками жизни и отрезанной правой ногой ниже колена. Однако с большим трудом я успел добиться от него, что имеет он от роду 32 года, женат первым браком и имеет троих детей в возрасте от семи до трех лет. Больше добиться мне ничего не удалось, так как неизвестный пополз от меня прочь с пути под платформу, а отрезанная нога осталась лежать на конце шпалы. Рабочий же Андронов полез за ним под платформу и там досконально допытался, что

гражданин беспартийный, а зовут его персонально Морозов, и что от него исходит запах винных паров, от которых по-видимому он и впал в бессознание. Тогда я решил поспешить к дежурному по станции и сообщил ему о случае, но когда тот прибыл к месту происшествия, пострадавший уже находился в мертвом состоянии. Что же касается отрезанного кармана, обнаруженного мною на пути, то в нем оказался кусочек морковки. Больше показать ничего не могу».

Терентий Петрович коротко и безразлично вздохнул.

— А об ноге и забыл упомянуть, растяпа,— куда ногу-то дели? Необстоятельно. Как это люди не знают, что к чему?

И уставился в сумеречное знакомое окно.

В мозгах не то дума, не то дремота.

За окном весенний водянистый снег лапает стрелочные насторожившиеся огни, и оттого, что горят они спокойно, кажется еще неподвижней налитая до самого неба тишина. Даже фонопора не слышно.

Вдруг издалека заныла и глухо хлопнула станционная дверь — раз, другой, третий — учуяла поезд. Вслед за ней спохватился и по-своему обрадовался ему вообще неразговорчивый старый колокол. По путям закачался на ходу оживший фонарный огонь стрелочницы Щукиной.

Терентий Петрович надумал повременить с чаем и досмотреть все дело.

В показаниях машиниста значилось:

«На соседней станции к моему паровозу подходил какой-то гражданин без определенных занятий, прилично одетый, в пенснэ, а пальто имело на нем вид дохи, около тридцати четырех лет и в шапке-ушанке, каковой безуспешно просил довезти его до соседней станции. Означенное лицо находилось в неопьяненном состоянии».

Внизу этого показания помощник машиниста нацарапал:

«Подтверждаю все показания полностью, сам же ничего не видел, так как подбрасывал уголь в топку».

Все эти показания были вложены в акт происшествия, в котором против графы «непосредственная причина» было выведено: «Собственная неосторожность покойника», а против графы «косвенная причина» так же уверенно проставлено: «Запах винных паров».

Терентий Петрович не спеша сложил все дело и встал.

На часы смотреть не надо, часы ни к чему, и так ясно, что пора выходить встречать поезд. Привычным жестом подхватил с лавки фонарь, поправил фуражку и пошел к выходу.

За фонарем — головой по потолку, туловищем по стенке двинулась громоздкая тень самого Терентия Петровича, а за ней

мягко потянулись, переставляясь каждая по-своему, тени от всех предметов. Они дотянулись до самой двери и, как только фонарь вышел, оборвались и встали на свои прежние места.

Издалека прибежал впопыхах одинокий гудок паровоза. Без толку заметался он по всем закоулкам и быстро затаился в пузырьковской тишине. На смену ему пришел далекий рокот.

С подходящего поезда казалось, будто под станционную платформу подставили колеса и она покатилась к нему навстречу.

На платформе стоял Терентий Петрович и смотрел, как надувался приближающийся паровоз и как вдруг, будто проткнутый чем-то острым, паровоз лопнул и, обливаясь паром, стал замедлять бег.

Следом за ним покорно катились потерявшие счет верстам и людям вагоны. Они нерешительно выбирали себе места, где бы остановиться:

Вот-вот здесь... нет дальше, чуть-чуть дальше...

С одного из них еще на ходу соскочил на платформу светлый круг фонаря и пошел к Терентию Петровичу.

В круге главный кондуктор. Тон бравый:

— С благополучным прибытием, начальство.

И снисходительно козырнул.

— А кроме всего прочего примите этого гражданина. Как он деньги собирал, я его и заприходовал. Вхожу, знаете, в вагон, а он голосит. Ну, что это, никакого порядка!

Гражданин в разговор не вмешивается. Стоит около, ежится под весенним холодком, руки — в рукава, под мышкой гитара.

Терентий Петрович ничего не ответил, повернулся и пошел в дежурную. За ним кондуктор и гражданин.

Там он записал в настольный журнал сведения о поезде, выдал жезл и опять ушел на платформу.

Уходя, пробурчал в стенку:

— А ты пожди...

Гражданин поклонился с веселой почтительностью вслед уходящим, затем выпростал руки из рукавов, положил гитару на лавку и сел рядом с ней. Гитара откликнулась. Он положил на нее руку и сказал голосом ушедшего Терентия Петровича:

— А ты пожди...

И задумался.

Дали второй звонок.

Рассыпалась по платформе человеческая забота, перебегает по-мышиному: глаза на кипяток или ларек, а мысль позади у своих вагонных норок. Вспугнет звонок, и разбегутся под ним мышиным скоком.

В толпе тычется старушка.

— Батюшка, скажи мне, куды поезд-то идет — взад или вперед?

— А тебе куда, немощь?

— К внучке, батюшка, звала она, чтоб беспременно к святой Пасхе. Тут и свадьба ее вскорости.

— Ежели к святой Пасхе, то не иначе, как взад. Только поездов таких нетути — ау, все вышли...

— Эх, и куда ты, отсталость, карабкаешься? От самой панихидой пахнет, а тоже на свадьбу. Сиди дома, преклонная, не греховодничай.

— Тьфу, тьфу, тьфу тебя, мозги у тебя в носу, вот что...

Над кипятильником надпись:

«Кипятку нет из-за дров».

Писала Щукина, поленилась растопить вовремя. На недовольство Терентия Петровича только и сказала:

— А раньше?

И ушла.

Сопит паровоз — будто большой пилой пилят на доски лес.

— Давай третий.

Последние мыши у норок.

Дрожит мелкой дрожью кондукторский с горошиной свисток. У вагона прощаются. У одного рука в загривке, козырек на носу.

— Ну, Митюха, увидь'мся, дык увидь'мся, а не увидь'мся, дык так твою так...

Обнимаются.

Гудит паровоз. Решил он уходить в прохладную весеннюю тьму распугивать в полях и лесах белых еще зайцев и серых белок.

Оторвались от платформы вагоны, двинулись, пошли, заторопились. Вот три красных фонаря треугольником вниз, три огня, три глаза, три точки, три... Ну, что ж, ушел, так ушел,— забыли, не вспомним. У каждого свои неповторимые, как облако, встречи, а для них своя судьба и своя мудрость.

Терентий Петрович хотел войти в дежурную и задержался у закрытой двери. В дежурной чужой голос весело напевал под гитарные переборы:

Не форси, форсун форсистый,
Я тобой не дорожу.

Пускай уже открыта дверь, а в ней Терентий Петрович, пение не прерывается. На краю стола сидит оживленный Петр Иванович, на лавке — гражданин.

Мимо окон пройду боком,
На тебя не погляжу...

— Ну нет, поглядишь, еще как поглядишь-то!

Голос у Терентия Петровича рокочет. Он крепко с дребезжанием ставит фонарь на лавку.

— Оттаял?

Гитарные переборы продолжаются. Петр Иванович уже давно у себя.

Голос громыхает:

— Тебя спрашивают аль другого кого? Оттаял?

И внушительный взгляд поверх очков.

Только сейчас привелось разглядеть нижнюю челюсть гражданина: громоздкую, как верх у извозчичьей пролетки. Лицо в складках.

— Ну?

Гражданин почтительно вскакивает. От этой неожиданности наступавший делает шаг назад.

— Товарищ начальник, наконец-то мы одни!

Тут Терентий Петрович для сохранения достоинства решил сочно плюнуть и отвернуться. Дальше уже слушал со спины.

— Взываю к вашей культуре, не наказуйте! Учтите, что я бывший актер и любитель поэзии. Ныне совершаю турнэ во всероссийском масштабе. Жизнь моя (при этом рукой мягко вперед и вверх, а сам на носки) для них, для масс. Люблю Ахматову. Сегодня читал им, вернее, дарил:

У меня есть улыбка одна...

Желаете? Могу совершенно бесплатно.

Встал в позу и откашлялся.

Когда Терентий Петрович сердится, он без нужды и со стуком переставляет по столу разные предметы. Если стук меньше — значит, отходит. А тут почти сразу перестал стучать, и даже взглянул через плечо, и даже усмехнулся.

— Беспокойное твое это самое турнэ, да и улыбка небритая больше с голодухи.

И уже повернувшись, упрекнул только по обязанности:

— Зачем тренькал в присутственном?

Ответ мгновенный:

— От нервности.

Терентий Петрович сперва смешался, а потом только и нашелся сказать:

— Ну, садись.

— Сяду. Но, послушайте, неужели я задержан до выяснения причин, которые и послужили поводом к задержанию?

Терентий Петрович отмахнулся.

— Черт с тобой, иди куда хочешь!

— Мерси за внимание, но мне некуда больше спешить — чужбина (широкий жест вокруг). Особенно здесь, в Больших Пузырьках.

И сразу очень деловито.

— A propos, почему Пузырьки? Если большие, то скорее уж пузырищи!

— Не выросли еще. Заезжай лет через десять, тогда в самый раз дозреют. Сядь!

Терентий Петрович собирался ужинать.

— Ваша доброта равняется плюс или минус бесконечности. Итак, я сел, сижу и буду сидеть. Скажите, как вас звать? Поверьте (рука к сердцу), это не простое любопытство: я буду молиться за вас в кроватке.

— Не балясничай. А звать меня просто — Терентием Петровичем — вот как.— И, подумав, спросил:

— А тебя?

В ответ неожиданная скороговорка:

— Зовут меня персонально — Морозов, имею от роду тридцать два года, женат первым браком и имею троих детей в возрасте от семи до трех лет, от которых исходит запах винных паров.

Терентия Петровича удивить трудно. Выслушал и махнул головой в сторону акта.

— Перелистал?

— Счел своей приятной обязанностью. Да, жил грешно и умер смешно,— сам по частям расползся. И знаете, Терентий Петрович, по-моему, я помню этого Морозова. Он зарабатывал хлеб так же, как и я. Наверное, его столкнул с поезда какой-нибудь негодяй кондуктор.

— Не грусти: тебя так же беспременно столкнуть следует.

И, покрутив с сожалением головой, Терентий Петрович принялся за ужин.

При этом он размышлял вслух:

— Да, уж каких, каких ни бывало, а этакого первый раз нанесло.

И снова поинтересовался:

— Ну, а все же, звать-то тебя как?

В ответах полная готовность:

— Товарищи зовут Коко, вообще же Андрей Спиридонович. Что же касается фамилий, то у меня их до черта. Как-нибудь на досуге перечислю все — вы и выберете по своему вкусу.

Утер нос рукой.

— Я много страдал, Терентий Петрович.

— За свое или чужое?

— Это деталь,— и потупился.

Новых вопросов долго не было, наконец надумалось:

— Есть хочешь?

Гость уже за столом.

— Не смею отказаться. Знаете, при моем подвижничестве для масс — в зубах часто не поковыряешь.

Ели молча.

В конце ужина Терентий Петрович полюбопытствовал:

— Водку пьешь?

Взглянули друг другу в глаза и поняли.

— П-и-ю,— протянул гость, и оба тихо и сочувственно засмеялись.

Теперь у Терентия Петровича все было выяснено. Он встал и притушил лампу.

— Утро вечера мудренее, давай спать. Я на столе, ты на лавке. Чего-то устал я. Бьешься, бьешься, как каторжный.

Прибрал ужин, влез на стол и, подложив под голову журналы, почти тотчас же задышал как спящий.

Только не спал Терентий Петрович, а думал. Припомнился ему вчерашний сон. Будто бы трава все, трава, такая весенняя да тихая, а из травы хвост торчком. С виду гладкий, длинный и как бы хищный. Трава колышется, а он нет. Страсть, как схватить его хотелось. Чтобы подойти, цоп и кверху. Только неизвестно было, с какой стороны в траве зубы. Подойдешь, а вдруг как он лязгнет. А может, и наоборот: затаился там зверь ласковый и в беде. И оттого в груди и выше было стеснение и чего-то грустно.

Утром, как проснулся, хотел записать все и забыл, а сейчас ясно опять представилось, и даже на мысль навело:

«Сон-то со значением, только не поймешь еще, что к чему».

И вдруг решил:

«По всему выходит, что турнэ приютить следует...»

Гость устраивался на лавке. Когда улегся — прислушался, спит ли Терентий Петрович, затем взял гитару и запел вполголоса:

> Шла дорогой той старушка, увидала сироту,
> Приютила, обогрела и поесть дала ему...

В дверях соседней комнаты тень Петра Ивановича.

> Уложила спать в постельку,
> «Как тепло!» — промолвил...

Со стола сонный окрик:

— Прекратить в присутственном!

Петр Иванович у себя. Гитара быстро отложена.

— Эх и тоска же у вас здесь, тоска, керосиновая тоска!

Из соседней комнаты сочувственное:

— Да, уж интересов никаких.

На сегодня слова все. Над столом и лавкой — сон. И над Пузырьками — сон. До утра поездов не будет...

На другой день, когда Терентий Петрович, сдав дежурство, собрался домой, он разбудил спавшего:

— Идем со мной, человек Коко.

Тот быстро и молча с лавки долой, пальто из-под головы на плечи, кепка на затылок, гитара под мышку, руки в рукава.

— Ну что ж, пошли?

— Пошли.

— А-о-ы-и-и-пи-пи-пи,— обрадовался вслед им глухонемой фонопор.

ГЛАВА IV

Теперь хлопот у тетушки Саши на одного человека больше — на человека Коко.

Как привел его Терентий Петрович, так и посейчас живет. А с той поры весна успела отколупать оконную замазку, вынуть вторые рамы и войти в людское жилье.

Теперь весенняя щедрость во всем и сполна: в солнечном воздухе, птичьем слете, в стуках человеческого сердца.

И нынче уже при открытом окне отдыхает, за самовлюбленным самоваром, вставшая, как всегда, ни свет ни заря, тетушка Саша.

На самоваре отражается утреннее солнце и растянутое по выпуклой меди простое в заботливых морщинках лицо.

— Вот тебе и нечаянная радость — нахлебничек, утоли моя печали. Дунюшка, хочешь пенку? Гляди-ка, румяная, как и ты. Да что это, Теша, придете вы или нет? Ведь остынет же все.

Входят оба.

— Вот и мы, здравствуйте, тетя.

Тетя сурова:

— Здравствуй, дядя,— садись, гостем будешь.

И вдруг, не выдержав:

— Ты как, надолго к нам прибогаделился-то? Ну, чего уставился? Чего молчишь? Чего хлеба не берешь?

— Простите, задумался о нашем родстве. Вот и сейчас, приглядывался к вам и решил: нет, нет, вы не тетя, какая вы тетя! Вы самая настоящая мамуля, добрая такая мамулька за самоваром. Мамочка, дай мне сюда молочка и сахарочек.

Лицо на самоваре смеется, а голос из-за самовара все еще сердитый:

— Вот, Теша, твои все дела.

Терентий Петрович молчит. Любит он поговорить один на один, а первое время это было особенно часто.

— Пойдем, Андрей Коко.

Запрется с ним в комнате, поставит на стол водку, две рюмищи объемом по стакану каждая, а после усядется поудобней и начнет:

— Какая наша жизнь? Вот плеснешь водкой на пол, чуть-чуть растечется и высохнет, как будто и не было. Свист, а не жизнь. Есть и нет: без нужды родилось, без нужды и кончилось. А куда свист уходит, неизвестно. Да и сам-то свисток просвистел, скажем, миллион раз и развалился. Подумаешь, великое дело сделал. Так вот и люди и весь свет, а в Пузырьках особенно.

Андрей Коко собеседник не какой-нибудь, с понятиями, и слушает приятно, а только как заговорит, выходит не то или шутка.

— Вы, Терентий Петрович, привыкли смотреть на жизнь сквозь дырку кондукторского свистка — это ошибка. Нужно радостней. Поверьте, даже смертная грусть — превеселая штука. Пример: мы и наши винные вместилища. А вот из личных переживаний. Вернулся я как-то из турнэ, предвкушаю уют, не тут-то было: дверь на запоре, ключ у дворника, жена же неизвестно даже у кого. Ау! Так было жалко! Брюнетка ведь, такая с усиками и к хозяйству способная. Конечно, записочка — «прости, прощай, береги себя, не прощу себе, прощаю тебе»,— слезные росы заметны, словом все чин-чином. Письмо перед выстрелом. В актерках ведь моя Клавочка. И, знаете, такая глубоко порядочная женщина, увезла только свое. Мой же реквизит хотя и стильный, но в глаза не бросается и комнаты не обременяет. Вот хожу по опустошенному гнезду и страдаю, страдаю, страдаю до холодного пота. Конечно, нужно принять во внимание свежесть чувств и молодость. Ведь всего только седьмая по счету безграничная любовь. И, вдруг, обращаю внимание на пакетик в розовой тесемочке. Приютился незаметно в уголку подоконника. Я же все больше у окна страдал, только пакетика не примечал долго. Развернул, смотрю: мозолин и еще кое-какие женские интимности жизни. И представилось мне, как она письмо писала, а потом пакетик сбирала, и что, может, как раз вот сейчас досадует, что забыла его, так как надобность в нем приспичила. И порадовался я за Клавочку. Знаете, тогда радовался, а теперь просто смеюсь. Молодчина! Вот это, понимаешь ты, пузырьковский философ, трезвость жизни! Письмо перед выстрелом и мозолин. Смертная тоска и смешки существования.

Терентий Петрович чокается.

— Пей, Коко, чудной ты, видать, что актер, не говоря худого слова, сразу-то и не поймешь, что к чему.

— Ваше здоровье, просвещенный меценат мой. Ух, и сосуды же вы предоставили — двухспальные с мезонином.

Однажды Терентий Петрович вытащил из стола кипу исписанной бумаги и сказал смущенно и как мог почтительно:

— Вот, Коко, человек вы бродячий, а на ходу думается всегда лучше. Мы же на месте, а вы, может, уйдете скоро. Мало ли что. Так вот хотелось мне показать для пояснения. Водка это одно, а тут другое. Тут как бы откомандирование из Пузырьков.

Человек Коко щиплет гитару и, как всегда, либо шутит, либо напевает:

Всё на свете пузырьки,
Малые, большие...

И вдруг, глуша рукой струны:

— Что у тебя здесь, мой неопытный и простой друг Теша?

И, раскрывая свою важную тайну, сказал Терентий Петрович многозначительно:

— Это сны...

— Сны? Да что ты говоришь? Какие?

— А всякие: и свои и чужие. Уж сколько лет сбираю. Ежели выяснится, к чему знамение было, то поясняю.

И вздохнул с сожалением:

— Только теперь чего-то редко сниться стали. Приходится вот старые перечитывать.

И стал перебирать исписанные листы.

Коко отложил гитару.

— С пояснениями, говоришь? Любопытно, любопытно. Покажи-ка. Да — регистрация по всем правилам. Вот что, запиши-ка ты мой сон. Когда-нибудь и его перечитаешь. Так вот, представился мне как-то людный коридор, длинный-предлинный, с версту, а то и больше, и весь темный. Только в конце его окошко, а из окошка солнышко чу-у-ть-чуть трепыхает. И ступает по коридору тому развеселый слепой человек. Да нет, что я, даже не человек, а целый великан, богатырь, мощь человеческая, и не разберешь: то ли пьян, то ли без ума, то ли мудрость его ослепила...

Терентий Петрович весь внимание. Великан изображается наглядно.

— Понимаешь, вот так вот ступает, а пол под ним трещит и ломится, как весенний лед, башкой потолочные балки рушит. А то вдруг остановится и запляшет. Очень страшно и смешно, когда слепой пляшет. Видал когда-нибудь? Падает, людишек топчет, все вокруг валит...

— Да вы что! Вы что! — Стучит в дверь тетя Саша.—Никак уже в белой? Чего дом рушите? Теша, отворись!

Отвечает Коко:

— Мамуля, не мешайте — сейчас мое пробуждение и занавес. Прошу от дверей отойти...

— Ах, это ты все работаешь? И когда ты, друг любезный, сгинешь? Чисто что нарост — дикое мясо.

— Мамуля, наросты возникают на больном теле. Жалею вас и целую.

И еще голос Терентия Петровича:

— Сестрица моя, Александра Петровна, мы беседуем,— этим все сказано, отойдите от двери.

— Да отойду уж, конечно, отойду. Мое дело предупредить по-родственному. Ведь не для вас, чай, олухов, дом-то строился, а для семейственных, тихих. Батюшки, никак молоко убежало!

От двери быстрые шаги. Тетя Саша уже гремит на кухне...

— Ну, валяй, Коко, дальше.

— Да, так вот, значит, крушит он все, а сам вперед прет прямехонько к свету. Впрочем, иначе ему и деваться некуда: впереди — коридор, а позади — разрушение. Такая уж у него судьба коридорная,— предназначенный путь. А солнце-то из окошка чем к нему ближе, тем все пуще да пуще. Так и шпарит светом, так и радует. Вот дошел богатырь-великан до света, окошко вышиб, шасть в него и загромыхал, и оттого вся земля гукнула, дрогнула, а я рассмеялся и проснулся...

— Давно видел? — после молчания поинтересовался Терентий Петрович.

Коко сел и устало провел рукой по лбу:

— Не помню, Теша, может, и видел, а может, и так.

И задумался, закрыв лицо руками.

— Ну, а все же, к чему это и отчего? Какое знамение-то? Ты как думаешь?

Но Коко уже с гитарой и опять такой, как всегда.

— Послабляющее расстройство пищеварительных внутренностей и утонченность нерва.

И, словно спохватившись, с воодушевлением под гитару:

Ах, всё на свете пузырьки,
Малые, большие...

— А ну тебя,— раздосадовался Терентий Петрович.— Думал как с человеком по душам поговорить, дно свое показать, а ты все свое: теньди, бреньди, балалайка,— при этом неумело, как мог, передразнил приятеля.

Коко снисходителен.

— Терентий, ваше зрение еще недостаточно вооружено, чтобы проникнуть сквозь толщу моей артистической оболочки.

Терентий Петрович озадаченно трогает очки.

— Неправда, очки у меня хорошие, все вижу. Вон челюсть-то у тебя как расперло. Все от смеха твоего, от непутевого.

Коко пренебрежителен:

— Не переходи на личности и довольно о снах. Прячь их в ящик.

Затем свысока:

— Ты убедил меня, Терентий, что и слепые видят сны. Вот спутал, чье это? Блока или мое? Ты убедил меня, Терентий... нет, конечно мое, и неплохо. Но меня интересуют в настоящий момент не сны, а жизнь пухлая, сонная, пылкая, короче говоря — ваша племянница, созревший плод, Евдокия. Если не уйду от вас вовремя — за последствия не отвечаю, так как имею склонность к деторождению. Ваше мнение?

Терентий Петрович обиженно собирал листы и слушал невнимательно.

— А мне какое дело?

Коко торжественно подошел к нему и положил руку на плечо:

— Истинная мудрость обрушилась на язык твой. Мужайся, сын мой. А я пойду туда, куда влекут меня все мои органы чувств.

Подобрал гитару и расшаркался.

— Прощайте, добрые усы!

Еще Терентий Петрович любовно упрятывал сны, а из соседней комнаты уже доносилось:

А-б-б-идно... да-с-садно... да слез, да мученья,
Что в жизни... так поздно... я встретился с тобой...

Терентий Петрович заслушался, наклонившись над незадвинутым ящиком.

— А ведь хорошо поет, стерва ненужная, пожалуй соблазнит,— прошептал он и почему-то с сердцем задвинул ящик и два раза щелкнул ключом.

— Сжечь их придется, вот что.

ГЛАВА V

С утра погрохотали, повозились в небесах и бросили. Так ничего и не вышло. А досадно. Все крепко надеялись на грозу и ждали ее, а больше всех петух. Пришлось даже кур бросить. Бросил, облюбовал ограду, грузно взлетел на нее и наобещал всему миру дождя, червей и прочих радостей. От натуги вытрясено из собственного хвоста и пущено по ветру два

белых пера самых длинных, наилучших. Была не была, пропадай пропадом красота неотразимая, петушья красота! Долго топтался он по ограде и орал до тех пор, пока проходивший мимо мальчишка не шлепнул его по гребню картузом.

Петух попробовал удержаться, но сфальшивил и сорвался с ограды.

А гроза прошла по другим местам, и опять стало тихо в людях от круглой синевы и желтого жара. Там, наверху, мешались оба цвета в один зеленый и лились в прохладную тень пузырьковского кладбища.

У одной из могил Дуня и рядом Коко — одна рука обнимает гитару, другая Дуню.

— Дева Евдокия, чью бренность мы сейчас попираем?

Дуня высвободилась и, подойдя к могиле, похлопала рукой по могильному дерну.

— Здесь маменька моя,— и добавила тихо: — Здравствуйте, маменька.

Лениво и тихо погудывают струны. Коко шаркает ногой:

— Пожалуйста, не забудьте от меня привет и соболезнования. И пойдем, пойдем отсюда дальше, одинокая дщерь пузырьковская.

Снова обнял ее за талию и повел вдоль могил.

— Называй мне здесь гниющих и повсюду православных.

Дуне было весело чувствовать руку Коко, оттого говорила улыбаясь:

— Вот здесь Сидоренко, бывший помощник.

— Сидоренко? Ну, ВЦИК ему небесный.

— А вот здесь Андреев, сын Василия Федоровича.

— Что? Стоп, Евдокия, какой Андреев?

— А комиссар, его в городе убили, едва тело отыскали.

— Ну-ка постой. Присядем-ка здесь. Так, значит, под березкой устроился? Что ж, его отпевали?

— А как же, отпевали, конечно.

— А он неверующий.

— Ну, что ж из того? Василий Федорович сказал: хоть после смерти утешим. Может, он того и хочет, а уж не может. Дед-то был против.

— Так... так... Это хорошо, что отпевали. Ему наплевать, а вам утеха — так-то веселей. Эх, Дунюшка, а ведь видел я, как схватили этого Андреева. Был тогда в городе такой прапорщик Морозов. Ну и нюх же у него был на коммуниста — очень нежный! Такой густопсовый борзой кобель с мертвой хваткой. Только тогда и без чутья было ясно, кто перед нами: раз мужчина в кожаных штанах — кончено, улика, как говорится, налицо.

«Комиссар?» — Это густопсовый спрашивает. Вопрос, конечно, только для формы.

А тот оглянулся кругом и как ножом:

«Комиссар».

А сам Морозова так и сверлит глазами, так и сверлит.

Ах, черт возьми, вот сцена! Да взять бы хоть меня. Я такого понарассказал бы, что оказалось, будто и штанов на мне никаких нет, что это моя собственная кожа от натуги и политических воззрений такая черная да глянцевитая. А тут, поди ж ты, комиссар — и баста. Ну что это, Дуня, к тебе ласкаешься, а ты противишься?

Вот, значит, Морозов ему:

Пойдем, говорит, товарищ».

А тот:

Зачем идти? И здесь хорошо».

И вздохнул всей жизнью.

Вот это, понимаешь, игра! Этакой не выдумаешь. Дуня, смотри-ка, смотри, птичка какая вон там на крест села: вся черненькая, головка красная, а в клюве пушок. Семейная страда у них теперь. Вот и мы с тобой... ну-ка, подвинься поближе, вот так, вот так... милая.

А Морозов-то и говорит:

И то верно, чего там канителиться, зайдем-ка сюда, на двор».

Как зашли:

Ну-ка, покажи свои золотые зубки».

Пиф, паф, и прочь за ворота — дело сделано.

А я покурить присел. Знаешь, Дуня, удивительная вещь, после такой штуки обязательно затишье наступает и в человеке, и вокруг, не надолго, конечно. Потом скоро все по-прежнему.

Так и тогда, смотрю, петух жен своих попривел, как раз возле головы землю лапами расчесывает — вот-вот зацепит; морда красная, довольная. Здесь же и курочку одну обласкал. А я сижу под солнышком, ветерком обмахиваюсь. И захотелось мне узнать, кто он такой. Полюбопытствовал по документам — Андреев Иван Васильевич. Тут напала на меня жалость: одно дело человек, а совсем другое — если с фамилией. Знали бы мы все друг друга — жили бы иначе. Челюсть всю как есть разможжил Морозов-то, прямо смеяться нечем, такой прохвост.

Не мое дело защищать. Ведь актер я, всего только актер, Дунюшка, теперь и всегда. Для всех вас, для себя, для всей жизни. Никогда не знаю, кто я буду завтра и что буду делать. А, да черт с ним совсем! Давай-ка лучше споем вместе».

В Дуниных глазах одурь от снов и сытой жизни:

— Ну, что вы, Андрей Спиридонович, на кладбище.

— А что ж — где же и петь? Подумай, моя Прозерпина: людская темная кость внизу, а сверху под зеленью мы с тобой — молодые, влюбленные, с семиструнной гитарой. Итак, наш последний разученный романс.

Внутри у Дуни ходит мягкий вал и радостно ласкает все мысли и чувства. Можно петь, можно и молчать. Только пусть не отнимается, пусть все так же крепко сжимает и обессиливает волю чужая, смелая рука. Но рука ушла к гитаре.

— Итак.

Запел первым, а за ним пришлось и Дуне. Когда Дуня распелась, Коко замолчал и только подыгрывал.

Милый, купи ты мне дачу,
В городе душно мне жить;
Если не купишь — заплачу
И перестану любить...

И опять еще громче, повелевающий к повторению голос:

Если не купишь — заплачу
И перестану любить...

Коко быстро отложил гитару в сторону и наклонился над Дуней. Дуня не противилась... сказала обрывающимся голосом:

— Милый, как тихо... Только петух...

После долгого молчания ответил глухо Коко, отходя за крест:

— Да, петух... действительно... это кладбищенский.

Дуня полулежала на могиле, сквозь дрёму слышала, не понимая:

— Ну, товарищ Андреев, на твоей могиле привелось мне петь и радоваться жизни. То ли не поминки, то ли не панихида? Тебе ли не понять этого?

Похлопал рукой по могиле и подошел к Дуне.

— Вставай, Дуня, пойдем, гитару мы с тобой впопыхах сломали. Больше уж не попоешь под нее.

Дуня поднялась и сказала безразлично:

— Да что вы — такая жалость.

И полюбопытствовала о своем:

— Отчего это, Андрюша, вы сейчас называли меня как-то по-другому. Вроде как Клавочкой, что ли?

Коко не ответил.

Когда проходили мимо могилы матери, остановился.

— А ты прочла, что на кресте-то карандашом приписано?

— Нет, а что?

— «Как ни хворала, а померла». Эх, жалко гитару, так жалко, так жалко, прямо не расскажешь как...

ГЛАВА VI

Последнее время Василий Федорович — туча тучей: досадил сочувствующий. Оттого стал захаживать к Терентию Петровичу и по душам откровенничать. Поведет тяжелыми веками и начнет, как всегда не торопясь:

— Вот уж истинно, как волка ни корми... ну, с какой стороны к нему ни подойдешь, как ни заговоришь, а он только то и знает: «Не так все идет у вас, Василий Федорович, совсем не так, а от вас ведь многое зависит. Сейчас поработаешь в Пузырьках,— забудешь, что и на свете живешь. А нужно, чтобы и здесь было, как во всем нашем Союзе. Ведь подумать только, что даже красного уголка до сих пор нет, а пора бы, кажется, проснуться да на революцию посмотреть». Зачем же, говорю, в угол-то ее загонять? Пусть чтоб повсюду. Куды там! На днях сознался, будто сообщил он куда-то, уж не помню куда, что всю станцию перешерстить необходимо, других людей понаслать — иначе, мол, стоячее болото.

Коко неожиданно вмешивается:

— Ну, что ж, Василий Федорович, вот и выходит, что вы вагоны, а он паровоз. Вам либо сто́ять, либо за ним двигаться.

Но тяжелые веки на Коко не останавливаются — будто его и в комнате нет. Раз видать, что стрекулист, значит, можно и сквозь него глядеть. Потому поразмыслил о своем и продолжает:

— А пиши, говорю, куда хочешь, только на свои канцелярские. Казенные не для этого отпущены. Вот тоже, скажем к примеру, и керосин. Ведь сколько раз видел и предупреждал: светло и без того, а ты уж с фонарем. Зря ведь жжешь. Да ну его! Только смеется: «Не в том суть, Василий Федорович, не в том суть». Так в чем же тогда? Научите нас, серых. До того на днях довел... Начал как бы притчей: «Вот, говорит, если на перегоне поезд разорвется, тогда паровоз с головной частью обязан ход ускорять, иначе может так получиться, что оторвавшаяся часть нагонит переднюю и побьет вагоны. Так вот, говорит, вы, Василий Федорович, на оторвавшейся лихо катите, потому нам еще скорей надо». Ах ты, молокосос ты красный, думаю, кого инструктируешь? Меня. Ну и времена. Конечно, я с подчиненными всегда был хорош, но запанибрата — это что ж такое? К сожалению, сейчас таиться приходится — как по Писанию: «Будь кротким, как голубь, и хитрым, как змей». Ничего не поделаешь. Поборол себя и сказал ему только: все это верно, но забыл ты, что кондуктора на оторвавшейся части обязаны тормозить до полной остановки.

Отвел душу Василий Федорович и затих, перебирая баки.

— Съел? — впервые за всю беседу обмолвился Терентий Петрович.

— Съел.

Молчат долго, даже Коко не вмешивается.

— Ну, пойду я.

Поднимется Василий Федорович и, уже прощаясь, опять о своем:

— Намедни в декретный отпуск ушел. Теперь хоть немного передохну от него, от учителя-то своего.

И пойдет медленным шагом старого человека.

По его уходе Коко пророчествует:

— Ну, Теша, в этом вопросе филе видно — перешерстят вас — как пить дать. Хорошо, что я не в штате, а только временный при Дуне.

И пойдет к ней.

Коко уж давно нет, а Терентию Петровичу надумается ответить:

— Плевать.

Последнее время беседы сократились, особенно после того, как Терентий Петрович сказал Коко:

— А ведь ты зря девочку испортил. Здесь, брат, не город, людей мало, все на виду. Ты же, сдается мне, уйдешь скоро.

Коко озабоченно ходит по комнате.

— Да, да, уйду. Эх, Терентий Петрович, ты хоть в снах живешь, а другим-то как прикажешь? Пусть же и другие живут, кто как умеют. Велика, думаешь, радость отпраздновать двадцатипятилетие супружеской деятельности, да еще где? В Пузырьках. Вот тебе китайская мудрость: если хочешь жить как человек, но умереть как собака,— так никогда не женись... если же хочешь жить как собака, а умереть как человек,— Коко стал в позу и пропел,— тогда женись, тогда женись, тогда женись. Так-то, друг, и поверь мне, будет она помнить все это, и с благодарностью помнить — этим жить будет. Ведь ваше настоящее — это прошлое.

Терентий Петрович глядит на Коко поверх очков.

— И когда ты перестанешь людям баки-то заправлять? Ходуля ты без подножки!

— Теша, философ милый, пойми — это нужно тебе знать. Вот то, что я сказал сейчас,— это уж прошлое, а то, что скажу,— это будущее. Настоящего нет — его для «Пузырьков» выдумали. Вам, бедняжкам, нельзя жить не сказанными словами. Ну и черт с вами, живите как хотите, а я уйду.

И точно вскорости собрался уходить.

Зашел к Дуне.

— Ну, прощай, Прозерпина. Сегодня к вечеру с ускоренным уезжаю в пространство — нужно чинить гитару, скучно ведь без песен.

Дуня сразу заплакала.

Коко сел напротив и пальцем стал разводить по черному столу крупные брызги Дуниных слез, простых, как и сама Дуня. Голова у Коко набок, взгляд на палец.

— Не плачь, обманутая. У тебя есть выход — Петр Иванович. До сих пор страдает, но меня боится, а разве я страшный? Я — веселый. Говорил он мне, что все гадает на тебя и выходит ему пожар с благополучным исходом.

И сказала Дуня, сбирая все свои короткие мысли:

— А как же с ребенком?

Палец Коко задержался на замысловатом разводе, взгляд на Дуне.

— С ребенком? Сотри капельку с носа, вон какая смешная — дрожит, а сорваться не может. Так с ребенком, говоришь? Это неожиданность.

На минутку примолк, а затем встал и, глубоко вздохнув, дотронулся до Дуниного вздрагивающего плеча.

— Ну что ж, ровно через девять месяцев ты будешь матерью — это наверно.

И дальше уже воодушевленно:

— Подумай, какое святое и ответственное слово: мать. За это время много о чем подумаешь, многое поймешь. Но, по правде сказать, все это мелочь. Переездные сторожихи, например, всегда беременны. Поверь мне, Дуня, и, если сумеешь, запомни мое изречение (при этом у Коко палец кверху, осанка внушительная): в жизни нет подвигов — есть только мелочи, мелочи, необходимые, как шаги, или как вот твое морганье. Спешите запомнить — только один раз проездом через Пузырьки. А твое? Твое-то уж конечно, мелочь. Но мелочи должны быть разные. Ну, прощай.

И, вдруг, нежно уже из дверей:

— Дунюшка, наша радость была на кладбище. Вот видишь: даже и там может быть незабываемое.

Больше к Дуне не заходил, а Терентию Петровичу сказал между прочим:

— Ну вот, ухожу опять к массе.

Терентий Петрович оторвался от своих записей.

— В турнэ?

— В турнэ.

— Ну-ну,— и снова заскрипел по бумаге.

Коко не уходил.

— Гитару починю, петь буду...

Терентий Петрович приставил перо к чернильнице:

— Нашел чем хвастаться. Не на небо ведь улетаешь?

Коко рад, что удалось разговориться.

— Вот-вот, это-то и хорошо. Все лучше, чем у вас здесь. А вот вы если и полетите, то не заметите. Сонное зачатие, сонные роды и смерть ваша рыбья: лучше говорить не «помер», а «заснул».

Терентий Петрович долго наблюдает за Коко поверх очков. Коко почтительно ждет ответа.

— Ну что ж, ступай, что ли, куда шел-то,— сказал наконец Терентий Петрович и опять взялся за перо.

— Иду, прощай, доморощенный мудрец.

И вдруг сморщился по-старушечьи и зашамкал, кивая головой:

— Еще кланяюсь я мамульке и всему хозяйству ее вкупе, еще кланяюсь начальству, выбитому из колеи и ущемленному, а также телеграфной штрипке и всем, кто живет по разным пузырькам, будет ли то большой дом, город или деревня.

Думали, что на том и расстались...

В тот день Петр Иванович вычитал в научном журнале:

«Ихтиозавр — ископаемый морской ящер мезозойской эры, по форме тела напоминает дельфина...»

Перечитал, вникнул, отшвырнул журнал и, задумавшись, отошел к окну.

«Городская, с образованием, а такая развратная»,— несколько раз подумал он про кассиршу, и любовно припомнилась Дуня, не так как всегда, а серьезно и чисто...

ГЛАВА VII

Утром того дня, когда плакала Дуня, а Коко собирался уезжать, проходил через Пузырьки товарный поезд. Пришлось ему задержаться на станции из-за отцепки заболевшей цистерны. Давала она течь больше шестидесяти капель в минуту, а с такой течью на другую дорогу не примут — нужно перекачивать.

Когда поезд освободился от нее, он вздохнул облегченно и потащился дальше.

Цистерна скучала в тупике, отдавая по каплям свое нутро жадному сухому песку.

Мимо ходили и тянули носом.

— Экий дух!

Стало невтерпеж.

— Да что нюхать-то, только себя расстраивать. Все равно зря пропадает.

Пошептались в сторонке и по рассеянности саданули паровозом так, что закапало торопливей.

Первым подставил горстку составитель Егоров. Втянул с нее в рот и сплюнул с полным удовлетворением:

— Годится.

Отыскали стакан, подставили.

— Найкрепчайший. Способствует.

— Егоров, вдарь еще.

Вдарили.

Подставили ведро.

— Надо бы по начальству...

Протянулся во все стороны прохладный спиртной дух, дотянулся до станции, вошел в дежурную. Терентий Петрович пригубил принесенное и молча пошел к цистерне.

По дороге заказал сторожу:

— Сбегай-ка ко мне на квартиру, скажи там человеку, Коко, чтоб приходил — есть интерес.

У цистерны все начальство.

Василий Федорович сожалеет:

— Этакая, братцы, утечка ценности. Смотри-ка, Терентий Петрович, как на землю-то льет — пропадает совсем без пользы.

Подставил палец, отряхнул, понюхал и крякнул.

Когда пришел Коко, увидел он знакомые спины, взгляды же и лица были новые. Каждому хотелось быть одному и других не замечать.

Говорили вполголоса и коротко.

Коко протиснулся вперед.

— Нуте-ка, отпустите и мне по норме.

Опорожнил сразу чуть что не одним глотком поданную посудину, остатки плеснул на землю и, передав посудину в чьи-то торопливые руки, стал осматривать цистерну со всех сторон.

По серому громоздкому телу кто-то раскинул меловые корявые буквы:

«Метиловый спирт».

И еще не вырвались слова, а уже отталкивал Коко от течи голодные пустые ведра и стаканы.

Оттолкнув, прокричал:

— Прекратите — смерть пьете!

Для этого ушей не осталось. Копошатся, как непрозревшие щенята возле материнских сосцов.

Только кто-то, устраняя заминку, тихо и внушительно сказал общую волю:

— Не замай, не по вкусу — уходи. Здесь всяк за себя. А то мало ли что.

И отодвинул помеху в сторону, как упрямую ветку, загородившую проход.

Коко провел рукой по лбу. Эхом повторил еще раз:

— Смерть пьете.

Затем подумал вслух о себе:

— Сам-то я хлебнул больше, чем надо... А, да черт с вами, пейте кому охота, все равно теперь поздно. Лучше уж до конца — мучений меньше.

И закричал весело:

— Вали, ребята, глуши, спирт — что надо!

Никто не оглянулся.

Шум, шум в голове и во всем теле сперва слабый, потом все гуще, как в чаще перед началом дождя. Только не настоящий ли это шум? Не все ли слышат его?.. Но сверху сплошная безоблачная синь. Откуда дождю взяться?

И никто еще не знал, что из тупика глядит на станцию насторожившимся взглядом хмельная жадная смерть.

Мелькнула перед глазами стрелочница Щукина, глотает прямо из ведра так, что горло не справляется — булькает гулко. Оторвалась передохнуть, провела рукой по губам и усмехнулась криво:

— Х-д — не верится даже...

И опять припала.

Коко крякнул и отвернулся.

И не заметил, что шел он уже прочь от цистерны, шел слепым развеселым человеком, как тот, которого видел когда-то не то во сне, не то наяву...

Вдруг неожиданно ожила мысль.

«Куда иду?»

Оглянулся. Стрелочная будка... дед... Чуть что не натолкнулся на него.

— Вот кстати для проверки мозгов.

Присел перед дедом на корточки, обхватив колени руками. Чтобы перебить шум, надо кричать.

— Дедушка, а дедушка, к тебе на минутку. Вот разум мутится, дедушка. А, знаешь, ведь Морозова-то я самолично с поезда столкнул.

Качнулся и, распустив руки, уперся в землю сперва одной, а после и другой рукой. В таком положении и остался рассказывать:

— Как тогда встретились на поезде, разговорились... вспомнили прежде всего старое, ну выпили, конечно... на скромных началах. Как сейчас помню, морковкой еще закусывали. И вдруг

пришло мне все на память, все, все... я и решил... Как Морозов подвыпил, вывел я его в тамбур освежиться... дверь распахнул и р-рапа-памс — лети... Ха-ха, цепкий дьявол, чуть что меня с собой не захватил.

Вскинулись старые глаза, глядят строго и прямо:

— Какой Морозов? Что-то не пойму я — пойди, милый, проспись.

— Ах, дедушка, да тот, который внукá твоего без смеха оставил, а потом еще петух возле головы нахалил... я Клавочке, то есть Дунюшке, все это на могилке разъяснил... начистоту, как вот на этой самой ладошке...

У деда суровый голос:

— Иди, говорю, проспись, а коли убил, не твое это дело — не судья ты, а человек с пьяными ногами — куда поведут, туда и ладно.

— Верно, дедушка, верно. Один ты здесь живой, потому что старый и без ног, да еще тетя Саша. Ну, прощай, я ведь только чтоб мозги проверить. Прости меня — плохо мне, крутится все, шумит... сперва полегчало как будто, а теперь опять...

Поднялся с трудом, цепляясь за деда, и, когда уходил, услышал позади тихий вопрос:

— Мучился?

Понял, что о внуке.

— Нет, дедушка,— потянулся, как после сна, и все.

— Ну, иди.

Пошел и не знал, что идет обратно к цистерне, и всякий предмет, даже самый тяжелый, стал сниматься с места и кружась выплывал из-под взгляда.

И вдруг опять серое громоздкое тело, а на нем потерявшие значение буквы:

«Метилозый спирт».

Все так же мерно бегут шустрые капли, теперь уже ненужные, и ширится от них по песчаной скатерти большое темное пятно.

Люди вразброд — кто на песке, кто на траве, больше лежат, бродячих очень мало.

Коко останавливается.

— Что-й-то, братцы, не пойму я, станция ли это? Пузырьки ли это? Или палуба при кораблекрушении?

Из-под колес поднялся Василий Федорович и молча оперся на Коко, дыхнув на него, как из цистерны.

Обнялись.

— А и крепкий же ты, отец комиссаров! Никак еще ходишь? Стойкий, видать что в сына.

В ответ хриплая просьба:

— Доведи до кабинета. Кончаюсь. Пил с ними, а умирать здесь запанибрата зазорно... не желаю.

Коко смеется.

— Так ты понял, что умираешь? Какой догадливый. А запанибрата не хочешь? А слышишь ли ты, начальник станции, как под семафором свистит поезд — в Пузырьки просится?

В ухо Коко все тот же настойчивый хрип:

— Теперь все равно. Доведи до кабинета. Только чтоб не здесь. Прошу как человека.

— Как человека? Ну, ладно, попробую уж.

Потащил, удивляясь на свои силы, и казалось, что не доведет и упадет вместе с ношей, оседающей к земле.

В кабинете Коко уложил слабеющее тело на пестрый диван, а затем подобрал туда же скинувшиеся на пол отяжелевшие ноги.

— Ну, вот теперь все в порядке, пожалуйста умирайте. Здесь уж без всякого панибрата.

Приметил, что Василий Федорович что-то шепчет, прислушался и услышал:

— Старой пружине конец...

Услышал и задумался над словами, стараясь понять их.

Неожиданно взволновался станционный колокол. Необычно и беспорядочно колотил он в медь старым языком своим и кричал надрываясь, тревожно как мог, потому что видел людскую погибель и тосковал, что не понимают его.

И это дошло до остывающей мысли Василия Федоровича, оттого открыл вдруг глаза и пояснил шепотом, опуская последний раз в жизни свои тяжелые веки:

— Тревога или пожар...

И сейчас же навсегда забыл об этом.

На одном из несчетных ударов смолк вдруг колокол, точно изошел весь в крике без остатка.

Коко вышел на пути.

Набрел на Терентия Петровича и наклонился над ним:

— Ну что, Терентий, уходит твой свист, твоя жизнь. Скоро узнаешь, что к чему.

Услышал хлюпанье языком и медленные слова со спутанными буквами:

— Опять хвотс винджу...

И потом еще:

— Сны сожжи.

И, как полагается перед отходом, стал справлять уже слепыми руками измазанную в травяной зелени белую гимнастерку.

В голосе Коко огорчение:

— Эх, Теша, Теша. Ну как же так? Ну что же это? Вон комарик-то на губе присосался. Дай-ка сгоню. Кш, кш, подлый... будя попил... А то еще в гробу да с комариным прыщиком... Эх, Теша, Теша, ну как же так? Ну что же это? — И вдруг опустился на колени, нагнулся к Терентию, будто хотел поцеловать его, но сейчас же встал и отвернулся.

Почти рядом Щукина.

Умирала, а думала, что пьяна.

Раскрыла пустые глаза и в последний раз сказала свое, пустое...

С тем и отошла.

— Тю-тю,— сказал Коко, свистнул, перекрестился и пошел прочь.

Но уже дрожала походка и отяжелели глаза.

Столкнулся с Петром Ивановичем.

— Чего бежишь без оглядки? Никак со сна колокола испугался?

Петр Иванович задыхается.

— Андрей Спиридонович, что делается? Где Терентий Петрович? Под семафором поезд... А тут еще колокол сорвался да Егорову, ка̀к он звонил с пьяных глаз,— как бухнет в самое темя, всего окровенил... может, до смерти.

— Постой.

Коко близко подходит к Петру Ивановичу.

— Постой, не беги, все пьяны, все мертвы. Радуйся, мил-человек, проспал ты даже смерть. Постой, не рвись, пуговица с мясом вырвется. Завещаю тебе Дуню, сосуд скудельный, береги ее, спите с ней в Пузырьках до скончания века.

У Петра Ивановича дрожат губы, а на них белые самодовольные усы.

— Андрей Спиридонович, что это у вас челюсть как трепыхает? А, Андрей Спиридонович?

Шум, шум в голове. Не провода ли гудят? Не соседняя ли станция почувствовала, что неладно что-то в Пузырьках, и делится с каким-нибудь Мишей своей тревогой.

— Миша, это я, Ваня, что в Пузырьках?

Мешаются в голове буквы, как у Терентия Петровича, и в борьбе с ними приходится кричать.

С последним усилием оттолкнулся от Петра Ивановича.

— Не держи меня, я сам! Отравился я, да не до конца. Передай там по телеграфу в жизнь: ропнул еще один пузылек. Мне-то напре... наплевать, но так умирает, не зная того, вся сталая Росп... рост... Рас...

И снова замкнулось в мозгу и глазах на этот раз совсем.

Кружится все, шибко кружится вокруг чего-то: и цистерна, и люди, и станция, и глазами уж не поймаешь, сливаются вместе, делаются сквозными.

Эге, раздулись, плывут пузырьки, как панталоны тетушки Саши... Оторвались... летят, улетели, а может, разорвало их и бросило пылью, как споры созревшего гриба-дождевика, недаром зовут его — чертов табак.

Подожди, новые Пузыри народятся там, где и не ждешь их...

Пробегут мимо нее и эти, и те, и другие, и еще, и опять...

Вот на крылечке тетушка Саша, старенькая, утратившая все заботы. Качает головой:

— Дунюшка-то моя в девицах родила. Братец опоился до смерти, да и других всех в один день как кислотой повыело — все перемерли. Только актеришка проклятый отвалялся где-то и дальше покатил, скатерть ему на дорогу. Не было бы его, ничего бы не было. Это он все нахохотал. А здесь все новые понаехали, порядки пошли строгие, чтоб все по норме. Как жить-то дальше, батюшка?

Во взгляде навсегда невыплаканные слезы.

Помолчит пригорюнившись, а после о самом затаенном и главном:

— Хоть бы Петр Иванович не побрезговал — в любви и не то еще прощается.

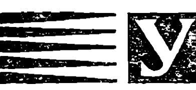
Так и посейчас, видать, сидит задумавшись на крылечке. Думы ее простые, да как их выскажешь-то?

Живут в человеке разные мысли: одни навынос, другие впрок. Из первых слова вяжутся на всякий вкус и цвет.

Пожалуйста, получайте.

А которые впрок, те камнем лежат, и тяжелеет от них к земле человек. Может, под камнем тем клад неизмеримый, а может, только козявкино отхожее место, нам-то все равно — чужое, не общее, а до такого нам и горюшка мало.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ



мер Семен Назарыч неожиданно для себя. Днем в квартире по окнам лазал, занавески развешивал, но оступился как-то, упал и оборвавшейся занавеской сверху прикрылся. Не сразу и догадались, что под ней Семен Назарыч лежит.

Когда очнулся на постели, соображал заботливо: «Завтра обязательно занавески довешаю».

Однако ночью скончался. Обо всем этом, только подробнее, от тетушки Ольги Парфеновны узнать можно было. Когда припоминала она, как Семен Назарыч занавеской прикрылся, вздыхала непременно: «Уж такой-то был тихий да скромный, по-скромному и преставился; и подумайте, как все поспешно вышло: вот и волосы еще на гребенке, а человека уж нет». Дочка же его Маруся, убивалась и плакала сильно, не иначе как жалея себя.

Все так-то плачут.

Если же не по себе убиваться, то первая примета — глаза сухие и тоской блестят, а это куда для здоровья вреднее. В том и вся разница.

Хозяева, люди сердобольные, надумали поминки справлять — блины, кисель и прочее, по положению, а сверх того спиртное. Очень хорошо поминали, лучше не надо, а после полуночи на граммофоне пускали неровно «На сопках Маньчжурии» и «Застольную песню».

Тетушка сидела у них, а Маруся, как бы по нездоровью, уклонилась. Про то намек тонкий сделан был:

«Гребует нами Марья Семеновна, а мы по доброте: коли обнищали — как же не помочь родителя-кормильца вспомнить. А нам нипочем — все равно гостей созывать время пришло».

И сидела Маруся у себя в комнатке девичьей, отец из памяти не выходил: то одно, то другое припоминалось, вместе не свяжешь, а все дорого. Вот сидит он за столом в пиджачке подержанном, в руках календарный листик, и басит тихо, через очки заглядывая: «Послушай-ка, Маруся, чудачество вот одно ученое, будто есть только две радостные вещи: это звездное небо над нами и еще, как его, где это, ах да вот — и моральный закон

внутри нас». Мудрено больно, а хорошо, запомнить бы нужно. Только вот одной вещи-то почитай целый год у нас и нет — неба нет, вместо него муть заразная. А есть ли другая? Без первой едва ли — оттого и люди здесь опасные, без нутра... как вещи...

Было это недавно, и листик вот лежит, а на нем обед еще предложен: ботвинья, холодец и мороженое — это осенью-то! Очень все это грустно.

Утром тетушка с племянницей совещались, что на базар выносить: надумали брюки.

— Только как же это так, тетенька, не умею я, да и совестно брюки-то.

— Что делать, родная,— по беде, по беде. А ты как придешь на базар, встань в рядок, руку-то вот так протяни, может, кто и облюбует.

А Маруся-то,— видать, что в отца уродилась,— скромности да застенчивости хоть отбавляй, к тому же — девица. До сих пор не приходилось в людях толкаться — все папенька делал, а теперь вот идти нужно. Собралась и пошла. А базар поблизости, и притом очень бойкий, расползается во все стороны, ходить мешает, пора бы и прикрыть.

А пуще всего осень — неряха такая непутевая, грязищу и на полу, и на потолке развела, людей стыдно; впрочем, им наплевать: схватят, что дома увидят,— и на барахолку: не купите ли?

И продираются в толпе туго, что карты в колоде старой — никак их не перетасуешь.

Было время — в сундуках, в уголках да на столиках жили-были навеки нерушимо разные вещи, нужные и ненужные, а потом надоело так-то жить, и надумали они хозяев менять.

На то и революция, чтобы шевелиться! Расставились, почитай, по всей улице на половиках, а то и прямо на земле. Берите нас, хозяева новые. Коли поискать, много чего найти можно: Канта там, Молоховец или клизму дырявую и портрет умилительный в цветах подвенечных. Пожалуйте, на все вкусы.

— Что это вы, такая хорошенькая, и штаны продаете?

От неожиданности даже рука Марусина с протянутыми вещами опустилась, а сама вся зарделась, едва слова для ответа нашла:

— А вы купите.

— Штаны как таковые не нужны. Вот шляпа, действительно,— роковая принадлежность головы. Покупаю, покупаю, а все — не к лицу. А лицо у меня, сами видите,— очень оригинальное, и притом пробор.

Взглянула по женскому любопытству — точно: на лбу под коком шрам, и еще усы мотыльком, а лицо угарное, араповое, интересное вообще лицо.

И стала припоминать вслух:

— Кажется, дома и шляпа есть, можно бы тоже продать.

— Непременно есть, сами, зернышко, виноваты, зачем с папиных низов распродаетесь. Я бы на вашу миловидность сверх шляпы накинул.

Постоял около, помолчал и опять:

— Так помер, говорите, родитель-то?

— Да.

— А вы не грустите. На базаре тоже нелегко. Но как я сочувствующий, позвольте познакомиться — Григорий Жук. А вы, зернышко, торговать не умеете. Хотите — помогу? Да не тревожьтесь — не убегу я с вашими штанами. За сколько пускать? За пять? Мало — семь. Ну, так учитесь, пока я жив.

— Ай штаны, вот штаны, покойные штаны. Каждая штанина три рубля и полтина, итого семь, доступно всем!

Сразу подошло несколько и стали на свет распяливать.

Хоть и стыдно стоять рядом, да надежда есть, что не догадаются, чей товар; но словно угадал Жук, подмигнул и громко так сказал:

— Если б не это наследство — нипочем бы с вами не познакомиться.

— А на что вам?

— Люблю неопытность и привлекательность. А ты, друг-товарищ, пальчищами-то не протирай — чай, не прачка, да и штаны не русские, не любят этого.

Однако не уходит покупатель, топчется на месте — видать, клюнуло.

— Возьми пять.

— За эти-то, с горошком? — и уставился в упор глазами.— Да ты что? Блондин или так себе — идиот ненормальный?

Помолчал немного, а потом другим тоном:

— А коли уж по справедливости,— только вам, многоуважаемый, и носить их. Ведь оттого вот и папенька ихний кончился, что перещеголял. Как оденете, отбою от невест не будет, даже опротивят, как вобла. Так берете, что ли?

— Пять.

— До пяти считаешь, а как дальше?

— Ну, шесть.

— Эх, так и быть, шесть и еще полтина — только уж для блондина,— бери, поздравляю, ликуй, товарищ Исаия! Рассчитывайся вот с ними, а я в сторонку — мое дело сделано.

Деньги Маруся получила, кивнула с благодарностью и через базар пошла, а Жук — за ней. Шумит базар, толкается. Берите нас, хозяева новые...

Помолчал немного и опять в разговор вяжется.

— Действительно, как поглядишь вокруг,— полный обмен веществ! Важное это дело, и делают его только торговцы да воры. А и доверчивые вы! Стреканул бы я с вашим товаром, вот и — пердю, как говорят французы.

— Ну к чему это, разве вы из таких?

— А что ж, думаете, обмишурить не могу? Плевое дело, могу и даже очень. И не пожалею, жалеть труднее, но и это могу. Я ведь и в школе учился. Как это по русскому? Сказуемое служит названием того признака, отсутствие или присутствие которого замечается в подлежащем. Премудрость! С годами понимаешь. Вот вы, например, хоть и подлежащее, а сказуемого-то у вас и нет — девица при папеньке и все. А то вот еще спрашивает меня учитель — Кащеем мы его звали: «Отчего это, Жук, кавказский пленник черкешенку любить не мог?» А я ему — оттого, мол, что ноги у него были связаны. Скоро меня и погнали, и стал я вещам помогать хозяев менять. Расстреливался неоднократно и красными, и белыми, оттого беспартийный.

Спешит домой Маруся — бог с ним, с таким человеком. Скорей бы до дому — благо близко.

Больше разговор не клеился.

У дома спросил только:

— Ну вот, сегодня штаны, а дальше?

— Что-нибудь еще, все так живут.

— Так, понимаю, ну, до приятного. Да вот еще, постойте. В заднем-то кармашке потайном бумажник обнаружился. Этакая неосведомленность! Я об нем позаботился, а мог и не отдать. Получайте и простите, что такую сатир-мораль с вами развел. Люблю я это.— Сунул бумажник в руку и прочь пошел.

— Странный человек, а бумажника такого будто у папеньки и не было.

Когда в квартиру поднялась — прежде всего бумажник раскрыла: оказалось в нем тридцать рублей в золотом исчислении и удостоверение личности, а на фотографии во весь рост блондин — покупатель базарный — красуется.

Украл, значит, и из жалости подкинул, как бы на бедность. Что теперь делать? И прежде всего, как была в пальто и платочке, села за стол и поплакала маленечко над удостоверением личности и деньгами в золотом исчислении.

Поплакала и пошла к тетушке.

Сидит Ольга Парфеновна, в платок байковый кутается и карты раскладывает.

Выслушала все и говорит с удовольствием:

— Ну вот, свет-то и не без добрых людей — с удачей, значит.

— А я, тетенька, вернуть хочу.

Руками замахала, даже платок с плеч слезать начал.

— Что ты, что ты, брось, что затеяла! Этакая неосторожность! Вон папенька-то из-за занавески погиб, оступился, только и всего. А ты что затеваешь? Как бы и тебе тоже не того. С деньгами да с вещами нужно ухо-то остро держать. Понесешь, а он, может, тоже мошенник: украл у кого или что еще, к ответу тебя притянут, а ты — девица. Нет, уж брось это.

Так и бросили.

В ту пору пришла зима — прачка усердная — отстирала грязь в небесах и стала синькой воздух и снега подцвечивать.

И постучал как-то в дверь Жук.

— Впустите, многоуважаемая.

Не хотелось впускать, да как же иначе? Еще обидится. Крючок скинула.

— Пожалуйста, входите.

— Здравствуйте, мироносица, здравствуйте, зашел по знакомству. Ну, как живется?

А глаза уже всю кухню обежали и назад воротились.

— Торговать-то еще есть чем? Вон платок какой хороший, байковый.

— Это тетенькин, ее сейчас дома нет.

— Тэ-экс. А что ж это вы на барахолку-то не ходите? С деньгами, что ль, обошлись?

— Да вот перебиваемся...

— Не иначе как через тот бумажник?

Как тут не смешаться — неприятность какая; едва прошептала:

— Нет, что ж бумажник...

— Как что ж? Тридцать рублей не деньги, что ли? Папенька-то, поди, с потолка смотрит,— не нарадуется. Мерси, мол, большое, Григорий, что дочку мою надоумил.

Почувствовала Маруся, что плакать придется, а слезы — уж тут как тут.

— Зачем вы так сделали?

— То есть что это так? Я-то здесь при чем? Нет, уж меня оставьте! А то выходит, что я здесь, как Понтий Пилат, в символ веры попал. А и любопытно мне: жила при папеньке, все в аккурате, и вдруг переворот. Тут уж не то, тут уж, как говорят французы,— «ну верон, ки — ки, же тю у тю же», посмотрим, кто кого: ты меня или я тебя,— одним словом, обмен веществ. Ведь вот не отнесли бумажник-то по удостоверению личности, не отнесли ведь?

Только головой качнула Маруся — нет, мол, не отнесли.

— Поди, тетенька не пустила? Ну так вот, пойду я сейчас в милицию: так и так, скажу, хватайте.

Подошел медленно к столу кухонному, а за ним Маруся сидит, рекой разливается, постоял около, а потом с раздумьем так:

— Люблю проверку делать, сатир-мораль разводить, такой ли, как все? Поверю и обрадуюсь — такой, мол, Гриша, такой, даже лучше, ведь вот не оставил себе, другим отдал — душа добрая. И сейчас, например, пограбить можно, а не хочу. А может, блондин-то нуждается — на четыре грани разбивается, пóтом и кровью гроши вышибает, а?

Помолчал опять и уже по-другому:

— Ну, полно, зернышко, ничего я такого никому не скажу, да и вернее, что украл блондин, как и мы с вами. Ну, полно, уйду я сейчас, только прошу вас: дайте пожевать чего-нибудь — подводит очень. Видать, не то приметили, не то удачи нет,— оттого и злой стал. Хлебца бы мне.

Поднялась Маруся, всхлипнула еще разок, отвернулась от Жука к стенке и в комнату заторопилась, хлеба принести.

Когда возвратилась — Жука не было.

Шел он по улице к базару, и, когда дошел, вытащил из-под пальто платок байковый тетушки Ольги Парфеновны, встряхнул и сказал с убеждением:

— Обмен веществ!

Вечером смотрела Маруся сухими глазами в окно звездное — отца вспоминала.

ГРАЖДАНИН ВОДА

I



огда опустился на страну 1917 год и хлестал гневом и кровью в мозг и глаза — крестились неученые, как в страшный, грозовой час:

— Пронеси, господи!

Но не пронес, так и осталось...

А река Мшага была все та же, углубленная небом, и так же с песней плелись венки для речных разгадок.

Поплывет — жить, утонет — умереть.

Венки и тонули и плыли, а люди мёрли своим чередом: старые от старости и неустройства, а молодые — оттого, что свинца накопилось много.

С нами вы, с нами навек, и речка, и смерть, и немудреная песня...

Мите Воронову далеко ходить на дежурство. Сначала от жилья своего, от белого дома, долго по городу. Пока идешь, примечаешь: сперва вздыбится город ввысь камнями, а потом медленно опускается в деревянные улицы, затихает и землянками совсем сходит на нет.

Отсюда до станции — конец жилью. Здесь только клеверный ветер да радостный разговор без слов для себя...

Смекалки, что ли, у инженеров не хватает — нет ведь того, чтобы дорогу честь честью до города довести,— бросят вот так за четыре версты, и изволь переть. И припомнилось из грамматики: мереть, тереть, переть, умереть пишется через «е».

Улицы на окраинах пухлые, горячие, крутят, крутят, то вверх, то вниз,— сапог не напасешься. Эх, кабы не нужда, ходил бы в университет! А теперь вот начальник станции, он же по железнодорожному шифру ДС, очень строгий, хотя и жулик, буркнет:

— Товарищ Воронов, пиши объяснение по поводу своей индифферентной манкировки — этакое в тебе,— скажет,— проклятое наследие от царского режима, а еще сочувствующий...

Повидал ДС всякие власти, даже такие, которые сами никакой власти не признают, и всех пережил, и никто его не расстрелял — а жаль!

— Здравствуй, племя молодое!

На глухом деревянном заборе ватные руки, а на них голова, вся бритая и брови стрелкой. У такой головы туловище обязательно толстое, отвислое, а ноги короткие в клетчатых штанах — это уж верно, не стоит и через забор заглядывать.

У калитки круглая дощечка, а по белому кругу:

«Акушерство и женские болезни. Прием секр. берем.».

— Часы по тебе, Митя, проверяю и хвалю, служи, брат, честно новой России.

— Здравствуйте, Кузьма Иванович!

Подошел, ногу на заборную перекладину поставил, а рукой за зубец ухватился. Вот ведь неприятный человек, а всегда тянет поговорить с ним.

Толстые губы плескают словами и улыбаются.

— Денек-то, денек!

Обтер ватной рукой лоб и под носом пот пальцами отжал.

— Воистину род человеческий пребудет и убудет, земля же пребывает вовек...

Захотелось подразнить.

— А как же пророчество о конце мира?

Отмахнулся мягко:

— Ну это так, для устрашения.

— Ерунда все это, Кузьма Иванович!

— Ерунда? А вот ты, черномазый, гимназию кончил, мозгами, значит, шевелил, а ну-ка химию-то забыл, химию-то? Вещество изменяется, но не пропадает. Сперва это,— растопырились пальцы перед глазами,— незначительно и туманно, а потом, как вот на этой ладошке, пожалуйте, от мелочей до великого. Ведь конец-то, мира-то, ведь был он, в 1917 году был, и притом не первый раз. Интересная это штука, не всякому такое на роду приходится.

Подбирается что-то сердитое к Митиному языку. Снял фуражку и козырьком в черных волосах почесал.

— А знаете, Кузьма Иванович, была у меня в детстве игра — мозаикой называлась, может, вы и подарили. Сетка такая, вроде сотов пустых, и еще квадратики маленькие, разноцветные. Вкладываешь их в эти соты, и очень интересные рисунки можно делать, или слова какие хочешь. Вот и у вас, Кузьма Иванович, в мозгу все расставлено,— когда надо, возьмете и переставите.

Качает голова в такт словам, и лицо жирное, ласковое.

— Может быть, может быть. И рассказ твой тоже с рисунком, и молодость — слово цветное. А вот ты оглянись, вдохни в себя эту тишину, и умиротворишься, и воздух словами пакостить перестанешь... А мозаика, что ж, это верно, и сказал неплохо. Я вот сейчас все свои красные квадратики использовал,

а остальные отложил. Примечай, бунтарь молодой, отложил — только и всего. Хочешь папироску?

— Нет, не надо, до свидания!

— Постой, постой, не спеши, опоздать успеешь. Когда же это ты сочувствующим-то стал? Эх ты, молодо — зелено. Скажу тебе как сыну покойного друга и товарища. Юноша ты с головой, дельный, а боюсь, что границ не знаешь. Сам я всегда со всеми, всем сочувствую и всяким успехам радуюсь, но в дружбу никому не навязываюсь. Дмитрий Дмитриевич, попомни, коли играешь в карты, считай, сколько взяток отдашь, а не возьмешь,— так-то.

Примолк, а потом вдруг вскинул на Митю маленькие глаза, один зрячий, а другой плохой.

— А что это, Митечка, слыхать, будто в городе опять неспокойно, будто не справиться вам с казаками, а?

Действительно, город что-то знал. Был он теперь не прежним каменным, а чутким на все пять человеческих чувств, не усыпишь, не обманешь, если бы и захотел. А тут хотя еще и не объявлено, но все знали, что предстоят внеочередные выдачи всем гражданам махорки, теплых штанов и пегого ситцу: неспроста такая щедрость. И неспроста распорядились власти выстроить на городской площади помост, чтобы играли на нем в течение всего дня наряженные для сего музыканты, а в перерывах выступали ораторы. Недаром также заседал губисполком, приглашая представителей дорог. Кое-кого и кое-что уже грузили в вагоны, и было все это и без разговоров больно Митиному сердцу. А тут вопрос прямо в лоб, оттого ответил быстро:

— Не знаю, Кузьма Иванович, не знаю, да и идти мне пора.

И сейчас же пришло в голову:

— Только вот еще хочу спросить вас, что, если бы вот дом у вас сожгли и все разграбили?

— Эка штука, испугал чем! Сгорит — зола будет, а от золы пастбищам удобрение. Скотинка-то на нем пасется и тучнеет, а те, кто ее ест, благоденствуют и также жиреют. Нет, не так это страшно...

— Ну, а если дочь вашу изнасилуют?

Ответ назад мячиком прыгнул:

— Ну что ж, внуки будут, господь с ней. К тому же, сам знаешь, акушер я старый, принимал и не раз и не два, как твои поезда — пожалуйте, новая жизнь, путь свободен. Дело пустое.

Мягко, по-родительски гладят облака и небо, и землю.

— И-эх, тьфу, и что вы за человек, Кузьма Иванович, и что вы за человек, удивляюсь я. Какой же вы гражданин? — Запинается сгоряча Митя: видно, трудно слова придумывать.— Так себе, что наша речка Мшага, купайся в ней, молись или лю-

буйся на нее, пакости в нее, ей все нипочем, течет себе — и все тут.

— Так и нужно, светик, так и нужно, опять умно сказал: граждане что вода — вливай куда хочешь, только берега были бы крепкие, а по-моему, еще лучше крутые — иначе подмоет, разольется, и тогда беда — потоп. И я такой же, не скрываю, частичка воды.

— Ну, а если новая власть?

Спокойно рассуждают ватные руки:

— Пожалуйста, сейчас это пироги с капусткой, наливочки и благодарственные молебны.

— А за что же благодарить-то?

— А как же? А за переворот? Да и властям тем молебны желательны. Как же, как же, новое изменение вещества. Чем чаще, тем интересней. А главное: что ведь основа-то, которая меняется,— махнула рука с убеждением,— все одна и та же.—И еще раз, совсем уверенно: — Одна и та же. А вот насчет воды, это ты здорово, это, знаешь, просто хорошо.— И засмеялся тихо.— Ну-ка, ударь ее хоть бы чем тяжелым, не больно. Побегут, побегут по ней круги, и то поверху, и сотрутся, только и всего. Так-то, ну ладно, иди-ка служить, никак дождь собирается. Да заходи к нам, Глаша о тебе справлялась.

Хорошо перед службой идти через поле — оно отмывает все, что пристало от людей, даже от Кузьмы Ивановича.

Мереть, тереть, переть, умереть пишется через «е».

Встречных, по счастью, нет никого, только ветер, клеверный ветер, а с ним радостный разговор без слов, для себя.

II

Маки, маки, веселый бездымный костер, уже подобрался к окнам, вот-вот хлынет внутрь сторожки, сожжет.

— Эх, бабушка, на покой тебе пора, а ты в цветы рядишься!

Глуховата на ухо, дряхлая, наклонилась в одну сторону, прислушивается, тишину караулит. А та вокруг серой птицей бродит, пасется, в окошки заглядывает, глаза большие-пребольшие — незлобивые глаза.

Таня, девушка юная, маки выхаживает, сама как утренняя роса, светлая, ласковая, недолгая. Кашляет что-то недобрым кашлем, и оттого худоба.

— Дедушка, дедушка, маки-то у меня какие! Любимые.

И хрипит дед, как ржавый флюгерный петух под ветром, самодельный давнишний петух:

— Да уж что и говорить, цвет-то красивый, только проку в нем, вишь ты, мало, проку-то, говорю: лучше бы табак или капуста...

И улыбается пустыми деснами.

— Как погляжу я на тебя, а и счастливая ты, Танюша! Вот над цветами ты хозяйка, а над тобой кто? Как есть никого. Счастье это большое, без начальства-то...

У переезда белый столб — на нем в обе стороны отметки: 925 — 926. Это версты, а откуда и докуда — как хочешь, так и считай.

Днем цветет по-весеннему небо, а прохладные, строгие ночи плавят звезды над самой сторожкой.

А та слушает, караулит.

Вот-вот потечет по рельсам тревога, и насторожится серая птица.

Поезд! Поезд!..

И уж слышно далекое: «а-та-та, а-та-та». Страхом ширятся птичьи глаза. И уж распластала паутинные крылья, и уж мчится наугад и беззвучно обезумевшая серая птица. Куда попало, только дальше, туда за овраг, за речку...

Ненавистный город, зачем бросаешь в поля и леса эти страхи?

И безвольно откликаются просторы.

«Та-точ-ка, Та-точ-ка...»

— Слышишь, дедушка? Словно меня зовут.

У переезда мертвой тенью белый дед, фонарь в руке, взгляд пустой.

Пробегай, непонятная жизнь, путь свободен! Не впервой деду принимать от просторов такого младенца. А тот промелькнул, но еще издали тревожит последними вздохами.

Сухо шелестят губы: не то молитву творят, не то тишину зовут.

— Ворочайся, родная.

И еще тянет понизу маслом, паром и дымом, а уж крадется назад серая птица. Вот уставилась, не мигая, в окна и думает:

«Входить или нет? Нет, не войти — страшно: там вздыхает дед, покашливает Таня, потрескивает лампадный светлячок, и шуршат у тепла тараканьи ножки, дразнит их хлебный дух. Нет, не войти, ни за что не войти».

В синих стеклах звездная дрожь, никому другому, тебе, Таня, светят. Одни горят, другие чиркают по небу и тухнут и сыплются, сыплются прямо на постель. Неужели все осыпятся? Старая эта примета: для людей смертный знак.

— Слышишь, поезд издалека кличет: «Та-точ-ка. Та-точ-ка».

А может, это Митя?

Мелькают мимо желтые и синие, желтые и синие. Да вот же, конечно, Митя... бунтарь черненький... в окошке... грудь нараспашку. Когда смеется, щурится любимыми лучами возле быстрых глаз.

— Митя, Митя, неужели к нам, ко мне?

— Да, да, я скоро, ж-ж-ж-ж-ди!

И уже откликаются глубокие просторы: «А-та-та, а-та-та».

Лезет в окошко праздничный маковый сон: спи, Таня, спи, дед сторожит и твои маки, и серую птицу...

— Ну, старая трупёрда, сукин сын, говори, белый ты или красный?

Что это? Сразу не поймешь. Но это уже не сон, да, не сон.

Сидит за столом мохнатый человек, весь в ремешках, а перед ним дед, и голос у деда трудный, словно устал.

— Так я и говорю: нам все едино — белые, красные или еще какие: мы сами по себе, а что путь портить — то не согласен и струмента не дам.

— Не дашь? Нет, дашь, мерзавец!

Не слыхивала отродясь Таня такого вязкого звука. И вдруг поняла, что это не в первый раз.

Скользнула с постели, прильнула, кричит, а может, шепчет мохнатому:

— Нельзя так, нельзя!

А тот только водит по ней рысьим взглядом.

— С тобой после, одеваться не торопись. Эй, Михаленок, зови людей!

Ах немного, немного жизни в старом теле, и сейчас она выйдет вся. И на ухо хрипнул, как мог тихо:

— Конец идет, Танюшка, ну что ж...

— Так не дашь ключа, болты развинчивать?

Надсаживается мохнатый непонятными словами, точно икает, а от этого к ребрам прижалась жуть.

И медленно шевелится у деда, покрасневшая возле рта, иконная, тихая борода.

— Ничего я такого не знаю, и ключа у меня никакого нет.

— Нет? Ну выходи, недаром, стервец, цветов красных насадил.

Сколько мохнатых, жилистых рук, а у Тани всего две и те слабые, с синими жилками, а после выстрела там, за сторожкой, возле столба 925—926, ничего не изменишь, как ни борись, как ни кричи...

Ну-ну, входи сюда, входи, серая птица, теперь не страшно. Видишь, висит на одной петле сторожкина дверь, проветривается сторожка от хлебного, человечьего духа. Мохнатые люди ушли...

III

Еще недавно было тихо, а сейчас били наотмашь снарядами, сперва для порядка, как полагается, по водокачкам, каланчам и церквам, а после просто так, в городское нутро. То место, куда попадал снаряд, разрушалось каждое по-своему. В таких случаях на бинокли большой спрос: очень уж смешно и занятно смотреть на все это.

Скоро наступавшие перешли мост и ворвались в город. Каждый, кто имел ружье, нажимал курок и гнал из дула кусочки свинца. Свинец же, исполняя законы механики, стремился к предназначенной цели. Но это уже никого не интересовало. Оттого пули метались, как пчелы, потерявшие матку, и казалось, что уцелевших не будет.

Кузьма Иванович обедал как всегда на веранде.

— Ты, Глаша,— сказал он дочери,— напрасно крупеника не ешь, удался, хоть и остыл.

— Ах, папочка, не до крупеника тут.

Перед обедом Кузьма Иванович сидел в мягком, как сам он, кабинете, принимал дигиталис, курил и раскладывал пасьянс. Когда Глаша посоветовала отобедать в комнате, а не на веранде, и вообще пока что сойти в подвал, Кузьма Иванович заупрямился:

— По доброй воле в подвал не пойду.

Хоть и жутко, а коли любишь — не откажешь. В обычное время похлопала буфетными дверцами и накрыла на стол.

Стекла веранды разложились цветными квадратиками по столу и по салфетке Кузьмы Ивановича, заправленной углом за мягкий воротник. Под салфеткой плавно колыхался живот, набитый крупеником.

— Напрасно, напрасно, Глаша, неужели трескотни испугалась? Скажу тебе с точностью до единицы сегодняшние потери с обеих сторон: одного из воинов в ягодицу обидело, это уж непременно, затем монашка какая с перепугу двойней обсчиталась; ну еще там петуха или собаку бесхозную, а больше не будет...

И спокойно, ватной рукой потянул из-под цветных квадратиков сбившуюся скатерть.

— Мозаика, как у меня в мозгу,— вспомнил он Митю.

Прибегал тот сегодня перевязывать раненую руку, а с ним девушка какая-то, видать, что не случайная, глядит синевой, а в ней камнем грусть выше слов.

— Слышишь, Глаша, уже затихает, красных пуль больше нет, одни только белые, а жаль: чем скорее самые рьяные перестреляются, тем спокойнее будет.

Закурил папироску и усмехнулся.

— Митяйка-то сегодня с какой-то девушкой ворвался, ранен, а весь горит: «Кузьма Иванович,— кричит,— Кузьма Иванович, казаки переходят мост!» А тут как саданули из пушки, мне даже в живот отдало. Ну что ж, говорю, прекрасно,— на то и мост, чтобы через него переходить. Сегодня они, а завтра вы, а там опять они — только смотрите, на самом мосту козликами не столкнитесь, а то завалитесь в воду, она церемониться не будет, всех потопит. И останемся мы без властей, то-то поплачем. «Не шутите, говорит, не время, бегите, Кузьма Иванович, вы их не знаете, смотрите, и вам не поздоровится». Представляешь, Глаша, как бы это я с чемоданом да бегом в своих клетчатых? Ну, хотел деньжат им дать на дорожку, да Митя отказался. «Ждите, говорит, мы назад скоро»,— попрощались и побежали.

Пыхнул папироской последний раз, крепко придавил огонь к пепельнице, отпустил руку и закурил новую.

— Кива, ты много куришь, Кива (сокращенное «Кузьма Иванович»).

Отмахнулся:

— Ну что там. Да вот, забыл еще, рассказывал он мне про архитектора Дымогарова Ивана Семеновича. Увидел тот в окошко, отряд едет в погонах, выскочил и кричит: «Братья, ведите меня в штаб!», а отряд-то красный, переодетый, его и отвели... на тот свет. «Вот вы бы, Кузьма Иванович, так не сделали». Не сделал бы, говорю, не сделал, я без цвета, я — вода.

Внимательно слушают Глашины губы. Такие же, как у отца, но только молодые, любящие губы,— про Митю ведь рассказ. Но спрятала себя за бесцветными глазами, и никто не догадается ни о чем, даже Митя, недаром Глаша характером в отца.

И не знал простой рядовой, что кусочек свинца, выпущенный им сейчас, исполняя законы механики, пронижет сад и цветное стекло и достигнет своего предопределенного места, и оттого будет боль, крик и жесткая мысль о смерти.

Кузьма Иванович рванулся к дочери. Потянутая скатерть сбросила на пол столовый нож.

Глянул привычным глазом и смятенно подумал: «Хлопотать не нужно».

И следил только за ее губами, такими же, как у него, только молодыми, но уже умирающими.

— Митю... хоть на похороны...

Еще сложились для какого-то слова для него, но не разжались.

Кузьма Иванович опустился на пол, подержал Глашину руку, послушал сердце, затем грузно поднял и понес дочь на кушетку. Постоял около, вглядываясь в новое лицо, оправил

платье и отошел к столу. Нога натолкнулась на зазвеневший ножик, и он поднял его.

Мелькнуло в голове:

«Зачем нож? Ведь крупеник ели?»

Обошел стол и стал смотреть через цветные окна. Сад делался и синим, и красным, и желтым, и только в простреленном стекле был настоящим вечереющим садом.

«Еще такую же»,— просило для себя громоздкое тело. И долго стояло и ждало, сливаясь с темнотой, но выстрелы отдалялись, затихали и скоро прекратились совсем...

IV

Заскучать можно! Степь и солнце, солнце и степь. Кроме них больше не было и нет ничего. Степь сдобрила воздух травами, а солнце раскалило его и скоро убьет травяной дух и обратит в камень серую, скучную, степную землю.

Тогда будут шевелиться на ней только перекати-поле да изредка неуверенные в себе поезда.

И те, и другие — праздношатающиеся, никчемные. Особенно перекати-поле. Полежит, полежит и вдруг сорвется с места, побежит, столкнется с другими и остановится; а само как недобрая дума — круглое, сухое, колючее...

Поезд, слепой бандурист без поводыря, не то ползет, не то стоит. Издалека и не разберешь. На ходу можно выпрыгнуть из вагона, набрать цветов или что другое сделать и опять обратно вскарабкаться. На всех вагонах надписи: «40 человек, 8 лошадей»; последних нет, поубавилось за это время, людей же хоть отбавляй: не сеют, не жнут, сами родятся. Повсюду они: на крышах, между вагонов, в вагонах. И потом еще вши. Одним словом — живность, груз невыгодный и малоценный. Люди, которые на буферах, для крепости веревками себя к ним привязывают. Но это нужно делать умеючи. Бабам, например, никогда не выучиться. Разговор все о том же, других разговоров не было и нет — соль на мед, мед на мануфактуру, мануфактуру на муку, муку на соль, и начинай сначала. Шуршат капиталы, оборот серьезный, а потому расстоянием не стесняйся. Скупеляция и товарообман.

Однако даже привычному ездоку как-то неуютно на крыше. Ноги затекают, а тело плавит солнце.

Зато все же высокое положение, окрестности и знакомство с железнодорожными сигналами. Красный огонь — опасность, отрывистые короткие свистки паровоза — тоже. Удирать же с крыши куда сподручней. Даже если батько Махно случайно, мимоходом, от нечего делать остановит поезд и вытряхнет на

землю всю живность. Нельзя ли чем поживиться? Кое-кого поставит налево — уничтожит, остальные — садись и езжай дальше. А сам погрузится на тачанки, запылит и растает в степи, как сахар в стакане чая.

— Геть, кацапи, с Украины!

— А ты, бабочка, зачем едешь?

Стоит посреди вагона в одних портах, загоревший такой, как земля, а глаза немые, как степь, но с усмешкой. Говорит, как свисток паровозный при тревоге, отрывисто и коротко:

— Добра у тебя много? В обмен везешь? Все ценное? Семья большая? Или спекулянтша?

Из угла протяжная, хитрая в простоте северная речь:

— И что ты, милостивец, и откуда у нас добра-то много? Больно ты зорок по чужим мешкам да карманам считать. Везу сколько надо. Мануфактуру там да деньжат разныих на все скусы. Детишек-то нарожала, мужа-от на войне убили, вот я и маюсь...

— Поверь, бабочка,— много везешь. Отберут махновцы. Добро бы на крыше или буферах, а то в вагоне: здесь контроль у них строже.

Уверенно говорит загорелый, бывалый, недаром в одних портах, и жарко не так и вши грызут меньше.

Степь и солнце, солнце и степь — заскучать можно. И вши от тоски плодятся.

Но все же, если подсчитать, смертей на крышах наверно больше, чем в вагонах, непременно больше. Заскучает человек, встанет во весь рост и не рассчитает: как на грех прямо лбом или затылком об какой-нибудь нависший над поездом предмет, мост, например. Мягко ударится своей болдянкой, повернется к остальной братве и в глазах будто удивленье. Только мертвый уже сам-то. И тотчас же вместе со своим мешком и смоется с вагона под колеса. Не всегда и разберешь, где мешок, где человек, иногда очень смешно и любопытно выходит. Под габарит, значит, не подошел.

А в вагоне выдышали весь воздух, и осталась густая вонь.

Распластался на полу человек с подвязанной рукой, а над ним девушка пыльная, сама кашлем рвется, а того не замечает.

— Митя, тебе очень плохо?

Молчит. Еще недавно держал руку, говорил непонятное.

— Таня, пить! Таня, как страшно, вода подступает, горячая вода, она несет поверху только легкое, я захлебнулся уже раз, мне не выбиться, скорей бы доехать, скорей бы!

Катится ли вагон или стоит на месте?

Конечно, стоит и никогда никуда не двигался, потому что он без колес, потому что он дом, большой дом, белый дом, и в нем

квартира. Нужно вбежать, схватить наган и стрелять, стрелять, но какая усталость, как тяжело переставляются по ступенькам ноги...

— Таня, пить!

Скорей бы доехать, скорей бы! Проклятый поезд!

К вечеру, когда сжалится солнце и поостынут крыши, поет человеческая живность: «Ревет и стонет Днепр широкий».

А то и по-другому:

Я на бочке сижу,
А под бочкой качка,
Мой миленок гайдамак,
А я гайдамачка.
Ах, яблочко покатилося,
А советская власть воротилася.

А загоревший, в одних портах, подхватывает:

Ах, яблочко,
Половиночка,
А наш батька Махно
Как картиночка.

— А что вы думаете, братишки,— охотно говорит для всех желающих веселый, раскосый курский малый — один глаз на нас, другой в Арзамас.— Намедни, на остановке, пошел я, значит, на базар, так там баяли, что батьку-то вода, значит, спасает. Вчера на базаре его, значит, опознали, а он бежать. Бежит, а навстречу, значит, ему девка воду в ведрах несет. Он это, значит, в ведро-то, в воду-то заглянул, братишки, заглянул, значит, и был таков.

Беспокойно что-то бабе.

— А что, не знаешь, часто ли он поезда-то перетряхивает?

— В этих местах часто, особливо к вечеру. А ты что? Выходить, что ли, собираешься? Помочь тебе, мамаша? А знаешь, вот за это тебе много всего дадут.

Из большого узла дразнится угол красного стеганого одеяла.

А поезд-то и впрямь остановился. Айда, братва, узнавать, что за причина такая?

Стоит паровоз, дышит, как загнанная кляча.

На подножке паровоза сидит машинист, курит трубку и ждет.

— Воды в стекле почитай что совсем нет,— умаленье, вот и встал у речки, ратуйте, православные товарищи!

И становятся в ряд от реки до паровоза:

— Даешь воду?!

И бегают по рукам ведерки с водой и без воды, поят ненасытный, старый котел.

Постояли, сколько нужно, и еще порядочно, и тронулись.

И каждый устраивался на своих местах на ночь, со своими думами,— нельзя человеку совсем не думать!

И не разберешь, не то спят, не то притворяются. В походе так бывает: идут и спят. Скребутся всей пятерней, вот-вот заговорят, а заговорят — на бред похоже. Довезть, обменять соль на мед, мед на мануфактуру, мануфактуру на муку, накормить, спекульнуть.

И только у одной, только у одной бессонная мысль: умрет, не доедет, умрет...

Поезд задумчиво течет в ночи, как струйка дегтя по забору.

Скорей, скорей бы доехать!

А вагон стоит на месте, не двигаясь, и никогда никуда не двигался, потому что он дом, большой дом, белый дом. И нужно бежать вверх, так как снизу подступает горячая вода...

Зачем же двоится каждая ступенька и почти все на том же, на том же месте тратятся последние силы? А вода медленно тянется кверху, она выпустила мягкие руки и шарит ими по углам и карнизам и плескает толстыми губами.

Ах, здравствуйте, Кузьма Иванович!

Вдруг просветлели стены, и осталась синяя жгучая степь сверху и серая раскаленная снизу, и так хочется пить, пить, пить...

Давно стоит и свистит поезд — семафор закрыт и потому нельзя въехать на станцию.

Черт с ним, пускай стоит, под утро дышится легче. Когда надо, откроют и впустят.

Однако не впускают, с тем и проснулись.

Сходить, узнать — лень.

Но надоело стоять.

— Даешь станцию?

И поехали без спроса.

Тихая станция, точно глухонемая, нет никого.

Едва нашелся кто-то запуганный, дрожит, оглядывается.

— Под самое это утро, как жене родить пристало, приехали верхами, кричат, стреляют. Убили Исидора Мельчука и Гаврилу Куценко, они в охране были, очень стонали, потом затихли; потом дежурного, который с усиками, за что-то били, лежит в конторе, может, еще живой. Телеграфные аппараты разбили, пограбили и уехали, а жена родит...— И заплакал вдруг.— Помогите, товарищи!

Стоят — слушают.

И так же стоят и слушают возле вагона веселого курского малого.

— Видать, перевернуло, значит, это бабу-то на ходу, известное дело, к буферам привязываться с умом нужно. Вот ее, зна-

чит, как перевернуло головой вниз, да по шпалам, да по шпалам, так, значит, головку-то ейную всю и сточило.

Бабья туша висит на вагоне. И совсем ни к чему мечется усталый голос:

— Дайте воды, дайте воды, человек умирает!

На труп смотреть интересно, даже не поймешь почему.

И не видят, как вдалеке облачком играет степь, катят, пылят махновские тачанки к югу, к морю, кому-то помогать, с кем-то драться, а с кем — еще не решено, еще не объявлено.

На последней тачанке загорелый, в портах, человек деловито устраивает большой узел, из которого дразнится красное стеганое одеяло. И в глазах у человека немая степь, только с усмешкой. Запевает:

Пароход идет прямо к пристани,
Будем рыбу кормить коммунистами.

А с других тачанок отвечают:

Пароход идет, гремит кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами.

Катятся перекати-поле, недобрые думы: сухие, круглые, колючие.

И ползет поезд, слепой бандурист без поводыря, не знает, где завернет, где остановится. Степь и солнце, солнце и степь. Заскучать можно!

V

Сегодня особенно сильно тянуло в щели медленным медным духом тления.

Глаша уже шестой день лежала в своей комнате.

«Дождусь Мити, как хотела покойница»,— решил Кузьма Иванович и никому не сказал о смерти дочери.

В Глашиной комнате закрыл ставни, перенес туда труп и стал ждать.

Погода стояла теплая, и со вчерашнего дня пришлось прекратить обычный пасьянс в кабинете рядом.

Человек тухнет скоро, особенно если умрет внезапно.

Все эти дни с утра и до ночи Кузьма Иванович стоял у забора и наблюдал.

В город входили отряды со значками, а с них скалились волчьи морды. На углах играли лезгинку, плясали, вешали на площади и служили благодарственные молебны в полуразрушенных церквах. Пили и грабили, как умели.

— Ненадолго, дождусь,— сказал себе Кузьма Иванович и стал собираться на станцию. Там сегодня также служили молебен, о чем лично оповестил его начальник станции, по железнодорожному шифру ДС. Были у него темные очки — глаз не разглядишь, и еще черные тяжелые усы. Ставил он их прямо, но свешивались они книзу и прикрывали для хозяйской пользы жуликоватый рот. Когда говорил, насаживал лишние слова, иначе не мог.

— Говорю вам как нашему многоуважаемому бывшему железнодорожному доктору по женским вопросам — нужно быть, нельзя.

Кузьма Иванович взглянул на него, словно читал интересную книгу, и вдруг перебил и ответил с расстановкой:

— Ладно... буду... приду...

— Ну, а как, Кузьма Иванович, довольны ли вы наступающим объединением великой неделимой России?

Терпеливо ждал ответа, а пришел вопрос:

— А скоро, по-вашему, они уйдут?

Сообразил, что попал не в точку, и изменил курс. Теперь, мол, угожу. Оглянулся на улицу и пустил шепотком из-под усов:

— Сегодня ночью в городе была паническая тревога. Говорят, красные безнаказанно подошли за семь верст, воспользовавшись нетрезвенным состоянием наших охранителей. Ночью раненых вывозили из города, а сегодня под утро собственноручно отправил с поездом балетных женщин. По практическому опыту знаю, что для белых это крупная неуверенность. А потом вот еще, желаете газетку прочесть, ее власти отбирают, а между прочим, интересные информационные рассуждения. Прочтите, а мне пора.

Сунул газету, еще раз оглянулся и пошел прочь.

Кузьма Иванович не сразу бросил читать невидимую книгу и безразлично глядел вслед уходившему начальнику станции.

Затем вспомнил о газете, развернул и стал водить зрячим глазом по строкам:

«Интервью, которыми пестрят газеты, дышат малооправдываемым оптимизмом, похожим на простое закрытие глаз. Наш долг предостеречь «закрытые глаза» и громко указать на грядущие опасности. Если мы не хотим нашего полного разгрома, мы должны срочно принять меры всеобщей мобилизации и немедленно изменить приемы борьбы.

Но «на Шипке все спокойно» — уверяют нас в интервью. Страусы, страусы, вы зарываете головы в песок».

В другой статье говорилось:

«Надо раз и навсегда сказать тылу, что «захочу — полюблю» не гражданская песенка, а проституированная шансонетка.

Государство должно питаться не добровольными одолжениями граждан, а принудительной повинностью,— это бесспорно, и этот порядок вещей пора принять, тем более что идея русского добровольного служения отчизне потерпела полный крах...»

Кузьма Иванович сложил газету и еще раз решил:

«Ненадолго, дождусь».

Было это утром, а сейчас пора уже собираться на станцию.

Взял тросточку, мягкую шляпу и пошел.

Недалеко от дома, поперек мостков лежал убитый, в солдатской шинели, без сапог и фуражки.

«Вероятно, тогда же, когда и Глашу»,— подумал Кузьма Иванович, обходя труп. Показалось, что воздух вокруг набухает тем же знакомым медленным, медным духом тления.

В домах оконные стекла были заклеены изнутри бумажными полосами. Дошли своим умом, чтоб сохранить стекло при пушечных выстрелах.

Шел медленно в своих клетчатых штанах, обмахиваясь мягкой шляпой, и читал все ту же толстую, несуществующую книгу. Задержался возле телеграфного столба, чтобы прочесть:

«Социалисты обещали рай земной, а на самом деле...»

Дальше было сорвано, а под этим другое:

«Гадаю на воде с показанием личностей.

По линиям рук, на бобах, шарах и картах».

Припомнилась старушка, мать коменданта станции, зарабатывала много продуктов и за то сулила бабам любовь.

Возле станции к ограде была привязана белая корова с розовой мордой и сухим выменем. Через несколько часов ее должны сварить и съесть, и, судя по ее понуренному виду, она это знала.

Кузьма Иванович пришел, когда молебен уже начался. Задержался при входе и все время держал шляпу в правой руке.

Впереди начальник станции молился в меру. Сегодня ему удалось под шумок сформировать поезд из нескольких вагонов и отправить на ближайшие соседние станции. Сопровождал его лично и собирал по пути в размерах по своему усмотрению плату за проезд. Была общая взаимная польза, и пассажиры очень благодарили за сочувствие. Молились о победе над врагом, и казалось, что сверху, сквозь ладан и молитвы, смотрит хитро сощуренным глазом вдумчивый враг. И уже холодно все взвесил и оценил и спокойно узнал, что победа на его стороне. По окончании молебна подошел звенящий военный, обычного образца, и сказал с покровительственной улыбкой от имени первого лица множественного числа:

— А мы хотим вас, так сказать, мобилизовать.

— А у вас есть женские части? — поинтересовался Кузьма Иванович.

Военный стал сразу сухим и красным.

— Я осведомлен о вашей специальности, но все же и помимо ее вы можете быть полезны.

Перед глазами мелькнул зараженный тлением кабинет, а рядом комната и в ней Глаша, дочь любимая. Качнул головой мягко и безвозвратно и сказал:

— Не хочу.

— Ах, вот как! Но нежелание излечивается в корне, так сказать, надлежащими мерами.

И добавил:

— Все же я не думал, что вы, так сказать, заодно с большевиками.

— Нет, я не с ними.

— Так с кем же вы? — приподнялись удивленно погоны.

— Я с будущим, я встречаю новую жизнь.

И хотя остался стоять, как стоял, но не видел и не слышал, как раздувшийся военный говорил ему:

— Ах, вот как? Ну ясно, теперь все ясно, об этом поговорите, так сказать, в контрразведке, и, вероятно, не позже завтрашнего дня.

И круто отошел от Кузьмы Ивановича.

— А в городе-то паника,— громко сказал кто-то около.

Кузьма Иванович постоял еще и пошел домой.

Вместе с людской тревогой смелел и нарастал орудийный гул.

Там, где стояла корова, была красная лужа, припомнилась почему-то Глаша и как он говорил Мите, что вещество изменяется, но не пропадает.

И понял вдруг, что хочет видеть Митю, не потому, что нужно хоронить Глашу, а что дорог он ему, проверяющему себя и людскую правду, нужен, как слово одинокому сердцу.

Убитый продолжал лежать на том же месте, но был уже без шинели и в одном нижнем белье.

Город суетился...

У самого дома, навстречу Кузьме Ивановичу, настегивая лошадей, прогрохотал обоз.

Кузьма Иванович вошел за калитку и встал на обычном месте у забора.

Мучила одышка. Будто просверлилась в спине или груди неисправимая дырка, и оттого никак не вздохнешь полной грудью: утекает нужный для человека воздух, сколько его ни вбирай.

Прошел час, другой, третий... Темнело... Кузьма Иванович смотрел.

Мимо по улице, спотыкаясь в мягких колеях, шла нервная толпа.

Старые, волочащие ноги священники, женщины в самых дорогих своих одеждах и шубах. Тащили детей, и плакали, и кляли жизнь. Они уносили с собой наибольший минимум своих богатств. Им предстояла многоверстная, дождливая и безвозвратная дорога...

К забору прибился ДС.

— Кузьма Иванович, вы уже собрались, идете? Имейте в виду, по дороге уже нельзя, перехватили.

И шепнул, оглянувшись:

— Я-то недалеко, для видимости.

Ватные руки разошлись в разные стороны.

Бежать, но куда же?
На время не стоит труда,
А вечно бежать невозможно.

И казалось, что смотрит он опять в простреленное стекло, но видит и плохим, и зрячим глазом одинаково хорошо.

Расталкивая толпу, проскакали бурки, окружая маленькую каретку-возок...

По вечернему небу расползалось зарево и дышало кровью в белые облачные платки...

— Кузьма Иванович, а Кузьма Иванович, вы не боитесь красных?

Уходят слова, как в подушку, и вязнут там, и глохнут.

— Нет, я — гражданин вода.

И почувствовал, что цепляется за это, как задыхающийся за кислород.

И стоял еще долго, пока не прошли все: старые, параличные, пугливые, и шел за ними со своими думами, испытуя и спрашивая, но не понял их и отстал, и вернулся к забору читать свою невидимую книгу.

Из дома слегка тянуло к забору медленным, медным духом тления.

Через мост топали копытами и вступали в притаившийся город передовые отряды Буденного...

А река Мшага, через которую перекинулся мост, была все та же, углубленная небом, и так же с песнями плелись венки для речных разгадок...

С нами вы, с нами навек, и речка, и смерть, и немудреная песня...

ЧЕТВЕРТОЕ

Да, если курить не затягиваясь — много зря табаку и воздуха перепортить можно...

Сказалось вслух, а слушать-то и некому: Кронид Семенович в комнате сам один. Правда, бродит еще по ней дым — слепец ненужный,— на все натыкается, ну, так не без того, что и глухой он,— этакому все неинтересно. А что касается примуса — так тот, слов нет,— деляга, общественный деятель, но такому у одинокого и дела-то всего что молчать, а слушать он не любит.

А больше кого же еще посчитаешь? Вот разве шифоньер — хозяйственник угрюмый, только он совсем Кронидом Семеновичем не интересуется — беречь для него нечего. Откроешь ящики — поколениями пахнет. Всех покойничков припомнишь. И бабушку Дарью Петровну с камфорой да нафталином, и Липочку сестру, скупущую деву старую. От нее в том ящике наколка бисерная и флакон пустой одеколоновый век коротают. А ниже кисет и в щелках махорка — нипочем ее оттуда не выковыряешь — это уж братца — дрянной был человек, царство ему небесное. Чуть-чуть с голода шифоньер не продал. Не допустил господь.

Есть еще зеркало — существо угодливое, беспамятное, всякое видело и все забыло. Забудет непременно и Кронида Семеновича. И как он по утрам оборочки на голове расчесывает, и что нос у него такой, будто кто пальцами с боков крепко сжал, подержал, сколько нужно, и когда отпустил — так и осталось, вышел обиженный нос. А от носа книзу усы пегие свесились,— разговаривать с таким не стоит, скучный человек.

Так уж положено: вечерком обязательно сидит Кронид Семенович за столом неопределенной профессии, курит и думает. И нет-нет да и сорвется какое слово, только это уже, конечно, для себя, чтобы в голове не пропало. Скажет и прислушается.

И есть у Кронида Семеновича слабость: любит он думать о разных хитрых вещах. Вот и сейчас вспомнилось, сказал както знакомый: не думай, говорит, Кронид Семенович, что всякую вещь измерить можно. К примеру, возьмешь, как полагается,

аршин, прикинешь, да и запишешь, длину там, ширину или вот высоту. Выходит, по-нашему, и дело с концом. А ничего подобного. Это, говорит, просто, это и дурак сумеет. А вот для ученых есть еще такое, зовется четвертое измерение — вот то действительно! Если измеришь — большие деньги заработать можно. Факт. Раздразнил даже. Потом не то Иван Петрович Кудренков, фельдшер мозговитый, объяснял, не то сам в газете вычитал, будто в дыме это самое есть.

А как его схватить и проникнуть? Ведь вот — Кронид Семенович привстал за столом — дым-то весь петлями, и петля в петлю лезет и крутится, и, поди, каждая дыминка крутится. А, может, дело и не в том, что крутится?

И, садясь, сказал вслух:

— Ерунда это четвертое — нет его, а впрочем — игра ума.

Придвинул к себе книгу толстую — на первой странице чернилами выведено:

«Настольная книга обо всем, для отдыха».

Раскрылась книга как раз, где в заголовке стоит: «Из своего опыта». И хоть помнится, что там записано, а захотелось перечесть. Вот и прочел.

«Если прищемишь в дверях палец, сперва непременно ходить нужно. Все же скоро затоскует вся рука, и тогда все равно. Потом отпустит. И сделается ноготь угрюмым, и начнет съезжать, и ничем его не удержишь. Советуют воском залеплять, иначе новый вырастет корявым».

Ниже приписка:

«Если приспеет время с женой расходиться — лучше сразу, только никто так не делает, и долго жизнь друг другу травят, а на самом деле пустяк».

И хоть давно было, а как сейчас припомнилось. Пригрел тут одну, для здоровья, когда деньги были. Сперва Кроней звала, хозяйство затеяла, сына родила, а потом через год ушла вдруг, сказав на прощанье: «Не настоящий вы человек, Кронид Семенович, пишете, все чего-то думаете, словно аптекарь, а на молодость у вас внимания нет. Ударили бы хоть, что ли, или выругали, а то глядите, как в пустое место. Заскучала я у вас очень, позвольте уйти».

Он ей тогда очень благородно сказал:

«Бери с собой и размножение свое, козу там да сынка своего, что мне с ними делать? Полагаю, что сын твой и Кронидовичем-то стал для упрощения формальностей».

Собралась и ушла. Вот души бабьи! Что кукушкины брови, поди-ка разыщи их!

И стало тихо, и завелся другой порядок, как у всех одиноких. Со стороны слыхать было, что бедовала сперва, поденной прач-

кой даже ходила, а потом устроилась за трактирщиком одним. Этакая-то хазина, а ведь вот, поди ж ты, везет! Какие все партии завинчивает. Словно учуяла, что революция скоро и придется Крониду Семеновичу самому у племянника-коммуниста пригреваться. Нашелся такой благодетель. А уж если начистоту, то истинно — яблочко от яблони! И то сказать, мог ли у братца-то иной сынок народиться? Дрянной был человек, царство ему небесное!

С раздумьем перевертываются назад страницы, пока не задержались глаза на семейном событии.

«Сейчас показали мне того, кто увидит меня лежащего ноздрями кверху, ибо какой же сын, если он не прохвост, не приедет хоронить отца. У меня же сегодня в 9 ч. 35 мин. по полуночи родился сын».

И с новой строки:

«Детская присыпка, или по-научному ликоподий, слышал, что употребляется для театральных молний. Попробовал — действительно, если сыпать на огонь, страшно вспыхивает».

Захлопнул книгу и по комнате заходил. Нужно же было открыть на этом месте! Сын. И ведь как это пришло? Сегодня шел по вокзалу, а там клетки по платформе понаставлены и в них поросята кишмя-кишат, на солнце мучаются. Подошел из любопытства, посмотрел, тронул одного за ушко, а ушко такое детское, мягкое да теплое, и вдруг сын вспомнился, и так захотелось узнать про него.

Тут перебили голоса за стеной. Вернулся тотчас к стенке и прислушался. Приятно так чужой голос послушать.

Сказал кто-то:

— Нет, вы только подумайте, какой размах — каждая кухарка должна уметь управлять государством! — Сказал и словно отошел от стены. Больше не слышно.

Беззвучно смеются губы, и дрожат пегие усы.

Кухари, кухари, тьфу вас — всех бы вас на кухню помелом да скалкой! Кто поймет вас, мудрецы гороховые?

Постоял, покачивая головой, потом присел к столу, открыл книгу и записал:

«Если смотреть в дым, четвертого измерения не поймешь и не увидишь. Я по крайней мере не видел. Если бы не революция, никогда бы четвертого не было. А теперь есть. Только это не для меня».

Посидел с мокрым пером и приписал еще:

«Революцию сделали, а поросят перевозят все так же некультурно и на солнце сушат».

И вдруг окончательно решил:

— Пойду и узнаю насчет сына, что и как,— это просто сделать. В трактире все справки получу.

Пальтишко драповое на свинячьем визге надел, комнату на два оборота запер, ключик в карман и зашаркал к выходу.

— Эй, дядя, куда?

Стоит племянник, в глазах смешок:

— Смотри, не по годам по вечерам освежаться!

Коли встретились, ничего не поделаешь — по-родственному нужно.

— По делам тут, Сашечка, по делам. Думаешь, у тебя одного делишки? Иной раз и у нас, старых, неотложность.— И сейчас же с хитрецой насмешливой: — Ну, а как там у вас в коммуне-то, все слава богу?

— Ничего, спасибо. Тебя, старый режим, под ноготь возьмут скоро. Почему холост? Налоги платить будешь!

— Налог? Ах, шутники, шутники! А ты сумей, сосватай дяде-то настоящую. Вот теперь, говорят, девиц-то рожать запрещено. Непременно чтобы как есть сразу женщина. А мне девица нужна, я по старинке. Вот и расстарайся. Только найдешь ли хоть одну такую-то?

— Ах, дядя, дядя, брось ты старинку, давай жить по-новому!

— Да я живу, живу, как в раю безлиственном. Только упущенье в раю-то, упущенье, говорю. На уборных-то вывески не по закону — для дам. Вишь ты — высший свет! Это даже мне обидно. Прикажи сменить, чтобы «для женщин».

— Ну, ладно, ступай там по своим делам. Только сказал я раз, как тебя звать надо. Так оно в самый раз и будет.

— А как, Сашечка, как?

— Забыл разве? Повторю, а ты запомни — щучьи мощи!

— Ах, шутник, шутник! Ну прощай. Так налог, говоришь? Дело, дело, мерьте вашим четвертым. А я, Сашечка, назад скоро.

И уж на лестнице:

— Чтоб тебя громом по маковке, щенок скуластый! Вишь что выдумал — щучьи мощи! На-кось, приложись!

Любит суета людей, особливо на улице, да к вечеру. Чуть кто выйдет из дому, так сейчас пятки щекотать и в уши нашептывать:

— Торопись, опоздаешь!

Вот и бегут, надо не надо, без оглядки. Толкают без уважения.

— Что ты, черт, рачьим ходом идешь? Вперед смотри, а не назад, ротозей полосатый!

Мерит палочка мелкими стежками мокрую панель. Первый раз остановилась у корзинки с леденцами.

— Давай, мамзель, сладости на три копейки.

А второй раз у освещенного окна. На нем бокалище ведерный нарисован, и пена через край, а рядом рак.

Тут еще раз обдумалось все. Как спросить? Ведь придется по имени и отчеству назвать. Была Дуня, а тут пожалуйте — Евдокия Власьевна, как бы в четвертом измерении, прямо хоть уходи!

Но пощупал в кармане леденцы и вошел.

Над липучими столиками пивной дух. Звенит стекло. Эк, людям делать нечего — едва к молодцу у стойки продерешься.

— А что, нет ли здесь Евдокии Власьевны?

— Здесь, здесь. А вам зачем?

— Скажите, что родственник по мужской линии.

— Так вы зайдите сюда.— Сунул молодец голову за портьеру: — Евдокия Власьевна, к вам! — И Кронида Семеновича в комнату пропустил.

Навстречу сама хозяйка.

— Что-й-то, господи, никак Кронид Семенович? Так и есть! Ну, что же, здрасьте! Вот уж, скажу, неожиданность — оробела даже, как дура. Может, присядете? Только, конечно, уж не в гости, а так. Вон как у вас в грудях свистит!

— Спасибо, Евдокия Власьевна, присяду, отдохну немножко. Вот, знаете, свист какой в сердце залез: пока сижу — ничего, а то так очень громко, даже неприлично. А ничего не поделаешь — года!

Сел, пальтецо расстегнул и в платочек высморкался.

— А я думаю, дай-ко зайду, спроведаю, как вот Евдокия Власьевна поживает и что мой сыночек поделывает? Вот гостинец ему принес.

Положил леденцы на стол и ответа ждет.

Не сразу ответ получился:

— Вон вы куда метите, Кронид Семенович? Насчет сынка надумали чего-то? Только, слава богу, поздно.

— То есть как это поздно?

— А так.

— А как так?

— А так. Помер сыночек, и все тут.

— Как так?

— Да что вы все: как да как? Помер, говорю, и на кладбище лежит. Помощи вашей не дождался, вот и пошел на вас жаловаться.

Но, словно не слыша, повторил тихо Кронид Семенович:

— Как так помер?

— Уж не знаю, оглох ты или что, только скажу тебе, был плох, а стал, кажись, еще лучше! И с чего это жалость на себя напустил? Сыночек, сыночек! А на что он тебе, сыночек-то,

сдался? Когда голодали, вспоминал? На письма отвечал? Нет? Ну, так и не отец ты, а как был трепло, так и есть! И, пожалуйста, уходи ты, Кронид Семенович. Очень скучно мне смотреть на тебя, ненужный ты человек!

Хотел ответить, но встал и зашаркал к выходу.

— Возьми с собой сладости-то свои, «раковые шейки», куда мне их?

Возвратился послушно, «раковые шейки» в карман положил и, не мигая, сказал с расстановкой:

— Халда ты, халда, пивная хазина!..

Больше ничего не придумалось — повернулся и прочь пошел. А если бы оглянулся, удивился бы на Евдокию Власьевну — она плакала.

Когда вернулся домой, на примус обрушился. Уж тот и горит и шипит вовсю, а его-то качают, а его-то качают, чуть что не задохся. Еще немного, и до взрыва дело довел бы. Кипятку накипятил, долго ключом бил — только зря: чайком Кронид Семенович почти не баловался — какой-нибудь там стаканчик, только чтобы «раковые шейки» не заваляли, а сам все пых-пых — пыхтит папироской, одной, да другой, да третьей, а потом, не молясь, в постель.

Действительно, дыму много, а что толку?

Перед тем как лечь, книгу свою по привычке раскинул, но даже до чистого листа не доискался, бросил — так и осталась раскрытой, коли заглянуть, прочитать можно:

«Бульон с ромом для слабых детей и взрослых, которые принуждены вести деятельную жизнь и быть в постоянном движении».

А дальше самый рецепт и приписка:

«Сытый голодного не разумеет».

Странная вещь, как в постель ляжешь, так кровать старая сперва легонько начинает раскачиваться взад и вперед, взад и вперед, а потом все быстрее и быстрее, и тогда со всей комнаты дым на постель лезет и глаза застилает. А из дыма лик смотрит: нос на месте, а остальное наоборот: глаза внизу, под ними борода дымом, а рот наверху и лоб как подбородок.

Изо рта дым со свистом пускает, а сам крутится, глазами под дым подглядывает.

— Видишь четвертое?

— Отстань ты, отстань, не хочу!

— Нет, смотри, смотри! — и тащит.

Упереться бы в дым руками — расступается.

— Отстань, пусти!

Вот заклубилась вся голова вместе с дымом и подтягивает под себя Кронида Семеновича:

— Не бойся, сейчас поймешь, только бы ветру не было.

Но подул откуда-то и сдул и дым, и сон весь.

В комнате темнота, хотел встать, да в стену уперся и удивился, зачем это головой не в обычную сторону лег. Полежал, спички нашарил, чиркнул — все как прежде, и стены на месте.

— Закрутило, значит... Ох, умру скоро! Странная вещь сон, всегда серый, никогда за всю жизнь цветным не был. Вот где тоже не без четвертого.

Задумался, и вдруг вокруг все поросята, поросята, с человечьими личиками, и пить по-ребячьи просят.

Жалко, а помочь нельзя: дым кружит, идет он весь петлями, и петля в петлю лезет.

— Смотри, видишь. видишь четвертое?

Взглянуть страшно.

— Видишь, видишь четвертое?

— Пусти, не хочу! Дай мне на поросяточек любоваться.

Протянул руки, но нет поросят, только дым. И так всю ночь.

А наутро — письмо, случай редчайший, и притом на кухне сказывали, что принес не почтальон, а мужчина. Очень вот так тревожно письмо получить, наверно неприятность от людей. Все же распечатал.

«Очень извиняюсь перед Вами, Кронид Семенович, и беспокоюсь, дошли ли благополучно? Как вы были вчера расстроившись, то могли и раздавить вас. Простите меня за неправду, будто сынок ваш помер — сказала по глупости. Думала я, что худое замышляете, потому что вам это безразлично. Если бы не стали ругаться, было бы мне на сердце недоверие. А тут увидела действительно, как отец расстроившись. Я сильно после убивалась. Сынок же ваш жив и очень здоров и даже в пионерах. Напишите, пожалуйста, могу ли я с ним прийти?

Известная Вам Дуня».

Засвистело в груди, как будто шел далеко и устал порядком. Однако встал и начал ходить туда-сюда, туда-сюда. И на дым табачный ноль внимания, а тот слепой, сзади тянется, утешить хочет, а не видит.

Тут надумал Кронид Семенович и зашаркал быстро к племяннику, душу отвести — больше не к кому,— и сперва торопился по коридору, а потом все медленней, и когда постучал, то остыл, раздумал и назад в комнату пошел.

— Дядя, дядя, ты что?

— Нет, Сашечка, ничего, ничего. Хочешь, кисет тебе отцовский подарю, отца вспоминай.

— Спасибо, старина, это ты хорошо надумал.

Дверь притворил и вернулся к приятелю:

— Дядька тут у меня, старый режим, век доживает — чудной старикашка!

И писал у себя за столом Кронид Семенович:

«Евдокия Власьевна, получил ваше письмо и спешу ответить. Прошу вас, пожалуйста, пока я жив, ко мне на квартиру не прибывать, так как личность ваша мне очень теперь противна. Если и сын мой похож на вас, то, значит, и он будет лгуном и прохвостом. За что обидели? Очень давно не писал писем, а сейчас такое бранное и, может, последнее, так как свищу очень.

Когда умру, обязательно придите шифоньер взять для сына, а зеркало племяннику — пусть на себя любуется. Письменный стол и примус на возмещение похорон. Также прошу вас взять известную вам книгу, куда я все записывал, она будет на столе. Сохраните ее для сына».

Подписался и почувствовал, что теперь навсегда пришел тихий порядок, как у всех одиноких, и сказал вслух:

— Верно, верно,— щучьи мощи никому не нужные — пора уходить!

Встал, подошел к шифоньеру, открыл ящик, облокотился и долго смотрел на наколку бисерную и пустой одеколоновый флакон.

Потом опять сел за стол, открыл книгу и записал:

«На другой день после великого наводнения видел, как одна старушка чайником воду из своей подводной конуры отливала. Видать, измучилась, руки дрожат, чайник расплескивают, и никто ей не помогал».

Провел рукой от глаза книзу по щеке и пегому усу.

И приписал по обычаю, только не так разборчиво:

«Вот и мне одиночества своего не вычерпать».

ВОДОРОСЛИ

ГЛАВА I



уткая старая кровать непременно скрипнет перед тем, как человек, лежащий на ней, захочет повернуться. Вот и сейчас скрипнула, но ошиблась: человек продолжал лежать, как лежал, а видать, что хотел повернуться, только нынче хотенью его — грош цена. Про то хотенье забыли навсегда и руки, и ноги, а нынче и язык. Теперь чей черед? Должно быть, за последним и самым главным. Но еще оставлены тому человеку, против воли, неведомо зачем: слух, дума да глаза,— хочешь не хочешь, а дослушивай, додумывай, доглядывай, только скорей, скорей. А чего уж тут? В лице смертная грусть и ожиданье отхода, и в этом безраздельно все. С людьми и людским покончено. Их уже около нет. Все же мешает всякое, ничтожное, мелькает мимо, прыгает перед глазами в разные стороны, без следа, без цели, как водяные пауки на пруде. Вот откуда-то из бывшего и совсем чуждого:

Буденный наш братишка,
Первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за Се Се Сер.

И опять то же сначала: «Буденный наш братишка... сумеем...» — и опять то же сначала. Даже мотив звучит.

Вдруг представилось ясно: Женичка, внучка крохотная, это она еще о себе напомнить хочет. Выводит голосенком тоненьким, а родные потешаются, ласкают, платьице одергивают:

— Вишь, какого себе братишку завела! Да уж ты защитишь, сумеешь кровь пролить! Да уж ты, Женичка!

Сердился тогда и на нее, и на родителей, зачем такое петь позволяют. Теперь — все равно.

Перед глазами невысокий серый потолок, а на нем трещина в виде носа с верхней губой. К носу прицепилась паутинка, давно уже вьется, щекочет тот нос, силится от него оторваться, обросла всякой копотью, почернела, потолстела и степенность в движеньях приобрела. Колышется неровно, словно дыхание снизу чувствует.

Гонятся еще иногда по потолку полосы, не разберешь: черные за белыми или белые за черными, бегут быстро, а догнать друг дружку не могут.

Так-то почти у всех бывает — редко кого перед исходом небо утешает, а то все больше потолок, да еще и с паутинкой. По комнате тишина стелется, густая, тяжелая, липкая; пожалуй, скоро слышно будет, как паутинка у потолка трепыхается или еще как сердце достукивает. Трогает оно грудь нестройно, словно ребенок клавиши у рояля.

И еще опять:

«Реки текут в море, а в море вода все-таки соленая».

Возле парт учитель тощий, в сюртуке. Видать, привычка у него по лицу рукой проводить, словно умывается. Ученики передразнивают. Ходит и диктует:

«Некто сказал ложь, будто в театре не было лож. Петров, ты выйди вон: ты подглядываешь».

Это ему, Петрову,— не уходящему теперь совсем, бывшему, ненужному генерал-лейтенанту Петрову, а тому, с молодыми послушными ногами. Выходя, передразнил: умылся, как учитель. Да, да, в море вода все-таки соленая.

Прыгают водяные пауки, мешают. Перевел глаза с потолка на окно: на противоположной стороне улицы — вывеска, букв не разобрать, да и не надо, известно и так: там облинявший кинематограф «Софи». Раньше вечерами цветным светом приманивал, теперь прогорел.

Но мучится ожиданьем усталый дух. Горек, но точен перед вечностью счет истекающих минут, и долги они, как вся бывшая жизнь.

Теперь уже скоро.

И сейчас же клокочущая разгулом и радостью толпа в два цвета, черная и серая. И тянется вверх по дворцовой мачте большой красный флаг. Возможно ли? Для толпы, для этой толпы, красный флаг на дворце, и в нем пленником обреченный народом царь!

Сказал тогда сыну:

— У меня остались глаза, чтобы оплакивать, а у вас, покорившихся, чтоб искать себе пищу. Нет, скорей прочь, хоть к черту на рога, куда попало, только скорей из этой проклятой богом страны с безумным народом!

Однако не уехал, хотя и мог, и, когда сын надумал уезжать, сказал запинающимся от паралича языком:

— Не могу я отсюда,— и виновато улыбнулся.— Я не думал, как это тяжело, какое это страшное слово «отсюда». Теперь знаю. Там берег бы как святыню подошву, к которой прилипла наша грязь. Нет, нет, она не только ваша грязь, но и моя.

И потом еще...

Но это уже было то, что подошло и, не раздумывая, окончательно выключило последний ток из тела генерал-лейтенанта.

Там, наверху, взметнулась паутинка, а внизу скрипнула несколько раз подряд недоумевающая кровать и затихла до нового хозяина...

Человек, позабывший себя навсегда, запечатлел от жизни в своих бывших глазах невысокий серый потолок, а на нем замшелую паутинку...

ГЛАВА II

За обычным семейным обедом роняются, как всегда, пустые, слабые слова. Только чтоб тихо не было. Скучают без слов комнаты и человечьи уши, особенно стариковские.

— Щи-то сегодня, Марья Ивановна, на славу.

— Да, Николай Федорович, мясо хорошее, оттого и навар.

— Сольцы вот только маловато, а стол кривой, соли-то и не поставили.

— Да вот же, Николай Федорович, перед вами.

— И то верно, и то верно. А я и не вижу. Глаза совсем плохи стали. Этак и тараканчика со щами принять не трудно.

— Бог с вами, откуда же таракан-то завалится, коли я все сама делаю?

— Да ведь я только так, к слову, вы не обижайтесь. Сами знаете, Марья Ивановна, сколько за это время всякой дряни наплодилось. Раньше ее выводить умели, а теперь все перезабыто да перепутано. Вон меня клопы одолевают, а средства нонешние только новых плодят. Теперь мне покоя от клопов не стало, и крупные, подлецы, как раки. Таких и при царском правительстве не водилось. А вот в обновленной-то России живут, благоденствуют. Черти. Ну да недолго теперь. Вчера мне один псаломщик поведал: «Ожидаем, говорит, больших перемен». И вот этак подмигнул. А у него, знаете, значительные заграничные сношения, он в курсе...

За столом говорят двое: старый, потерявший зубы и возраст дед и тетка-хлопотунья. Та, когда говорит, для ясности очками себе помогает. Молчит же всего один племянник их и внук. За время обеда ему впору с газетой управиться: новостей много, а время все рассчитано. Нет-нет да и взгляд на часы с кукушечным боем. Уже седьмой час, а к восьми на заседание. В газете же материала через край: и политика, и профсоюзные сообщения, а сегодня как раз и отчет об его докладе на партийно-производственной конференции. Надо просмотреть, не переврали ли чего-нибудь. А тут старики досаждают. На время как будто

угомонились, однако прожевали и опять слова теряют. Теперь уж и его задеть пробуют.

— А погодка-то, Аркаша, совсем того.

Кивнул, не отрываясь от газеты:

— Н-да, холодно.

Для старика — это не ответ. Оттого пожевал ртом и еще добавил в виде вопроса:

— Если бы не ветер, так еще ничего, а то вот ветер?

— Н-да, ветер.

А тем временем руки делают свое дело, подают в рот щи и хлеб вперемежку, а иногда оправляют свесившуюся черную прядь. Пришло в голову: вот оккультисты говорят об энергетике мысли, будто ни одна фраза не пропадает, носится там где-то. Сколько же тогда в мире требухи всякой накопилось?

От тарелок с синими ободками — капустный, домовитый дух.

Слепые к вечеру оконные стекла тоже ко щам не без внимания: затянулись мелким туманным по́том.

Ко второму блюду из другой комнаты подошел неспешной походкой уверенный в себе черный кот. Подойдя к столу, он быстро согнулся, помыл себе правый бок и спокойно присел возле тетки.

— Сейчас, Степочка, сейчас. Вот умница! Скотина, а свое время знает.

В пояснение очки снялись с насиженного места, сделали мертвую петлю и опять вернулись на нос, как раз на сделанный ими красный рубчик.

А деду только того и надо.

— Да уж скотину на часах не проведешь. Например, петух: уж как ты там стрелку ни верти, а он в свое время мах-мах крылом да и кукареку. Вот ты с ним и поговори.

Но все же никак не вовлечь в разговор племянника. Перевернул газету и перешел на четвертый лист. И вдруг новость, будто берегла ее тетка в резерве на самый большой молчок:

— Ах, что ж это я! Ведь Андрей-то Федорович скончался.

Встрепенулся старик.

— Какой Андрей Федорович?

— Да Петров-то, генерал Андрей Федорович.

— Ах, генерал Петров, как же, как же! Так умер? Да что вы, скажите, умер? Ну, царство ему небесное. Мужественный был вельможа и человек. Это ведь он государю сказал: ваше императорское величество, говорит, дозвольте умереть у ног вашего величества. Историческая фраза. И вдруг про такую-то фигуру читаю недавно: бесцветная, мол, личность. Ну не смешно ли? Воистину черти, черти и есть. Так умер? Так, так. Ну да ведь он после того долго хворал.

— Да, в параличе и умер.

И тут опять чрезвычайно значительное, что услышалось сквозь газетные новости.

— Ну теперь сын-то его, Валерий Андреевич, уедет.

Приподнял от газеты голову.

— Куда?

Никак проняло. Теперь, чтобы не потух интерес, даже очки позабыты. Вскинулись на лоб, так и застыли.

— Да за границу-то, из России. Он ведь только из-за старика и сидел здесь. Старик все чего-то упрямился, не хочу, говорит...

Вместо газетных букв и теткиных слов перед глазами промелькнули покойный генерал, его сын и так непохожая на всех окружающих Ольга Степановна. Подумалось с раздражением: как нелепо! Умер ненужный человек, другой, еще того похуже, собирается уезжать куда-то, и от этого зависит так много, так много. Но ведь она-то не уедет?

— Теперь уж ему никто не помешает уехать,— дошли до ушей подробные теткины рассуждения. Телефон позвал в соседнюю комнату, и оба старика враз подхватили:

— Аркаша, телефон.

Подошел, снял трубку и сказал привычную фразу:

— У телефона Малевич.

И сейчас же из трубки знакомый голос:

— Аркадий, мне нужно видеть тебя. Буду ждать в Липовой аллее возле кино.

— Не могу, у меня в восемь заседание.

— Аркадий, это очень спешно, и мне тяжело.

— Хорошо, а сейчас можешь?

— Постараюсь.

— Ну, тогда выхожу.

— Хорошо, прощай.

— Пока.

Повесил трубку. Вернулся к притихшим старикам.

— Ну, я должен уйти.

— Как же так? Даже не дообедал?

— Что делать,— дела. К чаю не ждите.

— Смотри не простудись.

Вышел в переднюю, оделся и ушел.

Обед кончали вдвоем.

— С кем это он по телефону-то? — Съехали очки на успевший побледнеть рубчик.

— Пойди, пойми его,— и передразнил: — Да, нет, не могу, хорошо, до свиданья. Мудрит тоже. И-эх, скрытные люди нынче пошли, Марья Ивановна. Спасибо за обед.

— Не на чем, не мой ведь.

— Ну так тогда за компанию.

— И вам за то же.

Уходя, в дверях оперся на косяк и обернулся:

— А скучно ведь таким как мы, Марья Ивановна. Ходишь вот так из комнаты, в которой ешь, в комнату, в которой спишь.

— Что делать, что делать, Николай Федорович, терпеть надо. Другим-то еще хуже приходится. А только вы еще одну комнатку упустили... из деликатности.

— Какую? Ах, ту-то. Ну да и то верно, еще вот и ее. Да. Достукались, черти. А?

— А что?

— Да вот нам с вами говорить стало не о чем, а им всем некогда. Мечутся без толку. Скучное время пришло. Конец света скоро. Глад был, мор был, брат на брата восставал, теперь еще знамения на небе, и всему крышка. Смотрите, вилку на столе оставили.

Постоял, пока Марья Ивановна не подобрала вилку и не ушла на кухню. Потом пожевал губами и пошел к себе.

Комната, в которой едят, опустела... Из кухни недолго побренчали посудой... С подоконника в столовой неожиданно громко и суетливо застучали об пол скатившиеся со стекол капли пота. Скоро натекла лужа, паркет на том месте потемнел, а капли стали стучать медленно и степенно. Наверху, на стенных часах, распахнулась дверца, из нее высунулась кукушка, торопливо откуковала положенное число и сердито захлопнула дверцу. Зря куковала. Старикам не нужно, а молодой хозяин всегда уйдет до времени.

Через комнату, сладко потягиваясь, мягко, как в валенках, прошел на кухню кот Степан хлопотать об отлучке на лестницу по его кошачьей надобности. Комнаты ожидали послеобеденных снов...

ГЛАВА III

Воспоминанье, как нищенка, любит приставать к человеку, когда он один. Встанет около и шевелит беззвучно губами понятное только им двоим.

Так было, пока Малевич сидел на скамейке возле кино и ожидал Ольгу Степановну. Еще недавно аллейная тень дышала липовым цветом и пела пчелиные песни, а по дорожке и скамейкам, сквозь листву, наметывались солнечные диковинные следы. Тогда хотелось шутить. Припомнилось, как он говорил Ольге Степановне:

— Вот, Оля, два слова: любовь и революция. Они связаны духовно, ибо и та, и другая не могут быть перманентными. Кроме того, обе несут за собой диктатуру.

В ответ любимый веселый взмах кудрей и белые смеющиеся зубы.

— Насчет постоянства ты не прав, потому что лично у меня есть и постоянная любовь к революции, и такая же постоянная революция в любви. И знаешь, при таком положении не может быть диктатуры. В худшем случае здесь будет только жалость.

— А ты жалеешь?

Подняла с земли липовую ветку и задумалась, обрывая листья.

— Может быть, немножко. Вот когда я была маленькой, я всегда жалела речные водоросли. Ты представляешь, как они стелятся по дну, в сторону течения, или тянутся за лодкой, за каждой рыбой, за всем, что движется. Но корни их крепко сидят в родной грязи. Бедные, безвольные водоросли! Здесь они отцветут и сгниют. Иногда я вырывала их, бросала плыть по течению, губила, а думала, что даю счастье.

Ольга Степановна не шла. Наверху осень перебирала к зиме и заботливо проветривала свои пушистые серые одежды, и с них сыпалась на землю мелкая водяная пыль. Непреклонная ветровая воля срывала ослабевшие листья и гнала их по дорожке. Листья покорно бежали, безразличные ко всему. Они знали, что, быть может, через несколько часов та же воля погонит их в обратную сторону. Мимо скользили люди, бросая фразы:

— Да, тяпнули вчера основательно. Мишку под утро вот на этой скамейке обнаружили. Сидит, ест грушу и горько плачет.

А в противоположную сторону:

— Понимаешь, ценна не теория исторического материализма, а пролетарский инстинкт.

Неожиданно на скамью с размаху сел человек в подпоясанном брезентовом пальто. Он несколько минут не шевелился, затем ожил, протер пенсне, взглянул на Малевича и протянул ему руку:

— Здравствуй, сидящий. Камо грядеши? Страдать иль наслаждаться? Имей в виду, лишь на последнее благословляю тебя всегда и присно.

Только теперь можно было сообразить, кто сидит рядом.

— А, Павел Хрущев, здорово! Что это, ты никак обрился?

— Обрился, дорогой друг, обрился. К черту усы и бороду антрика, сиречь Генрих Четвертый, и прочие волосяные изделия. Не хочу, не желаю: обновляться, так обновляться по всем швам! К тому же время, ибо все равно мое исподнее и верхнее расползается и по швам и так.

Из громоздкого брезентового капюшона глядело в осенний дождь неподвижное, худощавое лицо. Все настроения передавались только хрущевскими брезентовыми рукавами.

— Ну, Павел, что нового?

— Quid novi? Так говорили римляне времен упадка, отвыкай от этого. Да, вот, ничего, как видишь. Звание мое все то же: безработный учитель. Нет, ты почувствуй мою обиду: хочу учить, и некого! Паства отсутствует.

— А ты все такой же, Хрущев!

— Конечно, Хрущев такой же, но вопрос: какой?

— Да веселый.

— А на кой черт всем вам моя грусть? Я грустен только сам с собой. Если меня засадят в одиночку,— это, конечно, не про коляску, а про другое,— тогда я загрущу. И-эх, как загрущу! Но при настоящем режиме мне сие не грозит, ergo — Хрущев до самой смерти останется штатным весельчаком.

Брезентовые рукава взметнулись вдруг в разные стороны.

— Ну что ж, что грязь? Что ж, что дождь? Наплевать! Будет солнце, будет и чисто и сухо. А солнце во-он там или за тучами, или закатилось для восхода. Кстати, ты в галошах? Это хорошо. Все же сыро.

Издалека со станции донеслись два звонка. Сообразил: это поезд семь тридцать. Через двадцать минут нужно уходить. И вдруг неожиданно и тревожно промелькнуло: а что, если она уедет?

Хрущев встал и уперся в скамейку коленками.

— Еще насчет веселости, слушай и не перебивай. Я бы для поднятия производительности приказал на фабриках и заводах, во время работ, забавлять рабочих смешными историйками и анекдотами, можно даже политическими. Да, да.

Брезентовое пальто стало в позу.

— С песнями труд человека спорился! Смекай, инженер, наматывай себе на черный ус, это советует беспартийный индивидуум, мечтающий о благе государства. В конце концов, я больше чем партийный, я добровольный и необходимый материал для дальнейших социалистических опытов. Я сам готов просить: пожалуйста, дальше, пожалуйста, еще!

Из правого рукава вылезла рука и легла на плечо Малевича.

— Представь себе грандиозную лабораторию во главе с великими учеными и преданным делу штатом. Лаборатория накануне величайших открытий, за ней с трепетом следит весь мир,— рукава ходили все быстрее и быстрее,— и вдруг иссякает нужный для опытов материал. Несчастные ученые, бедный преданный штат! Что это, как не мировая трагедия! Ты понимаешь теперь великую заслугу и задачу таких, как я? Шутки в сторону,

честное слово, если гром великий грянет, мое ничтожество пойдет защищать Се Се Сер, черт ее возьми, да, да, от всех и от всего! — Отдулся и добавил: — Мне терять уже нечего.

Капюшон свалился, фуражки под ним не было. Времени оставалось немного, и нужно было перебить Хрущева.

— Да, жалко, Павел, что мне сейчас нужно на заседание, а то бы мы поспорили. Ты сегодня в ударе.

— Я-то? Да, в ударе. Вероятно оттого, что у меня сейчас сперли кошелек с последними. Неважно. Я кончаю, дружище. В назидание себе слушай: у меня сейчас в наличии и при себе: мокрые ноги, чахлые мускулы, близорукие глаза, пустой желудок, что еще? — Задумался, обтирая рукой намокшую лысину.— Да, и над всем этим нелепой формы вот этот черепок с несгораемыми человечьими мыслями. Ведь недаром мозги über alles, хоть на каких-нибудь там на два с чем-нибудь аршина, а все же ближе к солнцу. А ведь можно было бы мозги где-нибудь и внизу устроить, когда лепили-то? Плевое дело,— можно. Что? — Примолк, вглядываясь в подходящую тень.— Аркадий, к тебе идет женщина, это бесспорно, прощай.

Резко нахлобучил капюшон, сорвал им пенснэ, но поймал на лету, надел и ушел, насвистывая марш.

Ольга Степановна быстро подошла к скамейке.

— Здравствуй, прости, что запоздала.

Взял под руку, заглянул в лицо.

— Да, Оля, у меня осталось всего каких-нибудь семь—десять минут. В чем дело? Что такое?

— Да вот...— задумалась она и стала поправлять на голове платок. Потом как всегда быстро и решительно: — Вот что: я расстаюсь с мужем, он уезжает за границу, а я остаюсь, мне там нечего делать. Здесь же, кроме тебя, никого. И вот я решила перебраться к тебе.

Мысли к порядку, к порядку, все чувства потом, а сейчас нужно суметь сказать так же просто, как и она. И поймал себя: значит, это будет уже не просто, а надуманно. И тотчас сорвалось:

— Когда же ждать?

— На днях. Завтра муж хоронит отца и затем собирается уезжать. У него уже на руках все нужные документы, осталось только распродать кое-что из вещей. Давай посидим здесь немного. Да, к тебе еще муж зачем-то хотел зайти, прими его.

— Хорошо.

Из разговора постепенно уходили деловые, продуманные слова.

— Я ждала от тебя именно такого ответа, спасибо тебе, Аркадий.

Откуда-то на минутку высунулась нищенка, шевельнула губами, напомнила что-то и исчезла.

— Оля, а как же жалость-то к водорослям, помнишь?

И как тогда, но только близко, совсем близко, любимый веселый бросок головы и белые смеющиеся зубы.

— Водоросли? Так ведь я-то не водоросль? И то было детство, а для меня все равно, по течению или против течения, только бы не на месте. Тебе пора, идем. Я тебя провожу.

Встали и ушли.

Ветер затихал, он обдумывал новый путь для послушных листьев.

ГЛАВА IV

После докладов, машин, заседаний хорошо лечь в постель, подумать о своем и с этим, чтоб не видеть ночи, уйти до утра в другую жизнь. Кто скажет, которая — подлинный сон? Скоро комната почтительно и внимательно вслушивалась в дыхание спящего. Сквозь щель в занавесе и темноту ощупью пробиралась на дыхание лунная полоса. Она натолкнулась на край ночного столика, а на нем на отдыхающий мягкий воротничок и запонку на высокой ножке. Потянулась дальше, провела по широкому с продольной морщиной лбу, нащупала тонкий нос, заглянула в приоткрытый рот и задумалась. Все лицо было пустым. Не нужно человеку лицо, когда он спит. А спящий внезапно приподнял на руках свое туловище, взглянул невидящими глазами на воротничок и быстро произнес:

— Любишь ли, любишь ли...

В тоне не было вопроса, потому что на другом языке говорят живущие в снах, для них земные слова только бред. И тотчас же спящий опустился на подушку, подставил лунной полосе свою черную небольшую бороду и голосом, идущим издалека, неожиданно глухо добавил:

— Больше не рви...

Одряхлели, ослабли вековые слова: счастье, печаль, ненависть, любовь, нет в них остроты, нет уверенности, изговорились, износились, а новых нет. Если беречь их в себе, станут густыми думы и по-особому разговорчивы сны. И снова заворочался спящий, и торопливо заговорил, словно боялся забыть, а сказать нужно о многом:

— Да, да, все заново, заново.

И оборвал.

Лунная полоса продолжала медленно шарить по комнате: сперва по постели к ногам, потом по полу. Когда сошла на пол, натолкнулась на дремлющего кота, и кот сообразил, что мыши-

ные часы на исходе. Он быстро встал, сдвинув вместе все четыре ноги, от этого изогнулась спина, а для равновесия и хвост, и так, постепенно распрямляясь, пошел по лунному следу, а когда совсем распрямился, свернул в бледнеющую темноту. Скоро занавеска на окне стала прозрачной, а лунная полоса ушла из комнаты. Сон крепчал. Напоследок он показал стенку с голубыми цветочками на обоях, а на ней множество живых раков. Знакомая, дрожащая, морщинистая рука без остановки скидывала их в ночной горшок, и от всего этого получалось непрерывное шуршанье и мягкий стук. Руку было беспричинно жаль, а стук досаждал все больше и больше, и, наконец, стало понятно, что это стучат в дверь. Не открывая глаз, подал голос:

— Ага? Да-а?

— Заспался, Аркаша, пришли к тебе.

Понял, что это тетка.

— Ага, сейчас.

И уже совсем проснувшись, сообразил: сегодня воскресенье — это муж. Вскочил и быстро стал одеваться.

— Вы, тетя,— крикнул он в соседнюю комнату,— попросите обождать в кабинете.

— Да, да, я уж и так сказала.— Теткин голос подошел вплотную к двери: — Обождите, говорю, пожалуйста, в кабинете.— И затем шепотком, в щелку: — Это Валерий Андреевич, сын генерала Петрова, покойного.

— Да, да, я знаю, знаю.

Зачем он пришел?

Этот вопрос так занимал, что Малевич чуть было не вышел к гостю без воротничка. Одевшись, поспешил в кабинет. Там от окна навстречу твердым шагом пошел к нему невысокий брюнет с размеренными, готовыми на все случаи жестами и послушной любезной улыбкой.

— Аркадий Алексеевич, простите, что вторгаюсь к вам, но жена передала мне, что вы ничего не имеете против моего посещения.

Как будто ничего не случилось — приятный визит для укрепления желательного знакомства, не больше.

— Пожалуйста, я очень рад...— запнулся и добавил, досадуя на себя: — ...вас видеть. Прошу садиться.

Сам присел к столу, взял без нужды логарифмическую линейку и, не смотря, стал раздвигать и сдвигать ее. Напротив в мягком кресле, заложив нога на ногу, удобно уселся муж Ольги Степановны. В руках прежде всего сверкнул и щелкнул портсигар.

— Вы курите? — услужливо широкий жест в сторону Малевича.

Хотелось курить, но почему-то отказался и вообще решил молчать и ждать.

Не спеша закуривалась папироса, спокойствие и уверенность в движениях давали неприятное превосходство, к которому сам Петров привык и не замечал.

— Так вот, Аркадий Алексеевич, вы сейчас изволили запнуться, когда заговорили о радости встречи со мной. Это хорошо, это искренно. Естественно, что вам только хочется знать, зачем сидит перед вами этот человек, догадки, конечно, строите. Но я их сейчас разрушу. Я пришел к вам низачем, а так, ну вот почти что просто так.

Рука с папиросой делала возле рта мягкие вразумительные движения. Правый глаз при разговоре щурился.

— Видите ли, мне захотелось узнать, зачем и для чего моя жена категорически отказывается от прежней жизни, меняет мужа, отдает ребенка... Поверьте, с моей стороны это не простое любопытство, здесь есть несомненная общая польза. Вы поймете это потом.

Он обвел глазами комнату и медленно выпустил изо рта дым, о чем-то размышляя, затем сказал для себя:

— Да, теперь мне все ясно...

— Простите,— решил вмешаться Малевич,— все же я не могу поверить, что вы захотели видеть меня просто так.

Внимательно выслушано и сейчас же оживленно:

— Тем не менее это совершенно верно, уверяю вас. Если иметь в виду какую-то цель, какой-то результат от этого посещения, то у меня их, конечно, не было и нет. Просьба есть, и об ней упомяну, но это не в счет, так как просьба моя очень наивна и немножко, если хотите, сентиментальна. Но об ней потом, потом, при случае.

Откинулся на спинку кресла и затянулся. Папироса была ароматичная. Табачный дым дразнил, а закурить, когда только что отказался, считал доказательством застенчивости. Спросил, чтобы поддержать разговор:

— Вы скоро уезжаете?

— Да вот вчера похоронил отца. Почтенный был генерал, и знаете, так просто, без музыки, ужасно тяжело... А теперь вот закончил все дела и завтра уезжаю, а следовательно, завтра же передаю вам жену. Берегите ее, в общем она неплохой, но взбалмошный человек, одним словом, как теперь говорят, идейная. Господи, какая все это чушь!

Особенно нажал на слово «какая», скинул ногу и прищурился.

Накапливалось раздражение.

— Почему чушь?

— А вот почему. В России, изволите ли видеть, за эти годы каленого железа и крови, среди интеллигенции произошел естественный подбор: слабое — раздавлено и стерто, сильное — либо ушло, либо погибло. Остались приспособляющиеся, растения, живущие на всякой почве, при всяком уходе, иначе — сорная трава на пустыре, мечтающая о культуре. Ну что ж, по траве и культура. А впрочем, к чему я все это говорю? Теперь, посетив вас и поговорив, еще раз прошу позаботиться об Оле, даже в том случае, если она от вас уйдет. А она уйдет.

Положил на место линейку, неприязненно взглянул на говорящего и резко бросил:

— Почему?

Следил, как Петров, не спеша, отошел к пепельнице, погасил папиросу и, обернувшись, спросил в упор:

— А как вы думаете, переехала бы она к вам, если бы я не уезжал из России?

Прищуренный глаз и быстрый успокоительный жест, предупреждающий ответ.

— Простите, мне не нужен ваш ответ, Аркадий Алексеевич, какой бы он ни был, я останусь при своем. Толчок дан, теперь Оля не остановится. Вам ли удержать? Что у вас? Вон в углу иконка, там рядом часы с кукушкой, тетка-старуха и, наконец, вы с логарифмической линейкой, ушедший в работу. Нет, нет, это все то же, это ей мало, это пусто, мы мечтаем о великих подвигах на пустыре. Ну вот поэтому,— поклон в сторону,— счастливо оставаться, именно так, а не иначе, оставайтесь счастливыми, если можете, обесцвеченные люди! А когда мы сюда вернемся, ого, мы расправимся! Будем полоть,— улыбаясь пожал руку,— и таких, как вы,— в первую очередь.

Сколько можно передумать и взвесить за одну минуту, а затем, тряхнув бодро головой, утешить себя:

— Все это не так.

— Нет, это так, так-с, поверьте.

Прошелся по кабинету и остановился близко.

В голосе мягкость:

— Послушайте, у меня к вам еще одна просьба: приходите с ней, с Олей... вместе... провожать на вокзал. Ради нее,— ей будет легче, я знаю. Хорошо?

Кажется, сказал в ответ: «хорошо», а может, только кивнул головой. Затем, проводив гостя, вернулся в кабинет. Подошел близко к окну... Мимо по улице твердой походкой прошел тот, принесший с собой тревогу... И опять, как недавно во сне, и, может быть, даже вслух, подумалось:

«Любишь ли».

Стекло от дыханья вспотело и затуманило улицу.

Когда пошел пить чай, решил сказать сидевшим с ним старикам:

— А я женюсь.

И первый раз, после некоторого молчания, протянул старик всего лишь одно слово:

— Та-а-ак.

Тетка же, протерев очки, спросила:

— А на ком, Аркаша?

— На жене Валерия Андреевича.

Больше ничего не сказала и забренчала в полоскательнице чашкой. А дед пожевал губами и протянул опять:

— Та-а-к.

А спустя немного добавил:

— Ну что ж, в добрый час...

ГЛАВА V

Всякая жизнь слагается из коротких и длинных часов. Разве можно временем точно измерить жизнь?

— Мамочка, а когда паровоз сделает у-у, я поеду?

— Да, да, детка, теперь уже скоро, потерпи.

А сама вглядывается, вглядывается в мягко намечающиеся черты будущего лица и вбирает их в скорбную память. Да, будет похожа на мать...

— Женичка, а ты будешь помнить меня, ведь будешь, да?

— Да, а где моя груша?

Вот сейчас, сейчас вырвется:

— Нет, не могу, не отдам!

Или иначе:

— Кончено, раздумала, еду с вами!

Но мозг твердо, как всегда, управляет всеми чувствами и знает то неизбежное, что произойдет через пять — десять минут. Тогда, после смерти старика, обо всем было переговорено, все решено бесповоротно. В дверях купе со знакомым сощуренным глазом тот бодрый, тот, кто тогда говорил дрожащим, сдавленным голосом:

— Вот ты бросаешь меня,— твоя воля, а ребенка ты тоже отнимешь?

Решила: я крепче его, пожертвую своим, помогу... и шевельнула побелевшими губами:

— Нет, Валерий, оставь себе.

Теперь он спокоен:

— Ну вот и рассчитался со всеми. А Аркадий-то Алексеевич не прибыл?

— Да, я забыла сказать, он просил передать, что у него срочная работа и если успеет, то придет.

— Так, так. А ведь я просил его сделать это для тебя.

— Да, но работа прежде всего.

И снова попытка:

— Оля, последние минуты, скажи, что едешь с нами?

Скоро ли тронется поезд? Силы имеют предел. Но спокоен и тверд ответ:

— Не могу.

Снял и повесил на крючок пальто. Подсел близко. Обнял ее и дочь.

— Со свистком паровоза мы умрем для тебя. Не понимаю, что может удерживать здесь? Неужели любовь?

— Я тебе говорила что̀, но ты не хочешь понять. Наконец, я тоже могу повторить: оставайся ты здесь.

И словно в отместку, такой же спокойный и твердый ответ:

— Не могу.

— Ну и довольно, довольно об этом!

— Оля, еще об одном... Прошу тебя — перекрести дочь.

— Это будет неискренно, не проси об этом.

— Мама, а ты завтра приедешь?

— Едва ли, голубчик. Вот тебе твоя груша, а ты спой песенку.

— Песенку? Хорошо, сейчас.

Уселась поудобнее, тряхнула кудряшками и затянула, сбиваясь с мотива:

Буденный наш братишка...
И вся-то наша жизнь есть борьба...

Копятся в триповом, тесном купе долгие мысли о разлуке, пути, о новом, и некуда им деться, и некогда их досказывать.

— Оля, перестань, нехорошо.

Как живой промелькнул дед. Точь-в-точь как говаривал покойный.

— Вот ты неверующая, но напомню тебе один текст: «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом».

— Не подходит. Я сразу же не пошла с тобой. Я остаюсь здесь. А жену Лотову я все-таки люблю.

И вдруг домовито:

— Да, Валерий, вот здесь вторые Женичкины туфельки...

Раздельно, оттягивая удар от удара, всколыхнулись два звонка.

— Папочка, сейчас поедем? Да? Поедем? — и прижалась носом к стеклу.

В купе никто не сказал «прощай», но оно само вошло, и его было слышно.

— Вот такой, с последними материнскими словами о туфельках, я хочу запомнить тебя.

— Ах, Валерий, знаешь ли, чувствуешь ли, что я отдала тебе?

— Да, спасибо. У тебя железный характер. Обещаю: она будет любить страну, где родилась и где осталась ее мать.

— Все это не то, не то. Нет, ты не можешь, не хочешь всего понять!

Загудел паровоз. Выскочила из вагона и успела на миг прильнуть снаружи к окошку. Между дочерью и ею было холодное стекло... Отшатнулась... Поезд мягко и медленно снялся с места...

Так вытягивается из тела большой рыболовный крючок и рвет своими встречными шипами куски живого мяса. Так поезд мимо, мимо, мимо, все быстрее, быстрей, на хвосте красные огни... все...

Всякая жизнь слагается из коротких и длинных часов. Разве можно временем точно измерить жизнь?

ГЛАВА VI

И для больших, и для малых дел судьба всегда нашарит и вытащит из людского садка нужного ей человека. А коли с перепугу сунется ей в руку не тот,— тогда беда: швырнет его, как попало, обратно. Зачем вытащила она тебя, Аркадий? Не для того ли, чтоб, забывая себя и других, жить мерной, холодной жизнью машин? Зачем вытащила она тебя, Лотова жена? Не для того ли, чтоб со злобой швырнуть обратно в людской садок?

Сегодня вечером пришло письмо.

Оторвалась от курса политграмоты, распечатала и стала читать.

«Помня твое разрешение писать, приветствую тебя из Крезо. Женя и я здоровы. Скучаем по тебе. Устроились неплохо, хотя сперва наши хозяева относились ко мне с подозрением. В этом виноват без сомнения мой сощуренный глаз, так как они уверяли, что у меня в лице есть что-то коммунистическое. Впрочем, может быть, они правы и помимо глаза. Лично для меня теперь совершенно ясно, что, чем дольше человек проживет в России, тем он все больше и больше разнится от других, живущих на земле, людей. Там у вас привыкли ко многому и многого уже не замечают, иными словами — у вас создается (если уже не создалась) новая порода людей. Ближе они или дальше от обезьяны — покажет будущее. К тому же, по-моему, еще неизвестно,

кто от кого произошел: ведь у обезьян имеется несколько счастливых преимуществ — у них два мозговых центра, четыре руки и мешки за щеками для пищи. Как бы это пригодилось во время голода! Но довольно об этом.

Представь себе, что здесь есть русские, которых никогда не касалось дыхание большевизма, например, наши старые друзья Плетневы. Недавно к ним приезжала из России их дочь Ниночка, и старики, боясь дурного влияния, совершенно изолировали ее от брата. C'est drôle. Ведь ты же знаешь, какие у Ниночки консервативные взгляды. Она рассердилась и хотела уехать. Недаром я всегда говорил, что ваша борьба классов вырождается в борьбу поколений. Как я рад за Женю. Еще раз горячо благодарю тебя как муж и отец.

Бедным соотечественникам, действительно, в большинстве живется плохо. Многих из них спасает тонкое знание шансонеток и уменье наивно танцевать самые неприличные танцы. И все же я горжусь ими. По-моему, они предпочли лучшее. Если бы не мысли о тебе, я был бы вполне счастлив, а ведь скоро уже полгода, как мы расстались.

Будь здорова.

Твои путешественники.

P. S. Женичка все спрашивает: скоро ли приедет мама. Нанял ей гувернантку».

Встала. Раздраженно бросила на стол письмо. Какая ошибка, какая непростительная слабость отдать дочь этому фразеру! Как много обо всем ненужном и всего несколько слов о ней.

И несмотря на это, совершенно отчетливо, вот здесь рядом, должна быть закинутая маленькая кудрявая головка. Тянется она заглянуть в лицо матери, и в этом детская беспомощность и надежда на любовь. Если, не оборачиваясь, протянуть руку, обязательно окунется она в мягкий, чуть теплый лен волос.

Обернулась — никого... никого!..

Вот еще разве кот, да там кукушка, остальное не шевелится, замерло, уснуло.

Села за стол и задумалась о своем. Глаза набрели на раскрытый курс политграмоты, неуверенно пробежали по первым словам, остановились, поманили за собой мысль, и та, почти не колеблясь, пошла за ними.

«Важнейшими из прав и свобод, предоставляемых Советской властью трудящимся, являются: свобода выражения своих мнений, собраний, организаций, доступ к знанию, право на владение

оружием и вооруженную защиту СССР, равенство людей всех национальностей и рас, а также свобода совести и антирелигиозной и религиозной пропаганды».

Шелестят страницы, дальше, дальше, развивать и укреплять молодую веру. А то, свое, дорогое, уже незамечаемое, постояло, выжидая, у стола с письмом, может позовут еще, но не дождалось и на цыпочках, чтобы не помешать, ушло из кабинета.

От абажура деловитый, зеленый свет.

«Всегда ли пролетарское государство будет основано на диктатуре? — Нет, не всегда. По мере ослабления и окончания классовой борьбы, будет все более и более отпадать и диктатура пролетариата».

В дверь на кухне стучали. Пришлось пойти открыть. По ногам холод. Из морозного пара знакомый голос:

— Здравствуйте, будущий деревенский деятель. Обращаю ваше внимание, что добродетель моя в брезентовом пальто. Это не так почтенно, как в рубище, однако, если вы находите, что я нарушаю тон вашей обстановки, я удалюсь с поклоном безразличным.

Пара больше нет. В дверной темноте можно разглядеть капюшон, а в нем неподвижное лицо с нерастаявшими усами. Забавный гость. И сразу шутливым тоном:

— Входите, входите, Хрущев, а то холоду напускаете. Закрывайте дверь и идем в кабинет. Что вас давно не видно? Куда вы пропали?

— Постойте, как у вас тут защелкивается-то? Ага, вот так. Пропал, говорите? Этот глагол требует волеявления, а оно у меня да-а-вно все израсходовано.

На пол падал и таял отряхиваемый снег.

— Скажите лучше — потерялся,— это вернее. Раз и навсегда... res nullius. Вот и наслякотил вам. Теперь еще раз здравствуйте. Итак, виза на вход получена, поэтому протираю глаза, битое пенснэ, вот так, и следую за вами. А и здорово у вас тут все приноровлено, семейственно. Вот тарелки мытые на плите обсыхают, словно дамочки на пляже, половичок по коридору — сам под ноги лезет, услужливый, черт полосатый, а здесь-то, здесь! — тишина теплая, зеленая...

Хрущев подошел прямо к столу, снял пенснэ и, почти положив голову на книгу, стал перелистывать страницы.

— Что ж, этак и политграмоту под абажуром учить не трудно.

— Не иронизируйте, Хрущев, не иронизируйте. Садитесь, я схожу за чаем. Кстати, вы обедали?

Все еще нужно оттирать посиневшие руки.

— Вообще говоря, это со мной уже в жизни бывало... не раз. Знаете, смешная все же штука: сидишь дураком и мелешь зубами пищу для себя. Неважно. К черту обед!

Отложил книгу.

— А что Аркадий, как всегда, на посту?

— Да, как всегда, живет по гудкам.

Почувствовала в тоне равнодушие и добавила:

— Побольше бы таких тружеников.

Мелькнуло в уме: как это лживо.

— Вернее, побольше бы таких счастливых до края людей, а то вот все либо вроде меня, потерявшегося, либо вроде вас, заучивающей, что такое Се Се Сер. Погодите, не уходите за чаем, присядьте... к черту еду! Се Се Сер, эх-ма, Се Се Сер!

Хрущевская рука закружилась по лысине.

— Для какого-нибудь там иностранца это сочетание звуков дает лишь представление об известной территории, власти, населении, как в науке полагается. А для меня, ух ты, что это для меня!

Хрущев вскочил, быстро прошелся несколько раз по комнате и вдруг остановился возле Ольги Степановны.

— Представляете себе этакую широкую, весеннюю, в сырых снегах, дорогу, туда, в просторы? Или еще вот,— нагнулся и дотронулся до руки,— комната, знаете, с такими захватанными морозом окнами, а на стене Ленин, два Ленина, а в углу икона, а на столе премногоуважаемый самовар.

Задержался, словно для ответа, и снова по комнате.

— Се Се Сер! Неужели вы не чувствуете этого нежнейшего сочетания радиомузыки и сочного мата, многоголовой думы о Волховстрое и одинокой — о траве для городской козы?

И уже из кресла, затихая:

— А над всем этим — разливчатая трехрядная гармонь, уже разучившая на слух без ошибки «Интернационал». Здорово? Верно? Да что, не мне говорить, не вам слушать.

Помолчали.

— А это? — кивнула на книгу.

— Это? Ах, это тоже неплохо. Но мое для меня лучше.

Усмехнулась.

— Печальный вы экземпляр — упадочный интеллигент. Впрочем, вы только говорите и тем подогреваете себя, а сами в глубине уже не такой. У вас есть симптомы перерождения. Если хотите, вы сможете еще и жить и учить.

— Кто? Я? Зачем? Нет, нет. Да и кто поможет мне? Вы, например, ведь не поможете? Нет?

В тоне надежда, что опровергнут.

— Ну и кончено, кончено. И не говорите мне, кончено безвозвратно. В чем дело? Сейчас учить нужно другим и по-другому. А я — бывший учитель с разбитым пенснэ. У меня для левого глаза весь мир с трещинкой. Бывший учитель — это гордо, это неотъемлемо! Когда-нибудь пойдете прогуляться, купите «Вечерку», а там петитом: сегодня умер последний бывший учитель. Порадуйтесь за него. Учитель умер, да здравствует учитель! Это уже в честь вас. Не гордитесь, когда-нибудь вы так же умрете. Ведь что такое общественные и государственные формы? Это точки на круге, по которому не раз уже бегал циркуль жизни. Я — точка позади, вы — впереди.

Нагнулся в кресле вперед:

— Согласитесь, что так?

И, не дождавшись ответа, откинулся и добавил:

— А впрочем, смотря откуда и как считать. Ай, что это?

Ольга Степановна сперва не поняла, потом рассмеялась.

— Чего вы испугались? Это часы с кукушкой. Вам нервы лечить надо. Неужели вы никогда часового боя не слышали?

— Нет... не то... Я вообще не люблю часов — машинка паршивая, тоже мерит что-то! Океан наперстком. Колчак отмерил двадцать четыре круга по своим золотым и расстрелял моего сынка. Был у меня такой отросток семнадцатилетний. А потом, скоро после того, я с женой муку в Мелитополе раздобывал, так вот она с мешком зазевалась, а ее поездом. Близко так от меня, приблизительно как до вас сейчас. Мешок с мукой, конечно, разворотило, ее тоже. А вот так, отдельно от всего, в сторонке, рука... в перваче... с часиками в браслетке... Мне их отдали, а они — тик-тик, тик-тик — работают как ни в чем не бывало. Показывали два часа сорок минут... Да, мы с женой дружно жили.

И вдруг с жалким смешком:

— Ольга Степановна, выйдите за меня замуж, спасайте меня! Ведь скоро будет поздно, совсем поздно. А сейчас вы заставили бы меня в ногу, в ногу. Что ж учить тех, кто и без того не сбивается? А мои шаги неверные, ночные. Здоровые люди спят, не слышат, а больные потревожиться могут. Так как? Впрочем, не отвечайте: я чувствую, я знаю ваш ответ. Так пусть мой вопрос останется непогашенным. Точка. Давайте о другом. Вот об Аркадии. Парень он хороший, а не для вас. Порознь вы оба нужны, а вместе ничего не выйдет. Расскажу вам, как мы вместе с ним учились. Я шалопай, а он — паинька, однако задорный. Раз химик, гроза наша, рассердился на что-то и спрашивает: «А что, Малевич, ты был, когда господь бог мозги разда-

вал?» А тот почтительно: «А как же, господин преподаватель, я ведь сзади вас стоял». Ну, химик наш только гмыкнул, а потом, подумав, говорит: «Теперь ясно, что он их через одного раздавал». А Аркадий в ответ: «Этого сказать вам не сумею, а только я-то их получил». Так учителя без мозгов и оставил. Очень он мне тогда понравился. С тех пор мы и подружились. Ровный парень, умный, молчать умеет. Красноречивая это штука, молчание-то. По плечу оно только для сильных умом и духом. Жалко мне его. Вы ведь курсы кончите и айда в деревню на работу, только вас здесь и видели. Впрочем, это хорошо... Ну, прощайте, Ольга Степановна, не буду вам мешать, у вас в глазах политграмота.

И уже в кабинете накинул капюшон на голову. В кухне задержался.

— А пуще всего меня тишина ваша восхищает. Мягко, тихо, тепло, как кошачьи лапы. Вот и выходит, что революция родила не только гул, грохот и песни, она принесла с собой для некоторых и нерассеивающуюся тишину. А вот я запирать — запирал, а открыть, кажется, не сумею. Впрочем, нет, сумел, сумел, не беспокойтесь. Ну и темно, ни черта не видно! Прощайте.

Холод по ногам, клуб пара, хлопнувшая дверь захватила брезентовое пальто, но тотчас опять приоткрылась на мгновенье, чтоб выпустить его.

Теперь обратно, к зеленому абажуру. В голове обрывки разговора. На ковре, возле кресла, отсвечивают грязные следы хрущевских сапог, и так ясно представился весь он, нелепый, в брезентовом пальто и в пенснэ с трещинкой. И сейчас же вспомнилось, как заметила она на потолке у покойного генерала трещину в виде носа, очень похожего на генеральский. Теперь в ту квартиру переехал детдом, а перед тем был ремонт, значит в комнате и носа уже нет. Поди беготня там, пискотня... И вновь рядом закинутая маленькая кудрявая головка тянется заглянуть в лицо... Да, нужно еще ответить в Крезо. Быстро набросала четким почерком:

«Валерий, я здорова. Прошу тебя больше не писать мне. Это очень тяжело для меня».

И еще приписка:

«Конечно, если бы с Женичкой произошло какое-нибудь большое несчастье, тогда сообщи обязательно».

На кухне опять стучали. На этот раз Аркадий.

Вошел и сразу о поразившем, даже слов больше, чем всегда.

— Знаешь, сейчас иду домой и вдруг вижу на углу, у «Софи», стоит Хрущев и просит милостыню. На груди надпись: учитель. Я перешел на другую сторону, чтобы не конфузить его.

Спросила себя: жалко ли, но поняла, что нет, и сказала:

— Он только что был у меня. Что ж, его дела плохи. Сам говорит про себя: res nullius.

Перед глазами протянутый брезентовый рукав, а в ушах жалкий смех и просьба о женитьбе. Таких ли спасать?!

Пошли в столовую. Туда же, рассчитывая на угощение, зашел с молчаливым приветом кот Степан. В разговоре большие перебои.

— А что старики?

Пожала плечами.

— Спят, конечно, ведь поздновато уже.

Внимательно посмотрел на Ольгу и сказал с раздумьем:

— Ничего не поделаешь. Сегодня пускали в ход новую машину. Теперь заработаем на славу.

Малевич быстро ужинал, не обращая внимания на то, что ест, и перебирая в уме все качества и недочеты новой машины.

И вдруг решила подготовить.

— Аркадий, ты знаешь, к весне я кончаю курсы, а потом получу командировку в деревню.

— Надолго?

— Не знаю.

Подпер голову рукой, забравшейся в волосы, помолчал и глухо:

— Скучаешь ты здесь!

— Скучаю, Аркадий. Ведь у тебя дело. А что сейчас у меня? Я живу лишь будущим. Ты ведь его не отнимешь?

И совсем как тогда с мужем о дочери, но только теперь не она, а другой тихо, но так же твердо сказал:

— Нет, Оля, ты права. Будущее, конечно, твое.

ГЛАВА VII

Что зима, что весна — все равно. Теперь порядок один. У «Софи» на углу. Монотонно и гулко журчит из трубы. Весенняя сырость студит сильней, чем зима. Мимо, в разные стороны — люди. Вместе с ними обрывки фраз, а в ладошку ненужные дающим медяки, и с неба в нее же — снег. Иногда вопрос:

— Чему вы учили? Отчего без места?

— Я на месте, я учу.

И у всех взгляды и слова стертые, холодные медяки. Мимо, мимо, по домам, по делам, в тепло, к обеду, к любви...

— Павел, ты?

Это Малевич. Столкнулся нечаянно, не знает, что сказать.

— Как видишь. Стою и думаю: кого это звали Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Старший? Раз Старший, значит был еще и Сципиоша Младшенький, а этот дылда, мерзавец, видать, в Африке чего-то бузил. Не помнишь?

— Павел, зачем все это?

— Низачем... так. Ничего, ничего. Иди, брат, своей дорогой, не мешай вспоминать школу. Иди, ну иди! Кстати, новость: я пишу мемуары, а комната моя без света, вот я в своем ледяном доме, в темноте... карандашиком... Иногда слова друг на дружку, а иногда и мимо, а в середке у них заглавные буковки. Возьми вот, передай Ольге Степановне, и иди, иди, ступай.

Машинально взял тетрадку и ушел...

Вечерами вода в трубе журчит слабее, а на стене кино — афишные цветные лоскутки трепещут, как мысли, и рвутся, и с каждым днем их все меньше. Чьи глаза и думы задержатся здесь?

— Степанов, видал такого типа?

— Д-да, экспонатик! Пробу некуда ставить.

Издалека с вокзала в одно и то же время долетают звонки. Аккуратно, в один и тот же час, идут по панели одни и те же люди, а часы напротив все так же каждый день показывают два часа сорок минут, как тогда в Мелитополе...

И вдруг, в сырость и темноту,— веселый марш и бодрый шаг. Все равно, если бы этого и не было, все равно, пришло сейчас взмахнуть рукой и, бросив в землю медяки, крикнуть безумное... и еще... и еще... Последний лоскут оторвало, понесло, закружило по снегу и конскому навозу, кто поднимет его?..

Место у трубы освободилось...

Только перед отъездом в деревню Ольга Степановна собралась в больницу к Хрущеву.

Веселый пустой коридор с нетерпением ждет звуков, а их почти нет. Зато, когда услышит, подхватит, поиграет и неохотно отпустит. Дожидайся, когда опять пройдут, заговорят или забренчат посудой. Поэтому радостно подхватил шаги Ольги Степановны.

— Скажите, в какой палате Павел Хрущев?

— А вот прямо и направо, в первую дверь.

По бокам коридора темные неподвижные двери, за ними другие миры, и дальше они от нас, чем те, которые плывут в бесконечном пространстве.

У дверей встретил любезный человек в халате.

— Я вас обязательно проведу,— и галантно пошел впереди, хотя и не знал, кто такой Хрущев и куда нужно вести.

Вокруг одинаковые, безликие, серые, в мягких туфлях, или еще — подушка, голова и одеяло с синей полоской. На одной постели оно прикрывало кого-то с головой. Когда Ольга Степановна прошла мимо, одеяло развернулось, из него быстро высунулась голова и плюнула вслед. Значит, лежал и подглядывал.

Дошла до подушки, на которой знакомое, неподвижное лицо и спокойные, сквозные глаза. Но нет ни брезентового пальто, ни капюшона, и к этому нужно привыкать. Постояла около. Поздороваться? А может, забеспокоится только и не ответит? У них свои слова.

Рядом старик священник тычется возле кровати и шепотком, обращаясь к невидимому, как привычную короткую молитву, шепчет:

— Сладенького... сладенького...

Хрущев молчал. Он протянул руку, и ему казалось, что в ладошку опять падает снег и медяки, мимо идут разные люди.

Наверху в окнах, где нет матовых стекол,— зелень и солнце, а через стены — усмиренный городской гул.

— Сладенького... сладенького...

Ольга Степановна так ничего и не сказала. Постояла около и пошла. Провожал ее все тот же услужливый. Указав на липовые ветки в верхних стеклах, он сказал мягко и нараспев:

— Tilia cordata.

А затем скороговоркой по секрету:

— Скажите нашим, что мы их скоро освободим.

И отошел.

И опять плюнул вслед прячущийся под одеялом, а скучающий светлый коридор подхватил ее задумчивые шаги.

Дома на столе письмо из Крезо. Мысль, как внезапный удар,— Женичка. А за спиной голос:

— Оля, это навсегда?

Оглянулась, стараясь владеть собой. В дверях Малевич. Повторил, указывая на раскрытый чемодан и разложенные рядом на кресле белье и вещи.

— Это навсегда?

Нет колебания, ответ готов. Подошла к нему, в руках письмо.

— Я оставляю здесь вот это нераспечатанное письмо из Крезо. Знаешь, здесь о ней, о дочке, маленькие, дорогие для матери новости. Так вот я не распечатываю его. Пусть ждет моего возвращения.

Малевич слушал и, не моргая, глядел в глаза. Затем, помолчав, сказал просто и тихо:

— Хорошо, я тоже буду ждать.

— Ну вот и отлично.

Опустилась на колени перед чемоданом и быстро стала укладывать в него с кресла белье и вещи. Знала, что Малевич все так же стоит за ее спиной, у двери, и следит за ее движениями. Почувствовала, что нужно сказать еще что-нибудь. Свое, о Женичке — после, наедине с собой.

— Люблю твою речь, Аркадий, скупая она, видно слова твои уходят в думы.

И вдруг обернулась к нему:

— Ну вот, теперь кончается наша физическая близость, но разве это все? Ведь от всего прошлого у меня только ты, да вот еще,— кивнула на конверт,— Женичка. Но она далеко, может забыть меня, наконец... умереть. Нет, конечно, только ты, остальное — сам знаешь. Раньше комната с умирающим генералом, потом эта оберегаемая тобой тишина. Она бережется не для себя, она я знаю для кого. Пусть так. Сам же ты там, в гуле машин, в работе.

Защелкнула чемодан и села на него. Отчетливо до боли вспомнилось: на диване в поезде маленькая в кудряшках голова и песенка про Буденного.

— Ты когда же едешь?

— Завтра. И вот что, не провожай, не надо. Попрощаемся здесь. Ты — на завод, я — на поезд. Хорошо?

Ждала ответа и смотрела на Аркадия, как он, наклонившись, гладит кота и как кот, приседая, выгибает спину. Наконец, после паузы:

— Ну что ж, попрощаемся здесь.— И, подходя к чемодану, предложил: — Помочь тебе увязать?

— Помоги, вот ремень.

Когда увязывали чемодан, вспомнила:

— А я ведь сейчас была у Хрущева.

— Ну и что?

— Там кончено. Он молчит, потому что сказал все. Спасибо за помощь.

Когда Малевич ушел, тяжело плакала над нераспечатанным письмом и мучилась вопросом: навсегда ли уезжает отсюда?

ГЛАВА VIII

— Для клопов белые ночи — вещь мучительная, у них глаза болят, а мне и на руку.

Уверенно сказал и быстро зажевал. Не так-то легко моченый сухарик съесть. Для того нижнюю челюсть нужно высоко подгонять к верхней, и от этого подбородок к носу лезет, а череп мечется под кожей, словно выхода ищет.

Совсем одряхлел дед. Говорит, а слушателей нет: тетка по хозяйству, а внук письмом каким-то занят, не то читает его, не то задумался.

Вчера вечером, в первый день после ее отъезда, долго ходил по кабинету, обдумывал, вспоминал и взвешивал, а сегодня перед уходом на службу решил распечатать и прочесть.

Размашистый почерк.

«Я поражен твоим письмом, даже не письмом, а какой-то запиской. Отчего ты решила отнять у меня последнюю отраду говорить с тобой на бумаге? Признаюсь, я сперва также решил прекратить переписку и долго молчал, но вот, как видишь, не выдержал. Гордость в сторону. Пойми, ведь я все же одинок. Дорогая Лотова жена, я уверен, что именно с тех пор, как ты обратилась в соляной столб, люди не могут жить без соли и вспоминают тебя каждый день. Здесь у всех русских вынуто нутро, а у вас только оно и осталось. Целого кушанья нет: либо оболочка, либо фарш, косноязычный сказал бы: фарс. Что вернее? Но мне скучно, тяжело и еще раз скучно. И вот я решил, вместо того, чтобы написать тебе, как ты разрешила, лишь в случае несчастья с Женичкой, сообщить тебе, что она здорова, весела и помнит мать. За все это ты должна быть мне благодарна и снять свое запрещение.

Твой бывший Лот».

Скучно, когда все молчат. Оттого проглотил наконец сухарик и спросил:

— А когда же вернется твоя жена?

Малевич положил на стол давно прочитанное письмо и ответил, обрывая слова:

— Она больше не вернется.

Отодвинулся от стола, но задержался вставать, отягощенный все той же думой и ожиданьем вопросов. Так и вышло.

— Не вернется? Это почему?

— Так лучше.

Больше дед не спрашивал и потянулся за новым сухариком, а тетка завозилась с очками и вдруг взволнованно:

— Мешаем мы тебе жить, Аркаша, оттого все...

В памяти промелькнул разговор с Петровым перед отъездом, и Малевич мягко перебил:

— Ну вот... что там... дело не в этом.

И в минутной слабости добавил, утешая себя и стариков:

— А впрочем, может, еще и раздумает, вернется.

Почувствовал, что хочет услышать хоть какой-нибудь ответ от них. Но старики молчали...

Когда уходил, услышал из передней, как тетка что-то говорит деду. Остановился и прислушался.

— Так как же, Николай Федорович, позвать человека-то клопов выводить?

— Да, пожалуй, надо. Спасибо. Только сами знаете, теперь ночи белые, они тихие, я могу и с ними...

Вздохнул тяжело и вышел из дому...

ЖДАННОЕ СЛОВО



У солнца и кур — одна повадка: вместе в пыли купаться.

Пухлая она такая, теплая и водой течет через пальцы без остатка.

Кажется, сам бы в ней разлегся! Только и здесь, под навесом, хорошо. Ветер — сквознячком ласковым наведывается, а вокруг — синева, хлеб да зелень. Дыши всем этим без торопливой жадности. Это перед смертью, говорят, не надышишься, а коли здоров — воздуха-то, добра этого, здесь на всех хватит. С затяжкой дыши, как хороший турецкий табак. И еще молчи. Даже если кто рядом сидит и говорит, как вот сейчас собеседник мой, забытый Аркадий Михайлович. Пусть себе говорит, перебивать не стоит. А слова его забираются в уши, как в грудь воздух. Труда это никакого не составляет. Впрочем, если не интересно, можно и о другом думать. Только не всерьез, а так, вразброд, о чем придется.

Вон как жаворонки песнями рожь поливают.

В лавочках иногда такие птахи игрушечные продаются. На незаметной ниточке-резиночке мягко так качаются. Вот и эти, живые, с неба на резиночке спущены. Звенят. И сколько их! И чем ближе к небу притянуты, тем поют задорней и громче. Радостно кому-то дергать ниточки, а кому — отсюда не видать. Подтянет и отпустит... и опять подтянет. Только ниточки тоненькие-претоненькие. Дрожит, звенит жаворонок и вдруг оборвется и бултых камнем в рожь — подавай новую резинку!..

А жаворонкова песня все та же, что сейчас, что вчера, что хотя бы при Батые,— простая, в летах неизменная,— чем выше, тем зазывней...

Вот, может, когда и кости мои уже истлеют и стану весь прахом — пылью для куриной и солнечной забавы, будет сидеть здесь другой, новый, которому еще не скоро тлеть предназначено. И на коленях у него книга толстенная с золотым обрезом, какой-нибудь там 24-й том. И солнце пробежит по буквам.

Читай, что ли!

И опять побежит по складам:

«Ве-ли-ка-я рус-ская ре-во-лю-ция».

А уж читана она, перечитана от корочки до корочки, а все занятно и все непонятно. Как это, как это так человечину ели, и тело ульем вшивым было, и враждовали люто?

В сытости да в чистоте и согласии всего этого никак не прочувствуешь.

И задумается тот, новый. А тут в самое нутро к нему как бы невзначай начнет ластиться жаворонкова песня, неизменная в летах. И забудется книга... А сквознячковым любопытством, как корявыми пальцами, будут перевертываться зараз по несколько меловых страниц — видать, что чтец нетерпеливый. А на тех страницах такие неповторимые люди, очень твердые люди, а в книжных словах, как в свежерасколотом черепе, дышит и дымится тревожный мозг их.

Эх, как сейчас оборвалось сразу несколько жаворонковых ниток, а сами они — камнем в рожь!

И вот снова начинают вползать в уши слова забытого собеседника, Аркадия Михайловича тож.

Звание его — бывший деревенский учитель, а теперь — ничего. Просто человек пожилой, добрый, бородатый, в синих очках, с виду умный, а на самом деле так себе. Забыл, что и знал. Сидит это он рядом со мной под навесом амбарным, сладкую травинку-тимофеевку жует и рассказывает. А я слушаю.

— ...Ведь вот умный был человек Василий Петрович, начитанный и, можно сказать, на глазах вырос, а вот поди ж ты — погиб. И совсем ни к чему. А собой был очень интересный мужчина и растительностью обладал в высшей мере. Это уж вместе с зыком унаследовал он от батьки. Тот, по-моему, как бы с Авессаломом сходство имел.

Был отец из диаконов и дошел до протоиерейного сана. Только вскорости, по неизвестной причине, стал невоздержан к вину. Вас тогда уже не было — уехали. Поверите ли — вспомнить жутко! Пил он как рыба — прямо-таки до остервенения. И любопытная была у него манера. Пил он только у себя на дому в одиночку, и как выпьет, так сейчас это начинал возглашать многолетие. А как дойдет до самой высокой ноты, то словно серчает, и ну — в окошки мебель вышвыривать! Жил же он, как вам известно, во втором этаже в доме, что супротив церкви. Место людное, и соблазну много. Приезжий какой пойдет на благолепие в церкви полюбопытствовать, и вдруг с неба вроде как рев носорогов:

«Мно-о-о-о-гая ле-т-т-т-а».

И сейчас это — ба-бах стулом или чем другим в окно. Просто пугал всех, особенно женщин, которые при интересе. Бывали даже преждевременные случаи.

И что вы думаете, этаким манером поет до тех пор, пока весь гарнитур не перекидает. Что с таким делать? Расход и на стекольщика и на столяра. Урон — как от пожара, и притом раз в неделю обязательно. Просто семейное бедствие, и все тут. Все же семья в конце концов приноровилась. Вот как это он заходит по комнате да заговорит сам с собой об твердости в вере,— это конек его такой любимый был,— так, значит, приспело. И уже у дверей стоят и слушают. Чуть что, сейчас матушка — рыхлая такая женщина — трясется к сыну в комнату:

«Вася, многолетие».

И тотчас же начинают выносить в садик все движимое.

Сдается мне, что отсюда у Васи-то, у сына-то, расторопность и сообразительность в натуре укрепились. Привык, знаете ли, действовать по плану, что после чего и как. Ценное и бьющееся — раньше, затем — прочее. И знал, как все это в садике ставить, на каком расстоянии от дома, чтоб от многолетий с полетами не пострадало.

Отец же Петр, как видел, что кидать больше нечего, тотчас же стихал и спать заваливался.

Да, если бы не это многолетие, был бы он батька, как теперь говорится, «что надо». Если бы вы только послушали, проповеди какие завинчивал,— за сердце очень убедительно хватал и всех прошибал.

Ивана Милягу, может, помните? — утонул еще потом. Не помните? ну что вы?.. Еще вот когда напивался, то как-то по-особому ртом чмокал, будто зуб сосал, и рука у него левая ходенём ходила. Страшный человек был, что и говорить,— чистокровный разбойник. Он на перевозе людей грабил и топил. Купчиху Марьину, например. И вот однажды призвал его к себе отец Петр, поговорил с ним и прошиб его словом. С той поры поклялся Миляга:

«Может, говорит, кого чужого еще и пограблю, а чтобы своего, да по мокрому делу,— а ни-ни».

И точно вышло, как поклялся,— только пить еще больше стал и вскорости утоп. И таких обращений немало было. Край наш разбойный — жаловаться не на что. Вот какой батька-то наш был! И как это выходит, что вино одинаково любит и злобство и добросердечие?

И звали мы его, нашего батьку,— праведный грешник: и бессребреник-то, и наставник, а уж насчет твердости в вере — просто морская скала. Если бы скалу эту самую вино не подтачивало, лучшего попа и не сыщешь, никогда не сыщешь. Бывало, отучишь ребят в школе и пойдешь к отцу Петру посидеть и пообедать. Вот, как садимся за стол, он и скажет:

«Ну, не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что из уст: дай-ка сюда, Васятка, графинчик, выпьем, Аркадий Михайлович».

Пьет, пьет, а потом и начнет:

«Одного лишь хочу,— скажет,— чтобы мучительство за веру обрести; оттого и пью, что не удается. Знаю, что в вере тверд и никакие силы адовы меня потрясти не смогут, недаром крещен Петром, что есть камень».

И всегда припомнит — раз в семинарии у них один оболтус усомнился, как это кит мог Иону проглотить, потому горло у кита, вишь ты, очень маленькое. А наставник-то их, старичок мудрый, и разъяснил:

«Маловерный,— сказал он,— если бы мне поведали, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, так и то не усомнился бы ни на секунду».

«Такой вот и я,— скажет, и руку в свое волосяное царство запустит.— Горю весь, хочу пострадать и даже во сне иной раз вижу, как в огне пылаю и псалмы пою. Жена говорит, что от вина, а я не согласен. И отчего это теперь гонения на церковь нет? Я бы доказал. А что бабы, которые из-за меня преждевременно... так ведь я с таких за таинство крещения ничего не беру и знаю, что многие им даже завидуют и нарочно многолетие мое ходят под окна слушать, чтобы испугаться».

Сам, значит, чувствовал свои слабости, однако объяснял их: будто кажется ему, что воюет с еретиками и побеждает словом и делом.

Да... так вот они и жили. Матушка всегда была настороже, а сынишка Вася был у них задумчивый, худенький, к тому же заикался и читал много. И звал его отец макаронной дыркой. Все же видать было, что мозги у него на месте и все в порядке.

И вот как-то обнаружилось, что Васятка сочинительством занялся. Матушка разбирала как-то его столик и нашла две исписанные тетради. Она их к отцу и отнеси. Тот ознакомился и зовет к себе сына. Помню, тут же мать сидит и рекой разливается.

«Это что такое будет?» — спрашивает и на тетрадку показывает.

«Р-р-рассказы».

«Чьи?»

«М-м-ои».

«А это что?» — берет другую тетрадку.

«Стихи».

«Чьи?»

«Тоже м-мои».

«Ну, так вот что, слушай ты, макаронная дырка, как отец говорю — брось, потому в этом одна гордыня и мысленный блуд. У тебя же и этого нет, а одни только фитюлькины ходули».

И наложил на него отец единовременную эпитимию в сто пятьдесят земных поклонов, а на будущее установил норму: за обнаруженный рассказ — без обеда и тридцать земных поклонов, а за стихи — порка. Впрочем, последнее сказано было только для устрашения. Однако Васятка-то упористый оказался, голодает, а все свое, голодает, а все свое.

Мать слезами умывалась. И то сказать: было одно горе — многолетие, с ним уж кое-как пообтерпелись, а теперь вот еще и новое — сочинительство. Известное дело, от него всякие мысли в голове бродят, и все больше вредные. Так оно впоследствии и вышло.

Однако батя был добрый человек. Увидел он, что нормы не помогают, и надумал: призвал к себе сына и говорит, чтó говорит — об этом мне сам Вася потом рассказывал.

«Вот что, Василий, жалко мне смотреть, как ты отощал; однако ты уже не маленький, и по себе знаю, сколь сладко во что-нибудь верить. Выходит, что наказание тебе сладостно. Вот я, например,— пьяница, вроде Ноя, но хуже, потому что с уклоном к запою. Однако если бы меня от вина отрешили, а потом, спустя некое время, когда взалкал бы, спросили: «Петр, хочешь водки?» — и шкалик на стол...— потянулся бы и сказал: «Хочу».— «А ты отрекись». Так я глаза бы себе вырвал да в шкалик и положил бы — накось, выкуси! Да что говорить, знаешь ты меня. А речь свою веду вот к чему. Скажи мне, братец, убежден ли ты, что дело делаешь и тайну какую-то свершаешь, вроде как я за обедней? Если уверен,— добро тебе, и знаю тогда, что сочинительства не вышибу из головы, потому кровь у нас одна».

А Васятка-то, сын-то, заикается, а отвечает:

«Этто в-в-ерно. Н-н-и г-голода, ни др-р-у-гго-го чего н-н-е ббоюсь, н-н-о все же ннельзя ли, ппап-па, и з-за стихи т-тоже т-только б-без обе-еда?»

Ну, поп махнул рукой, простил и писать разрешил, а сам после этого беспредельно многолетием занялся.

И попутал его тяжкий грех. Вышел это он в воскресный день к народу с чашей, покачнулся и дары на пол опрокинул. Все, кто был в церкви, словно вздохнули сразу и очень перепугались, даже кашлять перестали — вот до чего. А отец Петр сразу протрезвел, ушел в ризницу, снял облачение и тихо так домой поплелся.

Здесь пришел конец нашему грешному праведнику. Приехали какие-то, судили да рядили. То место на полу каленым железом выжигали. Конечно, уж с батей нашим, наверное, не по-

церемонились бы и по крайней мере отрешили и сослали бы в заточение.

Жалели мы его очень. Только принял он в ту пору кончину необычную и даже как бы не по-христиански. Забодал его просвирнин козел — Кузька. Старый и страшно злой был козел, и притом чересчур духовитый. Так вот он и не допустил до христианского обряда. И ведь как странно. То всегда батька пил у себя на дому, а то вдруг пойди вниз на улицу да и встань там на четвереньки. Косматый такой, с бородой до земли и в сером подряснике. А навстречу Кузька. Что уж ему, Кузьке-то, представилось — не знаю, но как увидел, возмутился очень, разбежался да со всего маха и вдарь в протоиерейный бок,— аж что-то вякнуло, а после и начал топтать, и начал топтать. Много ли старику нужно? Пока прибежали да вытащили, видать было, что не выживет. Только и сказал пыльным ртом:

«Какая вонючая смерть».

И скорбя с тем и умер. Вася был тут же.

Говорит дальше Аркадий Михайлович, но я опять не слышу его, и нет уже спокойствия, потому что о тебе сейчас вся моя дума, и для тебя мои крылья, протоиерей пьяненький... И теперь всегда, когда оборвется в небе тоненькая ниточка, буду вспоминать тебя, тоскующего о делах нечеловечьих и лежащего в пыли деревенской, черной от крови и муки твоей. Слышу, как цокают пьяные губы Ивана Миляги, вижу, как ходенём ходит рука его, речного душегубца, одного из усмиренных нехитрым словом твоим. Мир тебе и цветы...

— Аркадий Михайлович, вот вы все об отце Петре вспоминаете, а начали-то с сынка его, Василия Петровича. Еще говорили, что погиб ни к чему. Припомните-ка,— вот, значит, с вас и причитается рассказ о Васе.

Поправляет очки Аркадий Михайлович.

— Нет, как же, как же, помню, очень хорошо помню, память-то у меня еще, слава богу, не вся закисла, не поймаете.

Раньше, когда приходилось ребят учить,— тоже вот так урок закруглять было надо. С чего начнешь, тем и кончишь. Это первое правило. Иначе толка не будет.

Так вот Вася-то и рос у меня на глазах, и грамоте у меня учился, и был он, как видите, послушный и тихий. Знал я, конечно, что и стихи пишет,— приходил, их мне показывал. Только что ж я-то? Стишки как стишки: о солнце там или речке. Ничего себе стишки — тоже тихие, как и сам он,— дело, конечно, пустое.

Но хотя заикался, а читал их трогательно. Даже удивительно: если запнется — выходит, словно так и надо. И слово от

этого как-то крепче делается. А сам он словно силился сказать в них что-то особенное.

«Все, говорит, хочу, Аркадий Михайлович, слова найти такие, чтобы за живое взяло и вас, и всех, чтобы вот вместо слов само солнце в них сверкнуло, или чтобы вот речка зажурчала. Как это сделать, Аркадий Михайлович?»

А я что? В словах не богат — простые у меня все слова, как скамейка, на которой мы с вами сейчас сидим. Ты бы, говорю, Вася, с кем-нибудь серьезным посоветовался.

«Нет здесь таких, Аркадий Михайлович».

И станет таким грустным, что даже жалко его.

Так вот и рос Вася, и вырос, и женился. Учительница тут, которая меня сменила. Веселая такая девушка, обходительная и с лица ничего. Только вот книжки раздавала крестьянам насчет земли и прочего. Мне одна попалась — так я ее при закрытых ставнях прочитал и в огонь бросил: боюсь я этого. А потом и говорю Васе:

«Ну, брат, и нашел ты в лесу леса — мало ли у нас девиц, а эта хоть и приятная, а все же с изъянцем, и попомни меня — могут быть тяжелые семейные последствия в политическом отношении».

Куды там! И высказал здесь Вася огромное упорство, вроде как тогда с сочинительством. Нечего делать, повенчали их. А власти словно того и ждали: в самый медовый месяц забрали их обоих и увезли. Только и видели. Мать Васина вскоре после того умерла с горя, а может, и с голода...

В ту пору события тяжеловесные разгрохотались! Пронеслись и по нашим местам и многих захватили с собой — больше все в места злачные, в места покойные. Пришли новые, а старые, которые сохранились, как вот я, сидели и глазами только хлопали, что совы на дневной свет. Потом их родные поставили в различные очереди и, кроме того, заставили выбирать. И кого только мы на старости лет не выбирали! И вместе, и порознь, только все больше неизвестных. Потом голодали, хлебец ели вроде молодого ежа, но без пользы, и очень об соли скучали. А теперь вот вспоминаем всякое, что еще в памяти сохранилось.

Вот однажды иду я ордер на что-то брать, смотрю — что такое? Сидит за столом Вася и не Вася — весь кожаный, и револьвер сбоку; видать — деляга и распоряжается по порядку. Увидел меня, обрадовался, как родному, и пообещал:

«Я к вам обязательно, Аркадий Михайлович, приду чай пить».

И точно — пришел. Потом надо мной соседи долго смеялись.

«Аркадий-то Михайлович с коммунарами якшается, поди и сам в партию заявляет».

А какой Вася для меня коммунар? Даже не Василий Петрович, а просто Вася-заика, макаронная дырка — и все тут.

«Ну как стихи?» — спрашиваю.

Рукой махнул:

«И стихи, и жену, и многое другое забыл — работы много, не до того — новую жизнь строим, другие мысли».

И понял я из разговоров с ним, что коммунист он правдивый, не маргариновый, потому так выходило, что вступал он в партию, когда опасность ей угрожала, а как партия крепла, так ссорился и уходил из нее.

«А что, разве и сейчас есть опасность?» — осторожно так спрашиваю.

Но он сразу уклонился.

«А когда ее нет...»

А все же чудной стал Васятка, говорит — глазами блещет, руками машет, только куртка новенькая, кожаная мягко так поскрипывает. Заикаться стал меньше и вообще как-то весь вырос, пополнел и на отца походить стал и голосом и растительностью. Что и говорить — привлекательный был мужчина.

Вот это он рассказывает, а сам ищет, обо что бы папиросу зажечь; увидел лампаду, потянулся и закурил.

Я промолчал, конечно, а после потихонечку лампадку и задул. Через некоторое время снова оглянулся Вася, ничего не сказал, но видать было — сообразил.

«А что, спрашиваю, слов теперь тебе не занимать стать? Нашел, какие нужно?»

Замахал руками:

— Ах, что вы, Аркадий Михайлович, разве это найдешь? Теперь больше, чем когда-либо, это чувствую. Бывает, приходится речь говорить,— так вот и кажется, что сейчас скажешь какое-то особое слово, и все объяснится, и всех зажжет, а вместо этого такие удобные слова подвертываются, иногда поближе к сути, иногда дальше, а все не то, не то. А ведь есть такие слова, Аркадий Михайлович?

— Кто их знает, может и есть!

Принес он тогда с собой спиртику, больше чтоб меня побаловать, и просидели мы с ним почитай что всю ночь.

К утру прощается, усмехнулся так и говорит:

«А помнишь многолетие?»

И сам вдруг против своей воли серьезный сделался, а я даже вздрогнул. Так вот и встал передо мною отец Петр.

И неловко мне стало хмельному да с коммунистом о покойном его отце говорить. Ведь все же как-никак, а священнослужитель был.

И он это понял.

«Так вот, Аркадий Михайлович,— задумчиво так проговорил,— есть такие слова»,— понурился и пошел.

И не знал я, что сидел с ним за одним столом в последний раз. Потому к утру вдруг ясно стало, что белые близко и утекать надо. И стали утекать. Суетня, как полагается. Скачут, везут чего-то на возах, как будто и лишнее, например, фигуру — мраморную из помещичьего сада, а на ней красный бант. Ну, к чему это?

Мотор даже откуда-то появился, фырчал и мотался по нашей пыли, она, сердечная, кроме телег да лаптей ничего до сей поры и не видывала.

С вечера затрещали, застукали. Потом все затихло, а на другое утро пожалуйте — новая власть.

Я как вышел на улицу, так сейчас же меня казак остановил и пограбил маленько.

И стали белые ловить красных. А еще вчера было наоборот. Жуткие это пятнашки! Кого запятнают, тот больше не игрок!

Прохожу я в тот же вечер недалеко отсюда, где мы сидим, и вижу, люди копошатся и мастерят что-то. Постоял, посмотрел и понял. Даже в спину жуть ударила,— не иначе как виселицы ставят. Мне всегда раньше думалось, что они, виселицы, вроде гимнастики, которая в школе,— так там здоровые столбы, а тут, оказалось, жердочки.

«Зачем это?» — полюбопытствовал.

«Завтра коммунистов вешать будут,— приходи, борода, смотреть!»

И точно, к утру уже все знали, что вешать будут, и народу навалило, словно масла обещались выдавать по дополнительному купону.

Пошел и я, хотя и не по себе как-то было, и знакомых все сторонился. Запоздал немного и пришел к самому началу, потому уже привезли их. Кругом казаки, и народ кольцом твердым. Тихо так все стоят, словно тогда, когда отец Петр дары опрокинул.

Всего трое. Один все в сложенные ладошки дул, словно на морозе. А день был как сегодня. Другой же краюшку грыз и глазами шнырял, видать, с жизнью еще не простился и удрать надеялся. И вдруг закричал один казак: «Держи, убегёть».

А он под руки казаков да в толпу, только куда же — разве расступятся?

Немножко позапыхались и привели назад. Тут сразу все заговорили, и как-то легче стало. Этого первым и вздернули. И вдруг — как в глаза что ударило — третий-то Вася! Стоит и прямо на меня смотрит, словно сказать что хочет. Даже руками взмахнул, но понял я, что ничего он не видит, кроме чего-то своего.

Когда накладывали на Василия Петровича петлю, он хотел что-то крикнуть и повис — видать, ловкий палач попался.

Да вот еще из толпы мужчина какой-то подошел, повертел труп на веревке и звонко так ударил по щеке,— видно, счеты какие-то сводил, и сейчас же кто-то крикнул:

«Не надо!»

Потом пошли по домам чай пить: в эти часы у нас всегда чай пьют; хоть и умаленье сахарное, а все же. Так уж заведено. Пойду и я сейчас, а то старуха моя браниться будет, что самовар остыл. Может, вместе пойдем?

Встали и пошли, но уже молчали...

Вот где-то здесь близко вешали Васю. И никто не скажет, что мерещилось ему в эти исходные минуты. Отец ли, распятый на дороге, со скорбными, пыльными губами, и там, в небе, жаворонки, звенящие неизменную в летах песню, чем выше, тем зазывней, а может, пришло к нему, наконец, жданное, страшное, испепеляющее слово, и хотел его радостно крикнуть всем, но не успел и высунул людям мертвый язык свой.

БОЯЗНЬ ПРОСТРАНСТВА

Тш-ш-ш-ш.

Тишина в ушах шипит. Начальство на заседании, дела нет, сиди и размешивай в носу пальцем. Из углов пасюки пошли. Подлый зверь. И зачем такая тварь понадобилась? Близорукость и необдуманность творившего.

Говорят, они часового у калашниковских амбаров поглотили. Шли на водопой, а он испугайся да и стрельни от душевного потрясения. Так они его вместе с ружьем, без остатка. Шутили потом, будто от военной службы удрал. Хороши шуточки! Да, не ценили людей царские сатрапы, не ценили, потешались, вот и их тоже, без остатка, как часового. Пожалуй, к лучшему.

Еще один вылез, напротив уселся. Здрасте, только вас здесь и не хватало! А и здоровый же, без малого целый кот. Эх, если бы незаметно взять палку да палкой по ноздре. Не сиди, не нюхай нахально! Наверно ты и мандат у меня вылущил? Обжора. Только печать и оставил — должно, ядовитая. А то еще утром в столе, что такое? Кость обдрипанная. Их дело. Батюшки, этак ведь они и ноты мои сожрут!

В письменном столе глянцевитые произведения. На них любовный взгляд. Музыка на стихи того же автора для всех случаев жизни. Заглядеться можно! «Под кустом я сижу одиноко», «Исполаэти деспота» и прочие. Очень помогает, если, например, в дар подносить с учинением надписей: «Искре божией от робкого созерцателя».

Или гуще: «Любимому и незабвенному титану на память об ничтожестве».

Недавно начальство новое прибыло, еще на вокзале поднес: «Я ждал тебя».

Поразилось и благодарило.

А ведь если так, по простоте, кто взглянет, нипочем не догадается, что поэт и композитор. Скорее даже пойнтер старый: и щеки отвислые, и шишка на голове, а в глазах преданность. Из

волос же только усы. При ходьбе к стене прибивает. Иной раз спросит кто:

— Чего это вы, Матвей Карпович, как муха, по стенке движетесь?

Не прерывая хода, разъяснит с достоинством:

— Боязнь пространства, давно хвораю.

И пройдет.

Перед тем как к начальству войти, манишку, редкость этакую, перед зеркалом выправит, а затем приотворит дверь и пенснэ на разведку пустит. Коли махнут — тогда по стенке, быстро, быстро, к начальственному уху и прорыдает тихо:

— Папочку вот принес... на подпись...

И тотчас же обратно, задом на дверь.

Испытанный прием — почтительность — превозможет всякое. Недаром и кличку приобрел — Тишайший.

Еще начальство прошлое, царство ему небесное, внушало:

— Запомни, Матвей Карпович, что такое секретарь. Это ласковый человек, торгующий именем своего начальника.

И потом еще:

— Запомни, Матвей Карпович, никогда не делай такого, что нельзя было бы стереть.

Запомни. На «ты» иногда ласкал дорогой покойник для интимности, а какой размах был! Недавно расстреляли.

И ведь как мельчают люди. Взять хотя бы новое начальство. Сразу видать — гибель культуры. К нотам безразлично, само как лед, а к работе люто. Служащие прозвали бумажным тигром, а в общем одобрять начинают. Роковая наивность с их стороны — не больше. Вчера повел губой в сторону и цедит:

— Вы бы, товарищ Алютин, входили как человек, а то неловко даже, будто в Скинию Завета без разрешения. Вы попроще.

А как попроще? Очень трудно попроще-то. Теперь на дверях надпись крупная:

«Входи смело».

Ясно, что бессердечный человек.

Тш-ш-ш-ш!

Пасюки зверь чуткий, насторожились вдруг — и по дыркам. А в дверях сам.

— Здравствуйте, товарищ Алютин.

Взметнулся из-за стола, но вспомнил: «вы бы попроще» — и обратно втянулся. Только и произнес с достоинством:

— Чем могу служить? — И ящик с нотами задвинул.

А сам уже из кресла сквозь зубы цедит:

— Нам слуг не надо, не на себя работаем. Два дела к вам. Первое — прошу вас впредь не распоряжаться от моего имени,

а второе — сообщите по отделам об обязательной прививке оспы по алфавиту, завтра придет доктор.

Сразу два удара. Хоть первый и тяжелый, а перед вторым — ничто. Едва произнес: слушаю-с, а потом с надеждой робкой:

— Может, позволите сообщить, что можно и через рубашку? — И взглянул преданно.

Да что, гляди не гляди, все одно, эдакого глазом не прошибешь. Знай себе цедит, как пиво.

— То есть что это через рубашку?

— Да вот прививку-то. Все же холодновато, к тому же женские скромности и прочее.

Прервал сухо:

— Ну что вы городите! Кто ж это оспу через рубашку прививать станет? Ерунда! Так вот объявите.

И вышел.

А на каблуках резиновые набойки. Практично и мягко для спинного мозга, надо бы себе такие же. Ну и человек, мустанг необузданный! Но боже мой, боже мой, напасть какая! Вот уж не знаешь, где споткнешься. На какой-то прививке. Завтра рубашку пожалуйте прочь, а как грудь обнаружится, так и конец.

И заметался по комнате, как пасюк. Потом вдруг дверь на ключ — и к зеркалу. Пиджак долой, жилетку тоже, левую подтяжку назад отмахнул и рукав с плеча. Отразилось все то же и на том же месте. Знакомо. Под сердцем цветной портрет улыбающегося самодержца всея России, и притом по всем правилам татуировки, на веки веков, аминь. Осторожно потрогал рукой, как только что заболевшее место.

«Завтра по алфавиту... Алютин... никуда не денешься. Погубят в единочасье и ноты конфискуют...»

И задумался горько, разглядывая портрет. Самодержец улыбался.

«Ну кто, кто мог бы подумать, что дрогнут устои? Слово-то какое? Устои! Обеспеченная навсегда неподвижность и вдруг — мыльный пузырь! Нет, нет, сгубили себя и всех, а теперь вот и меня...» — Развел с печалью руками, одной в рубашке, другой так, и стал одеваться.

По отделам бродил по стенке смертником, объявлял о прививке, как о конце мира, а в одном делопроизводстве ошибся и даже, показалось, внес подозрение. Сорвалось как-то неожиданно:

— Завтра татуировка,— и голос дрогнул.

— Что такое? — остановились костяшки на соседних счетах.

Спохватился и успокоил галантно:

— Не бойтесь, это всего только шутка и аллегория, на самом деле один прокол оспенный, и то по алфавиту.— И еще тоном

администратора: — Не бойтесь, картинок на коже делать не будем.— Сказал и почувствовал на груди под сердцем портрет. Смотрит самодержец через рубашку и жилетку на свет советский и улыбается. Прикрыл его сверху рукой.

— Ах, прививка, а я думала, действительно татуировка,— и наклонилась с интимностью.— Знаете, мосье Алютин, ведь с них всего станет. Конечно, какую угодно картинку и на каком угодно месте прикажут, наколем и краску вотрем. Ах, это смех сквозь слезы, терпеть надо, злее будем. Ведь так, мосье Алютин?

Кивнул ей головой, чтобы отвязаться, а сам глазами всех испытал, не заподозрил ли кто-нибудь неладное насчет татуировки.

Когда домой собирался, опять припомнились слова дорогого начальника:

«Никогда не делай такого, что нельзя было бы стереть».

И прошептал, надевая высокие галоши:

— Да, царство небесное, умница был, все предвидел, а какой размах!

Галоши одевались туго. И вдруг осенило.

Так вот же, остался еще один советчик и друг — Андрей Семенович, он подскажет, в чем спасение, только бы дома застать.

И уже на лестнице закладывал шарф и застегивал пальто.

Черт с вами, улыбайтесь, дорогие читатели! Вам-то что? Для вас это всего шуточка — не больше. У вас под сердцем нет никаких наружных неприятностей. Вот вам и смешно. А что заговорили бы, если у вас было то же? Здесь же трагическая завязка, в основе которой лежит юношеское легкомыслие и роковое знакомство с китайцем, живущим и посейчас в том же доме на Ждановке, где квартирует и Матвей Карпович.

Некогда, за недорогую плату, этот китаец искусно раздраконил под левым соском Тишайшего несмываемый портрет. К такому поступку имелись несомненные и беспроигрышные соображения.

Да и кто знал, что революция, родившая свободу, лишит Матвея Карповича, и притом навсегда, любимого банного удовольствия? А ведь всего только хотелось ради задора обозначить даже в бане свои верноподданнические чувства, ибо, как известно, в предбаннике остается все, что сеет и обостряет классовую вражду.

Иной раз спрашивал банщик:

«Дозволите и их умыть?»

И всем соседям было ясно, о ком идет речь. Матвей же Карпович или снисходительно кивал, или же говорил:

«Дерзай».

И подставлял левую грудь, а банщик осторожно мылил.

Однажды, как сейчас помнится, подошел с другого конца бани человек с большими жировыми отложениями, постучал двумя пальцами по голому плечу Матвея Карповича и сказал одобрительным басом:

«Радейте и впредь, молодой человек. Побольше бы таких, как вы».

На что лысый молодой человек, почувствовав, с кем имеет дело, ответил, из почтительности прикрывая рукой некоторые части:

«Поражен, что даже сквозь банный пар проникает государственная зоркость вашего высокопревосходительства».

И точно, не ошибся в титуле. Впоследствии оказалось, что подходил ни много ни мало — тайный советник.

С тех пор охотно допускал он Матвея Карповича париться поблизости от себя и отмечал беседой.

Кроме банных утех любило еще его высокопревосходительство канареек, обученных петь под дудочку, о чем как-то проговорилось, и однажды было премного обрадовано поднесением в предбаннике клетки, в которой сидел отменный кенарь. В клетку была вплетена записочка, а на ней значилось:

«Прими, вельможа, в дар любимца и певца Авроры.
Егоровские бани, января 19-го дня 1917 года».

«Дозвольте донесу»,— предложил Матвей Карпович и, приняв клетку, в целости доставил ее до квартиры.

Отсюда благоволение и дальнейшая снисходительность его высокопревосходительства и по сие время. К нему-то сейчас и поспешал Матвей Карпович, так как революция на этот раз пошутила, и тайный советник уцелел не иначе как по недосмотру.

То, что он посоветовал Матвею Карповичу, было поистине изумительно.

— А что, обидчик твой жив?—спросил он угрюмо.

— То есть кто это?

— Да специалист-то по накожным, китаец-то твой?

— Ах, как же, как же! Что ему делается? Китайцы, сами знаете, народ живучий, не мы с вами. Все пережил, паршивец. Теперь до того обнаглел со своими трещотками, что, как увидит меня, хихикает и на грудь кивает.

— Так вот заставь его, подлеца, лик переделать.

У Матвея Карповича от умственного напряжения сразу запотела вся голова.

— Извините, Андрей Семенович, я что-то плохо понимаю вас.

— Чего тут понимать? Вознаградн и предложи отпустить бородищу, как у Маркса, или очки, как у Калинина, ну, конечно, подровнять там кое-что, и дело в шляпе. Тебе все равно деваться некуда. Плохо, конечно, если, например, реставрация: больше уж не переделаешь, придется по цензурным условиям либо зачернить все, либо грудь вырезать.

Сказал, словно осенил. Восторг и преклонение. Вот что значит государственный муж! От радости мо́жно даже всхлипнуть.

— Ну как не сказать, Андрей Семенович, что мыслитель вы и воистину тайный советник! Как благодарить мне вас?

Усмехнулось его высокопревосходительство и сказало:

— Ну что там! Вижу, что догадки в тебе мало, размаху нет, заела тебя твоя боязнь пространства. Лечишься?

— Леченью не поддаюсь.

— Сожалею. Но вот что скажу тебе, братец, по дружбе, откровенно скажу: не приноси ты мне, пожалуйста, этих нот своих, осточертели, ни к чему они. Петь я не пою, на то кенарь твой существует, да и не время теперь для сольного пения.

Тут Андрей Семенович протянул руку и, сказав: «Слышишь?» — прекратил разговор.

На окне заверещал кенарь.

Матвей Карпович делал вид, что тоже слушает, но на самом деле был в смятении. До сих пор никто так не говорил, все только благодарили и хвалили, и вдруг такое откровение и от кого?

Кенарь верещал. То ли припомнилась ему последняя жена, то ли разглядел он наконец картину, на которой резвились нимфы, и теперь, уставившись на них одним глазком, торопился поделиться своими впечатлениями. Картина висела недалеко от клетки под железною трубой и прикрывала собой черные следы времянкиных слез. Матвей Карпович не видел и не слышал всего этого. Есть больные места, которых лучше никогда не трогать. Стоит ли, например, говорить отцу невесты, что она уродлива? Запомнится навсегда не нужная никому обида, только и всего. А хозяин дождался, когда кенарь неожиданно остановился, и продолжал:

— Да и скажи по совести, ну какой ты композитор! Скажем прямо: кенарь насвистанный. Так? Стоит ли тебе с птицей тягаться? К тому же обложки у тебя какие-то нелояльные — «Исполаэти деспота», ну что это? Не ровен час, увидят, истолкуют по-своему, припомнят все и повлекут.

Слова Андрея Семеновича проскакивали через улыбающегося самодержца и до крови ущемляли тишайшее сердце.

Тут опять заверещал кенарь, и Матвей Карпович встал.

— Я приносил вам,— начал он, но был зна́ком остановлен и смолк.

— Тс-с, помолчи!

Слушал стоя и, когда кенарь так же внезапно, как начал, оборвал свое пение, повторил:

— Я приносил вам, ваше высокопревосходительство, самое драгоценное, так сказать, музыку моей души, не обессудьте. Сам знаю, что талантом не велик, однако имею отзывы.

Попрощался с горечью и вышел, решив про себя: «Прощай навсегда, бывший советчик и друг, больше к тебе не ходок».

Поздно вечером китаец сделал все, что надо. Распустил по груди Тишайшего буйную бороду, лопотал «шанго» и еще что-то. Матвей Карпович даже не посмотрел.

Шанго так шанго, если и обновляюсь, то только ради семьи, чтоб не осиротела. «Эх, Андрей Семенович, Андрей Семенович! Растоптал ты самое дорогое, вырвал козырь жизни и не приметил. Так-таки и сказал запросто: «больше не приноси» — и все тут. Неужто же на самом деле так плохо? Ах все они такие бессердечные, царские сатрапы!

По-видимому, Карл Маркс начинал действовать.

В эту ночь от обиды даже спалось плохо, а на прививку пошел с безразличием. Когда у доктора стал раздеваться, тот изумился:

— Стойте, батенька, чего вы? Это ведь вам не баня! Рукав, батенька, задерните кверху, и вся недолгà.

Когда уколы были сделаны, спросил у доктора, разглядывая желтое застиранное пятно на его халате:

— Только и всего?

— А вы что, батенька, думали? Кость здесь, что ли, распиливать будут? Пожалуйста, следующий.

И хотя доктор уже не слушал, сказал ему в спину:

— Нет, я ничего не думал... я так... благодарю вас.

И пошел прочь.

«Эх, знать бы да ведать, все осталось бы по-старому: и дружба, и композиторство, и портрет».

По коридору тянуло эфиром.

В этот день, как бы невзначай, бросил нескольким сослуживцам:

— Ухожу в партию.

На что один съязвил:

— Чего ж у вас такие печальные нотки, будто из мира в монастырь уединяетесь?

При слове «нотки» съежился и почувствовал жалость к себе.

Другой же задиристый юноша поддразнил:

— Куда вам? У вас боязнь пространства, с такой болезнью в партию не принимают!

Захотелось утереть нос мальчишке, и шепнул таинственно:

— Ну-те-ка, заприте-ка на минутку дверь.

Когда полюбопытствовали и заперли, скинул рубашку и предложил:

— Взгляните-ка, молодой человек, что это такое?

Тот взглянул и сказал с усмешкой:

— Не знаю.

Эх, развихлялась нынче молодежь, нахалит!

— То есть как это так, не знаю? Стыдно вам своих вождей не знать.

— А очень просто — не знаю и все тут. Ежели вы на Карла Маркса намекаете, так виданное ли это дело, чтобы носил он шапку стрелков его величества и еще улыбался при этом?

Матвей Карпович не проверил сказанного, быстро оделся, подошел к двери и долго возился с ключом. Наконец, не оборачиваясь, попросил беспомощно:

— Выпустите же меня.

Когда брел по стенке к себе, остановился вдруг, плюнул с чувством и сказал неизвестно про кого и зачем:

— Пасюки!

Все же, на всякий случай, оглянулся и сердечно обрадовался, что в коридоре никого нет. Здесь ни с того ни с сего пришли на ум слова Андрея Семеновича:

«Вот и дело в шляпе, тебе все равно деваться некуда».

И впервые за всю жизнь осмелел до крайности и, еще раз оглянувшись, подумал вслух:

— Действительно, в шляпе. Чтоб у тебя канарейка сдохла!

Все же спохватился и добавил по статуту, но жалобно:

— Ваше высокопревосходительство.

В кабинете пасюков распугал. Оказалось, что разъели они в эту ночь «Исполаэти деспота», махнул рукой, пусть грызут, и, желая задвинуть ящик с нотами, пхнул в него ногой.

Вот, кажется, и все. Впрочем, можно добавить, что недавно ходил я к Матвею Карповичу на Ждановку и не нашел. Исчез он. Не иначе как окончательно запугало его пространство.

КИРИЛЮК

Как изволите сами усмотреть, сейчас очень трудно оставаться, так сказать, материализованным существом. Как я вычитал из разных газет насчет спроса и предложения, понаслушался всякого и поразмыслил,— так и открылись мне чрезвычайные горизонты.

Выходит по всем соображениям, что денежная единица не сообразуется со спросом моего желудка. А единицы эти добывать — ох, как трудно,— не так, как раньше.

Особливо еще когда в начальной школе обучались. Тогда папенька мой давали мне за них дранцы.

Теперь же целый день толчешься по мере сил, а отверзается по малости. Да и угождать трудно,— все как-то не в тон выходит, а это вредит.

Уж больно хитро все. Стараюсь я, дабы не погибнуть, ухватиться за все понятия сразу, но разве ухватишься?

В прежнее время, когда в лакеях служил, так и то сколько времени нужно было, чтобы ко всем привычкам в доме присноровиться: и то не так, и это не так.

Известное дело, буржуазные тираны. Впрочем, в крайности уйти можно было.

А сейчас куда пойдешь? Страна-то целиком, слава богу, изменилась. Одних названий новых столько, что никак не запомнишь. Оттого в поисках светлых путей худоба и оскудение мысли.

Позвольте спросить вас, где вы служить изволите? В Главрыбе? Это что же такое за учреждение?

Ведь вот, к примеру, ваша Главрыба: раньше такого сорта рыбы и не потребляли, а нынче целое учреждение. Однако понимаю, что безвредное.

Так вот, товарищ Главрыба, затосковало мое пролетарское происхождение. Надумал я записаться в партию, чтоб идти, как говорится, в ногу со всем честным мировым пролетариатом. Сознаюсь, что в душе всегда стоял за угнетенных. Однако при окончательном решении воздержался.

Благодаря сновидению. Во сне как-то, знаете, точно кто подтолкнул меня и говорит:

— А что, Кирилюк, если неприятность какая с пролетариатом выйдет и барыня твоя в Россию возвратятся, соизволят ли они, твоя благодетельница, на тебя посмотреть? Нет, конечно, просто разгневаются и прикажут с лестницы в три шеи гнать.

И стало мне очень не по себе, и решил я с партийностью обождать.

Вот и бедую.

Однако еще недавно мог бы быть богат и знатен, как ненавистный всем нам Кочубей. Это по стишкам так раньше выходило. Слова здесь, конечно, слава богу, умершие, но по всей справедливости зависть и недовольство всегда в людях возбуждали.

Вы как на этот счет думаете? Однако, точно, смалодушествовал и вступил на правах безденежного компаньона к одному знакомому пчеловоду. Отработай, говорит, свое и получишь пай в деле. Дело же чистое и очень доходное. Согласился.

Работищи на меня сразу навалили, как на лошадь — сверх всякой нормы. Попал, значит, в лапы к пауку: сосет мою кровь и улыбается. Вот я во благовремение от греха и ушел. Осенило меня, знаете ли, как-то. Что я делаю? Чем служу? Перво-наперво выходит, что это чистая эксплуатация насекомых, которые трудятся, а во-вторых, как вычитал я и узнал, пчелы-то эти самые тоже не что иное, как взятки берут.

Это по всем старым пчеловодствам черным по белому написано.

Ну, знаете ли, ежедневно говорить такое слово и слушать его от других мне не пристало. Да и опасно, что и говорить.

Вот обдумал я все и, как граф Лев Николаевич Толстой, ушел. Ушел без спроса и не делая никаких предложений.

И ничего тут смешного нет. Вникните только, с чего они, пчелы-то, взятки берут?

Ведь и цветы тоже общественные. Выходит, что этими вот, простите за слово, взятками паразиты от паразитов питаются. Вот то-то и оно.

Но тяжело жить, товарищ Главрыба, ох, как тяжело.

В прежнее время откроешь это на звонок дверь:

— Дома, пожалуйте,— потом так же честным манером проводишь, и в ладошке есть уже некая теплая благодарность.

А гостей завсегда много. Особливо в те дни, когда у нас столоверчением занимались и духи бесплотные сходили к ним для дамских разговоров. Дурманили, значит, себе головы властелины наши проклятые. Иной раз и мне приходилось заместо духа потихоньку помогать приглашенным господам шарлатанам, и очень я всегда угождал им. Частенько говорили мне:

— Ты, Кирилюк, воистину материализованная шельма,— вот тебе рупь на чай.

К себе переманивали, только я уклонялся. По тем временам положение их было шаткое.

Теперь это уже и совсем не требуется. Нужны другие пути.

Недавно вот пытался нанимать старушек; лики, знаете ли, у них такие скорбные, опять же одежда и старость. Вот и стал я давать им в руки какой-нибудь пережиток, который приберег от бывших тиранов,— безделушку какую-нибудь, и расставлял старушек тех по углам. Даже ничего не говорят, а только стоят и безделушки эти протягивают. И вот одно время думал, что попал в денежную жилу, и от этих самых пережитков имел некий нарост ценности. А старушкам что? Они, как пчелки тоже божии, и едят мало и умирают часто.

Однако и это кончилось: жалость перевелась. И отчего — ума не приложу, только перевелась вся как-то сразу, и все тут.

Конечно, подобное изобразительное искусство умаляется, ежели от хозяина, но все же.

Теперь окончательно убедился и вам говорю: пережитки спроса не имеют. И даже наоборот. Иной раз какой-нибудь озорник посоветует: ты бы, бабушка, омолодилась, чем так зря-то на углу стоять.

И, по правде сказать, мыслю я, что для них нынче это — единственный исход. Я сам даже, сознаюсь, подумывал о том же, но потом уклонился, и вот почему.

Как вы изволили уже почувствовать, человек я очень предусмотрительный. Думал, думал и так и сяк и зашел предварительно к одному знакомому господину комсомольцу, как знаю, что человек они уже в летах, рассудительные, а я очень уважаю таких, ежели кто действительно до костяного мозга есть комсомолец и идет за идею.

— Так и так,— спрашиваю,— какие у вас постановления относительно омолаживающихся?

— А я,— отвечает он,— в этих вопросах не копенгаген, к тому же уволен из комсомольцев по несоответствию. Полагаю, что вам нужно обратиться в культпросветную секцию ячейки.

Смекаю, однако, что лукавит и притворяется необразованным, и стало мне очень не по себе, как бы не заподозрил, что я из корыстных чувств все это затеял. Долго ли заглушить человека. И стал я умолять его оставить этот разговор между нами:

— Прошу вас, говорю, как сознательного, сохранить мою чистоту и невинность перед нашей властью.

Поклялся я тогда торжественно, что буду продолжать жизнь в тех же летах. А он все только усмехается. Ежели правда, что

его, такого олуха, ко всем чертям из комсомола выгнали, туда ему и дорога,— очень справедливо, нам таких не надо.

Все же на днях медку ему немного занес. Прихватил тогда с собой маленькую толику, когда уходил-то. Авось, память-то его к медку прилипнет.

Однако жить мне все же надо. И задумал я большое дело. Решил я придумать новую религию и привлечь сторонников. Много разных замыслов на этот счет в голове бродит: например, чтобы каждый человек считал другого богом, что ли, и молился бы на него, и почести ему божеские воздавал, и приношения бы делал. Всякому это лестно.

И не будет тогда ни лакеев, ни вашей Главрыбы, и наступит благорастворение воздухов, а может быть, и изобилие плодов земных.

Не понравится — из эктеньи можно, наоборот, что-нибудь придумать.

Подсчитал это я с карандашиком в руках — дело выгодное, и спрос будет, вот только не знаю, как в политическом отношении. Какая мера?

Если не высшая, то все же рисковать ради барышей стоит. Если и пострадаю, то буду с венком мученичества.

А если барыня моя к тому времени возвратятся, то одобрят и скажут:

— Кирилюк, иди опять служить ко мне.

— Рад стараться, ваше превосходительство,— отвечу ей и опять у дверей стану.

— Дома?

— Так точно, пожалуйте, принимают.

И опять благодарность в ладошку, что и говорить — сердечная вещь.

Конечно, надо еще кое с кем из образованных посоветоваться и развить насчет изобилия-то плодов земных.

Может, и вы примкнете? Нет? Ну, медку остатки не зайдете ли купить? Я здесь недалеко квартирую. Мед очень хороший, могу сказать, что собирается по всем правилам пчеловодства и огородничества. Тоже нет? Ну, тогда дайте папироску и прощайте, товарищ Главрыба, уж очень вы молчаливый какой-то и мало сочувствующий. По-видимому, еще не очень-то сознательны...

ЗАБЫТАЯ АНТЕННА

Читатель, читатель! Позволь эту
повесть начать с пословицы:
«Имя свое всяк знает, а в лицо себя
никто не помнит...»

1



Когда Андрею Ивановичу бывало не по себе, или, как он сам говорил, «моргoтно», он садился за рояль и открывал крышку. Затем долго сидел так, не притрагиваясь к клавишам, потирал руки, зачем-то откашливался и, наконец, указательным пальцем правой руки принимался выстукивать на слух разные мотивчики.

Левую руку он держал на рояльной крышке, а на руку опускал голову и в таком положении находился во все время исполнения всех своих музыкальных номеров.

При первых же звуках на рояль мягко и уверенно вскакивал кот Митрич, который всегда с неослабным кошачьим интересом следил за оживающими молоточками и перебегал за ними с одного конца рояля на другой.

В это время в голове его хозяина рождались и проплывали разные мысли, и, в зависимости от них, выстукивалось то веселое, то грустное.

Каким-то особым чутьем, совсем не зная нот, Андрей Иванович почти без ошибки быстро тыкал в нужные клавиши и иногда подпевал. Больше всего любил он петь романс, из которого помнился наизусть всего лишь один куплет:

За ваши милые занятья,
За ваши шутки, ваш обман,
Я посылаю вам проклятья
И разрываю наш роман...

Рояль был сильно расстроен, особенно в басах, и это очень нравилось Андрею Ивановичу. Последнюю строчку он всегда пел с большим чувством и, нажимая педаль, нестерпимо гудел басами. Получалось очень грозно, а слово «разрываю» рокотало торжественно и беспощадно.

От всего этого даже самоуверенный кот Митрич начинал прясти ушами, ежиться и вдруг, почуяв неведомую опасность, ставил хвост торчком, сбрасывался с рояля и, растягивая свои черные полосы, мчался от страшного гуда во весь свой кошачий дух.

Обычно в этот же момент из соседней комнаты начинала стучать в стенку квартирная хозяйка и грозилась убрать рояль, отчего нараставшее настроение разом обрывалось и Андрей Иванович, немедленно прекратив пение, ограничивался только поспешным окончанием мотива. При этом он уже не тыкал в клавиши, а лишь чуть-чуть дотрагивался до них, и сконфуженный палец его с каждой нотой робел все больше и больше.

Если же стука в стенку не было, то Андрею Ивановичу начинало казаться, что вот там в углу, позади него, на диванчике, крытом имитацией под кожу, безутешно и горько рыдает маленькая, обязательно маленькая, женщина. От слез на имитации большое черное пятно. Она несомненно брюнетка в шелковых розовых чулках и бархатном черном платье, а в волосах красная роза.

И это она, именно она, вытворяла разные там штучки, а в конце концов дошла даже до обмана. Но теперь — все раскрыто.

«Прости» — это как будто с диванчика.

«Кто? Я? Ну, нет. Никогда!» — это про себя...

Андрей Иванович, не переставая играть, приподнимал голову и оглядывался на диванчик, причем лицо его, пухлое и беловолосое, пыталось передать всю полноту оскорбленных чувств. Для этого топорщились глаза и поднимались брови, так что вместо предполагаемого негодования получалось крайнее удивление.

Впрочем, сам Андрей Иванович в этот момент в зеркало не глядел, а диванчик всегда оказывался пустым. Последнее обстоятельство неуклонно подавляло всякое воображение. Музыка обрывалась, и лицо Андрея Ивановича начинало постепенно принимать свое обычное выражение.

Немного помолчав и откашлявшись, он медленно поворачивался от диванчика к роялю, вновь опускал голову на левую руку и уже спокойно вполголоса допевал последние запомнившиеся слова романса:

Пора-а, пора-а
Пробудиться от сна...

Делал паузу и затем почти шепотом, но с возможной грустью в голосе, повторял еще раз:

Пора-а, пора-а
Пробудиться от сна...

Рояль долго еще гудел, и на нем опять появлялся довольный своей предусмотрительностью кот Митрич.

Когда же гудение окончательно замирало, Андрей Иванович вздыхал, осторожно, точно стеклянный предмет, опускал крышку и тихо, стараясь не шуметь, отходил к окну.

Напротив на крыше дома торчала слегка наклоненная, слушающая мир антенна.

Хотя поставлена она была давно, но всякий раз как Андрей Иванович стоял у окна и смотрел на нее, он почему-то острее чувствовал свое одиночество и ему всегда приходило в голову: «Как только управлюсь с деньгами — обязательно устрою себе такую же, обязательно. А то что ж так-то?»

Но деньги водились редко, а если и появлялись, то сейчас же, сверкая прощальным блеском или укоризненно шелестя, исчезали в карманах многочисленных мелких кредиторов. Получая деньги, они почти всегда ворчали и даже бранились за задержку в платежах, и Андрей Иванович, разводя руками, беспомощно и робко извинялся.

Однако он не унывал. В голове его совсем ни с того ни с сего засела и пустила крепкие корни чрезвычайно странная мысль. Если бы кто-нибудь спросил Андрея Ивановича, как он дошел до нее,— он конечно не сумел бы ответить: надумалось и все тут. Стоял как-то у окна, глядел со своего пятого этажа на антенну, и вдруг осенило: «А отчего бы не написать большой роман из современности?»

Мысль была нелепа. Даже в школе Андрей Иванович не выказывал особых успехов по русскому языку.

— Экий ты какой,— частенько говорил ему старый и чудаковатый учитель,— ни написать складно, ни рассказать толком, ну ничегошеньки-то ты не умеешь. Мысль у тебя как блоха: туда-сюда, туда-сюда, скок-скок, а сама все на одной ляжке. Оттого и поступки твои все равно как будто с девятого яйца.

Однако, несмотря на эти воспоминания, втемяшилось вдруг упрямо и неотвязно: «А вот возьму да и напишу. Что, в самом деле? Напишу. Эка штука!»

Возражать было некому: антенна — слушала свое, кот Митрич — намывал гостей, и потому задорно произнесенное вслух «эка штука» осталось без всякого ответа.

Внезапные мысли всегда самые яркие и настойчивые. Поэтому размышления продолжали идти своим чередом.

«За романы, говорят, хорошо платят, следовательно можно будет расплатиться с долгами, завести приличную обстановку, а то вон диван-то какой обшарпанный. Главное же,— и это было

самое затаенное, что всегда теплилось, а теперь вдруг вспыхнуло неугасимым огнем,— ведь тогда можно будет серьезно подумать о женитьбе».

Тут Андрей Иванович хлопнул себя по лбу. «Эге-ге, так вот оно что! Значит, странности-то мои от денежных недостатков!»

Последний вывод был крайне важен.

Андрей Иванович хорошо знал, что во всяком обществе, а в женском в особенности он, несмотря на свои двадцать четыре года, был крайне застенчив. Эта застенчивость походила у него на снежный ком: зная о ней, он старался быть развязным, но на самом деле еще пуще стеснялся, а стесняясь становился еще застенчивей, так что в конце концов действительно получалось черт знает что. Однажды, на именинах, услышав что-то смешное, он фыркнул и упустил через нос непроглоченное какао. От этого необдуманного поступка на стенке и на скатерти остались очень некрасивые следы, и Андрей Иванович немедленно стал прощаться, бормоча что-то про кошку и в то же время обещая исправить все за свой собственный счет.

В другом доме, стараясь расхрабриться и показать себя бывалым человеком, он понес про себя такие небылицы и зашел в описаниях так далеко, что в конце концов стало получаться что-то очень непристойное. Однако растерявшийся Андрей Иванович не имел сил остановиться.

— И вижу я...— торопливо говорил он, размахивая руками и задевая ими соседей,—...и вижу я, несется прямо на меня ломовик, а на нем, то есть на телеге, пьяная девка, ну вот-вот задавит. Тут я как поднимусь во весь рост, да как крикну: «Стой же! Стой...» — и Андрей Иванович зажмурился.

При общем молчаливом недоумении он, очевидно, хотел произнести слова, недопустимые в женском обществе.

Все покорились и, затаив дыхание, ждали неизбежного.

В этот момент какая-то почтенная старушка, до сего не проронившая ни одного слова, по-видимому, учуяла опасность и так сильно поперхнулась плохо размоченной в чаю сушкой, что ее под руки повели в другую комнату.

Казалось бы, что теперь все могло кончиться вполне благополучно, но Андрей Иванович, несмотря на некий перерыв, вдруг раскрыл глаза и громко досказал вслед старушке то, что хотя и было очевидно, но могло еще не омрачить слуха всех присутствующих.

В следующий приход его придержали в дверях и сказали, что хозяев нету дома и что вообще вряд ли они когда-нибудь возвратятся.

Уже по этим двум печальным историям всякий может судить, что случайности и природные свойства Андрея Ивановича шли

рука об руку и делали его то обидно смешным, то недопустимо развязным и вообще человеком с большими странностями.

В то же время один на один, тоскуя о женской ласке и чуть что не доходя до видений, он никогда не сомневался в своей смелости и находчивости.

На самом же деле всего лишь один раз в жизни, а именно в седьмом классе, и то только чтоб спастись от насмешек товарищей, называвших его раком-отшельником, Андрей Иванович отважился на ухаживание. Вскоре рак-отшельник увлекся настолько, что согласился даже участвовать в любительском спектакле, и, кто знает, если бы не глупое происшествие, погубившее сразу и окончательно все тайные и робкие надежды, кто знает, может и не пришлось бы антенне наталкивать Андрея Ивановича на непонятную затею написать большой роман, да еще к тому же с целью женитьбы.

На спектакле же произошло следующее.

Андрей Иванович, с наклеенной бородой, в которой он сам себе казался очень интересным, стоял в темноте кулис и с острым волнением в первый раз испытываемых ощущений жал маленькую послушную руку. Несколько раз он нерешительно поднимал ее кверху, с неясным намерением прижаться к ней губами, и, не донеся до цели, опускал ее вниз. Кроме руки он ощущал еще возле себя чужое и радостное тепло. Борода придавала ему смелость, и, вероятно, в этот вечер он постепенно дошел бы до многого, но вдруг послушная рука порывисто вырвалась, и он услышал тревожный шепот:

— Андрюша, а где же моя шаль? Ах, я забыла шаль! Сейчас мой выход, а я не могу без нее. Найдите, слышите, найдите! Скорей, скорей! Ах, какой вы!

Андрей Иванович ринулся на поиски.

Кто-то, видимо совсем не заинтересованный (вот дурак!), указал ему на темный угол артистической комнаты, где лежал ворох разной одежды:

— Поищите, вероятно там.

Андрей Иванович стал бестолково рыться впотьмах, ощупью, наспех. Все помыслы его были в другом месте.

Вытянув наконец то, что искал, он бросился обратно. По дороге наткнулся на скалу, опрокинул ее и сильно разбил колено, но все же успел добежать вовремя и сунуть скомканную шаль в руку выходившей уже на сцену девушке.

Почти тотчас же и чуть что не в лицо швырнули ему обратно то, что сорвало с одной стороны наклеенную бороду и что при ближайшем рассмотрении оказалось ни более ни менее, как чьими-то грязными и рваными панталонами.

Такова случайность судьбы. Ну, вытащи он тогда что-либо другое, ну хоть кофточку, что ли, или уж куда ни шло дамские, но мужские — это слишком, это такой проступок, который многие скромные девушки почтут за величайшее оскорбление.

Так на всю жизнь и осталось ощущение непоправимой беды и стыда и, кроме того, запечатлелась в памяти девушка в черном бархатном платье, с наивной розой в волосах, которая плакала обиженными слезами на диванчике в артистической, а роза на голове тряслась и постепенно вылезала из волос.

И так как на протяжении всех остальных лет жизни никто не заслонил этот образ, то всегда, когда Андрей Иванович думал о женщине, она представлялась ему обязательно в таком же платье, в каком была его первая и пока что последняя неудачная любовь.

Конечно, случай этот не прошел незамеченным, и товарищи по школе тотчас же сложили стишок, который приводил Андрея Ивановича в очень плохое настроение:

Андрей Иваныч,
Скинь штаны на ночь,
Настанет день —
Опять надень.

Это четверостишье оказалось пророческим, так как дни, прожитые Андреем Ивановичем, были серые и тихие, как прудовые улитки, и проползали бесследно и без цели...

Настанет день — опять надень...

И даже сам он, одеваясь поутру, нередко вспоминал школьный стишок, произносил его вслух и при этом горько улыбался.

Так все шло до того знаменательного дня, когда Андрею Ивановичу пришла в голову мысль о романе и он сделал вывод, что все странности его происходят от денежных недостатков.

В тот день он, сам того не замечая, почти победил свою проклятую застенчивость.

Ему даже казалось, что если роман еще и не написан, то, во всяком случае, это дело маленькое, а важно другое, важно, что найден выход и что скоро он будет при деньгах.

Поэтому первого же пришедшего кредитора, позволившего себе говорить грубости, он резко оборвал:

— Ну-ну, будьте повежливей,— внушительно сказал он.— Скоро я не буду нуждаться в ваших услугах. Вот тогда и посмотрим, как вы без меня проживете.

После этих слов он вышел из кухни, сохраняя на лице спокойное достоинство, и даже не забыл довольно громко хлопнуть за собой дверью.

Так начал он поступать и со всеми другими, он уже возвышал на них голос, а на прачку, самую сварливую из креди-

торш, взял да и прикрикнул, не обращая никакого внимания на присутствие самой квартирной хозяйки.

Притихшая прачка долго еще по его уходе сидела с разинутым ртом, а придя в себя, гадала и так и сяк о причинах такого неожиданного отпора.

— Счастье пробует,— наконец решила она.— Либо невесту богатую поддедюливает, либо на картах мошенничает, а только видать сразу, что при большой беде человек.

Квартирная же хозяйка решила усилить наблюдение за жильцом и при случае, если понадобится, дать ему решительный отпор, а в крайности отобрать рояль.

Так было дома.

На службе же эти обстоятельства привели Андрея Ивановича к одной весьма неприятной истории.

Думая о своем, он стал пропускать без регистрации целые пачки входящих и исходящих, среди которых бывали довольно важные отношения и доклады. Мало того — на обороте бумаг стали являться какие-то записи, сделанные карандашом, каковые, как было установлено делопроизводителем, не имели никакой даже самой отдаленной связи с содержанием, заключающимся в означенных бумагах.

Однако сделанное по сему поводу серьезное внушение не оказало должного влияния, и все продолжало оставаться по-старому. Наконец, дело дошло до того, что на одном из докладов, поданных в кабинет зава, человека очень сумрачного, особенно с той поры, как от него ушла молодая жена, оказалась совершенно неподобающая четкая надпись:

Она была прекрасная ласковая брюнетка, вся одетая в черный бархат, а он изящный молодой блондин с приятной улыбкой на устах и стальным взором. Встреча их была роковой...

На этом запись обрывалась.

Вскоре доклад вернулся с резолюцией, которая оживленно обсуждалась всей канцелярией и многих приводила в сильное возбуждение. В резолюции значилось:

Прекратить дальнейшее производство. Взыскать со всех.

Вникая в смысл написанного, многие видные канцеляристы считали, что вся резолюция целиком относится к записи, другие же, не менее осведомленные, доказывали с пеной у рта, что первая фраза касается существа доклада и только лишь вторая имеет в виду непристойную карандашную заметку, явно намекающую на неверную жену зава.

Вскоре резолюция расползлась, затуманилась и, вообще, стала трудночитаема ввиду неоднократного скольжения по ней

возмущенных и вдумчивых пальцев разных ответственных работников.

Как бы там ни было, но доклад, проходя от зава обратно, сопровождался вызовами подчиненных руководителей, недовольными возгласами и даже стучаньем кулаками по столам, сначала полированным, потом — покрытым сукном и, наконец, по самым обыкновенным — клеенчатым, с разорванным во многих местах верхом.

Так, переходя из комнаты в комнату, стук этот дошел до делопроизводителя, который, несмотря на свою полноту и одышку, мгновенно докатился до стола Андрея Ивановича. В одной руке он держал доклад, которым размахивал, как флагом, а другой так сильно стучал по соседнему столу, что временно приостановил работу на счетах.

— Это что? А? Как? Нет, это что? А? Как? — и так несколько раз подряд. Потом, отдышавшись, бросил доклад на стол.

— Знаете ли вы, что из-за вас идет головомойка снизу и доверху? Немедленно пишите объяснение!

Он круто повернулся спиной и покатился на свое место.

Андрей Иванович успел сказать ему вслед, что головомойка может быть только сверху, и тотчас же сел за объяснение.

«Сообщаю,— быстро писал он,— что надпись на обороте доклада сделана мной случайно и не по злому умыслу, а ввиду моих литературных наклонностей, за что прошу снисхождения».

На первый раз ему был объявлен выговор со внесением в личный список.

Впоследствии оказалось, что зав не читал записи, сделанной Андреем Ивановичем, и что вся резолюция была чисто деловой и относилась исключительно к докладу.

Впрочем, сам виновник нисколько не был обеспокоен всем происшедшим. В это время его больше всего интересовало, сколько он может получить за роман, чтобы сообразить, как ему устроить свою дальнейшую жизнь. Поэтому он решил как можно скорее навести справку в одной из редакций, и это решение выполнил в ближайший же вечер.

Войдя в редакционную комнату, он огляделся по сторонам и уверенно пошел к человеку в пенснэ, который сидел за большим пустым столом и, по-видимому, скучал. Пенснэ у него часто падало, и, надевая его вновь, он всякий раз обязательно открывал рот, будто бы хотел произнести букву «А». Возле него стояли и сидели какие-то унылые тени и тихо вели разговор, который, судя по лицам, был никому не нужен.

Андрей Иванович не обратил на них никакого внимания; он сразу же, оборвав кого-то на полуслове, приступил к выяснению

своего дела. Спокойно и обстоятельно изложил он перед пенснэ цель своего прихода.

Пенснэ упало.

— За произведения платят, конечно, по-разному. Вы раньше принесите ваш роман, мы его посмотрим, а потом и поговорим. А как ваша фамилия?

Тут пенснэ попросилось на свое место и заставило открыть рот.

Такого вопроса в лоб Андрей Иванович совершенно не ожидал. Он сразу же ушел в шапку, воротник, карманы и, повернувшись на каблуках, нехотя буркнул:

— Бодюля...

Глядя перед собой, он вышел из комнаты, и когда услышал дружный смех, несшийся из редакционной, то неожиданно для себя сжал кулак и внушительно погрозил им в сторону смеющейся двери.

Какой-то встречный, быстро шедший по коридору, чуть-чуть что не наскочил на кулак Андрея Ивановича. Раздув губы, он, по-видимому, хотел сказать что-то очень досадное, однако, быстро переведя взгляд от кулака по руке и плечу на лицо своего обидчика, встречный немедленно же и молча уступил ему дорогу.

Возвращаясь из редакции, Андрей Иванович размышлял о разном, но главным образом о романе и, в частности, о своей фамилии.

«Нехорошо, ох как нехорошо, если на романе будет проставлено Андрей Бодюля: сбыта не будет. Лучше как-нибудь иначе, например: Андрей...» — но дальше, несмотря на полную сосредоточенность, ничего путного в голову не приходило.

Обычно в таком состоянии задумчивости Андрей Иванович проходил мимо дома, в котором жил, и только забравшись невесть куда, вдруг останавливался, недоуменно оглядывал улицу и принимался соображать, по какой дороге ему ближе всего возвратиться домой.

Иногда же, что бывало неоднократно, он еще в самом начале задумчивости наступал на один из лотков с яблоками, расставленных вдоль панели, и тогда под брань торговки и смех прохожих приходил в себя и неумело начинал подбирать и складывать на лоток раскатившийся во все стороны товар. В таких случаях каждое запачканное в жидкой грязи яблоко он тщательно протирал краешком своего старого пальто.

Кстати сказать, это пальто выдавало характер своего хозяина: воротник его всегда был как-то по-особому приподнят, будто кто-то очень высокий вел за него Андрея Ивановича, не считаясь с его намерениями и желаниями.

На этот раз Андрей Иванович не заблудился и лотков не ронял. Он шел не спеша и иногда, когда казалось, что вот-вот надумалась подходящая фамилия, останавливался и прикладывал к губам, точно трубку, ноготь большого пальца правой руки.

Прохожие отталкивали его в разные стороны и, наконец, приткнули к железным перилам, ограждающим окно большого магазина.

Совершенно случайно взгляд Андрея Ивановича проскользнул внутрь и обежал все помещение, расположенное несколько ниже тротуара.

Это была булочная.

Вдоль прилавка протянулась небольшая очередь покупателей. Лица у них были или равнодушные, или нетерпеливые, и никто из них не обращал никакого внимания на то, как размеренно и четко работала продавщица. Отдавая левой рукой завернутые булки, она в то же время правой брала от следующего покупателя кассовый талон, натыкала его на проволоку и, повернувшись вполоборота к полкам, снимала с них освободившейся к тому времени левой рукой то, что требовалось покупателю. Затем клала товар на кипу тонкой желтой бумаги и быстрыми, привычными движениями заворачивала купленное. При этом верхняя часть булок обычно оставалась неприкрытой и, вылезая из бумаги, оставляла белые метки на груди и рукавах пальто своих новых владельцев.

Так, не останавливаясь ни на одну минуту и не ошибаясь ни в одном движении, работала она до тех пор, пока не закончилась вся очередь. Тогда она облегченно вздохнула и, приподняв голову, мельком взглянула в то самое окно, у которого стоял человек, вцепившийся обеими руками в железные перила.

Почти тотчас же она вновь занялась своим делом, но этого мгновения было достаточно. Андрей Иванович успел подметить все, все: и светлый локон, выбившийся из-под чепца, и ямочки на щеках, и большие глаза, которые, как ему показалось, отливали синевой.

«Вот она!» — произнес кто-то внутри Андрея Ивановича, и голос этот не допускал ни малейших возражений.

— Вот она,— немедленно вслед за голосом повторили чуть слышно пухлые губы.

Тут Андрей Иванович на мгновенье почувствовал, что погода стоит довольно прохладная и что, по-видимому, дело совсем близко к зиме.

— И вся в белом,— вдруг добавил он громче и как бы с удивлением, стараясь поддеть локтем воображаемого соседа.

Но рядом никого не оказалось.

Тогда Андрей Иванович оттолкнулся от железных перил, подошел к двери булочной, распахнул ее и вошел внутрь.

За кассой сидела пожилая и с виду очень сердитая женщина. Выдавая покупателю талон на требуемую сумму, она резко поворачивала ручку кассового автомата «National», который, прежде чем выкинуть талон, долго захлебывался хрипом и угрожающе подвывал. Такое поведение автомата как нельзя более соответствовало выражению лица кассирши.

Андрей Иванович купил у нее трехкопеечный талон и стал в очередь, но не в затылок, как это полагается, а немножечко сбоку и впереди от своего места. Этак было удобнее наблюдать за всеми движениями продавщицы.

Однако она, по-видимому, не чувствовала на себе пристального взгляда и ни разу не оторвала своих глаз от булок и талонов.

Зато какая-то гражданка, стоящая за Андреем Ивановичем, заговорила вдруг громко и раздосадованно:

— Очень это неудобно, когда кто вот так сбоку... думаешь, сейчас твоя очередь, а тут в аккурат и вторкнется... стрелок без роду без племени. Значит, постой, дура, еще. Скажите, какой барин выискался! Точно затылков гнушается, а на самом деле береги карманы...

Так говорила она долго, ни на кого не глядя и ни к кому не обращаясь, и для убедительности все время оправляла на голове платок. Постепенно она распалялась от своих слов все больше и больше.

Андрей Иванович пропускал все это мимо ушей, тем более что он почти подходил уже к продавщице. Когда очередь дошла до него, он быстро протянул через прилавок скатанный в трубочку талон и сказал как мог мягко:

— Мне бы булочку... за три...

— Какую? Эту? Эту? Эту? — Рука и глаза продавщицы нетерпеливо скользили по сортам булок.

Только теперь на близком расстоянии можно было приметить, что под качающимся светлым локоном, на самом виске, кокетливо прячется мохнатая родинка.

— Эту? Эту? Да говорите же, гражданин!

Голос ее раздраженный и усталый показался Андрею Ивановичу необычайно приятным.

— Все равно,— ну, хотя бы вот из этих.— Палец Андрея Ивановича уперся в то самое место стекла, за которым лежали булочки, густо обсыпанные маком. Однако ему передавалась уже совсем другая, с коричневой как бы полированной верхушкой.

Андрей Иванович собрался съесть ее тут же у прилавка.

— Отойдите же, гражданин, ну что это, право...

К сожалению, и эти слова были сказаны все так же, не поднимая глаз.

А может, еще взглянет, может взглянет,— не терял надежды Андрей Иванович, но в это время стоящая позади него гражданка решительно оттолкнула его в сторону.

— Будет тебе измываться-то! — закричала она.— Стрекулист! Шел бы в пивную, а то здесь хлеб — чистое место.

— Извиняюсь, благодарю вас,— ответил Андрей Иванович и, отняв ото рта булку, медленно отошел от прилавка.

Есть ему вовсе не хотелось, но тем не менее он торопливо принялся жевать купленную булочку, так как единственным желанием было поскорей разделаться с ней, а затем взять в кассе талон и опять стать в очередь.

Для чего он все это проделывал, Андрей Иванович не знал. Вернее всего, ему хотелось продлить и в то же время оправдать свое пребывание в булочной. Ему даже не приходило в голову, что булочку можно было бы просто-напросто спрятать в карман или отдать какому-нибудь нищему.

Глотая большие куски и чуть что не давясь, он тупо глядел на стоящий возле него мраморный столик, на котором лежала скомканная и измазанная в розовом креме тонкая бумажка.

В два или три глотка Андрей Иванович покончил с булочкой и вскоре опять стоял в очереди с новым, купленным в кассе трехкопеечным талоном.

И опять повторилось все точь-в-точь как и в первый раз: так же были опущены глаза продавщицы и так же рука ее, белая и пухлая, как куличное тесто, сунула опять не ту булочку, на которую указывал ей палец за стеклом. Даже слова были те же:

— Отойдите же, гражданин, ну что это, право...

И вот уже опять и на том же месте нужно быстро жевать ненавистную булку, а в глаза все так же назойливо лезет измятая и запачканная в креме бумажка.

Андрей Иванович знал, что сейчас он повторит все с самого начала, и притом так же просто и без всякого раздумья, как, например, каждое утро он встает, моется, пьет чай и идет на службу. Отказаться от этого занятия он по своей воле не мог: касса, очередь, продавщица, булка, столик и опять касса — в этой смене поступков уже не было ни конца, ни начала.

По счастью, на восьмом талоне губы продавщицы совершенно неожиданно дрогнули улыбкой и она, приподняв глаза, сказала Андрею Ивановичу:

— Что это вы, точно малоимущий? Будто сразу не можете? Только и меня и себя совсем зря беспокоите?

Глаза у нее оказались небольшие, бутылочного цвета, но, несмотря на усталость, довольно веселые.

Однако Андрей Иванович остался при своем:

«Так и есть — синие! — определил он и сейчас же сообразил: — А ведь, значит, она меня раньше заприметила».

Нужно было взять себя в руки, чтобы не показаться смешным.

Он объяснил продавщице, что ему казалось, будто в настоящее время больше одной булки на руки не выдается, что он даже читал где-то об этом и что сейчас уже расклеивают по улицам соответствующие распоряжения.

Он говорил довольно долго, так как на этот раз очереди не было и продавщица не гнала его прочь, а слушала очень снисходительно.

Рассказывая, Андрей Иванович больше глядел на пол, чем на свою собеседницу, и сгребал краешком подошвы разбросанные сырые опилки.

Наконец продавщица не выдержала и, отвернувшись, фыркнула в руку, точно поперхнулась чем-то.

— Хорошо, что время уже торговлю закрывать, а то если бы все покупатели так, да с самого утра — замучили бы непременно. А вы еще талоны в трубочку вертите, просто беда с вами...

И стала собираться уходить из магазина.

На лице Андрея Ивановича было ликование. В то же время он не знал, что ему делать дальше: касса закрылась, покупатели все разошлись, да и свет в булочной был уже несколько притушен. Не замечая странности своего положения, он нерешительно и без толку топтался на одном месте.

— Уходите, гражданин, так нельзя...

Андрей Иванович еще раз искоса поглядел на продавщицу. Она уже надевала шубку и, несомненно, несомненно заметив его взгляд, не то усмехнулась глазами, не то просто подобрела лицом.

В самом радужном настроении Андрей Иванович вышел из булочной. Ненадолго задержавшись на ступеньках, он принялся тщательно счищать приставшие к подошвам сырые опилки.

В это время в булочной окончательно погас свет.

«Значит, есть другой выход»,— решил Андрей Иванович, и пошел домой.

На улицах мелькали, горели и моргали разные огни, разглядывая напряженную вечернюю суету.

Некогда выдуманный Санкт-Петербург казался высеченным из застывшего тумана. Может, долго еще простоит он, одухотворенный Невой и минувшей славой, таким же синим в зимние вечера, таким же стеклянным в мягкие весенние ночи. А может, близок день, когда растекутся туманом и камни Египта, и Ростры, и даже медь Фальконета, и останется только воля реки,

свободной от гранита, да еще людское неясное желание припомнить то, что, может, было, а может, и нет...

«А ведь хорошо стали освещать»,— подумал Андрей Иванович и несколько раз подряд вздохнул полной грудью.

На этот раз даже воздух, обыкновенный влажный и прохладный воздух, с привкусом угольного дыма, показался ему как-то по-особому свежим и приятным. А когда навстречу попался отряд красноармейцев, который шел хлестким мерным шагом и пел развеселую песню, Андрей Иванович остановился и пропустил отряд мимо себя.

— Здорово, ей-богу здорово! — произнес он вслух удивленно и с одобрением.

Впрочем, эти впечатления не задерживались надолго в его памяти: все мысли устремлялись в одну сторону и без конца заставляли остро и сладостно переживать все, что случилось в булочной.

Еще задержался он возле громкоговорителя, который совершенно неожиданно и весело заголосил на всю площадь: «Слушайте, слушайте...» — и затем стал подробно разъяснять новое положение о квартирной плате.

Припомнилась антенна на крыше соседнего дома.

«Торчит, родимая, одна-одинехонька, совсем как я, только, конечно, с пользой. Впрочем, теперь будет по-другому, теперь и я... А роман? — вспыхнула на мгновенье старая мысль.— Ну это сделаем, это пустяки...» Мысль погасла.

Андрей Иванович внимательно прослушал все разъяснение о квартирной плате и льготах для семейных, и когда громкоговоритель так же весело объявил: «Перерыв до восьми часов... перерыв», Андрей Иванович окончательно и бесповоротно решил:

«Женюсь, обязательно женюсь, вот она, будущая жена». И он усмехнулся своим мыслям.

А ведь как все на этот раз идет благополучно!

Дома он долго ходил по комнате, а затем, хотя был и не в соответствующем настроении, сел за рояль, откинул крышку и сразу же радостно и во весь голос запел:

Незнакомку видеть можно,
Поглядите в те окны...
Незнакомку видеть...

Здесь он на мгновение остановился, посмотрел на кота Митрича и ни с того ни с сего широким жестом смел его с рояльной крышки.

Тотчас же раздался настойчивый стук в стенку, а затем между хозяйкой и Андреем Ивановичем произошел недолгий, но внушительный разговор.

— Послушайте! — кричала хозяйка и размахивала перед стенкой руками с такой выразительностью, будто перед ней стоял сам жилец.— Послушайте, ведь это же рояль, и притом память о муже, а вы на нем непристойности выколачиваете. За такое пользование я не могу брать прежней платы. К тому же я пожилой человек, мне отдых нужен, а вы голосом пугаете...

И совершенно неожиданно отвечала ей стенка развязно и весело:

— Марья Ивановна, это известные оперные «Гугеноты», я слыхал их в граммофоне на барахолке. За такое удовольствие кто еще кому платить должен.

Андрей Иванович так же стоял возле стены и, неловко раскланиваясь перед ней, делал рукой убедительные жесты.

— Комсомолец!

— От комсомолки и слышу!..

Так ни до чего и не договорились...

Ночью Андрею Ивановичу снился неподвижный сон: на мраморной доске смятая и запачканная в креме бумажка...

2

Перед самым рассветом над городом прошел снег и перекрыл железные крыши домов на пушную серебряную порошу. Оттого поутру еще отчетливей выделилась на соседней крыше всезнающая, а потому такая простая, такая неподвижная и одинокая, как мудрец,— антенна.

Андрей Иванович тщательно, словно впервые разглядывал ее. Еще неодетый, он долго стоял у окна и даже прижался лицом к стеклу.

Мысли его, короткие и оборванные, простые и неуверенные, таяли на лету, как некрепкий снег.

«Слышит... все слышит... а уха нет... И называется здорово — антенна... очень красиво — ан-тенн-а... обязательно зайду напротив, разузнаю, как все это делается и от кого, вообще, зависит. А ведь мне хуже, чем ей: если что и услышу — передать некому... да, да; настанет день — опять надень... впрочем, теперь будет не то, совсем не то...»

И сразу же слух, зрение и обоняние восстановили в памяти сперва громкоговоритель, потом песню под мерный шаг, затем уличный свет, а вместе с ним привкус угольного дыма, сменившийся скоро ощущением теплого, сладковатого воздуха булочной. Перед глазами встала и размеренно, как заводная кукла, задвигалась белая фигура продавщицы.

«А как звать ее? Действительно, как?»

Все эти размышления заняли много времени, и, чтобы не опоздать на службу, пришлось выходить из дому без утреннего чаю.

К приходу Андрея Ивановича большинство его сослуживцев уже сидело на своих местах. Они еще обменивались разными мелкими новостями, но мысли их, не спрашивая хозяев, шли по протоенным дорожкам к не оконченным за вчерашний день делам. Руки сами собой выдвигали ящики столов, выкладывали бумаги, карандаши и вставочки.

Машинистка Задрыкина, прежде чем приступить к работе, прикрылась отворотом своей сумочки и сразу почувствовала себя в отдельной комнате: она настойчиво гляделась в зеркальце и, совершенно забыв про окружающих, быстрыми кошачьими движениями втирала в нос пуховку. При этом губы ее ни на минуту не оставались в покое: они то собирались в узелок, то разбегались, и тогда концы их опускались книзу, то, наконец, приоткрывались в виде кружочка и делали машинистку похожей на уснувшую рыбу.

Все это Андрей Иванович видел каждый день, но только сегодня ему показались смешными и непонятными поступки машинистки.

«Неужели и моя так же? — подумалось Андрею Ивановичу.— И ведь никто этого не замечает — вот что значит привычка».

Он продолжал разглядывать своих сослуживцев с таким вниманием, будто первый раз сидит в их обществе. Скоро он пришел к выводу, что многие из них порядком состарились, и только у Петра Афиногеновича, самого давнишнего служаки, остатки волос на висках стали еще чернее. Впрочем, все знали, что он красит их, так как, по его мнению, седина является одной из самых убедительных и опасных причин, которыми руководствуются при увольнении по сокращению штатов.

— Ты бы и плешь заодно намусолил,— нередко трунил над ним всегдашний весельчак конторщик Завитков, насмешек которого все побаивались.

Петр Афиногенович слыл великим знатоком всех правил, инструкций и положений, и когда говорил о деле, то, как тетерев на току, закрывал глаза и сыпал на ошеломленного собеседника номерами параграфов, статей, приказов и даже ссылался на страницы. Однако злые языки утверждали, будто бы на поверку выходило, что ссылки Петра Афиногеновича были всегда ошибочными и не заслуживали никакого доверия.

Еще заметил Андрей Иванович, что у счетовода Карасиковой одна щека всегда широко охвачена черным платком, закрывающим чуть что не пол-лица. Свободная же от него часть

настолько невыразительна по сравнению с черным платком, что все помнят Карасикову не по лицу, а по закрытой его части.

Она очень бережно и ревниво охраняет от всех свои старые счеты, на которых работает без малого пятнадцать лет кряду. Счеты эти самые обыкновенные, типовые конторские, но у них не хватает крайнего столбика, и по этому признаку она находит их на других столах, если кто в ее отсутствие воспользуется ими для случайных подсчетов.

— Похожи... слов нет,— подмигивает в таких случаях своим соседям белозубый конторщик Завитков и переводит глаза от счетов на Карасикову.

Сейчас, словно играя на арфе, она мелькает рукой над костяшками, которые, чокаясь друг об дружку, уверенно выводят безразличные для них итоги.

— Ну что?.. Как?.. Входящие?.. Скоро?..

Это делопроизводитель. Он как всегда швыряет на ходу отрывистые, запыхавшиеся слова и ртутным шариком катается в неожиданных направлениях от одного стола к другому.

Андрей Иванович принялся было регистрировать бумаги, но скоро бросил и опять занялся своими наблюдениями. Так, например, он обратил внимание, что курящие служащие, взглянув на плакат «Просят не курить», видимо, тотчас же вспоминали, что давно не баловались табачком, и, вытащив из кармана коробочку с папиросами, угощали ими соседей. Обычно они раскуривали от одной общей спички, но если среди них оказывался мнительный человек, верящий в приметы, то он или с виноватой улыбкой отводил услужливую руку, или же просто задувал спичку и зажигал новую.

— Нет, нет, я еще помирать не хочу...

Курение было для них не только привычкой — оно давало им незыблемое при всех режимах право сделать перерыв в работе и перекинуться двумя-тремя словами, не относящимися к службе.

«Кто они такие? — задался вдруг вопросом Андрей Иванович.— А ведь черт их знает кто! Вот уж сколько времени сидим вместе, работаем, привыкли, а интереса друг к другу нет. Да и какой интерес? Все то же: отслужат, как и я, потом пообедают, потом поспят, а после опять начинай сызнова. И подумать только, что на всей земле есть канцелярии! Народу-то сколько!.. Настанет день — опять надень. А бывало ли у них такое же, как, например, у меня?»

Вероятно, Андрей Иванович так бы и не притронулся ко входящей почте, если бы не делопроизводитель, который на всем ходу ухватился вдруг руками за стол Андрея Ивановича. Делопроизводитель был похож на утопающего, уносимого быстрым

течением и пытающегося передать кому-то свою последнюю волю.

— Что ж?.. Будут... наконец... входящие? Впрок маринуете?.. Наизусть учите?.. Невозможно!.. Сил никаких нет! Скорей... И вот... анкету... заполните... сегодня...

Его оторвало от стола и понесло дальше.

Андрей Иванович взял брошенную на стол анкету и начал вписывать в соответствующие графы въевшиеся в голову каждого служащего ответы: грамотен, мужчина, 24 лет, беспарт... Тут он дошел до семейного положения и задержался: предстояло зачеркнуть одно из двух слов: либо «холост», либо «женат». Немного подумав, он жирно зачеркнул слово «холост» и облегченно вздохнул. Однако сразу же пришлось наткнуться на новое препятствие: дальше нужно было указать имя жены.

Над этой графой Андрей Иванович задумался глубоко и надолго. Уже несколько раз чернила на его пере высыхали и он, не замечая того, через равные промежутки времени по привычке обмакивал перо в чернильницу, встряхивал и снова держал наготове перед пустым местом графы. Губы его беззвучно шевелились.

«Как имя? Как? Ну как же? Хорошо, если, например, поновому — Антенна, что ли, или по-старому хотя бы Любовь — ведь тоже неплохо — Любовь. А может, так и написать? Возьму и напишу: Любовь...»

Но на это Андрей Иванович не решился и, спрятав анкету в карман, принялся за входящие.

Кроме него довольно долго бился над анкетой Петр Афиногенович, которого, как всегда, смущали графы о возрасте и отношении к власти.

После совещания с приятелями и даже некоторых разногласий он наконец менее разборчиво, нежели в остальных графах, проставил «тридцать три» и «сочувствующий».

После обеденного перерыва по поручению делопроизводителя Петр Афиногенович отправился собирать у служащих заполненные анкеты. Однако собрать все не удалось.

— Не готова...— отрезал Андрей Иванович, и, заметив крайнее удивление на лице Петра Афиногеновича, разъяснил: — Мне нужно узнать кое-что, а завтра я закончу и передам...

— Но ведь завтра праздник...

— Ну тогда послезавтра...

— А мне что делать? — в вопросе уже звучали тревожные нотки.

— А что?

— Как что? Ведь согласно данного мне поручения, я должен в указанный мне срок собрать заполненные анкеты для неза-

медлительной передачи их в высшие инстанции. При создаваемом вами прецеденте, не понесу ли я должной ответственности перед вышестоящими органами?

Последние фразы Петр Афиногенович говорил с закрытыми глазами, как бы упиваясь плавностью своей речи.

Нечего говорить, что слог у Петра Афиногеновича был действительно превосходный и по всей справедливости мог возбуждать зависть даже у делопроизводителя. Да и что за чин делопроизводитель! Эка невидаль — ерунда! Мелкая сошка! Сам зав не один раз лично поручал Петру Афиногеновичу составление тонких докладов по особенно щекотливым вопросам, в которых, как он говорил, должна чувствоваться рука литератора, но без горьких намеков. Однако можно не без оснований предположить, что даже сами Анатолий Васильевич Луначарский едва ли смогли бы разубедить Андрея Ивановича, который твердо стоял на своем.

— Ну что ж. Вот вы и передайте, которые собрали, а мою послезавтра.

— Но ведь это нарушение жесткого распоряжения! В данном случае всякие сепаратные выступления являются по меньшей мере легкомыслием. Я, конечно, понимаю, что это дело требует некоторой игры воображения. Например, даже я не знал, как заполнить пункты пятый и восьмой раздела «А» страницы первой, однако подумал, посоветовался и вот нашелся. И потом,— тут Петр Афиногенович оглянулся и перешел на интимность,— скажу вам по дружбе и вполне откровенно, что анкета, поданная отдельно от всех и, следовательно, с запозданием, несомненно вызовет особые подозрения лиц предержащих и будет просвечена со всех сторон. Этак и под сокращение угодить нетрудно.

Но и на эти доводы Андрей Иванович только отмахнулся:

— Об этом я думаю меньше всего.

Подобный ответ ошеломит хоть кого. Петр Афиногенович, собираясь с мыслями, приглаживал свои черные виски. Проявленное безразличие к самому важному в жизни (ибо что может быть важнее службы?) справедливо вызвало у него скрытое негодование, которое, благодаря выдержке, выразилось, наконец, в язвительном тоне и усмешке в один бок.

— Вот как? Меньше всего? Вы что ж, на заем, что ли, выиграли?

— Не выиграл,— отвечал с внушительной расстановкой Андрей Иванович и, подняв глаза, в упор взглянул на Петра Афиногеновича,— не выиграл еще... но могу.

Тут он отвел глаза в сторону и как бы нехотя пробурчал:

— Да и не в том дело.

— А в чем же? — вопрос этот выскочил настолько неожиданно, что Петр Афиногенович даже прикрыл рот рукой, как бы пытаясь придержать вылетевшее слово.

— А в том, что я забыл имя жены.

Сказав это, Андрей Иванович понял, что ляпнул лишнее, и оттого сразу помрачнел.

— Ах, и-и-мя,— протянул Петр Афиногенович и отступил от стола.

— Да... имя...

— Жены? — голос трепетал.

— Да... Жены...

Петр Афиногенович отступил еще дальше.

— Но разве вы же-же-же...— он не решался досказать.

Андрей Иванович усмехнулся и подтвердил с развязностью:

— Вот именно! Же-же, и, кажется, давненько.

— Тогда... тогда как же это вы?.. Имя-то? — вопросы слетали с губ совсем помимо воли. Внутренний голос уже давно шептал: «Брось, уходи, брось...»

— Очень просто: переменила вчера имя — только и всего. Это с ней и раньше бывало... вот я и забыл. Дело маленькое.

Андрей Иванович говорил первое, что приходило в голову.

— Ну, конечно, конечно... это вполне возможно... вполне,— кивал издалека Петр Афиногенович.

При первой, как ему казалось, удачной возможности закончить разговор он повернулся спиной и быстро пошел прочь. Ошарашенный всем происшедшим, он даже не заметил, что дошел до стола Карасиковой и уперся в него.

Там он и остался стоять, боясь оглянуться на стол Андрея Ивановича, и не то соображал что-то, не то терпеливо ожидал, чтобы на него обратили внимание.

Наконец Карасикова довела палец до конца платежной ведомости и, перестав щелкать на счетах, вопросительно подняла глаза.

Петр Афиногенович словно только того и ждал.

— Плохо дело,— сказал он со вздохом,— с Андрей Ивановичем плохо, вот здесь плохо,— и повертел пальцем перед собственным лбом.

Карасикова не выразила ни удивления, ни огорчения, она только поинтересовалась, выписывать ли Андрею Ивановичу жалованье общим порядком или же через страхкассу.

— Эх, это формальность,— досадливо отмахнулся Петр Афиногенович.— В данном случае я совсем не о том, я о семье...— и, не докончив, пошел доложить обо всем делопроизводителю.

Тот сразу засуетился.

— Ну, а входящие-то? Входящие? Может?

— То есть что это может? — не сообразил сразу Петр Афиногенович.

— Не жевать, конечно, а регистрировать?

На это Петр Афиногенович отвечал подумав и с сознанием принимаемой на себя ответственности:

— Полагаю, что еще может, но все же лучше, если бы вы сами констатировали... А я все о семье...

— Констатировать? Самому? Да-да, конечно, сейчас...

Делопроизводитель быстро прокатился туда и обратно.

— Глаза необычные,— пропыхтел он, цепляясь за пуговицу толстовки Петра Афиногеновича,— но штемпелюет вовсю... Этак: та-ах — та-тах — любо-дорого смотреть, очевидно служить может... До остального не касаюсь.

Вскоре вся канцелярия знала о странном поведении Андрея Ивановича, но вида не подавала. Однако стоило ему выйти зачем-то из комнаты, как все переглянулись и разом заговорили об одном и том же. Не нужно даже было называть по имени того, о ком шла речь,— всем было и так понятно:

— Слыхали? Дошел до точки!

— Да, да. С чего это он?

Пальцы Задрыкиной замерли на клавишах машинки, словно боялись забыть, на каком слове они остановились.

— Что ж,— сказала она,— этого надо было ожидать. Вчера, например, я ему первая говорю «здрасте», а он ноль внимания. Такой невежа. А теперь просто страшно становится: вдруг да он бросится!

И она, не отрывая рук от клавишей, почесала о плечо подбородок.

— На кого это? — сверкнул белыми зубами Завитков.— Уж не на вас ли? Будьте покойны. Мозги-то у него не совсем еще потемнели...

Так как в этот момент вошел Андрей Иванович, то все сразу замолчали, а Задрыкина успела лишь сверкнуть глазами в сторону Завиткова и вместо слов нервно звякнуть кареткой. Она оторвала от клавишей приросшие к ним пальцы и стала искать на черновике то место, на котором остановилась.

Служебные часы были отработаны больше чем наполовину. Как всегда в начале второй половины дня, работа канцелярии достигла своего наибольшего напряжения: машинки стрекотали, не переводя дыхания, счеты отбивали дробь, точно зубы при сильном ознобе, служащие углубились в дела и даже не курили.

Однако Андрей Иванович чувствовал, что нет-нет да ктонибудь и взглянет на него, будто невзначай, но на самом деле испытующе и с любопытством. Если при этом он ненароком

встречался сс взглядом Андрея Ивановича, то поспешно отводил свои глаза либо вверх на стенные часы, либо просто так в пространство, будто размышляя о чем-то очень существенном.

В четвертом часу напряженность в работе стала ослабевать. Зажгли электричество, и стало заметно, что в комнате сильно накурено. Пробежала газетчица с «Вечерней Красной», и многие, отложив дела в сторону, принялись знакомиться с последними новостями. Большинство интересовалось происшествиями, судебными делами и объявлениями, кое-кто заглядывал в театральный отдел. Менее же радивые к службе просто-напросто отправлялись мыть руки с таким расчетом, чтобы вернуться обратно к самому концу занятий.

По коридору прокатился делопроизводитель, нагруженный бумагами для подписи. Он осторожно приотворил дверь в кабинет и сперва окунул в него голову, а затем, придерживая дверь, протискался в нее, точно она была на крепкой пружине и у делопроизводителя не хватало сил распахнуть ее пошире.

В кабинете начальства лицо его тотчас же превратилось в зеркало чужих выражений: оно хмурилось, улыбалось, негодовало и огорчалось одновременно с лицом того, кто принимал доклад делопроизводителя.

И как всегда, глядя перед собой, веско и медленно ронял зав свои мысли:

— Мне тут нужно будет устроить одну ... конторщицей... весьма аккуратная девушка и чуткая к делу девушка: на ходу схватывает. Так вот как у вас?

Лицо делопроизводителя было, так же как у зава, вдумчиво и преисполнено благожелательности.

— Такие нужны, Владислав Осипович, ох как нужны! Кстати, сегодня у конторщика Андрея Бодюли обнаружено душевное расстройство. К сожалению, пока еще слабое. Однако есть большая надежда, что болезнь не задержится развитием, вот тогда можно будет поднять вопрос о замене...

— Да-да,— отвечал зав на свои мысли,— аккуратная девушка, и очень чуткая к делу девушка...

3

Как только часы пробили половину четвертого, Андрей Иванович, не прощаясь с сослуживцами, поспешил одеться и выйти на улицу.

Воротник пальто всем своим видом свидетельствовал, что его хозяина с непреодолимой силой и упорством тащат в заранее обдуманном направлении. Поэтому хотя до булочной было и далеко, но Андрей Иванович домчался до нее чрезвычайно быстро.

Сразу войти в нее он не решился и, как вчера, подошел сперва к окну. Продавщица стояла на том же месте и так же размеренно поворачивалась от прилавка к полкам и обратно. Андрею Ивановичу почудилось даже, что она никуда и не уходила, что еще не было ни нового дня, ни службы, и что сам он бог весть сколько времени стоит вот так у окна.

«Да что ж это я? — опомнился вдруг Андрей Иванович.— Ведь сегодня имя нужно узнать... имя... анкету заполнить». И он быстро спустился в булочную.

Сладкое тепло, обдавшее Андрея Ивановича, и захлебывающийся хрип автомата «National» немедленно и окончательно связали его со всеми ощущениями вчерашнего дня. Эти ощущения были похожи на те давнишние, уже забытые, которые он испытывал на любительском спектакле, когда стоял в темноте кулис и жал послушную руку...

Как и вчера, он купил трехкопеечный талон и встал в очередь.

Все время он тщательно следил за тем, чтобы не свернуть талон в трубочку.

«Как протяну его, так и скажу — здрасте,— нужно только погромче, может она взглянет и узнает. А там как-нибудь и про имя спрошу...»

На этот раз счастливая случайность помогла Андрею Ивановичу: в тот момент, когда очередь дошла до него, к продавщице подбежала другая:

— Нюта Андреева,— крикнула она,— к телефону тебя! Иди, скорей... я отпущу здесь... Вам что? — обратилась она к Андрею Ивановичу и протянула к нему через прилавок руку.

Так как он не отвечал, продавщица взяла талон у следующего покупателя и с тем же знакомым размеренным полуоборотом повернулась к полкам.

— Мне ничего... я после,— ответил с опозданием Андрей Иванович и отошел от прилавка.

Несколько минут он в глубоком размышлении стоял посреди булочной, а затем решительно пошел к выходу.

Возле самого дома задержался у ворот и, думая о своем, долго и будто со вниманием глядел на комнатного кобелька, которого хозяйка вывела на кратковременную прогулку. Кобелек был чахлый и маленький, изнеженный теплом и человеческой заботой. На нем была теплая пестрядинная попонка, а на шее большой красный бант. Кобелек неподвижно стоял на панели, и в слезящихся глазах его были самоуверенность и скука. Для него было несомненно, что это он, кобелек, вывел хозяйку на прогулку и теперь терпеливо ждет, когда она, досыта нагулявшись, подхватит его под брюхо и понесет домой.

«Пусть погуляет, пусть — мне-то что? Захочу, так и в комнате...»

Во всей фигуре кобелька, даже в том, как он тянул носом воздух, была пресыщенность всем земным. Лишь изредка, во имя собачьего достоинства, он пытался тявкнуть, и это всегда было так неожиданно, даже для него самого, что он сразу оседал на задние лапы.

— Ишь, дьяволы, что с собачкой сделали,— пожалел его какой-то прохожий и тоже остановился у ворот.

Прохожий был в ласковом хмелю.

— Издевательство какое,— продолжал он, и вдруг зачмокал губами: — Ну, ну, песик, пойди сюда, пойди к старому пьяному классику, я тебя рас-рас-пелен-н-наю, да кстати и кусаться обучу...

Этого было достаточно.

— Мустанг! Мустанг! — закричала хозяйка.— Домой.— И, подхватив кобелька, юркнула в дом.

— Эх ты, собачья гибель,— вздохнул прохожий.— Вот видите,— обратился он к Андрею Ивановичу,— засосало, и разложился. Кобелек-то разложился, говорю.

В словах прохожего звучал пьяный смех.

— Даром что животное, а вы вот говорите... И-эх!

Он стал серьезным. Несколько минут стоял покачиваясь и уставившись глазами в панель.

— Я как Ап-ап...— начал он и сочно икнул...— Я как Ап-ап...— попытался он что-то сказать и опять икнул.

Тогда, махнув безнадежно рукой, он побрел дальше.

Андрей Иванович стоял и слушал удаляющуюся икоту.

— Я как Аполлоний Тианский,— закричал вдруг издалека прохожий,— поймаю духа чумы и заставлю его признать себя виновным перед всем народом!

Тут Андрей Иванович заметил, что держит что-то в руке,— это был свернутый в трубочку талон.

«Может, пригодится еще»,— подумал Андрей Иванович и, сунув его в карман, вошел в подъезд.

Поднимаясь по лестнице, Андрей Иванович почти на каждой ступеньке повторял: «Нюта Андреева, Нюта Андреева, Нюта Андреева... Да ведь так и есть,— остановился он на минуту.— Меня зовут Андреем, значит, если спросят ее: вы чья жена будете? — Я? Андреева.— Правильно, совершенно верно: Нюта Андреева, Нюта Андреева...»

Он снова зашагал по ступенькам. С каждым этажом у него созревало решение, которое по приходе домой он немедленно же стал приводить в исполнение: не снимая пальто и шапки, сел за письменный стол, вытащил из ящика почтовую бумагу, конверты

и принялся сочинять письмо. После долгих размышлений он написал следующее:

«Многоуважаемая Нюта Андреева!

Я покупал у вас все эти дни булки. Может, запомнили? Нюта Андреева, я не зря покупал булки, а потому что решил поговорить с Вами о деле, так как я холостой и могу быть вам очень полезен. Нюта Андреева, я решил написать роман и жениться. Помогите мне — иначе я погибну.

Ваш покупатель

Андрей Бодюля».

На конверте он написал адрес булочной и запечатал в него письмо. С каждым новым поступком Андрей Иванович чувствовал себя все смелее и смелее: вот написал, вот запечатал, вот и адрес на конверте. Теперь только опустить... Те-те-те-те, а впрочем, пожалуй, не все, ну да, конечно, не все. Он распечатал конверт, вынул из него письмо и приписал:

«Нюта Андреева, я живу недалеко от булочной, по Гулярной улице в д. № 17, кв. 25 (первая парадная от угла, пятый этаж). Завтра воскресенье, и если вы зайдете ко мне, выпьем чайку, так как я одинок, а мне Вам нужно что-то сказать».

Запечатав письмо в новый конверт и написав на нем адрес, Андрей Иванович поспешил выйти из дома, чтобы, не теряя ни минуты, отправить письмо по назначению.

К тому времени как Андрей Иванович вышел на улицу, на обычную городскую синеву начал надвигаться туман. Оттого заколебались и стали оплывать все очертания, а в фонарях пожелтели огни. Туман не стоял на месте, а качался и плыл, перекрашивая город из синего цвета в сизый.

Андрей Иванович дошел до почтового ящика и не колеблясь опустил в него письмо.

— Готово! — с торжеством произнес он и в задумчивости забарабанил пальцами по холодному ящику.

— Готово,— повторил он еще раз, но уже таким тоном, будто убеждал себя в чем-то.

Неожиданно из тумана раздался звук скрипки. Какая-то дрожащая от нужды и холода рука выводила мотив. Звуки протискивались сквозь туман и настойчиво просили подаяния у невидимых прохожих.

«Из „Сильвы“»,— сообразил Андрей Иванович и, облокотясь на ящик, стал слушать.

— «Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? — громко пропел кто-то.— Помнишь ли ты? Помню ли я?..»

Пение оборвалось.

— Ничего не помню,— ответил сам себе тот же голос,— потому такой порядок у меня: раз пьян, задерживаю в памяти только то, что на свету было, а что в темноте-то — ау: выпадает...

В приближающейся к ящику тени Андрей Иванович признал того самого прохожего, который недавно приставал к кобельку.

— Но я,— продолжал прохожий,— не печалюсь, молодой человек, нет-нет, не печалюсь, потому что, как вам известно, свет стоит до тьмы, а тьма до свету...

Он икнул и, обдавая Андрея Ивановича винным перегаром, облокотился на ящик с противоположной стороны.

— Охо-хо... Корреспондируете? Кредитору? Любимой? Ну что ж — это в порядке вещей. Может, здесь,— он постучал кулаком по ящику,— много уже таких, и даже в один адрес...

— Нет,— резко и твердо выговорил Андрей Иванович, отступая от ящика,— такого здесь нет.

Прохожий рассмеялся.

— Ясно: в данном случае — любовь и, может быть,— ревность. Но вспомни Пруткова: обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни, а потому скажу тебе, слышишь! — продолжал он, стараясь дотянуться рукой до рукава Андрея Ивановича.— Брось, пренебреги. И вот еще, это уж по секрету, запомни чужую, но прекрасную мысль: никому не случалось быть дважды на одной и той же реке, потому что в ней течет постоянно другая вода... Мы существуем и не существуем. Видишь — туман...

Андрей Иванович повернулся и пошел домой.

— А я вот блыкаюсь...— донеслось от ящика,— блыкаюсь, потому душа у меня влажная. Понимаешь, или нет? Гераклит ты несчастный!..

Возле самого своего дома Андрею Ивановичу надумалось зайти в подъезд напротив.

Парадная лестница была важная, тихая и теплая. Возле двери в швейцарскую у стола сидел и дремал с зажатой в руке газетой старик швейцар. Как только стукнула дверь, он открыл глаза, старательно поправил на носу очки и поверх них взглянул на Андрея Ивановича.

Таким взглядом он всю свою жизнь встречал, провожал и по-разному оценивал всех входящих и уходящих. Несомненно он был глубоко убежден, что никто без него не найдет ни входа, ни выхода и что, вообще-то говоря, люди совсем зря бродят и мечутся, беспокоя тишину и остужая специально для него построенную парадную.

— Скажите,— обратился к нему Андрей Иванович.— Вот у вас тут на доме антенна стоит. Как это делается? С разрешения или просто так?

Старик медленно поднялся со стула, снял очки и, как бы предвидя долгий разговор, сложил газету, а очки спрятал в стол.

— Это которая на крыше-то? — переспросил он.— Как же, как же, имеется. Инженер тут один жили у нас во втором этаже... Прохорчук Петр Игнатьевич... чахлые такие из себя были, но, говорят, очень ученые... За собой совсем не следили. Все у них пуговица на хлястике у пальто обрывалась. Бывало, выйдет из квартиры, а хлястик болтается и пальто — халатом...

О всех живших в доме швейцар сообщал очень охотно, со всеми подробностями, и при этом всегда с большим уважением отзывался о жильцах первых трех этажей. Однако на этот раз предполагавшийся пространный рассказ был прерван внезапным вопросом:

— А разве он уехал?

— Отбыли, отбыли,— закивал швейцар.— Почитай уж месяцев с десяток, а то так и с годок будет. Получили перевод в Москву.— Тут швейцар перешел на интимный шепот.— Говорили в доме, будто бы добровольно, из-за семейных неприятностей...

По-видимому, он хотел подробней остановиться на этой стороне жизни инженера Прохорчука.

— А как же она? — опять перебил его Андрей Иванович.

— Жена-то? — подхватил швейцар с увлечением.— Да жена-то что? У ней, говорят...

— Нет, я про антенну,— для пояснения Андрей Иванович указал пальцем на потолок.

Швейцар тоже взглянул наверх, понял, о чем спрашивают, и интерес у него разом ослабел.

— Да как? Провода поснимали, конечно, а об ней за хлопотами, видать, из головы улетело. Да и где уж там. Хотя, надо сказать, что они этим делом очень сильно интересовались. Я так полагаю, что не иначе как потому, что с женой у них нелады были. А та уж такая несимпатичная — только и дела, что в ботиках шорк-шорк верх да вниз...

— Значит, она забытая,— задумчиво и взволнованно произнес Андрей Иванович. На лице его было смятение.

— Это вы про кого? — опять не понял швейцар.

— Да антенна-то!..

— А, вы все про это. Да, выходит, что вроде как бы забытая.

Разговор перестал интересовать швейцара. Он сел, вынул из стола очки, надел их и снова взялся за газету. Однако на всякий случай спросил через плечо:

— А вы сами-то, гражданин, кто будете? По возрасту, так будто с ее стороны?

Андрей Иванович отрицательно покачал опущенной головой.

— Так, может, покойничку сродни приходитесь?

— Какому покойничку? — поднял голову Андрей Иванович.

— Да Петру Игнатьевичу-то. А я думал, что вы все знаете. Ведь застрелились они. До Москвы даже не дотерпели, а прямо в поезде...— Тут швейцару пришлось замолчать, так как гражданин, не дожидая конца рассказа, пошел к двери.

— Нет, я не сродни ему,— ответил Андрей Иванович и взялся за дверную ручку.

Внезапная догадка осенила швейцара:

— Так вы, надо полагать, из Гепею будете? — при этих словах он на всякий случай привстал. В голосе его послышались нотки, очень похожие на те, которые звучали когда-то при разговорах с хозяином дома.

— Нет, я не оттуда,— успокоили его,— я из дома напротив.

— Ах, напротив,— протянул швейцар.— Вот оно что. Не держите дверь-то открытой, молодой человек,— либо туда, либо сюда. Ведь холоду напускаете. Эх вы, товарищи, и всему-то учить вас надобно. Уж больно вы любопытные...

Он долго еще ворчал, разглаживая рукой газету и глядя поверх очков на то место, где только что стоял и разговаривал с ним ушедший молодой человек.

Все эти сведения очень обескуражили Андрея Ивановича.

Забытая... без проводов... Палка, простая палка, и торчит совсем зря...

Голова Андрея Ивановича была похожа на почтовый ящик, в ней копились разные мысли, но каждая была в особом конверте, не связанная с другими, и каждая ждала, чтобы кто-то распечатал ее и прочел.

По приходе домой, Андрей Иванович почти тотчас же лег спать, однако заснуть не мог.

Ну вот завтра получит и придет... думалось ему. Только в котором часу она может получить? Вероятно, днем, а то даже и утром... А ну как возьмет да и не придет? Ну как так не придет! Конечно, придет! Обязательно придет!...

И ему живо представилось, как она будет сидеть на диванчике, а он возле рояля.

«Нюта Андреева, хотите чаю?»

«Мерси»,— и кивнет головой, а локон шевельнется вперед и назад.

«Тогда присядьте пока вот сюда к столу, а я на кухню за кипятком сбегаю. У нас, знаете, днем всегда кипяток в кубе имеется...»

На кухне вместо куба — почтовый ящик, только с краном, а возле опять тот же знакомый уже пьянчуга. Он стучит кулаком по ящику.

«Вот, молодой человек,— много здесь таких, и все в один адрес...»

«Ну погоди,— осерчал вдруг Андрей Иванович,— дай только кипятку нацедить, я тебя за такие слова так ахну, что и своих не узнаешь».

Повернул кран и сразу же очутился у себя в комнате.

«Теперь, как только допьем чай, так нужно и начинать...»

«А роман?» — встревожилась вдруг старая мысль. От нее защемило сердце и раскрылись глаза.

«Да, в самом деле, а как с романом? Ведь не напишешь, никогда не напишешь. Пустяки все, выдумки. Только посмеется она. И как еще посмеется...»

Нюта Андреева, сидя на диванчике, заливалась обидным смехом:

«Ой, уморил! Писатель, туда же! Конторщик вы — Андрей Бодюля вы, вот кто! Чепуха на постном масле. Да как вы смеете предложение делать? Вот вам...» — и по щеке...

Андрей Иванович охнул и приподнялся на кровати.

«Действительно, как же это я? Ведь ничего нет: ни романа, ни антенны... и подписался еще отчетливо: Бодюля. Вот дурак! Да какая женщина придет после этого? Скомкает письмо и бросит на пол — только и всего. А может, еще и ногой наступит да разотрет, как плевок. А может, еще того хуже, подругам прочтет, а тех, мерзавок, хлебом не корми, сейчас и пойдут: хи-хи да ха-ха. В булочную поди теперь и не заглянешь: пальцами затычут...

Э-э, пустяки все,— отмахнулся Андрей Иванович,— пустяки... Ну и не написал роман, эка штука: и без него обойдемся. Да, наконец, кто сказал, что не напишу? Захочу — и будет по-моему...»

Он снова прилег.

«А все же хорошо, если бы почта зашилась и не доставила. Мало ли писем пропадает? Только нет, доставят, подлецы, уж что-что, а это доставят, назло доставят. Ну и заварил дельце! А деньги? Где взять их? Ведь без денег ничего не выйдет — это уж наверняка ... значит, прощай женитьба, опять один...»

На Андрея Ивановича поверх очков глядел старик швейцар:

«Да выходит, что вроде как бы забытая...»

У швейцара белые зубы, точь-в-точь как у конторщика Завиткова. Он переводит взгляд с антенны на Андрея Ивановича и хитро подмигивает:

«Похожи, слов нет...»

«Да вы-то, вы-то все, кто вы такие будете? — закричал Андрей Иванович и открыл глаза.— Фу, вот проклятое письмо! Ведь экая дурь нашла. Да она и в лицо-то меня, наверно, не помнит. Или вдруг знакомые у ней есть... на службе... Задрыкина например, Завитков. Издеваться станут, проходу на службе не будет: писатель Бодюля. Нет, конечно... нельзя... невозможно, нужно достать письмо, достать во что бы то ни стало!..»

Не ясно соображая, что он делает, Андрей Иванович стал быстро одеваться.

— Опять надень, опять надень, опять надень...— машинально и торопливо шептали его дрожащие губы.

Несколько пуговиц не выдержали спешки и отскочили от своих мест.

— Скорей, скорей,— подгонял себя Андрей Иванович.— Вот так... Теперь пальто, теперь пальто... О, чтоб тебе!..— он попал рукой в подкладку рукава и окончательно разорвал ее.

— Где шапка? Что за черт, куда шапка задевалась? — Он метался по комнате, заглядывал под рояль, шарил под диваном... Митрич, уверенный, что это ищут именно его, притом не по-хорошему, так как разве мало грехов за душой у каждого кота, спасался во всех направлениях и по всем правилам кошачьей стратегии. Наконец шапка была обнаружена: она лежала на столе...

Когда Андрей Иванович выходил на лестницу, его окликнула высунувшаяся из своей комнаты голова квартирной хозяйки:

— Куда это вы на ночь-то глядючи? Ведь скоро и парадную закроют...

Андрей Иванович оглянулся на голос, и во взгляде его было такое, что голова тотчас же спряталась.

— Господи боже мой,— прошептала она уже у себя за дверью,— до каких глаз дошел человек. Уж не сказать ли управдому? Ох, чует мое сердце, что комната скоро освободится. Как бы он только рояль напоследки не загадил.

В этот момент за Андреем Ивановичем гулко захлопнулась дверь. Хозяйка вздрогнула и перекрестилась.

— Спаси и сохрани...

Андрей Иванович, перемахивая через две и три ступеньки, сбежал вниз и выскочил на улицу.

Туман все так же качался и плыл, но был он гуще и душнее. Весь город курился туманом. Уже занялись крыши домов, уже сами они, ослепленные и расшатанные туманной качкой, сдвинулись с мест и, колыхаясь, поплыли... Они исходили туманом и, сливаясь с ним, таяли вдали, как снег, брошенный в летнюю речную воду. И непонятная тревога охватывала сердца всех прохожих то ли за себя, то ли за исчезающий город...

А над людьми, над домами, над туманом проходили очередные незримые волны. Сейчас они расплескивали по городам и весям лукаво-дерзкий марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»...

— Слушайте, слушайте, граждане!..

И жадное человеческое многомиллионное ухо ловило каждый всплеск проходящих волн.

Андрей Иванович чуть что не заблудился, пока искал почтовый ящик.

Наконец нашел его.

Он висел такой обычный, наполненный разными скрытными мыслями и желаньями, такой нужный и безразличный.

«Достать, достать письмо во что бы то ни стало!»

Андрей Иванович бросился на ящик, как на врага. Сперва он попробовал сорвать верхнюю крышку, но это не удавалось. Тогда он обхватил ящик руками, пытаясь раскачать его и сорвать со стены.

Ни на одну секунду Андрею Ивановичу не приходило в голову, что несмотря на туман его все же могут заметить. Он совершенно забыл, что находится на улице, и чувствовал себя так, будто все это происходит в комнате, очень похожей на его, но только более тесной. Кроме того, у него было ощущение, которое не сказалось ни в уме, ни вслух, но которое можно было бы определить словами: «Теперь все равно».

Однако ящик не поддавался.

— Ну ты там не балуй, не балуй! — раздался совсем около чей-то равнодушный голос.

Андрей Иванович отскочил в сторону.

К ящику, шаркая ногами, подошел человек. Он ничего больше не сказал Андрею Ивановичу и даже не поглядел на него. Вдвинув под низ ящика мешок, он вставил в отверстие сбоку ключ, повернул его и похлопал по ящику руками.

Почтальон и ящик были похожи на двух заговорщиков, которые без лишних слов делают свое тайное дело: ящик передавал почтальону накопленные им человеческие чувства, заботы и мысли.

«Увозят!» — сообразил Андрей Иванович и дрожащим рукавом стер с лица крупные капли пота.

Почтальон повернул ключ и вытащил ящик.

— Послушайте, товарищ почтальон, а товарищ почтальон,— произнес вдруг Андрей Иванович и подошел вплотную к ящику.

Почтальон обернулся с таким видом, словно сказал: «Ну чего?» Он был седой, волосы его сливались с туманом и с овечь-

им мехом на воротнике тулупа. Глаза, равнодушные и бесцветные, напоминали кобелька.

Андрей Иванович заторопился.

— Скажите, нельзя ли вынуть отсюда (он указал на мешок) одно письмо? Опустил я совсем по ошибке... Прямо сам даже не знаю как...

Но почтальон, шаркая ногами, уже уходил от Андрея Ивановича.

— Стойте, товарищ, прошу вас,— в голосе звучали отчаяние и последняя мольба.

Шорканье прекратилось, почтальон остановился.

— Иди ты знаешь куда,— сказал он.

— Куда?

Почтальон поглядел на Андрея Ивановича, и насупленные густые брови его шевельнулись не то с насмешкой, не то с укоризной.

— На почтамт,— наконец ответил он таким тоном, точно сказал не то, что думал, и снова зашаркал.

«Уносят!» — опять пронеслось в мозгу Андрея Ивановича.

Перед глазами мелькнули швейцар, Завитков, булочницы. Все смеялись, показывали пальцами...

— Отдай мне письмо! — закричал Андрей Иванович.— Отдай! Слышишь!

Он нагнал почтальона и одной рукой с силой рванул мешок, а другой толкнул его в спину.

Почтальон упал.

Андрей Иванович вырвал мешок и бросился вперед, в туман...

— Держи!.. — услышал он позади себя хриплый и удивленный голос...— Письмо спер, сукин сын, держи-и!..

Андрей Иванович изо всех сил прорывался сквозь туман. Улицы, дома, памятники — плыли в одну сторону, а он навстречу им, против всех, в другую... Мгновеньями ему казалось, что он не может справиться с течением, что, несмотря на все усилия, он стоит на месте, что скоро весь город промчится мимо него и тогда под ногами разверзнется пропасть...

Андрей Иванович метнулся в первый ближайший подъезд и одним духом взял всю лестницу до самой верхней площадки.

Там, изнемогший от бега и пережитого, он выронил из рук мешок и прислонился плечом к стене.

Все мысли были растеряны, время забыто. Дыхание, громкое и прерывистое, вырывалось с каким-то всхлипыванием...

Этот звук первым дошел до сознания Андрея Ивановича. Он перевел дух и огляделся. Только теперь он понял, что находится в своем доме, против двери в свою квартиру.

На лестнице было тихо, но в этой тишине ощущалась какая-то настороженность. Казалось, что по ту сторону каждой двери стоят люди, некоторые из них слушают, приложив ухо к дверной щели, а некоторые глядят в замочную скважину. Они пока что молчат и чего-то ждут...

Возле ног Андрея Ивановича лежал большой серый мешок. Он сразу же с большой точностью и остротой напомнил обо всем происшедшем.

Пожалуй, ищут... с собаками ищут...

И вот уже по всему дому рыскают огромные злые псы. Они лязгают зубами, и шерсть у них дыбом. Вот сейчас доберутся до верха... Добрались... вот увидели... вот молча, обязательно молча, ринулись и мертвой волчьей хваткой схватили за горло... Андрею Ивановичу стало душно, он рванул воротник у пальто и чуть не вскрикнул от охватившего его ужаса.

Но непрерывная и полутемная тишина начинала успокаивать его. Весь дом дышал уже мерным сонным дыханием. Заглушенный уличный гул еще более убеждал в ненарушимости наступившего покоя.

Андрей Иванович пошарил в кармане и вытащил дверной ключ. Вместе с ним из кармана захватилась и упала на пол какая-то бумажка. Легкий шорох заставил Андрея Ивановича вздрогнуть и замереть на месте.

Несомненно, это был не шорох, а стук, громкий стук на всю лестницу, и несомненно, что сейчас разом, как по команде, во всех этажах распахнутся двери, из них выскочат люди и, указывая пальцами на Андрея Ивановича, крикнут:

— Вот он! Хватайте!

Но лестница оставалась все такой же тихой. Где-то внизу заиграли на рояле.

Выждав некоторое время, Андрей Иванович наклонился и поднял бумажку. Это был трехкопеечный талон. В непонятной злобе он разорвал талон на мелкие клочки.

— Все из-за тебя, все из-за тебя,— шептал про себя Андрей Иванович.

В этот момент хлопнула парадная дверь.

«Идут! — тревожно сверкнула старая мысль...— Идут!» Теперь казалось, что единственным спасеньем было как можно скорее попасть в свою квартиру. Однако ключ никак не попадал в замочное отверстие.

— О, черт!

Внизу тявкнула собака раз, другой, третий — кто-то поднимался по лестнице.

«Так и есть — за мной...»

Шаги приближались.

— Мустанг,— донеслось до Андрея Ивановича.— Мустанг, да будет тебе! Чего ты злишься? Вот злюка!

— Тьфу! — громко отплюнулся Андрей Иванович.

Он не спеша подобрал мешок, отпер дверь и вошел в квартиру.

Случай с Мустангом сразу разогнал все страхи. Андрей Иванович, уверенно топая каблуками, прошел в свою комнату и заперся в ней на два оборота ключа.

Без всякой торопливости он снял и повесил пальто и шапку на их обычные места, а затем присел к столу и осторожно распорол низ мешка.

Вытряхнув на стол письма, Андрей Иванович тщательно пересмотрел их и на несколько минут задумался. Потом сызнова принялся трясти мешок и перечитывать адреса, но и на этот раз он не нашел среди них того, что искал.

Казалось бы, что это обстоятельство должно было чрезвычайно озадачить и огорчить Андрея Ивановича: такой риск, такие волнения, и все по-пустому. Но как ни странно, отсутствие письма к Нюте Андреевой было воспринято им с достаточным равнодушием. Такое состояние свойственно человеку, который сделал все, что было в его силах, и в дальнейшем покоряется неизбежности. Даже самое похищение мешка стало казаться не таким уж серьезным проступком и, во всяком случае, заслуживало снисхождения.

«Ведь теперь выходит, что будто без всякой корысти, а лишь для озорства...»

Он даже опять размечтался о том, как завтра придет к нему Нюта Андреева, а когда случайно припомнил почтальона, то фыркнул и беззвучно рассмеялся:

«Вот, поди, обалдел! Пожалуй, так раком и полз до самого почтамта...»

Андрей Иванович долго не мог успокоиться...

Потом он облил мешок керосином, положил его в печку и поджег.

«А письма?» — он оглянулся.

Они лежали на столе, эти чужие, лишенные своей судьбы мысли. Их взяли в плен и погубили раньше, чем они достигли своей цели.

Андрей Иванович подошел к столу, взял первое попавшееся письмо и прочел его.

«Добрый день, тетя! Шлю тебе свой низкий поклон. Тетя, нам проводники сказали, что вы взяли нашу подушку, так что Вам теперь придется вернуть. Пришлите, пожалуйста, следующий раз с проводником, иначе Вам будут неприятности. Пришлите, я выйду встречать их. Тетя, обязательно выйдите в чет-

верг к скорому встретить проводника. Мы посылаем вам чай. Затем до свидания».

— Ай да тетя,— усмехнулся Андрей Иванович,— подушку слямзила, да и племянничек хорош,— чаем заманить хочет...

Он скомкал и бросил письмо на пол.

Следующее было любовное и кончалось так:

«Обрадуйте Вашей решимостью осчастливить меня и произнести роковое для меня слово „да“».

Андрей Иванович отложил его в сторону.

— Хорошо написано, может пригодиться когда-нибудь...

Эта сортировка начинала занимать его. К тому же он вдруг почувствовал некую ответственность перед теми, кто должен был получить эти письма, и потому счел себя обязанным прочитать всю почту от начала и до конца.

Андрей Иванович сел за стол и принялся за чтение. Некоторые письма он откладывал в сторону, а большинство комкал и бросал на пол.

Мешок в печке давно сгорел. Хозяйкины часы, бой которых доходил через стенку только в ночное тихое время, пробили уже не один раз. Андрея Ивановича сильно клонило ко сну, он протяжно зевал и даже иногда клевал носом, однако чтения не прерывал и упорно боролся с дремотой.

Наконец он добрался до последнего письма.

Распечатав плотный серый конверт, он вытащил из него два листа, исписанные убористым четким почерком.

Не будучи уже в состоянии вникать в смысл написанного, он пробегал глазами по словам и произносил их чуть слышным шепотом.

«Дорогой друг! Боюсь, что мое первое письмо в той части, где я писал тебе, что тюрьмы — вехи моей жизни, было понято тобой неверно. Боюсь, что я предстал в несвойственной мне роли «борца, приявшего муку за идеи» — нет, нет. Совсем не так: ни капельки борьбы, ни капельки идеи. Жизнь — чудесная штука, она самоцель и хороша во всех проявлениях. Самые жестокие страдания также прекрасны, ибо во всем контрасты. В ней самой гармония, в ней и „как“ и „что“...»

На этом месте Андрей Иванович задержался, чтобы стереть кулаком слезы, выдавленные зевотой.

«Не бросить ли?» — подумалось ему, но, пересилив себя, он продолжал читать дальше:

«Я принял революцию, принял всю суету сует наших дней, бестолковых больше, чем бурных. Именно водоворот этой бестолочи бросал меня и всячески мытарил. Никакого героизма, никаких идей — одна бестолочь нелепая, часто трагическая, а еще чаще смехотворная. Вероятно, это очень близоруко и глупо не чувствовать пафоса эпохи, ее железных шагов. Но право же, я не чувствую их, и самая жалкая пошлость окружающего застлала мои глаза. Пошлость в ее самых высоких проявлениях лицемерия и ханжества. Они пропитали собой и науку, и искусство, и, прости меня, Коля,— литературу. Огромные уже и превосходные мастера попали в ее железные объятия, и нет Дон-Кихота, который бы разбил их. Какой же может быть пафос, когда нет Дон-Кихота?»

Андрей Иванович заклевал носом, но вскоре очнулся и опять с непонятным упорством принялся за чтение.

«Больше всего злит подслащенность и позолота, критика до предела, смех до границ, ирония, но в рамках. Ущербленная правда хуже лжи, ибо она лицемерна, ограничена и тупа. Во лжи же есть размах, пусть даже наглый, она все-таки творчество и, значит, может быть искусством. Правда же с оглядкой — всегда суррогат и никогда искусством не будет...»

Тут Андрей Иванович окончательно почувствовал, что ему не одолеть всего письма. Он скомкал его и бросил на пол ко всем остальным.

«А ведь я сегодня даже не пообедал...» — пришло вдруг ему в голову.

Он встал, потянулся и пошел к кровати.

Через несколько минут с постели раздалось ровное, спокойное дыхание...

Часы у хозяйки пробили по обязанности и неизвестно для кого четыре раза.

Этот бой слышал только кот Митрич, который весь остаток ночи шеперстил скомканными и разбросанными по полу бумажками, приводя их в порядок по своему кошачьему разуменью...

4

Андрей Иванович заспался и не видел, как утро сорвало с города туманное покрывало и показало его таким застенчиво-розовым, таким празднично-спокойным, что всякий

впервые увидевший его мог бы подметить в нем и бодрость, и радость, и довольство. Все, все до самых мелочей убеждало бы его в этом: и упругий хруст снега, и веселые, как само утро, воробьи, и воздух, который как заберешь в грудь, так сразу и невольно подумаешь:

«А, верно, привезли уже в булочные горячий ржаной хлеб...»

И казалось, что вместо унесенного туманом города возник за ночь другой, что у него будет новая, еще не рожденная история и что несмываемые страницы ее будут так же искренни и незлобивы, как свет этого свежего утра...

Андрей Иванович только в первом часу открыл глаза. Он долго смотрел на разбросанные по полу бумажки, и мысль его как сквозь туман медленно пробиралась то к одному, то к другому событию вчерашнего дня.

Вспомнить всех их сразу и с одинаковой отчетливостью он не мог. Ощущения, которые он пережил на лестнице, тотчас же застилались туманной пеленой, лишь только он отходил от них к воспоминаниям о почтальоне и почтовом ящике.

— Ну и ну,— вздохнул Андрей Иванович,— нечего сказать — угораздило...

Он перевел глаза на кота Митрича, который, сложив муфточкой передние лапы, сидел на кровати.

Немигающий, желтый взгляд Митрича отсвечивал укоризной.

«Как бы ты и жил без меня,— говорил он,— смотри, сколько насорил: даже я за ночь едва управился...»

Андрей Иванович оделся и стал убирать комнату. Когда он кидал в печку скомканную бумагу, то вспомнил про последнее письмо, и ему захотелось для порядка дочитать его.

Он долго шарил по полу и наконец, отыскав письмо, принялся тщательно разглаживать его на коленке.

Тут же, сидя на корточках, Андрей Иванович приступил к чтению. Так как он не помнил, на каком месте остановился, то решился прочесть последнюю страницу.

«Прости, Коля,— зашептал Андрей Иванович,— что задержался ответом, и не следуй моему примеру... Для меня встреча с тобой — событие большой важности и исключительного интереса. В твоем письме почувствовал так свойственное тебе миролюбие и мудрое спокойствие. Мне кажется, что ты очень счастлив «обывательски»: семьей, работой, собой... Это стало дурным тоном? Пустое! Ведь А. Белый тосковал о нем, об этом счастливом мещанине, воспевал его без иронии, утверждая себя мещанином, увы никогда в действительности не умиротворив буйного духа... Обнимаю тебя и дружески жму руку».

Андрей Иванович долго пытался разобрать подпись, но ничего не вышло. Он скомкал письмо и также бросил его в печку. Туда же он покидал и все остальные.

Затем вычиркнул спичку и в нескольких местах поджег легкий бумажный ворох.

Огонь сразу же деловито побежал по краям скомканных писем, стараясь заглянуть внутрь каждого комочка. От его усилий они топорщились, набухали и превращались в черные диковинные цветы.

Иногда отдельные лепестки вздымались стойком, а случайно метнувшийся к ним огонь раскалял их.

Тогда на несколько мгновений выступали на красно-прозрачных лепестках написанные на них слова.

Андрей Иванович невольно читал их:

«...Боюсь, что не выживет...»

«...Не верю тебе с тех пор, как...»

«...Вышлите сколько мож...»

«...Дорогую именинницу, бабушку...»

Огонь затихал... Последний отогнувшийся от своего цветка лепесток раскалился докрасна.

«...Когда нет Дон-Кихота...» — прочел на нем Андрей Иванович.

Лепесток погас и, тотчас же оторвавшись от остального цветка, полетел кверху.

— Ишь, тяга какая,— сказал вслух Андрей Иванович и вздохнул.— Ну вот и все...

Тут он заметил в печке какой-то металлический предмет и, взяв кочергу, смахнул с него сгоревшие бумажки. Предмет этот оказался железной крышкой.

«Что за черт — откуда такая штука! — озадачился Андрей Иванович.— Неужели от мешка? Иначе откуда же!»

И сразу же Андрею Ивановичу припомнилось, как рукам было холодно и неудобно нести мешок.

«Так и есть, конечно, от него. Что же теперь с ней делать? Куда девать? Ведь если только обыск — кончено, и отпираться нечего: я, берите меня и все тут».

Опять подкрадывалась смутная тревога.

«Как бы так пронести ее по коридору, чтоб хозяйка не заметила? Если, например, под пальто? Ой опасно. Да нет, это просто невозможно! Ведь обязательно хозяйке на глаза подвернешься, а тогда — пропало дело: уж зачем-нибудь да остановит, без разговоров не выпустит. А тут долго ли до греха: забудешься, руки от пальто отведешь, вот крышка-то выскользнет и брякнет возле ног о пол. «Что это у вас такое, Андрей Иванович?» Ну как же быть? Как же быть?»

Андрей Иванович давно уже кружил по комнате и не слышал, как в дверь постучал кто-то сперва слегка ногтем, потом посильнее — одним пальцем, затем, выждав некоторое время,—четырьмя сразу и, наконец, стукнул в дверь не сильно, но уже всем кулаком.

Андрей Иванович остановился и прислушался.

Стук повторился.

«Готово дело — влопался!»

Он тщательно притворил печную заслонку и подошел к двери.

— Ну, кто там? — голос его звучал глухо и угрюмо.

Из-за двери тоже вопрос:

— Вот знаете что... Андрей Бодюля здесь живет?

На это отвечено не сразу и с заминкой:

— Ну, здесь...

— Так отворите тогда... — дверная ручка опустилась книзу.

Кто бы это мог быть? На обыск — непохоже, на хозяйку — тоже. Чтобы выиграть время, переспросил еще раз:

— А зачем?

— Так ведь Андрей Бодюля здесь?

— Здесь...

— Вот знаете что... мне его нужно видеть!

Дверная ручка то опускалась, то поднималась.

— А зачем?

— Так ведь я же вам говорю...

— Ну и что? — Андрей Иванович оглянулся на печку.

— Отворите — вот вам и что...

— А зачем?

— А затем. Откроете, тогда скажу.

Андрей Иванович еще раз оглянулся на печку и отворил дверь.

Перед ним стояла Нюта Андреева.

Это было невероятно.

Еще вчера приход ее казался вполне возможным, но сегодня, когда он осуществился, у Андрея Ивановича сразу возникли и недоверие и робость.

— Он самый и есть,— сказала она голосом, каким привыкла разговаривать с покупателями,— я так и думала.

Она вошла в комнату и оглянулась, видимо ища зеркала.

— Вот знаете что. Еще бы немного, и я бы ушла, ей-богу: приглашаете, а у самих дверь на запоре. Кто, да что, да почему,— скажите, какой гордый.

Она стащила с шеи кашнэ, бросила его на рояль и близко

подошла к Андрею Ивановичу, который так и продолжал стоять около двери.

— Вот возьмите шубку, повесьте куда-нибудь. А я к вам совсем нечаянно,— продолжала она, усаживаясь на диванчике.— Зашла на минутку в булочную, а там письмо. Вчера, знаете, кольцо обручальное где-то потеряла. Подумайте — такая жалость, да и знак нехороший. Думала, не в булочной ли оставила. Что ж вы, с пальто так и будете стоять?

— Кольцо? — уныло переспросил Андрей Иванович.

— Ну да, кольцо,— она взглянула на него и усмехнулась.— Да это вас совсем даже не касается. Раз я пришла к вам, при чем здесь кольцо? А ведь я вас тогда заприметила: такой блондин представительный, и лицо мягкое, будто кто из бывших. Только уж очень вы смешные. Я как вспомнила, так и решила: зайду. С такими ничего неприятного не бывает. Да положите вы мою шубку — ну хоть к себе на кровать, что ли, или вот сюда... вот так.

— А кто ваш муж? — осмелел вдруг Андрей Иванович.

— Муж? — Нюта Андреева глядела в сторону.— Вот знаете что, он почтальон, ей-богу. Его и дома-то никогда не бывает. Такой старый...

У Андрея Ивановича закружилась голова, и он присел на стул возле рояля.

— Вот познакомимся поближе — ко мне зайдете, это уж обязательно.

— Нет,— отрезал Андрей Иванович,— не приду.

— Отчего?

— Да так... не люблю я этого...

— Чего этого?

— Да вот... писем...

Она рассмеялась. Смех у нее был смелый и звонкий.

— Вот чудак. Говорите, не любите, а сами барышням пишете.

— Ну это — так.

Помолчали.

— А где вы служите?

Андрей Иванович назвал свое учреждение.

— Да что вы? — удивилась Нюта Андреева.— Вот знаете что. Вашего зава зовут Владислав Осипович. Верно? Ну так с ним моя сестра хороводится. На днях хвасталась, будто бы даже место себе заработает: на службу к вам поступит...

На Андрея Ивановича надвигался туман. С одной стороны, исполнилось самое несбыточное: Нюта Андреева, веселая, говорливая и уже знакомая Нюта Андреева сидит у него в комнате; с другой — все, что она успела сказать о себе, было донельзя

неприятно: она замужем, и муж ее не кто другой, как почтальон, старый почтальон. Уж не тот ли самый? А сестра? А зав? От всего этого в голову лезла одна и та же предостерегающая, назойливая мысль. Она, как уличная свистулька с пузырем, беспрестанно и против воли твердила: «Уйди, уйди, уйди, уйди...»

— А как вас по батюшке?

— Меня? — очнулся Андрей Иванович.

— А то кого же? Вас, конечно.

— Меня — Андрей Иванович.

— Очень приятно. Так стало быть, Андрюша. Везет мне на это имя. А меня Анна Андреевна. Только лучше, конечно, попросту — Нюта и все тут. А сколько вы жалованья получаете?

Андрей Иванович взглянул исподлобья и пробурчал:

— Пятьдесят два рубля шестьдесят пять копеек.

— Не густо. Ну да ничего... Вот знаете что, а вы мне...— и запнулась.

Глаза ее в упор смотрели на Андрея Ивановича. Он тоже гляделся в них, и они казались ему синими и прекрасными. В них скользили мысли, не засоренные словами, понятные и в то же время такие неожиданные и волнующие — чем дальше, тем все больше и больше. Наконец Андрей Иванович не выдержал и отвел глаза в сторону.

— Нюта Андреева, хотите чаю? — ни с того ни с сего спросил он охрипшим от волнения голосом и сейчас же подумал: «Совсем как во сне».

— Ну что ж, давайте.

— Тогда я сейчас, мне только на кухню за кипятком...

Он схватил чайник и поспешно вышел из комнаты.

«Черт возьми,— подумал он, наливая кипяток.— Как бы она там, чего доброго, в печку не заглянула, с нее всего станет»,— и, не долив чайник доверху, поспешил обратно.

— С краном-то поаккуратней бы надо,— услышал он позади себя раздраженно-укоризненный голос хозяйки.— Кипяток-то всем нужен, не вам одним...

Нюта Андреева сидела все так же на диванчике.

— Что это у вас пуговицы по всему полу разбросаны — расстегнуться, что ли, некогда?

Андрей Иванович низко наклонился к полу, словно не видел трех пуговиц, на которые указывала ему Нюта Андреева. Из носка чайника полился кипяток.

— Это — лишние,— наконец придумал он и ногой разогнал пуговицы в разные стороны.

«Уйди, уйди, уйди, уйди...» — гудела свистулька. Он заварил чай и поставил на стол сахар и вчерашнюю булку.

— А я сейчас разолью,— сказала Нюта,— не все вам — теперь и я похозяйничаю. Вот это — для вас, а это — мне.

Брякали ложечки, от стаканов шел пар, и, вероятно, оттого вся комната ожила, потеплела и, вообще, стала совсем необычной. Андрей Иванович почувствовал себя как-то свободнее и проще.

— Что это будто чаинок у вас в стакане много,— сказал он,— давайте меняться.

— Нет, нет. Ну что вы — чаем на Руси никто еще не подавился, вот знаете что? Почему вы один?

— Перемерли все... в революцию, отец обойщик был, а мать — портниха... только я один уцелел, да и то...

— Что «да и то»? — Нюта ловко резала булку.

— Да нет, чего там...

— Нет, нет, что «да и то», договаривайте... ну!

— Да и то хворал.

— Хворали? — Она перестала резать и внимательно поглядела на Андрея Ивановича.— Чем же это?

— Сонной болезнью... Теперь-то все это давным-давно прошло.

Нюта облегченно и шутливо вздохнула.

— Ну то-то, а я подумала уж нивесть что. Смотрите у меня,— и она погрозила пальцем.

Глаза ее играли веселыми огоньками. Она оглянулась на постель.

— А кто вам наволочки стирает?

— Как кто? Прачка, конечно...

— Ах, какой вы недогадливый, Андрюша, как невинный. Я ведь не про прачку, а про другое...

— А про что же?

— Уж будто непонятно? А хотите — скажу, только дверь заприте.

Андрей Иванович пошел запирать. Делал он это неохотно. Если бы только было можно, он, конечно, дверей бы не запер. Немного постояв возле них и обдумав что-то, он обернулся к Нюте:

— Знаете что,— сказал он,— у меня варенье еще есть, красная смородина. Только засахарилось. Может, хотите?

— Хочу. А вы дверь заперли?

— Нет еще.

— Так чего же вы? Вот нескладный! То не достучишься, чтоб открыли, то не допросишься, чтоб запереть. Заперли?

— Да...— Замок щелкнул два раза.

— Ну так. А теперь идите сюда и садитесь, только чур — рядом. Да что вы с вареньем-то носитесь? Черт с ним совсем! Поставьте его на стол, а сами вот сюда, на диванчик...

Андрей Иванович сел. Нюта Андреева уверенно обняла его за шею.

Совсем близко и локон, и большая родинка под ним, и глаза, которые продолжали казаться синими. Все это еще вчера было для всех, а сейчас только для него.

— Ну, что вы так топорщитесь? Сами звали, а теперь будто и не рады, будто и на попятный.

Она запустила ему руку в волосы.

— Ишь сколько шерсти,— прошептала она сквозь стиснутые зубы,— а знаешь поговорку: «Дай черту волос, так он и за всю голову»,— и вдруг просто и крепко поцеловала Андрея Ивановича в губы.

Он не шевелился. Слова не доходили до его сознания. Были только ощущения, новые, острые, мучительно приятные. Мысли гнались одна за другой и, настигая, сливались, растягивались и таяли. Оставалось одно только растущее непреодолимое желание, с которым он не знал как бороться и которое в то же время не знал как осуществить.

Нюта потянула его к себе.

— Иди ко мне.

В этих трех словах и в тоне, каким они были сказаны, звучало что-то привычное и даже обидное.

Но Андрей Иванович, потерявший остатки воли и рассудка, не слышал ничего. Он целовал уже Нюту первыми в своей жизни бурными и ясными поцелуями.

От волос Нюты Андреевой веяло, совсем как в булочной, сладким и мягким теплом.

— Вот так... вот так!..— шептала она переливающимся голосом.— Вот так!..

Над двумя забытыми стаканами задумчиво шевелил своими завитками белёсый пар... Откуда-то появился кот Митрич. Он степенно подошел к шубке и осторожно обнюхал ее. Придя к определенным выводам, он разочарованно зевнул и, пощупав когтями шубку, так же степенно удалился... Завитки над чаем постепенно голубели, становились прозрачнее и, наконец, совершенно исчезли: чай остыл...

Нюта Андреева приподнялась на диванчике, взяла свой стакан и стала пить, громко булькая горлом.

Андрей Иванович отошел к окну и глядел в него горящими, невидящими глазами.

Сегодняшний день разрезал его жизнь, как яблоко, на две несоединимые части...

Сейчас Андрею Ивановичу хотелось рассказывать о себе, рассказывать все, что он знал сам, раскрываться до самого дна. Об этом он мечтал во все свои глухие, безрадостные дни. Теперь Нюта Андреева его сообщница. Она, несомненно, ждет, когда он заговорит...

В ушах отдавался взволнованный, гулкий стук сердца.

— А варенье-то у тебя и впрямь засáхарилось,— вдруг сказала Нюта Андреева и сладко потянулась.

Не слова, а только звук ее голоса дошел до Андрея Ивановича. Он обернулся и сразу заговорил торопливо и путано:

— Вот видишь, Аннушка,— так впервые он назвал Нюту.— Как бы тебе рассказать обо всем поподробнее. Знаешь, мне ведь и раньше, когда еще родители были живы, тоже все молчать приходилось. Сама понимаешь: коли у отца во рту гвозди, а у матери — булавки, много не поговоришь. А потом как померли, так и совсем тихо стало. Ну, а вот теперь, теперь я уже не один, а с тобой. Не палка какая-нибудь без проводов, а настоящий, самый настоящий человек. Раньше думал я, что все люди как бы отдельно... не вместе. Вот город — большой город, а ведь у всех свое...

Нюта зевнула.

— Идти мне нужно,— сказала она.— Вот ты бы зеркало завел, а то без него и не оправишься. Как была встрепанная, так и домой пойдешь...

Андрей Иванович не заметил равнодушия, с которым были встречены его мысли. Он понял только, что Нюта Андреева собирается уходить, и ему ясно представилось, как комната его сразу же станет такой, как всегда,— прохладной и скучной.

— Нюта, оставайся у меня...

— Ну что ты, разве можно...— Она надевала шубку и, видимо думая о своем, отвечала неохотно и коротко.

Сейчас конец, сейчас пойдет она без него по улицам, домой, к мужу, а у того глаза кобелька и сам седой, как туман... Может, любит ее... Поздоровается с ней ласково: «Здравствуй, Нюточка, здравствуй, родная...», а после пожалуется: «Письма вчера у меня сперли», и точно опишет внешность обидчика.

— Ах, Аннушка, Аннушка,— вырвалось вдруг у Андрея Ивановича,— и зачем только у тебя кольцо?

Она перестала застегивать шубку и с недоумением посмотрела на него.

— Кольцо? Какое кольцо?

— А что потеряла-то... обручальное.

Нюта рассмеялась.

— Дурашка, а ты верь больше. Отродясь у меня такого не бывало: ни кольца, ни мужа. Сбрехнула тогда, что в голову

пришло, вот и все. Ведь хоть и по приглашению, а все как-то первый раз будто неловко. Совсем я как есть одна-одинешенька...

— Нюта,— радостно подхватил Андрей Иванович,— значит, ты свободна?

Он хотел ее обнять, но она отвела его руку.

— Нет, будет уже, довольно... А ты как думал? Конечно, свободна. Я без этого не могу. Из комсомола и то ушла, потому что правил у них много. Куда там! Это не по мне...

Они стояли друг против друга. Андрей Иванович смотрел на Нюту мягким, радостным взглядом, а она глядела мимо него в окно и, по-видимому, собиралась что-то сказать.

— Вот знаете что,— вдруг перешла она на «вы» и, зачертив пальцем по столу, на мгновение задумалась.— Вот знаете что... нет ли у вас десяти рублей?.. В долг... отец у меня болен... в больницу класть нужно... операцию делать... доктора́ да лекарства — прямо беда одна...

Все это она говорила, не отрывая глаз от окна.

— Конечно, конечно,— заторопился Андрей Иванович.

Он поспешно вынул из стола деньги, добавил к ним карманную мелочь и пересчитал.

— Вот тут пятнадцать рублей пятьдесят две копейки... больше ничего нет.

Он положил деньги на стол.

— Ну вот и дайте десять рублей, а остальные себе оставьте.

— Да бери хоть все, Нюта, мне ведь не жалко...

— Все? — она колебалась...— Ну нет, что ж я тебя обижать буду.

Нюта присела к столу и отсчитала десять рублей.

— Вот за это спасибо тебе, Андрюша,— сказала она, завязывая деньги в уголок носового платка.— А остальные оставь уж себе. Тоже, поди, ведь несладко живется...

— Да что и говорить...

Оба задумались.

— Знаешь, Аннушка,— оживился вдруг Андрей Иванович.—Я ведь роман собираюсь писать, а как напишу, вот тогда мы с тобой и заживем!

Нюта Андреева слушала с интересом.

— А скоро напишете? — опять перешла она на «вы».

Андрей Иванович помрачнел.

— Скоро, да не споро... Трудно ведь. Как его сразу возьмешь да и напишешь. Теперь-то проще, теперь есть с кем посоветоваться, а то все один да один...

Он опять попытался рассказать о себе, но интерес у Нюты Андреевой ослабел.

— А про что писать собираетесь? — перебила она.— Про любовь или так вообще?

— Да нет, как сказать,— замялся Андрей Иванович,—я хочу, чтоб из современности...

— Из современности,— протянула Нюта.— А вы лучше про себя.

— То есть как же это так про себя? — не понял сразу Андрей Иванович.

Нюта встала из-за стола.

— Ну как о себе пишут — так вот и ты...— она улыбнулась и погладила его рукой по лицу.— Стараться тебе, небритому, нужно. Будешь стараться — помрешь — с музыкой похороним.

— А что ж,— обрадовался Андрей Иванович и схватил Нюту за руку.— Ведь, пожалуй, верно. Чего проще? Вот спасибо! И как это ты меня сразу надоумила. А я-то бился, бился — ничего не выходит. Да и что же делать, когда...

Он не знал, что сказать. Взгляд его случайно упал на печную дверцу. Перед глазами мелькнул красный лепесток с черными словами:

— ...Когда нет Дон-Кихота,— досказал он неожиданно для себя.

— Кого это? — спросила Нюта.

— Нет, это я так...

— Ну, прощайте, Андрюша: идти мне пора. Отпустите руку-то... будет уж вам...

— Аннушка, а когда зайдешь?

— Да на днях... Может, завтра... Работы много... Пустите! — она высвободила руку и пошла прочь из комнаты.

[illegible] Иванович молча шел за ней по коридору. Нюта [illegible]сь к нему только возле выходной двери.

[illegible] у вас открывается-то? — спросила она и [illegible] — Ах, вот как! Значит, дверь-то на [illegible] — только и всего.

Она вышла на лестницу.

— Ты придешь? — стоя в дверях, спросил Андрей Иванович.

Нюта ответила, не оглядываясь:

— Прийти — приду, а когда не знаю...

Она стала спускаться.

Андрей Иванович подошел к перилам и смотрел на нее сверху.

Когда Нюта спустилась до следующей площадки и пошла по ней, он еще раз увидел ее лицо: оно было озабоченным и усталым, совсем не таким, как только что в комнате или в булочной на людях...

— Прощай, Нюта! — крикнул вниз Андрей Иванович.

Она подняла голову, и лицо ее тотчас же приняло обычное выражение.

— А ты еще здесь,— громко сказала она.— Ну-ну, всего! — Она произнесла это так, словно завернула булку, передала ее и повернулась к следующему покупателю...

Больше лица уже не было видно. Слышны были только уходящие шаги, быстрые и уверенные...

Хлопнула дверь.

Андрей Иванович постоял еще немного, потом вздохнул и вернулся к себе.

Здесь все живо напоминало о Нюте: и неубранный чай, и нарезанная булка, и оброненная на диванчике толстая, облупленная шпилька, и деньги на столе, и забытое на рояле кашнэ...

Возле всего этого Андрей Иванович долго стоял в глубокой задумчивости и медлил убирать.

Он вытащил из кармана анкету и, написав в незаполненной графе «Нюта Андреева», опять спрятал анкету в карман. Походив по комнате и поразмыслив, он вновь вынул ее и зачеркнул фамилию. Спустя несколько минут Андрей Иванович зачеркнул и самое имя, а вместо него проставил «Анна».

Кот Митрич неодобрительно следил с кровати за Андреем Ивановичем.

«И чего он ходит? И чего топчется? Только спать мешает. Еще шлепнет ни с того, ни с сего...»

Но Андрей Иванович не обращал внимания на Митрича. Он остановился у стола и долго мешал ложечкой холодный чай.

— Д-да-а,— сказал он вслух,— дум-то много, а слов и нет.

Он вынул ложку, положил ее на блюдце, но к чаю так и не притронулся.

Весь остаток дня Андрей Иванович не переставая бродил по комнате, а как только лег спать, так сразу приснилось ему снеговое лучистое поле и воткнутая посреди него высокая тонкая жердь. Он знал, что поле это без конца и без краю и что страшно оно своей холодной непреодолимой пустотой. Сам он был не на нем, а где-то в другом месте и видел его откуда-то не то сверху, не то сбоку. На верхушке жерди болтался оборванный лоскут, на котором вспыхивали и потухали непонятные, но грустные слова. Андрей Иванович старательно читал, огорчался, а когда они потухали — сразу же забывал их. Но почти сейчас же опять вспыхивали буквы, вязались в слова и заставляли читать их...

И так всю ночь...

А над ним, над домом, над городом, над страной, над миром проходили очередные незримые волны, радуя и печалуя человечество...

«Французское правительство довело до сведения временно исполняющего обязанности наркоминдела т. Литвинова, что американский сенат ратифицировал пакт Келлога единогласно и без оговорок...»

«В Лондоне покончили жизнь самоубийством два брата Артур и Сидней Смит — известные специалисты по борьбе с болезнью рака. В оставленных записках они сообщают, что потеряли все свое состояние при производстве различных опытов...»

Андрей Иванович спал и видел во сне все то же бескрайнее поле и ту же воткнутую в него тонкую и длинную жердь...

5

На другой день Андрей Иванович пришел на службу с большим опозданием.

Сослуживцы встретили его по-разному: одни из них побаивались подходить к нему, другие же, наоборот, спешили молча пожать руку, чтобы после этого сразу же и так же молча отойти подальше от его стола.

— С такими,— говорили они,— нужно быть как можно осторожнее. Ведь черт его знает: не поздороваешься, а он обидится да и засветит чем попало...

Впрочем, вид Андрея Ивановича действительно мог внушать некоторые опасения: волосы на его голове были непричесаны, лицо бледно, а глаза опухши.

Он подошел к столу Петра Афиногеновича и передал ему сложенную анкету.

— Что это? — спросил Петр Афиногенович, слегка сторонясь от руки Андрея Ивановича.— Ах, анкета — помню, помню.

Он с большой предупредительностью взял ее и положил под пресс.

— Значит, теперь все в порядке. Что же касается задержки, то я постараюсь разъяснить, кому нужно, те уважительные причины, которые побудили вас к нарушению общеустановленного срока... И вот еще... — он вынул из письменного стола пакетик, перевязанный синей тесемочкой, застенчиво помял его и, оглянувшись, сунул в руку Андрея Ивановича.— Это деткам вашим,— шепнул он,— и супруге сладости... Уж вы не обижайтесь на меня...

Андрей Иванович горько усмехнулся:

— Нет у меня супруги,— тихо и мрачно сказал он.

Петр Афиногенович замигал глазами.

— Как же так? — сказал он с мягкой укоризной.— Ну как же так? Ведь вы же мне накануне дня отдыха сказали, что не

имеете возможности заполнить анкету по причине некоторых затруднений с именем вашей супруги. Припомните-ка? Неужто забыли?

Но Андрей Иванович стоял на своем:

— Нет у меня ни жены, ни тем более детей...

Петр Афиногенович отдулся, точно бегом взбежал на пятый этаж, и пригладил рукой свои крашеные виски. Рука у него заметно дрожала и сбивала гладко зачесанные волосики.

— Но ведь судя по вашим, так сказать, анкетным колебаниям, таковая, то есть ваша супруга, еще в субботу были, по-видимому, налицо. Не так ли?

— Быть-то была,— протянул Андрей Иванович и вдруг вспыхнул.— Да оказалось, она...— он стукнул по столу и громко произнес такое слово, что Петра Афиногеновича подкинуло на стуле, а Карасикова вдруг сорвалась с места и молча бросилась к выходу. Почти тотчас же она ринулась обратно к своему столу и, схватив с него счеты, со всей возможной поспешностью выбежала из комнаты.

В это мгновение она была похожа на мать, выносящую из горящего здания забытого в нем ребенка.

— Ах, ах, ужас! Ужас! — широко раскрыв глаза, закричала Задрыкина. Она оторвала приросшие к клавишам руки и слегка заткнула ими уши.

Андрей Иванович несколько раз подряд повторил то же самое слово, ударяя при этом кулаком по столу.

С чернильницы сползла крышка и со звоном упала на пол.

Петр Афиногенович собрался с духом.

— Во-первых, так нельзя... вообще... — сказал он, задерживаясь на каждом слове,— а во-вторых, во-вторых... — Впервые за всю свою службу он не находил слов для округления фразы.— А во-вторых... — Он повернулся и поспешно пошел в кабинет делопроизводителя.

— Это невозможно! Это, наконец, опасно! Черт знает что такое! — шепотом проходило по канцелярии.

Даже Завитков спрятал свою обычную улыбку.

Андрей Иванович молча обводил глазами всех сослуживцев.

Наступила тишина.

— Эх, антенны вы все, как я на вас погляжу, вроде как я,— наконец громко, со вздохом сказал он и, положив на стол пакетик, вернулся на свое место.

Все головы поворачивались за ним следом.

— Что? Что? Что он еще такое сказал? — спрашивала шепотом Задрыкина, но никто не отвечал ей: все молчали и следили за Андреем Ивановичем.

А он, забыв про окружающих, сидел, обхватив голову обеими руками, и упорно решал один и тот же вопрос: идти ли ему к доктору или постараться обойтись без него.

Сегодняшнее пробуждение было непоправимой катастрофой для всех его планов, так как, почувствовав жгучую боль, он почти сразу догадался, что повинна в ней его вчерашняя встреча с Нютой Андреевой.

Одевался он медленно, не глядя на часы, а когда оделся, стал для чего-то искать и подбирать разбросанные по углам пуговицы. Он хорошо помнил, что вчера их было всего три: одна белая матерчатая и две черных металлических. Однако, найдя их, он продолжал шарить по всем углам: отодвигал для чего-то стол, кровать, диванчик...

— Может, еще не то, может, не то,— шептал он.

Но движения причиняли боль.

Потом он вытащил из печки крышку от мешка и выбросил ее в форточку.

Когда вышел на улицу, долго ходил возле дома и искал крышку, но не нашел...

Наконец какая-то сила или, вернее, привычка схватила его за воротник пальто и отвела на службу.

Идти к доктору или не идти? А может, это что-нибудь другое...

Канцелярия молчала и не работала.

Делопроизводитель, выслушав сообщение Петра Афиногеновича, сорвался с места.

— Как? Как? Так-таки и сказал?

Петр Афиногенович грустно кивнул головой:

— Так-таки и сказал...

— Недопустимо... я сейчас, сейчас,— он выскочил из комнаты и покатился по коридору.

На этот раз он даже не задержался у дверей кабинета зава.

— Готово! — радостно объявил он.— Готово, Владислав Осипович,— рехнулся!

Зав медленно повел на него тяжелым взглядом.

— Вы понимаете, что говорите?

— Так точно-с, то есть, простите, я хотел сказать, что конторщик Андрей Бодюля окончательно рехнулся. Дальнейшая служба невозможна: выражается, опаздывает, служащие просят оградить...

Зав взял со стола заявление и передал его делопроизводителю.

— Оформите все... и вот вам замена... прекрасная девушка и очень чуткая к делу девушка...

— Я знаю! — радостно подхватил делопроизводитель.— Хорошо знаю — на ходу схватывают. Ну как же, как же — прекрасная, прекрасная...— и он выкатился из кабинета.

В канцелярии одна только Карасикова наигрывала вовсю на счетах, будто спешила наверстать непредвиденный перерыв в работе. Глаза ее были заплаканы.

Задрыкина сердито прочищала машинку, словно в ней застряли слышанные ею обидные слова.

Возле Андрея Ивановича стоял Петр Афиногенович и, положив руку на его плечо, тихо, но с большой убедительностью, говорил:

— Идите домой, вам нездоровится, вы устали... вам бы к доктору.

— К доктору-то я, пожалуй, пойду,— согласился вдруг Андрей Иванович.

— Да, да... зайдите... ко мне... сейчас... — пропыхтел на полном ходу делопроизводитель.— Вот вы, вы, именно — вы,— он указал пальцем на Андрея Ивановича, а ладонью другой руки, как дирижер, удержал Петра Афиногеновича.

— Нет, нет, это не к вам. Вы мне пока не нужны...

Андрей Иванович встал и пошел за делопроизводителем.

— Присядьте,— сказали ему в кабинете и указали на стул возле стола.

Говоривший тоже сел и положил на стол заявление, полученное от зава.

— Вот видите ли,— начал он, не глядя на Андрея Ивановича.— Текущее состояние вашего здоровья настоятельно требует освобождения вас от работы...

Андрей Иванович не слушал: он впился глазами в лежащий на столе лист бумаги, на котором было написано:

«Анны Андреевны Андреевой

Заявление

Прошу принять меня во вверенный вам отдел на свободную вакансию конторщицы. К сему присовокупляю, что я в настоящее время работаю на производстве...»

Из бумаги глядела Нюта Андреева.

— К тому же,— говорила она,— вы недопустимо небрежны. Достаточно хотя бы указать на входящие, которые помечены вами за исходящими номерами, и наоборот...

Андрей Иванович вдруг понял, что это говорит не Нюта Андреева.

В то же время делопроизводитель, взглянув искоса на Андрея Ивановича, запнулся на полуслове и уставился на его руку, которая протянулась к бумаге, взяла ее и сжала в кулаке.

— Что? Что? Что вы делаете? — вскричал делопроизводитель.

Андрей Иванович сунул кулак вместе с бумагой в карман, встал и пошел из кабинета.

Вслед ему раздавался крик:

— Остановитесь! Как вы смеете! Это сам зав! Отдайте!

Андрей Иванович оглянулся, и делопроизводитель смолк.

— Потише,— сказал Андрей Иванович,— потише,— иначе я и тебя, как вот эту бумагу... да еще в придачу с этой... — и он опять повторил то же недопустимое в учреждении слово.

Больше никто его не удерживал. Он оделся и беспрепятственно вышел на улицу.

На этот раз Андрей Иванович пошел не к дому, как это бывало всегда после службы, а в противоположную сторону.

По дороге он читал надписи у дверей подъездов:

«Фотография...»

«Домашние обеды...»

«Рисую знамена и плакаты...»

«Волосолечебница...»

«Курсы стенографии...»

Наконец, пройдя несколько кварталов, он остановился возле дверей, на которых была набита круглая белая дощечка с обозначением фамилии и специальности доктора.

Андрей Иванович несколько раз внимательно прочел все, что было на ней написано, а затем, оглянувшись для чего-то по сторонам, шмыгнул в подъезд.

— Гражданин, вам кого? — окликнул его от нечего делать сидящий у ворот дворник.

Ответа он не получил, так как в это время Андрей Иванович уже вошел в подъезд.

«Пожалуй, за чужим бельем на чердак пошел»,— подумал дворник.

Он зевнул и успокоился.

Андрей Иванович неуверенно поднимался по лестнице.

На дверях докторской квартиры была такая же дощечка, и он, прежде чем позвонить, опять перечел несколько раз подряд все, что было на ней написано.

Наконец он решительно нажал кнопку электрического звонка и не успел еще отнять от него руки, как дверь уже отворилась.

— Вы к доктору? — спросила его веселая, наряженная во все белое горничная.

Андрей Иванович посмотрел на нее и отвернулся: горничная чем-то напоминала Нюту.

— Вы к доктору? — повторила она.

Андрей Иванович угрюмо кивнул головой.

— А вы записаны на сегодня?

— Нет,— буркнул Андрей Иванович, он чуть что не оттолкнул горничную от дверей и вошел в прихожую.

— Тогда я вас запишу,— сказала она,— еще есть одно место, последнее. Как ваша фамилия?

Андрей Иванович пожевал губами и неожиданно для себя произнес:

— Завитков.

— Завитков? Хорошо, только вам придется обождать.

По поведению и фамилии посетителя она поняла, что церемониться нечего.

— Снимите пальто и пройдите в комнату.

Андрей Иванович медленно разделся и вошел в приемную.

В ней сидели сумрачные, затаившиеся люди. Они с явным недоброжелательством разом взглянули на входящего и почти сейчас же отвели глаза в сторону.

Слава богу,— незнакомый.

Андрей Иванович тихонько подсел к столу и несколько минут не шевелился. Затем постепенно он начал оглядывать комнату и всех находящихся в ней.

Большинство сидело, задумавшись, уставив глаза в одну точку и пряча в себе тревогу, боль и стыдливость. Некоторые читали журналы и газеты, кое-кто делал вид, что попал сюда случайно и совсем не по тем причинам, из-за которых сидят здесь все остальные.

Один из посетителей, сидевший в дальнем углу комнаты, часто вскакивал и подходил к столу, чтобы выпить воды из стоящего на нем большого графина.

Воду он наливал неаккуратно, плеская на поднос и даже на лежащие на столе журналы.

Поспешно выпив ее, он возвращался на свое место, но вскоре опять подходил к столу.

Только он, да еще шелест газет или случайный, сдержанный кашель нарушали тишину комнаты.

Изредка из квартиры доктора, будто из другого мира, населенного здоровыми людьми, доносились детская беготня и звенящий смех.

Иногда в комнату долетали обрывки фраз:

— Манечка, ты одеваешься? Смотри, как бы нам не опоздать к началу...

Когда раскрывалась дверь кабинета, все поднимали головы.

Доктор, одетый в белый халат, держался за дверную ручку и, оглядывая посетителей, слегка кивал некоторым из них своей курчавой черной головой.

Из-под халата выглядывали концы коротких, разглаженных в ниточку брюк, голубые носки и сияющие самодовольством модные лакированные туфли.

Казалось, что этими туфлями, досадно-скрипучими на ходу, начиналось и заканчивалось отношение доктора к жизни вообще и к пациентам в частности.

От этого вывода не спасали его ни пенснэ в черной серьезной оправе, ни копии с картин Бёклина и Штука, развешанные по стенам.

Он делал внушительную паузу и затем тоном учителя, вызывающего к доске, отчеканивал фамилию.

Тогда один из сидящих в комнате вставал и поспешно шел на зов.

Доктор пропускал его мимо себя и закрывал дверь.

Сперва из кабинета слышался приглушенный разговор, который постепенно затихал, и за дверью наступала тишина. Лишь изредка слышен был скрип докторских лакированных туфлей.

Затем, спустя некоторое время, раздавался только один голос, к которому вскоре присоединялся другой. Голоса и скрип начинали приближаться, дверь раскрывалась и доктор выпускал посетителя, который, держа в руке узкий бумажный листок, быстро и не глядя ни на кого проходил в прихожую.

Слышно было, как он одевал там галоши и как хлопала за ним выходная дверь.

Если бы спросить у сидящих в приемной, как выглядел и как был одет только что ушедший, никто не сумел бы дать точного ответа.

Тем временем лакированные туфли выдерживали установленную паузу и, вызвав следующего по очереди, опять запирались с ним в кабинете.

Ожидающих делалось все меньше.

Наконец в комнате остался только Андрей Иванович и человек, пьющий воду.

Когда они остались вдвоем, он подошел к столу, выпил еще воды и на этот раз уже не возвратился обратно, а сел рядом с Андреем Ивановичем.

— Жажда мучит,— с доверчивой улыбкой пожаловался он, и в голосе его была надежда на сочувствие.— Сегодня в обед копченую селедку съел. Здоровую — вот какую! Тридцать пять копеек отдал. Страсть как люблю копченую. Даром что говорят, будто вредит она нашему брату.

У него была волнистая, нежная борода, голубые глаза и детская улыбка.

Андрей Иванович буркнул что-то невнятное, хотя ему и приятно было слышать чужой голос. Слова соседа подбадривали и смягчали напряженность ожидания.

— А я так думаю,— продолжал тот,— что нам теперь ничего не вредно. Уж на что, знаете, сулема — кажется, отрава хуже не надо, так и ту в водку мне подмешивали, чтобы пил значит, потому будто заразу она побеждает. И то верно: какой другой ни на есть, но только без заразы помер бы, это уж как пить дать, а я — ничего... Конечно, надо правду сказать, что и пользы с нее действительно не было...

— А чем вы больны? — поинтересовался Андрей Иванович.

— Я-то? Да сказывают,— перешел он на шепот,— будто бы французской. Только не верится: авось другое. А? Очень я боюсь — этой французской. Оттого и к доктору не шел: ведь как он скажет, значит так оно и есть, а без доктора — может, оно — то, а может, еще и не то.

— А сколько вы заплатить думаете? — спросил Андрей Иванович.

— Да сколько? Уж если только не она самая, так и десятки не пожалеешь, а то и три за глаза довольно.

Он помолчал.

— Даже не знаю: идти мне сейчас или нет? Как вы думаете?

В глазах его было глубокое доверие к тому, что он должен был сейчас услышать, и полная готовность исполнить все, что ему посоветуют.

Как раз в это время лакированные туфли назвали его фамилию.

Он встал, виновато улыбнулся и снова сел.

— Так как вы думаете? А? — снова спросил он и, не получив ответа, махнул рукой.— Эх, была не была — пойду.

Дверь кабинета закрылась за ним.

Андрей Иванович остался один.

Сперва он разглядывал картины на стенах.

Особенное внимание его привлекла обнаженная женщина с чувственными бедрами, обвитая огромной скользкой змеей. Змея что-то шептала женщине на ухо, и мысли у них были общие, тяжелые и порочные.

Андрей Иванович вспомнил Нюту и подумал:

«А ведь что ж? Так оно и есть — на самом-то деле».

Он вздохнул и принялся перебирать лежащие на столе книжки из библиотеки «Бегемота». Однако ни один из рассказов не только не заинтересовал его, но даже не вызвал улыбки.

Андрей Иванович взял «Вечернюю Красную».

Бесцельно, не вникая в смысл прочитанного, он перебегал глазами с одного столбца на другой.

Замыслы Польши против СССР, Германии и Литвы.

Тираж второго займа индустриализации.

Хулиганство или безумие...

Баче-Сакао занял Кабул.

Что случилось за день:

Хищение на швейной фабрике.

Что-то толкнуло Андрея Ивановича прочесть последнюю заметку:

«В субботу, около 12 часов ночи, на углу Гулярной и Пушкарской было совершено циничное нападение на почтальона Ивана Трудного, производившего выемку писем из почтовых ящиков. Вследствие тумана, какой-то неизвестный причинил ему ушиб в спину и, вырвав мешок с письмами, скрылся в неопределенном направлении. К розыску хулигана или безумца приняты решительные меры».

Андрей Иванович недоуменно, словно ища подтверждения прочитанному, огляделся по сторонам и пожал плечами.

— На углу Гулярной и Пушкарской?.. Кой черт! Значит, я не к тому ящику бегал? Вот те на! Оттого и письма не оказалось...

Он перечитывал заметку до тех пор, пока дверь докторского кабинета не отворилась и из нее не вышел недавний собеседник.

Тогда, словно застигнутый врасплох, Андрей Иванович быстро отшвырнул газету на стол. Казалось, она была настолько явной уликой, что все сразу должны догадаться, кто был замешан в нападении на почтальона.

Собеседник подошел к столу и выплеснул из графина в стакан мутные остатки воды.

— Так оно и есть,— сказал он с той же детской улыбкой,— стало быть, французская. Значит, теперь все одно: ничего не страшно.

Он выпил воду и отдулся.

— А тут еще селедка подкачала. Прямо жить не дает! Как на грех. Такая была роскошная... Ну, до свиданьица...

— Завитков,— отчеканили туфли.

Андрей Иванович не откликнулся.

— Что, нет здесь Завиткова?

Андрей Иванович понял, что это зовут его. Он встал и пошел в кабинет.

Внешне он был так же спокоен, как и при посещении редактора журнала.

В голове же металась одна и та же мысль: «Приняты решительные меры... приняты меры... Неужто я хулиган? Неужто безумец?»

В кабинете его начали расспрашивать обо всех подробностях заболевания.

В тоне вопросов звучали заученность и сдерживаемая нетерпеливость. Казалось, что задававший их совершает надоевший ему самому нудный и ненужный обряд. Скинув пенснэ, он то протирал нижнею частью ладони привыкшие к стеклам глаза, то двумя пальцами осторожно разглаживал на носу красный след от долгого зажима пенснэ.

Андрей Иванович отвечал нехотя и односложно, уставившись глазами в лакированные носки, в которых отражались огни люстры.

«Приняты меры... приняты меры... Что за черт! Как так на углу Гулярной и Пушкарской?»

Когда все расспросы закончились, было приступлено к осмотру, и Андрей Иванович услышал громко произнесенное название своей болезни. Слово это было сказано с таким же привычным безразличием и легкостью, с каким скрипели при ходьбе лакированные туфли.

— То есть как это так? — переспросил Андрей Иванович.

Привыкшие к стеклам глаза повеселели.

— Что это, как это так? Это уж мне нужно было спрашивать, как это так? Неосторожность, только и всего. Ну да это пустяк. Чем вы занимаетесь?

— Роман пишу,— ответил не задумываясь Андрей Иванович.

Отношение к нему сразу стало предупредительным и любезным.

— Ах вот как! Очень приятно. Я, знаете, тоже увлекаюсь литературой. Хочу даже проситься в союз писателей.

Вероятно для большей убедительности, при этих словах было надето пенснэ.

«Совсем как редактор,— подумал Андрей Иванович.— Только почему он рот при этом не открывает?»

Нужно было слушать дальше.

— Эх, если бы да не семья,— в голосе говорившего были искренность и убедительность,— я бы, кажется, плюнул на всю свою практику и рискнул бы на романчик. Сами понимаете, материалов у меня не занимать стать. Вот только говорили мне, будто сейчас печататься трудно, так ли это?

— М-да,— ответил Андрей Иванович,— не легко.

— А в чем же дело, почему?

Андрей Иванович не знал, что ответить, но, по счастью, ему опять вспомнилось сожженное письмо.

— Да вероятно потому, что нет Дон-Кихота...

Наступило короткое молчание.

Андрей Иванович видел перед собой недоумевающий, на этот раз пытливый взгляд и пальцы, которые, размышляя о чем-то, слегка барабанили по столу.

— Д-да,— услышал наконец Андрей Иванович.— Действительно... Какая странная вещь... Отчего бы это?

И сразу деловым тоном:

— Так вот вам рецептик, делайте все, как я сказал, а через недельку опять покажитесь. Ничего страшного нет, тем более что мы с вами примем решительные меры.

Андрей Иванович вспомнил газетную заметку и нахмурился.

— И не нервничайте... Все будет хорошо. Так говорите, нет Дон-Кихота? Любопытно, любопытно... Ловко сказано... до свиданья... Так через недельку...

Так как Андрей Иванович был последним,— туфли не провожали его.

В приемной было тихо. Она, подобно тем людям, что обычно сидят в ней, хмурилась и с неодобрением слушала, как за стеной возились дети. Ясно было, что игра там в полном разгаре. Слышались смех, визг и звенящие удары большого тонкого мячика.

Андрею Ивановичу опять бросились в глаза бедра, обвитые змеей.

— Вы уходите? — заглянула в приемную горничная.

Он вздрогнул и пошел в прихожую.

Там он быстро оделся и, не дав ничего на чай, вышел на лестницу.

Дверь захлопнулась за ним так поспешно, что чуть не прихватила сзади пальто.

Андрей Иванович медленно спускался по лестнице.

На одной из площадок он остановился, словно что вспомнил. Пошарив по карманам, он вытащил бумажный комок, расправил его и прочел.

«Ванды Адольфовны
Андерсён

Заявление

Прошу принять меня...»

Андрей Иванович сразу понял, что ошибся тогда у делопроизводителя.

— Ну что ж,— ответил он вслух на свои мысли,— от этого не легче... Теперь все одно...

Он бросил бумагу, и она завертелась в пролете лестницы.

Разговор с Андреем Ивановичем напомнил доктору, что он давно не делал записей в свой дневник. Его очень прельщал успех одного из коллег, напечатавшего свои записки, и он с некоторых пор, подобно многим из своих товарищей по профессии, стал вести дневник, в надежде на литературную, а следовательно, и врачебную славу.

Он аккуратно пересчитал деньги, полученные от сегодняшних больных, после чего вымыл руки и снова сел за стол.

Придвинув к себе объемистую тетрадь, он раскрыл ее и начал писать:

«В этот вечер Нева была особенно беспокойна. Она, по выражению поэта, «вздымалась и бурлила». Вода стояла на один фут выше ординара...»

На несколько минут он глубоко задумался.

— Так вот же о ком! — вдруг произнес он вслух, и принялся писать дальше:

«В кабинет ко мне вошел робкий молодой человек, который оказался начинающим талантливым литератором З. и который поведал мне обычную, грустную историю своего мимолетного романического знакомства.

Во время беседы с ним я узнал, что бедняга болел сонной болезнью (энцефалитом), и по некоторым, пока еще недостаточно ясным признакам, доступным только докторскому чутью, я понял, что к нему, по-видимому, возвращается его ужасный недуг. Выражение лица его почти не изменялось, веки редко мигали, речь была медленна, однотонна и растянута. Судя по некоторым его ответам, можно было предположить, что у него не совсем правильное осознание окружающей обстановки и что роман, который он сейчас пишет, едва ли когда-нибудь будет закончен. На один как бы случайно поставленный вопрос о литературе он дал ответ, свидетельствующий о душевной нарушенности.

Какой печальный конец для будущей знаменитости и, быть может, властителя дум!

Какая насмешка судьбы — вместо романа-эпопеи дать лишь материал для моего скромного пера!

Ведь даже те печальные причины, которые привели его ко мне, не свидетельствуют ли о молодости, доверчивости, неукротимой жажде жизни,— одним словом, о том «буйстве глаз и половодье чувств», о котором так образно сказал наш недавно трагически погибший поэт?

И я чувствую, что обязан занести в мой дневник совсем простой и короткий «роман» этого уходящего от жизни человека.

Конечно, мое описание может быть интересно для читателей лишь в некоторых своих нескромных, но поучительных деталях...»

Доктор долго еще скрипел пером и туфлями, наконец он поставил точку, закрыл дневник и пошел к семье.

На минутку заглянул в детскую и постоял возле спящих детей. Лицо его стало по-настоящему добрым и задумчивым.

Потом на цыпочках пошел к двери и досадливо морщился на каждый свой скрипучий шаг...

6

Андрей Иванович брел по городу и не замечал, что зашел далеко от своего дома.

Почти лицом к лицу с ним столкнулась Задрыкина.

Она с испугом попятилась назад, как от не замеченного вовремя трамвая, и поспешно перешла на другую сторону.

Андрей Иванович не видел Задрыкиной. Разные несвязные мысли тащили его за воротник, и он шел по вытянутым в струнку занумерованным улицам, мимо домов, пронзенных стрелами антенн, мимо прошлого, застывшего в металле и камне. Оно шептало вслед каждому прохожему:

— Не верь, не верь...

Но те не слышали этого шепота и даже не замечали самих памятников: они привыкли к ним, как к своим собственным вещам.

Не обращал на них внимания и Андрей Иванович. Впервые и совсем неожиданно ему пришел в голову вопрос: почему у него все идет не так, как бы хотелось?

Кто скажет, какое событие из последних трех дней жизни Андрея Ивановича посеяло эту мысль. Может, давно уже сухим зерном лежала она в нем, не обнаруживая и признаков жизненной силы.

«Видно, жить по-другому надо,— думал Андрей Иванович.—Вон ведь сколько веселых ходит, значит как-то живут люди...»

Но как жить, он не знал, а кричать о помощи еще не додумался.

Но никто не может поручиться, что не настанет такой день, когда услышат довольные и веселые просящий, а может быть, и грозный голос.

И прогремит он от имени тысячи тысяч многоликих и ненужных:

«Нас много таких, забытых антенн. Сделайте так, чтобы и мы могли услышать, могли понять все, что пока бесследно скользит над нами».

— Тэ-тэ-тэ-тэ, вот вас-то мне, дражайший, и надобно! — услышал позади себя Андрей Иванович и оглянулся.

К нему подходил тот самый гуляка-прохожий, который беседовал с ним возле почтового ящика.

Андрей Иванович остановился.

Прохожий упорно вглядывался в него.

— Совершенно уверен, что я не ошибаюсь,— продолжал он.— Нет, нет: тот же воротник у пальто, та же фигура...

— Что вам нужно? — угрюмо спросил Андрей Иванович.

Но прохожий продолжал говорить о своем.

— Вот уж истинно, что всякая судьба сбудется! Простая случайность, а между тем как все это знаменательно! Впрочем, для вас это, может быть, и пустяк, но для меня, прямо скажу,— не очень.

Он взял Андрея Ивановича за пуговицу пальто.

— Не забывайте, что большие и малые, заметьте, и малые колебания Пизанской люстры все же совершаются в одинаковые промежутки времени...

От него все так же несло вином, но на этот раз он был более трезвым.

— Говорите короче,— перебил его Андрей Иванович,— что вам нужно?

— Так ведь это не я выдумал, а Галилей. Вы, конечно, помните, как, наблюдая качание люстры в соборе Пизы, он пришел к упомянутым мною выводам и, не кончив молитвы, оставил храм божий, чтобы на досуге изобрести ни больше ни меньше как часы. Если бы это был я, то, может быть, и фор... фор... тьфу, и формулировка была бы другая...

Он вытащил папироску, закурил ее и вдруг закричал:

— В каталажку меня позавчера запрятали! Вот что! Обидели!

— Не кричите,— предупредил Андрей Иванович,— иначе я уйду.

— Погодите, не уходите,— удержал его прохожий.— Зайдемте-ка лучше вот сюда в скверик, да потолкуем на скамеечке. Прошу!..

Приглашение прозвучало так решительно, что Андрей Иванович не возразил и послушно пошел в скверик.

— Знаете, что мне там говорили? — спросил прохожий, усаживаясь на скамейку.— Нет? Ну, так вот. Сознавайся, говорят, мерзавец, мешок с письмами ты свистнул? Твоих рук это дело? А у меня, понимаете ли,— туман. Позвольте, говорю, какой же я письмокрад? Неужели я не знаю, что только почте и проезжающим по ней дозволено ездить с колокольчиком? Подымется ли рука, говорю, и так далее и тому подобное. А они все свое: сознавайся. И сразу словесность. Ну, прямо как соловьи! Ей-богу! Языками так и щелкают, так и щелкают. Того

и гляди, что они у них нижней стороной кверху заворотятся. Вот тут-то я и припомнил...

— Что? — насторожился Андрей Иванович.

Прохожий поглядел на него в упор и пыхнул дымом.

— Вот видите,— вы и заинтересовались. Недаром я говорил, что большие и малые колебания Пизанской люстры...

— Что? — настойчиво переспросил Андрей Иванович. Голос его звучал глухо и хрипло.

Прохожий усмехнулся.

— Да письмецо я тут одно опустил по поручению благодетеля моего. И содержание мне известно. Такое, знаете ли... в сером плотном конверте. Вот только сообразить никак не могу, в какой ящик я его спустил. А было это незадолго до случая.

Он схватил Андрея Ивановича за борта пальто.

— Ведь другу, понимаешь ли, другу было написано, а не какому-нибудь там сукину сыну: душу свою всю как есть без перьев человек выложил. А ты говоришь, зачем кричу...

Он выпустил борта пальто и, помолчав, совсем тихо и спокойно добавил:

— Я ведь все слышал...

У Андрея Ивановича сразу пересохло во рту.

— Все? — с трудом переспросил он.

Прохожий весело закивал головой.

— Все, все, как есть все: и как почтальон кричал, и как бежал кто-то. Я, понимаешь, в это время недалеко на панели сидел, спиной к стене... Вот тут я и узнал... — протянул прохожий.

Он сделал последнюю глубокую затяжку и отшвырнул папиросу.

Андрей Иванович хотел произнести: «Кого?», но только пошевелил губами.

— Вот тут я и узнал или, вернее, понял, что большие и малые колебания... Куда вы? Что с вами?

Андрей Иванович встал, лицо его было бледно, губы дрожали.

— Пойду я. Мне домой нужно...

— Как хотите...

Прохожий тоже встал и взял Андрея Ивановича под руку.

— А я, знаете, пока там сидел и алиби свое доказывал, так все об одном только и думал: ну на что ему, этому дураку, письма? Ведь любопытнейшая штука! Этакий ворох чужих откровений. Например, возьмет и переложит все письма по несоответствующим адресам, а после разошлет. Кутерьма! Или еще лучше: приписочки на них разные сделает и опять в те же конвертики. Черт знает что может получиться! А некоторые,

особо интересные, по личному своему усмотрению, возьмет да органам надзора — прошу, мол, любить и жаловать. Да мало ли что еще можно сделать. Вы что руку освобождаете? Неудобно вам, что ли?

— Нет, я домой хочу,— уныло, почти жалобно повторил Андрей Иванович.

Прохожий отпустил его.

— Ну, ступайте, только на прощанье вот что: так как мысль рождается исключительно из фактов, то не обижайтесь, если я просто спрошу у вас, что вы сделали с письмом в плотном сером конверте?

— Я сжег его,— торопливо, не задумываясь над тем, что говорит, ответил Андрей Иванович.— Сжег вместе со всеми другими.

Сказав это, он сразу почувствовал облегчение.

— Сжег? — закричал прохожий.— Неужели даже не прочел?

— Нет, что вы, я прочел, все прочел,— совсем по-детски, как когда-то перед учителем, оправдывался Андрей Иванович.

Прохожий с жестом актерского отчаяния прикрыл свое лицо растопыренными пальцами:

— Прочел? Прочел? И все же сжег! Герострат! Такое-то письмо и в огонь со всеми другими?

Он отнял от лица руку и стал серьезен.

— Будем все же надеяться, что некоторые мысли сохранились в вашей памяти. Например: жизнь прекрасная штука, она — самоцель и хороша во всех проявлениях... Или там дальше о правде, о литературе... Несчастный! — вскричал он вдруг напыщенно.— Знаешь ли ты, что будущее вспомнит всех нас, даже меня, представителя разлагающегося класса, но ты, ты будешь забыт!..

— Почему? — неожиданно вырвалось у Андрея Ивановича.

— Очень просто,— потому что ты вечен, а вечность всегда скучна и незаметна. Кто всерьез опишет тебя? Никто и никогда...

Андрей Иванович вспыхнул. Ему казалось, что прохожий знает даже то, что он собирался писать роман. Вспомнился совет Нюты Андреевой:

«А вы про себя...»

— И не надо,— заговорил он с горячностью,— и наплевать. Я сам это сделаю. Вот что...

— Сам? Сам?

Прохожий смеялся так, как будто кто-то щекотал его.

— Великолепно, сделай это, сделай обязательно сегодня же, слышишь — сегодня! Потому что после этого ты перестанешь существовать... А впрочем,— он с брезгливостью посмотрел на

Андрея Ивановича.— Кому и для чего я все это говорю? Абсурд. Ну ладно, ну хорошо, ступайте, мой молодой незнакомец, ступайте. Но знайте, что если каждый человек является прообразом общества, то вы, вероятно, плохой образчик. И-эх! — махнул он рукой: — На улицах тесно, а человека и нет!

И, переходя в обычный шутовской тон, фальшиво пропел вслед уходящему Андрею Ивановичу:

— «Но письма жечь — вы лжете мне, мечты!..»

Андрей Иванович долго еще без толку бродил по улицам. Наконец он подошел к милицейскому и спросил у него, как пройти на Гулярную.

В голове его, как пробка в пустой бутылке, болталась все та же неотвязная мысль:

«Как дальше жить? Как жить?»

Припомнились слова прохожего о жизни, и стало жаль, что не разобрался в сожженном письме.

Прочел бы раз, другой, может и понял бы кое-что. А теперь как же дальше-то? Неужто по-прежнему? Нет, не хочу...

Зерно продолжало расти. Оно выпустило цепкие корни, которые все глубже врастали в мозг и душу Андрея Ивановича. Сознание надвинувшейся вплотную ответственности еще более укрепляло их.

Наступало время решить совсем простую задачу: нужен ли для себя и для других Андрей Иванович Бодюля?

И вот наперекор всему, наперекор обиженному прекрасному чувству, стыдной болезни, несбыточному роману, ему захотелось бороться со всеми обрушившимися на него бедами и жить, жить во что бы то ни стало.

Это желание неожиданно, как вода через плотину, прорвалось к мыслям и сердцу Андрея Ивановича и захлестнуло его целиком.

Он оправил воротник у пальто, словно раз и навсегда избавился от всех своих невидимых вожатых, и обновленный вошел в подъезд.

В квартире его встретила раскрасневшаяся, оживленная хозяйка.

— Вот совести совсем у людей не стало,— сразу заговорила она.— Подумайте только, Андрей Иванович. Сегодня утром Марья Петровна из пятого номера собачку свою вывела, маленькая такая собачка, еще Мустангом ее звали. Помните? Ну, наверно, помните. И что ж вы думаете? Какой-то хулиган из нашего дома как швырнет в него из окна железкой, чуть что и саму Марью Петровну не укокошил. Приходила сейчас, убивается, бедная, как по человеку. Так ведь что ж, каждому свое дорого. И железку приносила, показывала. Черт ее знает, крыш-

ка какая-то, даже не поймешь, от чего она. Ну что за люди, что за люди!

Видя, что Андрей Иванович не проявляет интереса к этой новости и хочет идти к себе, хозяйка поспешила сообщить другую:

— Да, Андрей Иванович, вот еще что... Вас тут девушка какая-то давно уже дожидается... Я уж ее к вам в комнату пустила. Говорит, что забыла у вас что-то.

— Разве у вас есть ключ от моей комнаты? — спросил Андрей Иванович.

Этот вопрос хозяйка почла посягательством на ее священные права.

— А как бы вы думали? — спросила она и сразу вся загорелась обидой.— Конечно, есть. Должна я смотреть за своими вещами, или как по-вашему?.. Вон рояль-то у вас стоит — загадите, так ведь новый мне не купите? Нет? Вот то-то и оно. А почем я знаю, кто вы такой? Может, вы и собачку убили. С таких всего станет.

Последние слова ей пришлось уже кидать вслед за Андреем Ивановичем.

Напоминание о рояле совсем неожиданно вызвало в памяти слова любимого романса:

За ваши шутки, ваш обман,
Я посылаю вам проклятья...

Он вошел в свою комнату.

На диванчике, рядом со спящим Митричем, сидела Нюта Андреева.

Должно быть, в лице Андрея Ивановича промелькнуло что-то такое, чего она не ожидала, но что сразу поняла и по-своему оценила. Оттого, протянув вперед руки, она громко и жалобно прокричала:

— Я не знала, не знала!

Андрей Иванович сжал кулак, размахнулся и, опустив голову, направил свой удар как раз, как ему казалось, в родинку на виске Нюты Андреевой.

В этом кулаке было зажато все, что накопилось за его обиженную жизнь, а в тяжелом беспощадном размахе были и ненависть, и отчаяние, и месть...

Нюта быстро и ловко соскользнула на пол, и рука Андрея Ивановича метнулась по воздуху, лишь слегка задев ее по волосам.

Митрич исчез...

«Убил...» — мелькнуло в мозгу Андрея Ивановича.

Он медленно поднял голову.

На полу, прислонившись спиной к диванчику, сидела Нюта Андреева и глядела на него жалкими, собачьими глазами.

Только сейчас Андрей Иванович разглядел, что они маленькие и бутылочного цвета.

Нюта ждала новых ударов...

Перед Андреем Ивановичем, как в кинематографической ленте, пущенной с чрезмерной быстротой, мелькали: канцелярия, булочная, почтовый ящик, швейцар, доктор, прохожий, Мустанг...

Он опять поднял руку, но вдруг опустил ее и отошел к окну.

Нюта Андреева поняла, что опасность миновала, и перешла в наступление.

— Ах, так ты вот как,— сказала она, подымаясь с полу и оправляя прическу.— Так ты драться надумал? Паразит несчастный, мерзавец проклятый!..

С каждым новым бранным словом она делалась все смелей и смелей.

В то же время угрозы, которыми она сыпала, были наивны и бессильны.

— Вот погоди, приди только в булочную, так я тебя так ошельмую, что и жить не захочешь! Да мне стоит только Владиславу Осиповичу слово сказать, чтоб и духом твоим на службе не пахло...

Наконец она задержалась — чтобы перевести дыхание.

Андрей Иванович не отвечал ей, и это молчание было обиднее самых грубых слов.

— Скажите,— начала она снова,— облагодетельствовал на свои на десять рублей. Точно мы и больше не видывали. Да подавись ты рублями-то своими! Подавись! Думаешь, заплатил, так теперь и молчать можешь! Будто и за человека не считаешь? Да не иначе как ты меня и больной сделал! Вот что...

Она поверила своим словам и всхлипнула.

Надумав уходить, она забрала свою шубку, но почти тотчас же бросила ее на рояль.

— Кашнэ где? Кашнэ отдай! — прокричала она, захлебываясь хриплыми злобными слезами.

Андрею Ивановичу припомнился автомат «National».

И подумать только, что вчера еще было совсем все по-другому.

Он подошел к кровати, вытащил из-под подушки кашнэ и, бросив его на стол, опять вернулся к окну.

Нюта нервно мотала кашнэ вокруг шеи и со злобой глядела на спину Андрея Ивановича.

— У-у, паразит,— сказала она сквозь зубы.

Это было излюбленное и, по ее мнению, самое обидное бранное слово.

Но, по-видимому, и оно не задевало Андрея Ивановича, так как ответа все так же не было.

— Ну что ж ты, так и будешь молчать? Язык, что ли, отнялся?

В голосе звучала почти просьба.

Наступила недолгая тишина...

— Тьфу! — сочно плюнула Нюта и, подхватив шубку, поспешно вышла из комнаты.

Андрей Иванович долго неподвижно стоял у окна.

Напротив на доме торчала забытая, никому не нужная антенна...

«Ну что ж,— громко вздохнул наконец Андрей Иванович.— Будем жить... авось...»

Он не досказал вслух своей мысли и забарабанил пальцами по стеклу...

Там, внизу, пел свои трудовые песни великий неразгаданный город, а над ним проходили очередные незримые волны. Они бережно несли простые слова о мировом братстве и будущем счастье всего человечества...

ПРОГУЛКА К ЛЮДЯМ

Всев. Рождественскому

1

Так началось с утра, необычно и многозначительно. Прежде всего сломался передний зуб. Еще за утренним кофе он усердно работал над хлебной корочкой, но вдруг крякнул и вышел из строя. Тут подскочил к нему язык, пощупал и совсем изо рта прочь прогнал — хочешь, погляди.

Андрей Прокофьевич повертел зуб в руках, подошел к зеркалу, оскалился и потрогал пальцем сквозное место.

«Да, вот так и молодость и жизнь проходят, а что о них вспомнишь?»

Вспоминать было нечего и некогда. Время было идти на службу.

Когда оделся и пошел, приключилось второе событие.

Вот уже семь лет одна дорога, по правой стороне Знаменской улицы, до лавочки с чем-то пестрым в окнах. Здесь покупка газеты и переход на другую сторону. Однако нынче не поймешь: не то дом обвалился, не то мошенников ловили, только прохода по Знаменской улице не было, не пускали.

Ежели летящему жуку подставить ладошку, он непременно жикнет, выключит свой мотор и по отвесу вниз. И нисколечко не удивится: не беда, сейчас куда-нибудь дальше тронемся.

Здесь было труднее.

Как же так? Если дом обвалился, можно и обойти его, а если преступники, до каких же пор ждать, ведь на службу надо.

Был Андрей Прокофьевич инженер Воробьев робким и усердным, со скрипучими сапогами, с лицом потускневшим и мелким. Годов же ему было тридцать пять.

А пропуска не было. Пришлось идти в обход, и были странны и даже приятны другие, чем всегда, умытые осенью дома и другие утренние прохожие.

И опять потрогала мозг непривычная мысль:

«Да, вот так изо дня в день все то же, все то же, неужели навсегда, как зуб, отжую свое, расшатаюсь — и пожалуйте прочь».

Из-за всего этого газету не купил, а к утреннему докладу опоздал.

И спокойно ждал его кабинет, такой знакомый, глаз забыл навсегда и цвет сукна на письменном столе, и глупого бронзового оленя, поставленного на нем для авторитетности и украшения.

На столе топорщились и тянули к себе непросмотренные бумаги. Служба, как приводной ремень, скользила в машине без остановки, плавно и торопливо.

— Вас тут вагонный проводник Пострелкин дожидается,— доложил курьер.

— Ах, Пострелкин, что ему нужно, пусть войдет.

В слегка отворенную половинку двери тотчас же вошел боком и, оправляя пояс, встал у другой половинки сильно усатый человек.

— Здравия желаю, Андрей Прокофьевич!

— Здравствуйте, Пострелкин, ну, в чем дело?

— Да, вот,— отлепился тот от двери и подошел к столу: — нельзя ли отправить нас завтра с ускоренным?

Говорил он по врожденной привычке нагибаясь, конфиденциальным шепотком и при этом ласково шевелил усами.

— Кого это вас?

— Да доктора вот больного, как его фамилия-то, все забываю, вот здесь и документики все. Извольте взглянуть.

Сухие, слегка дрожащие пальцы привычно перелистали поданную пачку. Одна из бумаг, подписанная врачом, была прочитана до конца. Была она адресована заведующему Терским лепрозорием, и значилось в ней:

«Препровождая к Вам больного доктора Деспиладо, сообщаю о нем нижеследующее:

Доктор Деспиладо, 37 лет, доктор медицины и хирургии республики Куба, прибыл в колонию лепрозных «Крутые ручьи» летом 1922 года, командированный для научных работ. Признаки проказы стали у него появляться в конце 22 года. В мае месяце сего года им была убита из ревности сестра милосердия колонии Чайкина, при чем доктор Деспиладо покушался на самоубийство, но был принятыми мною мерами спасен. Ныне переводится, по постановлению Губсуда, во вверенную Вам колонию. Доктор Деспиладо в течение своего пребывания в колонии оказался крайне осведомленным врачом, хорошим хирургом и акушером, значительно потрудился в области бактериологии проказы.

Психически врач Деспиладо вполне нормален, и экспертная комиссия признала, что он страдает лишь истерией. Отличаясь мягким характером, врач Деспиладо обнаружил некоторую неуравновешенность в вопросах, касающихся его отношений к женщинам, причем резко выступала его пламенная ревность, которая и довела его до преступления. Вследствие этого требуется, для предупреждения подобных случаев, внимательно следить, чтобы не появились у него любовные сношения с женщинами, и для этого его необходимо вовлечь в усиленную научную работу, тем более что эти занятия могут дать в будущем ценные данные для науки».

Куба... Лепрозорий... убийство...

Возле шевелил усами Пострелкин, и, когда решил, что чтение закончено, допустил сказать, в виду старого знакомства:

— Чудной доктор-то, все в окошки на женщин зарится, скучает. Скажите, какая болесть проказа, упаси бог, а я и не знал.

— Ладно, Пострелкин, распоряжение будет сделано.

— Вот и хорошо, благодарю вас, до свиданья.

— Всего хорошего.

Но, дойдя до двери, осмелел, воротился к столу и сообщил еще:

— Хоть и фамилия моржовая, а по всей видимости, приятный человек, жалко его. Фельдшер, пьяная морда такая, ушел до завтрого, так ему и совсем скучно. А я, понятное дело, неподходящий субъект.

Андрей Прокофьевич рассеянно кивнул головой, и Пострелкин ушел.

И было это третье, и самое важное в часах суток, а может, и в днях жизни инженера Воробьева. В затхлый кабинет вошла дерзкая жизнь и провела упруго скрипучим крылом по пыльным мыслям. И прежде всего стало жаль себя, и, когда глотал тревожную слюну, тронул языком во рту непривычно пустое место.

И тотчас же подмигнул из бумаг и махнул чем-то ярким и пестрым врач Деспиладо.

Представлялся он мощным мужчиной в костюме тореадора, совсем как в давно виденной опере. И совсем неожиданно возникло неясное желание посмотреть на доктора, и боролось оно с робостью и деловито-бумажными мыслями.

А приводной ремень скользил плавно и мягко, и так же мягко принес он и поставил у стола свежую, точно с морозного воздуха, и шелковистую Тамару Петровну, делопроизводительницу стола учета.

— Можно к вам?

В глазах и голосе веселость и неистощимая надежда.

Самый неприятный элемент, еще потом сослуживцы подтрунят. И, не взглянув, спросил нарочито грубовато:

— Ну что?

Ах, бывало, не раз бывало, воплощалась она в воображении покорная всем желаниям, и теперь еще неловче смотреть на красивые открытые плечи.

— Ну что?

— Вот тут ведомость подписать.— И встала слишком близко, можно бы и подальше.

Хочется подписать поскорей, но ведомость интересная, умело бегут глаза по графам и цифрам.

— А почему здесь не показан средний оборот вагона?

Низко заклубились томящие темные волосы, и нужно поднять, только поднять голову, и окунуться в ждущие глаза: инженер Воробьев — завидная партия.

Ах, подождать, не подписывать, пусть стоит возле еще, еще! Но больше нельзя, все разъяснено, ведомость подписана, и нет уже Тамары Петровны.

А кабинет манит к себе все новых людей.

Здесь, пришел, зовите по телефону, делайте доклады, несите бумаги, здесь, здесь инженер Воробьев! И внимательно слушает бронзовый глупый олень, как торопливой походкой ходит по кабинету время, и вѐрит инженер Воробьев, что идет оно скорее, чем дома.

Но вот четыре часа, конец, до нового утра, можно обедать, любить, отдыхать, хлопотать.

— До завтра!

— Прощайте!

Хлопает пружинистая дверь, считает, все ли ушли, одного долго недосчитывалась: Андрей Прокофьевич вышел, как всегда, на час позже всех.

А все же нужно бы посмотреть, какой вагон дали этому доктору. Прошел на вокзал, отыскал и остановился. В окнах вагона никого не было видно.

«Ага, жесткий, Киево-Воронежский, 4-го класса, № 535. Вот и все, вот и все. Больше здесь нечего делать, нужно идти домой. А может, войти?» И нерешительно вытащил из кармана вагонный ключ. Постоял, оттягивая время, как тогда с Тамарой Петровной, и повернулся уходить. Из вагона выскочил Пострелкин:

— Любопытствуете, Андрей Прокофьевич, может зайдете, скучает доктор-то.

И наклонился к уху с шепотком доброжелательным:

— Других бы не пустил, а вас завсегда, потому старое начальство, знакомое, зайдите, поинтересуйтесь.

Уже не раздумывая, Андрей Прокофьевич шагнул в вагон. Первая половина была пуста. Пострелкин постучал во вторую, запертую, и сейчас же открыл дверь своим ключом.

— К вам вот!

— А-а, Пострельки, Пострельки, venez ici, venez!

К двери торопился высокий, охваченный сумерками человек. Рукой он прикрывал лоб, словно от солнца.

— Вот они хочут познакомиться, начальство мое, я сказал, что вам скучно, они и зашли.

— Ах, как я вас блягодарю, очинь, очинь. Садитесь, пожалюста. Ви русски ingénieur?

Но упрямая, сверлившая целый день мысль выскочила неожиданно:

— Зачем вы приехали в Россию?

— Зачем ви сюда приехаль? — словно для перевода повторил Деспиладо и вдруг отнял ото лба руку и улыбнулся всем бритым, тонким лицом.

— А ви как сюда попаль?

И, указывая на открывшиеся буро-красные пятна, сказал:

— Это нужно бояться, я не дольжен вас принимать, но такая тоска, такая...

— Я не боюсь,— перебил Андрей Прокофьевич,— мне хотелось поговорить с вами.

— Ах, вот, понимаю, bien, хорошо. Зачем я приехаль? Я приехаль учиться, смотреть etc. Лепрозорий и революция, о, какая революция! Я шель с вами, я стрелял вашу буржуа, я лечиль ваших женщин и вашу lepro tuberosa, я сам привиль себе и сам захвораль...

Андрей Прокофьевич смотрел на бугровато-бурые, лишенные волос надбровные дуги и невнимательно слушал.

«Нужно уходить, как глупо, зачем все это?»

Он отвернулся к окну. Там в сером вечере мимо вагона деловито маршировали с песнями и флагами мальчуганы. Доктор тоже взглянул, и черные без зрачков глаза стали юношески задорны.

— Вот, вот, вот, ваша чюдни страна, она вся так идет по радиус, и у вас нет окружность. Tout le monde, весь мир, вселенна, voilà! Ваш инкубационны период прошель, а вот я попаль в заразник. Какая пропасть, здесь и там.

И неожиданно встал и пошел вдоль вагона.

На одной из лавок была раскинута постель, над подушкой — женский портрет, рядом на столике — большая банка с водой и растениями.

Доктор вытащил из-под подушки и надел фригийскую шапочку, и в том, что он вспомнил о ней и надел ее, была детская утеха и безнадежность.

— Доктор, не надо ли вам чего?

— Мне? Non, rien, нитчего, мерси. Я имею много книг, вот мой любими Ростан, «Romanesques», какая тихая нежность. «Un peu de musique, un peu de Watteau... Скамейка, забор, два сердитых соседа и любовь...»

И вдруг указал в окно:

— Отчего ви не там? Вам можно, а я буду кричать в крышу, в окна: «Проказа с вами, с вами!» А-а, какая мука сидеть в заразник. Я сильни, я хочу любить. Какая мука! Жизнь ходит мимо стекля.

C'est chose bien commune
De soupirer pour une
Blonde, châtaine ou brune
Maîtresse...

Ах, я еще молод, хоть один раз вернуться к вам, последни раз. Monsieur, помогите мне, oh, c'est très simple. Это у вас в руке. Дайте мне ваш ключ, этот ключ, и я пойду погулять. Я имею деньги, мы проведем хорошо время, и après я навсегда вернусь сюда, в коробочку, к этому мучительному портрету и моим водяным жукам.

Он подошел к банке и постучал по ней перстнем.

— Они воюют, наслаждаются и едят друг друга. Это все, что у меня осталось на память о мире... Дайте мне ключ, прошу вас, дайте, ну, дайте...

Пионеры давно прошли, и с телеграфной проволоки посыпалась на навоз вспугнутая ими воробьиная стая.

— Пожалуйста, если вам надо, возьмите ключ,— не отрываясь от окна, сказал Андрей Прокофьевич.

— О, merci, merci, я буду вас ждать на вокзале, в десять часов. Пострельки уснет, он добри, обещайте мне прийти, обещайте, ведь ви придете?..

И не Андрей Прокофьевич, а кто-то другой сказал:

— Хорошо, я приду.

2

Сегодня обедалось плохо...

«Нет, конечно, не пойду, черт знает что такое». Набитый бумагами портфель думал так же. Андрей Прокофьевич подошел, вынул любовно бумаги и почувствовал: устал, вялость какая-то, нужно освежиться. Оделся и вышел на улицу.

Над часовым магазином часы показывали семь часов сорок пять минут.

Еще осталось два часа. Да нет же, не пойду, нужно забыть это. И остановился у зеленой вывески. Пиво. Зайти, что ли?

И тотчас же подошел к нему хмельной с хриплым голосом и обрадовался, что слушателя нашел:

— Гражданин, колебаться не стоит — входите. Ух и музыка же захлестывает сегодня. Все больше «Дунайские волны» или еще что, но больше божественное. Под такую музыку меньше дюжины имени Стеньки Разина никак не обойтись. Пьешь и вникаешь, и опять это в пену губами. И такая-то жалость под самую фибру стелется, прямо со слезой не разделаешься.

Замолчал и хотел открыть дверь, но вернулся, словно что вспомнил:

— Здесь в самый раз ничто иное, как горох моченый. Тонкая это штука, и мочить его с умом нужно, рецепт секретный иметь. И потом, вообще, чтобы все по-буржуйному, иначе и начинать не стоит. Другой хозяин как ни старается, а все в дым работает: глядь-поглядь — и в трубу, до свидания. Зато коли додуматься до всего — золотое дно. Нипочем мимо такого заведения без дрожи не пройти. Омут привлекательный! Как это из детства: «Дитя, подойди, подойди же, пока не проснулася мать». А подойдешь — и кончено. Благороднейшее и любимейшее учреждение! Входите, гражданин, я за вами. Имею надобность в «Громе», папиросы такие великосветские.

Андрей Прокофьевич слова не ответил, но и слушать не отказывался.

«Стоит ли входить?» — и когда подумал, то уже вошел.

Уставился какой-то, глаза навыкате и усы пивоточивые книзу.

«Ах, да, пива надо спросить».

— Послушайте, дайте, пожалуйста, бутылочку пива.

К кому обратился, пробежал и не посмотрел. А перед столиком опять тот же, козырек почти оторван, в углу рта папироса слюнявая.

— Разрешите, гражданин, присесть? Перед вами бывший офицер, и притом из драгун. Ныне определился в хироманты. Впрочем, могу и по лицу. Если интересуетесь, угостите, по усмотрению, пивом или четвертаком. Я скромен и ненавязчив. Ясно вижу, что обнадежен пивом, а потому присаживаюсь. Отмечаю тотчас: вы или робкий мужчина, или думаете о чем-то. Разве можно так пиво требовать? Словно честь имею покорно ходатайствовать. Разрешите за вас? П-сс, товарищ дорогой, заказ: паранахолодного и, по возможности, в кратчайший срок.

Пока принесут, позвольте немного истории. Степан Евстигнеевич, многоуважаемый хозяин, недавно перекрестил свое заведение. Раньше на вывеске значилось: «Встреча друзей», но решил придумать поближе к современности и конкурс объявил — бутылка пива за лучшее название.

«Совсем нехорошо в пивной — накурено, грязно. Какая чушь «Встреча друзей». А доктор-то, поди, уже собирается. Тоже и с ключом ерунда. Пока не поздно, надо отобрать, еще в неприятность залезешь».

— Да-с, так вот вы изволите меня слушать. Все завсегдатаи тогда головы ломали. И вот сперва склонился он к мысли одного актеришки-пивопийцы: предлагал он назвать наше детище «Радостью новобрачных». Бездарно! Сами посудите, при чем тут новобрачные? Спасибо, жена его, высокообразованная женщина, вступилась, и тогда взяли верх иные соображения. Благодаря им, сидим сейчас в «Красном Налиме». Чувствуете, как гениально и заманчиво? Полагаю, что автора угадать не трудно, хотя я и скромен и долго за одним столом не задерживаюсь...

А вот трудящийся товарищ и принес пива. Сознаюсь, одержим пивной страстишкой, к тому же, пиво — что надо.

Не тревожьтесь, сейчас удалюсь, но прежде, согласно сделке, о вашем характере: в глазах нервность, все амурные устремления всегда оканчивались вничью. Доброта и сдержанность, пример налицо. Военные, гражданские и прочие события благополучно пройдены по окольной тропинке. Спешу отметить: думаете не то, что делаете, и делаете не то, что думаете. Загадка, но факт. Проживете до семидесяти двух лет. Теперь позвольте откланяться и сердечно благодарить...

— Постойте,— остановил Андрей Прокофьевич,— лучше вы оставайтесь, и, если хотите, допивайте, а я уж пойду.

— Чувствительнейше тронут, но куда же вы? Однако не смею задерживать. Кстати, вот вам доказательство: думаете не то, что делаете, и тэ дэ.

Андрей Прокофьевич вышел, окончательно решив идти за ключом.

— Боже, кого я вижу? Какая встреча!

Это говорит Тамара Петровна, уже не делопроизводительница стола учета, а просто Тамара Петровна, шелковистая, влекущая к себе,— инженер Воробьев — завидная партия.

Впрочем, и он не инженер, а подогретый, с непривычки, пивом гражданин Воробьев, потерявший на тридцать пятом году своей жизни передний зуб. Сослуживцев нет, подтрунивать некому, а идти в одну сторону.

— Куда?

Также к вокзалу, мне нужно там в десять часов повидать одного знакомого.

Какие веселые, смазанные грязной жижею, тротуары. И эти встречные, они тоже подогреты вечером, огнями кино и судьбой...

3

Если лечь на дно лодки и плыть с открытыми глазами, поплывешь прямо в небо, к белым дневным звездам и луне. Если же закроешь их, будет то хмель и тоска. Может, лодка на месте стоит, и журчит у кормы мягкий плеск, а может, плывет, пряча на дне человеческий мозг и волю без глаз.

— Спасибо, мой друг, это последни раз на земле: прогулька к здоровым людям. Un peu de musique, un peu de Watteau. Это страшно, конечно.

— Ах, доктор, я тоже сегодня в гостях у людей.

— Да, да, я вижу, я знаю...

Над землей, над смехом хмельным, над яркими пятнами чуть колышется дымный гамак. Подхватил в синие нити и качает, качает, выше, все выше, трудно слушать, что говорит этот человек, прикрывающий брови.

Ах, вот что! Такие же синие обои в служебном кабинете! Синева прилипла к зеркалам, перелилась в густой винный воздух и трепыхает, оседая синими хлопьями на пол. Хлопья топчут люди и сбивают их в мягкий, развратный ковер.

— Еще вина! — сверкает услужливый поднос.

— Как хорошо, что ви встретили вашу знакоми. Она похожа на одну мою мертви дама. Она такая же добри, красиви, она вас любит... Смелей, смелей, мой инженер! О, за вами много дней и ночей, и еще блондинок, и еще брюнеток, а у меня... — помолчал и прошептал, бросая от лица на стол руку,— эти брови, все боятся... Идемте, я усталь, но я вас доведу.

— Доктор, еще немного... слушайте, русская песня, гусляры.

— Ах, да, да, подюмайте! На рабство народ ответиль песней, такой плявной, такой глюбокой песней! Я знаю, плянета сбережет их как драгоценность. Я рад, что у вас было рабство! Уголь падени равен уголь отражени — это закон. Я завидую вашему народу, у вас так просторно, страдания рождают велики действи. Ваша страна счастливи, живучи, не бойтесь ее, это не проказа.

Помолчал, улыбаясь, барабаня пальцами и вглядываясь.

— И еще скажите вашей брюнетке, что я болен и что, может, у ней будет то же. Пусть плячет у зеркаля. А может, и ви уже прокаженни? С чем ви войдете в заразник, несчастни молодой человек? У вас нитчего, нитчего нет. Я знаю, я вижу. Но идем, пора. Вы верите в бога?

Ах, больше незачем плыть на небо, к белым звездам и лунам. Пусть закрываются глаза и качает покойная лодка. У кормы мягким плеском бьется ленивый, текучий фокстрот. Это не скрипки, это ключицы поют у людей, которых зовут скрипачами.

— Домой, домой, пора, я усталь!..

Если у плавунца — есть такой водяной жук — оторвать одну лапку, будет он, обреченный, грести одной, и кружить, и кружить мелким кругом, и путь его станет малым.

А верит он еще в смелый плав, и налет, и хищный жучий разгул по водяным мхам, но теперь только быстренько кружит на месте, на месте, на месте — эх ты, никудышный порченый жук-плавунец!

4

Утром сегодня так трудно вставать первый раз за семь лет. А Знаменская свободна: можно идти по правой стороне до лавочки с чем-то пестрым. Но только почему пестрым? Ведь это обувь — мужская и дамская обувь, и пестрого в ней за все семь лет ничего нет и не было.

И так же плавно кружит приводной ремень, и так же топорщатся бумаги.

Подошел скрипучим шагом к столу, глаза скользнули по верхней бумаге.

«Проезжая мимо сигнальных будок, оный машинист Григорьев обругал их, в том числе и меня, понося материнскими словами и выше...»

Ах, какая тяжелая голова!

Между строк подмигнули безбровые дуги с бугровато-бурыми пятнами.

— Un peu de musique, un peu de Watteau...

Пострельки, Пострельки, какая тоска!

Стучит вагон, трепыхает звенящим телом белая плевательница, вагонная топка сушит мысли и волю. По стеклу с крупными каплями ползет серое, оплывшее небо и вялый лес.

Когда поезд останавливается, осень мягко слетает на вагонную крышу и быстро-быстро долбит клювом по железу, говорят — это дождь.

Да, нужно работать, работать, и все срочно, пачки депеш... Вот...

«Сегодня выбросился из вагона и раздавлен насмерть больной проказой врач Деспиладо. Больной достал вагонный ключ и им открыл выходную дверь...»

— Фу, какая у вас жара! — тон у Тамары Петровны другой, и в этом что-то обидное и приятное вместе.

Подошла с ведомостью еще ближе, чем вчера.

И сказал тихо Андрей Прокофьевич, чертя карандашом по оленю:

— А знаете, этот доктор — прокаженный, и приказал нам долго жить.

Последнее слово, проскочив через пустой промежуток в зубах, вышло беспомощным и смешным.

Совсем от себя. Послесловие автора.

Я написал здесь правду, белую правду, и этот документ выдуман не мною. Оттого здесь и ненужная мне Куба, и Чайкина, и многое другое.

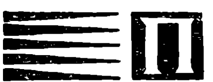
Идите вымойте руки, эти страницы быстро перелистали проказа, и горе, и робость, а теперь вот и вы — здоровые люди счастливой страны.



Леонид Добычин

ПОВЕСТЬ РАССКАЗЫ

ТИМОФЕЕВ



ровалившись на экзамене, Тимофеев не пошел обедать, а отправился домой и, сняв тужурку, улегся спать. Приземистый, с серым лицом и всклокоченной желтой бороденкой, он лежал на спине и храпел. Над его лбом, изогнувшись, как удочки, нависли несколько жиденьких прядей, в которые слиплись его водянистые волосы. Полинялая синяя сатиновая рубаха выбилась из-под пояса, и между нею и штанами виднелась закрашенная раздавленным клопом нижняя рубашка. Мухи садились ему на лицо, и он, мыча, сгонял их рукой, но не просыпался. Он проснулся только вечером, когда уже не было солнца и электричество горело в лампе, брошенной после ночной зубрежки с незавернутым краном. Он вскочил и, спустив ноги с кровати, взял правой рукой край левого рукава и стал тереть глаза.

— Надо велеть самовар,— сказал он себе и пошел искать хозяйку.

Ее не было в доме, и он вышел взглянуть на дворе.

Красная луна, тяжеловесная, без блеска, как мармеладный полумесяц, висела над задворками. На красноватом западе тускнелись пыльного цвета полосы, точно сор, сметенный к порогу и так оставленный. Было тихо-тихо, и хозяйка, сидя на ступеньке, закутавшись в большой платок, не шевелилась, не моргала, наслаждалась неподвижностью и тишиной. Тимофеев сел ступенькой выше и молчал. Так они сидели безмолвные и неподвижные, с глазами, устремленными на небо. Далеко-далеко просвистел паровоз. Хозяйка тихонько вздохнула и прошептала:

— Фильянка.

— Какая фильянка? — шепотом спросил Тимофеев.

— Фильянская железная дорога.

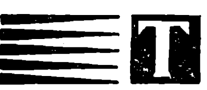
И они опять замолчали и долго сидели тихие и затаившиеся, пока не открылось окно и оттуда не крикнули:

— Дарья Ивановна, где вы? Нельзя ли самовар?

— И мне, пожалуйста,— сказал тогда Тимофеев, встал и пошел к себе.

Глотал он чай и жевал ситный задумчиво: что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее назавтра дождь, небо.

КУКУЕВА



Только что катались в лодке. Было очень весело. Разбитная барынька Кукуева была в кисейной кофте прямо на рубашку — все было видно!.. Костин ужасно важничал. Плеснулась рыба. Костин крикнул:

— Щука.

— Этой бы щукой тебя по морде,— сказал Жорж.

Все очень смеялись. Костин разозлился.

— Покажи мускулы,— пристал Жорж.

— Убирайся к черту.

— У него мускулы как тряпки. Хотите посмотреть, какие у меня?

— Покажите, покажите.

Девицы ахали. Кукуева потрогала.

— Как ваше имя-отчество?

— Для вас я — Жорж.— Он всегда так отвечал: для вас я — Жорж...

Поел, напудрился и был опять на берегу. Луна белелась неопределенным пятнышком. В воде была гора с садами и церквами, расплывчатая, словно вышитая шерстью по канве. Над входом в сад Маркса и Энгельса трепались флаги. Жорж взял билет.

Народу еще не набралось. Музыканты на эстраде охорашивались, покуривали и глазели. В лоске скамеек отражалась краснота заката. Шурочка сидела, глядя на входящих. Увидев

Жоржа, уронила головку — представилась, что не заметила. Он подошел и сделал под козырек.

— Здравствуйте... А я сегодня отчистил Костина: катались в лодке и, знаете...

Он сидел развалясь, торжествующий. Она, счастливая, склонила легкую головку с светлыми кудряшками и тоненькими пальчиками разрывала васильки. На эстраде затрубили и застучали в барабан. Все встали и принялись ходить взад и вперед.

— Смотрите-ка, у этой расстегнулась юбка! А эта, кажется, со мной не прочь — видали, как подмигивает?

Шурочка смеялась и сжимала его руку.

Разбитная барынька Кукуева встретилась на повороте и погрозила пальцем. Сразу стало скучно с Шурочкой.

— Пойдемте, я вас провожу.

Из воды смотрело небо с облаками. Луна желтела и выравнивалась. От тумбочек упали маленькие тени. Дверь в церковь была открыта.

— Зайдем,— сказала Шурочка.

— Зачем?

— Зайдемте.

Сторожиха подметала пол. Господь висел на лакированном кресте. Иоанн и Мария стояли.

— Так бы и я стояла,— прошептала Шурочка.

— Около меня?

В саду Маркса и Энгельса гремели литавры... Золотились лунным светом облака. Березы в палисадниках качали ветками. Обогнала телега и без грохота катилась, блестя на луне железными шинами...

— Ну, до свиданья.

Он побежал, боясь, что не застанет Кукуеву в саду.

А Шурочка все улыбалась маленькими блаженными улыбочками и старалась спрятать в тень счастливое лицо.

— Ворона,— закричала мать за ужином: — Испакостила чистую салфетку. Господи, в кого такая удалась?

СТАРУХИ В МЕСТЕЧКЕ

1



елобрысая двенадцатилетняя Иеретиида, в синем платье и черном фартуке, прискакивая, несла на плече лопату. За ней, сложив на выпяченном животе костлявые руки, величественно шла Катерина Александровна — в широком черном платье с белыми полосками и маленькой черной шляпе с креповым хвостом. Сзади, неся пеструю метелку из перьев, коробку с веером и зонтик, выступала Дашенька — сорокалетняя, черная, грудастая и чванная.

На балконе, распаренная, толстомясая, в голубом капоте с кружевами, сидела Пфердхенша и пила кофе с пфеферкухеном. Ее ноги загораживала вывеска:

АПТЕКА ФОН ПФЕРДХЕН

худ. Цыперович

Катерина Александровна двинула губами и стала смотреть вдаль; Дашенька, задрав голову, глазела: Пфердхенша — развратница.

Свернули вправо и по мостику с вывесочкой «мост опасен» вышли в зеленую улйцу с серыми тропинками.

Иеретиида загляделась на девчонку, которая бежала против ветра, держа над головой распяленную наволочку. Катерина Александровна пристально смотрела на графинин парк с булыжниковым забором.

Тщедушный акцизный, в длинной желтой ситцевой рубахе, копался в палисаднике. Тощая акцизничиха, в синем балахоне, босая, наливала лейку. Катерина Александровна прищурилась: они — с легкими идеями.

Под откосом купались мальчишки. Медленно плыли плоты. Черная корова, стоя в воде передними ногами, обмахивалась хвостом.

Гаврилова сидела на крыльце. Увидя, что идут, поднялась и ушла в дом: она недавно бросилась в колодец и теперь — стыдилась.

Катерина Александровна скрипучим голосом окликнула Иеретииду, свернули вправо и по тропинке между огородами пошли на кладбище.

Около могилы развели два маленьких костра — от комаров. Дашенька почистила скамью метелкой. Катерина Александровна уселась, посидела, посмотрела на памятник с портретом старичка в медалях и эполетах. Костры засыпали.

Возвращались по другой дороге. За полем началась графинина булыжниковая стена. Проходя мимо ворот, Катерина Александровна повернула голову и смотрела на двор с круглой клумбой и белый фасад с закрытыми окнами: никого не увидела.

У калитки сквера она отпустила Дашеньку и Иеретииду и, с полузакрытыми глазами втягивая сладкий воздух, вошла под цветущие липы. Дорожки приводили на площадку с четырьмя скамейками. Сбоку, в полосатой будке — белой с красным, грызя орехи, сидела Роза Кляцкина. Вокруг нее были расставлены бутылки с квасом. Цыперович, в коричневой бархатной куртке, скрестив руки на груди, стоял снаружи и, принимая позы, заглядывал в Розины глаза.

Фрау Анна Рабе, в кисейном платье с синими букетиками, приятно улыбаясь, вышла на площадку из другой аллейки. Перед ней бежала моська Цодельхен. Катерина Александровна, обмахиваясь веером и придерживая креп, расположилась с фрау Анной так, чтобы не видеть Розы и Цыперовича. Цодельхен, пощипывая травку, бродила около.

Солнце садилось за липами. Темная зелень казалась прозрачной. Ветер, замирая, шевелил не поместившиеся в прическу волоски. Балюль, с прыщеватым лицом, прошмыгнул, согнувшись.

— Должно быть, из палаццо,— сказала фрау Анна.

Катерина Александровна моргнула.

— Да, ведь графиня, кажется, приехала... Скажите, дорогая Анна Францевна, вы с ней знакомы?

— Когда мой Карльхен был жив, он в палаццо лечил, тогда я тоже была с ними знакома. Но когда они мне фанатисмус показали, тогда я с ними больше не знакома.

Она стала рассказывать, как Карльхен умирал, а граф Бонавентура уговаривал его принять католицисмус.

— Это был целый шкандал, и мы с графинем Анном не есть теперь очень приятные.

Катерина Александровна поспешно встала и простилась.

2

Дул теплый, мокрый ветер, дорога почернела. Катерина Александровна шла от обедни.

— Этот ветер,— говорила она,— дует с моря. Чувствуете — пахнет солью и парусиной. Мне нравится, как сказано в Деяниях: «ветер бурный, называемый Эвроклидон».

Перед костелом были сани из палаццо.

— Дашенька, Иеретиида, идите — я вернусь... забыла...

Креп, пришитый к шляпе, взвизгивал и вытягивался, бил по лицу. Нос покраснел, текли слезы. Подползли нищие и, голося, протягивали руки. Рослая старуха, в красной шубе, с четками на шее, курносая, вышла из костела. Катерина Александровна лизнула губы и рванулась.

— Графиня! Вас ли я... вот случай!

— Прошем дать дорога,— прогнусавила графиня.

Снег хрустел под подошвами. Солнце грело нос и левую щеку. Белые дымки подымались над крышами. Таяла утренняя луна.

— Смотрите, Дашенька и Иеретиида,— показала Катерина Александровна.— Склонилась, будто над разбитыми мечтами.

— Что и говорить,— ответила Дашенька.

Трещала канарейка, собачонка Эльза грелась на подушке у горячей печки, на полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин.

— Горячо любимая Анна Ивановна,— сказала Катерина Александровна,— поздравляю вас с днем ангела.

Уселись на диване под стенным ковром с испанкой и испанцами. Именинница, сияя, гладила коротенькими пальцами атласную ленту на своем капоте.

— Акцизничиха — слышали? — вернулась. Пряталась у Гавриловой. Как вы находите? Я позвала Гаврилову к обеду: будет рассказывать.

— Ах, эти легкие идеи...

— Графиня разъездилась: вчера два раза проехала, сегодня проехала.

— Точно в покоренном городе,— сказала Катерина Александровна.

Гости, с красными лицами, хлопали глазами.

— Уже укладывалась спать,— рассказывала Гаврилова,— вдруг стук. Является. «Пустите пожить. Сестра пришлет денег, уеду в Калугу». Пока говорили, вокруг ножищ натаяла лужица. Дальше — хуже. Тут начнет донимать «Кругом Чтения»: «Вы когда родились?» А мое рождение первого апреля. Так и отвечаю. «Так давайте,— говорит,— почитаем «Круг Чтения»

на первое апреля». Ах, чтоб тебя! К счастью, денежек у ней было не много, а от сестры, конечно, шиш, никакого ответа, она и вернулась.

Катерина Александровна, торжественная, в черном шелке, отодвинула изюм, поднялась, отерла рот и прочувствованным голосом сказала:

— Бедная вы моя Прасковья Александровна. Сколько вытерпели вы от этой негодницы... Горячо любимая моя, я полюбила вас. Примите мою дружбу. А ведь вы — сестра моя: я тоже Александровна.

Ее губы дрогнули. Она подумала: «И я такая же одинокая, как вы».

Анна Ивановна обняла Гаврилову и громко целовала. Фрау Анна Рабе встала и, приятно улыбаясь, поднесла Гавриловой букетик резеды. Попадья и становиха чокнулись с Гавриловой и крикнули «ура». Она, вспотевшая, клала руку на сердце и раскланивалась.

— Я с отрадой вижу,— заскрипела Катерина Александровна,— как единодушно мы сейчас настроены. Хотелось бы, чтобы в таком единодушии мы навсегда и остались... Перед нами разъезжают точно в покоренном городе. Объединимся и дадим отпор.

Гости слушали, повеся головы, и сквозь кофейный пар глядели на нее мутными глазами.

— Что ж, Анна Ивановна,— спросила почтмейстерша,— зелененький столик расставим или расходиться будем?

— Да, пора, я вижу,— сказала Катерина Александровна и, величественная, заколола под подбородком свою шаль.— Прасковья Александровна, пойдемте. Вы посидите у меня, поговорим...

Темнело. Пахло снегом. В конце улицы, где синяя туча обрывалась, на небе светлелась желтая полоска. Катерина Александровна молчала. Гаврилова была оживлена, покачивалась.

3

В палисаднике у фрау Рабе зацвели маргаритки. Из Петербурга приехала Марья Карловна с семьей: три маленькие девочки с косичками и нянька. Катерина Александровна встретила их у калитки.

— Ах, Мари,— сказала она,— как я рада. Иди, ложись, а потом поговорим подробно.

Она присела к столику и записала на бумажке, что спрашивать и что рассказывать. После чаю пригласила Марью Карловну пройтись и, выйдя за калитку, посмотрела на свою записку.

— Ну, Мари...

— Тетечка,— сказала Марья Карловна,— мы их еще объединим.

Светлели голубые и зеленые промежутки между облаками. Из палисадников пахло жасмином. Купальщики возвращались с побледневшими лицами и мокрыми волосами. Над Пфердхеншиной крышей виднелась маленькая белая звезда.

На следующий вечер, вымыв чайную посуду, Марья Карловна оглядела свою вертлявую фигурку и, проведя ладонями по кофте и белой полотняной юбке, накинула на голову шарф.

— Иду.

Стали ездить в лодках — с едой и гитарами, толпой ходить в лес. Возвращаясь, заходили в сквер, где на эстраде играли четыре музыканта с длинными носами. Требовали гимн. Все вставали и снимали шапки. На минуту становилось тихо. Потрескивали в тишине фонарики. Роза Кляцкина, грызя орехи, вставала в будке. Звучала торжественная музыка, кричали «ура» и «повторить».

Катерина Александровна мало участвовала в этих развлечениях. Она обдумывала завещание. Каждый день после обеда она взбиралась на гору, поросшую твердой травой с желтыми цветами, и бродила перед расписной часовней: Ирод закусывал с гостями... Перерезанная шея святого Иоанна была внутри красная с белыми кружочками, как колбаса на цыперовичевской вывеске. Катерина Александровна бродила между кострами и смотрела на дорогу: не появится ли маленькое шествие, не идет ли графиня Анна с ксендзом Балюлем и двумя старухами в красных пелеринах. Оставив старух внизу, где Дашенька и Иеретиида тихонько напевают и ищут одна у другой в голове, графиня взобралась бы, опираясь на ксендза, и дала бы ему знак остановиться, а сама бы подошла и наклонила голову. Катерина Александровна сказала бы:

— Здравствуйте, графиня.

Прикладывались. Духовное лицо держало крест и восклицало:

— Слава тебе, боже, слава тебе, боже.

Дашенька и Иеретиида запирали в шкаф возле свечного ящика подушку для коленопреклонений и ковер. Катерина Александровна, поджидая их в притворе, ела просфору. К ней подошел зеленоватый старичок в коричневом пальто: Горохов, председатель городского братства святого Александра Невского, наслышан о деятельности...

Сидели в сквере. Катерина Александровна, без шляпы, в широком белом платье с черными полосками, обмахивалась веером и улыбалась. Горохов, пришепетывая, рассказывал о братстве,

как оно ходило с крестным ходом, послало телеграмму в Царское Село, устроило концерт и вызолотило большое соборное паникадило. Катерина Александровна, поигрывая веером, смотрела на деревья.

— Непременно, непременно,— уговаривал Горохов.— Заказали бы хоругвь, и она хранилась бы у вас в гостиной, а в процессиях развевалась бы над головами — подумайте, какая красота!

— Пройдемтесь,— пригласила Катерина Александровна.

Шли вдоль речки. Пахло клевером.

— Часовня,— обрадовался Горохов,— Иоанн Креститель! Вот вам и название: братство святого Иоанна.

Катерина Александровна сказала:

— Оттуда недурной вид.

Возвращались. Голубоватое небо стало лиловым и розовым. Обернулись и посмотрели на два красных овала — над речкой и в речке. Осветились красным светом желтые лица и седые головы.

— Катерина Александровна,— напыщенно вскричал Горохов.— Это зрелище двух солнц не говорит ли о двух братствах? Святой Александр и святой Иоанн! Это прекрасно.

Но Катерина Александровна думала не о двух братствах, а о двух дамах: величественные, в светлых платьях, розоватых от вечерних лучей, они смотрят с горы и, растроганные, произносят отборные фразы...

В городе открывали памятник. Дамы, разодетые, поехали. Горохов встретил на вокзале.

— Катерины Александровны нет? Вот жалость! Владыка хотел поговорить с ней насчет братства. Имели бы свою хоругвь — ах, какая красота...

Он разместил их у решетки, за которой стояло под холстиной что-то тощее.

— Я боюсь,— кокетничала становиха,— вдруг там скелет.

Кругом были расставлены солдаты. Золотой шарик на зеленом куполе ослепительно блестел и, когда зажмуришься, разбрасывал игольчатые лучики. Затрезвонили. Нагнувшись, вылезли хоругви и выпрямились. Сияли иконы, костюмы духовных лиц и эполеты. Епископ в голубом бархатном туалете с серебряными галунами приблизился к решетке. Сдернули холстину. На цементном кубике стояла, кверху дулом, пушка, а на ней орел в короне.

— Прелесть, прелесть,— щебетали дамы, отклоняясь от брызг святой воды, и растопыривали локти, чтобы ветер освежил вспотевшие бока.

За угощением в палатке было очень оживленно. Ручались,

что война начнется завтра или послезавтра. Соображали, куда бежать.

— Хорошо вам, фрау Анна: скажете им, будто родились в каком-нибудь Берлине, и конец.

— Это надо врать? — спросила фрау Анна.— Никогда не врала.

«Господи, а я куда девгюсь»,— думала Гаврилова.

— Поеду с вами в Петербург,— сказала Катерина Александровна, выслушав от Марьи Карловны доклад.— Я и так собиралась. Здесь опротивело — не с кем слова сказать.

Накрывали ужин и стучали вилками. Катерина Александровна стояла на веранде. «В Петербург!.. Бредешь по ротам и видишь синий купол с звездами. Тащатся к Варшавскому вокзалу сонные извозчики с корзинами в ногах. Из харчевен воняет горелым. Старухи плетутся ко всенощной — в ротондах, в расшитых стеклярусом мантильях...»

Луна стояла над забором, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской. «Анна, Анна, ты не захотела, чтобы я отдернула завесу, которою ты от меня закрыта...»

Война не начиналась. Приехал муж Марьи Карловны. Ходил на речку загорать. Возвращаясь, выпивал у Розы Кляцкиной бутылку квасу. Под Иванов день Анна Ивановна дала праздник. На яблонях висели бумажные фонарики. Играли музыканты из сквера. Перед садом прогуливалось все местечко. Телеграфист со станции жег бенгальские огни, все освещалось, и мальчишки на улице громко читали заборные надписи.

4

Анна Ивановна и Марья Карловна сидели в цветнике у фрау Анны Рабе.

— Целый вечер я на фисгармониуме канты играла,— рассказывала фрау Анна.— Тогда совсем темно стало, и я фисгармониум закрыла и пошла немного на крыльцо стоять. На небе было много звездочки, я голову подняла и смотрела. Это есть так интересно — я видела кашнэ и разную посуду, много разные горшки, кастрюльки. Я была счастливая, стояла и смеялася. Приходит Лижбетка: «Вы видели Цодельхен?» — «Нет». И вот, сегодня ей нашли за огородом в крапиве.

— Да,— сказала Анна Ивановна, смотря на затянутый фасолью забор.— Сегодня Цодельхен, завтра Эльза, а там...— Она замолчала и подняла глаза на серенькое небо.

Марья Карловна вздохнула и закивала головой.

— Карльхен ее так любил... После обеда он идет немного

посмотреть свои больные, наденет свою шляпочку — он имел такую маленькую шляпочку с зеленым перышком. Цодельхен — с им вместе. Я поливаю грядки, присматриваю на кухне. Тогда вдруг гавкает этот собачка — Карльхен есть на углу и машет своим шляпочком...

Фрау Анна наклонила голову. Гостьи, опустив глаза, молчали. С клумбы пахло левкоями. Чай остывал в трех чашках... Застучали дроги, стали, все подняли головы. Хлопнула калитка, и по обсаженной сиренью дорожке прибежал муж Марьи Карловны.

— Катерины Александровны здесь нет? Война объявлена. Приехали со станции, и вот...

Дамы встали.

— Катерина Александровна на горе,— сказала Марья Карловна,— обдумывает завещание. Беги.

Так тиха сегодня твоя земля, господи. Проехали со станции, прогремели, и опять тихо. Вон, какие-то верзилы купаются и не горланят... Дорога к палаццо лежит под деревьями как мертвая... Вспоминается осенний вечер: темнело, было тихо, два узких листика висели на тонкой ветке, маленькие купола с белесоватой позолотой тянулись к серенькому небу...

— Катерина Александровна, война объявлена!

Катерина Александровна перекрестилась.

— Спускайтесь, я подумаю.

Через минуту она сошла.

— Идемте.

Дашенька и Иеретиида шагали сзади. Из садов пахло яблоками.

Съели по куску хлеба с маслом. Катерина Александровна поправила прическу и надела цепь. Марья Карловна пригладила ладонями кофту и надела на девочек белые платья. Ее муж взял Катерину Александровну под руку.

— Тетечка, вы с ним, я с детьми — перед вами. Дашенька — впереди, с флагом. Иеретиида пойдет сзади... Около Пфердхенши будем кричать «долой Германию».

Катерина Александровна сказала «с богом», вытянули лица, Иеретиида отворила калитку, Марья Карловна взмахнула руками, как регент на клиросе, запели «Боже, царя храни» и вышли на заросшую ромашкой улицу.

Гаврилова и ее дачница дочистили крыжовник. Гаврилова перекрестилась:

— Ну, в час добрый.

Вытерли бумагой шпильки и воткнули их на место, в волосы. Сполоснули руки и сбежали под откос — купаться.

— Мальчишки, убирайтесь!

Темнело. Обрыв на другом берегу был желто-красный, как будто на него светил закат.

Наплавались и, скрестив руки, тихо стояли в темной воде.

— Погодите-ка, что за история? — Дачница выскочила, натянула рубаху и побежала.— Война объявлена,— задыхаясь, крикнула она и стала одеваться.— Народищу... акцизный с флейтой!..

Гаврилова одна стояла над водой, спешила и трясущимися пальцами путалась в тесемках.

НИНОН



Матушка Олимпиада истово читала басом. Зеркала были завешены. Вокруг Нинон были расставлены притащенные из ее комнаты растения: мирт, лавр, эвкалипт, кипарис... Вчера она была нехороша, а сегодня распухла, морщины растянулись, и все находили, что она стала очень интересной.

Мари сидела неподвижно в уголке дивана, маленькая, седенькая, с трясущимися розовыми щечками, держа у носика надушенный платок.

Стуча палкой, вошла Барб Собакина, костлявая, с седыми усами и бородой, и перекрестилась на иконы.

— Здравствуйте, матушка Марья Петровна,— сказала она неестественным, ханжеским голосом.— Какое горе!.. Узнаете меня?

Мари сконфузилась, заморгала и пролепетала:

— Как же, как же...

— Хорошие люди, видно, и там нужны,— пропела Барб, покрестилась около Нинон, прошептала на всю комнату: — Какая интересная! — и притворным голосом затараторила, идя к дивану: — Кружевцо у ней на чепчике!.. Научи́те, матушка. Простите, понимаю, что теперь не время, но мы так...— она нагнулась и заглянула Мари в глаза,— не часто видимся... Как это вяжут?

Мари, смущенная, смотрела. Барб стояла перед ней, навалившись на палку, и выжидательно глядела.

— Тогда не здесь,— пробормотала Мари.— Может быть, пройдемте в мою комнату?

— ...Семь петель делается на воздух,— суетливо объясняла она на ходу, отодвигая драпировки и толкая двери.— На воздух... Столбиком... да вот, здесь, в сундуке, образчик...

Синяя лампочка горела у икон. На столике под ними две маленькие розы без ножек плавали в блюдечке. Почти не слыш-

но было через несколько стен, как матушка Олимпиада бубнит по-славянски над ухом Нинон. Старухи сидели на скамеечках перед раскрытым сундуком, перебирали куски кружев, вышивки, рассматривали их на свет, прикидывали их на черное, на красное и бормотали: «С накидкой... шашечкой... французский шов...» Мари взглянула на гостью, порылась, достала темную полированную шкатулочку, сняла через голову маленький ключик на черном шнурке и открыла.

— Барб,— сказала она и подала ей маленькую коричневую фотографию.

— Мари...

— Барб... сорок лет...

— Мари, вы знаете...

— Барб, это она... Утром, не успеешь причесаться, уже шипит: «Берегись ее, Мари! У нее на уме какие-то пакости. Она тебе натянет нос...» Трубила, трубила... а я...

— Я так и знала,— сказала Барб и засмеялась.— Как услышала сегодня, сейчас же взяла палку и явилась.

Мари захихикала.

— Лежит кверху носом! Раздулась, как утопленник, а всё — «такая интересная, такая интересная!..» И ты, Барб, тоже.

— Мари... глупенькая...

Они тихонько смеялись беззубыми ртами, и своими страшными коричнево-лиловыми руками Барб нежно гладила страшные руки Мари и мутными белесыми глазами глядела в ее мутные белесые глаза.

— Ты все такая же хорошенькая, Барб...

— И ты, Мари...

— У тебя и тогда были маленькие усики и на щеках — пушочек... А помнишь, нас вели прикладываться, ты поправляла сзади пуговку, и я взяла тебя за пальцы...

— Да... Ах, Мари...

— Барб, помнишь...

Темнело. Горела лампадка. Розы в блюдечке пахли сильнее. Перед раскрытым сундуком валялось на полу белье. Старухи, улыбающиеся, умиленные, сидели на кровати. Матушка Олимпиада отворила дверь и позвала на панихиду.

— Сейчас,— сказала ей Мари.— Идите... Варенька, пойдем, бог с ними...

— Да, пойдем, бог с ними,— ответила Барб со счастливой улыбкой и подняла свою палку.

Они, обнявшись, медленно пошли по коридору.

— Варенька,— мечтательно произнесла Мари,— а сколько счастья было бы у нас с тобой за сорок лет... Зажми нос,

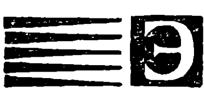
Варенька,— прибавила она злорадно, открывая дверь в гостиную.

Нинон лежала между тремя церковными подсвечниками, окруженная собственноручно взращенными в кадках эвкалиптами и лаврами и еще более распухшая.

Гости, делая постные лица, говорили о ее твердом характере и о том, что она стала еще интересней: еще пополнела, помолодела и стала еще интересней. Мари с достоинством кивала головой, и ей хотелось подмигнуть, хихикнуть, высунуть язык. Она тихонько тронула Барб за руку, и Барб, счастливая, удерживая смех, пожала ее пальцы.

КОЗЛОВА

1



лектричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиросе. Приезжий проповедник предсказал, что скоро воскреснет бог и расточатся враги его.

Козлова приложилась и, растирая по лбу масло, протолкалась к выходу. Через площадь еле продралась: пускали ракеты, толкались, что-то выкрикивали, жгли картонного бога-отца с головой в треугольнике, музыка играла «Интернационал».

— Мерзавцы,— шептала Козлова,— гонители...

Снег скрипел под ногами. Промасленные полозьями места жирно блестели. Над школой Карла Либкнехта и Розы Люксембург стояла маленькая зеленоватая луна. Козлова вздохнула: здесь мосье Пуэнкарэ учил по-французски.

Она пошла тише. В памяти встали приятные картины дружбы с мосье.

Вот — чай. Мосье рассказывает о Лурдской богородице. Авдотья отворяет двери и подсматривает. Козлова показывает на нее глазами.

— Приветливая женщина,— говорит мосье.

Потом он берется за шляпу, Козлова встает, и они отражаются в зеркале: он, аккуратненький, седенький, раскланивается, она — прямая, в длинном платье, пальцы левой руки в пальцах правой, тонкий нос немного наискось, на узких губах — старомодная улыбка.

— Приходите, мосье...

А вот — в кинематографе. Играют на скрипке. Мосье завтра едет. С тоненького деревца в зеленой кадке медленно падают листья.

— Как грустно, мосье...

Девица в красной вязаной кофте отдергивает занавеску и впускает. По сторонам холста висят Ленин и Троцкий... Бьет посуду и ломает мебель комическая теща, красуются швейцарские озера и мелькают шесть частей роскошной драмы: Клотильда отравилась, Жанна выбросилась из окна, а Шарль медленно отплывает на пароходе «Республика», и ему начинает казаться, что все случившееся было только сном:

— Так и вы, мосье, забудете нас, как сон.

— О, мадмуазель!

Обратный путь полон излияний. В прекрасной Франции мосье будет думать о ней. Он будет следить за политикой.

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб»,— напишет он, когда можно будет ждать чего-нибудь такого...

2

Вечера Козлова просиживала на лежанке,—штопала белье или читала приложение к «Ниве». Вторник был женский день — ходили с Авдотьей в баню: орали дети, гремели тазы, толстобрюхие бабы с распущенными волосами, дымясь, хлестали себя вениками. В воскресенье брали по корзине и отправлялись на базар.

— Гражданка, гражданка,— высовываясь из будок, зазывали торговки: — Барышня или дамочка!

Иногда приходила Суслова, и долго пили чай: хозяйка — чинная, с любезной улыбкой, гостья — растрепанная, толстая, с локтями на столе и шумными вздохами. Говорили о тяжелой жизни и о старом времени. Авдотья слушала, стоя в дверях.

— В Петербурге я кого-то видела,— рассказывала круглощекая Суслова, задумчиво уставившись на чашки (одна была с Зимним дворцом, другая — с Адмиралтейством): — Не знаю, может быть — саму императрицу: иду мимо дворца, вдруг подъезжает карета, выскакивает дама и — порх в подъезд.

— Может быть, экономка с покупками,— отвечала Козлова...

Зима прошла. Первого мая Козлова выстирала две кофты и полдюжины платков: пусть выкусят.

В открытые окна прилетали звуки оркестров...

Из монастыря принесли икону святого Кукши. Ходили встречать. Возвращались взволнованные.

— Мерзавцы, гонители...

— Господи, когда избавимся?.. Мусью не пишет?

Потом взошла луна, и души смягчились... В соборе трезвонили. В саду «Красный Октябрь» играли вальс. Встретили Деме-

щенку, Каращенку и Калегаеву, задумчивых, с черемуховыми ветками.

Остановились над рекой и поглядели на лунную полосу и лодку с балалайкой:

— Венеция,— прошептала Козлова.

— «Венеция э Нáполи»,— ответила Суслова и, помолчав, сказала тихо и мечтательно: — Когда горел кооператив, загорелись духи, и так хорошо запахло...

Под утро около кровати кто-то кашлянул. Козлова повернулась и увидела святого Кукшу — в синей епитрахили, как на иконе. Он подал ей хартию, и она прочла, что там было написано:

«Кого же и назвать Сивиллой нашего времени, если не мадам де-Тэб».

Проснулась в волнении и пораньше вышла, чтобы перед канцелярией забежать в собор. Дверь была заперта. Козлова толкнула калитку и села подождать в саду.

Столб с преображением и зеленым куполом стоял под кленами. Таяли рыхлые облака телесного цвета, и через них местами сквозило синее. Скрипнула дверь, епископ вышел из сторожки — простоволосый, с ведром помоев. Постоял, считая удары часов на каланче, и опрокинул свое ведро под столб с преображением.

«Недолго мучиться»,— радостно думала Козлова, смотря ему вслед.

Обедала поспешно — хотела сходить к Сусловой, но, встав из-за стола, разомлела и едва добралась до кровати. Проснувшись, к Сусловой поленилась. Отправила Авдотью встречать корову и пошла на огород. Садилось солнце; и закат был простенький: одна полоска — красноватая и одна — зеленоватая. Козлова была любительница поливать.

— Когда поливаешь,— говорила она,— душа отдыхает и погружается в сладостное состояние.

Лила двенадцатую лейку, и луна блестела в быстро исчезавших лужицах. Загремел оркестр. Козлова бросилась к воротам.

Чихнула от пыли. Дымные огни развевались на факелах. Отсвечивались в медных трубах. Керзон болтался на виселице. Свет перебегал по лицам маршировщиков.

— Ать, два! Левой! Да здравствует коммунистическая партия! Ура!

Разинув рот, маршировала Суслова.

Из темноты пробежала Авдотья:

— Англия воюет.

Перед киотами зажгли лампадки и при двух лампах пили настоящий чай. Воняло керосином и копотью.

Со светлым лицом Козлова достала из лекарственного шкафа баночку малины.

— Пасха,— наслаждалась Авдотья.

Ругали дурищу Суслову.

3

Сидели на сверхурочных. Кусались мухи. Гудел большой колокол, дребезжа подпевали стекла.

Демещенко согнулась над столом и выцарапывала: «товарищ Ленин».

Гаращенко и Калегаева, развалившись на стульях, грызли подсолнухи и глазели на новую.

— Завтра Иоанна-воина,— сказала новая, франтоватая старушка с красными щеками.— Когда вы с кем-нибудь поссоритесь, молитесь Иоанну-воину. Я всегда так делаю, и, знаете, ее забрали и присудили на три года.

«Хорошая женщина,— подумала Козлова,— религиозная... Сутыркина, кажется».

Перенесла свои бумаги и чернильницу к Сутыркиной:

— Вы где живете?

Вышли вместе: Козлова — степенная, в синем газовом шарфе с расплывчатыми желтыми кругами, Сутыркина — вертлявая, в старой соломенной шляпе с перьями.

У калиток ломались перед девицами кавалеры. Мальчишки горланили «Смело мы в бой пойдем». Оседала поднятая за день пыль. Торчали обломки деревьев, посаженных в «день леса». Тянуло дохлятиной.

— Свое холщовое пальто,— говорила Сутыркина,— я получила от союза «Финкотруд». В девятнадцатом году я у них караулила сад. Жила в шалаше. Приходили знакомые, и, скажу не хвастаясь, мы проводили вечера, полные поэзии.

Козлова слушала с таким лицом, как будто у нее во рту была конфета: полные поэзии вечера!

— Вы говорите, в девятнадцатом году,— сказала она любезным и приятным голосом: — Помните, все тогда ахали — того бы я съела, этого бы съела. А у меня была одна мечта: напиться хорошего кофе с куличиком.

Они подружились. Часто пили друг у друга чай и, когда не было дождя, прохаживались за город. Разговаривали о начальстве, об обновлениях икон, вспоминали прежние моды.

— Вы не были на губернской олимпиаде? — спрашивала иногда Сутыркина: — Почти совсем голые! Фу, какое неприличие.— И, улыбаясь, долго молчала и глядела вдаль.

Раз или два встретили Суслову, и она останавливалась и, обернувшись, смотрела на них, пока не исчезнут из вида...

В зеркальных крестах горело солнце. Ярко желтели клены. Рябины с красными кистями напомнили Козловой земляничные букетики. Она остановилась, наклонила набок голову и, держа левую руку в правой, картинно любовалась.

Нагнала́ Сутыркину:

— Недурная погода. С удовольствием бы съездила на выставку. Очень хорош, говорят, Ленин из цветов.

Козлова поджала губы.

— Знаете,— с достоинством сказала ей Сутыркина,—я всегда соображаюсь с веянием времени. Теперь такое веяние, чтобы ездить на выставку,— пополнять свои сельскохозяйственные знания...

Дождь стучал по стеклам. За окнами качались черные сучья. В канцелярии было темно. Демещенко, Гаращенко и Калегаева зевали и подолгу стояли у печки. Сутыркина читала газету.

— Вот два интересных объявления.

Все на нее взглянули, она встала и прокашлялась.

Одно было от Харина — к седьмому ноября у него огромный выбор хлебных и кондитерских изделий. Другое — от епископа: седьмого ноября во всех церквах будет торжественная служба и благодарственный молебен.

— Понимаете, какое теперь веяние?

4

Козлова сидела на теплой лежанке и читала приложения к «Ниве». Авдотья мела пол. Пахло мышами от приложений и полынью от полынного веника. Александра Николаевна вышла за Петра Иваныча — стоя под венцом, они блистали красотой. А Алексей Егорыч приходил к ним каждый праздник и, сидя после сытного обеда в удобном кресле, от времени до времени испускал глубокий вздох.

Козлова закрыла глаза и несколько минут наслаждалась этим приятным концом. Потом достала четыре булавки из деревянной коробочки с лиловыми фиалками и подколола юбку. Она сама нарисовала эти фиалки, когда была молоденькой...

Надела валенки, вязаную шапку, кофту и пошла пройтись.

Подскочила Суслова — красная, в большом платке, с петухом под мышкой.

— Ну, как? — бормотала она.— Давно не встречались... тяжело жить. Вот, купила петуха — на два раза. При такой-то семье... Мусью не пишет?

Козлова взяла ее за руки:

— Приходите в половине шестого.

По дороге скакали светлоглазые галки. Низко висели тучи. Иногда пролетали снежинки.

Посмеиваясь приятным мыслям, Козлова бродила по улицам. Зашла на кладбище с похожими на умывальники памятниками и, улыбаясь, поклонилась родительским могилам.

Из ворот был виден монастырь святого Кукши — тоненькие церковки, пузатые башни. Вспомнились: красно-коричневый дворец, желтое Адмиралтейство...

Сегодня вечером чувствительная Суслова заглядится на чашки, притихнет, задумается и расскажет, как видела императрицу. Уютно, как в романе из «Приложений», будет шуметь самовар, от лампы будет домовито попахивать керосином.

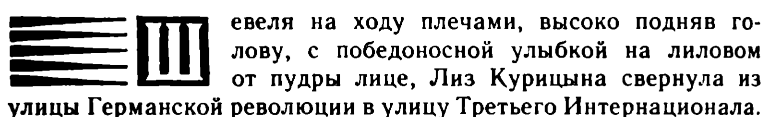
— Вы меня, кажется, встречали с этой женщиной,— скажет Козлова.— Настоящей дружбы у нас с ней не было.

На столбах зажглось электричество — желтые пятнышки под серыми тучами. Два воза дров въехали в ворота школы Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Здесь учил мосье Пуэнкарэ.

1923

ВСТРЕЧИ С ЛИЗ

1



Шевеля на ходу плечами, высоко подняв голову, с победоносной улыбкой на лиловом от пудры лице, Лиз Курицына свернула из улицы Германской революции в улицу Третьего Интернационала.

С каждым шагом поворачивая туловище то направо, то налево, она размахивала, как кадилом, плетеным веревочным мешком, в который был втиснут голубой таз с желтыми цветами.

Кукин повернулся через левое плечо и молодцевато шел за ней до бани. Там она остановилась, повертелась, торжествующе взглянула направо и налево и вспорхнула на крыльцо.

Дверь хлопнула. Торговки, сидя на котелках с горячими углями, предложили Кукину моченых яблок. Не взглянув на них, он, радостный, спустился на реку.

«Пожалуй,— мечтал он,— уже разделась. Ах, черт возьми!»

Ледяная корка на снегу блестела на вечернем солнце. Погоняя лошадей, мужики ехали с базара. Вереницами шли бабы со связками непроданных лаптей и перед прорубью ложились на брюхо и, свесив голову, сосали воду.

— Животные,— злорадствовал Кукин.

Когда он шел обратно через сад, луна была высоко, и под перепутанными ветвями яблонь лежали на снегу тоненькие тени.

«Через три месяца здесь будет бело от осыпавшихся лепестков»,— подумал Кукин, и ему представились захватывающие сцены между ним и Лиз, расположившимися на белых лепестках.

Он посмеялся шуткам молодых людей, которые подзывали извозчиков и говорили «проезжай мимо», и в приятном настроении повернул в свой переулок.

Клуб штрафного батальона был парадно освещен, внутри гремела музыка, на украшенной еловыми ветвями двери висело объявление: труппа батальона ставит две пьесы — «Теща в дом — все вверх дном» и антирелигиозную.

Чайник был уже на самоваре. Мать сидела за евангелием.

— Я исповедовалась.

Кукин сделал благочестивое лицо, и под тиканье часов «ле руа а Пари» стал пить чашку за чашкой — седенькая мать в ситцевом платье и ее сын в парусиновой рубахе с черным галстучком, долговязый, тощий, причесанный ежиком.

В канцелярию приковыляла хромоногая Рива Голубушкина и велела идти к Фишкиной — графить бумагу.

— Читали газету? —спросила она, подняв брови.— Есть статья Фишкиной: «Не злоупотребляйте портретами вождей».— И, откинув голову, она выкатила груди.

Было холодно. В открытое окно дул мокрый ветер.

Рива усердно переписывала. Кукин, стоя, разлиновывал.

Фишкина, приблизив темное лицо к его руке, смотрела, и ее черная прическа прикоснулась к его бесцветным волосам. Тогда она встряхнулась и отошла к окну.

Стояла, вглядываясь в тучи, коротенькая, черная, прямая и презрительная. Потом негромко высморкалась и, повернувшись к комнате, сказала:

— Товарищ Кукин.

Приотворилась дверь, и кто-то заглянул. Она надела желтую телячью куртку и ушла.

— Вы ей понравились,— выкатывая груди, поздравляла Рива и таинственно оглядывалась.— Старайтесь к ней подъехать: она вас будет продвигать. Жаль только, что нас с ней переводят. Но ничего, я вам буду устраивать встречи.

«Возможно,— радовался Кукин.— В конце концов, я не против низших классов. Я готов сочувствовать».— И, ликуя, он насвистывал «Вставай, проклятьем».

Красные и синие шары метались по ветру над бородатым разносчиком. На углах голосили калеки. От дома к дому ходила старуха в черной кофте:

Подайте милостыньку, Христа ради,
что милость ваша —
кормилица наша,
глухой, больной старушке.

У ворот с четырьмя повалившимися в разные стороны зелеными жестяными вазами Кукин положил руку на сердце: здесь живет и томится в компрессах Лиз. У нее нарывы на спине — в газете было напечатано ее письмо, озаглавленное «Наши бани».

В библиотеке висели плакаты: «Туберкулез! Болезнь трудящихся!», «Долой домашние! Очаги!».

— Что-нибудь революционное,— попросил Кукин.

Девица с желтыми кудряшками заскакала по лесенкам.

— Сейчас нет. Возьмите из другого. «Мерседес де-Кастилья», сочинения Писемского...

Ах, черт возьми, а он уже видел себя с теми книжками — встречается Фишкина: «Что это у вас? Да? Значит, вы сочувствуете!»

Мать сидела на диване с гостьей — Золотухиной, поджарой, в гипюровом воротнике, заколотом серебряной розой.

— Не слышно, скоро переменится режим? — томно спросила Золотухина, протягивая руку.

— Перемены не предвидится,— строго ответил Кукин.— И знаете, многие были против, а теперь, наоборот, сочувствуют.

Покончив с учтивостями, старухи продолжали свой разговор.

— Где хороша весна,— вздохнула Золотухина,— так это в Петербурге: снег еще не стаял, а на тротуарах уже продают цветы. Я одевалась у де-Ноткиной. «Моды де-Ноткиной»... Ну, а вы, молодой человек, вспоминаете столицу? Студенческие годы? Самое ведь это хорошее время, веселое...

Она зажмурилась и покрутила головой.

— Еще бы,— сказал Кукин.— Культурная жизнь...

И ему приятно взгрустнулось, он замечтался над супом: играет музыкальный шкаф, студенты задумались и заедают пиво моченым горохом с солью... О, Петербург!

2

— Идемте, идемте,— звала Золотухина.— Долой Румынию.

Кукина отнекивалась, показывала свои дырявые подметки...

Ходили долго. Развевались флаги и, опадая, задевали по носу.

Эх, вы, буржуи,
эх, вы, нахалы.

Луна белелась расплывчатым пятнышком. В четырехугольные просветы колоколен сквозило небо. Шевелились верхушки деревьев с набухшими почками.

— Вот, все развалится,— вздыхала Кукина, качая головой на покосившиеся и подпертые бревнами домишки: — Где тогда жить?

Фишкина презрительно посматривала направо и налево:

— Фу, сколько обывательщины!

Ковыляя впереди, оглядывалась на Кукина и кивала Рива и, пожимая плечами, отворачивалась: он ее не видел. Перед ним, размахивая под музыку руками, маршировала и вертела поясницей Лиз. Когда переставали трубы, Кукин слышал, как она щебетала со своей соседкой:

— В губсоюз принимают исключительно по протекции...

В канцелярию пришел мальчишка:

«Не теряйте времени,— прислала Рива записку и билет в сад Карла Маркса и Фридриха Энгельса.— Подъезжайте к Фишкиной. Она вас продвинет. Вы не читали «Сад пыток»? — чудная вещь».

— Лиз,— сказал Кукин,— я вам буду верен...

— Плохи стали мои ноги,— жаловалась мать.— Сделала я студень и оладьи, хотела отнести владыке, но, право, не могу. Попрошу бабку Александриху, а ты будь любезен, Жорж, присмотри за ней издали.

— Сейчас,— сказал Кукин и, дочитав «Бланманже», закрыл переложенную тесемками и засушенными цветками книгу.

— Ах,— вздохнул он,— не вернется прежнее.

Штрафные, ползая на корточках, выводили мелкими кирпичиками по насыпанной вдоль батальона песочной полоске: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Лиз, лиловая, с лиловым зонтиком, с желтой лентой в выкрашенных перекисью водорода волосах, смотрела.

Кукин остановился и обдергивал рубашку. Лиз засмеялась, покачнулась, сорвалась с места и отправилась.

За ней бы,— но нельзя было оставить без присмотра Александриху.

Возвращались вместе — Александриха в холщовом жилете и полосатом фартуке и унылый Кукин в парусиновой рубашке с черным галстучком — и белесым отражением мелькали в черных окошках.

— Утром дух бывает очень вольный,— рассказывала Александриха...

Бегали мальчишки и девчонки. Хозяйки выходили встречать коров. В лоске скамеек отсвечивалась краснота заката.

Запахло пудрой: на крыльце у святого Евпла толпилась свадьба — какое предзнаменование!

3

В воде расплывчато, как пейзаж на диванной подушке, зеленелась гора с церквами.

Солнце жарило подставленные ему спины и животы.

— Трудящиеся всех стран,— мечтательно говорил Кукину кассир со станции,— ждут своего освобождения. Посмотрите, пожалуйста, достаточно покраснело у меня между лопатками?

Шурка Гусев, мокрый, запыхавшись, с блестящими глазами прибежал по берегу и схватил штаны:

— Девка утонула.

Толпились мужики, оставив на дороге свои возы с дровами, бабы в армяках и розовых юбках — с ворохами лаптей за спиной, купальщицы — застегивая пуговицы.

— Вот ее одежа,— таинственно показывала мать Ривы Голубушкиной, кругленькая, в гладком черном парике с пробором.— Знаете ее обыкновение: повертеть хвостом перед мужчинами. Заплыла за поворот, чтобы мужчины видели...

«Почему вы к ней не подъезжаете? — писала Рива.—Я опять пришлю билет. Будьте обязательно. Есть вокальный номер:

Деньги у кого,
сад наш посещает,
а без денег кто —
в щелки подглядает.

После него сейчас же подойдите: „Что за обывательщина! Я удивляюсь; никакого марксистского подхода!“»

Пыльный луч пролезал между ставнями. Ели кисель и, потные, отмахиваясь, ругали мух. Тихо прилетел звук маленько-

го колокола, звук большого — у святого Евпла зазвонили к похоронам.

Бросились к окнам, посрывали на пол цветочные горшки, убрали ставни.

— Курицыну,— объявила Золотухина, по пояс высунувшись наружу.

Кукина перекрестилась и схватилась за нос:

— Фу!

— Чего же вы хотите в этакое пекло,— заступилась Золотухина.— А мне ее душевно жаль.

— Конечно,— сказал Кукин,— девушка с образованием...

После чаю вышли на крыльцо. Штрафные пели «Интернационал».

Блеснула на гипюровом воротнике серебряная роза.

— В ротах,— встрепенулась Золотухина,— в этот час солдаты поют «Отче наш» и «Боже, царя». А перед казармой — клумбочки, анютины глазки... Я люблю эту церковь,— показала она на желтого Евпла с белыми столбами,— она напоминает петербургское.

Все повернули головы. По улице, презрительно поглядывая, черненькая, крепенькая, в короткой чесучовой юбке и голубой кофте с белыми полосками, шла Фишкина.

— Интересная особа,— сказала Кукина.

Жорж поправил свой галстучек.

1924

САВКИНА

1



Савкина, потряхивая круглыми щеками, взглядывала на исписанную красными чернилами бумагу и тыкала пальцем в буквы машинки.

Дунуло воздухом.

— Двери! Двери! — закричали конторщики.

Вошел кавалер — щупленький, кудрявый, беленький...

Солнце грело затылок. Гремели телеги. Гуляли чванные богачки Фрумкина и Фрадкина. Морковникова, затененная бутылками, смотрела из киоска. Блестя трубами, играли похоронный марш. Несли венки из сосновых ветвей и черные флаги. На дрогах с занавесками везли в красном гробу Олимпию Кукель.

Савкина пригладила ладонями бока и, пристроившись к рядам, промаршировала несколько кварталов.

Повздыхала. Как недавно сидели за сараями. День кончался. Толклись мошки.

— Там все так прилично одеты,— уверяла Олимпия и таращила глаза.— У некоторых приколоты розы... Ах, родина, родина!

Мать, красная, стояла у плиты. Павлушенька, наклонившись над тазом, мыл руки: обдернутая назад короткая рубашка торчала из-под пояса, как заячий хвостик.

Накрыли стол.

— Не очень налегайте на пироги, — предупредила мать и пригорюнилась: — Бедная Олимпия. Без звона, без отпевания...

Разделавшись с посудой, Савкина припудрилась, взяла тетрадь и, втирая в руки глицерин, вышла за сараи почитать стишки. Кукель в синем фартуке доил корову.

— Обиждаются, что без ксендза,— пожаловался он.— А когда я — партейный.

На обложке тетради был Гоголь с черными усиками:

«Чуден Днепр при тихой погоде».

Появилась маленькая белая звезда. Савкина, мечтательная, встала и пошла к воротам.

У Кукеля шумели поминальщики. Где-то наигрывали на трубе. Павлушенька, с побледневшим лицом и мокрыми волосами, вернулся с купанья. Покусывая семечки, пришел Коля Евреинов. Воротник его короткой белой с голубым рубашки был расстегнут, черные суконные штаны от колен расширялись и внизу были как юбки.

2

На полу лежали солнечные четырехугольники с тенями фикусовых листьев и легкими тенями кружевных гардин. Савкина заваривала чай. Павлушенька брился. Мать, в коричневом капоте с желтыми цветочками, чесала волосы.

— Зашла бы ты, Нюшенька, в ихний костел,— сказала она,— и поставила бы свечку.

В маленьком бревенчатом костеле было темно и холодно. Свечного ящика не оказалось. Низенький ксендз Валюкенас сделал перед алтарем последний реверанс и отправился за перегородку. Вздохнув, поднялась и прошла мимо Савкиной Марья Ивановна Бабкина,— француженка,— в соломенной шляпе с желтым атласом, полосатой кофте и черной юбке на кокетке, обшитой лентами.

Несло гарью. Сор шуршал по булыжникам. В канцелярии висел портрет Михайловой, которая выиграла сто тысяч. Воняло табачищем и кислятиной. Стенная газета «Красный луч» продергивала тов. Самохвалову: оказывается, у ее дяди была лавка...

Оглядывая друг друга, расхаживали по залу. Мимоходом взглядывали в зеркало. Савкина, в лиловой кофте пузырем, смеялась и шмыгала глазами по толпе. Коля Евреинов наклонял к ней бритую голову. Его воротник был расстегнут, под ключицами чернелись волоски.

— Буржуазно одета,— показывал он.— Ах, чтоб ее!..

На живописных берегах толпились виллы. Пароходы встретились: мисс Май и клобмэн Байбл стояли на палубах... И вот мисс Май все опротивело. Ее не радовали выгодные предложения. Жизнь ее не веселила. По временам она откидывала голову и протягивала руку к пароходу, проплывавшему в ее мечтах. Вдруг из автомобиля выскочил Байбл — в охотничьем костюме и тирольской шляпе.

Савкина была взволнована. Ей будто показали ее судьбу...

Лаяли собаки, капала роса. Морковникова в киоске, освещенная свечой, дремала.

3

После обеда Савкиной приснился кавалер. Лица было не разобрать, но Савкина его узнала. Он задумчиво бродил между могилами и вертел в руках маленькую шляпу.

Окна флигеля были раскрыты и забрызганы известью: Кукель переехал в Зарецкую, к новой жене. На деревьях зеленелись яблоки. Небо было серенькое, золотые купола — белесые. Гуляльщики галдели. Фрида Белосток и Берта Виноград щеголяли модами и грацией.

На мосту сидели рыболовы. В темной воде отражались зеленоватые задворки. Купались два верзилы — и не горланили.

Савкина вошла в воротца. Пахло хвоей. На крестах висели медные иконки. Попадались надписи в стихах. За кустами мелькнул желтый атлас Марьи-Иванниной шляпы и румянец ксендза Валюкенаса.

Дома пили чай. Сидела гостья.

— Наука доказала,— хвастался Павлушенька,— что бога нет.

— Допустим,— возражала гостья и, полузакрыв глаза, глядела в его круглое лицо.— Но как вы объясните, например, такое выражение: мир божий?

Расправляя юбки, Савкина уселась. Налила на блюдечко.

— Опять я их встретила.

— Не собирается ли в католичество? — мечтательно предположила гостья.

— Проще,— сказал Павлушенька и махнул рукой.

Мать, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Посмеялись.

— Съешьте плюшечку,— усердствовала мать: — американская мука́ — вообразите, что вы — в Америке!

Савкина грустила над стишками. Павлушенька пришел с купанья озабоченный и, сдвинув скатерть, сел писать корреспонденцию про Бабкину: «Наробраз, обрати внимание».

4

Савкина, растрепанная, валялась на траве. Била комаров. Сорвала с куста маленькую розу и нюхала. Она устала — задержали переписывать о поднесении знамени.

Приятно улыбаясь, из калитки вышла с башмаками в руке новая жилица и пошла к сапожнику...

Мимо палисадника прошел отец Иван.

Роза, Роза,—

— вбежал в дом Павлушенька.— Где моя газета с статьей про Бабкину? — Запыхавшись, высунулся из окна.— Нюшка, где газета? Мы с ним подружились. Как я рад. Он разведенный. Платит десять рублей на ребенка... Этот,— говорит,— пень, давайте, выкопаем и расколем на дрова.

Деря глотку, проехал мороженщик. Пришел Коля Евреинов в тюбетейке: у калитки обдернул рубашку и прокашлялся.

— Идите за сараи,— сказала мать в комнате: — Он там с сыном новой жилицы: подружились.

Вопили и носились туда и назад Федька, Гаранька, Дуняшка, Агашка и Клавушка. Собачонка Казбек хватала их за полы. Мать в доме зашаркала туфлями. Загремела самоварная труба.

— Иди, зови пить чай.

Всех коммунаров,—

пели за сараями,—

он сам привлекал
к жестокой, мучительной казни.

Сидели обнявшись и медленно раскачивались. Савкина остановилась: третий был тот, щупленький.

1924

ЕРЫГИН

1

Ерыгин, лежа на боку, сгибал и вытягивал ногу. Ее волоса чертили песок.

Затрещал барабан. Пионеры с пятью флагами возвращались из леса. Ерыгин поленился снова идти в воду и стер с себя песчинки ладонями.

По лугу бегали мальчишки без курток и швыряли ногами мяч.

«Физкультура,— подумал Ерыгин,— залог здоровья трудящихся».

Базар был большой. Стояла вонища. Китайцы показывали фокусы. На будках висели метрические таблицы.

— Подайте, граждане, кто сколько может, ежели возможность ваша будет.

Ерыгин прошелся по рядам — не торгует ли кто-нибудь из безработных.

Перед лимонадной будкой толпились: товарищ Генералов, мордастый, в новеньком синем костюме с четырьмя значками на лацкане, его жена Фаня Яковлевна и маленькая дочь Красная Пресня. Наслаждались погодой и пили лимонад. Ерыгин поклонился.

По заросшей ромашками улице медленно брели епископ в парусиновом халате и бархатной шапочке и Кукуиха с парчовой кофтой на руке.

— Клеопатра — русское имя? — говорили они.

— Да.

— А Виктория?

Пообедав, Ерыгин свернул махорочную папиросу и уселся за газету. Видный германский промышленник г. Вурст изумлен состоянием наших музеев. Вот вам и варвары!

В дверях остановилась мать:

— Так как же на бухгалтерские? — Ее бумазейное платье с боков было до полу, а спереди, приподнятое животом, короче.— Бухгалтера прекрасно зарабатывают.

Ерыгин подпоясался, взял ведра. На него смотрела из окна Любовь Ивановна. В кисейной кофте, она одной рукой ощупывала закрученный над лбом волосяной окоп, другою с грацией вертела пион.

Против колодца, прищурившись, глядела крохотными глазками белогрудая кассирша Коровина в голубом капоте.

— Я извиняюсь,— сказала она.— Не знаете, откуда эта музыка?

— Возвращаются со смычки с Красной армией,— ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот если бы поставить ведра, а самому — шасть к ней в окно.

Вечером Любовь Ивановна играла на рояле. Наигравшись, стала у окошка, смотрела в темноту, вздыхала и потрогивала голову — не развился ли окоп.

На комодике поблескивали вазы: розовый рог изобилия в золотой руке, голубой — в серебряной.

Мать штопала. Ерыгин переписывал:

«Белые бандиты заперли начдива Виноградова в сарай. Настя Голубцова, не теряя времени, сбегала за Красной армией. Бандитов расстреляли. Начдив уехал, а Настя выкинула из избы иконы и записалась в РКП(б)».

2

Стояли с флагами перед станцией. Солнце грело. Иностранцы вылезли из поезда и говорили речи. Мадмазель Вунш, в истасканном белом фетре набекрень, слабеньким голоском переводила.

Они проезжали через разные страны и нигде не видели такой свободы. «Ура!» Играла музыка, торжествовали и, гордясь отечеством, смотрели друг на друга.

— Cо̀вьет репѐблик.

— Реакшьон фашишт.

Возбужденные, вернулись. Разошлись по канцеляриям. Товарищ Генералов сел в кабинет с кушеткой и Двенадцатью Произведениями Мировой Живописи, Ерыгин — за решетку.

Захаров и Вахрамеев подскочили расспрашивать.

Здоровенные, коротконогие, в полосатых нитяных фуфайках. Они, черт побери, проспали.

Впустили безработных...

Небо побледнело. Загремела музыка. Любовь Ивановна зажгла лампу, подвилà окоп и приколола к кофте резеду.

Ерыгин взял с комода зеркальце, поднес к окну и посмотрелся: белая рубашка с открытым воротом была к лицу.

Девицы выходили из калиток и спешили со своими кавалерами: торопились в сквер — в пользу наводнения.

— Под руководством коммунистической партии поможем трудящимся Красного Ленинграда!

Ленинград! Ревет сирена, завоняло дымом, с парохода спускаются пузатые промышленники и идут в музеи. Их обгоня-

ют дюжие матросы — бегут на митинги. В окно каюты выглянула дама в голубом...

— Да здравствуют вожди ленинградского пролетариата!

Взревели трубы, полетели в черноту ракеты, загорелись бенгальские огни.

Осветилась круглоплечая Коровина, ухмыляющаяся, набеленная, с свиными глазками, и с ней — кассир Едрёнкин.

Из дворов несло кислятиной. За лугами, где станция, толпились огни и разбредались. Без грохота обогнала́ телега, блестя шинами.

Ерыгин отворил калитку. Над сараями плыла луна, наполовину светлая, наполовину черная, как пароходное окно, полузадернутое черной занавеской.

— Ты? — удивилась мать.— Скоро!

3

«„Настя“ будет напечатана. Пишите...»

У крыльца Любовь Ивановны соскочил верховой. Кинулись к окнам. Она, сияющая, выбежала. Лошадь привязали к палисаднику. Ерыгин приятно задумался. Вспомнил строку из баллады.

— Кинематограф,— посмеялась мать и засучила рукава — мыть тарелки.

Золотой шарик на зеленом куполе клуба «Октябрь» блестел. Низ штанов облепили колючие травяные семена. Милиционер с зелеными петлицами стоял у парикмахерской. Ему в глаза томно смотрела восковая дама.

Придерживая рукой под брюхом, на мост прискакали косматый Захаров и гладкий, как паленый поросенок, Вахрамеев. Ерыгин пощупал их мускулы. Закурили махорку.

— Мы поступили на бухгалтерские.

— Нет,— сказал Ерыгин,— у меня в голове другое.

Он пошел. Они взобра́лись на перила и бултыхнулись.

Мадмазель Вунш, скрючившись, сидела под ракитами. В шляпе набекрень, она была похожа на разбойника. Ерыгин сделал под козырек. Мадмазель Вунш не видела: уставившись подслеповатыми глазами на светлый запад, она мечтала.

За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Стемнело. Сделалось мокро. Ерыгин измучился; ничего из жизни Красной армии или ответственных работников не приходило в голову.

Шагает рота, красная, с узелками и вениками, хочет квасу...

Расскандалился безработный, лезет к товарищу Генералову. А у него на кушетке Фаня Яковлевна с Красной Пресней — принесли котлету.

— Товарищ, прошу оставить этот кабинет!..

А постороннее, чего не нужно, вертелось:

Мадмазель Вунш, еще молоденькая, слабеньким голоском диктует:

— «Немцы — звери».

На столе клеенка «Трехсотлетие»: толстенькие императорши, в медалях, с голыми плечами и с улыбками...

— До свиданья.

Бродит лошадь. Бородатые солдаты молча плетутся на войну. У дороги стоит барыня — сует солдатам мармелад. Последние три штучки отдает Ерыгину...

На каланче прозвонили одиннадцать. Из-за крыш вылезла луна — красная, тусклая, кривая.

Ерыгин стучался домой мрачный. Любовь Ивановна в ночной кофте, с бумажками в волосах, высунулась из окна и смотрела: к кому?

4

Перед столовой «Нарпит» воняло капустой, и, поглядывая поверх очков, прохаживался около своего ящика панорамщик. Здесь Ерыгин замедлял шаги и, повернув голову, смотрел в окно. Видны́ были тарелки с хлебом и горчичницы. В глубине клевала носом плечистая кассирша.

— Бельгийский город Льеж посмо́трите? — подкрадывался панорамщик.

Ерыгин встряхивался и бежал на бухгалтерские.

Будет много получать, придет пить пиво...

Глина раскисла. У Фани Яковлевны засосало калошу. Безработные не приходили. Ерыгин с Захаровым и Вахрамеевым сдвигали табуретки и болтали. Сблизив головы, смотрели, как Захаров рисует Германию под пятой плана Дауэса: дождь, плавают утки, рабочие с бритыми головами таскают камни, надсмотрщики щелкают коровьими кнутами, из-под зонтика выглядывают социал-предатели, потирают руки и хихикают.

К праздникам подмерзло. Выпал снег. Седьмого и восьмого веселились. Выбралась и мать в клуб «Октябрь». Возвращаясь, плевалась.

Висели тучи. С канцелярий убирали транспаранты и гирлянды из крашеных бумажек: «Империалистские хищники, терзающие Китай! Прочь грязно-кровавые руки от великого угнетенного народа!»

За рекой было бело — с черными кустиками. Сзади звонили. Навстречу мужики гнали коров. По брошенным вместо мостика конским костям Ерыгин перешел через ручей.

Тащились с сеном. Тоненькие стебельки свисали и чертили снег... Что-то припомнилось. Барабанный треск, песок, тонко исчерченный... По зеленой улице с серыми тропинками разгуливают архиерей и нэпманша — затевают контрреволюцию. Интеллигентка Гадова играет на рояле. Товарищ Ленинградов, ответственный работник, влюбляется. Ездит к Гадовой на вороном коне, слушает трели и пьет чай. Зовет ее в РКП(б), она — ни да ни нет. В чем дело? Вот Гадова выходит кормить кур. Товарищ Ленинградов заглядывает в ящики и открывает заговор. Мужественно преодолевает он свою любовь. Губернская курортная комиссия посылает его в Крым. Суд приговаривает заговорщиков к высшей мере наказания и ходатайствует о ее замене строгой изоляцией: Советская власть не мстит.

1924

ЛИДИЯ

1



а руке висела корзинка с покупками. Одеколон «Вуайаж» Зайцева вынула и любовалась картинкой: путешественники едут в санях. Внюхивалась. Правой рукой подносила к губам с белыми усиками на пятиалтынный мороженого.

Лейся, песнь моя,
пионерска-я.

Коренастенький, с засученными рукавами, с пушком на щеках, шагал сбоку и, смотря под ноги марширующих, солидно покрикивал:

— Левой!

— Это кто ж такой? — спросила Зайцева.

— Вожатый,— пискнула белобрысая девчонка с наволокой и, взглянув на Зайцеву, распялила наволоку над головой и поскакала против ветра.

У запертой калитки дожидался Петька.

— Здравствуйте,— сказал он.— Утонул солдат.

Уселись за стол под грушей. Петька отвечал уроки. Зайцева рассеянно смотрела за забор.

Выкрутасами белелись облака. На горке, похожее на бронированный автомобиль, стояло низенькое серое Успенье с плоским куполом.

— Рай был прекрасный сад на востоке.

Прекрасный сад!..

После обеда муж читал газету.

— Каковы китайцы,— восхищался он.

Напился чаю и лег спать. Пришла Дудкина в синем платье. Сидели под грушей. У ворот заблеяла коза.

Оживились. Почесали у нее между рогами, и она, довольная, полузакрыла желтые глаза с белыми ресницами.

— Водили к козлику? — интересовалась Дудкина.

Успенье стало черным на бесцветно-светлом небе. Выплыла луна.

— Я пробовала все ликеры,— сказала Дудкина задумчиво: — у Селезнева, на его обедах для учителей.

2

Зайцева, в кисейном платье с синими букетиками, оттопыривала локти, чтобы ветер освежал вспотевшие бока. Коротенькая Дудкина еле поспевала. Муж пыхтел сзади.

Свистуниха, в беленьком платочке, выскочила из ворот. Смотрела на дорогу.

— Принимаю икону,— похвалилась она.

— А мы — к утопленнику,— крикнул муж.

Остановились у кинематографа: были вывешены деникинские зверства. Из земли торчали головы закопанных. К дереву привязывали девицу...

Перед приютом, вскрикивая за картами, сидели дефективные.

— Дом Зуева,— вздохнула Дудкина.— Здесь была крокетная площадка. Цвел табак...

Прошли казарму, красную, с желтым вокруг окон. Взявшись за руки, прогуливались по двое и по трое солдаты.

Над водоворотом толклись зрители. Играли на гитаре. Часовой зевал.

Зайцевы поковыряли кочку — нет ли муравьев. Муж развернул еду.

Молодые люди в золотых ермолках, расстегивая пуговицы, соскочили к речке.

— Нырни,— веселились они,— и скажи: под лавкой.

Смеялись:

— Пока ты нырял, мы спросили, где тебя сделали.

Дудкина прищурилась. Муж щелкнул пальцами:

— Эх, молодость!

«Левой!» — замечталась Зайцева.

Возвращаясь, поболтали о политике.

— Отовсюду бы их,— кипятился муж.

— Нет, я — за образованные нации,— не соглашалась Дудкина.

Встретились со Свистунихой. Она управилась с иконой и спешила, пока светло, к утопленнику.

3

Муж пришел насупленный. Из канцелярии он ходил купаться, в переулочке увидел на заборе клок черной афиши с желтой чашей: голосуйте за партию с.-р. Вспомнил старое, растрогался... После обеда — повеселел.

— Утопленник,— рассказал он новость,— выплыл.

Зайцева купила кнопок. Бил фонтанчик и краснелись низенькие бегонии и герани перед статуей товарища Фигатнера.

Потемнело. С дерева сорвало ветку. Полетела пыль.

«Закусочная всех холодных закусок»,— прочла Зайцева над дверью и вскочила.

— Я мыла голову,— уныло улыбаясь, сказала толстая хозяйка с распущенными волосами. Откупорила квас.— У меня печник: вчера поставила драчену — получился сплошной закал.

На столе была ладонь с окурками. Две розы без ножек плавали в блюдечке.

Вбежала мокрая девица и, косясь внутрь комнаты, толстенькими пальцами отдирала от грудей прилипавшую кофту.

— Радуга! — девица выскочила.

Вышли с хозяйкой на крыльцо.

Вожатый, коренастенький, без пояса, босиком, размахивая хворостиной, выпроваживал на улицу козла.

— Ихний? — просияла Зайцева.

Туча убегала. Кричали воробьи. Мальчишки высыпали на дорогу и маршировали:

Красная армия
всех сильней.

Плелись коровы. Важная и белая, раскачивая круглыми боками и задрав короткий хвостик на кожаной подкладке, шла коза. Зайцева позвáла:

— Лидия, Лидия!

— Лидия, Лидия,— вывесились из окон дефективные.

Закат светил на вывеску с четырьмя шапками.

Играли вальс. В окне лавчонки висел ранец.

— Жоржик! — закричала Свистуниха и остановилась с ведрами в руках.

Это Лидию прежде звали Жоржиком: Зайцева переименовала.

— Не женское имя,— объясняла она.

1925

ДОРИАН ГРЭЙ

1



аходил правозаступник Иванов — с брюшком и беленькими усиками: рассказал два таинственных случая из своей жизни.

Сорокина, откинувшись на спинку, рассеянно слушала. Смотрела равнодушно и снисходительно, как ленивая учительница. Над стулом висел календарь и Энгельс в кумачной раме.

Ломились в лавки. Несло постным. Взлетали грачи с прутьями в клювах. Гора на другом берегу была бурая, а зимой — грязно-белая, исчерченная тонкими деревьями, будто струями дождя.

Перед ротой командир,—

пели солдаты,—

хорошо маршировал.

С полотенцем на руке, Сорокина смотрелась в зеркало: под глазами начинало морщиться.

Пришел отец, веселый:

— Я узнал рецепт, как варить гуталин.

Мать поставила на стол солонку и проворно подошла к окну.

— Пахомова! Вся изогнулась. Откинулась назад. Остановилась и оглядывается.

И, поправив черную наколку, осанисто, словно дама на портрете в губернском музее, посмотрела на отца.

Он, бравый, с висячим носом, как у тапира в «Географии», стоял перед зеркалом и протирал стетоскоп.

Тучи разбегались. Старуха Грызлова, в черной мантилье с кружевами и стеклярусом, несла церковную свечу в голубом фарфоровом подсвечнике.

— Сегодняшний ветер,— подняла она палец,— до Вознесенья.

То там, то здесь ударяли в колокол.

Сорокина поколебалась. Нищая открыла дверь.

Тоненькие свечи освещали подбородки. Духовные особы в черном бархате толпились на середине, перед лакированным крестом.

— Глагола ему Пилат!..

Пахомова, в толстом желтом пальто, не мигая, смотрела на свою свечку.

Моргали звезды. Сторож, задрав бороду, стоял под колокольней:

— Нюрка, шесть раз бей.

— Я полагала, вы неверующая,— подошла курносенькая регистраторша Мильонщикова.

Вертелась карусель, блестя фонариками, и, болтая пестрыми подвесками, медленно играла краковяк.

Русский, немец и поляк,—

напевала Мильонщикова.

Светился погребок. Пошатываясь, вылезли конторщики:

— Ваня, не падай...

— Кто это?

— Не знаю. Вылитая копия Дориана Грэя — как вы полагаете?

Ваня. Плескались во вставленных в вертушку бутылках кагор и мадера, освещенные лампочками.

Ваня.

2

На скамейках губернского стадиона сидели няньки. Голый малый в коротеньких штанишках, задыхаясь, бегал вдоль забора.

Сорокина встала и, оглядываясь, медленно пошла.

— Вы не Василий Логгинович? — прислонясь к воротам, тихо спросил пьяный.

Грудастая девица сунула записку и отпрянула:

«Придите, послушайте слово „За что умер Христос“».

Цвела картошка. На оконцах красовались занавесочки, были расставлены бутыли с вишнями и сахарным песком. Побулькивали граммофоны.

Поздоровалась дебелая старуха в красной кофте — уборщица Осипиха.

— Товарищ Сорокина,— сказала она,— я извиняюсь: какая чудная погода.

Голубые и зеленые пространства между облаками бледнели.

На гвозде была чужая шапка и правозаступникова палка с монограммами.

Самовар шумел. На скатерти краснелся отсвет от вазочки с вареньем.

— Религия — единственное, что нам осталось,— задушевно говорила мать: — Пахомова — кривляка, но она — религиозная, и ей прощаешь.

И, держа на полдороге к губам чашку, значительно глядела на отца.

Он дунул носом.

Правозаступник принялся рассказывать таинственные случаи. В тени на письменном столе показывал зубы череп.

Фонари горели под деревьями. Музыканты на эстраде подбоченивались, покуривали и глазели.

Заиграли вальс. Притопывая, кавалеры чинно танцевали с кавалерами. Расходясь раскланивались и жали руки.

Сорокина ждала в потемках за скамейками.

Вот он. Шапка на затылке, тоненький...

Если бы она его остановила:

— Ваня,—

может быть, все объяснилось бы: он перепутал, думал, что не в пять, а в шесть.

— Не забираться же с пяти, раз — в шесть.

Она взяла бы его за руку, и он ее повел бы:

— Мы поедем в лодке. У меня есть лодка «Сун-Ят-Сен».

3

Мать вышла запереть. В сандалиях, она стояла низенькая, и ее наколка была видна сверху как на блюдечке.

Старуха Грызлова прогуливалась — в пелерине. Нагибалась и рассматривала листья на земле.

— Шершавым кверху,— примечала она: — к урожаю.

В открытое окно Сорокина увидела затылок ее внучки. Она сидела за роялем и играла вальс «Диана». Правозаступник Иванов, опёршись на окно, стоял снаружи. Покачивая головой, он пел с чувством:

Дэ ин юс вокандо,
дэ акционэ данда.

И его чванное лицо было мечтательно: приходила в голову Италия, вспоминался университет.

Развевались паутины. Под бурыми деревьями белелась церковь с синими углами.

— Мама,— кляузничала девчонка за забором,— Манька поросенка то розгами, то — пугает.

Библиотекарша смотрела на входящих и угадывала:

— «Джимми Хиггинс»?

По улице Вождей слонялись кавалеры в наглаженных штанах и девицы в кожаных шляпах:

— В Америке рекламы пишутся на облаках...— Мечтали.

В сквере подкатилась Осипиха с георгиной на груди и старалась разжалобить:

— Говорят, я гуляка,— горевала она,— а я и дорог не знаю.

— В первую декаду — иссушающие ядра,— предложил газету зеленоватый старичок,— во вторую — обложные дожди.

Подсела Мильонщикова:

— Пройдемтесь в поле.

Голубенькое небо блекло. Тоненькие птички пролетали над землей.

— Помните,— оглянулась и понизила голос Мильонщикова,— однажды весной мы обратили внимание...

Молчали. В городе светлелись под непогасшим небом фонари.

Расстались не скоро.

— Эти звезды,— показала Сорокина,— называются Сэптэнтрионэс...

Отец, приподняв брови, думал над пасьянсом. Мать порола ватерпруф. Сорокина раскрыла книгу из библиотеки.

Тикали часы. Били. Тикали.

За окном собака лаяла по-зимнему.

«Дориан, Дориан»,— там и сям было напечатано в книге.

— Дориан, Дориан.

1925

КОНОПАТЧИКОВА

1



Бросая ласковые взгляды, инженер Адольф Адольфович читал доклад: «Ильич и специалисты».

Добронравова из культкомиссии, стриженая, с подбритой шеей, прохаживалась вдоль стены и повторяла по брошюрке.

Следующее выступление ее: «Исторический материализм и раскрепощение женщины».

Конопатчикова, низенькая, скромно посмотрев направо и налево, незаметно поднялась и улизнула.

— Боль в висках,— пробормотала она на всякий случай, поднося к своей седеющей прическе руку, будто отдавая честь.

Плелись старухи с вениками, подпоясанные полотенцами. Хрустел обледенелый снег. Темнело. Не блестя, горели фонари.

Звенел бубенчик: женотделка Малкина, поглядывая на прохожих, ехала в командировку.

Сидя на высоком табурете, инвалидка Кац величественно отпустила булку. Стрелочник трубил в рожок. Въезд на мост уходил в потемки, и оттуда, вспыхнув, приближалась искра. Обдало махоркой, с песней прошагали кавалеры:

Ветер воет, дождь идет,
Пушкин бабу в лес ведет.

Гудели паровозы. Дым подымался наискось и, освещенный снизу, желтелся. Из ворот, переговариваясь, выходили Вдовкин и Березынькина: поклонились праху Капитанникова и были важны и торжественны.

Конопатчикова с ними кое-где встречалась. Она остановилась и приветливо сказала:

— Здравствуйте.

Негромко разговаривали и печально улыбались: Конопатчикова в шерстяном берете с кисточкой, Вдовкин, плечистый и сморкающийся, и Березынькина, кроткая, с маленькой головкой. Раздался первый удар в колокол. Примолкли и, задумавшиеся, подняли глаза. Вверху светились звезды.

— Жизнь проходит,— вздохнул Вдовкин и прочел стишок:

Так жизнь молодая
проходит бесследно.

Дамы были тронуты. Он чикнул зажигалкой. Осветился круглый нос, и в темноте затлел кончик папиросы.

Сговорились вечером пойти на стружечный.

2

«Машинистка Колотовкина,— поглядывая на часы, сидела Конопатчикова за губернской газетой,— пассивна и материально обеспечена.

Зачем писать ей на машине?
Может играть на пианине».

Зашаркали в сенях калоши. Постучались Вдовкин и Березынькина. Похвалили комнату и осмотрели абажур «Швейцария» и карты с золотым обрезом. Тузы были с картинками: «Ль эглиз дэз Энвалид», «Статю дэ Анри Катр».

— Парижская вещица,— любовался Вдовкин.— Я и сам люблю пасьянсы,— говорил он: — «Дама», например, «в плену», «Всевидящее око»...

— «Деревенская дорога»,— подсказала Конопатчикова.

Вытянув перед собою руки, вышли. Пахло ладаном. Учтивый Вдовкин осветил ступеньки зажигалкой.

Наверху захлопали дверьми: Капитанничиха выбежала в сени убиваться по покойнику.

И зачем ты себе все это шил? —

причитала она,—

если ты носить не хотел? —

и притопывала.

И зачем ты пол в погребе
цементом заливал,
если ты — жить не хотел?

Остановились и, послушав, медленно пошли по темным улицам, оглядываясь на собак.

«Жизнь без труда,— было написано над сценой в театре стружечного,— воровство, а без искусства — варварство». Оркестр играл кадриль.

Рвал, рявкая, железные цепи и становился в античные позы чемпион Швеции Жан Орлеан. Скакали и плясали мадмазели Тамара, Клеопатра, Руфина и Клара и, тряся юбчонками, вскрикивали под балалайки:

Чтоб на службу
поступить,
так в союзе
надо быть.

— Эх,— сияя, передергивал плечами Вдовкин. Конопатчикова улыбалась и кивала головой...

Морозило. Полоска звезд серелась за трубою стружечного. Постукивало пианино. В форточке вертелся пар. За черными на светлом фоне розами и фикусами отплясывали вальс, припрыгивая и кружась.

— Счастливые,— скрестила на груди ладони и задумалась Березынькина.

— Они,— проникновенным голосом сказала Конопатчикова,— читают книгу, очень интересную. Заглавие выскочило у меня из головы.

Поговорили о литературе...

Улыбающаяся, полная приятных мыслей, Конопатчикова ощупью нашла кран лампы: загорелись звезды над швейцарскими горами и цветные огоньки в окошках хижин и лодочных фонариках.

В дверь поскреблись. В большом платке, жеманная, вскользнула Капитанничиха. Со скромными ужимками, перебирая бахрому платка, она просила, чтобы завтра Конопатчикова помогла в приготовлениях к поминкам.

— Не откажите,— двигала она боками, егозливая, и прижимала голову к плечу.— Я загоню его костюмчики, и пусть все будет хорошо, прилично.

3

У Капитанничихи кашляли духовные особы. Пономарь в сенях возился над кадилом. Конопатчикова, проходя, взяла щепотку дыма и понюхала.

Блестел на колокольне крест. Флаг над гостиными рядами развевался. Тетка Полушальчиха кричала и потряхивала капитанниковскими костюмчиками.

— Маруська убивается? — спросила она, наклоняясь и прикрывая рот рукой, и, выпрямившись, в черном плюшевом пальто квадратиками, гордая, победоносно огляделась.

Конопатчикова в ожидании бродила. Солнце пригревало. Под ногами хлюпало.

Дремали лошади. Толкались с бабами солдаты в шлемах, долгополые и низенькие. Середняки, столпившись за возами, пили из зеленого стаканчика.

Вдоль домов, по солнышку, ведя за ручку маленького сына в полосатом колпачке, прохаживался инженер Адольф Адольфович. Он жмурился на свет и улыбался людям на крылечке, согнувшись ждавшим очереди в зубоврачебный кабинет его жены.

Стал слышен похоронный марш, и показались черные знамена. Сбежались. Мужики смотрели, опустив кнуты. Вздыхали бабы в кружевных воротничках на зипунах и в елочных бусах.

Народу было много. Капитанничиха вскрикивала. Вдовкин, подпевая, шел с склонившей набок голову Березынькиной. Конопатчикова проводила их глазами.

— Продала́,— сказала, протолкавшись, Полушальчиха и показала деньги. Начали покупки для поминок.

Возвращались на дровнях, спиною к лошади. Блестела на дорогах жижа. Воробьи кричали. Убегал базар. Беседовали, выйдя постоять на солнце, оба в фартуках, кондитер Франц и парикмахер Антуан...

Капли с крыши падали перед окном. Сизо-лиловый дым взлетал над паровозами. В плите шумел огонь. Внизу, перебирая струны балалайки, вполголоса пел мрачные романсы рабкор Петров. В углах темнело.

— Никишка,— говорила Полушальчиха и плакала над хреном,— нарисовал картину «Ленин»: это — загляденье.

На кофейной мельнице был выпуклый овал с голландской королевой Вильгельминой. Конопатчикова медленно молола, стоя у окна. Задумавшись, она глядела вслед начальнику милиции, скакавшему, красуясь, в сторону моста и инвалидки Кац. Воспоминания набегали.

4

Поблескивали рюмки, и бутылки, толстобрюхие и тоненькие, мерцали. Капитанничиха, в черном платье, прилизанная, постная, стояла у стола и, горестная, любовалась.

Конопатчикова, скромно улыбаясь, завитая и припудренная, сидела на диване и сворачивала в трубку листик от календаря: рисунок «Нищета в Германии» и две статьи — «О пользе витаминов» и «Теория относительности».

— Благодари, Марусенька,— учила Полушальчиха и, разводя руками, низко кланялась, как в «Ниве» на картинке «Пляска свах».

Входили гости. Конопатчикова выпрямлялась и в ожидании смотрела на отворявшуюся дверь...

Стучали ложки, и носы, распарившись над супом, блестели. Полушальчиха, одетая кухаркой, в фартуке, прислуживала. Кланялись Маруське, подымая рюмочки. Она откланивалась, скорбная, и выпивала. Повеяло акацией. Любезно улыбаясь, прибыла внушительная Куроедова.

— Как ваши,— с уважением справлялись у нее,— на стружечном?

— Они,— засуетилась Конопатчикова,— еще читают эту книгу, интересную?

— «Тарзан»? — спросила Куроедова, глотая...

Красные, блаженно похохатывая и роняя вилки, громко говорили.

— Есть смысл,— доказывала Куроедова,— покупать билеты в лотерею. Наши, например, недавно выиграли игрушечную кошку, херес и копилку «окорок».

Маруська слушала, зажав в колени руки и состроив круглые глаза, как тихенькая девочка, умильная, и приговаривала:

— Выпейте.

Никишка встряхивал свисавшими на бархатную куртку волосами.

— Искусство,— восклицал он.

Полушальчиха пришла из кухни и, гордясь, стояла.

— Тайна красок!

— Жизнь без искусства — варварство,— цитировал рабкор Петров... Зеленое кашнэ висело у него на шее.

— Я не могу,— заговорил задумавшийся Вдовкин,— забыть: в Калуге мы стояли у евреев; в самовар они чего-то подсыпáли, и тогда распространялось несказанное благоухание.

— В Витебске,— нагнувшись, заглянула Конопатчикова ему в лицо,— к вокзалу приколочен герб: рыцарь на коне. Нигде, нигде не видела я ничего подобного.

Березынькина, запрокинув голову, с закрытыми глазами, счастливая, макала в рюмку кончик языка и, шевеля губами и облизываясь, наслаждалась.

1926

СИДЕЛКА

Под деревьями лежали листья.

Таяла луна.

Маленькие толпы с флагами спускались к главной улице. На лугах за речкой блестел лед, шныряли черные фигурки на коньках.

— Здорóво,— трогал шапку Мухин. Улыбаясь бежал вниз. Выше колен — болело от футбола.

Толклись перед Дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие,— говорила Катя Башмакова и смотрела Мухину в глаза.

Наконец отправились. Играла музыка. На кумаче блестела позолота. Над белыми домами канцелярий небо было синее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, стояло что-то тощее.

— Вдруг там скелет,— хихикала товарищ Окунь.

Сдернули холстину. Приспустили флаги. Заиграл оркестр. У памятника егозили, подсаживали влезавших на трибуну.

— Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоявших перед партией задач!

Вертелись. Сзади было кладбище, справа — исправдом, впереди — казармы.

Щекастая в косынке — сиделка,— высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к обелиску с головой товарища Гусева на острие.

Сиделка уходила.

— Мне необходимо,— устремился Мухин.— Пардон.

Дорогу перерéзали. Трубя, маршировали — хоронили исключенную за неустойчивость самоубийцу Семкину:

Вы жертвою пали.

Ее приятельница, кандидатка Грушина, ревя, смотрела из ворот.

— Дисциплинированная,— похвалил растратчик Мишка-Доброхим: — в процессии не участвует.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на две — ближнюю и дальнюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

— Выпустили? — встрепенулся и поздравил его Мухин.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой,— простился Мишка.— Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. Открывающийся памятник — образец монументального искусства.

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет,— покачал Мухин головой печально, — кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно,— согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептался кто-то. Шелестели листья под ногами.

Шли под руку. Задумчивые, напевали:

Чистим, чистим,
чистим, чистим,
чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билеты...

В столовой «Моссельпром» гремела музыка. Таинственно горела маленькая лампа.

— Где вода дорога́? — говорили за столиком.— Рога у коровы, вода в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее:

— Веселей!

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Я чуть не познакомился с сиделкой,— сказал Мухин.

1926

ЛЕКПОМ



еловек сошел с поезда, вытащил зеркальце и огляделся. К нему подбежала дожидавшаяся возле звонка телеграфистка.

— Фельдшер? — спросила она и стояла, как маленькая, смотря на него.

Он поднял брови, соединявшиеся на переносице, и взглянул снисходительно.

— Лекпом,— поклонился он.

Идти было скользко. Он взял ее под руку.

— Ах,— удивилась она.

Фонтанчик у станции был полон, и брызги летели по ветру за цементный бассейнчик.

— Сюда.

С трех сторон темнелись сараи, рябь пробегала по лужам. Через лед сквозила трава. Взбежали по лестнице, в кухне сняли пальто и повесили их на дверь.

В комнатке было тепло. Мать дышала за ширмой.

— Разбудить? — заглянув туда, вышла на цыпочках телеграфистка.

— Нет,— помахал он галантно руками.— До поезда долго, пусть спит.

Оборачиваясь, она выкралась в кухню и стала греметь самоваром.

Цикламен цвел в горшке. Лекпом нюхал. Под окном шла дорога, валялась солома. За плетнем лежал снег, и из снега торчала ботва.

Пили чай и тихонько говорили про город.

— Интересная жизнь,— восхищался лекпом,— Мери Пикфорд играет прекрасно.

Он смотрел на огонь и, чуть-чуть улыбаясь, задумывался. Брови были приподняты. Волосок, не захваченный бритвой, блестел под губой.

Перешли на диван и сидели в тени. Печка грела. Самовар умолкал и опять начинал пищать.

— Женни Юго брюнетка,— заливался лекпом и сам же заслушивался.— Она — ваш портрет.

Поджав ноги и съежившись, телеграфистка молчала. Глаза ее были полузакрыты и темны от расширившихся, как под атропином, зрачков.

— Вас знобит,— присмотрелся лекпом.— Вы простудились. Весна подкузьмила вас.

— Нет, я здорова,— сказала она и застучала зубами,— может быть, форточка.

Он оглянулся и повертел головой:

— Закрыта. Наденьте пальто. Я вам дам потогонное. Надо беречь себя, одеваться, как следует, перед выходом из дому — есть.

Она встала и начала мыть посуду, стукая о полоскательницу. Лекпом поднялся, прошелся на цыпочках, взял со столика ноты, посмотрел на название и замурлыкал романс. Мать проснулась.

ОТЕЦ



На могиле летчика был крест-пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там, где хмель, была зарыта мать.

— Мы к ней потом,— сказал отец,— а то мы опоздаем к волнам.

Заревел гудок.

— Скорее,— закричали мальчики.

— Скорее,— заспешил отец.

Все побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбега́ли по тропинке, и гудок опять раздался.

— Опоздаем,— подгонял отец.

Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины, и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

— Шлеп,— набежала первая волна.

— Скорей! — все бросились.

Река была как море.

— Ух,— кричали люди и подскакивали.

— Ух,— кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая.

— Ух, ух,— кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любовь Ивановне. Он думал: «Но зато я неплохой отец». Назад шли медленно.

— А то купанье,— говорил отец,— сойдет на нет.

Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь,— сказал отец у липы.— Я приду.

Они уселись, сняв картузики, и взялись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, черные. Верхи крестов высовывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать?

А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В разбитое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

МАТРОС



ешка соскочил с кровати. Мать дежурила. Склонившись, словно над колодцем, чуть белелась полукруглая луна. Не шевелилась жидкая береза с темными ветвями. На траве блестели капельки. Поклевывая, курицы с цыплятами бродили по двору.

Покачивая животом, в черном капоте с голубыми розами, по лестнице спустилась Трифониха. У нее в руке был ключ, а на руке висела вышитая сумка — с тигром.

— Фу,— покосилась Трифониха,— поросенок! — и, важная, отправилась за булками.

— Я мылся,— крикнул ей вдогонку Лешка.

Усатый водовоз, кусая от фунта ситного, гремел колесами. Пыль сонно поднималась и опять укладывалась.

— Дяденька,— умильно попросился Лешка,— прокати,— и водовоз позволил ему сесть на бочку.

Завидовали бабы, несшие на коромыслах связки глиняных горшков с топленым молоком, кондукторша в очках, которая гнала́ корову и замахивалась на нее веревкой, и четыре жулика, сидевшие под горкой и разбиравшие мешок с бельем.

— Обокрали чердак,— показал водовоз и ссадил Лешку на землю.

Солнце поднялось и припекало. Освещало ситный в чайной у Силебиной. Мальчишка из кинематографа расклеивал афиши. Там было напечатано: «Бесплатное», но Лешка не умел читать.

В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под

вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке:

Трансваль, Трансваль...

Было хорошо у палисадника. Забор уже нагрелся и был теплый, сзади пригревало плечи, пахло клевером.

Матрос...

А мать уже вернулась и перед осколком зеркала чесала волосы.

Пили кипяток с песком и с хлебом. Отдувались.

Мать велела не ходить на речку и, задернув занавеску, легла спать.

Вдруг загремела музыка. Все бросились.

Блестели наконечники знамен. Трещали барабаны.

Пионеры в галстуках маршировали в лес. Телега с квасом громыхала сзади.

Вслед! — с мальчишками, с собачонками, размахивая руками, приплясывая, прискакивая:

— В лес!

Вдоль палисадников, вертя мочалкой, шел матрос. Его голубой воротник развевался, за затылком порхали две узкие ленточки.

Матрос! Стихала, удаляясь, музыка, и оседала пыль. У Лешки колотилось сердце. Он бежал на речку — за матросом.

Матрос! Со всех сторон сбежались. Плававшие вылезли. Валявшиеся на песке — вскочили. Матрос!

Коричневый, как глиняный горшок, он прыгнул, вынырнул и поплыл. На его руке был синий якорь, мускулы вздувались — как крученый ситный у Силебиной на полке.

— Это я его привел,— хвалился Лешка.

Было жарко. Воздух над рекой струился. Всплескивались рыбы. Проплывали лодки, женщины в цветных повязках нагибались над бортом и опускали в воду пальцы.

Купальщики боролись, кувыркались и ходили на руках.

А солнце подвигалось. Было сзади, стало спереди — пора обедать.

Мать ждала́. Картошка была сварена, хлеб и бутылка с маслом — на столе.

Наелись. Мать похваливала масло. Облизали ложки. Вышли на крыльцо.

Во дворе, разостлав одеяла́, сидели соседки. Качали маленьких детей, тихонько напевали и кухонными ножами искали друг у друга в голове.

— И мы устроимся,— обрадовалась мать и сбегала за одеялом.

Лежали. Лешка положил к ней на колени голову.

Она перебирала пальцами в его кудлатых волосах. По небу пролетали маленькие облачка в матросских куртках, облачка, похожие на ситный и на вороха белья.

Хотелось спать и не хотелось...

— Бабочки,— вскочила мать,— купаться, так купаться: опоздаем на бесплатное.

— Бесплатное!

Повскакивали, зашмыгали, повязали головы и выбежали за ворота. Бегали наперегонки и смеялись, а потом притихли и печально пели:

Платье бедняги за корни цепляется,
ветви вплелись в волоса.

Срывали жесткую высокую траву — класть под ноги, когда выходишь нá берег. Тек горький белый сок и засыхал на пальцах.

Молотя ногами, плавали и, взвизгивая, приседали. Садилось солнце. Начали кусаться комары. Заквакали лягушки. Небо выцвело. Трава похолодела. Пыль в колеях лежала теплая и грела ноги. Улица кипела. Все спешили на бесплатное.

Шел водовоз, поглядывая сверху вниз, как с бочки, и крутя усы.

Помахивая рукой, как будто в ней была веревка, торопилась старая кондукторша, и весело бежали обокравшие чердак четыре жулика.

Был гвалт. Стояли по очереди к мороженщикам. Шуршала подсолнечная шелуха. В саду горели фонари, играла музыка и бил фонтан. Мать потерялась. Маленьких в кинематограф не пускали. Лешка заревел.

Темнело. Музыка кружилась невысоко, прибитая росой. Силебина сидела на крылечке — тихо, тихо, задумчивая, не замахивалась полотенцем, не орала. В палисаднике, впотьмах, матрос тихонечко наигрывал на балалайке:

Трансваль, Трансваль.

Он, как и Лешка, не был на бесплатном — миленький...

Вздыхая, по двору прохаживалась Трифониха и, любуясь звездочкой, жевала. Из сумки с тигром вынула пирог и протянула Лешке.

Сидя на ступеньке, он стал есть, пихая в рот обеими руками: пирог был сладкий, а руки — соленые от грязи и горькие от той травы, которую он рвал, когда шел с матерью на берег.

1926

ХИРОМАНТИЯ



Петров с наслаждением вдохнул продушенный воздух и, сосчитав ожидающих, сел. Ладислас извинился, отлучился от бреемого и задвинул задвижку.

— Я успел,— посмеялся Петров и подумал, что это к хорошему.

Парикмахеры брили в молчании — устали, спешили и не отпускали учтивостей. Звякали ножницы. Рождество наступало. Колокола были сняты и не гудели за окнами. «Пи»,— басом пищал иногда и, тряся улицу, пробегал грузовик.

Петров не читал. Он — просматривал. Он уже изучил эту книгу с изображенными на каждой странице ладонями. Он кончил ее вчера вечером и, закрыв, присел к зеркальцу и вспомнил стишки, которые когда-то разучивал в школе:

Исполнен долг, завещанный от Бога
мне, грешному.

Подбритый и подстриженный, он вышел. Он благоухал. Усы, бородка и завитушки меха на углах воротника покрылись инеем. Высокая луна плыла в зеленом круге. Жесткий снег переливался блестками. Как днем, отчетливы были афиши на стенах. Петров уже читал их: показательный музей «Наука» с отделениями гинекологии, минералогии и «Сакко и Ванцетти» снизил цены.

Маргарита Титовна жила недалеко. Петров смеялся. Как всегда, она шмыгнет в другую комнату, мать будет ее звать, она придет, зевая и раскачиваясь, и состроит кислую гримасу. Не смущаясь, он задержит ее руку, повернет ладонью вверх, прочтет, что было и что будет, кого надо избегать. Она заслушается...

«Маргарита Титовна»,— пел мысленно Петров, ликуя и покачивая станом.

Громко разговаривая, пробежали под руку два друга в финских шапках.

— Я ей сделал оскорбительное предложение,— услыхал Петров,— она не согласилась.

Он задумался: она не согласилась — предзнаменование, пожалуй, неблагоприятное.

И правда: Маргариты Титовны не оказалось дома.

— У музей ушодчи,— посочувствовала мать.— Ко всенощной теперь не мода,— посмеялась она.

— Да,— вздохнул Петров.

— Мышь одолела,— занимала его мать беседой.— Я на крюк в ловушке насадила сало: уж теперь поймается.

— Поймается,— похохотал Петров.

Шаги визжали. Провода и ветви были белы. Церкви с тусклыми окошками смотрели на луну. Музей сиял. Прелестные картины, красные от красных фонарей, висели возле входа. Умерла болгарка, лежа на снегу, и полк солдат усыновляет ее дочь. Горилла, раздвигая лозы, подбирается к купающейся деве: «Похищение женщины». Петров шагнул за занавеску и протер очки.

— Билет,— потребовал он, посучил усы и тронул бороду и хиромантию, выглядывавшую из кармана.

ПОЖАЛУЙСТА



Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было.

— Сходите к бабке,— научили женщины,— она поможет.

Селезнева заперла калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники.

Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли — с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им — рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали.

— Тетка, эй! — кричали мальчуганы и катились на салазках по́д ноги.

Дворы внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдали видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

— Смотрите на ту сосенку,— сказала бабка,— и не думайте.

Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке.

— Вот соль,— толкнула Селезневу бабка,— вы подсыпьте ей...

Коза нагнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла.

— Вот вы где,— сказала гостья в самодельной шляпе, низенькая.

Селезнева поздоровалась с ней.

— Он придет смотреть вас,— объявила гостья.— Я — советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело — полон дом вещей.

Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись, медленно.

Гость прибыл — в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником.

— Я извиняюсь,— говорил он и, блестя глазами, ухмылялся в сивые усы.

— Напротив,— отвечала Селезнева.

Гостья наслаждалась, глядя.

— Время мчится,— удивлялся гость.— Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

Сестры,—

посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв:

наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.
Братья,—

раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Селезневой, чтобы и она не отставала:

раскройте друг другу объятья:
пройдены годы страданья и слез.

— Прекрасно,— ликовала гостья.— Чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно.

— Да,— кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой.

— До свиданья,— распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрым пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеяла, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила с ним.

— Да она жива,— войдя в сарай, сказал он.

Селезнева покачала головой. Мальчишки побежали за санями.

— Дохлая коза,— кричали они и скакали.

Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

— Здравствуйте,— внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся, в котиковой шапке из покойницыной муф-

ты, и блестел глазами. Его щеки лоснились.— Ворота у вас настежь,— говорил он,— в школу рановато, дай-ка, думаю.

Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво.

— Пла́чу и рыдаю,— начал напевать,— егда вижу смерть.

Потупясь, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула.

— Ну, что же,— оттопырил гость усы.— Не буду вас задерживать. Я, вот, хочу прислать к вам женщину: поговорить.

— Пожалуйста,— сказала Селезнева.

САД



Делегаты окружного съезда союза «Медсантруд» сидели на скамейке и беседовали о политике. Дорожные корзиночки стояли между ними. Утреннее солнце грело. Развалясь, они вытягивали ноги и блаженствовали.

Улыбаясь, делегатки медленно ходили вокруг клумб. Они смотрели на цветы, склоняя набок головы.

— А в будущем году еще прекрасней будет,— говорил садовник Чау-Дин-Ши.

Растроганные делегатки окружили его.

— Можете пустить фонтан? — просили они.

Чернякова посмеялась, глядя на них.

— Ишь,— сказала она. В красном галстуке, в кудряшках над морщинами, она сидела под акацией.

— Господин китаец, что я вам скажу,— подозвала она: — сегодня будем хоронить Таисию, уборщицыю: вы пожалуйте уже.

— С огромным удовольствием,— ответил Чау-Дин-Ши, и она встала и пожала ему руку.

— Мы надеемся,— простилась она и, сорвав травинку, повернулась и пошла, мурлыча.

Поэтесса Липец встретилась ей, и она остановилась и любезно поздоровалась:

— Мое почтение, товарищ Липецковая, куда спешите?

Обмахнув скамейку, поэтесса Липец села и откинулась. В сегодняшней газете были напечатаны ее стихи:

> Гудками встречен день. Трудящиеся...—

и она, под плеск фонтана, декламировала их.

Чернякову ждали неприятности. Ей объявили, что ее уволят, если она будет принимать гостей. Она заголосила.

— Это кучер доказал,— сказала она.

Гроб с Таисией прибыл из больницы. Кучер привязал вожжами лошадь и пришел сказать. Управделами отпустил конторщиц проводить Таисию. Построились за гробом. Чернякова, поправляя галстук, встала с профуполномоченным, за ними встали регистраторша с курьершей, а за ними машинистки: Закушняк и Полуектова.

— Но,— крикнул кучер и, держа концы вожжей, пошел рядом с телегой. Загремели по булыжникам колеса. Профуполномоченный взмахнул рукой, шесть голосов запели. Чау-Дин-Ши прошел по саду с колокольчиком и выпроводил посетителей. Он запер на замок калитку и догнал процессию. Чернякова оглянулась на него. Пенсионерка Закс, постукивая палкой, подскочила к нему и спросила, кто покойница.

— Уборщица окрэспеэс,— ответил Чау-Дин-Ши любезно.

— Знаю я ее,— сказала радостно пенсионерка Закс: — я с ней служила вместе, когда я была секретарем союза «Работпрос».

Она посеменила, чтобы попасть в ногу, и запела, подымая голову, как курица, глотающая воду. Солнце жарило. Пыль набивалась в рты.

Таисию засыпали. Вскочив на дроги, кучер укатил. Девицы побежали. Секретарь союза «Медсантруд» дал им по делегатскому талону на обед в столовой — надо было захватить места, пока не набрались сезонники. Пенсионерка Закс, попрыгивая, шла с китайцем. Чернякова возвращалась с профуполномоченным.

— Товарищ профуполномоченный,— учтиво говорила она,— на меня доказывают, но подумайте, какая моя ставка: двадцать семь рублей.

В окрэспеэс уже никого не было. Один отсекр окрэмбеит, товарищ Липец, инженер-электротехник, еще сидел. Он подал заявление о прибавке и начал каждый день задерживаться. Он держал газету: был его портрет, его статейка и стихотворение его дочери:

Гудками встречен день. Трудящиеся...

Чернякова заперла все двери и смотрела на него.

— Товарищ Липецков,— почтительно сказала она, проведя ладонью по губам,— я уж пойду, а то сезонники наскочат. Ключ повесьте в телефонной, если милость ваша будет: у меня там ключевая соберительница, кассыя ключевая.

Было жарко. Тротуар размяк. Телеги, подвозившие кирпич к постройкам, громыхали. Регистраторша, курьерша, машинистки Закушняк и Полуектова уже поели и плелись распаренные, ковыряя языком в зубах. Они перемигнулись с Черняковой.

— Хорошо? — спросила она и заторопилась.

Образованные люди чинно ели, отставляя пальцы и гоняя мух. На кадках пальм было выведено «Новозыбков». На стенах висели зеркала. Напротив Черняковой интересный кавалер любезничал с девицей.

— Вы и сами лимонады,— наливая ей стаканчик, говорил он,— только красненькие.

— Неужели я такая красненькая? — удивлялась она.

— Ишь ты,— посмеялась Чернякова и, доев, утерла губы галстуком и вышла, повторяя этот разговор.

Стараясь обогнать друг друга, ей навстречу, бородатые, неслись сезонники. В окрэспеэс она открыла окна. Воздух ворвался. За крышами видны были луга, стада пестрелись, голые мальчишки бегали вдоль речки. Чернякова подоткнула юбку, засучила рукава и начала уборку.

— Вы такие красненькие,— говорила она, делала приятную улыбку и смеялась.

Перестали грохотать телеги. Конартдив, резерв милиции и ассенобоз по очереди проскакали к речке: подымалась пыль и затемняла солнце. Тусклое, оно спускалось к кепке памятника. Сад был полон. Женщины стояли у фонтана и бродили вокруг клумб. Мужчины, развалясь, в рубашках из «туаль-дю-нор», сидели. Волейбольщики скакали, отбивая головами мяч. Пенсионерка Закс ходила за китайцем.

— Я воображаю, как вам скучно с нами,— говорила она.

Чернякова подошла и слушала с участием.

— Умерла́ Таисия,— сказала она, кашлянув.

Побагровели облака и побледнели. Съезд союза «Медсантруд» закрылся и запел «Вставай». Цветы запахли. Громкоговоритель закричал «Алло». Темно стало, присматривать за посетителями стало трудно. Чау-Дин-Ши прошелся с колокольчиком. Он запер на замок калитку и пошел к Прокопчику. Пенсионерка Закс и Чернякова провожали его. Фонари покачивались тихо. Запах сена прилетал с лугов. В окне у оптика стояли гипсовые головы в очках, и в их глазах то загоралось электричество, то гасло.

— Господин китаец, это красота,— сказала Чернякова.

— Замечательные вещи,— согласился Чау-Дин-Ши.

Пенсионерка Закс, насупившаяся, простилась.

— Не подумайте, что я устала,— предостерегла она.

Костры плотовщиков горели у реки. Луна всходила. Золотые буквы водной станции окрэспеэс блестели. Поздние купальщики плескались в темноте. Прокопчик сосал трубку. Он был рад гостям.

— Мое почтение,— приветливо здоровались они,— как поживаете? — и жали ему руку.

— Прилетела культотдельша,— рассказал он,— требовала, чтобы все были в трусáх.

Качали головами и смеялись. В городе горели огоньки. Вода журчала.

— Кучер на меня доказывает, сукин сын,— пожаловалась Чернякова.— Эх,— сказала она, заиграла на губах и завертелась, грохоча.

Мужчины ей подтопывали. Галстук разлетался.

Вы такии
красненькии,—

выводила она и трясла боками, топоча, и вскрикивала.

Поэтесса Липец, обратив лицо к луне, прогуливалась, и ее отец, отсекр окрэмбеит, прогуливался вместе с ней. Они прогуливались, отсмотрев спектакль, делегатские билеты на который получили от секретаря союза «Медсантруд». Шарф поэтессы Липец развевался. Глядя вверх, она покачивала головой и декламировала тихо:

Гудками встречен день. Трудящиеся...

ПОРТРЕТ

1



ак всегда, придя с колодца, я застала во дворе хозяина.

Он тряс над тазом самовар и, как всегда, любезно пошутил, кивнув на мои ведра:

— Фызькультура.

Как всегда, раскланявшись с маман, мы вышли, и в воротах, распахнув калитку, отец, галантный, пропустил меня. По тени я увидела, что горблюсь, и выпрямилась.

Стояли церкви. Улицы спускались и взбирались. Старики сидели на завалинках. Сверкали капельки и, шлепаясь о плечи, разбрызгивались. Как всегда, на повороте, тронув козырек, отец откланялся.

Четыре четырехэтажных дома показались, площадь с фонарями и громкоговорителями. Подоткнув шинели, бегали солдаты с ружьями, бросались на́ землю и вскакивали. Стоя на крыльце и переглядываясь, канцелярские девицы их рассматривали. Шляпы отражались в полированных столбах.

Хваля погоду, мы уселись. Счеты стали щелкать. В кофте «сольферин» прошла товарищ Шацкина и осмотрела нас. Передвигалось солнце. Тень аэроплана пробежала по столам, и мы поговорили, сколько получают летчики.

После обеда, кончив мыть, маман переоделась и, в перчатках, чинная, отправилась.

— Мы выбираем дьякона,— остановилась она и взглянула на меня и на отца внушительно.

— Прекрасно,— похвалили мы.

Отец, прищуриваясь, шелестел газетой. Ветви перекрещивались за окном. В конюшне за забором переступала лошадь.

Постучались гостьи и, расстегивая выхухоль на шее, радостно смотрели на нас кверху, низенькие. Брошь-цветок и брошь-кинжал блёстели.

— Я иду сказать маман,— сбежала я.

Она, торжественная, как в фотографии, сидела в школе. Старушенции шептались. Кандидат на дьяконскую должность, в галифе, ораторствовал.

— Я из пролетарского происхождения,— восклицал он.

Разноцветные, с готическими буквами, висели диаграммы: мостовых две тысячи квадратных метров, фонарей двенадцать, каланча одна.

— А вы учились в семинарии? — поднялась маман.

Я позвала ее.

Затягивались лужицы в следах. Выскакивали люди без пальто и шапок, закрывали ставни. Мальчуганы разговаривали, сидя на крыльце, и их коньки болтались и позвякивали.

Улица Москвы, по-старому — Московская, шумела. Рявкали автобусы. Извозчики откидывали фартуки. Взойдя на паперть, я взяла билет. Стояли пальмы. Рыбки разевали рты. Топтались кавалеры, задирая подбородки и выпячивая бантики. Я терлась между ними.

Ричард Толмедж был показан в безрукавке и коротеньких штанишках. Он лечился от любви, и врач его осматривал.

— Милашка Ричард,— улыбались мы и взглядывали друг на друга, сияя.

Сверх программы — музыкальные сатирики Фис-Дис трубили в веники.

— Осел, осел,— кричали они,— где ты? — и отвечали:

— Я в президиуме Второго Интернационала.

Наскакивая на прохожих, я гналась за ним. «Послушайте»,— хотела крикнуть я. Он шел, раскачиваясь, невысокий, с поднятым воротником и в кепке с клапаном.

Отец остановил меня. Он тоже убежал от го́стий.

— Ричард мил? — спросил он, и по голосу я видела, как он приподнял брови: — И идеология приемлемая?

Узкая луна блестела за ветвями. На тенях светлелись дырки. Дикие собаки спали на снегу.

— Да, да,— кивала я, не слушая... Тот, в кепке,— в толкотне у двери он ощупывал меня.

Маман, с полузакрытыми глазами, с полотенцем на плече, перемывая чашки, улыбалась. Гостьи только что ушли — сапожной мазью еще пахло.

— Вот,— снисходительно сказала нам маман,— вы ничего не знаете. Поляки взяли Полоцк. Из Укра̀ины пришло письмо — она решила не давать нам мяса.

Как всегда, мы сели. Кошка, тряся стул, лизала у себя под хвостиком. Отец шуршал страницами. Маман, посмеиваясь, пришивала кружево к штанам. Я перелистывала книгу. Анна Чилляг, волосастая, шагала и несла перед собой цветок. Поль Крюгер улыбался. Это — гостьи принесли.

2

На крыльце, таинственный, хозяин задержал нас.

— Подрались,— сказал он: — Луначарский двинул Рыкову.

Мы вышли. Лужицы темнелись у ворот. Вытягивая шеи, куры пили. Пробегали кавалеры и посвистывали. Их прически выбивались. Капельки блестели на плечах. Мальчишка мазал стены, прилеплял афиши и разглаживал: «Митрополит Введенский едет».

«Есть ли бог?»

Отец откланялся. Аэроплан жужжал. Флаг развевался, прикрепленный за углы, и небо между ним и древком синелось.

К надписи над театром проводили электричество. Монтер, приставив к глазам руку, шел по крыше и раскачивался, невысокий. «Это он»,— подумала я.

— Что там? — спрашивали у меня, остановясь. Меня толкнули. Лаком для ногтей запахло. Выгнув бок, кокетливая Иванова в красной шляпе поздоровалась со мной. Я сделала приятное лицо, и мы отправились.

— Весна,— поговорили мы.

В двенадцать, когда, взглядывая в зеркальце, положенное в стол, она закусывала, я подъехала к ней. Колбаса лежала на

газете. «И избил,— прочла я,— проходившую гражданку по улице Москвы». Я кашлянула скромно.

— Вы будете на вечере? — спросила я.

Все были приодеты. Благовония носились. К лампочкам были привязаны бумажки. Хвоя сыпалась. Подшефный середняк сидел с товарищ Шацкиной и кашлял.

Выступали физкультурники в лиловых безрукавках, подымали руки, волоса под мышками показывались. Хор пел.

Балалаечники, поводя глазами, забренчали. Мы покачивались на местах, приплясывая туловищами.

Товарищ Шацкина, довольная, оглядывала нас.

— Хорошо,— зажмуривались мы и хлопали ладошками.

Содружественная часть подтопывала.

Тихо,—

как когда я была маленькая, завертелся вальс,—

кругом,
и ветер на сопках рыдает.

— Я пойду на лекцию,— перестав смотреть на дверь, сказала Иванова,— нет ли там чего,— и вытащила пудру: озеро с кувшинками и лебедь.

Подмерзло. Две больших звезды, как пуговицы на спине пальто, блестели. Над театром, красные, окрашивая снег на площади и воздух, горели буквы.

Люди в кепках проходили.

Я — приглядывалась к ним.

Сад цвел на сцене. Нимфа за кустом белелась, прикрывая грудь. Митрополит Введенский возражал безбожнику губернского значения Петрову.

Мы рассматривали зрителей. Отец сидел, зевая. Он кивнул мне.

— Гостьи,— объяснил он.

— Вот он,— засияла Иванова и толкнула меня: Жоржик с электрической увидел нас.

— Электрик,— рекомендовался он мне.

— Выйдемте,— сказала Иванова и в фойе, отсвечиваясь в мраморных стенах, под пальмой, упрекала его. Он оправдывался, задирая брови.

— Я хотел прийти,— в чем дело? — говорил он.— Но, представьте, прачка подвела.

— А ну вас,— отворачивалась Иванова томно.

Препираясь, мы спустились к улице Москвы. Бензином завоняло. Невский вспомнился — с автомобильными лучами и кружащимися в них снежинками.

От бакалейной, наступая на чужие пятки, мы шагали до аптеки и повертывались. Милиционериха стояла скромно, в высоко надетом поясе. Встряхнулась лошадь, и бубенчик вздрогнул.

— Пушкин, где ты? — говорили впереди.

Конфузясь, Иванова прыскала.

— Товарищи,— солидно сказал Жоржик: — Неудобно.

— На̀ плешь,— оглянулись на него.

Снимая шапку, он раскланивался.

— Доброго здоровья,— восклицал он.

Я — присматривалась.

У больших домов отец догнал меня. Он что-то говорил, смеясь, и пожимал плечами. Я поддакивала и хихикала, не вслушиваясь. Было пусто в переулках. Вырезанные в ставнях звезды и сердца светились.

В магазине Кнопа,—

пели за углом.

Маман была оживлена. Сапожной мазью и помадой пахло Библия лежала на столе.

— Все, все предсказано здесь,— радостно сказала нам маман и посмотрела значительно.

3

Маман прислушалась.

— Идут,— вскочила она и концами пальцев обмахнула грудь — как стряхивают крошки.

Как всегда, мы вышли переждать под грушами. Кулич был виден. Цинерария стояла на окне.

Христос,—

задребезжали в доме. Запах церкви прилетел. Кругом звонили. Кошка, глядя вверх, следила за аэропланами. Затопотали по ступенькам. Духовенство, надевая шляпы и качая талиями, спускалось, и маман, величественная, с крыльца кивала ему.

Прибыли хозяева и поздравляли.

— Милости прошу,— усаживала их маман.

Все улыбались.

— Я к больным,— сказал отец.

Я тоже улизнула. Вилки и ножи стучали вслед.

Гуляли семьи. Маленькие дети спали на руках. Колокола звонили.

«Праздники,— расклеены были афиши,— дни есенинщины»

Гостьи семенили, горбясь,— торопились к нам, в роскошных кофтах и в чалмах из шалей. Я свернула в садик, нелюбезная.

Шуршали листья — прошлогодние. Травинки пробивались.

— В Пензе,— разговаривали на скамье,— все женщины безнравственны.

Подкралась Иванова, ткнула меня пальцем и сказала:

— Кх.

Она благоухала. Коленкоровые фиалки украшали ее.

— Я тянула счастье,— засмеялась она.

Хлопала калитка. Совработники в резиновых пальто входили. Щелкнув сумкой, мы смотрелись в зеркальце. Часы пробили.

— Знаю,— встала Иванова,— где он.

Громкоговорители на площади хрипели. Кавалеры в новеньких костюмах, положив друг другу руки на плечи, толпились над лотками. Яйца стукались. В окне светился транспарант с цитатой, и веревка, унизанная красными бумажками, висела. Мы вошли. Засаленными книжками воняло. Подпершись, библиотекарша сидела за прилавком. Дама в профиль красовалась на ее воротнике.

— У вас щека запачкана,— сказала Иванова.

— Это от пороха,— ответила она и посмотрела гордо.

Общество друзей библиотеки заседало — Жоржик и стеклографистка Прохорова. В голубом, она жевала что-то масляное, и ее лицо блестело.

Жоржик был рассеян. Вдохновенный, он ерошил волосы. «Проклятие тебе,— раскрашивал он надпись,— мистер Троцкий». Вежеталем «Виолетт де Парм» пахло.

— Лозгуны? — приблизившись, спросила Иванова мрачно.

Я посторонилась. «Виринея» и «Наталья Тарпова» лежали на рекомендательном столе. В газете я нашла товарищ Шацкину: она идет в рядах, «Прочь пессимизм и неверие»,— несет она плакатик, «Пуанкаре, получи по харе»,— реет над ней флаг.

Дождь хлынул. Отворилась дверь. Все посмотрели.

— Гришка с огородов,— объявила Прохорова.

Невысокий, он стоял, отряхивая кепку с клапаном...

Из главной комнаты, присев на стул, на нас смотрела подавальщица. Мы чокались, стесняясь.

На столах были расставлены бумажные цветы.

— За ваше,— подымал галантно Жоржик и опрокидывал.— Жаль,— горевал он, заедая,— что здесь не разрешают петь: как дивно было бы.

— Да,— соглашались мы, а подавальщица вздыхала в другой комнате и говорила:

— Запрещёно.

— Вы чуждая,— сказала Прохорова,— элементка,— но вы мне нравитесь.

— Я рада,— благодарила я.

Тускнели понемногу лампы. Голоса сливались. Откровенности и дружбы захотелось. Иванова встала и пожала Прохоровой руку.

— Я иду,— бежала я тогда.

Прильнув к окну, хозяева подслушивали. Цинерария бросала на них тень. За занавеской ложки звякали, маман солидно рассуждала, гостьи, умиленные, поддакивали ей.

Я уходила, спотыкаясь.

— Набрала̀сь,— оглядывались на меня. Хихикнув, совторгслужащие говорили шепотом: — Кабуки.

Громкоговорители наигрывали.

В театре, как всегда, стреляли. Чистильщик сапог укладывал свой шкаф. Мороженщики, разъезжаясь, грохотали.

Шум стоял на улице Москвы. На паперти толпились кавалеры, покупая семечки.

В фойе чернелись пальмы. Рыбки разевали рты. Гремел оркестр. Зрители приваливались к дамам. Али-Валѝ отрѐзал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.

— Не чудо, а наука,— пояснил он.— Чудес нет.

Мы переглядывались в изумлении. У дверей толкались. Зашипев, взвилась ракета. Звезды над аптекой вздрагивали.

Я одна осталась. В темноте отзванивали. Щелкали по башмакам шнурки.

Укра̀инская труппа топотала, вскрикивая:

— Гоп.

Губернский резерв милиции раздевался, сидя на кроватях.

Согнанные собаки подымали головы. В разливе отражались какие-то огни.

На огородах было тихо. Ничего не видно было. Сыростью прохватывало.

4

Груши падали, стуча. Хозяева выскакивали и, бросаясь, схватывали их. По приставленной к забору лестнице они перелезали на соседний двор и возвращались с яблоками: юс толленди.

Почтальонша отворила дверь и крикнула. Я приняла газету. Циля Лазаревна Ром меняла имя. Буржуазная картина «Гене-

рал» обругивалась: почему не северянина изображает Бестер Китон?

— С праздником,— пришла маман. Демонстративно посмотрела и, вздыхая, сунула свой поминальник за горчичницу.

Деревья были желты. Листья приставали к каблукам.

Рахиля,—

напевал меланхолично чистильщик. Его фуфайку распирали мускулы. В разрезе ворота чернелись волоса. Шнурки для башмаков, повешенные за один конец, качались.

— вы мне даны.

В саду Культуры клумбы отцвели. «Желающие граждане купить цветы,— не сняты были доски,— можно у садовника». Фонтанчик «гусь» поплескивал.

Борцы сидели, подбоченясь. В модных шляпах, они напоминали иностранцев из захватывающих драм. Гражданки, распалясь, вставали и подрагивали мякотями.

В цирке щелкал хлыст. Мелькали за открытой дверью лошади. Наездница подскакивала.

Прохорова вышла из буфета с чемпионом мира Слуцкером. Они дожевывали что-то, и ее лицо блестело.

Ивановой не было. Общественница, она работала в комиссии по проводам товарищ Шацкиной.

Кружок военных знаний занимался за акациями.

— Самый,— хмурил брови лектор,— смертоносный газ — забыл его название — начинается на хве.

Карандаши скрипели.

Жоржик спрятал свой блокнот. В костюмчике «юнгштурм», он обдернулся и подошел ко мне, учтивый.

— Теплый день,— поговорили мы и помолчали.

Прохорова, вероломная, была видна ему.

— А подмораживало уж,— сказала я.

— Действительно,— ответил он: — температура превышала.

— Осень,— попрощались мы.

На улице Москвы толпились — ожидались похороны летчика. Зеленый шар мерцал в аптеке. На окне стоял флакон с Невой и Крепостью.

Автобус загудел. Сквозь стекла пассажиры посторонними глазами посмотрели на нас. Они — ехали.

Обоз с картошкой прибыл. «Наш ответ китайским генералам»,— пояснял плакат. Товарищ Шацкина остановилась, улыбаясь, и ее кухарка в синей кике, нагруженная корзинами, остановилась позади нее.

Хозяин, отставляя руку, нес в жестянке керосин.

— За Иордан? — осклабясь, как всегда, полебезил он.

Звери в балагане вскрикивали. Музыкант с букетом на груди отзванивал на водочных бутылках.

«Мост опасен»,— предостерегала надпись. Рыболовы, молчаливые, вертели ручки удочек с накручиваньем. Прачки с красными ногами наклонялись над водой. Ракиты осыпáлись.

Паутина облепила кочки на лугу. Бродили гуси. Черепа и кости были нарисованы на электрических столбах.

Я села у большого камня, про который знала из газеты, что его желательно использовать при установке памятника. Узенькие листья плыли.

Новые дома, белеясь на горе, блестели стеклами. На огородах кочаны круглелись как зелененькие розы.

Физкультурники причалили, разделись и, благовоспитанные, кувыркались в трусиках. Потом посбрасывали и их и бегали, гоняясь друг за другом и скача друг другу через голову.

Я поднялась, бледнея. Это он был — не монтер, не Гришка, а тот самый, с клапаном.

«Послушайте»,— хотела крикнуть я.

— Сфотографировать? — спросил он расторопно, повернулся, наклонился и дотрòнулся до сгиба.— Вот портрет,— сказал он, показав ладонь.

Я удалялась величаво. Лев рычал. Пронзительно играя, похороны двигались, невидимые, за рекой.

ТЕТКА



Дождь перестал. Фонтан был полон. Листья плавали в нем. Ветер, задевая воду, выдувал ее. Летели брызги и под фонарем сверкали. Проходя, трудящиеся останавливались сполоснуть калоши. Кунст присел на лавочку и снисходительно смотрел. Он не всегда жил здесь.

* * *

В соседней комнате возились. Стукались о стену. Шлепали друг друга.

— Будя,— говорил сиделкин голос томно,— полно лапать.

Кунст открыл глаза.

Из трещин потолка слагался подол юбки и башмак с двумя ушками. За окном кричали нараспев, как в церкви:

— Халат!

Вошла хозяйка в синей кофте, подпоясанная ремнем, и дала письмо. Она с ужимкой покачала головой на стену.

— Когда-нибудь скажу ей, чтобы это более не повторялось,— доброжелательно вздохнула она и умильно посмотрела: — Хорошо бы бросить все это и жить втроем: вы, я и Фрида Вот моя мечта.

Письмо было от тетки. «Приезжай,— звала она опять.— Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Кунст побрился и стер мыло.

— Пудры положить? — спросил он и ответил: — Пожалуйста.

Он взял учебник и пошел в столовую. Деревянные дома, построенные для сдачи комнат политехникам, стояли вперемежку с пустырями. Прошлогодняя трава сквозила через лед.

Хозяйки, прислоняя к себе хлебы, возвращались из хвоста. Сиделки шли с дежурства и вели с собою раненых. Бродили сумасшедшие солдаты в туфлях, разбежавшиеся из больницы.

— Ну и время,— постояла с Кунстом его прежняя хозяйка Ку́бариха.— Что здесь стало. И куда девались политехники. Да вот и я — впустила к себе фею, уличную бабочку. «Но только,— я ее предупредила,— знай свою панель»,— а в доме строго запретила.

— Да,— ответил Кунст,— все вверх ногами. В Политехнический вселили Кронштадтское морское инженерное училище, в столовую пускают всех. Где революция, там — вечно что-нибудь.

Политехнический стоял запачканный, снег был загажен, моряки Кронштадтского училища расхаживали по дорожкам, точно у себя в Кронштадте.

Арутян в наплечниках с отломанной короной ел. Кунст сел с ним. Над душой стояли голодающие и лизали опорожненные миски.

— Это скучно,— говорили за столом.

На следующем этаже, в буфете, было шумно. Электричество горело. Из стаканов поднимался пар. Звенели ложки. Сытые кронштадтцы хлопали друг друга по плечу, кричали и смеялись. Скромные девицы со Второго Муринского, прибывшие посмотреть на них, тянули кофе. Переполнившись, они приподымались, чтобы лишнее могло пролиться в ноги, и опять усаживались.

Арутян, степенно улыбаясь, посмотрел кругом.

— Как вы живете? — наклонился он. Его подпло́енные волоса блестели.

— Продаю,— ответил Кунст.

С полузакрытыми глазами, Арутян кивал.

— Мне надо есть,— пожаловался он.— Купил свинину, а моя хозяйка утащила ее на Удельную: там у нее сестра. Вы знаете, что это за сестра? — спросил он и махнул рукой.— Мне предложили место в городе. Хотите? Я не в силах. Мне одно необходимо: е́сть.

— Я еду,— сказал Кунст.

Тянулись огороды. Из-под снега вылезала черная ботва. Заборы были темны. Надписи пестрелись.

— В прицепной залез священник,— посмотрел кондуктор.—Не люблю их. Я всех этих глупостей не признаю. Раз в год говею, и достаточно — я больше в церковь не хожу.

Лед на реке уже набух. Чернелись лужи. Кунст шел за Троицким. Дворцы стояли мрачно. Каменные старики серелись в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Кунст долго пробродил, ища по комнатам. За окнами была Нева, другие выходили на Адмиралтейство.

— Вот он,— показала Кунсту толстая девица и не уходила.

Бледный человек стоял за лакированной конторкой с перламутровыми птицами и пил из кружки.

— Я от Арутяна,— поклонился Кунст.

— Пойдемте,— сказал бледный.

Толстая девица повернулась и отправилась на место.

Кунста приняли. Он ездил. «Кузя, ты дурак»,— прибавилось однажды к подписям на стеклах. Иногда садилась интересная девчонка и поглядывала.

Бледный человечек за конторкой был Иван Ильич. Напротив помещалась Мирра Осиповна. В меховом воротнике, она драпировалась и раздрапировывалась.

— Я из Австрии,— сказала она Кунсту.— У меня там был зубоврачебный кабинет. Я нелегально перешла границу — думала найти здесь что-нибудь особенное.

«Ты ста́ра»,— подумал Кунст.

В двенадцать девушка Маланья разносила чай. Инструктор Баумштейн забегал с докладом, и начальник Глан, сворачивая в трубочку свою газету «Луч», выслушивал его.

Инструктор Баумштейн подмигивал девицам, и они хихикали.

— Какой он интересный,— удивлялись они после, подходя друг к другу, и шептались.

— Вчера ко мне зашел Владимирский-Буданов,— говорил тогда Иван Ильич,— и мы читали с ним мою магистерскую диссертацию: на несколько часов я позабыл всю эту жизнь.

— Я вас понимаю,— улыбалась Мирра Осиповна.

У подъезда ждали саботажники с вечерними газетами. Морские облака неслись. Коричневые стены, освещенные с заката, казались теплыми.

Хозяйка, принеся вечерний самовар, не уходила и стояла у дверей, многозначительная.

— Вы устроились,— приятно говорила она.— Я всегда мечтаю, как прекрасно было бы нам с вами жить втроем.

По праздникам, как прежде, Кунст ходил в буфет. Шумели моряки, откормленные. Их глаза блестели. Папиросный дым плыл кверху. Чайный пар дрожал. Девицы, отставляя пальцы, приподымались и усаживались.

— Проституция,— отворачивался Арутян.— Надо есть,— ронял он мрачно голову,— а нечего. Хозяйка все хватает и тащит на Удельную: к сестре, вы знаете. Я подарил ей восемь платьев,— говорил он и показывал на пальцах,— два с Кавказа, а она мне что? Вот, щеточку! — Он вынимал ее, приглаживал ею усы и прятал.

Стаял снег. Подсохло. Бабы с вербами уселись вдоль домов.

— Нам будет вы́дача,— обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич.

— Я уже слышала,— вскочила Мирра Осиповна. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась.— Мед с пчелами, икра и грушевый компот в жестянках!

— Не уходите,— пробежала по всем комнатам высокая девица с желтой головой и тонким голосом: — Останьтесь, ждите меня: я поеду на грузовике за выдачей.

— Возьмите двух вооруженных,— озабоченно кричали ей вдогонку.

— Я возьму,— оглядывалась она,— и сама вооружусь.

— Девица Си́мон,— пояснил Иван Ильич,— смотря ей вслед.— Возможно, правильнее было бы Симо́н,— предположил он погодя, подумав.

— Она тощая,— махнул рукою Кунст.

Темнело. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась:

— Як у ле́се.

Время шло. Девицы Си́мон не было.

— Ее ограбили,— решил начальник Глан.

— Зачем я вздумала,— раскаивалась Мирра Осиповна,— перейти границу.

— Византийские влияния,— бормотал Иван Ильич, остановившись у окна, тщедушный.

Кунст взглянул — адмиралтейский флигель был виден. Огоньки невидимых автомобилей пробегали. Саботажники кричали нараспев:

— Ви-чер-нии.

Кунст подпел им:

Жалко стало.

И Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

Слезы лились
из вокзала.

Пасха наступила. Хлеба не было. Столовая была закрыта. Кунст ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли.

— Ах, что вы получили,— восклицала она, пролезая в комнату и складывая руки.

За стеной сиделка с сослуживцами тоже что-то ела, пила спирт и крякала. Она ругала раненых.

— Пойдешь туды́, вернешься,— говорила она,— а уж он порылся у тебя в корзине.

Фрида, поэтическая, распустила волоса, открыла в коридоре форточку, уселась около нее и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед домом и подтягивали ей.

На улице Кунст встретил Ку́бариху.

— Разговейтесь,— позвала она, приветливая.

Гиацинт стоял у самовара. Фея — уличная бабочка была приглашена. Красиво завитая, она скромно говорила «да, пожалуйста» и «нет, мерси».

— Вот то-то,— одобряла Ку́бариха, и она краснела.

Раскрылись почки. Соловей защелкал. В Фридиной прическе завелся подснежник. Уличная бабочка ходила мимо окон. Беженцы из Риги приезжали на трамвае погулять за го́родом. Разувшись над канавой и неся в руках чулки и башмаки, они дышали свежим воздухом. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них.

— Мои компатриоты,— поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть, сбросила свой воротник и, требуя у девушки Маланьи кружку, ставила перед собою ветку с маленькими листиками. Забега́л инструктор Баумштейн и, нагнувшись к ветке, нюхал ее.

— Ах,— прикладывал он руку к сердцу.

Подходило солнце, перла́мутровые птицы, заблестев, светлели.

— У меня есть тетка,— говорил, смотря на окна, Кунст.

Выдавались наградны́е. Все́ толпились.

— Получайте,— ликовала за столом бухгалтерша и стригла ке́ренки.— Расписывайтесь!

— Дельная бабенка,— толковали про нее. Приятно было.

— Я недаром видел интересный сон,— сказал инструктор

Баумштейн.— Я жалею, что не удалось увидеть до конца — мне не дала́ спать канарейка.

— Что вы видели? — кричала Мирра Осиповна, расшалившись.— Расскажите на ухо,— и хохотала.

Человек в бушлате, маршируя, появился в комнате, два человека с ружьями стучали сапогами вслед за ним.

— Баумштейн,— звучно вызвал он.— Идем. Вы арестованы за взятки.

Арутян сидел в буфете неподвижный, положив на стол подплоенную голову. Он был похож на мертвого, и Кунст не окликал его: узнав о наградных, он мог бы пожалеть, что уступил такое место, и мучиться.

Потом союз пищевиков прислал бумагу. Она была написана по новому правописанию, и всё очень смеялись. Он считал, что наградные унижают пролетарское достоинство, и он протестовал.

— Какое ему дело? — возмущались все́.

— Но их у нас отнимут,— поднял голову Иван Ильич.

— Удержат,— подтвердил начальник Глан.

— Я этого не ожидала,— рассердилась Мирра Осиповна.— Я воображала, что найду здесь что-нибудь особенное.

— Да,— вздохнул Иван Ильич.— Иметь и потерять... Я получил письмо от тетки,— поглядев на окна, вспомнил он: — Старушка нездорова. Может быть, придется неожиданно уехать.

— Я вас понимаю,— повела глазами Мирра Осиповна.

— Значит, и у вас есть тетка,— удивился Кунст.

1930

МАТЕРЬЯЛ



одулевич получила вызов на соревнование и обдумала его. Два пункта приняла, два отклонила и в один внесла поправку.

По соревнованию она должна была вести работу среди масс на воздухе. Закрыв библиотеку, она каждый вечер с несколькими книжками переходила в сад и привлекательно раскладывала их на столике в конце аллеи. Под залог какого-нибудь документа можно было брать их и читать под фонарем.

Она сидела. Киноаппарат трещал. Оркестр играл от времени до времени. Мальчишки подбегали иногда и делали ей эротические знаки пальцами или смотрели на нее в картонные очки, похожие на маски, с красным и зеленым стеклышками, выдававшиеся к «Чудесам теней». Один раз мимо столика прошли два кавалера, разговаривая о крем-соде.

Когда било десять, Годулевич уходила. Краковяки и мазурки

раздавались вслед. Светила иногда луна, а иногда висели тучи и мигали молнии вдали. Из окон венстационара, освещенные из комнаты, высовывались люди в незастегнутых рубахах.

— Дайте покурить,— просили они.

Годулевич убегала в страхе. Башмаки стучали.

— Все работаете,— говорила ей хозяйка, отпирая, и она ложилась.

В выходные дни она ходила на картину, если была драма. Когда шла комедия, она сидела во дворе на леднике. Она читала, а внизу расхаживали люди, петухи кричали. Приходили гости к инженеру Сидорову — инженер Смирнов из коммунального отдела и старушка Паскудняк из цеэрка́. Малинников со скрипкой появлялся у окна, насупясь, и играл «Кол-Нидрей».

Вечер наступал. Гремели иногда телеги. Музыка летела из садов. Дверь открывалась. Сидоровы, стоя на пороге, оба длинные, махали вслед своим гостям. Белеясь в темноте, они отмахивались.

Раз Смирнов вернулся.

— Да,— сказал он,— вы слыхали новые куплеты «Ленин любит деток»? — оглянулся и запел вполголоса.

Приблизясь, Годулевич кашлянула. Стало тихо, дверь захлопнулась, и гости разошлись.

Дни были до́лги, а недели ко́ротки. Прошли кампании о кооперации и антивоенная. «Работая на воздухе,— писала Годулевич в заявлении о предоставлении ей места в доме отдыха,— я не ослабила работу и в зимнем помещении. В результате мои нервы несколько расстроились». И правда, она стала раздражительной и чуть не поругалась с абоненткой Рекс, которая спросила песенник.

В газете появилось объявление о чистке в коммунальном. Годулевич села и взяла перо. Она решила выступить там с матерьялом о Смирнове. Чтобы не забыть чего-нибудь, она составила записку.

В синем платье с желтыми полосками она отправилась. Венерики смотрели на нее из окон. На углах были расклеены портреты корифейки Степанянц и прима-балерины Праведниковой. Встречались абоненты и притрагивались к козырькам.

На чистке было людно. Председатель был шутник, и зрители покатывались. Коммунальщики сидели серые. Смирнов держал перед собой газету. Он дул на́ руки, подсовывал их под себя, вставал и выходил, позеленевший. Годулевич пожалела его. «Ну его»,— подумала она.

Она раскаивалась в этом малодушии, когда приехала из дома отдыха, потяжелевшая на восемь фунтов, черная и шумная. Но ничего уже нельзя было исправить. Инженер Смирнов

в ее отсутствие выбыл вместе с Сидоровыми в Таджикистан, откуда инженер Хозяинов по телеграфу известил их о местечках с дефицитными предметами и ставкой тысяча семьсот.

Уже прислали циркуляр о зимней культработе, и заведующий клубом обещал дать Годулевич почитать его. Старушка Паскудняк, несмело улыбаясь, приходила на закате и сидела во дворе.

— Когда они грузились,— просияв, смеялась она,— помните? — сбежались люди и смотрели.

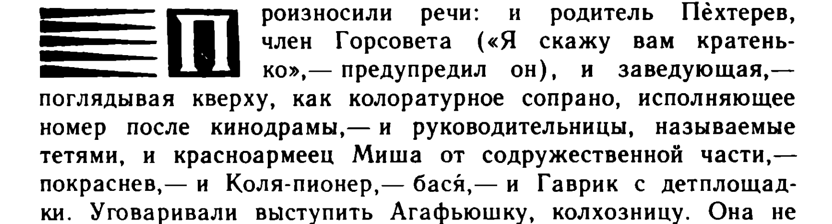
— Я была в отъезде,— говорила Годулевич и рассказывала ей о доме отдыха.

Старушка Паскудняк заслушивалась, тихая. Малинников в подтяжках подходил.

Она рассказывала, сколько там давали масла и какой приятный собеседник был товарищ Шацкий из Клинцов. Она рассказывала, как придумала заметку для живой газеты и как с Эльгой Нохимовной Рог пошла смотреть деревню: хлеб уже был убран, и кругом просторно было; ящерица побежала из-под ног; покры́тые соломой, показались избы — сани и хо́ды валялись возле них.

1930

ЧАЙ



Произносили речи: и родитель Пѐхтерев, член Горсовета («Я скажу вам кратенько»,— предупредил он), и заведующая,— поглядывая кверху, как колоратурное сопрано, исполняющее номер после кинодрамы,— и руководительницы, называемые тетями, и красноармеец Миша от содружественной части,— покраснев,— и Коля-пионер,— бася́,— и Гаврик с детплощадки. Уговаривали выступить Агафьюшку, колхозницу. Она не соглашалась.

— Детки,— встала тогда докторша и кашлянула.— Мы передаем вас в школу. Но не надо беспокоиться. Там тоже будет врач, и он вам будет подавать медпомощь.

Подняла́сь кухарка Дарьюшка, поправила на голове платок и помолчала.

— Детки,— жалостно сказала она,— вы довольны мной?

— Довольны,— отвечали они.

— Я вас обижала? — продолжала она спрашивать.— Ругала вас? Бесчестила вас?

— Нет,— разжалобясь, пищали они хором,— нет! — Все были тронуты.

Торжественная часть закончилась. Президиум сошел с подмостков.

— Миша,— закричали дети, обступив красноармейца, и повисли на нем.

Коля-пионер нахмурился и, отойдя в сторонку, ревновал. Родители толпились возле стен, рассматривая развешанные на них детские работы и «строительные матерьялы» в ящике в углу.

— Тетя,— подзывали они иногда и спрашивали разъяснений.

— Детки,— появляясь в растворившихся дверях столовой, позвалá заведующая. За нею самовар и крýжки на столе виднû были.— А для родителей,— блаженно улыбнулась она,— будет позже, когда отведут детей.

Все посмотрели друг на друга. Для родителей! Вот это был сюрприз.

— А я, пожалуй, не смогу прийти второй раз,— заявила мама Гаврика.

— Так кáк же быть? — спросила у нее заведующая в раздумье, просияла и, обняв ее за талью, посадила ее пить с детьми.

Счастливые, напившись, они спели.

— Мы вернемся,— говорили, уходя, родители.

— Прощайте, дети,— восклицали тети.

Пионеру Коле и красноармейцу Мише дали по конфете и, пока идет уборка, попросили подождать в саду.

Закат был красный, и антенны над домами напоминали колья для насаживания черепов из книжки с путешествиями. Белый исправдом казался синим. Арестанты, привалясь к решеткам, длинно пели:

— А!

Красноармеец Миша пóднял яблоко и пóдал Коле.

— Кáк, брат? — взяв его за плечи, спросил он, и Коля полюбил его.

Они разговорились.

Незаметно летело время. Из открытых окон радиодоклады раздавались. Расходясь со стадиона, распаленные футбольщики, невидимые за забором, переругивались.

Чай был параден. Чинно пили.

— Пироги,— сияя, поясняли тети,— испекли мы сами, а жáмочки нам отпустили в цеэрка.— Приятно было.

Шайкина и Порохонникова перечислили предметы, выдаваемые из закрытого распределителя. Все оживились. Стало шумно. Дарьюшка, облокотясь, расспрашивала Мишу, чтó бывает у красноармейцев на обед. Агафьюшка развеселилась и рассказывала, как выходит на работу, а сама боится, чтобы не спалили двор.

Родитель Давидю́к принес с собой гармонию. Поблескивая бляхами, она лежала. Перешли в большую комнату, и Давидюк уселся и закинул ногу на́ ногу. Вальс начался́. Поправив галстук, Коля побежал к красноармейцу Мише, чтобы пригласить его. А Миша, обхватив техничку Настеньку, уже вертелся и нашептывал ей что-то. Дарьюшка смеялась и кивала на них. Тети, уронив головки на́бок, скромно танцевали, взяв друг друга за́ руки.

— Поищем яблочка,— шепнула Порохонниковой Шайкина.

Танцуя, они выскользнули. На крыльце был Коля. Не оглядываясь, он стоял лицом в потемки. Докторша сидела, съежась. Подтолкнув друг друга, Порохонникова с Шайкиной остановились. Сорвала́сь звезда и покатилась, словно сбросилась на парашюте. Было тихо впереди, оттопывали сзади.

Пе́хтерев, член Горсовета, появился на крыльце. Он почесал затылок.

— Целое собрание,— сказал он.

— А для воздуху́,— хихикнув, пояснила Шайкина.

Поговорили о водоразборных будках: Горсовет постановил сломать их и поставить автоматы с дыркой для гроше́й. Пенснэ блеснуло. Докторша заволновалась на скамье.

— В Америке,— засуетилась она,— всюду автоматы: опускаете монету, и выскакивает шоколад.

— Скажите,— отвечали ей.

Никто не расходился. Все хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени лестниц подымаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала, под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей.

1930

ДИКИЕ*



Еще недавно люди были очень дикие. Я расскажу немного про своих родных. Когда история, которую я здесь описываю, началась, мне было лет четырнадцать. Все это было уже после революции, но тогда, когда идиотизм деревенской жизни еще не был уничтожен коллективизацией, которая тогда еще имела малое распространение.

---

* В рукописи Л. Добычин поставил рядом со своим имя соавтора А. П. Дроздова (см. комментарий).

Отец мой служил сторожем на станции. Он подметал ее и выполнял другие подобные работы. Кроме того, он пахал,— у нас в поселке все тогда пахали, чем бы кто ни занимался кроме этого.

Он был мужчина дюжий, с черной бородой, пузатый — вроде кулаков, которые бывают на картинках. Лоб у него был морщинистый, взгляд грозный, голос рявкающий.

Мать была, наоборот, коротенькая, кругленькая, с тонким голосом. Лицо у нее было налитóе, желтоватое, точно моченая антоновка. Недавно мне показывали одну бывшую монахиню — мамаша на нее была похожа.

Нас при отце с матерью в то время было пятеро. Шестая наша сестра, Фроська, была замужем за Трошкой. Он был середняк, лет сорока, силач, ходил всегда нечесаный. Его изба была от нас через дорогу.

Сама Фроська была толстая, разиня. Юбка у нее была всегда подоткнута, а рукава засучены. Она любила песни. Когда ей рассказывали что-нибудь смешное, она долго молча слушала и вдруг валилась со скамьи и захохатывала басом.

С ними жила Сашка, Фроськина девчонка, девка лет под двадцать. Родилáсь она до Трошки, неизвестно от кого, и Трошка получил ее в придáное. Он с нею обращался хорошо и часто покупал ей пряники.

Она была не в нашу масть. Всé наши были черные, а Сашка была белая. Она училась в сельской школе и окончила ее. Ей дали там в награду книгу про купца Калашникова, и она давала мне читать ее.

Мы жили на углу. Через одну дорогу против нас был Трошкин двор, через другую — Ваньки Чернякова, ламповщика.

С Ванькой жила мать, старушка из раскольниц. У нее были бородка и усы. Ходила она горбясь. Родом она была нездешняя, казачка из станицы Ольгинской, и называла всех наших людей иногородними.

Бок ó бок с Ванькиным двором стоял двор Лизунихи, Марьи Дмитриевны.

Марья была баба лет под пятьдесят, вдова, широкоплечая. Она чуть-чуть прихрамывала на ходу. Когда она беседовала с кем-нибудь, она смотрела в глаза прямо и при этом улыбалась и облизывала губы языком. Она была шинкарка.

Раз, когда папаша мой пришел со станции и сел пить чай, является мать Ваньки Чернякова, Разумеевна, и с нею — Лизуниха. Закрывают за собою двери, крестятся на образа и кланяются.

Разумеевна выкрикивает по-казачьему:

— Здоровы ночевали?

Поправляет, чтобы закрыть бóроду, концы платка, оглядывается, чтобы увидеть табуретку, и садится при дверях.

А Лизуниха улыбается, облизывается, прихрамывая направляется к столу и там усаживается под средней балкой потолка и говорит отцу:

— Никит Андреич, здравствуй. Чай да сахар. А мы к вам.

Это они явились нашу Варьку сватать.

Варька была дылда, губы поджимала, глаза щурила, подкрашивала щеки красными бумажками и за столом хулила пищу.

Ей не очень-то хотелось выходить за Ваньку, потому что он был низок ростом и черноволос, а ей по вкусу были люди рослые и посветлей. Но раз подвертывался случай, не хотелось упускать его. Поэтому она сказала:

— Можно будет.

Дали мы за ней корову, валенки и обещали справить кое-что из мéлочей, а Ванька должен был соорудить ей шубу.

Вскоре отец с матерью принарядились и отправились за мéлочами в город. Наш Андрюшка ехал в этом поезде проводником и до Самары довез их бесплатно.

Всю дорогу они пили чай в служебном отделении и разговаривали с железнодорожниками. Время провели очень приятно и в Самаре вылезли из поезда очень довольные.

Мамаша в городе бывала редко, и ей было все в диковинку. Она зазевывалась на гробы, которые стояли в окнах некоторых лавок. Здоровенные карманные часы, которые висели кое-где над тротуаром, ее тоже очень интересовали, и она все время останавливалась, а отец все шел вперед, вдруг замечал, что ее нет с ним, возвращался и ругал ее. Она оправдывалась, и они стояли, перебранивались и мешали людям проходить.

В обратном поезде Андрюшки уже не было, и нужно было брать билеты. Отец взял один билетик, посадил мамашу у окошечка, а сам ушел с покупками в другой вагон.

Отъехали немного. Дверки отворяются и появляется контроль. Рассматривает номерá билетов, пробивает щипчиками. Добирается до той скамейки, где сидит мамаша.

— Ваш билетик,— говорит.

Мамаша отвечает:

— У Никиты он.

— А где же ваш Никита? — спрашивают.

— А не знаю,— говорит мамаша.— Он пошел куда-то.

— Так отправьтесь с нами,— приглашает ее вежливо контроль,— и поищите его.

— Ладно,— говорит она, встает и начинает с ними продвигаться от скамьи к скамье, все время с остановками.

— Никита,— зубоскалят кругом люди,— где ты? Жив ли?

Наконец она находит его.

— Вот он,— говорит она.— Ну, слава тебе, господи. Я думала, уж ты совсем пропал. Никита, дай билет.

— Никита-то я — это да, Никита,— отвечает он.— А ты-то кто?

И он отказывается от матери и заявляет, будто видит ее в первый раз.

— Как? — удивляется она.— Никита, да ведь я же тридцать восемь лет живу с тобой.

А он опять не хочет признавать ее.

— Не знаю,— говорит,— какая это сумасшедшая старуха привязалась ко мне.

Тут она упала на колени, стала плакать и упрашивать его, чтобы он не отказывался от нее, но он не смилостивился над ней и дал забрать ее и запереть в служебное.

На станции ее ссадили и свели в контору. Там сидел заведующий Дашкин и еще какие-то. Мамаша сразу же, как только ее ввели в двери, встала на колени. Она вся была растрепана. Платок ее сполз с головы, а кофта выбилась из юбки, и чулки спустились. Она стала плакать и просить, чтобы ее освободили.

Все стали смеяться над ней. Дашкин ей велел вставать скорей и догонять Никиту.

Она опрометью бросилась и скоро догнала́ отца. Он шел, засунув в карман руку, и она его обеими руками ухватила за нее.

— Никитушка,— сказала она,— что же это? Чем я так не угодила тебе, что уж ты не хочешь больше признавать меня?

Он дал ей подзатыльник и растолковал ей, что вреда ей никакого не было, а денежки, которые бы были выброшены на билет, остались це́лы, и, поняв это, она порадовалась.

Свадьбу я не стану здесь описывать. Все это можно видеть в звуковом кино. Сплошное безобразие и дикость. Я дивлюсь теперь, как я мог принимать участие во всем этом.

Покамест Ванька жил в одной избе с старухой, но решил поставить для себя отдельную избу́.

Смотритель зданий Щукин отпустил ему казенных бревен. Рыжий плотник Осип начал делать сруб, и к осени изба была готова. Молодые перешли в нее, а Разумеевна осталась в старой, тут же во дворе.

К посту у Варьки родился́ мальчишка, и его назвали Коль-

кой, но соседи называли его Оськой, потому что он был рыжий — вроде Осипа.

К Трофиму пришли свахи от Максим-татарина. Просили выдать Сашку. А Максим этот был нэпман — всюду скупал кожи и возил куда-то. Он был очень видный и ходил всегда в костюмчике и при часах. Он жил при Кашкинских заводах. К нам на станцию он ездил в шарабане. Он сулил за Сашку чалого.

— Ну, что же,— сказал Трошка.— Он, конечно, чуждый элемент, но мы на это можем и не посмотреть. Теперь все дело в Сашке — как она намерена.

А Сашка говорит:

— А мне что? Ладно, пусть себе. Посмотрим, что ли, что это за нэпманская жизнь.

Сам Максим-татарин был магометанской веры, а она христианской, и поэтому они женились без попов. Гуляли очень шумно. Очень веселилась дочь Максима, Райка, девка восемнадцати лет от роду. Она была толстуха, ноги у нее были короткие, а туловище несуразное. Она толклась как ступа.

После этой свадьбы Трошку начали дразнить, что Сашку он сменял на чалого. Когда он на нем ездил, то соседи потешались и показывали пальцами и говорили:

— Вон, Трофим на Сашке едет.

Сашке нэпманская жизнь сначала очень нравилась, и она часто приезжала к нам в поселок разукрашенная, чтобы показаться дома и пройтись по станции. Максим давал ей денег столько, сколько она требовала, и она раскатывала в шарабане и трясла мошной — подписывалась на заем и покупала лотерейные билеты.

Ванька Черняков был должен что-то плотнику за новую избу́, и на Страстной неделе плотник пришел спрашивать. Но Ваньке не хотелось отдавать ему. Он зол был на него за Кольку.

— Денег нету,— сказал он.— Приди опять на Пасхе.

А на Пасхе он опять не захотел платить. Тут плотник не поцеремонился с ним и исколотил его, а Ванька крикнул людям:

— Видели? — и побежал в чем был на станцию, чтобы пожаловаться в гепеу.

Оттуда с ним пришел товарищ в форме. Плотник в это время перед нашим домом с Варькой, Фроськой и другими катал яйца.

— Ванька,— крикнул он,— тебе меня, что ль, нужно? Вот он я.

Товарищ рассудил их, велел Ваньке уплатить, а плотнику не драться.

— Коли так,— сказал на это Ванька,— то пожалуйста.— И здесь же отдал денежки.

Но плотнику хотелось покуражиться над ним.

— Варвара,— сказал он,— я что-то утомился дравшись, да и деньги тяжело нести. Ты отвези меня вон в той тележке. Я тебе отсыплю пуд пшеницы.

А он жил в другой деревне, в двух верстах. Тележка была двухколесная. Она стояла во дворе у Трошки и была видна через плетень.

— Одной тебя не сдвинуть будет, борова,— сказала Варька.— Помоги, Трофимиха.— И Фроська согласилась.

Она выкатила Трошкину тележку на дорогу и захохотала.

— Варька,— закричал Иван,— не смей! — А Варька сделала ему нахальное движение рукой и поясницей, ухватилась с Фроськой за оглобли и пустилась с нею.

— И-го-го,— орали они.

Плотник пробежал за ними несколько шагов, держась руками за тележку, потом брюхом вспрыгнул на нее и подтянулся.

— Но, кобылки,— стал вопить он и замахиваться.

Все́ они, конечно, были пьяные.

Через час с четвертью Варвара с Фроськой возвращаются, везут тележку, на тележке — пуд, гогочут и горланят, на ногах чуть держатся: в обеих деревнях им выносили из домов стаканчики и угощали их.

Они развесили свой пуд на два полпудовика и унесли их в избы. Ванька начал упрекать Варвару, плакаться, что она делает его гороховым шутом. Старуха Разумеевна ему подтягивала. Варька обругала их обоих и легла храпеть.

Отца с Трофимом в это время не было. Они ходили позвонить на колокольне. Вышли они за́ руку, нарядные, с примасленными волосами, в розовых рубахах, выпущенных на штаны, в жилетах и без пиджаков. Они христосовались по дороге с встречными и заходили то в один двор, то в другой — поздравить с праздником и выпить.

Наконец они вернулись. Они знали уже, как Варвара с Ефросинией возили плотника, и были недовольны. Трошка отругал жену и высыпал ее пшеницу на дорогу.

— Это зря,— сказал отец и велел матери собрать зерно с дороги и кормить им кур.

Пока она возилась на дороге, ползая на корточках и собирая на лопату гусиным крылышком пыль с зернышками, прикатила в таратайке Сашка, соскочила и кричит:

— Христос воскресе! Вот она и я. Махмутка, помоги-ка сундуки втащить.

Махмутка тоже спрыгнул и помог ей втащить к Трошке сундуки — большой и маленький. Тогда она дала́ ему полтинник и отправила его:

— Катись теперь.

Увидя это, мы заинтересовались и скорей туда. А Сашке нужно поломаться, и она расспрашивает, кто был в церкви, в чем ходили, были ли уже попы на нашей улице.

Отец тогда не выдержал, ударил кулаком с размаху по столу́ и рявкнул на нее:

— В чем дело? Говори, мерзавка.

Сашка для приличия жеманится немного и потом выпаливает, что приехала совсем.

Дескать, не нравится быть чуждой элементкой и вообще все очень надоело. Райка страшно много жрет и каждую неделю ходит в фотографию сниматься — прямо нет терпения.

— Ах, они, татары,— говорит отец,— свиные уши чертовы,— и все мы ей сочувствуем и проклинаем Райку и Максимку.

Вдруг опять грохочет таратайка, останавливается, и входит сам Максим. Расшаркивается и поздравляет:

— С праздником вас.

Сашка кричит:

— Бейте его! — и визжит, вскочив на лавку.

Трошка орет:

— Бей его!

Мы все́ набрасываемся и лупим. Варька прибегает с мужем. Разумеевна является — толкаются, не могут протолкаться, чтобы тоже хоть разок его ударить.

Изгваздали его, вываляли, весь костюмчик изодрали. Наконец устали, бросили его на таратайку и хлестнули его лошадь, чтобы его духу у нас не было.

А Лизуниха у своей калитки улыбается, поглядывает издали, полизывает губы, головой покачивает.

Скоро он опять явился. Сашка очень нравилась ему, и он не мог отвыкнуть от нее. Опять мы поучили его.

— Ты забудь сюда дорогу, сукин сын,— сказал ему папаша,— а не то покаешься, да поздно будет. Сашка нашей крови девка. Мы ее в обиду не дадим.

А он все ездил, и мы каждый раз одно и то же. Как он от нас ноги уносил, не наше было дело.

— Ну, теперь не сунется, скотина,— говорили мы.

А он опять являлся.

В Вознесенье все́ мы были пьяные. Трах — он уж тут как тут. Сейчас же мы накидываемся на него — все́ три семейства.

Сашка кричит:

— В воду его!

Мы его суем в колодец. Он хватается руками за края. Пропихивается, расталкивая мужиков, Трофимиха, молотит его кулаком по пальцам, он срывается, бултыхается в воду. Разумеевна кричит:

— Багром его, а то не захлебнется, сволочь. Там воды по пояс только.

А у нас у всех багры были — ловить весной дрова на речке.

Тут мамаша принялась за нас цепляться.

— Ироды,— кричит,— да что же это будет? Отвечать придется.

Если бы не Лизуниха, мы убили бы его. Спасибо, догадалась она, сбегала, пока не поздно было, в гепеу.

Максим-татарин видел, как мы дружно действуем против него, и захотел разъединить нас. Он стакнулся с Трошкой, угостил его, и Трошка перешел на его сторону.

Когда Максим опять приехал, Трошка заступился за него. Он выхватил из своего плетня кол, заревел, как зверь какой-нибудь, и разогнал нас.

Нас в тот вечер было мало. Ламповщик ушел на станцию, а наш Андрюшка был в поездке. Нам пришлось поджать хвосты.

Мы были в большой ярости. Мы подожгли бы Трошкину избу, но в ней были две наших бабы — Ефросиния и Сашка. Мы сидели до рассвета, не смыкали глаз и всячески ругали Трошку.

Поутру папаша собрался́ на станцию. Он опасался Трошки, как бы тот доро́гой не напал на него, и достал с полатей костыли.

— Больного человека не посмеет тронуть,— сказал он, потрогал свою бо́роду и, навалясь подмышками на ручки костылей, толкнул перед собою дверь и выбросил через порог зараз обе ноги.

А Трошка уже ждал его.

— Не проведешь, подлюга,— закричал он и схватил свой кол.

Папаша бросил костыли и со всех ног пустился улепетывать, а он сломал один костыль, потом другой и расшвырял обломки. После этого он запряг чалого, которого Максим-татарин дал ему за Сашку, и поехал в Красное Самсо́новище за своими братьями.

Пока он ездил, Фроська с Сашкой захватили с собой коекакой скарб, корову и перебежали к нам.

Вернулся Трошка. Он был сам-четвертый. Братья его были

здоровенные, бородачи, косматые. Произошло сраженье. Трошка с братьями разбили нас. Мы выдали им Фроську с Сашкой и корову, и они их продержали до утра в сарае.

Утром Трошка выпустил жену и Сашку из сарая и сказал им, что разводится. Двор и корову отдал Фроське, лошадь взял себе, весь скарб разделил поровну, а вещи, которых было по одной, перерубил на половинки. Погрузил доставшуюся ему долю на телегу, обвязал веревкой и уехал к братьям в Красное Самсóновище.

Сашка, чтобы не остаться беззащитной, решила снова выйти замуж. Лизуниха помогла ей и просватала ее за милиционера Прóничева. С ним она и записалась.

Фроська же устроилась курьершей в сельсовете. Там освободилось место, потому что прежняя курьерша Лебеденкова проворовалась на почтовых марках.

Варькин муж тем временем поехал на курорт, а Варька стала выходить на станцию, прогуливаться по платформе и любезничать с гуляющими кавалерами. С ней познакомился Сазонов, слесарь из депо, и начал к ней похаживать. Он был по ее вкусу, рыжий.

Разумеевна, как только он являлся, вылезала из своей избы, шла к Варькиной и принималась колотить в дверь палкой. Слесарь открывал окно, выскакивал и улепетывал задами, а она кричала ему вслед:

— Держите его.

Варькину калитку она вымазала дегтем. Утром Варька мыла ее, подоткнув подол, и говорила людям:

— Не могу понять. Казалось бы, не шлюха, а ворóта вымазали.

Ванька отгулял свой срок на вóдах и вернулся. Он узнал, как Варька поступала без него, и стал срамить ее.

— Ах, значит, так? — сказала она, вышла, походила в огороде между грядами и объявила Ваньке, что разводится с ним.

Суд оставил детей Ваньке и ему же присудил посуду, чтобы было из чего кормить их. Но Варвара увела детей с собой и, когда ламповщик был на работе, не спускала глаз с его двора. Как только бабка отлучалась, она опрометью мчалась туда, открывала одно слабое окошко, лезла внутрь и тащила что-нибудь из утвари.

Иван не вынес этого и впал в отчаянье. Он взял у Лизунихи водки, выпил, не закусывая, и повесился в чулане.

Когда он толкнул ногами табуретку и она упала, он схватился за веревку, растянул чуть-чуть петлю́ и крикнул:

— Караул, спасите.

Разумеевна вбежала в чулан, вскрикнула, зажгла огонь, подставила под Ваньку табуретку, сбегала за Лизунихой, и одна из них косой обрéзала веревку, а другая подхватила повалившегося Ваньку нá руки.

Они позвали к нему Варьку и сказали ей:

— Любуйся. Что ты натворила, стерва?

И тогда она разжалобилась и вернулась к нему и вернула ему всé ухваты и горшки, которые успела утащить у него.

Ванька очень радовался. Он решил еще раз сыграть свадьбу и созвал гостей. Красносамсóновищенским, которых он увидел на базаре, он велел звать Трошку с братьями.

Они приехали, и Трошка сговорился с Фроськой, что вернется к ней и тоже еще раз сыграет свадьбу.

Так они и сделали, а Сашка, чтобы все было по-прежнему, ушла от Прóничева и опять, как раньше, стала жить у них.

Александру Павловичу Дроздову

ГОРОД ЭН

Повесть

1



ождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили.

— Не оглядывайся,— говорила мне маман.

Тюремный за́мок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник Богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней.

— Нет, в самом деле,— говорили они,— трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала́ внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенснэ, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку Чичикова. В воротах все остановились, чтобы расстегнуть «пажи», и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками.

— Симпатичная,— сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика.

— На проскомидию,— отсчитывая мелочь, бормотали дамы.

Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За за́мком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил Богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хоров на нас смотрели арестанты.

— Стой как следует,— велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась.

— Мадмазель Горшкова,— пояснила Александра Львовна, покивав ей.

Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях.

— Не надо избегать их,— говорил он.— Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбéй и горько плакал: «Бог забыл меня»,— печалился он.

— Ах, как это верно,— удивлялись дамы, выйдя за ворóта и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадмазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадмазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом.

— Верно, верно,— соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой.

Мадмазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадмазель Горшковой, мы поговорили про нее.

— Воспитанная,— похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу.

Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь.

— Завернем сюда,— сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас.

— Я редко вижу вас,— сказала она нежно.

— Дайте мне «Священную историю»,— попросила у нее маман.

Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув покупку, подала ее.

— Рубль десять,— объявила она цену и потом сказала: — Для вас — рубль.

Картинка оказалась — «ангел». Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклéила его в столовой на обои.

— Пусть следит, чтобы ты ел как следует,— сказала она.

Сидя за едой, я всегда видел его. «Миленький»,— с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и чтó там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнáет об их дружбе и пожалует их генералами.

— Чем увлекаетесь? — спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?».— Зови Цецилию,— сказала она,— и иди гулять.

— Цецилия,— закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «скрынка». Проиграла музыка в замкé и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, лóснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись.

— Там,— произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху,— няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им.

Я не верил этому.

— Вот, кажется, хороший переулочек,— сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белелся за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко.

— Наша вера правильная,— хвасталась Цецилия, когда мы вышли.

Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью.

— Плюнь,— велела она мне и закрестилась: — Езус, Марья.

Мы бежали.

— «Страшный мальчик»,— озаглавил это происшествие отец.

Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на практике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был ангел от Л. Кусман. С пальмовою веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Пшиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картинку «Ницше». Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты.

— В объятия Морфея,— пояснил с почтительностью Пшиборовский, поклонившись ему вслед.

— Располагайтесь здесь,— распорядилась, оставаясь за столом, маман.— Не сто́ит зажигать вторую лампу.

— Истинно,— ответил Пшиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы.

— Сегодня,— говорил он, чистя,— мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная.— И он рассказывал ее: как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности.

— Это верно,— согласилась снисходительно маман и призадумалась.— Ведь бог один,— сказала она,— только веры разные.

— Вот именно,— расчувствовался Пшиборовский. Он сиял.

Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо.

— Нет, а Лейкин,— засыпая, слышал я.— Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман.

Замóк скрынки сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз — в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цецилией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Фáкторка Кáган прислала нам новую няньку. Она была из униаток, и это всем нравилось.

— Есть даже медаль,— говорили нам гости,— в честь уничтожения унии.

Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная.

— Вспоминается детство,— твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завитáя и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульверизатора.

— Как светло на душе,— подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман.— Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемистóклюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочисты и банщики и поздравляли нас.

— Хорошо, хорошо,— говорили мы им и давали целковые.

Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подсела ко мне.

— Нынче ночью,— сказала она,— я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас.— Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало.

— Вдруг это Серж,— говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам.

Толстый Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону — посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притопывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все встрепенулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен. Парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилился. «Голубчик»,— подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитёр. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины.

— Идете,— сказал он,— и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о резиновых шинах.

— Успехи науки,— подивились они.

Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким.

— Пас,— объявляли они.

Один из них был «выходящей», и маман занимала его.

— Я вчера познакомилась,— говорила она,— с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас.

— И Серж тоже,— сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел колокольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и «Страшный мальчик».

4

Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенснэ и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира».

— Вы ездите в крепость? — спросила она.— По субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спéреди.

— Как у больших,— удивился я. Мы поболтали с ним.— Серж,— оглянувшись, спросил я его,— это ты один раз состроил мне страшную рожу?

Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости отбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась.

— Знаешь,— сказала она,— мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней.

— Серж, Серж, ах, Серж,— повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову.

— Очень приятно,— сказала Софи.

Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку.

— Мы с тобой — как Манилов и Чичиков.

Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их.

— Вот Дон-Кихот,— показал мне Серж,— он был дурак.

Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом.

— Прекрасно,— рукоплеща, говорила маман.

— Серж хороший? — спросила она, когда мы возвращались.

— Да, он воспитанный мальчик,— ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок са́ратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам.

— Очень рад,— восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якори и топоры. Борода у него была всклочена и казалась нечесаной.

— Водосвятие прошло очень мило,— сказал он и из-за пенснэ подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную елку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечки.

— Говорят, это бывший костел,— рассказала Софи Самоквасова.

Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо, с солдатом на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-фу —
Голова в пуху.
Одета по моде.
А голова-то в комоде.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась.

— Дни стали заметно длиннее,— сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл там под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они — электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский за́мок».

— Послушай,— сказал он мне вдруг,— это я тогда состроил тебе страшную рожу.

Потом он поклялся, что это не он был.

5

Кармановы перебрались в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая бóльшая называлась «зал». На масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала к нему руки.

— Александр,— говорила она трогательно,— о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они пéредали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского — помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывавший вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его. К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме.

— Можете себе представить,— говорила она.

По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Кȧган, факторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагрубила, и маман отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей.

— Находка,— закричала она, что-то разворачивая.

Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами.

— Замечательно,— одобрили мы.

Дело в том, сказала Александра Львовна, что при выходе из дома она встретила портниху, панну Плéпис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зритель-

ницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделывали па.

Пойдем, пойдем, ангел милый,—

напевали они тоненько,—

Польку танцевать со мной.
Слышишь, слышишь звуки польки,
Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней — Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей.

— Софи,— сказала она, подходя к девицам,— там Иван Фомич. Он сделал предложение.

Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На середине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен.

Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах — карамель «Мерси», имеющихся в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика, и в фунте ее было много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиваньем, крюковская дочь отозвала́ меня в сторонку и дала́ мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у себя в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел.

— Завтра мы поедем в крепость,— объявил он,— и вы с нами.

Оказалось, инженерша собрала́сь туда молиться о покойном Самоквасове.

— Бом,— начали звонить в соборе.

Мы перекрестились. Пфердхен подошел с свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому.

— Киндер,— покричали мы им вслед,— тэй тринкен,— и потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувырка́лась в воздухе. Она расшевелила нас.

— Пойдем к подвальным,— предложил мне Серж.

Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скрынке у Цецилии, улыбался, с узенькими плечиками, папа Лев. Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки.

— Ваши дети не дают проходу,— как всегда, пожаловались мы.

— Мы им покажем,— как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиеся немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали.

Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка подняла́сь на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широ́ко.

— Пробуждается природа,— говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них — не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали

громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулом пушечкам и свешивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула.

— Вот Вася Стрижкин,— показала она.

— Вася,— шепотом сказал я.

Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я о́тдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф.

— Ай, цвай, драй,— сказал снаружи Янкель.

Я увидел все, о чем был так наслышан,— и «Изгнание из рая», и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед Пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке, с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. «Пан Христус з мартвэх вста,— писал нам Пшиборовский,— алелюя, алелюя, алелюя».

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадмазель Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздравляли нас. Маман сияла.

— Закусите,— говорила она им.

С руками за спиной, отец похаживал.

— Пан Христус з мартвэх вста,— довольный, напевал он.

Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

7

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Канторек провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась.

— Я никогда не видела его,— сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил тех, кто богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в лáгери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди был виден лес, воинственная музыка неслась оттуда.

— Это лáгери,— сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматуллá стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено.—«Ого!»

— «Так говорил,— прочла маман заглавие,— Заратустра».

— Это муж читает и свои заметки делает,— сказала нам Кондратьева.

Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отправились побродить и осмотрели лáгери. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем, он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель.

— К больному в город,— крикнул он нам.

Мы остановились, чтобы помахать ему.

— Когда дерут солдат, то он присутствует,— сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марши. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запах щей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы пережидали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был

в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество и как на занавесе был изображен Шильонский за́мок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» — Серж или не Серж.

— И не узнаешь никогда,— сказал Андрей.

— Да,— согласился я с ним,— да!

Так разговаривая, мы спустились на́ берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распаханные невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленопреклоненная, взирала на него.

— О, Александр,— восклицала она, каясь и ломая руки,— о, прости меня.

Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела.

— Да, да,— ответил мне Андрей на это,— да!

Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахматулла́.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Пле́пис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить прида́ное. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты».

— Здесь очень мило,— похвалил он, сев на золоченый стул.

Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась.

— Это уже лишнее,— сказала она.

Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна.

— Как в романе,— облизнувшись и посоловев, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внушительною.

Возвращались мы расслабленные.

— Все-таки,— откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман,— она подскуповата.

Я дремал. Я думал о портнихе, панне Пле́пис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

8

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная, в костюме из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь» с брелоками, она дышала шумно:

— Чтобы легкие проветривались лучше,— поясняла она нам.

Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, и она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил.

— Они католики,— сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел.

Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекаршу фон Бонин посетила мадам Штраус, и, пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец явился Пшиборовский, и мы стали упаковываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур». Он сообщил, что седоки-военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал.

— До свиданья, крест на повороте,— говорили мы,— прощайте, аист.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбегáла через огород в одной ротонде нá реку. Она купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотьмах чуть видная, стояла у воды.

Опять к нам стали ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила, что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная.

— Проходит лето,— говорила она нам,— а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка.

— Это верно,— отвечала ей маман.

Мне было грустно, и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писанье, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темных кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктòр.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками.

— Если мы получим их,— сказал я,— то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он рóздал жестяные, и мы óтдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчея была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и, так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей, когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи.

— Сентябрь,— озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась.— Интересно, интересно,— говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. «Кафтаны,— списывал я с прописи,— зелёны».

— Брось,— сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горé стояла кирха с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались уже в сумерки. Уже показывались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у кóзел. Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно прокатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще.

— Резиновые шины,— наконец заговорили мы.

9

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была о́тперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебывали по множеству раз. Вместо того чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал. Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени-отчеству и говорил маман «ты».

— Бог послал тебе скорбь,— говорил он,— и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда о́тбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирхи, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это — сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялáсь и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная фáкторкой Кáган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под ве́чер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на крас-

нощекенькую Богородицу тюремной церкви. «Мадонна,— напечатано было под ней,— святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жила́ при училище. В красном капоте, она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоях отпечатаны были па́годы с многоэтажными крышами.

— Мы к вам по делу,— сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло Рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что́ она делала после того, как была у нас. «Все вспоминаю,— писала она между прочим,— веночек, который тогда возложила на гроб инженерша Карманова».

— А,— улыбнувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я побродил возле кирхи, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орга́н.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф. Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня.

— Все-таки,— говорила она по дороге,— день стал заметно длинней.

У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковой я увидел девчонку Синицыну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их.

— «Всуе»,— говорила она им,— это значит «напрасно».

Она усадила меня, и мы стали писать.

10

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадмазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная.

— «Тюленьи кожи,— диктовала она и пускала дым колечками,— идут на ранцы».

Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадмазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пфердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удалось чистописание, и мадмазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице.

— Великопостные,— взглянув на небеса, сказала она басом,— звезды,— и потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи.

— Да вы зайдите к ней,— сказала инженерша.

Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого».

— Ангелы совсем другое,— пояснил он.

Дамы недовольны были.

— Не тебе судить об этом,— стали говорить они.

Карманова негодовала.

— За такие штуки надо драть и солью посыпать,— сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам.

— У вас на голове червяк,— обманывали друг друга люди.

Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные.

— Какие дураки,— поговорили мы о них.

Вдруг пфердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся.

— Господа,— кричала она и жестикулировала.— Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку.

Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напомнила мне Богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее.

— Кто это? — спросил я на бегу у Сержа.

— Тусенька Сиу,— ответил он.

Когда я шел с маман домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Сиу представилась мне — на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: «Александр, о, прости меня».

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа.

— Это сын одной телеграфистки,— рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадмазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня.

— Пойдемте в сад,— звалá она меня, спровадив Синицыну и Осипа.— Смотрите, яблони цветут.

— Нет, мне пора, спасибо,— отвечал я.

Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подалá мне чай. Трепещущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шурша, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему.

— Васенька,— сказал я и перекрестился незаметно,— помоги мне.

11

Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом».

— Что ты там читаешь? — спрашивала иногда она, и я показывал ей.

— Это книги для больших,— сказала она мне однажды, поднялась к себе наверх и принесла мне книгу детскую. «Любезность за любезность»,— называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже, хотя и не была дворянкою, была приглашена́. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла.

— Муштруете уж очень,— заявила она нам.

Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на Пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейкской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и, когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На крае неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем» и ссадил помещицу в митѐнках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали

себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже.

— Осень, осень близко,— покачали головами мы.

Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед ними, и когда все сели, свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветви нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подала́ мне записку, свернутую в трубочку «Как вам понравилась живая фотография? — было написано в ней.— Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.»

Составительница этого письма ждала́ ответа, сидя на скамейке перед домом, и, когда я вышел за воро́та, встала.

— Я Стефания Грикюпель,— назвала́ она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом.

— Мой друг Серж уехал в Ялту,— рассказал я,— а Андрей Кондратьев в ла́герях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать.

Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цыфры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала́ Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня.

— Но это так естественно,— сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слазила наверх и принесла «Любезность за любезность».

— Я дарю ее тебе,— сказала она мне.

12

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Он

сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я искал встреч с Васей Стрижкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшеклассников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Бóрках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастической зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирхи, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел держал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их.

«Статские,— выбиты были на ней старомодные буквы,— советники Петр Петрович и Софья Григорьевна Щукины».

Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого былá нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. «Монументы,— заметил я вывеску с золотом,— всех исповеданий. Прауда». Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины.

— У нас теперь есть граммофон,— говорила она нам.

А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили.

— Но жалко,— сказал один гость,— что наука изобрела это поздно: а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди.

Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. «Черты,— подписал он под нею название,— лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он пóдал две маленьких дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорóгой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен.

— Приятно,— сказал он мне,— быть знакомым с учащимся.

Нáскоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с дачи.

— Она,— посмеялся он,— думала, будто ваша фамилия — Ять.

Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним.

— Вообразите,— сказал я,— учащиеся пишут на партах плохие слова.

— Части тела? — оживясь, спросил Серж.

Я подумал об Андрее с «чертáми лица» и о том, что предосудительно в присутствии друга вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас.

— Маршировка прошла очень мило,— сказал он.

При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак.

— Да,— толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

13

— «Православный»,— сказал нам на уроке «закона» отец Николай,— значит «правильно верующий».

По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он нáчал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не

завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что — нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете.

— У них всегда грязные ногти,— сказал я,— и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «ква́ртал», «галоши» и «одену пальто».

— Дураки,— посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напомнила нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,
Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась на них. Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеич повел нас к инспектору на перекличку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения очень уж льстива. Поэтому она не внушает доверия, и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Ма́угли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

— Сегодня,— объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно,— будет «страшная ночь»,— и она посоветовала нам пойти на́ реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзало. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны. Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла́ в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирхе блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни

на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчичьи санки. В шинели офицерского цвета, Вася Стрижкин сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот, в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока.

— «Спектакль для детей»,— возвестили однажды афиши.

Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед внушительным юношей и восклицающая:

— О, Александр!

Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон. Военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел. Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он подымется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обедни — и начинались молебны «о даровании победы». В окне у Л. Кусман появились «патриотические открытые письма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и кре́йсеров и наклеивать их в «Черновую тетрадь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. «Натали́, ах»,— хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж.

— Ты читал книгу «Чехов»? — краснея, наконец спросила она.

14

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед Страстною неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец Николай, огороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Нóли ме тàнгере», она нас поздравила с Пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвалà меня в дом и велела проститься с Александрою Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливая в два блюдечка:

— Пусть остывает скорей.

— Завоюете их,— говорила маман,— и тогда у нас чай будет дёшев.

На лѐто Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамба и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее.

— Христианский народ,— говорили они,— а помогает японцам.

— Действительно,— пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Мáугли напечатано было, что она переводная с áнглийского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушаках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях, сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это — нотариусиха Конра́диха фон Сасапаре́ль. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины. На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные.

— Пользуются,— пояснил он нам мрачно,— что господа поразъехались.

Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Канто̀реку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорилась с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь уже знать. «Вас ист дас?» — диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плёве убит, и, расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался с Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.

15

— В училище завтра молебен,— объявила однажды маман и подала̀ мне «Двину». Я прочел извещение. «Итак,— думал я,— уже кончилось лето». Я съездил в последний раз в Шавские Дрожки. На ло̀зах там ужѐ поредела листва̀. Паутина летала ужѐ. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребеночком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня.

— Всё такой же,— эффектно сказала она,— но в глазах уже что-то другое.

Конра́диха фон Сасапаре́ль завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были ро̀жки и надпись «Кримѐ». Инженерша подсела к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово, и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать. Я был встревожен. «Уедет и Серж,— думал я,— и конец будет дружбе». Печальный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложение к книгам Л. Кусман дала̀ мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке их было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила коекакие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпо̀льский и Лившиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разочарованный, я решил не иметь больше дела с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня посадили за это в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом гла́за смотрели на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. «Натали, Натали»,— думал я, и обедни уже́ не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Оловым. Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто всё, что рассказывают про Подольскую улицу, правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришло в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как мне говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же кварта́ле, в каменном доме Канатчикова. Приходя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показывал, как надо креститься двухперстно. Из дома теперь нам видна̀ была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была располо̀жена небольшая во-

енная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новоселье. Они не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пферд-хенов Серж уже начал учиться у Гаусманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Гаусманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьёзно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые брали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял, как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителю,— а то бы она удалась мне.

16

— Надо больше есть риса,— говорила теперь за обедом маман,— и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис — и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанзà». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были зàняты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный клòбук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы бог посадил его в ад. Но он скоро явился. «Иуда,— вывел он на доске,— целованием предал Иисуса Христа»,— и мы начали списывать.

На Рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с кирхой и надписью: «Фрёлихе вѐйнахтен».

В этом году инженерша полюбила политику. Часто она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне всё больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда — домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Олов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов с съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в первый раз еще видел их близко.

— Они как скоты,— сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не призна́юсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звала́ погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Воро̀ны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой.

— Простонародье бунтует,— сказали мы.— Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был настлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щёлкнула вдруг и присвистнула.

— Тише,— сказала маман. Она поднесла к губам палец и с блаженным лицом посмотрела на нас.— Соловей,— прошептала она.

Мне не велено было ходить за воро̀та, и я не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотека», я вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них

написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врали.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и вѐтками и надели на всех нас венки. Они долго скакали и пели и жгли бочки с смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись и огни были за̀литы и ворота закрыты и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, сто̀я у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

> Стессель-генерал доносит,
> Что нет снарядов никаких.

17

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала́ меня подучиться французскому.

— Это трудный язык,— говорила Горшкова.— Все буковки в нем пишутся так, а читаются этак.

Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной».

— Заключение мира! — выкрикивал он.

Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще, и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас.

— Если бы мы воевали подольше,— говорила она нам,— то мы победили бы. Витте нарочно подстроил все это, потому что он женат на еврейке и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» — деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей — в «параллельном». Уроки «закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время «закона» картинку. «Пожалуйте к столику,—называлась она,— мои милые гости». Карманова очень была недовольна, увидев ее.

— Всё какие-то пàсквили,— стала она говорить с отвращением.— Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством.—Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, гладя бòроду, и, крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преблагий», со страшным треском разорвалàсь вдруг где-то пòд боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впереди выступали ксендзы.

— Вот мерзавцы,— сказала Карманова и разъяснила нам, что, по религии, им полагается быть за правительство, но они ненавидят Россию и готовы на всё, чтобы только напакостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. «Алфавит» начинался: «Анòхина, Бòлдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что всѐ делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредёт.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была «правая», но бастовала охотно. Она рассказала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому

что, пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей — получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

Возьмите унцию смирения,
Прибавьте две — долготерпения,—

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

18

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и, чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись наши полки, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешиванья на стенáх. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Вáгелем, и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жилà с инженером.

Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслоняли. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал себе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и не стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник. В квартáле за кирхой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу, но это не имеет большого значения и главным по-прежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахали ему. «Серж, Серж, ах, Серж,— не успел я сказать,— Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?»

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уж не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сиу, отца Тусеньки. Он был с бородой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича.

— Вы не читали речь Муромцева? — благосклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под сóснами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры.

— Карáтельная,— пояснила нам Ольга Кускова.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я — как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой

рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем.

— Осип,— сказал я,— ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? — Я взял его руку и в волнении смотрел на него.

Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

19

Снова осень была на носу. В палисаднике уже щелкали, лопаясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам.

— Прежде,— говорила маман,— можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кни, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софрóнычев. Звали его Грегуар. Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара Агатой и бесплатно ходила с ней в театр и цирк.

Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам.

— Не бейте,— сказала она,— того мальчика в серых чулках.

Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

«Мел, гвоздей,—

перечислено было на прибитой к калитке дощечке,—

кистей, лак и клей»,—

и, задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы.

Осыпались деревья. Нескла̀дные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей, все же, тоже хороший. И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор.

— Без причины,— между прочим, сказал он,— его не убили бы.

Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой с харча̀ми. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы занялѝсь ими, сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен.

— Андрей,— сказал я, пододвинувшись ближе,— есть одна ученица по имени Тусенька.

— Сусенька? — переспросил он.

Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» — правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Наталѝ.

В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса̀ электрической станции и побродил. Огороды, пустые уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовкѐ у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретилась в бане с Александрою Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля.

— Он,— рассказала она,— не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности.

Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонечко в Гриве Земгальской.

Довольные, мы посмеялись.

Софронычев несколько дней «фугова̀л»: выходил утром и̇з дому и не являлся в училище. Стало известно потом, что учитель

словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

20

«Серж,— писал я во время уроков на вырванных из тетради листках,— я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство. Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотней является в комнаты и толкует со мной». Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикова, что под домом у него сидит сын на цепи, и что сын этот глупый, или про подвальную Аннушку — как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж,— писал я,— ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне все равно не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удается следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел «Достоевского». Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который а) важничает, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал клочья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж,— писал я еще,— ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это — грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елками, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лотерее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадмазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшав-

шим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех».

«Может быть,— думал я,— она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь „господ и госпож“».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняжка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старее его.

На расчищенном месте уже завертелись вальсёры. Карл Пфердхен кружился с своей сестрой Эдит. Конрадиха фон Сасапарель выступила с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла̀ приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. «Отчего это,— кто-то спрашивал в нем,— вы задумчивы?» Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, а прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозику, и на глазах у меня расползлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня.

— У тебя ли табак? — спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые я иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил предложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимою мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член думы проехал вдруг — в маленьких санках, запряженных большой серой лошадью под оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щёку и черную бо̀роду.

— Наш, крайний правый,— сказал нам Канатчиков.

Мы улыбнулись приятно.

21

У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие делишки. Она продавала участок, который достался ей по закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купален слышны были всплески. Лозà над рекою цвела.

— Серж, ты помнишь,— сказал я,— когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облакà принимали вид гор, обступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером òтплыли. Мы заболели в пути морскою болезнью. Мы прùплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили на шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. «Васенька»,— мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето напрокат у татар. Держа вожжи, возница — на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож — обернулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали. Карманова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами булочники. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенснэ у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал.

— Ты дитя,— говорил тогда Серж,— шаркни ножкой.

В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Граф Монте-Кристо» или «Три мушкетера». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу — окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспо-

минал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блестками «газа», они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислонялись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?». Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистили к завтраму овощи. В море гудел пароход. Иногда недалёко начинали играть на трубе.

Мел, гвоздей,—

подпевал я тогда ей беззвучно,—

Кистей, лак и клей.

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, вбегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее прячась и никому не сказал, что читал ее. «В чем же тогда,— говорил я себе,— можно быть совершенно уверенным?»

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Караата кормили их корками.

— Значит, он сыт,— говорила Карманова,— если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уж увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре».

— Побеседуемте,— предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер.

— Без причины,— сказал я,— конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала́ мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

22

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» — колонны и статуи и ступени к воде. «Се́рж, Серж, ах, Серж»,—по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен. Его купола́ были скрыты холщовыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там — золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. «Может быть,— думал я,— глядя на эти шатры, она вспоминает маневры». Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался.

— Вот видишь,— сказала маман,— как приятно иметь знакомых со средствами.

Всё разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского человеколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и усадил.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в нечетные дни Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это — предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебра́лся со своею аптекой в новый собственный дом — он украшен был около входа барельефом «сова́».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь — благовоспитанная, с скромным видом и с папкой «мюзик»,— я сказал бы ей: «Здравствуйте».

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» и — Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и отдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее.

— Мало, мало,— сказала маман,— довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были на похоронах. Там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели.

— Вот «мел, гвоздей»,— говорили мы.— Будьте здоровы, «И. Ступель».

На кладбище, возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше, чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли.

— Электрический театр,— сказали они нам,— открывается на этих днях.— И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его «освящение». В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье, и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в фойе. Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скала́, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел

дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал.

— Господа,— закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене,— это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией.

— Да,— подтвердила маман.

23

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами, «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические».

— До чего это глупо,— довольные, произносили мы по временам.

Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе.

Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. «Карл»,— хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного за́мка, и отец не впустил его в дом.

— Ты фамилию нашу,— сказал он,— снес в острог. Он был видный мужчина с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела́ мадам Ге́ниг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окон на гарнизонный собор.

— Как прекрасно, однако,— оглядываясь, говорила она нам.

Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караа́том. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом.

— Крупитчатый малый,— сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа́.

— Разговор идиоток,— сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софронычев стал приносить с собой в класс интересные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон».

За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед и он пьет горячительное. «Наконец-то я,— думает он,— отдохну». Но внезапно раздается звонок, экономка бежит открывать, и доро́гою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был — один. Горько было мне это. «Вдруг,— ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил,— мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся».

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадмазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату аппассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла Агата, сестра Грегуара,— бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был — я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрою Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные, мы поспешили поздравить.

— Билет ведь его,— рассказала она нам.— Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее.

— Да,— говорила маман,— вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький, и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух.

— К тому же,— сказала она,— там приличное общество.

«Так,— вспомнил я, когда мы возвращались,— я думал когда-то, что мы если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить».

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали — и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке,— то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не позволил.

Уже потемнели доро́ги. Днем таяло. Вечером небо было черно́, звезд в нем было особенно много. Всё чаще вынимал

я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквах уже зазвонили по-постному. Мы исповедовались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

24

Даме из Витебска мы написали поздравление с Пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою «Нóли ме тáнгере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать.

— Всё меньше,— сказала она мне,— у нас остается друзей.

Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед Пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с Богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «божьего тела» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман разрешила мне пойти с Шустером нá реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом» и выронил в это время бумажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шустера. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой.

— Мерзавец,— сказал я.

Вдали нам видны были лáгери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с валькóм на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты. Перескакивая, мы добрались до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками.

Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на брёвнах и слушал, как вода о них шлёпается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что и меня что-то ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо.

— Что такое? — дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный,— называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана,— возраст».

— Так вот как,— сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрою Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно Свента-Гура. Со станции нас вёз извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались, воспоминания нас обступили.

«Вдова А. Л. Вагель»,— уже красовалась доска на воро̀тах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрела́». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понрави̇лась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступѐням.

Маман повела А. Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперо̀вича. Дом к-ца Мамо̀нова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо:

— Это ваш сын? Это очень приятно.— Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбивое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем — Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хо̀ром собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесён отцу Федору крест.

А. Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, явясь с своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А. Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А. Л. собирается основать в Свентой-Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана.

— Я представляю себе, как это будет красиво,— сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

25

Когда это было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для супа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчимом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в середине. Кровь била дуго́й.

Мы остались у А. Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А. Л. занималась с ней.

— «Ки се рессамбль,— бубнила она по склада́м в «кабинете»,— с'ассамбль».

Пото̀м пришло много гостей — свентогурских чиновников, пенсионерок и дачников. А. Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

— Интересно,— заметил почтмейстер Репнин,— что у них на пала́це есть палка для флага, а флага они не вывешивают.

После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узна́ешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг вздрогнула.

— Я вспоминаю,— сказала она,— девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

Затем мы отправились в «парк». На А. Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед за ней по дорожкам.

— Гимн,— крикнул почтмейстер Репнин, когда мы оказались на главной площадке, где были подмостки.

Тут всѐ сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой

и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

— Не понимаю, зачем,— говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами,— вѐртятся возле нее эти малые — суриршин и бо́ниншин.— Я ничего не сказал ей. «Опасный,— подумал я,— возраст, когда я пойму ужѐ это,— пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет».

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. «Я очень прошу вас,— писали мне,— быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и подстерегала меня.

— Я смотрела,— загородив мне дорогу, сказала она,— во дворе, как развешивают там ваше белье. Всё такое хорошее, и всего очень много.— Она попыталась схватить меня за руку.— Если бы,— томно вздохнув, заглянула она мне в глаза,— дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. «Прекрасно,— подумал я.— Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Натали».

Она ерзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольный, что я никогда не поймался бы так. Я огляделся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождала́сь меня. Было досадно.

Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквах. Громыхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на́ голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла́ на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал па́стор. За дро́гами первым был Штраус. Его вели по́д руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше

шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич, Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирхе звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

26

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо.

— Двое и птица,— сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «Троицы».

Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких «наблюдателей» освобождают от платы. Смотря ему на́ бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздёв, шестиклассник, покажет мне, что́ и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздёвым. «Не он ли,— говорил я себе,— этот Мышкин, которого я все время ищу?»

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах лёса иногда проносился. Гвоздёв меня ждал на углу. Я сказал ему:

— Здравствуйте,— и мне понравился голос, которым я это сказал: он был низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздёв рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван Моисеича и мадам Головнёвой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я радостный слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа̀, и концы их сигарок светились. Гвоздёв чиркал спичками «Закс». Из «физического кабинета» мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздёв сообщил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сèппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром.

— Гвоздёв,— на мотив «мел, гвоздей» напевал я, оставшись один,— дорогой мой Гвоздёв.

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздёв подошел ко мне на перемене. На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздёва Софронычеву, и они подружились, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. «Самое,— увидел я надпись,— любимое:

книга — «Балакирев»,
песня — «По Волге»,
герои — Суворов и Скобелев,
друг — Н. Гвоздёв».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины.

— Мне задано много уроков,— сказал я,— и кроме того мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток.

— Хорошо для здоровья,— сказала она мне.

Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А. Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки скамеек, покачивались и вели разговоры под музыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздёва, Агата, коротенькая, приналегàла и не отставала от них. Карл Пфердхен, красуясь, скользил

внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда — с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмецо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было всё как всегда. Нехватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне.

— Сколько времени мы не встречались,— сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее.

Тут подоспела девица, которая, мечá в меня снегом, напала на меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила.

— Жаждет,— пояснила она,— познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились.

Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось: Луиза Кугенау-Петрошка.

27

— Ну, я исчезаю,— сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошлись с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, с скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделывали кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хиавату». Припрыгивая, они боком отходили один от другого в противоположные стóроны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее — они были коричневые — были подняты нàискось влево. Ее волоса, как у взрослой наплоенные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем написано было: «Ого!» — и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в гимназии Брун и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы в летах. Бродя толпами, всё свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрагама, где дамба сворачивает и с нее можно видеть три четверти нéба, и оттуда любуется вместе с Софроны-чевыми кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, при-топывая, чтобы ноги не мёрзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленице посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе было туманно, как в прачечной. Тучи висели.

— Арбат, дом Чулкова,— сказал я, садясь один в сани.

Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встретилась Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ его уже что-то темнелось. Карманова, протерев краем кофты пенснэ, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично троими детьми, Софи, грузная, с скучным лицом, опирается на балюстраду, обитую плюшем с помпончиками. «Кто сказал бы,— подумал я с грустью,— что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемой «Нóли ме тáнгере»?»

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли.

— Известно вам, Серж,— спросил я, когда мы отдалились от дома Чулкова,— что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста?

Серж посмеялся.

— Она вообще,— сказал он,— аматёрша клубнички.

Он мне рассказал, что она (по-французски, чтобы он не прочел) услаждает себя, например, Мопассанчиком.

— Это,— спросил я его,— неприличная книга? — и он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви». Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот, наконец-то и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы — конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала, что, кажется, скоро Белугиных переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. Навстречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах.

— Серж, помнишь,— сказал я,— когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-фу.

Мы приятно настроились, вспомнили кое о чем. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу.

«Миленькая»,— прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

28

— Моя мама,— сказала Луиза,— хотела бы, чтобы вы мне давали уроки.

И мы сговорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дёрн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоко̀м ваты,

и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догналá возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудреное, с одутловатостями, а волосà — подпалённые. Щурясь, как когда-то Горшкова, она принялàсь торговаться со мной.

— Это принято уж,— говорила она,— что знакомым бывает уступочка.

Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи.

— Щепка лезет на щепку,— хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности продекламировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, с злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Луиза с своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигою, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись за-

мысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А. Л. теперь после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А. Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная ве́черя». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась «да Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IV, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба ма̀льца, Сурир и фон Бонин, вертелись по-прежнему возле А. Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они очень плохо воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А. Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе с шарфом, и, старенькая, подпершѝсь кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден палац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

— Серж любит публичность,— сказал я себе и припо́днял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова приняла̀сь за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я ска-

зал ей, что «это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

29

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обеих не видел, напоминала Софи. Так недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боком, в малороссийском костюме». В лесу возле «линии», пылкая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался молебен. С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Го́лубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услыхал интересные вещи.

На Уточкине, где маман была в шляпе, украшенной виноградною кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню,— ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла,— и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением.

— Благодарите,— сказала маман,— господина Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности.

— Трудно представить себе,— зарыдала она,— до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: «Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать».

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви

я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему:

— Двое и птица.

Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переклички я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до̀ дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона».

— «Пустыня,— прочел он из главы о «монашестве пустынножительном»,— бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась. Великое множество старцев наполнило о̀ную и читало в ней, пело, постилось, молилось».

Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию».

— Тут есть такое! — сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на̀ голову и, устроясь на рельсах, дала̀ переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его.

— Вы, если что,— говорил он мне,— ставьте в известность меня. Я буду драть.— И рассказывал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет и соседи сбегаются.

Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздёвым с Софронычевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже. Лицȧ ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой.

Незаметно дȯжили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подалȧ мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городовой.

30

Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня нá лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе,— смотрели.

Один как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздувшаяся, в шляпе с перьями, пудреная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть тащась, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и пока они там рассуждали — стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у лȧгерей, встретил Андрея, и мы с ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Денщик-лиходей». Затрубили «вечернюю зóрю». Звезда появилась на небе.

— Андрей,— сказал я,— я читаю «Серáпеум».— Я рассказал ему то, что прочёл там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удается узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

«С Андреем,— говорил я себе, возвращаясь,— приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического». И я вспомнил Ершова.

А. Л., как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А. Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду.

— Врачом,— говорила А. Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картину да Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «вéчерей», изображенное на этой картинке.

В день перенесения мощей Ефросинии Полоцкой был крестный ход, и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам.

— Как прекрасно там было,— снимая с себя свое новое платье и моясь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она.— Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи.— И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже, прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратно шел медленно. Пáрило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егозили. На улицах люди впотьмах похохатывали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется, что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибылà в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

— Видела дочь? — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялàсь с того дня дрессировкой Евгении, сшила наколку ей нá голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

31

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал кафедру и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее между прочим о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи. Деревья и улицы были только что пòлиты. Город был очень красив и как будто знакòм мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирхе.

— Зо загт дер апòстель,— с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал,— Паулюс!

Здесь к нам подошел Фридрих Олов. Он был одет в штатское. В левой руке он держал котелок и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал туфельку Анны Иоанновны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался.

— Неужели,— восхищался он нами,— действительно вы изучили уже почти весь курс наук?

Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.

Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось поклониться мощам, и затем нам сказали, что каждый из нас может делать что хочет до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрели на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начинало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было законоведенье, и ему обучал нас отец Натали. Он был седенький, в штатском, в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал:

— Поздравляю.

Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора,

чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейсах Лейзерах обнял меня.

— Ты поэт,— объявил он.

Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки.

— Мы знаем уже,— говорили они.

Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к нам под шумок.

— Я хотела бы с вами,— сказала она мне,— немного поговорить фамильярно.

Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью.

— Сразу заметно,— польстила она,— что у вас есть свой форс.

Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их.

Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за всенощной.

32

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван-Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова.

— Это,— пожимая плечами, сказал я,— который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее.

— Слушай,— сказал я Ершову,— прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

— Ну и гусь,— закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо о̀тнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало̀. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом.

Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». «Лучший,—писал я ему, например,— проводник христианского воспитания — взор. Посему надлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства» — или: «эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоцком. Вся семья жила́ там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова жила у него еще классная дама Эдѐмска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарни «Освята» и выпишет там на полгода «Газету — два гро̀ша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарьянец и даже состоит в переписке с Толстым; что когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на

улице, как офицер бьет по морде солдатика за неотдание чести,— и трясся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивляло немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что, вот, и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: «Ах, Серж, очень счастлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки.

— Ты хочешь отшить меня? — встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я.

Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбегать куда-то и возвратиться при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в желтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенснэ с черной лентой прошла от угла до ворот — классная дама Эдемска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, съежась, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно бы было сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе, дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать:

— Умер,— сказал я Ершову, подсев к нему.

Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что

нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набивает свою голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

33

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня.

— Подождите немножечко,— распоряжалась она.

Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном, среди вееров и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и ёжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур перево̀дная птичка была мне хорошенько видна.

— «Сильва, сильвэ»,— смотря на нее, начинал я склонять.

Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался показать, что не сплю, и для этого повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт ка̀ндида фа̀та туа̀» или «пульхра эст».

Раз мы читали с ним «Дэ амитицие верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он сча́стлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с Пѐйсахом. Мы походили. У «зала для свадеб» мы остановились и, глядя на его освещенные окна, послушали вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пѐйсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,
Урну незримую слез умиления
В высь необъятную, к горних начальнику,
Дружно направим с словами прошения:
Вечная Гоголю слава.

— Зайдем,— предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на большой перемене, мы видели их. Через год, предвкушали мы,

мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу и против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздёв. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подошвами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц. К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эдёмска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденье саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день Рождества почтальон принес письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле, подала̀ их: Карманова, Вагель А. Л., фрау Анна и еще кое-кто — поздравляли маман. Мне никто не писал. Ниоткуда я и не мог ждать письма. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над землею за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весною гимназию Брун и уехала в Киев на зубоврачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла̀ на каникулы.

— Вы не читали,— сказала она мне,— Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»?

Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертона, а про «современную литературу» я думал, что она — вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамбы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

— Но дело не в том,— заявила она.— Я читала недавно один интересный роман.— И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно были женаты.

— Ну, как вы относитесь к ним? — захотела узнать она. Я удивился.

— Никак,— сказал я.

Против «зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне нà бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня там бывал Грегуар и один из пятерочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникала тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря друг на друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.

Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софронычеву. «Ты встречаешься,— ласково глядя на него, думал я,— каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей».

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. «Шустер»,—говорил я себе, пораженный. Я вспомнил, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. «Как все же мало мы знаем о людях,— подумал я,— и как неправильно судим о них».

Рано выйдя, я утром стал ждать его.

— Шустер,— сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рассказал мне. Он ходит по пятницам, так как в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнаёт, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах:

— Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

34

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полюбопытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках — в тот день, когда праздновалось освобождение крестьян. Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства

разочаровалась и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пѐйсах очень хвалил меня.

— Ты показал им один раз,— говорил он,— что ты это можешь, и хватит с них.

Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

— Все равно, всего курса я не успею пройти,— говорил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом.

Я успел из уроков латыни узнать между прочим, что «Нòли ме тàнгере», подпись под картинкой с Христом в простыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что «попечитель учебного округа» может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей.

— Если бы только уметь,— говорила она мне,— то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками.

— Ну-ка,— сказал он.

Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день даны были нам на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась.

— Когда,— говорила она,— это кончится?

Нà ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили «свидетельства». С кафедры, на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствия. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там

очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их.

— Истина, благо,— по обыкновению, красноречиво воскликнул он,— и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для наблюдений я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын помешался оттого, что не выдержал в технологический.

— Он все науки,— сказал нам Канатчиков,— выдержал и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел.

— Нет, мадам,— на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице.

По привычке, я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пасторате», и я не встречался с ним. Пёйсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым маман отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пёйсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к котелку и носил вместо прежних очков пенснэ с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полшáга, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди,— сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенснэ и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел нà нос стёкла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было: «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Грибы Земгальской. Свистя, пришел на́ берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя всё, коричневый, он остался в одной круглой шляпочке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему: «Здравствуй», но я не осмелился.

Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.

КОММЕНТАРИЙ

Биографические сведения об Андрееве, Баршеве и Добычине скудны и противоречивы. Многое для составления связной истории жизни каждого из них сделал и делает ленинградский литературовед Владимир Бахтин. Его работы использованы здесь при составлении биографических справок о каждом из писателей. Благодарим его и за ряд устных сообщений.

Писали о судьбе этих авторов также Леонид Борисов, Геннадий Гор, Вениамин Каверин, Ида Наппельбаум, Леонид Рахманов, Марина Чуковская, работы которых здесь учтены. Уникальное письмо о последних днях жизни Н. В. Баршева передала в издательство его дочь, Елена Николаевна Баршева, которой также — сердечное спасибо.

В. М. АНДРЕЕВ

Василий Михайлович Андреев родился 16 (28) декабря 1889 г. в Петербурге (в «Краткой литературной энциклопедии», т. 9, М., 1978, возраст уменьшен на 10 лет; не точны оказались и сведения, приведенные в сб. В. С. Бахтина «Ленинградские писатели-фронтовики», Л., 1985,— указана дата: 19 января 1896 г.).

Отец Андреева — кассир банка, мать воспитывала детей (в КЛЭ неверно указано: «род. в семье рабочего»; сам Андреев в анкетах писал: «сын мещанина»).

Андреев окончил четырехклассное городское училище.

В молодые годы участвовал в революционном движении и с 1910 по 1913 г. находился в ссылке в Туруханском крае, откуда бежал. По некоторым сведениям, помог устроить побег Сталину. Позднее об этих местах написана повесть «Глушь» (1935). С ними связана и книга «Товарищ Иннокентий» (1934) — о большевике И. Ф. Дубровинском, близком к Ленину. Письма Н. К. Крупской к Андрееву по поводу этого издания напечатаны в «Коммунисте» (1979, № 3).

Печататься начал с 1916 г. в газетах под псевдонимами Андрей Солнечный, Васька-газетчик, Васька Редактор и др. После революции вернулся в Петроград, стал профессиональным литератором.

В конце двадцатых годов Андреев привлек внимание Горького как автор, «не поддающийся американизации» литературы.

Круг литературных знакомств Андреева очень широк. В 1920-х годах часто бывал на «субботах» у писателя В. Я. Ленского на Введенской (Олега Кошевого), 7. Встречался там с Александром Грином, Константином Олимповым (сыном поэта К. М. Фофанова), Алексеем Чапыгиным, Борисом Розовым...

В 1930-е и до исчезновения жил на Надеждинской (Маяковского), 7, кв. 24. У него бывали Ольга Берггольц, Александр Гитович, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Борис Корнилов, Елизавета Полонская, Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, Ольга Форш, Алексей Чапыгин, Михаил Чумандрин... Особенно дружил с Корниловым.

Первый сборник «Канун» вышел в 1924 г. в Ленинграде. Затем: «Расколдованный круг» (1926), «Рассказы» (1926), «Славнов двор» (1927), «Волки» (1927), «Гармонист Суворов» (1928), «Преступления Аквилонова» (1929), «Серый костюм» (1930), «Товарищ Иннокентий» (1934), «Повести» (1936), «Комроты шестнадцать» (1937).

В 1926 г. в Ленинграде с успехом шла пьеса «Фокстрот».

В 1927 г. «Преступления Аквилонова» изданы в Берлине. В письме К. К. Владимирову от 26 февраля 1927 г. Андреев пишет: «С «Аквилоновым» дело такое: Берлинское изд-во «Петрополис» будет его сначала печатать на русском языке, а потом уже будет переводить на немецкий и другие языки. Здесь в Л-де «Аквилонов» не пойдет, также и в Москве».

В 1940 г. Андреев работает над повестью «О пребывании в Туруханском крае И. В. Сталина и событиях, связанных с организацией его побега из ссылки в 1911 г.» Написанный от руки текст Андреев послал в Кремль. Ответ через три недели пришел телеграфом: «Уважаемый Василий Михайлович! Этим хвастаться не надо. Рукопись оставляю. Сталин». Участь писателя была решена.

В декабре 1941 г. он вышел из дома и не вернулся. Родные свидетельствуют, что об истощении тогда еще речи не шло. Судя по всему, на улице Василий Михайлович был арестован. Соседи видели, как его сажали в машину. Дата гибели Андреева не установлена (в КЛЭ безосновательно утверждается, что он «погиб на фронте»).

В этот сборник вошли произведения Андреева, написанные до 1930 г. и связанные преимущественно с обстоятельствами петербургско-петроградско-ленинградской жизни. В них воссоздана колоритная жизнь городских окраин, трущоб, ночлежек, трактиров. Основные персонажи автора — ведущие уличную жизнь дети и подростки, мастеровые, обыватели, уголовный элемент... Произведения Андреева насыщены множеством городских реалий, впрочем, не всегда топографически точно оговариваемых, но и до сих пор памятных жителям. Так, например, Славнов дом из «Славнова двора» или Алтухов дом из «Расколдованного круга» напоминают каждому ленинградцу известные с детства дворы — Перцова дома на Лиговке или Баронова (Бароновского) дома на нынешнем проспекте Огородникова. Однако не все названия Андреева можно отыскать в старых справочниках. Тем более — увидеть в современном Ленинграде. Кое-что прозаиком вымышлено. Не стоит также изучать биографию прозаика по жизнеописаниям его героев. Однако жесткий, а подчас и жестокий жизненный опыт некоторых юных героев писателя (в «Празднике», «Славновом дворе», «Расколдованном круге») несомненно схож с его собственным.

В целом можно говорить о специфически андреевском образе города, не повторяющем его великих предшественников — Пушкина, Гоголя (особенно любимого им автора), Достоевского, Блока...

Праздник. Печатается по сб. «Канун».

с. 32. Ушаковская больница — больница на Петергофском шоссе, 54, предоставлявшая бесплатное лечение рабочим и крестьянам Петербургского уезда.

с. 34. Католическое кладбище в Тентелевке.— Тéнтелевка — деревенька в районе Путиловского завода и реки Екатерингофки, ныне не существующая.

с. 35. Ротмистр — офицерский чин в кавалерии, соответствующий пехотному капитану.

с. 37. Терция — третья ступень диатонической гаммы; муз. термин, обозначающий соотношение звуков по высоте, то есть частоте колебаний.

с. 39. Больница в «Крестах».— «Кресты» — главная тюрьма города на правом берегу Невы, неподалеку от Финляндского вокзала.

с. 44. «Лишь мы, работники всемирной...» — слова из «Интернационала», партийного гимна русской революционной социал-демократии с 1906 г.; русский текст создан в 1902 г. поэтом А. Я. Коцем (1872—1943), музыка (1888) французского композитора Пьера Дегейтера (1848—1932).

Пальто. Печатается по сб. «Канун».

с. 46. Майский барин — прогулявший состояние, но сохраняющий барские замашки человек.

Канунный пляс. Печатается по сб. «Канун».

Рассказ посвящен сыну друзей автора, в то время совсем мальчику, Отто Остен-Сакену.

с. 52. Иванов день — Иван-Купала, праздник, связанный с летним поворотом солнца. На Руси в этот день (24 июня по старому стилю) жгли костры, совершали омовения в источниках, собирали целебные травы.

с. 52. Литургия — обедня, главное христианское богослужение, на котором совершается таинство Причащения, или Евхаристии.

с. 52. Трепак — русская пляска в быстром темпе с притоптыванием.

с. 53. ...колдовской купальский цветок... ключ к затаенным сокрови-

щам...— По поверьям, в Иванову ночь расцветает огненным цветом папоротник, указывающий места, где зарыты клады: травы, собранные этой ночью и на заре, пока не обсохла роса, обладают чудодейственными свойствами.

с. 53. Екатерингофский парк — сейчас парк им. 30-летия ВЛКСМ.

с. 53. «Радуйся, Афонская горо!» — слова одного из акафистов (молитвенно-хвалебных песнопений), посвященных Богородице, покровительнице Афона.

с. 54. Куперовский «Следопыт» — роман американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851) «Следопыт, или Озеро-море» (1840).

с. 54. «Чтение для солдат» — журнал, издававшийся в Петербурге с 1847 по 1915 г.

с. 54. Георгиевская ленточка — лента ордена св. Георгия, учрежденного в 1769 г.— четырех степеней. С 1856 г. существуют солдатские Георгиевские кресты четырех степеней, с 1913 г. награжденных называют «георгиевскими кавалерами».

с. 54. Казанская ул.— сейчас ул. Плеханова.

с. 56. ...смотрел на жену Пентефрия библейский Иосиф.— В Библии («Бытие», гл. 39, ст. 1) жена Потифара (Пентефрия), безуспешно попытавшись соблазнить Иосифа, обвинила его в попытке покуситься на ее честь.

с. 56. ...Бумажка в 500 р., дензнаками — 500 миллионов.— Речь идет о стремительной девальвации: денежные знаки не имеют собственной стоимости и лишь заменяют в обращении деньги.

с. 57. Купидон — бог любви, изображаемый мальчиком с луком и стрелами.

с. 58. Симеоновская — сейчас ул. Белинского.

с. 58. Пятьсот «лимонов».— «Лимон» — миллион (жарг).

с. 61. Столбняк — судорожное сокращение мышц, вызванное инфекционным заболеванием; каталепсия — болезненное оцепенение, состояние неподвижности в одной позе.

с. 63. Разрыв-трава — народное название растений, при помощи которых, как считалось, можно чудесным образом излечивать болезни, открывать клады, замки и проч.

Славнов двор. Печатается по сб. «Расколдованный круг». Рассказ посвящен Отто Остен-Сакену.

с. 70. Штокфиш — сушеная треска *(нем.)*, разносчиков ее звали штокфишниками.

с. 70. Костей, тряп! Бутл, бан! — Имитируется характерный акцент петербургских татар, поскольку, как правило, тряпичниками были они.

с. 70. Халатник — тот, кто носит халат, то есть татарин, так как халат — традиционная татарская одежда. Халатниками еще называли иногда мастеровых. Здесь, очевидно, первое значение.

с. 70. ...дразнили «свиным ухом».— Свинья, по мусульманской и иудейской религиям, животное нечистое.

с. 70. «Князь, а князь...» — Татар, занимавших в Петербурге, как правило, низкое социальное положение, часто иронически величали «князьями».

с. 70. С Петропавловской из пушек палили.— Речь идет о наводнении. Когда в Неве поднималась вода, давались залпы.

с. 71. «На речке, на речке...» — русская народная песня.

с. 71. «Нелюдимо наше море» — песня К. П. Вильбоа (1817—1871) на стих. Н. М. Языкова (1803—1846) «Пловец». Однако популярная мелодия — это устный вариант музыки Вильбоа.

с. 71. «Среди долины ровныя» — песня на стих. А. Ф. Мерзлякова (1778—1830). Несколько раз была положена на музыку. Однако в основе популярного доныне напева — мелодия другой песни: О. А. Козловского на слова П. М. Карабанова (1764—1829) «Лети к моей любезной...».

с. 72. «Отцовский дом спокинул...» — В повести, как и во многих других произведениях этого сборника, встречается большое количество песен из мещанского и городского фольклора, блатных и воровских куплетов, авторство которых и канонические тексты установить затруднительно, если вообще возможно.

с. 77. Фуражка «Жерве» — фуражка морского фасона, названа по фамилии Жерве, заметной в России семьи моряков. Наиболее известен Б. Б. Жерве (1878—1934), участник русско-японской войны, капитан I ранга, военный историк.

с. 79. Поль-де-Кок — Поль Шарль де Кок (1793—1871) — французский писатель, популярный автор занимательных фривольных романов.

с. 81. «Дунайские волны» — разговорное название вальса Иоганна Штрауса (1825—1899) «На прекрасном голубом Дунае».

с. 81. К Пасхе сшили, а теперь Троица.— В 1904 г. Пасха была 28 марта, а Троица — 16 мая.

с. 82. Борец Пытлязинский.— В то время были очень популярны цирковые чемпионаты французской борьбы,— очевидно, Тонька называет имя одного из чемпионов.

с. 89. Цербер — в греческой мифологии пес, охраняющий вход в Аид, царство мертвых. Здесь — охранник.

с. 95. Слепцов Николай Павлович (1815—1851) — генерал-майор во время кавказских войн. В его честь была названа станица.

с. 95. «Рыжий красного спросил...» — из детской народной песни «Как по речке, по реке...»

с. 99—100. У нас, за Нарвской.— Нарвская застава — рабочий район Петербурга.

с. 102. Скобари — прозвище жителей Пскова.

с. 103. Триумфальные заставские ворота — Нарвские ворота, установленные в честь победы над Наполеоном, арх. Д. Кваренги, возобновлены в укрупненных пропорциях арх. В. П. Стасовым (1834).

с. 104. Путиловский завод — по имени купца Путилова, основан в 1801 г., ныне Ленинградское объединение «Кировский завод».

с. 104. Царь-освободитель — Александр II (1818—1881), при котором 19 февраля 1861 года опубликован манифест об отмене крепостного права.

с. 104. Фараон — здесь полицейский, городовой *(жарг.)*.

с. 105. Каменный столб, похожий на могильный памятник без креста,— верстовой столб, некоторые из них сохранились в Ленинграде доныне.

с. 109. Опорки — старая, штопаная и изодранная обувь.

Волки. Печатается по сб. «Волки».

с. 112. Нищий с Таракановки.— Возле речки Таракановки (ныне бульвар Циолковского) на ул. Сутугина, 11 (ныне Перекопская) был известный ночлежный дом.

с. 112. Александровский — очевидно, имеется в виду Ново-Александровский рынок на Вознесенском проспекте, где торговали преимущественнс подержанными вещами (ныне Майорова, 54). Построен в 1865—1869 гг., арх. А. А. Бруни. В 1930 г. частично снесен, частично перестроен.

с. 112. ...отправился к Михаилу-архангелу.— Имеется в виду цер-

ковь на Козьем болоте (ныне пл. Кулибина), арх. Н. Е. Ефимов, снесена в 1930-х годах.

с. 113. Волынка — безделье *(жарг.)*.

с. 113. Обуховская — Обуховская больница, построенная по проекту Д. Кваренги в 1782—1784 гг. на Фонтанке (д. 106), перестроена в 1950-х годах.

с. 113. ...воры всех категорий, шмары, коты...— Шмара (маруха) — любовница; кот — сутенер или любовник марухи; маруха — любовница вора *(жарг.)*.

с. 113. Шпанка — то же, что шпана: беспризорники, жулики, хулиганы, еще раньше — бродяги *(жарг.)*.

с. 113. Копорка — родом из Копорья. Копорье — старинный русский город и крепость XIII—XVIII веков; ныне село в Ломоносовском районе Ленинградской обл.

с. 113. Фартовые — те, кому везет; фарт — удача, везение *(жарг.)*.

с. 114. Казенка — заведение, где официально продавалась водка *(жарг.)*.

с. 114. Ширмач — карманный вор *(жарг.)*.

с. 114. На гопе.— Гоп — ночлежный приют воров, также сама шайка воров *(жарг.)*.

с. 114. Тулейка — то же, что тулья, часть шляпы, покрывающая голову сверху, кроме полей, козырька, околыша, ушей, или подкладка под тулью.

с. 114. Альфонс — любовник на содержании у женщины.

с. 114. «Святое семейство» — Иосиф, Мария и младенец Иисус. Здесь — иронич.

с. 114. Стрелять — попрошайничать, выпрашивать *(жарг.)*.

с. 114. Ухрять — уходить, убегать, скрываться *(жарг.)*.

с. 115. Замести — арестовать *(жарг.)*.

с. 115. Рождество, Крещенье.— Рождество Христово — один из главных праздников христианской церкви, отмечаемый 25 декабря (7 января). Крещение Господне, Богоявление — праздник в память крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем в Иордане, отмечаемый 6 (19) января.

с. 115. Накаливать — жить грабежом *(жарг.)*.

с. 115. Плашкетня, плашкеты — противоестественным образом совращенные уголовниками подростки. Здесь — блатные мальчишки *(жарг.)*.

с. 116. Четырнадцатый класс — с 1722 г. и до революции 1917 г. служилое население России разделялось на 14 рангов, четырнадцатый — низший.

с. 116. Стоять на стреме — сторожить, высматривать опасность во время воровской или бандитской операции; шухер — тревога, опасность *(жарг.)*.

с. 116. Фигарь (фига) — вор, из мести или из корысти доносящий властям *(жарг.)*.

с. 116. Сгореть с делом — попасться с поличным *(жарг.)*.

с. 116. Знаменье — Знаменская церковь, построена в 1794—1804 гг., арх. Ф. И. Демерцов, снесена в 1940 г. На этом месте сейчас станция метро «Площадь Восстания».

с. 116. Фуражка фаевая.— Фай — шелковая или шерстяная ткань с тонкими поперечными рубчиками.

с. 116. Николай-угодник — чаще Николай-чудотворец — Николай Мирликийский (260—343), архиепископ, великий христианский святой.

с. 116. ...Брал на малинку.— «Малинка» — сонные капли, «брать

на малинку» — привести человека в бесчувственное состояние, подмешав в его питье отраву *(жарг.)*.

с. 117. Перо — нож *(жарг.)*.

с. 117. Волыночник — стремящийся к развлечениям, удовольствиям *(жарг.)*.

с. 118. Вейка — кучер-эстонец, или финн, работающий во время масленичных гуляний, а не круглый год.

с. 119. «Же-ву-при пятиалтынный» — прошу вас *(фр.)*, пятнадцать коп.; алтын — три коп.

с. 119. Околоточный — полицейский, ведающий околотком. Околоток — подразделение полицейского городского участка, а также район города, подведомственный такому подразделению.

с. 119. Градоначальник — управляющий на правах губернатора выделенным из губернского подчинения городом.

с. 129. Сорёнка — мелкие деньги *(жарг.)*.

с. 131. Хазовка — то же, что «хаза» — дом, квартира *(жарг.)*.

с. 132. Вала вертеть — дурака валять *(жарг.)*. Более распространено написание через «о» — «вола», от слова «вол» — вола водить, т. е. болтать вздор, путать *(жарг.)*.

с. 133. Московка — кепка с небольшим козырьком.

с. 133. «В дремучих лесах Забайкала...» — народный вариант песни на слова И. К. Кондратьева (ок. 1840—1904) «По диким степям Забайкалья...» (1880-е).

с. 134. Литовский замок.— В здании на Офицерской ул. (ныне ул. Декабристов, 29), построенном по проекту арх. И. Е. Старова, в первой четверти XIX в. располагался Литовский мушкетерский полк. В 1823—1826 гг. приспособлен для городской тюрьмы. В феврале 1917 г. замок сгорел.

с. 134. Жиганство — плутовство, мошенничество *(жарг.)*.

с. 134. Паска — срок заключения, посадка *(жарг.)*.

с. 135. Пасачи — воры, быстро передающие (перепасовывающие) украденное своим напарникам, с тем чтобы не попасться с уликой *(жарг.)*.

с. 135. «Во лузях» — в лугах, от област. *(влад., ряз.)* лузи — луга.

с. 136. Ошманал.— Ошманать (ошмонать) — обыскать, ощупать, от слова «шмон» (обыск); здесь — обворовал *(жарг.)*.

с. 137. Сучка — здесь: мелкие деньги *(жарг.)*.

с. 138. На куклима жил — под чужой фамилией *(жарг.)*.

с. 142. Скокер — вор-взломщик; скок — замок *(жарг.)*.

с. 144. Марка — выгода, куш *(жарг.)*.

с. 144. Косая — 1000 руб. *(жарг.)*.

с. 144. Шпалер — револьвер, наган *(жарг.)*.

с. 145. Людка — толпа *(жарг.)*.

Расколдованный круг. Печатается по сб. «Расколдованный круг».

с. 158. Фефела — неповоротливая, неопрятная женщина.

с. 161. Швабы — немцы (простореч.)

с. 161. Матку боску, Езуса коханего, Юзефа швянтого — Матерь божью, Иисуса возлюбленного, Иосифа святого *(польск.)*.

с. 162. Филипповские баранки.— Хотя в 1906 г. Д. И. Филиппов, сын знаменитого тверского крестьянина Ивана Филиппова, объявил себя банкротом и фирмой «поставщика двора» управляла администрация, изделия, купленные в «филипповских» булочных, продолжали пользоваться успехом у населения.

с. 163. Сороковка — русская мера жидкостей, равная $^1/_{40}$ ведра (0,31 л.), а также водочная бутылка такой вместимости.

с. 163. Андрей Первозванный — апостол, брат апостола Петра, ученик Иоанна Крестителя. По русским летописям — проповедовал в славянских землях.

с. 166. Вестовой — солдат для офицерских поручений.

с. 172. Чалдон — коренной житель Сибири.

Ошибка. Печатается по сб. «Расколдованный круг».

с. 188. Записки сумасшедшего.— Речь идет о «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

с. 190. Бура — азартная быстрая карточная игра.

Гармонист Суворов. Печатается по кн. «Гармонист Суворов».

с. 194. Герань, бальзамин, бархатцы... на окне — цветы, особенно популярные в мещанских семьях, своего рода символ мещанства.

с. 195. «Без руля и без ветрил» — цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (ч. I, строфа 15).

с. 195. Басон — плетеное (тесьма, бахрома и др.) изделие для украшения одежды, мебели.

с. 195. Польки «Чародейка» и «Лесные ландыши».— Полька — веселый чешский (не польский!) деревенский танец, ею обычно начиналось веселье, бал.

с. 196. Ресторан «Саратов» — вероятно, имеется в виду трактир «Саратов» на Забалканском, 7 (ныне Московский пр.).

с. 198. «Уж ты, сад...» — с подобным зачином существует множество русских народных любовных, хороводных и др. песен.

с. 198. «Соколовская тройка» — песня «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...») (1846), на слова Н. А. Некрасова, в 1850-е годы стала популярной, благодаря цыганскому хору Ильи Соколова.

с. 200. «Барыня» — сольная и парная русская народная пляска в живом, быстром темпе, назв. от песни «Сударыня-барыня». Мелодия не имеет стабильной формы, допускает импровизацию.

с. 200. «Во саду ли...» — русская народная песня, имеющая большое количество вариантов и музыкальных обработок.

с. 200. Ирбитская ярмарка — вторая по товарообороту ярмарка (после Нижегородской) в России, проводившаяся с начала XVII в. по 1930 г. в городе Ирбите на Урале.

с. 201. «...голубка дивная моя» — неточная цитата из стих. А. С. Пушкина «Няне» (1826). Надо: «голубка дряхлая моя!»

с. 202. ...Шумит... ночной Марсель, то есть река такая...— Иронически обыгрывается необразованность героя, знающего популярную песню «Шумит ночной Марсель» Ю. С. Милютина (1903—1968), на сл. Оскара Осенина, но не знающего названия известного города.

с. 202. Ботало — колокольчик на шее коровы; здесь — болтун (*жарг.*).

с. 203. «Голубочек» — песня Ф. М. Дубянского на слова И. И. Дмитриева (1760—1837) «Стонет сизый голубочек...» (1792).

с. 203. «Сама садик я садила...» — строчка, часто встречающаяся в русских народных песнях, близких к частушкам.

с. 208. ...мать Вазуза, не потопи города Саратова.— Вазуза — приток Волги; здесь иронично: Саратов стоит гораздо ниже слияния Волги и Вазузы.

с. 209. «Россия» на Обводном.— Среди множества ресторанов

и трактиров с таким названием был и трактир «Россия» на Обводном канале, 177.

с. 210. ...из оперы «Богородица, дева, радуйся».— Молитвенное песнопение здесь иронически называется «оперой».

с. 213. «Аргентинское танго», «Шимми» — популярные в 1920-х годах танцы; шимми напоминает фокстрот.

Серый костюм. Печатается по кн. «Серый костюм».

с. 226. ...картин Маковского «Гусляр» и «Гадание».— Маковский Константин Егорович (1839—1915) — художник-передвижник.

с. 235. «Адамка» — парусиновый ремень для правки бритв.

с. 238. «Забыты нежные лобзанья...» — романс (1900) Анатолия Ленина.

с. 238. «Глядя на луч пурпурного заката...» — слова из романса А. А. Оппеля «Забыли вы...» на слова П. А. Козлова (1841—1891).

с. 238. Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) — русский певец, лирический тенор, артист Большого театра.

с. 239. «Звени, бубенчик мой, звени...» — муз. и слова Н. А. Маныкина-Неврустева (1869—?).

с. 239. «Гугеноты» — опера Джакомо Мейербера (1791—1864).

с. 253. Куропаткин-генерал — Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), главнокомандующий русскими вооруженными силами на Дальнем Востоке; во время русско-японской войны 1904—1905 гг. после поражений под Ляояном и Мукденом снят с поста.

с. 253. «Наши жены — пушки заряжены...» — из солдатской песни «Солдату́шки, бравы ребяту́шки...»

с. 261. «Царица души моей» — обращение Дмитрия Карамазова к Грушеньке в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

с. 265. Клиент в сером костюме.— В этом и нескольких последующих эпизодах Роман Романович встречает не названного по имени Сергея Есенина.

с. 266. «Заря Востока» — тифлисская (тбилисская) газета, в которой печатался Есенин.

с. 270. Троица — в будущее воскресенье.— Христианский праздник сошествия Святого Духа на апостолов, один из самых популярных на Руси, празднуется через 49 дней после Пасхи. В 1925 г., в год смерти Есенина, приходился на 7 июня.

с. 287. «Сим победиши»,— говорил Суворов.— Выражение, обозначающее уверенность в успехе, восходит к легенде о римском императоре Константине Великом, увидевшем в 312 г. перед сражением на небе крест с надписью: «Сим знамением победиши».

с. 288. Масленая — масленица, сырная неделя, восьмая перед Пасхой.

с. 290. «Вот на пути село большое...» — песня Н. А. Бороздина (1827—1900) на стихи Ивана Анордиста «Гремит звонок, и тройка мчится...» (1839). По версии И. Л. Андроникова («Лит. газета», 1975, № 1), это песня П. П. Булахова на стихи Н. Анордиста.

с. 292. «Голова ль ты моя удалая...» — из стихотворения Сергея Есенина «Вечер черные брови насопил...» (1923).

с. 292. «Куда, куда вы удалились...» — начало арии Ленского из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878).

Н. В. БАРШЕВ

Николай Валерианович Баршев родился 26 сентября (8 октября) 1888 г. в Петербурге.

Отец Баршева — военный, мать — балерина Мариинского театра. Принадлежал к старинной дворянской семье. Его дед, Яков Иванович Баршев (1807—1894) — один из первых русских ученых-законоведов. Баршев окончил Политехнический институт, служил в Министерстве путей сообщения. После революции — на Октябрьской жел. дороге. Жил на казенной квартире на территории Московского вокзала, описанной Л. И. Борисовым в книге «За круглым столом прошлого» (Л., 1971). Дважды в месяц, по пятницам, здесь устраивались литературные вечера. Приходили Аким Волынский, Валентин Кривич (сын И. Ф. Анненского), Борис Лавренев, Владимир Пяст, Всеволод Рождественский, «заглядывал Алексей Толстой». Мемуары Борисова не всегда точны, но в числе гостей он упоминает и Николая Клюева, и Осипа Мандельштама. Баршев сопровождал из Ленинграда в Москву 29 декабря 1925 г. гроб с телом Сергея Есенина. Сохранилась его телеграмма: «Для перевозки тела Есенина прошу подготовить один крытый товарный вагон, осмотренный Сл⟨ужбой⟩ Тяги на предмет годности следования с пассажирским поездом, включив указанный вагон в п. № 19 от 29 декабря для следования в Москву. Д[1] — Баршев».

В последние годы жил на ул. Чайковского 39, кв. 14, где и был арестован 11 января 1937 г.

В журнале «Красная панорама» (1926, № 24) напечатана автобиография Н. В. Баршева «Вокруг да около»:

«Родился я 8 октября 1888 года. Воспитывался тщательно, рос умеренно, занимался прилежно. Отец научил меня чистой русской речи. Знания свои держу при себе, потому что человек я вообще молчаливый и автобиография для меня как барбосу цепь: бегай вокруг да около.

Жить куда легче, чем писать о жизни, да еще к тому же о своей. Так вот, изучив многое, стал служить на железных дорогах. Когда стал железнодорожником, написал стихи. Были они для домашнего употребления, но судьба вызволила из беды, перевела на прозу. За время службы на дорогах хорошо узнал железнодорожников, и тянет меня написать о них — наверное, и напишу.

Здесь же на дорогах переживал мобилизацию и демобилизацию, здесь же ощущал дыхание Махно — неприятное. Есть еще у меня жена — укор моей жизни, т. к. я пишу, а она переписывает и ходит по редакциям. Оттого мучаюсь совестью, но сплю хорошо. Рассказы мои помещались в «Ковше», «Звезде», «Ленинграде», «Красном журнале для всех» и «Красной панораме». Сейчас вышла книжечка рассказов: называется она «Гражданин вода».

Теперь подготовил книжку под заглавием «Прогулка к людям». Крестными отцами моими в литературе считаю: Всеволода Рождественского и Валентина Кривича. Это они убедили меня, что мне нужно писать. Надеюсь, что, когда будет нужно, они так же сумеют и разубедить меня в этом. Вот, кажется, и все: о себе сказал все».

Баршев литературную деятельность начал как поэт (альманах «Стожары», 1923, кн. 1, 3). Был членом литературной группы «Содружество» (М. Борисоглебский, Н. Браун, Н. Катков, М. Козаков, М. Комиссарова, П. Медведев, И. Оксенов, Вс. Рождественский, А. Свентицкий, М. Фроман, А. Чапыгин, Д. Четвериков).

Первый сборник прозы «Гражданин вода» вышел в 1926 г. в Ле-

---

[1] Д — по железнодорожному шифру — начальник службы движения.

нинграде. Затем: «Прогулка к людям» (1926), «Большие пузырьки» (1928), «Обмен веществ» (1928), «Летающий фламмандрион» (1929).

В 1926 г. в соавторстве с Л. Гордиенко написана книга «Техническая и коммерческая эксплуатация железных дорог». Баршев — автор пьес «Человек в лукошке» (1925), «Кончина мира» (1928).

В 1928—1929 гг. в театре «Пролетарский актер» шла пьеса «Большие пузырьки». Совместно с Л. Грабарем написана пьеса «Машинист Комаров» (1933). Поставлена Передвижным железнодорожным театром.

В начале 1930-х годов писал историю завода «Красный выборжец» и повесть «Несгораемый фейерверк» — о русских изобретателях XVIII века.

7 мая 1937 г. Баршев осужден Спец. коллегией Лен. гор. областного суда по ст. 58-10, ч. 1 и 58-11 к 7 годам с поражением в правах на 4 года. На следствии к нему применялись «недозволенные методы», но абсурдных обвинений Николай Валерианович не подписал. В августе 1937 г. отправлен на Колыму. 5 февраля 1957 г. решение суда отменено и дело прекращено «за отсутствием состава преступления». Реабилитационные рекомендации написаны Б. Лавреневым, Н. Тихоновым и К. Фединым.

О последних месяцах жизни Баршева есть выразительное письмо Г. А. Маматова от 2 июня 1972 г., которое в отрывках приводим:

«...Если Вы возьмете приличную карту Магаданской области, Вы увидите тоненькую линию дороги, которая до сегодняшнего дня называется «трассой», идущей от Магадана на север, «в тайгу». Н. В., ровно как и я, были доставлены на автомашинах из Магадана на 326-й км этой дороги, считая от Магадана, и далее вправо 8 км пешком. Там был прииск с малопонятным названием «Журба», немного не доезжая до пос. Мякит. Сейчас и уже давно его нет. Вот там и состоялось наше знакомство в последних числах янв. 1938 г. Барак деревянный, вместо крыши настил из жердей, на нем насыпан грунт. Узкие окошки. Стекла зимой изнутри оледенелые, через них лишь проникает свет, но увидеть через них что-нибудь невозможно. С подоконников капает вода. Вдоль стен сплошной настил грубообтесанных досок — сплошные нары на высоте 60 см от пола. Посередине проход около 2—2,5 м ширнной. В проходе железная бочка, выполняющая обязанности печки! Дров для ее топки не положено ⟨...⟩ лежа на нарах, я обнаружил неизвестного мне ранее соседа, весьма симпатичного человека, каковым и оказался Ник. Вал. Мы с ним разговорились ⟨...⟩ о причинах своего ареста и о всем дальнейшем у него, так же как и у многих других, было весьма смутное понятие, вернее почти никакого понятия не было ⟨...⟩ У него был «ББО» — то же через неделю было и у меня. Этими тремя буквами местные эскулапы обозначали безбелковый отек. В результате плохого питания, тяжелой непривычной работы, полного отсутствия овощей в пище, очень соленой рыбы, вызывавшей жажду ⟨...⟩ вот в результате всего этого развивался страшный авитаминоз, как одна из форм цинги, чудовищно распухали в первую очередь ноги, так что по ночам валенки уже нельзя было снять ⟨...⟩ Вот такая штука и была у Н. В. Он почти не мог ходить ⟨...⟩ через несколько дней за ним приехали с санками два санитара (тоже «бытовики», в то время даже санитарами ставили только уголовников) и увезли его на санках метров за 300 в лазарет ⟨...⟩ Н. В. тут не повезло ⟨...⟩ довольно удачно преодолевая цингу и ББО, он схватил воспаление легких. Конечно, ни о каких пенициллинах разговора не было. Лекарств, кроме марганцовки, тоже по сути дела не было. Да ими и не пользовались, относясь к больным зекам по известному рецепту Земляники: «Человек простой, если умрет, то и так умрет, если выживет, то и так выживет».

Н. В. лежал от меня через проход на расстоянии 7 метров, не более. У него очень быстро резко поднялась температура, скоро началось полубредовое состояние. Он плохо стал узнавать окружающих, что-то говорил о письмах, о жене, все это маловразумительно, и однажды утром он был обнаружен уже без дыхания ⟨...⟩

Было это числа 10—14 марта 1938 г. Помню, наши санитары под большим секретом дали нам газету с отчетом по процессу Рыкова, Ягоды, Ф. Ходжаева, Плетнева и т. д. Вот если установить, когда был этот процесс, можно установить и дату кончины Н. В. [1]

Н. В. всегда с теплой симпатией относился к своей семье, к своим друзьям. Помню, он много рассказывал о Вяч. Шишкове, с кот. он, как видно, был в близких отношениях. Вспоминал о приезде из Москвы Москвина, о вечере, проведенном с ним вместе ⟨...⟩

Несмотря на ужасные условия жизни, Н. В. был постоянно как-то тепло и оптимистически настроен и к окружающим и вообще всегда ⟨...⟩ Я не чувствовал в нем никакой озлобленности, ни разу в разговорах я не ощутил ненависти к людям, которые способствовали всем его несчастьям ⟨...⟩

А может быть, он все отлично знал и понимал и только просто не хотел откровенничать об этом с первым встречным ⟨...⟩ Н. В. производил впечатление исключительно хорошего, умного и отзывчивого человека, но человека тепличного, так сказать «комнатного», не приспособленного к жестокостям окружающей жизни. Я бы даже сказал, не понимающего эти жестокости ⟨...⟩ Конечно, может быть, я грубо ошибаюсь ⟨...⟩

Вы пишете: «где могила?»

В те годы таких вопросов не было. Похороны зеков не полагались. У них с пальцев снимались отпечатки ⟨...⟩ а затем их партиями по несколько человек отвозили и засыпали в каких-то заброшенных шурфах. О гробах обычно разговора не было. Географическую точку «захоронения» Вы знаете, а больше Вы ничего узнать и не сможете ⟨...⟩».

В этот сборник вошла бóльшая часть прозы Баршева. За его пределами остались лишь несколько рассказов из сб. «Летающий фламмандрион» («Антошины мелочи», «Летающий фламмандрион», «Фикус»), рассказ «Расстроенная личность» из сб. «Большие пузырьки», начало повести «Несгораемый фейерверк». Из-за недостатка места нет возможности поместить что-нибудь из его стихов, пьес или документальной прозы. Художественная проза Баршева представляется все же самой значительной в эстетическом плане частью его наследия. В ней свободно сочетаются и внутренняя культура автора, его интеллигентная сдержанность, и широкий его практический опыт, связанный с работой на железной дороге, и умудренный взгляд пожившего, не сразу заболевшего литературой человека.

Большие пузырьки. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 304. «Тебе о солнце не пропеть...».— Эпиграф взят из посвященно-

---

[1] Поскольку сказать определенно, когда в лагерь поступали газеты, сейчас невозможно, точную дату смерти Баршева устанавливать на основании этого свидетельства рискованно. Процесс длился со 2 по 13 марта. В ЛГАЛИ (ф. 371, оп. 3, д. 7, л. 11) хранится копия «Свидетельства о смерти», составленного 9 сентября 1938 г. далеко от Магадана в Бугурусланском р-не Оренбургской обл. По этому документу Н. В. Баршев умер в Журбе 30 марта 1938 г. по причине «остановки деятельности сердца». Вряд ли однако и этой информации можно доверять вполне.

го Николаю Клюеву стих. С. Есенина «Теперь любовь моя не та...» (1918).

с. 305. «Никто не даст нам избавленья...» — строка из «Интернационала».

с. 310. Составитель — здесь составитель поезда.

с. 310—311. ДС — по железнодорожному шифру — начальник станции, ДСП — помощник начальника станции.

с. 312. Фонопор — телефонный аппарат для связи между станциями, с 1895 г. введенный на железных дорогах инженерами Поляковым и Полякевичем. Вызов по нему осуществляется фоническим гудком.

с. 317. «У меня есть улыбка одна...» — стих. (1913) Анны Ахматовой из сб. «Четки».

с. 318. A propos — кстати *(фр.)*.

с. 322. «Всё на свете пузырьки...» — Как и само название рассказа, тема «пузырьков» в стихах, «железнодорожная тоска», пристанционная нетрезвая жизнь, появление в ней рокового «артиста» — все это ассоциируется с лирикой Александра Блока, и в частности с циклом 1904—1905 гг. «Пузыри земли». У Баршева эта «блоковская» тема трактуется в сниженном виде, хотя тоже не лишена лиризма.

с. 327. Прозерпина — в римской мифологии богиня подземного царства и плодородия, соответствует греческой Персефоне.

с. 328. Стрекулист — мелкий чиновник, канцелярский служащий.

с. 328. «Будь кротким, как голубь, и хитрым, как змей».— В. Евангелии от Матфея (гл. 10, ст. 16) сказано: «...будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

с. 331. Штрипка — тесьма, пришитая внизу к штанинам брюк и продеваемая под ступню. Здесь «штрипкой» уничижительно называется человек.

с. 336. Сосуд скудельный — глиняный сосуд; в переносном значении говорится о человеке — слабом, обреченном существе.

Обмен веществ. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 338. «На сопках Маньчжурии» — инструментальное произведение И. А. Шатрова (изд. 1912). На эту музыку существуют различные подтекстовки — А. Машистова, Я. Пригожего и др.

с. 339. Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии.

с. 339. Молоховец Елена Ивановна (1831 после 1914) — автор известной поваренной книги и религиозной публицистики.

с. 341. Пердю — потеряться, пропасть *(фр.)*.

с. 342. Мироносица — одна из женщин, пришедших к гробу Христа, чтобы помазать умершего миром. Но Христа в гробу уже не было, состоялось вознесение.

с. 342. Ну верон, ки — ки, же тю у тю же.— Увидим, кто — кого, я — тебя или ты — меня *(искаж. фр.)*.

Гражданин вода. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 344. Мшага — река, приток Шелони, впадающей в озеро Ильмень на западе Новгородской обл.

с. 344. Индифферентная манкировка — это псевдоученое словосочетание приблизительно можно перевести как «безразличное пренебрежение обязанностями».

с. 350. Дигиталис — наперстянка, лекарственная трава, оказывающая влияние на сердечную деятельность.

с. 352. Батько Махно — Махно Нестор Иванович (1889—1934), один из главарей мелкобуржуазной контрреволюции на Южной Украине в гражданскую войну, анархист.

с. 353. Геть, кацапи, с Украины! — Вон, русские, с Украины! *(укр.)* — лозунг украинских националистических движений.

с. 354. «Ревет и стонет Днепр широкий...» — начало баллады «Порченая» (1838) Тараса Шевченко, ставшее народной песней.

с. 356. Пылят махновские тачанки.— Отряды Махно сражались то в союзе с Красной Армией, то против нее, придерживаясь собственного направления в политике и гражданской войне.

с. 356. ...Будем рыбу кормить добровольцами.— Добровольческой называлась белая армия. Подобные частушки распевались с обеих сторон: достаточно было заменить одну-две рифмы, и на месте «добровольцев» оказывались «коммунисты».

с. 357. «Единая и неделимая Россия» — лозунг белой армии.

с. 360. «Бежать, но куда же?» — пародийное использование строки Лермонтова «Любить, но кого же?» из стих. «И скучно и грустно...» (1840).

Четвертое. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 363. Ликоподий — присыпка из спор licopodium, горючего вещества.

с. 368. Великое наводнение — наводнение в Ленинграде 1924 г.

Водоросли. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 372. Оккультисты — последователи оккультизма, мистической теории, проповедующей существование в природе необъяснимых, сверхъестественных сил.

с. 375. Камо грядеши? — Куда идешь? *(церковно-слав.)*.

с. 375. Борода антрика — борода в стиле французского короля Генриха IV (1553—1610). В духе народной этимологии Henri Quatre (Анри Катр) превратился в «антрика́». (Благодарим за эту гипотезу Ф. Н. Аврунину).

с. 376. Quid novi? — Что нового? *(лат.)*

с. 376. Ergo — следовательно *(лат.)*.

с. 377. Über alles — надо всем, выше всего *(нем.)*.

с. 383. Трип — шерстяная ворсистая ткань, употреблявшаяся для обивки стен.

с. 383. Жена же Лотова.— По Библии, жена Лота оглянулась на родной город, несмотря на запрет, и превратилась в соляной столп (Бытие, гл. 19, ст. 26).

с. 384. Крезо — Ле Крезо, город в восточной Франции.

с. 385. C'est drôle — это смешно *(фр.)*.

с. 386. Res nullius — никому не принадлежащая вещь *(лат.)*. По римскому гражданскому праву ничья вещь становится собственностью первого овладевшего ею.

с. 391. Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Старший — римский полководец времен Второй Пунической войны, разгромил войска карфагенского полководца Ганнибала при Заме (202 г. до н. э.).

с. 392. Tilia cordata — научное название липы *(лат.)*.

с. 394. ...бывший Лот — по Библии, Лот, племянник Авраама, после гибели Содома и превращения жены в соляной столп был напоен дочерьми и соблазнен ими, дабы продлился человеческий род (Бытие, гл. 19, ст. 30—38).

Жданное слово. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 397. ...с Авессаломом сходство имел.— По Библии, Авессалом, третий сын Давида, за бесчестие сестры Фамари убил брата Амнона.

Здесь имеется в виду, что у него были очень длинные волосы, которыми он запутался в ветвях дерева, после чего был схвачен.

с. 397. Протоиерей — первый в ряду священников при церкви.

с. 399. Иона — по Библии, пророк Иона плыл на корабле, поднялась буря, моряки метнули жребий, чтобы узнать виновника беды. Жребий пал на Иону, который бросился в воду. Огромная рыба проглотила его и носила трое суток (Иона, гл. 2).

с. 400. Эпитимия (епитимия) — в христианской церкви наказание в виде поста, длительных молитв и т. п., налагаемое исповедующим священником.

с. 400. Пьяница, вроде Ноя...— По Библии, когда ковчег прибило к берегу, Ной с сыновьями надавили винограда, изготовили вино, и Ной упился до того, что валялся голым.

с. 401. Просвирня — женщина, занимающаяся выпечкой просвир (просфор) — белых круглых хлебцев, употребляемых в обрядах православного богослужения.

Боязнь пространства. Печатается по сб. «Большие пузырьки».

с. 406. «Исполаэти деспота» — «Приветствую тебя, господин», или «Многая лета» *(греч.)*.

с. 407. Скиния Завета — по Библии, палатка, устроенная Моисеем в качестве помещения для богослужения.

с. 412. Шанго — хорошо *(кит.)*.

с. 413. Ждановка — река и набережная в Ленинграде; название исторически связано с фамилией «ученых мастеров» Ждановых, которым в XIX веке принадлежали земли вдоль этого рукава Малой Невы.

Кирилюк. Печатается по сб. «Обмен веществ».

с. 415. Богат и знатен, как ненавистный... Кочубей — искаженная цитата из «Полтавы» Пушкина: «Богат и славен Кочубей».

с. 416. ...в этих вопросах не копенгаген.— Шутка, основанная на созвучии требуемого здесь слова «компетентен» и названия столицы Дании Копенгаген.

с. 417. Эктенья (ектенья) — часть православного богослужения, моление, содержащее разные прошения и сопровождаемое обычно хором певчих.

Забытая антенна. Печатается по сб. «Летающий фламмандрион».

с. 418. Морготно — нудно, постыло, противно.

с. 420. Как будто с девятого яйца — восходящее к *лат.* ab ovo — от яйца — то есть «с самого начала».

с. 424. Поддедюлить — поддеть, подцепить, подтибрить, подхватить, присвоить, утащить, завладеть.

с. 429. Стрекулист — см. прим. к с. 328. В переносном смысле, тоже здесь используемом,— ловкач, плут, проныра.

с. 430. Камни Египта, Ростры, медь Фальконета — имеются в виду каменные египетские сфинксы из Древних Фив у Академии художеств, Ростральные колонны у Биржи и памятник Петру I («Медный всадник»).

с. 433. Вставочка — типично ленинградское слово, обозначающее обыкновенную перьевую ручку, вставляющуюся в чернильницу.

с. 441. Аполлоний Тианский — современник Христа, главный представитель новопифагорейства — религиозно-мистической школы; проповедник-моралист, уверявший, что может предсказывать будущее и творить чудеса.

с. 442. Гулярная улица — ныне улица Лизы Чайкиной на Петроградской стороне в Ленинграде.

с. 442. «Сильва» — оперетта (1915) венгерского композитора Имре Кальмана (1882—1953).

с. 443. Блыкаться, блукаться — шататься, бродяжничать.

с. 443. Гераклит — Гераклит (Эфесский), прозванный также «Темным», древнегреческий философ, жил около 500 г. до н. э.

с. 445. Гепею — швейцар имеет в виду ГПУ — Главное политическое управление, сменившее прежнюю ЧК.

с. 448. «Любовь к трем апельсинам» — опера (1921) С. С. Прокофьева (1891—1953).

с. 465. Литвинов Максим Максимович (настоящее имя Макс Валлах) (1876—1951) — советский государственный и партийный деятель, с 1921 г. заместитель наркома, с 1930 по 1939 гг.— нарком иностранных дел.

с. 465. Пакт Келлога — Келлога — Бриана (Парижский) пакт об отказе от войны как орудия национальной политики. Подписан 27 августа 1928 г. в Париже пятнадцатью государствами.

с. 471. Бёклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец, поздний романтик.

с. 471. Штук Франц фон (1863—1928) — немецкий живописец и скульптор, представитель стиля «модерн».

с. 472. Сулема — хлорная ртуть, белый ядовитый порошок, обладающий сильным дезинфицирующим действием; сулемой лечили венерические болезни, особенно сифилис.

с. 473. Баче-Сакао — Бачаи Сакао (? —1929), руководитель мятежа 1928—1929 гг. в Афганистане. Захватив Кабул, провозгласил себя эмиром страны. В октябре 1929 г. побежден Мухаммедом Надиршахом и казнен.

с. 476. «Буйство глаз и половодье чувств» — строка из стих. С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...» (1921).

с. 480. Герострат — древний грек, эфесец, сжегший храм Дианы в своем родном городе. По всей Греции разъезжали гонцы и объявляли приказ «забыть навеки имя безумного Герострата».

Прогулка к людям. Печатается по сб. «Летающий фламмандрион».

Посвящено Рождественскому Всеволоду Александровичу (1895—1977), поэту; Баршев называл его в числе своих литературных учителей.

с. 485. Знаменская ул.— ныне ул. Восстания, расположенная рядом с Московским (бывш. Николаевским) вокзалом, где служил Баршев как раз в описываемое им в рассказе время. История кубинского доктора известна ему была также не понаслышке.

с. 486. Лепрозорий — лечебное заведение, где изолируются больные проказой.

с. 489. Venez ici, venez — идите сюда, идите *(фр.)*.

с. 489. Bien — хорошо *(фр.)*.

с. 489. Etc — и так далее *(фр.)*.

с. 489. Lepro tuberosa — проказа *(лат.)*.

с. 489. Tout le monde — весь мир *(фр.)*.

с. 489. Voilá — вот *(фр.)*.

с. 490. Фригийская шапочка — головной убор по образцу колпаков французских патриотов буржуазной революции XVIII века, высокий колпак с загнутым верхом, символизирующий свободу.

с. 490. Non, rien... мерси — нет, ничего... спасибо *(фр.)*.

с. 490. Romanesques (правильно «Les Romanesques») — «Романти-

ки» *(фр.)*.— пьеса французского писателя Эдмона Ростана (1868—1918), поставленная в 1894 г.

с. 490. Un peu de musique, un peu de Watteau — немного музыки, немного Ватто *(фр.)*. Ватто Жан Антуан (1684—1721) — французский пасторальный живописец, провозвестник искусства рококо.

с. 490. C'est chose bien commune —	Это с каждым бывает —
De soupirer pour une	Он об одной вздыхает
Blonde, châtaine ou brune	Блондинке, шатенке или брюнетке —
Maîtresse...	Любовнице... *(фр.)*.

с. 490. Monsieur... oh, c'est trés simple...— Сударь... о, это очень просто.

с. 490. Aprés — затем *(фр.)*.

с. 491. ...имени Стеньки Разина.— Один из пивных заводов Ленинграда назван в честь Степана Разина.

с. 491. «Дитя, подойди...» — из стих. А. К. Толстого «Где гнутся над омутом лозы...» (1840-е).

Л. И. ДОБЫЧИН

Леонид Иванович Добычин родился 6 (18) июня 1894 г. в Двинске (Даугавпилс). В «Краткой литературной энциклопедии» и всех других источниках указывается 1896 г. рождения. Новую дату ввел В. С. Бахтин на основании письма Добычина к И. И. Слонимской (см. «Звезда», 1989, № 9).

Отец Добычина — врач, мать — акушерка.

Учился в гимназии в Двинске, окончил петербургский Политехнический институт. После революции жил вместе с семьей — матерью, сестрой и братом — в Брянске, служил статистиком, порой и вовсе оказывался без работы.

Первую рукопись — сборник «Вечера и старухи» — послал из Брянска в Ленинград Михаилу Кузмину с таким письмом:

«Милостивый Государь

Михаил Александрович!

Я позволил себе переслать на Ваше рассмотрение несколько беллетристических изделий и очень прошу Вас, если Вы не найдете этого ненужным, дать мне о них Ваш отзыв.

Л. Добычин

Брянск,
Губпрофсовет.
30 мая 1924».

Ответа, видимо, не последовало. Рукопись «Вечеров и старух» сохранилась в архиве Кузмина.

Печататься Добычин начал в том же 1924 г., благодаря К. И. Чуковскому. С этого времени постоянно бывал в Ленинграде.

Никак не ставя свое мастерство ниже уровня лучших образцов современной ему советской прозы, Добычин все же надежд на литературное признание не питал. «Мне суждены всего два читателя,— писал он в 1927 г. М. Л. Слонимскому,— 1) Вы, 2) Корней Иванович с семейством...» Свою популярность Добычин оценивал как «...известность Маленького Сочинителя». Он все время смотрел на свою литературную работу как бы со стороны — чужими равнодушными глазами: «Хоть я и не писатель, но раз дело идет о книжке, я мог бы поступить так, как в таких случаях поступают Писатели». Его автоирония приобретает в конце концов почти болезненный, навязчивый характер: «Один раз я вкусил нечто вроде славы: на улице ко мне подошел человек и сказал: — Вы, кажется, являетесь автором одной из книг». (Высказывания писателя взяты из его писем к Слонимскому, подготовленных к печати Бахтиным.)

Круг литературного общения Добычина очерчен четко и невелик: Чуковские, Геннадий Гор, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Николай Степанов, Леонид Рахманов, Елена Тагер, Николай Тихонов, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Мария Шкапская, Вольф Эрлих.

«Из известных Вам лиц,— сообщает Добычин в одном из писем,— хорошо отношусь к нижеследующим: 1. Коле [1], 2. Шварцу, 3. Тагерии [2], Эрлиху».

В 1934 г. Леонид Иванович окончательно переезжает в Ленинград, получив комнату от Союза писателей (Мойка, 62).

Первый сборник «Встречи с Лиз» вышел в Ленинграде в 1927 г. За-

---

[1] Николай Чуковский.
[2] Елена Тагер.

тем: «Портрет» (1931), «Город Эн» (1935). В 1933 г. подготовлен (но не издан) сборник «Матерьял».

Обстоятельства последних месяцев жизни Добычина очень похожи — по справедливой мысли В. С. Бахтина — на зловещую репетицию драмы, разыгранной в ленинградской литературной жизни через десять лет в связи с постановлением «О журналах „Звезда" и „Ленинград"».

Вслед за статьей «Правды» от 28 января 1936 г. «Сумбур вместо музыки» на веренице литературных обсуждений и собраний Добычин оказался в Ленинграде главной мишенью — и как «формалист», и как «натуралист». 25 марта Добычин отверг обвинения в Доме писателя одной фразой («К сожалению, с тем, что было здесь сказано, я не могу согласиться») и сразу же ушел. Собрания, на которых его клеймили, продолжались и дальше: 28 и 31 марта, 3, 5 и 13 апреля. Но Добычина в живых уже не было. О его исчезновении догадались лишь по встревоженному письму матери из Брянска (в Доме писателя уверяли, что он «уехал в Лугу»). В ночь с 25 на 26 марта с Добычиным разговаривала по телефону Марина Чуковская, 26-го днем — Каверин. Последняя фраза последнего его письма (Николаю Чуковскому): «А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края».

После 26 марта живым Леонида Добычина никто не видел. Скорее всего, он покончил с собой: перед исчезновением им сделаны письменные распоряжения по поводу долгов, книг, документов... Каверин несколько раз утверждал, что тело его было обнаружено много позже в Неве. Однако никаких документальных подтверждений эта версия пока не имеет.

В этот сборник вошла вся напечатанная к сегодняшнему дню художественная проза Л. И. Добычина. В частном собрании остается его последняя вещь — повесть «Шуркина родня». Но и без нее ясно: принципы литературной гармонии установлены в этой прозе раз и навсегда, они едины и для первого известного нам рассказа писателя, и для последней его опубликованной повести «Город Эн». Точнее говоря, не повести, а первой части неведомого романа.

Художественный мир Добычина являет собой целостную структуру — независимо от того, что еще какие-то тексты писателя наверняка остались неизвестными. Структура эта состоит как бы из первоэлементов прозаической ткани, первоэлементов прозаического искусства. Они открыты самим автором. Добычин доказал, что жизнь, увиденная на расстоянии вытянутой руки, и есть та самая жизнь, которую нужно в первую очередь соотносить с мировой гармонией и мировыми катаклизмами.

Т и м о ф е е в. Рассказ входит в сб. «Вечера и старухи», составленный из двух разделов: «Вечера» («Тимофеев», «Кукуева»), «Старухи» («Нинон», «Евдокия», «Письмо»). Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 477.

К у к у е в а. Рассказ входит в сб. «Вечера и старухи». Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 477.

С т а р у х и в м е с т е ч к е. Вариант этого рассказа под названием «Евдокия» входит в сб. «Вечера и старухи». Печатается по журн. «Лит. обозрение», 1988, № 3.

с. 501. Пфеферкухен — букв. перечное пирожное *(нем.)* — сорт печенья.

с. 501. Акцизный — чиновник, служащий в акцизе, то есть в учреждении по сбору налогов с товаров внутреннего пользования.

с. 502. Бонавентура — одна из древнейших аристократических фамилий Европы. Особенно известен католический святой XIII в. Джованни Фиданца Бонавентура, философ и глава францисканского ордена.

с. 503. Ветер бурный, называемый Эвроклидон.— В библейских «Деяниях апостолов» (гл. 27, ст. 14) этот ветер настиг возле острова Крит корабль, на котором находился апостол Павел. Эвроклидон — «вздымающий широкие волны» *(греч.)* — название сильного норд-оста.

с. 505. Ирод закусывал с гостями... перерезанная шея святого Иоанна...— По Библии, на балу у царя Ирода был обезглавлен Иоанн Креститель.

с. 505. Просфора — см. коммент. к с. 401.

с. 505. Братство святого Александра Невского.— Подобного рода организации, носившие чаще всего православно-националистический характер, были весьма распространены в России перед первой мировой войной.

с. 506. Хоругвь — священное церковное знамя, его выносят во время крестного хода.

с. 507. Бредешь по ротам и видишь синий купол с звездами.— Роты (от 1-й до 13-й) — ныне Красноармейские улицы в Ленинграде. Пересекают Измайловский проспект и были так названы по номерам рот Измайловского полка, казармы которых находились здесь. У расположенного на Измайловском проспекте Троицкого собора (арх. В. Стасов) купола были синего цвета с большими звездами, что для петербургской церковной архитектуры не характерно.

с. 507. Всенощная — в православии — богослужение после заката накануне воскресенья или больших религиозных праздников.

с. 507. Ротонда — верхнее женское платье без рукавов.

с. 507. На фисгармониуме канты играла.— Фисгармония — духовой инструмент с клавишами, по звучанию напоминает орган; канты — напевы (от *итал.* canto — песня, мелодия, пение).

с. 508. «Боже, царя храни» — российский гимн с 1833 г., написан А. Ф. Львовым (1798—1870) по заказу Николая I на слова В. А. Жуковского.

Нинон. Рассказ входит в сб. «Вечера и старухи». Печатается по журн. «Звезда», 1989, № 9.

Козлова. Под этим рассказом стоит самая ранняя из проставленных Добычиным дат написания — 1923 г. Он заключал сб. «Вечера и старухи» под названием «Письмо». Окончательная редакция рассказа почти не отличается от первоначальной. Из существенных разночтений стоит отметить лишь убранную последнюю фразу: «— Письмо тебе,— отворяя дверь, сказала Авдотья».

с. 511. Паникадило.— Стоящие перед иконами в православной церкви большие подсвечники называют «кадило». Если на них от 7 до 12 свечей — это поликадило, если больше — паникадило.

с. 511. Клирос — место, где во время богослужения размещается клир: причетники, певцы и те священнослужители, которые помогают вести службу. В каждой церкви два клироса — в возвышенной предалтарной части.

с. 511. Расточатся враги его — пересказ популярной молитвы: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...»

с. 511. Лурдская Богородица — по легенде, в гроте Масавель находящегося в Пиренеях французского города Лурд в 1858 г. явилась Божья матерь. Источник в гроте считается священным.

с. 512. Сивилла — в Древней Греции прорицательница, пророчица. Известно до двенадцати сивилл. Их культ распространен и в Риме, где Кумской сивилле приписывались знаменитые Сивиллины книги, истолковываемые жрецами.

с. 512. «Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге с 1870 по 1918 г.

с. 512. Святой Кукша — монах Киево-Печерской лавры. В 1115 г. пришел в землю вятичей — Брянский край — для проповеди Евангелия. 27 августа — день памяти св. Кукши. Икону и мощи святого в 1903 г. перенесли из Киева в Брянск.

с. 513. Керзон болтался на виселице.— Керзон Джордж Натаниел (1859—1925) — министр иностранных дел Великобритании с 1919 по 1924 г. Во время советско-польской войны 1920 г. требовал прекратить наступление Красной Армии на линии, известной как «линия Керзона».

с. 514. Иоанн-воин — день Иоанна-воина празднуется 30 июля.

с. 514. Обновление икон.— «Обновленцы» — оппозиционное движение в русской православной церкви, возникшее после Октябрьской революции. Выступали за «обновление церкви», модернизацию ее. Первоначально поддерживали новую власть и правительство.

с. 516. Красно-коричневый дворец — Зимний дворец в Петрограде был в то время красно-коричневого цвета.

Встречи с Лиз. Первое опубликованное произведение Добычина («Русский современник», 1924, № 4). Печатается по сб. «Портрет».

с. 517. Ле руа а Пари — король в Париже *(фр.)*.

с. 519. Долой Румынию.— С 1918 по 1940 г. Румыния оккупировала Бессарабию, и митинги протеста часто проходили в СССР.

с. 519. «Сад пыток» — роман (1899) французского писателя Октава Мирбо (1848—1917).

с. 520. Св. Евпл — жил на Сицилии, мученически погиб за христианскую веру при императоре Диоклетиане, гонителе христиан, в начале IV в.

Савкина. Печатается по сб. «Портрет».

с. 524. Наробраз — Народный комиссариат образования.

Ерыгин. Печатается по сб. «Портрет».

с. 525. Дочь Красная Пресня.— В 1920-е годы детям давали чрезвычайно разнообразные «революционные» имена, например: Изиль («Исполняющий заветы Ильича»), Индустриализация, Электрификация и пр.

с. 526. В пользу наводнения — имеется в виду наводнение 1924 г. в Ленинграде, самое сильное в XX в.

с. 528. Клеенка «Трехсотлетие».— Во время 300-летия правящего дома Романовых в 1913 г. выпускались различные сувениры, в том числе клеенки с изображением императоров и императриц.

с. 528. План Дауэса.— Чарлз Гейтс Дауэс (1865—1951) — руководитель комитета экспертов, разработавшего план репараций для побежденной в первой мировой войне Германии (1924).

Лидия. Печатается по сб. «Портрет».

с. 529. «Вуайаж» — путешествие, поездка *(испорч. фр.)*.

с. 530. Успенье — храм, посвященный Успению Богоматери. Праздник Успения отмечается 15 (28) августа.

с. 531. Фигатнер — видимо, вымышленная фамилия.

с. 531. Драчена — также «дрочена» — картофельные оладьи.

с. 531. «...Красная Армия всех сильней!» — из песни С. Я. Покрасса (1897—1939), слова П. Г. Григорьева (1895—1961).

с. 532. Коза Лидия — по свидетельству самого автора, названа «в честь» Лидии Сейфуллиной (1889—1954), популярной писательницы тех лет.

Дориан Грэй. В сб. «Встречи с Лиз» этот рассказ называется «Сорокина». Печатается по сб. «Портрет».

Дориан Грэй (Грей) — главный герой романа «Портрет Дориана Грея» (1891) английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900).

с. 533. Ветер до Вознесенья.— Вознесение Господне — праздник, отмечаемый, на сороковой день после Пасхи,— день вознесения Иисуса Христа на небо.

с. 533. «Глагола ему Пилат» — «и сказал ему Пилат» *(ст. слав.)*. Из Евангелия от Иоанна (гл. 18, ст. 33).

с. 534. Сун-Ят-Сен — Сунь Ятсен (1866—1925), китайский революционер, основатель партии гоминдан (1912).

с. 534. Дэ ин юс вокандо, дэ акционэ данда — действовать, основываясь на законе *(лат.)*.

с. 535. «Джимми Хиггинс» — роман (1919) американского писателя Эптона Синклера (1878—1968).

с. 535. Сэптэнтрионес — семь звезд *(лат.)* — Большая Медведица.

с. 535. Ватерпруф — непромокаемое женское пальто.

Конопатчикова. Печатается по сб. «Портрет».

с. 537. «Ль эглиз дез Энвалид», «Статю дэ Анри Катр» — церковь Инвалидов, памятник Генриху Четвертому *(испорч. фр.)*.

с. 539. Кондитер Франц и парикмахер Антуан.— Автор обыгрывает литературный штамп, по которому все булочники и кондитеры — немцы, а все портные и парикмахеры — французы.

с. 539. Вильгельмина — королева Нидерландов в 1890—1948 гг.

Сиделка. Печатается по сб. «Портрет».

Существует, публикуемый ниже, вариант этого рассказа, подготовленный автором для сб. «Матерьял». Печатаем его по журн. «Звезда», 1989, № 9:

СИДЕЛКА

Мороз ударил. Листья облетели и лежали под деревьями. Луна, сквозящая и невещественная, таяла.

К Дворцу труда спускались маленькие толпы с флагами.

— Здоро́во,— сбега́л вниз и трогал шапку Мухин. Он смеялся и кивал, блестя глазами. У него выше колен болело от футбола.

У дворца толклись. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Гра́ковым.

— Вольдемар — мое неравнодушие,— говорила Катя Башмакова и заглядывала Мухину в глаза.

Наконец отправились. Играла музыка. На красных флагах блестело золото. Над белыми домами небо было си́нее.

На площади Жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и, отдельно, товарищ Гусев.

Закрытое холстом, стояло что-то узкое.

— Вдруг там скелет,— кокетничала товарищ Окунь.

Заиграл оркестр. Сдернули холстину, и открылся памятник: на обелиске — гусевская голова. Ораторы всходили на трибуну и произносили речи. Слушатели егозили. Под знаменами Союза Медсантруд сиделка, высунув язык, лизала губы и прищуривалась.

Мухин присмотрелся, вышел из рядов и караулил.

На него заглядывались: тоненький, штанишки с отворотами, над туфлями зеленые носки.

Начинали разбредаться. Гусевский отец, в пальто бочонком — с поясом и меховым воротником, взял Мухина за пуговицу:

— Каково произведение! — протянул он руку к памятнику.

А сиделка уходила.

— Мне необходимо,— устремился Мухин.

Черт возьми, дорогу перере́зали. Старуху Железнову хоронили по-церковному. Покачивались на ходу хоругви, и негромко пели отдуваемые ветром голоса.

— Религиозный предрассудок,— подошел и тронул Мухина за ло́коть Мишка Доброхим.— Я никогда не верил в эти глупости.

Сиделка скрылась...

За лугами бежал дым и делил полоску леса на́ две — ближнюю и дальнюю.

Запихнув руки в карманы, Мишка, сытенький, посвистывал.

Спустились вниз. Здоровались с встречавшимися. Останавливались у афиш.

— Иду домой,— простился Мишка.— Обедать.

На крае зеркальца в окне «Тэжэ» блестела радуга. Кругом была разложена «Москвичка» — мыло, пудра и одеколон: пробирается к кому-то, кутается в горностай, ночь синяя, снежинки...

Захотелось небывалого — куда-нибудь уехать, быть кинематографическим актером или летчиком.

В столовой Мухин засиделся за газетой. «Открывающийся памятник,— читал он,— образец монументального искусства...»

Спускалось солнце. Церкви розовелись.

Шаги стучали по замерзшей глине.

В комнатке темнело. Над столом белелось расписание: физкультура, политграмота...

В гостиной у хозяйки томно пела Катя Башмакова и позванивала на гитаре.

Пришел Мишка. Прислушался. Состроил хитрое лицо.

— Нет,— покачал Мухин головой печально,— кому я нравлюсь, мне не нравятся. А чего хотел бы, того нет.

— Это верно,— согласился Мишка.

Светились звезды. У ворот шептался кто-то. Шелестели листья под ногами.

Шли по́д руку. Задумчивые, напевали:

чистим, чистим,
чистим, чистим,
чистим, гражданин.

Спустились к речке: тихо, белая полоска от звезды. Зашли в купальню и жалели, что не захватили семечек, а то бы здесь можно посидеть.

Потолкались у кинематографа: граф разговаривает с дамой. Поспешили взять билеты...

Возвращались насладившиеся. Поздняя луна всходила. Завернули в «Моссельпром». Таинственно горела маленькая лампа.

— Где вода дорога́? — говорили за столиком.— Рога у коровы, вода в реке.

За прилавком дремала хохлушка в коричневом галстуке. Подбодрили ее: «Веселей!»

Стаканы, чтобы чего-нибудь не подцепить, ополоснули пивом. Чокнулись.

— Сегодня я чуть не познакомился с сиделкой,— сказал Мухин.

с. 541. «Тэжэ» — так назывались до 1950-х годов парфюмерные магазины (сокращенное наименование Треста эфирно-жировых эликсиров).

Лекпом. Печатается по сб. «Портрет».

с. 543. Мери Пикфорд — американская актриса (1893—1979), на сцене с пяти лет, в кино — с 1909 г.

с. 543. Женни Юго — псевдоним Эугении Вальтер (р. 1905), австрийской комедийной актрисы, в кино — с 1924 г.

Отец. Печатается по сб. «Портрет».

Матрос. В сб. «Встречи с Лиз» этот рассказ называется «Лешка». Печатается по сб. «Портрет».

с. 546. «Трансваль, Трансваль...» — популярная в начале века песня об англо-бурской войне 1899—1902 гг.

Хиромантия. Печатается по сб. «Портрет».

с. 548. «Исполнен долг, завещанный от Бога...» — слова Пимена из трагедии Пушкина «Борис Годунов».

Пожалуйста. Печатается по сб. «Портрет».

с. 549. Гривна — 10 копеек.

с. 551. «Плачу и рыдаю» — строка одного из древнейших тропарей (напевных церковных стихов). Известен, например, тропарь «Плачу и рыдаю» — Иоанна Дамаскина (VII—VIII в.).

Сад. Печатается по сб. «Портрет».

с. 551. «Медсантруд» — Союз работников медико-санитарного труда.

с. 552. «Работпрос» — Союз работников просвещения.

с. 552. Окрэспеэс, окрэмбеит — спародированная автором привычка того времени все названия превращать в аббревиатуры.

с. 553. Конартдив — конный артиллерийский дивизион.

с. 553. «Туаль-дю-нор» — букв. «ткань с севера» *(фр.)* — полотняная ткань, изготовлявшаяся на севере Франции.

Портрет. Печатается по сб. «Портрет».

с. 555. Кофта «сольферин».— Сольферино (во французском произношении — Сольферин) — деревушка в итальянской провинции Мантуя, где в 1859 г. французы победили австрийцев в борьбе за освобождение Италии от австрийской оккупации. По-видимому, кофта, фасоном или рисунком связанная с местными традициями.

с. 555. Выхухоль — напоминающий соболя, но менее ценный мягкий шелковистый мех мелкого насекомоядного зверька.

с. 555. Президиум Второго Интернационала — имеется в виду «Венский Интернационал», объединивший в 1921—1923 гг. центристские социалистические партии и группы.

с. 556. Поляки взяли Полоцк.— Во время советско-польской войны поляками была оккупирована с 20 сентября 1919 г. по 15 мая 1920 г. левобережная часть Полоцка. Отдельные польские отряды проникали на правый берег. Одним из таких рейдов, видимо, и было вызвано сообщение.

с. 556. Анна Чилляг, Поль Крюгер.— Видимо, речь идет о какой-то книге из истории англо-бурской войны. Поль (Паулус) Крюгер (1825—1904) — президент Трансвааля.

с. 556. Митрополит Введенский — Введенский Александр Васильевич (1888—1946), видный деятель церковного обновленчества.

с. 557. «...и ветер на сопках рыдает» — слова из вальса «На сопках Маньчжурии».

с. 558. Цинерария — цветущее зимой и ранней весной декоративное растение с яркими цветами.

с. 559. Стеклографистка — рабочая, специалистка по печатанию на приборе, у которого печатная форма изготавливается на стекле.

с. 559. Вежеталь «Виолетт де Парм» — одеколон «Пармская фиалка» *(фр.)*.

с. 559. «Виринея» — повесть Л. Н. Сейфуллиной, опубл. в 1924 г.

с. 559. «Наталья Тарпова» — роман в двух книгах С. А. Семенова (1893—1942), опубл. в 1927—1929 гг.

с. 559. Пуанкаре Раймон (1860—1934), «Пуанкаре-война», несколько раз был премьер-министром Франции, один из организаторов интервенции против Советской России.

с. 560. Кабуки — один из видов классического театра Японии, включающий в себя музыку, танцы, драму; здесь — иронично, имеется в виду кабак.

с. 560. Юс толленди — право требовать, право отнимать *(юр. термин, лат.)*.

с. 560—561. Картина «Генерал», Бестер Китон.— «Генерал» — американский фильм (1926) о войне между Севером и Югом. Бестер Китон (1896—1979) — американский актер, на сцене с трех лет, в кино — с 1917 г.

Тетка. В сб. «Портрет» этот рассказ в сокращенной редакции, публикуемой ниже, открывает книгу:

ПРОЩАНИЕ

Зима кончалась. В шесть часов уже светло было. Открыв глаза, Кунст видел трещины на потолке, из трещин получалась юбка и кривые ноги в башмаках с двумя ушками. За стеной сиделка уже шлепала своими туфлями без пяток и будила раненого. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник.

— Безобразие,— говорила она и показывала головой на стену. Замолчав, она прислушивалась, и потом смеялась. Кунст краснел.

В студенческом пальто, с кусочком хлеба, завернутым в газету «Век», в кармане, он выходил из дома. Снег был темен. Почки рожками торчали на концах ветвей. Старухи возвращались из хвостов и прижимали к кофтам хлебы. Сумасшедшие солдаты, разбредясь из лазаретов, бормотали на ходу. Встречалась прачка Кубариха и здоровалась. Порядочные люди разбежались,— горевала она,— нет уже тех жильцов. Вот и она — впустила к себе фею, уличную бабочку.

Звенел трамвай.

— Вперед пройдите,— восклицал кондуктор.

Лед на реках посерел уже. Перед домами было сухо. Саботажники с газетами кричали на углах. За Троицким мостом Кунст вылезал и шел по набережной. Темные дворцы смотрели мрачно. Каменные старики стояли в рыжих нишах, разводя руками и выделывая па.

Иван Ильич уже писал, тщедушный, за большой конторкой с перламутровыми птицами, и Мирра Осиповна, поправляя волосы, уже сидела. В меховом воротнике, она поеживалась и подрагивала.

— Слушайте, я замерзаю,— говорила она томно и драпировалась.

Прибегал начальник Глан, коротенький, в коротеньком костюме, и, усевшись в кресло, разворачивал свою газету «Луч».

— «Навстречу голоду!» — прочитывал он громко.

Девушка Маланья, колыхая мякотями, разносила чай. Мужчины на нее посматривали сбоку. Заходил инструктор Баумштейн с докладом, и начальник Глан величественно слушал его.

— Честь имею,— козырял инструктор Баумштейн и подмигивал девицам.

— Но какой он интересный,— удивлялись они.

— Я пишу магистерскую диссертацию,— взглянув на окна, говорил тогда Иван Ильич,— и каждый вечер я на несколько часов позабываю эту жизнь.

— Ах, я понимаю вас,— роняла набок голову и нежно улыбалась Мирра Осиповна.

— Время,— наконец, сорвавшись с места, складывал начальник Глан свой «Луч».

Все схватывались. Доставалась пудра и карандаши для губ. Иван Ильич смотрелся в лак конторки и со скромным видом освежал пробор. У выхода стояли саботажники с газетами.

— Вичернии,— кричали они звонко и приплясывали. Хлопали себя руками по бокам и топали ногами низенькие генералы с «Новым Временем». Шпиль крепости блестел. Морские облака летели.

Сбросив обувь и взяв в руки «Век», Кунст осторожно, чтобы не измять штаны, укладывался на кровать. Сиделка за стеной похрапывала. Возвращалась из конторы Фрида и шумела. Стукнув в дверь, хозяйка приносила чайник.

— Что в газетах? — говорила она и присаживалась.— Фрида все поет. Она такая поэтическая. Я была другая.

Иногда, таинственно хихикнув, она делала игривое лицо.

— Письмо,— с ужимками вручала она и хитро смеялась: — Верно, от хорошенькой.

Кунст брал конверт и, посмотрев на свет, вскрывал. Писала тетка. «Приезжай,— звала она.— Мы сыты. А у вас такие ужасы: недавно я читала, что от голода распух один профессор и упала замертво писательница».

Стаял снег. Подсохло. Лед прошел — с дорогами и со следами лыж. На улицах уселись бабы с вербами.

— Нам будет выдача,— обдернув пиджачок и потирая руки, объявил Иван Ильич.

— Мед с пчелами,— вскочила Мирра Осиповна и, считая, отогнула палец. Распахнулся воротник, брошь «пляшущая женщина» открылась.— Красная икра и грушевый компот в жестянках!

К концу дня костлявая девица с желтой головой промчалась через комнату.

— Не расходитесь,— объявила она.— Ждите. Я поеду на грузовике за выдачей.

— Возьмите двух вооруженных,— закричали ей.

— Возьму,— сказала она, обернувшись, и светло взглянула: — И сама вооружусь.

— Девица Сѝмон,— проводив ее глазами, посмотрел Иван Ильич вокруг.— Пожалуй, правильнее было бы Симòн,— предположил он погодя, подумав.

Ждали долго. Электричество не действовало. Девушка Маланья принесла фонарь и посмеялась:

— Как коров поить,— сравнила она.

Тени появились. За окном газетчики кричали нараспев:

— Ви-чер-нии.

Кунст, опершись на подоконник, тихо подтянул им, и Иван Ильич, стесняясь, присоединился:

слезы лились
из вокзала,—

шепотом пропели они вместе и сконфузились.

Настала Пасха. Делать было нечего. Кунст спал, смотрелся в зеркало, ел выдачу. Хозяйка отворяла дверь, просовывала голову и спрашивала, не угарно ли.

— Ах, что̀ вы получили,— разглядела она и прижала к сердцу руки.— Фриде дали воблу: тоже хорошо.

В соседней комнате сиделка угощалась с сослуживицами. Ударяли в бубен, пили спирт и крякали. Они ругали раненых:

— Чуть выйдешь,— говорили они,— а уж он порылся у тебя в корзине.

Дезинфекцией тянуло от них. Фрида, поэтическая, распустила волосы, открыла в коридоре форточку и пела. Сумасшедшие, заслушавшись, стояли перед палисадником. Кунст вышел, и они пошли за ним. Он встретил Кỳбариху в праздничном наряде.

— Заверните,— зазвала̀ она и подала кулич с цветком на верхней корке и яйца.

Фея — уличная бабочка — была приглашена. Красиво завитая, она скромно кашляла, чтобы прочистить горло, и учтиво говорила «да, пожалуйста», и «нет, мерси».

— Вот то-то,— одобряла ее Кỳбариха, и она краснела.

Раздвигая прошлогодний лист, полезли из земли травинки. Птичка завелась на Черной речке и по вечерам посвистывала. Фея принялась ходить под окнами. Конфузясь, Кунст задергивался занавеской. Беженцы из Риги стали приезжать из города по воскресеньям. Сняв чулки и башмаки, они сидели над водой. Хозяйка надевала кружевной платок и выходила посмотреть на них.

— Мои компатриоты,— поясняла она.

Мирра Осиповна перестала мерзнуть и сняла свой воротник. Она носила с собой ветки с маленькими листиками и, потребовав у девушки Маланьи кружку, ставила их в воду. Забегал инструктор Баумштейн и, нагнувшись, нюхал их.

— Ах,— заводя глаза, вздыхал он.

— Утро года,— говорил Иван Ильич, обдергиваясь.

Перламутр на его конторке блестел. За окнами синелось небо, Кунст засматривался, и письмо от тетки вспоминалось ему.

Приоткрыв однажды дверь, девица Сѝмон крикнула, что выписали наградные.

— Неужели? — поднялась и томно сомневалась Мирра Осиповна.

Девушка Маланья появилась среди шума.

— Получать,— осклабясь, позвала́ она.

Все ринулись.

— Расписывайтесь,— ликовала̀ за столом бухгалтерша и стригла листы денег.

— Дельная бабенка,— толковали про нее, толпясь.

— Урок для скептиков,— сказал Иван Ильич и посмотрел на Мирру Осиповну.

Девушка Маланья шлепнула кого-то по рукам. Приятно было. Через день пришел мужчина и созвал собрание: союз не допускает наградных. Постановили, что их нужно вычесть, и вернулись на места уныло.

— Я не ожидала,— говорила Мирра Осиповна мрачно. Вытащив из кружки свою ветку с листьями, она ломала ее.

— Вы читали Макса Штирнера? — согнувшись и повеся нос, бродил Иван Ильич.

Кунст думал, положив на ру́ки голову. «Я еду»,— написал он тетке и купил билет. В последний раз хозяйка принесла вечерний чайник.

— Я сама уехала бы,— села она и потерла рукавом глаза.— Курляндская губерния,— потряхивая головой, торжественно сказала она,— никогда не позабуду я тебя.

Кунст вышел на крыльцо. Луна без блеска, красная, тяжеловесная, как мармеладный полумесяц, пробиралась над задворками. Закутавшись в большой платок, сиделка, неподвижная, сидела на ступеньке. Кунст сел выше. Красный запад был исчерчен пыльными полосками. Далеко свистнул паровоз.

— Фильянка [1],— прошептала, не пошевелясь, сиделка.

«Может быть, приморская»,— подумал молча Кунст. С рассветом подкатил извозчик. Капал дождь.

— Прощайте,— крикнула с крыльца хозяйка.

— Прощайте,— обернулся Кунст.

— Прощайте,— высунулась Фрида из окна.— Прощайте.— Поэтическая, в одеяле и чепце, она махала голыми руками.

Фея — уличная бабочка, позевывая, шла домой.

— Прощайте.

«Тетка» печатается по рукописному автографу 1930 г., хранящемуся в ИРЛИ (Пушкинский дом), фонд № Р. 1, оп. 6, ед. хр. 129.

с. 563. Второй Муринский — ныне пр. Шверника.

с. 564. Раз в год говею.— Говение — приготовление к таинству причащения, заключающееся в посте, посещении богослужений, молитве и исповеди. По православному обряду говеют не менее пяти раз в году.

с. 564. Троицкий — Троицкий мост, ныне Кировский мост.

с. 564. «Луч».— В 1917—1918 гг. газета «Искра», орган Бюро ЦК и ПК РСДРП, издавалась под разными названиями. 22 ноября 1917 г. вышел единственный номер, озаглавленный «Луч».

с. 566. Разговеться — начать есть после поста скоромную (мясомолочную) пищу.

с. 566. Компатриоты — соотечественники.

с. 566. Керенки — бумажные денежные знаки, выпускавшиеся при Временном правительстве А. Ф. Керенского и имевшие хождение в 1917—1920 гг.

М а т е р ь я л. Рассказ входил в подготовленный автором сб. «Матерьял». Печатается по газ. «Ленинградская правда», 1988, 21 августа.

с. 568. Цеэрка — ЦРК, Центральный рабочий кооператив.

с. 568. «Кол-Нидрей» — или «Кол-Нидра» — молитва, поющаяся евреями в Судный день. Переложена для виолончели Н. А. Римским-Корсаковым.

с. 569. Ходй — нижняя часть телеги с колесами.

Ч а й. Рассказ входил в сб. «Матерьял». Печатается по журн. «Звезда», 1989, № 9.

с. 570. Жамочки — жамка, круглый пряник, чаще всего мятный.

---

[1] Финляндская железная дорога.

Дикие. Авторами этого рассказа Добычин называет себя и А. П. Дроздова. Никакими сведениями о литературных упражнениях Дроздова мы не обладаем и, поскольку стиль этой вещи несомненно добычинский, считаем возможным опубликовать «Диких» в корпусе сочинений писателя. Печатается по журн. «Звезда», 1989, № 9.

с. 571. «Идиотизм деревенской жизни» — слова из «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Однако перевод этот не вполне точен: «идиотизм» означает тут и «обособленность».

с. 572. Книга про купца Калашникова — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837) М. Ю. Лермонтова.

с. 575. Страстная неделя — последняя неделя великого поста перед Пасхой, посвященная памяти страстей Господних — страданий Христа перед распятием.

Город Эн. Действие повести происходит в уездном городе Витебской губернии в начале XX века. Только недавно (для героев повести), в 1893 г., Александр III переименовал его из Динабурга в Двинск. Город существует с 1275 года, когда магистр Ливонского ордена Эрнест Рацбургский приказал построить здесь орденский замок. В 1656 г. город взят русскими войсками Алексея Михайловича и на некоторое время превратился в Борисоглебск. С 1569 по 1772 г.— с небольшими перерывами — Динабург принадлежал Польше. После первого раздела Польши отошел к России и оставался в составе Витебской губернии до 1917 г. Таким образом, в Двинске пересеклись и сосуществовали сразу несколько национальных, культурных и религиозных традиций, что непосредственно запечатлено и в повести. Печатается по изданию 1935 г.

с. 581. Тюремный замок.— Старый Динабургский замок был разрушен. В 1810 г. начали строить новую крепость, законченную к 1831 г. Однако к этому времени военное значение Динабурга было невелико. Крепость использовалась как склад и тюрьма. В начале XX века крепость полностью превратилась в тюремный замок.

с. 581. Богородица скорбящих — престольный праздник иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» отмечается 24 сентября (7 октября).

с. 581. Картинка «Чичиков».— Вероятно, имеются в виду чрезвычайно популярные иллюстрации к «Мертвым душам» художника А. Агина.

с. 581. Проскомидия — первая часть христианской литургии, в которой священнослужители подготавливают все для таинства причастия.

с. 581. За замком шла железная дорога.— В 1858—1861 гг. была построена первая в Латвии железная дорога Рига — Динабург, через пять лет продленная до Орла. Чуть позже через Динабург прошла важная ветка железной дороги Петербург — Варшава, что способствовало и тесным связям со столицей и развитию местной промышленности.

с. 582. Аналой — богослужебная принадлежность, столик с покатой доской, покрытый с боков и сверху парчовой пеленой с изображением евангелистов. Служит кафедрой священнику, произносящему проповедь.

с. 582. «Священная история» — «Священная история Старого и Нового завета» или «Священная история Нового завета» — книги для детей и юношества, излагающие содержание и смысл библейских сюжетов.

с. 583. Лев XIII — Джоакино Печчи (1810—1903), с. 1878 г. папа римский. Автор энциклики «Рерум новарум», пытавшейся поставить церковь во главе рабочего движения.

с. 584. «Страшный мальчик» — возможно, название одной из книжек «Золотой библиотеки». Возможно также, что это какой-нибудь локальный эвфемизм или просто ироническая выдумка отца.

с. 584. «...На практике» — из дальнейшего текста можно понять, что Александра Львовна Лей — акушерка.

с. 584. Картинка «Ницше».— Фридрих Ницше (1844—1900) — немецкий философ. Его идеи о «сверхчеловеке» оказали значительное влияние на современное искусство.

с. 584. В объятия Морфея.— Морфей в греческой мифологии бог сна. Выражение носит либо напыщенный, либо иронический оттенок.

с. 585. Лейкин Николай Александрович (1844—1906) — чрезвычайно плодовитый писатель-юморист, автор сценок из мещанско-купеческого быта Петербурга. Лишь часть написанного вошла в его 40-томное собрание сочинений.

с. 585. Фа́кторка — посредница, комиссионер.

с. 585. Униатка — прихожанка униатской церкви, в которой объединяются католическое и православное богослужения: признается главенство папы римского, утверждается существование чистилища, но допускается брак белого духовенства, богослужение на родном языке, сохраняются восточные обряды.

с. 585. Медаль в честь уничтожения унии.— 25 марта 1831 г. униатская церковь была запрещена в России и в Польше. Униатам оставлены лишь обряды и обычаи, не противоречащие сущности православия.

с. 586. «Дрейфус читает журнал».— В 1894 г. офицер Генштаба Франции еврей Альфред Дрейфус был осужден за шпионаж в пользу Германии. Позже выяснилось, что главная улика против него — изделие другого офицера, майора Эстергази. Началась кампания за пересмотр дела невинно осужденного. В защиту Дрейфуса выступили такие разные по убеждениям люди, как Золя, Жорес, Клемансо... Однако и повторным судом в 1899 г. Дрейфус был снова осужден. Под давлением общественного мнения помилован. Борьба за него продолжалась, и затянувшийся суд полностью оправдал его лишь в 1906 г.

с. 586. «Выходящая» — в некоторых карточных играх (напр., в преферансе) сдающий не принимает участия в игре.

с. 587. Брошь «собрание любви» — брошь с уральским светло-коричневым искристым камнем.

с. 587. Акафист — церковная служба, состоящая из молитвенно-хвалебных песнопений.

с. 588. Сарпинка — легкая хлопчатобумажная ткань типа ситца, полосатая или клетчатая.

с. 588. Водосвятие — праздник освящения воды накануне Крещения (в сочельник) и в день Крещения после литургии.

с. 588. Шильонский замок — укрепление в швейцарском кантоне Ваадт у Женевского озера, построено в 1328 г. Широко известно благодаря поэме Байрона «Шильонский узник».

с. 589. Митава — с 1917 г. Елгава.

с. 591. Киндер, тей тринкен — Дети, чай пить *(нем.)*.

с. 591. Псалтырь — одна из книг Ветхого завета, состоящая из псалмов.

с. 592. Панорамщик.— Панорама — распространенное в описываемое время зрелище: демонстрация картин, или рисунков, или фотографий через особые стекла, создающие иллюзию объемности. Демонстратор (чаще всего он же владелец) назывался панорамщиком.

с. 592. «Любимый ученик» (Христа) — апостол Иоанн.

с. 592. Пан Христус з мартвэх вста — Христос воскрес *(польск)*.

с. 593. Ла́гери — летние военные лагеря.

с. 593. «Так говорил Заратустра» — книга Ницше (1892, 1-е полное издание).

с. 593. Эдуард VII (1841—1910) — король Англии с 1900 г.

с. 595. Курляндский берег.— Двина отделяла Витебскую губернию от Курляндии.

с. 595. Бонжур — добрый день *(фр.)*.

с. 595. Говорящая машина — фонограф, созданный американским изобретателем Томасом Эдисоном (1847—1931).

с. 596. Архиерей — общее название епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов.

с. 596. Ревель — после 1917 г. Таллинн.

с. 597. ...загудели гудки... стали бежать мастеровые.— В 1903—1905 гг. часто происходили забастовки и столкновения полиции с рабочими дружинами двинских предприятий.

с. 598. «Мадонна святого Сикста» — «Сикстинская мадонна» (1515—1519) Рафаэля. На картине перед мадонной изображен папа-мученик Сикст II.

с. 598. ...наваринского пламени с дымом — цвет фрака Чичикова.

с. 598. Картонаж — небольшое изделие из картона.

с. 601. Митéнки — женские перчатки без пальцев.

с. 602. Живая фотография — раннее название кинематографа.

с. 603. «Чудо при крушении в Борках».— Борки — железнодорожная станция в Харьковской губ., где 17 октября 1888 г. потерпел крушение при взрыве народовольцами полотна дороги поезд с царской семьей. В память спасения императора там основан Спасо-Святогорский монастырь.

с. 605. «Страшная ночь» — в Новый год (сентябрь) евреи собирались у реки и отряхивали края одежды, чтобы «сбросить в воду все грязное и впредь быть чистыми от грехов».

с. 605. ...пропадают христианские мальчики.— Антисемитами и черносотенцами распространялись слухи о том, что евреи убивают христианских младенцев в ритуальных целях. В 1913 г. в Киеве был обвинен в подобном преступлении М. Бейлис. Процесс по его делу всколыхнул всю Россию. Бейлис был оправдан.

с. 605. «Свиное ухо».— Евреев, которым религия не разрешает есть свинину, дразнили, складывая из полы одежды «свиное ухо».

с. 606. Газета «Двина».— Такой газеты обнаружить не удалось. Но были со схожими названиями: «Двинский вестник» и «Двинские новости».

с. 606. ...Япония напала на нас...— 24 января 1904 г. разорваны дипломатические отношения, 27 января минной атакой русской эскадры у Порт-Артура Япония начала войну.

с. 606. Щипать корпию.— Корпия — нащипанные из хлопчатобумажной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал вместо ваты и марли.

с. 607. «Нóли ме тáнгере» — «Не трогай меня» *(лат.)* — слова Иисуса, обращенные к Марии Магдалине (От Иоанна, гл. 20, ст. 17).

с. 607. Форма «сестры» — форма сестры милосердия.

с. 608. Вас ист дас? — Что это такое? *(нем.)*

с. 608. Плеве убит...— Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — русский государственный деятель, с 1902 г. министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов. Убит 15 июля 1904 г. эсером Е. С. Созоновым.

с. 609. «Кримé» — Крым *(фр.)*.

с. 609. Креститься двухперстно — так крестятся старообрядцы.

с. 610. Гаолян — культурное злаковое хлебное и кормовое растение Китая, Маньчжурии, Кореи. Напоминает кукурузу.

с. 610. Фанза — крестьянский дом в Китае, Корее.

с. 610. Либава — с 1917 г. Лиепая.

с. 610. «Фрёлихе вéйнахтен» — «Счастливого Рождества» *(нем.)*

с. 611. «Какого-то князя убили...» — 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной Иваном Каляевым, был убит великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор.

с. 611. Простонародье бунтует.— В 1904 г. обострились столкновения рабочих дружин с полицией и войсками. В 1905 г. практически все руководство рабочим движением Двинска было арестовано и заключено в тюремный замок. Сопротивление рабочих было жестоко подавлено.

с. 612. ...пели про Стесселя.— Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915) — в русско-японской войне начальник вооруженных сил Порт-Артурского района. Вопреки мнению Военного совета и коменданта крепости подписал капитуляцию Порт-Артура. Уволен в отставку, предан суду, приговорен к смертной казни, замененной десятилетним заключением в крепость.

с. 612. Заключение мира.— Мир с Японией (Портсмутский мир) заключен в августе 1905 г.

с. 612. Витте ... подстроил.— Витте Сергей Юльевич (1849—1915), с 1903 г. председатель комитета министров, заключил мир с Японией, за что пожалован в графское достоинство.

с. 613. Уроки «закона» — уроки закона божьего.

с. 613. «Апельсин» — так называли самодельные бомбы террористов.

с. 614. Декокт — отвар из лечебных трав.

с. 614. Иеромонах — монах, имеющий священнический сан.

с. 614. «Красный смех» — произведение (1904) Л. Н. Андреева (1871—1919) об ужасах войны.

с. 614. Крейцбург — с 1917 г. Крустинас.

с. 615. Всем исповеданиям дали свободу.— Манифест 17 октября 1905 г. гарантировал и свободу вероисповедания.

с. 615. Портрет Петрункевича.— Петрункевич Иван Ильич (1843—1928) — земский и политический деятель, один из руководителей партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы, произнесший в день ее открытия речь об амнистии.

с. 615. Речь Муромцева.— Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — один из основателей партии кадетов, депутат 1-й Государственной думы, единогласно выбранный председателем первого собрания.

с. 616. Фелонь — риза без рукавов, покрывающая все тело. Принята в качестве священной одежды в память о Христе и апостолах, носивших подобную одежду.

с. 618. Лотерея аллегри — лотерея с немедленным результатом.

с. 620. Матинэ — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной кофты из легкой ткани.

с. 621. «Кво вадис?» — «Куда идешь?» *(лат.)*, роман польского писателя Генрика Сенкевича (1846—1916), удостоенный в 1905 г. Нобелевской премии, повествует о борьбе ранних христиан во времена Нерона. В русском издании имеет название «Камо грядеши?».

с. 621. «Жизнь Иисуса» — первая книга (1863) 8-томной «Истории происхождения христианства» Жозефа-Эрнеста Ренана (1823—1892), французского философа и историка.

с. 621. Караимы — небольшой народ, живущий на Украине, в Крыму и Прибалтике. По религии принадлежит к одной из древнеиудейских сект.

с. 623. Дежа — деревянная кадка, квашня.

с. 626. День божьего тела — Corgus Domini *(лат.)*. Отмечаемое с 1264 г. католиками в начале июня торжество в честь святого причастия, во время которого освящается облатка. Сопровождается торжественной процессией.

с. 626. Лежал кшижом — лежал крестом (ничком, раскинув руки крестом) *(польск.)*.

с. 628. В память «усекновения главы» — имеется в виду усекновение главы Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя).

с. 628. «Толстощекая падчерица» Ирода.— По Евангелиям от Матфея (гл. 14, ст. 6—12) и от Марка (гл. 6, ст. 17—29), дочь Иродиады от Филиппа, брата иудейского царя Ирода, выманила танцем у последнего обещание отсечь голову Иоанна Крестителя.

с. 628. «Ки се рессамбль, с'ассамбль» — похожие друг на друга собираются, объединяются *(фр.)*.

с. 629. Суриршин и бониншин — от фамилий Сурир и фон Бонин.

с. 630. Двое и птица — св. Троица (Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой в виде голубя).

с. 631. Дерпт — старинный университетский город, в 1893—1919 гг. Юрьев, с 1919 г. Тарту.

с. 631. «Подросток» — роман (1875) Ф. М. Достоевского.

с. 631. «Катехизис» — книга, содержащая начальные основы христианской религии в форме вопросов и ответов.

с. 631. Книга — «Балакирев».— Очевидно, имеется в виду какая-то книга о придворном шуте Петра Первого Балакиреве Иване Александровиче (1699— ?).

с. 631. Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал от инфантерии, один из завоевателей Средней Азии, герой русско-турецкой войны (1877—1878).

с. 632. Хиавата — танец, получивший название от индейского слова Hiawatha (пророк, учитель).

с. 633. «Сатирикон» — петербургский еженедельный сатирический журнал, выходивший с 1908 по 1914 гг.

с. 634. Аматерша — любительница *(фр.)*.

с. 634. «Юн ви» — «Жизнь» *(фр.)*, роман (1883) Ги де Мопассана (1850—1893).

с. 635. «Пинкертон», «Злой рок шахт Виктория» — бульварная разновидность детективной литературы, связанная с именем главы американского сыскного агентства Алана Ната Пинкертона. Издавалась миллионными тиражами.

с. 636. ...восхищавшегося Иоанном IV.— Имеется в виду картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1885).

с. 636. Был ... на Уточкине.— Уточкин Сергей Исаевич (1876—1915) — один из первых русских летчиков, совершал публичные полеты во многих городах России и за рубежом.

с. 638. «Мизантроп» и «Дон Жуан» — пьесы (1666 и 1665) Жана Батиста Мольера.

с. 639. Серапеум — храм египетского бога Сераписа в Александрии, где при Птолемеях находилась знаменитая Александрийская библиотека. Здесь, по-видимому, название романа о раннехристианской эпохе.

с. 640. День перенесения мощей Ефросиньи Полоцкой.— Весной 1910 г. состоялось торжественное перенесение мощей св. Ефросиньи княжны Полоцкой (1101—1173) из Киево-Печерской лавры в родной Полоцк.

с. 641. «Так что же нам делать?» — работа Л. Н. Толстого, писавшаяся в 1882—1886 гг. и напечатанная сначала за границей.

с. 641. Зо загт дер апо́стель... Паулюс — Так говорит апостол... Павел *(нем.)*.

с. 641. Анна Иоанновна (1693—1740) — русская императрица (1730—1740), племянница Петра I, курляндская герцогиня.

с. 642. Дочь Иаира воскресла — по Библии, одно из чудес, совершенных Христом (От Матфея, гл. 9, ст. 23—26).

с. 643. «Исповедь» (1765—1770) — произведение Жан Жака Руссо.

с. 644. «Пиквикский клуб» — роман Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).

с. 644. Ксенджарня «Освята» — книжный магазин «Просвещение» *(польск.)*.

с. 645. Умер Толстой.— Лев Николаевич Толстой умер 7 (20) ноября 1910 г.

с. 646. Сильва, сильвэ — склонение слова «лес» *(лат.)*. Традиционно именно с него начинается обучение латинскому языку.

с. 646. Эт синт кандида фата туа — пусть будут чисты твои пути *(лат.)*.

с. 646. Пульхра эст — красивая *(лат.)*.

с. 646. «Дэ амитицие верэ» — надо «вера» *(лат.)* — «Об истинной дружбе». Очевидно, имеется в виду трактат Цицерона «О дружбе».

с. 647. ...не читали Чуковского? — Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — русский и советский критик, писатель. Его книга «Нат Пинкертон и современная литература» (1908) была очень популярна.

с. 648. Освобождение крестьян.— Манифест об освобождении крестьян вышел 19 февраля 1861 г. Пятидесятилетие Манифеста — 19 февраля 1911 г.

с. 650. Пасторат — приход пастора (священника протестантской церкви).

Комментарий А. Ю. Арьева и Е. Д. Прицкера

СОДЕРЖАНИЕ

Р 24 **Расколдованный круг**: Сборник повестей и рассказов.— Л.: Сов. писатель, 1990.— 688 с.
ISBN 5-265-00617-6

Эта книга из библиотеки «Наследие». Она включает наиболее значительные произведения трех ленинградских писателей довоенного поколения — Василия Андреева (1889—1941), Николая Баршева (1888—1938), Леонида Добычина (1894—1936), художников ярких и своеобразных, но почти неизвестных сегодняшнему читателю.

$Р\ \frac{4702010201-033}{083(02)-90}\ 110-89$ **ББК 84.Р7**

РАСКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Василий Андреев

Николай Баршев

Леонид Добычин

Худож. редактор *Б. А. Комаров*. Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*
ИБ № 7051
Сдано в набор 7.06.89. Подписано к печати 15.01.90. М24508. Формат 84×108[1]/32. Бумага книжная для массов. изд. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 36,12. Уч.-изд. л. 42,61. Тираж 30 000 экз. Заказ № 160. Цена 3 р. 90 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

3 р. 90 к.